

МИНУВШЕЕ

МИНУВШЕЕ

**ИСТОРИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ**

6

ATHENEUM

**Editorial board: Jean Bonamour, John Malmstad, Richard Pipes,
Marc Raeff, Dmitri Segal**
Editor: Vladimir Alloy

Copyright by Atheneum, 1988

All rights reserved

Publisher: Atheneum, 10 bis, rue Duhesme, 75018 Paris
Printed in France

ISBN 2-906141-10-11

На первой странице обложки воспроизведены: портреты В.П. Свентицкого (предсмертная фотография в тайшетской ссылке), М.М. Бахтина и М.И. Кагана, Л.Шестова; автографы Л.П. Карсавина, Н.А. Бердяева и М.О. Гершензона.

ВОСПОМИНАНИЯ

М.Н. Жемчужникова
ВОСПОМИНАНИЯ
О МОСКОВСКОМ АНТРОПОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ
(1917-23 гг.)

Публикация Дж. Мальмстада

Накануне Первой мировой войны Николай Бердяев писал: «В нашу эпоху есть не только подлинное возрождение мистики, но и фальшивая мода на мистику. Отношение к мистике стало слишком легким, мистика делается достоянием литературщины и легко сбивается на мистификацию. Быть немного мистиком ныне считается признаком утонченной культурности, как недавно еще считалось признаком отсталости и варварства»¹. Свое резкое суждение Бердяев заключил следующим предсказанием: «...ныне оккультизм делается внешне популярным, вызывает к себе интерес в широких кругах и подвергается опасности стать модным. Оккультизм, по всей вероятности, есть и сила и мода завтрашнего дня»². Много лет спустя, в 1940 г., в своей автобиографии «Самопознание», он назвал два главных течения начала XX века, связанные с мистическими и религиозными исканиями: «Одно течение представляла православная религиозная философия, мало, впрочем, приемлемая для официальной церковности. /.../ Другое течение представляла религиозная мистика и оккультизм»³. Бердяев сам испытывал влияние первого течения, в котором

¹ *СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА*. (Первое изд. 1916 г.; цит. по второму изд.: Париж, 1985, с.335).

² Там же, с.345.

³ *САМОПОЗНАНИЕ*. (Первое изд. 1949 г.; цит. по второму изд.: Париж, 1983, с.186-187).

он играл заметную роль, но в нем была и тяга ко второму, особенно к антропософии, которой увлекались близкие ему люди, группировавшиеся вокруг московского издательства «Муссагет». Он хорошо был знаком с антропософией «и по книгам и по людям», перед тем, как он ее, так же как и ее «предшественницу», т.е. теософию, окончательно отверг в 1916 г. (см. «Типы религиозной мысли в России. I. Теософия и антропософия». — «Русская мысль», 1916, №11, с.1-19, вторая пагинация). Тем не менее, в «Самопознании» он должен был признаться, что «наиболее интересно [среди оккультных течений того времени] было течение антропософское. Оно увлекало более культурных людей»⁴.

Задолго до формального основания русского теософского общества в Петербурге (17 ноября 1908 г.) и русского антропософского общества в Москве (20 сентября 1913 г., в день положения краеугольного камня будущего антропософского «храма» Гетеанума в Дорнахе), влияние обоих течений уже было ощутимо в интеллектуальной и художественной жизни русского общества. Стоит упомянуть хотя бы о значимости теософии для художественной системы Александра Скрябина и Василия Кандинского (приверженцев движения) или важность теософско-антропософских мотивов в стихах Константина Бальмонта, Максимилиана Волошина и Вячеслава Иванова, не говоря уже о центральном месте антропософии в творчестве Андрея Белого, который стал читать теософскую литературу уже в 1896 г.

Давно существует сравнительно большая литература о русском религиозно-философском возрождении начала XX века. Теософия и ее разновидности, антропософия, равно как и другие, менее «респектабельные» оккультные течения того времени (спиритуализм, спиритизм, медиумизм, астрология и т.д.) еще ждут своих исследователей. (Историками русского женского движения совершенно игнорируется тот факт, что многие из участниц этого движения не только были связаны как с русскими, так и с европейскими оккультными течениями, но и сыграли там исключительно важную роль: назвать хотя бы Анну Павловну Философову.) Будущим исследователям предстоит столкнуться с немалыми трудностями и препятствиями. С закрытием обоих обществ в 1923 г. участники их ушли, так сказать, в подполье. Волна арестов и обысков толстовцев и теософов после убийства Войкова в 1927 г.⁵ и новая волна арестов антропософов весной 1931 г. рассеяли большинство их по ссыльным местам Советского Союза; немногие вернулись оттуда. Закрытие обществ в 1923 г. сопровождалось конфискацией библиотек и значительной части архивов (книги из этих библиотек продавались на Западе в тридцатые годы; судьба архивных материалов пока неизвестна). В бредовых условиях 1930-х годов стало более чем опасно держать у себя запретную литературу, особенно документы, касающиеся «юридической» стороны запрещенных организа-

⁴ Бердяев. САМОПОЗНАНИЕ, ст.217.

⁵ См.: «Хроника» (Аресты толстовцев). — «Социалист-революционер», 1927, №1 (Париж), с.23-24.

ций (членские списки, протоколы заседаний и т.д.). Можно надеяться, что кое-что было вовремя (т.е. уже в двадцатые годы) отправлено в верные руки на Запад: в «генштаб» антропософского движения в Дорнах, в английское отделение теософского общества, с которым русское отделение всегда было тесно связано. Возможно, кое-что уцелело в личных архивах и в государственных хранилищах. Но нужно думать, что очень многое, может быть, самое существенное, было безвозвратно утеряно или уничтожено.

Ввиду отсутствия первоисточников печатная и особенно мемуарная литература, значение которой нельзя преуменьшать для изучения культуры начала века, является едва ли не единственным источником для будущих историков теософии и антропософии в России. Читателям уже известны воспоминания Андрея Белого, Маргариты Сабашниковой-Волошиной, Аси Тургеневой, Клавдии Васильевны Бугаевой и др., которые, однако, уделяют больше внимания скорее фигуре Рудольфа Штейнера, чем истории возникновения и развития самого русского антропософского движения. Воспоминания, которые публикуются здесь впервые, уникальны тем, что они дают не только историю «пути» их автора к антропософии, портреты многих, кто оставил заметный след в истории русского антропософского движения, но и нечто вроде хотя и очень отрывочной и неполной, но хроники. Об их авторе, как и о многих других упомянутых ею людях, я ничего не могу сказать. «Непосвященному», по вполне очевидным причинам, было почти невозможно проникнуть в то, что осталось от московских и ленинградских антропософских кругов (замкнутая кружковщина всегда была характерна для теософской и антропософской среды). Теперь они, как и автор настоящих воспоминаний, «канули в Вечность: без возврата» (А.Белый). Жемчужникова, к сожалению, не уделяет достаточного внимания повседневной деятельности Общества. Отчасти эту лауну восполняют материалы из архива Андрея Белого, представленные в другом разделе настоящего выпуска альманаха: его «Материал к биографии (интимный)»; его переписка, выразительно показывающая «стиль отношений» в тех кругах («Искали тайных обществ, посвященных. Подозревали друг друга в причастности к оккультным организациям. В разговорах были оккультные намеки»⁶); материалы, касающиеся периода 1918-27 гг., когда Белый был особенно активен как в открытой, так и в «подпольной» деятельности движения, которому он остался верен до конца своей жизни (последние будут помещены в одном из ближайших выпусков «Минувшего»).

**

Работа над биографией и творчеством Белого привела меня, как и многих других, к изучению антропософского движения. Не хочется сводить историю этого движения исключительно к фигуре Андрея Белого, но

⁶ Бердяев. *САМОПОЗНАНИЕ*, с.218.

пока другие материалы не станут доступными исследователям или не «всплывут» на поверхность, мы должны опираться на его биографию, на многообразие им написанного, на его огромный архив (в настоящем выпуске «Минувшего» публикуется отрывок о его антропософских годах, 1910-1915), положив этим начало освещению истории одного из самых интересных явлений, которыми богата русская культура нашего столетия.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Слово «антропософия» и имя Рудольфа Штейнера⁷ я впервые услышала 17-ти лет в 7-ом классе гимназии. На рождественские каникулы 1915-16 г. мы поехали в наше имение Холмищи Калужской губернии. С нами поехала мамина приятельница Надежда Николаевна Нотгафт с двумя девочками и моя подруга по гимназии Наташа Спиридонова. Мы собирались всласть походить на лыжах, повеселиться на елке. Сначала, до Нового года, все так и было. И в это же время Надежда Николаевна дала мне первую в моей жизни книгу Штейнера. Это была Акаша-хроника⁸. Мы с Наташей восприняли ее юмористически и хохотали до упаду, представляя, какими были наши «предки» — атланты и лемурийцы. Мы спрашивали: «Что это за автор, который разводит такие фантазии? И зачем их печатают?» Но Надежда Николаевна отвечала: «Вы можете, конечно, посмеяться. Но знайте, что автор — серьезный человек. Он доктор философии и имеет высшее образование также и в естествознании. И это не фантазер подобно спиритам с их стуками и блюдцами. О теософии ты уже знаешь кое-что, так вот, Штейнер — глава особой ветви теософии, называемой "антропософия". Это теософия, так сказать, высшего ранга, для тех, кто хочет в теософию внести дух научного знания». На Наташу эти сообщения не действовали, она только смеялась. Я вполне раз-

⁷ Штейнер, Рудольф (Rudolf Steiner, 1861-1925) — доктор наук, с 1902 г. — генеральный секретарь немецкого отделения Теософского Общества, основатель и руководитель Антропософского Общества (январь 1913), центр которого до сих пор находится в Дорнахе (Швейцария). См. *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ* Андрея Белого (Париж, 1982).

⁸ *AUS DER AKASHA-CHRONIK* (1904-08).

деляла ее веселость, но все-таки меня «зацепила» самая идея возможности знать что-то о прошлом человечества не только документально исторически, но и как-то иначе — однако столь же «документально» — по отпечаткам Акаши-хроники, невидимой, но все же как-то доступной человеку. При этом очень импонировали два факультета — философия и естествознание, соединившиеся в авторе. И я порешила — по возвращении в Москву достать все, что можно, из сочинений Штейнера, чтобы понять — что это? Вздор или серьезно?

Наше веселое Рождество было прервано страшным ударом. 11 января мой брат Боря 12 лет заболел. 16-го января он умер. Молниеносный менингит — тогда против него не было средств спасения. Врач, вызванный из Москвы, определил диагноз, так и сказал: «Сделать ничего нельзя, я здесь лишний», — и уехал. Уехала и Наташа. Мы остались втроем: мама, Надежда Николаевна и я. И умирающий Боря. У мамы один за другим следовали приступы нервного шока, пугавшие меня до ужаса. Легче были бы любые отчаянные рыдания, чем эти состояния оцепенения. Ведь всего два года назад умерла моя сестра Таня, тоже 12 лет. Она болела долго и тяжело. Было сделано все — и самый сложный домашний уход, и больница, и заграничный курорт, и операция — все это мама вынесла по сути дела одна. Ничто не помогло. Таня умерла.

И теперь — новый удар. Немудрено, что ее нервная система оказалась на краю пропасти. Я внешне была спокойна, вполне владела собой. Но помню пароксизм отчаяния, взрыв истерических рыданий, когда Надежда Николаевна тащила меня в дальнюю комнату подальше от мамы. Такой же взрыв был и два года назад, когда умирала Таня и та же Надежда Николаевна тащила меня подальше в сад и требовала замолчать ради мамы. Но была разница: тогда, в возрасте 15 лет меня ранило чувство бессилия. Я кричала: «Ничего нельзя сделать!» Теперь, через 2 года, меня потрясал крик: «За что? Почему?» Я сама этого не помню — что именно было главным в этом взрыве. Говорю со слов Надежды Николаевны, которая позднее как-то рассказала об этих двух эпизодах, отмечая разницу, как признак душевного повзреления.

По возвращении в Москву я исполнила свое намерение и с помощью Надежды Николаевны доставала и читала все, какие были тогда книги Штейнера. Но и кроме того читала много и разных авторов — от Соловьева до Метерлинка. С нежностью вспоминаю

книжечку Фильдинга «Душа одного народа» — о Бирме и бирманцах⁹. В ней было много изречений буддистской морали. Я старательно переписывала их в свою записную книжечку, где они оказались в странном соседстве со столь еще недавно живыми для меня цитатами атеизма и научного позитивизма. Еще недавно, в возрасте от 12 до 15 лет, мы с моей подругой Ташей Старковой испещряли поля нашего школьного катехизиса «ядовитыми» замечаниями. Теперь меня все это просто перестало интересовать. Правда, смерть Тани и начавшаяся в том же 1914-м году война уже значительно сбили меня с этих «твердых» позиций, но ничего нового, по существу, еще не внесли. Теперь это новое широким потоком хлынуло в сознание. Но странно — не было борьбы, сомнений, просто хлынул поток и унес в другую сторону. Не было борьбы со старым, но не было и утверждения нового, как истины. Просто открылся новый мир, и я его *изучала!* Когда меня спрашивали: «Зачем ты читаешь эти книги? Ты что — стала теософкой?» — «Нет, — отвечала я, — я просто интересуюсь антропософией». И это было совершенно точной формулировкой. Я «интересовалась», т.е. открывала свое сознание этим мыслям, образам, представлениям.

Однако, плоды этого чтения скоро сказались, и один совершенно банальный эпизод мне это открыл. По окончании гимназии весной 1917 года мы по гимназическому обычаю все завели себе альбомы и писали друг другу разные разности «на память». Завела и я такой альбом. И в нем одна подружка написала приблизительно так: «Раньше я тебя терпеть не могла, ты была гордячка и задирала нос. Но теперь ты стала совсем другая, и я тебя очень люблю и хочу дружить». Это меня поразило! Как же так? Почему я стала «другая»? Ведь ничего для этого не делала! Никакой борьбы со своими недостатками не вела, ни о каком совершенствовании по-толстовски и не помышляла? Что же меня изменило? Осенило открытие: это сделали *мысли*. Новые мысли *сделали* нового человека. Мысли — не мое порождение, не моя выдумка, мысль существует сама по себе, и она действует во мне, как реальная *сила*. Как поразило это открытие! Огромной радостью и, вместе с тем — страхом! Нельзя просто отдаваться мыслям. Мысли надо *выбирать*. Этот момент я считаю первым своим шагом в духовный мир, в антропософию.

⁹ Harold Fielding-Hall (1859-1917) много лет жил в Бирме, где работал в британской колониальной администрации. Его книга *THE SOUL OF A PEOPLE* вышла в Лондоне в 1898 г. Он много писал о бирманском буддизме.

Скоро, тоже весной 1917 года, судьба послала мне и второй. Появилась афиша: Андрей Белый читает лекцию «Жезл Аарона»¹⁰. В программе не было ничего связанного с антропософией. Я и не знала тогда, что А.Белый антропософ. Говорилось лишь, что лектор расскажет о новом, им разработанном методе анализа стихосложения, помогающем уяснить поэтический смысл стиха. С другой моей подружкой Надей Вольпин, для которой вопросы стиховедения были особенно близки (она и сама писала неплохие стихи)¹¹, мы решили пойти послушать известного поэта (помнится — в Малом зале Консерватории).

Лекция была блестяща, увлекательна, по-новому открывала поэзию стиха. Мы обе были в восторге и от лекции, и от лектора. Но многое, особенно по части техники нового метода, оставалось неясным. И мы решили написать А.Белому письмо с просьбой указать, где можно узнать подробней об этом методе. Обратный адрес указали мой. И через несколько дней — звонок. Горничная докладывает: «Вас, барышня, спрашивают». Выхожу — Боже! Андрей Белый, сам, самолично. Сияющие глаза, очаровательная улыбка, весь обвешан пакетиками, даже на пуговице пальто болтается покупочка на веревочке! Все это я увидела, а не догадалась даже пригласить из передней в гостиную! (уж и ругала меня мама за это невежество, когда пришла). Но я просто остолбенела. Он говорит: «Я получил Ваше письмо, но, к сожалению, никакой литературы указать не могу. Ведь я сам только что разработал этот метод и сам еще нигде о нем не писал. Но вот на следующей неделе я повторю свой доклад в доме моих друзей. Если Вам интересно — приходите, вот моя карточка и адрес, где я буду читать». Я только «спасибо» смогла пробормотать, но эти удивительные глаза уже не с эстрады, а совсем близко увидела.

Надежда Николаевна, посмотрев карточку: «Да ведь ты прямо на верхушку антропософии попала! Написано — квартира Григоровых, а Григоров — председатель Антропософского общества. Да и Андрей Белый — антропософ, ученик Штейнера, недавно приехал, прямо от него!»¹²

¹⁰ 24 января 1917 г. Белый читал публичную лекцию «Жезл Аарона (О слове в поэзии)» в Малом зале Консерватории. Она была опубликована в том же году в первом сборнике *СКИФЫ*.

¹¹ Одно стихотворение Н.Д. Вольпин (р. 1900) опубликовано в кн. *ПОЭТЫ НАШИХ ДНЕЙ* (М., 1924). Впоследствии она переводила с белорусского, идиш (Маркиш), литовского и туркменского. 12 мая 1924 г. она родила сына, Александра, от Есенина.

¹² Белый Андрей (псевд. Бориса Николаевича Бугаева, 1880-1934) — «Философ, ученый, поэт, математик, писатель и мистик — уживались в нем, объединяясь в образе устремленного, пронизательно-страстного человека (см. след. стр.)

И, как на грех, Надя Вольпин куда-то уехала, надо было идти одной. Трусила я ужасно! Но отступить, конечно, не собиралась. По наивности я пришла ровно в назначенный час, и оказалась первой. Вышла Надежда Афанасьевна Григорова¹³, очень любезно меня приняла, но все-таки, пока собирался народ, я чувствовала себя совсем дурочкой. Ободрилась, увидев знакомое лицо: философ Лев Шестов. Я тогда не читала ни одной его строчки, а знала — Танин папа: его дочь Таня Березовская училась со мной в гимназии, и я, бывая у них, видела и его¹⁴. Совсем обрадовалась, когда явился хороший знакомый Надежды Николаевны, профессор математики Иван Иванович Жегалкин¹⁵. Усевшись рядом с ним, я обрела достаточное душевное равновесие, чтобы воспринимать окружающее. К сожалению, за исключением двух упомянутых лиц, я не могу назвать никого из присутствующих. Я никого не знала, но весь их вид, поведение, а главное — та беседа, которая завязалась после доклада, подтверждали: да, это те самые «сливки», о которых говорила Надежда Николаевна (теперь говорят «элита», тогда говорили проще — «сливки»).

мыслителя» (М.А. Чехов. *ЖИЗНЬ И ВСТРЕЧИ*. — «Новый журнал», IX, 1944, с.5). Самый знаменитый из русских учеников Р.Штейнера. В «исповеди» *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ И ПОЧЕМУ Я НЕ ПЕРЕСТАЛ ИМ БЫТЬ ВО ВСЕХ ФАЗАХ МОЕГО ИДЕЙНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ* (1928, опубл. в 1982, изд. «Ardis») Белый писал: «Считаю началом своей антропософской общественности мое появление в Мюнхене в июле 1912 года» (с.86). Он провел 1913-16 гг. в Дорнахе, откуда уехал в июле 1916 г., когда был призван в армию.

¹³ Григорова Надежда Афанасьевна (1885-1964), врач, член кружка «Молодой Мусает», принимала участие в постройке антропософского «храма» Гетеанума в Дорнахе. Ей посв. стих. А.Белого *КАРМА* (1917, сб. *ЗВЕЗДА*). Сестра Павла Бурыйшкина (1887-1953), писавшего о ней в кн. *МОСКВА КУПЕЧЕСКАЯ* (Нью-Йорк, 1954): «женщина-врач, очень хороший хирург, была известна с несколько иной точки зрения. Еще гимназисткой она бывала в теософском кружке Христовой, которая была близка к Е.П. Блаватской, даже, кажется, состояла с ней в родстве. Потом, вместе с рядом других лиц, в частности с Андреем Белым, она перешла к Рудольфу Штейнеру и стала антропософкой. Она вышла замуж за моего университетского товарища Бориса Павловича Григорова, который тоже был штейнерианцем. Они постоянно ездили к Штейнеру, в особенности когда он читал свои циклы лекций. Григоров был назначен главным "гарантом" русской антропософской группы. В квартире моей сестры происходили их собрания, где читались лекции и бывали собеседования. /.../ Первая версия Гетеанума, еще в Мюнхене, была выстроена за счет моей сестры, точнее говоря, за счет нашей фирмы» (с.226-27).

¹⁴ Шестов Лев Исаакович (наст. фамилия — Шварцман, 1866-1938) — философ, критик, с 1920 г. эмигрант. О его дочери, Татьяне Львовне Березовской-Шестовой (в замужестве Ражо, 1897-1972) см.: Н.Баранова-Шестова. *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, 2 тт. Париж, 1983. В первом томе (с.138) имеется указание, что она училась в моск. гимназии Н.А. Хвостовой.

¹⁵ Жегалкин Иван Иванович (1869-1947) — математик, проф. Моск. ун-та.

Доклад был как откровение. Для меня это был вход в мир поэзии. Я почувствовала — до чего мое отношение к стихам до сих пор было просто ребяческим. Теперь этот мир ожил, заговорил, затанцевал — и тютчевский «Фонтан», и пушкинское «Я помню чудное мгновенье», и лермонтовская «Русалка», и другие... Распахнулись жесткие створки стихотворных форм и ожили высокие «Поэтические Смыслы». Живые танцующие образы двигались вокруг тоже танцующей фигуры лектора, слетали с его жестикулирующих рук, звучали в произносимых им стихах.

В совершенном упоении шла я домой с Кудринской на Пречистенку по длиннейшему Трубниковскому переулку, совершенно темному, но в душе горел яркий свет. «Да, вот он, настоящий духовный мир. Он только что недавно открыл мне свою силу в мыслях, действующих во мне, теперь он открывается в своих собственных существах, в нем обитающих. Да, вот истина, которой можно не просто интересоваться, но на которой можно утвердиться».

И возникло совершенно четкое решение: да, именно к этим людям мне надо идти — в Антропософское Общество!

МОСКОВСКИЕ АНТРОПОСОФЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Это решение я и осуществила осенью того же 1917 года одновременно с поступлением на юридический факультет Московского университета.

Общество помещалось тогда в Полуэктовом переулке (ныне пер. Сеченова) на Пречистенке, дом 5, во дворе. Было оживленно, многие приходили, уходили, толпились у стола библиотеки, смотрели книги, с ними беседовали, отвечали на вопросы. Я обратилась к Борису Павловичу Григорову¹⁶, которого я уже видела на

¹⁶ Григоров, Борис Павлович (1883-1945) — по профессии экономист, член кружка «Молодой Мускет», где Белый вел курсы в 1910 г. Принимал участие в строительстве Гетеанума. Один из основателей Р.А.О. и его председатель вначале. В своем «автобиографическом письме» Иванову-Разумнику (1927), Белый пишет: «/.../ возникает Б.П. Григоров, возникает Московская группа, дорнахский антропософский Коллектив, вынашиваются "зерна" в душе будущей "антропософской молодежи" (2-ая и 3-ья волна антропософии)». («Cahiers du Monde Russe et Soviétique», 1-2, vol.XV, Janvier-Juin, 1974, p.70). См. также письмо Белого Асе Тургеновой от 11 ноября 1921 г.: «А О-во полно теперь жизнью, произошли решительные перемены. Григорова дружески попросили уйти из председателей, после чего он поднял "бунт". Но эта мучительная операция была необходима давно. О-во теперь состоит из председателя (Трапезников), членов Совета (Петровский, Алексей Вас. Сабашников) и Vorstand'a, в который входила группа (я, Сизов, Столяров, К.Н. Васильева, М.В.Сабашникова /.../). Есть два вводительных кружка (Григоровский и Столяровский)». (ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ, V, 1967, с.309). О семейном архиве Григоровых см. «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 34 (1973), с.166.

том памятном докладе А.Белого. У меня не было заготовлено никаких своих вопросов по существу антропософии, я только сказала, что интересуюсь антропософией. Борис Павлович сказал, что в таком случае я могу записаться в кружок по изучению книги Штейнера «Теософия»¹⁷, который он сам будет вести. Я могу также записаться в библиотеку Общества и получать книги. Конечно, я сделала и то и другое. Скоро начались занятия.

Борис Павлович вел кружок очень серьезно, его комментарии были разнообразны, побуждали мыслить, в них чувствовались большие и основательные знания. Когда он слушал ваш вопрос, слегка склонив голову набок, вы чувствовали, что ответ будет дан продуманно, с чувством ответственности перед истиной. Возник авторитет, но это не возносило его на пьедестал, потому что вся его эрудиция всегда сопровождалась удивительным чувством чуткого внимания и благожелательности. По богатству получаемого материала это был профессор, но по отношению к вам — не профессор, а старший брат. С первого же занятия я перестала дичиться и чувствовала: да, я попала именно туда, куда надо; здесь не просто интересное, но *самое важное*. Это чувство было общим, и оно-то и в последующие мрачные годы как магнитом притягивало на занятия и собрания, несмотря на все трудности и даже опасности, темные, заваленные сугробами улицы, холодные дымные помещения.

Той же зимой 1917-18 г. Общество переехало в другое помещение — Кудринская Садовая, д.6, кв.2, в бывшую квартиру Григоровых, и заняло там ту самую большую гостиную, где весной я слушала памятный доклад А.Белого. В этом помещении Общество и оставалось до самого его закрытия в 1923 году. Здесь происходили и регулярные еженедельные собрания членов Общества, где читались циклы лекций Штейнера и велись по ним беседы всеми присутствующими, без определенного руководителя, и отдельные доклады или собеседования по каким-либо специальным вопросам, и особые праздничные собрания — Рождественские, Пасхальные и другие. Здесь же занимались и некоторые кружки начинающих под руководством членов Общества, а другие устраивали свои занятия у кого-либо из своих членов, где квартирные условия были получше. Здесь стояла маленькая печурка «буржуйка». Иногда она оставалась холодной, и сидящие в шубах мерзли, иногда оказывалась чуть-чуть протопленной — не знаю, чьими заботами это делалось, — и тогда большей частью нещадно дымила.

¹⁷ THEOSOPHIE. EINFÜHRUNG IN ÜBERSINNLICHE WELTERKENNTNIS UND MENSCHENBESTIMMUNG (1904). Русское изд. — СПб, 1910.

Но это были общие условия всех московских квартир того времени, и они уже никого не пугали, потому что здесь мы получали «хлеб жизни».

Еще в старом помещении, придя на собрание кружка, мы увидели два новых лица, и Борис Павлович, знакомя нас, сказал, что члены Общества будут вести кружки: Клавдия Николаевна Васильева по книге «Как достигнуть познания высших миров»¹⁸ и Вера Оскаровна Анисимова по книге «Христианство как мистический факт и мистерии древности»¹⁹. Желавшие могут записаться. Я тогда только что прочитала эту книгу, вышедшую в новом издании и новом переводе О.Н. Анненковой²⁰, и она произвела на меня огромное впечатление. Антропософия оказывалась не только делом внутренней духовной жизни человека, мировоззрением религиозным и философским. Она вступала в сферу исторических событий, объясняла их смысл и значение. А я ведь еще с 6-го класса гимназии знала, что из всех наук самая интересная — наука об обществе, и мое призвание именно здесь. Этим объяснялся и выбор юридического факультета, куда только революция открыла доступ женщинам. Конечно, я записалась в кружок Веры Оскаровны.

Редко можно встретить человека, обладающего таким четким, конкретным и в то же время образным мышлением. Широкое философское образование дало ей способность обобщения, но

¹⁸ Васильева, Клавдия Николаевна (урожд. Алексеева, 1886-1970) — вела антропософскую работу и в Москве, и в Петербурге. Вторая жена Андрея Белого. О ней см. предисловие в кн.: К.Н. Бугаева. *ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ*, ред. J.E. Malmstad (Berkeley, 1981). Она также написала воспоминания о Штейнере (1929, опубликовано в немецком переводе: K.N. Bugajewa, *WIE EINE RUSSISCHE SEELE RUDOLF STEINER ERLEBTE*. Verlag Die Pforte, Basel, 1987). О ее архиве см.: «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 38, с. 183.

WIE ERLANGT MAN ERKENNTNISSE DER HÖHEREN WELTEN? (1904-05) Р.Штейнера.

¹⁹ Анисимова, Вера Оскаровна (1890-1967) — писательница, переводчица (печаталась под девичьей фамилией В.Станевич). О ней см. *КЛЭ*, т.7, с.141. Ее муж, Юлиан Павлович Анисимов (1889-1940) — поэт и переводчик.

DAS CHRISTENTUM ALS MYSTISCHE TATSACHE UND DIE MYSTERIEN DES ALTERTUMS (1902) Р.Штейнера.

²⁰ Анненкова, Ольга Николаевна (ум. 1949) — упомянута как кузина («Леля») поэта и критика Бориса Дика (псевд. антропософа Бориса Алексеевича Лемана, 1880-1945) на с.82 кн. Белого *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ* (Л., 1934) и на с.171 кн. Сабашниковой-Волошиной *DIE GRÜNE SCHLANGE* (изд. 1985 г.): «/.../ seine blonde, Knabenhafte und vogelartige Kusine Olga von Annenkov». Слушала курсы Штейнера в Европе, участвовала в постройке Гетанума в Дорнахе. Белый ее упоминает в своих *ВОСПОМИНАНИЯХ О ШТЕЙНЕРЕ*, с.223, 280. С начала ноября 1923 г. «бездомный» Белый жил в Москве у Анненковых на Бережковской набережной, на заводе Анилтреста.

эти обобщения не были абстрактными, а выливались в образы, которые, однако, отнюдь не «витали в облаках», а всегда выражали собой конкретное содержание того, о чем шла речь. Это был удивительный дар речи, блестящей по форме и богатой по содержанию. Эрудиция у нее была не меньше, чем у Бориса Павловича, но мировосприятие, а вместе с тем и восприятие антропософии — совсем другое; я бы сказала — художественное. Недаром в ее жизни такую большую роль играла музыка. Музыкальность природы и острый ум — две черты, часто противоречащие друг другу, у нее сливались воедино, создавая неповторимое своеобразие личности. Страстная, увлекающаяся натура, полная противоречий и в то же время в чем-то основном непоколебимо цельная. И люди к ней относились по-разному: одни (как и я), сразу поддавая под ее обаяние, оставались ей преданными, часто на всю жизнь, несмотря на все шипы и колючки, которых тоже было немало в ее характере. Другие, напротив, испытывали раздражение, даже враждебность. Щедрость, всякая — и чисто материальная и душевная, были ее свойством. В те мрачные годы она, случалось, не задумываясь отдавала последнее полешко, последнюю горсть муки. А уж свое умственное и душевное богатство она расточала без удержу, иной раз по малодостойному адресу. Оба ее мужа принесли ей много горя, некоторые годы ее жизни были просто мученическими, и нужно было непоколебимое душевное благородство, чтобы это вынести. Да, она бывала и жестока, и несправедлива, и резка, но все это — оболочка, руда, внутри которой слиток чистого золота. И кто его увидел и почувствовал, оставался ей предан на всю жизнь. Мне кажется, что многое в этом характере объясняется ее происхождением. Она была не родной, а приемной дочерью пензенского врача Станевича; были довольно обоснованны предположения, что ребенок был подкинут ему из цыганского табора, кочевавшего в тех краях. Цыганские черты можно видеть и в ее музыкальной и вообще художественной одаренности, и в страстности темперамента, и в более глубоких свойствах души — способности любить преданно и жертвенно. И еще одно в ее существе может быть идет оттуда же: черты атавистического ясновидения. Она эти способности не развивала, даже страшилась, но они у нее были — это я испытала на себе. Неся все это «цыганство» в себе, она прошла строгую школу мысли, сначала классической философии на Высших Женских Курсах, главным образом у Б.А. Фохта²¹, а затем — целиком отдавшись науке антропософии.

²¹ Фохт, Борис Александрович (1875-1946), философ-кантианец (последователь Когэна), проф. Московского ун-та. Автор комментированных (см. след. стр.)

И кто знает — может быть, ее призванием в этой жизни было развить это атавистическое ясновидение, очистить его и поднять для входа в истинное ясновидческое познание; первая его ступень — имажинация — ведь была ей так близка! Но она уклонилась. Почему? Это — тайна индивидуальности и не нам о ней судить. После ее смерти, в ее архиве, мне встретилась беглая, на клочке бумаги, запись. Может быть, она скажет о ней больше, чем все мои неуклюжие попытки характеристики:

— Я варю суп — то это много,
Эта сама философия
В лице самой ничтожной служанки своей
Ходила на рынок и стряпает, неумело
Надев передник. Поэтому не требуйте
От меня уменья жен и таланта хозяек
Я среди них чужая, не мое это —
Облик, характер, салат, добродетель...
Мое — звезды над морем, горы и чудачки.
Да еще — сладостный вздрог от сознания,
Что понята мыслей система,
Что Кант пред тобою — как дерево
Со всеми ветвями и листьями;
Да мое еще — зовы симфоний
За пределы ведомых содержаний
Туда, где пульсирует как артерия
Единство вселенского Смысла.
И когда я умру и все, кто любил меня,
Забудут, меня вспомнят все те, кого я любила,
Камни, звездинки, звуки и чудачки.
Они согреют мое одиночество
И войдут в бессмертье мое.
Поэтому я вас прошу: не принимайте
Меня за ту, кем я не была и не буду;
И не судите меня за мои пути,
Только им я хочу быть верна,
Остальное — ложь и личина.

Вера Оскаровна прожила долгую жизнь, умерла в 1967 году. В этой жизни было многое и разное. Прекрасно зная языки, она

переводов Канта, Аристотеля, Гегеля. См. *НАЧАЛО ВЕКА* (М. 1933) А.Белого, с.351, и его же *ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКЕ*. — «Эпопея», №2, с.155. Он и «N.N.» в стих. Белого *ПРЕМУДРОСТЬ* (1908, УРНА): «Профессор марбургский Когэн, / Творец сухих методологий! / Им отравил меня N*N*. / И увлекательный и строгий».

специализировалась на переводах и в этой области достигла большого совершенства. Ее имя — В. Станевич — неизменно называлось среди лучших, ведущих наших переводчиков художественной литературы Запада. И в секции переводчиков Союза Писателей она работала много лет. В литературных кругах ее знали многие и на вечере ее памяти в Литиздате многие поминали добром. Но все это — за пределами моей темы, ведь я пишу только о Московском Антропософском Обществе 20-ых годов.

Но одного недоразумения, связанного с ее именем в последующих годах, я должна коснуться. Среди антропософов некоторые упрекали ее в «отступничестве», а другие еще хуже — в лицемерном угодничестве ради «карьеры». И то и другое неверно. Психологию таких «отступников» удивительно метко изобразил Пастернак в лице «перековавшихся» друзей Юрия Живаго. Он говорит приблизительно так (не имея подлинника, цитирую по памяти): «Человеческому свободному духу так противно всякое насилие, что он старается убедить себя, что это его собственное настоящее мнение, а вовсе не давление со стороны»²². Антропософию она даже сама перед собой законспирировала, не читала и не говорила о ней. Но антропософия в ней жила. Совсем незадолго до смерти она мне об этом прямо сказала, упомянув, будто вскользь — что ее духовный стержень — медитация «Die Sonne Schaeue...» А еще спустя некоторое время она взялась за перевод Автобиографии Штейнера²³, который я ей всячески навязывала, считая действительно, что только она может дать настоящий перевод этой книги, требующей философской эрудиции вместе с искусством находить формулировки тончайших оттенков мысли. Она взялась за этот перевод, но смерть опередила, у меня остались всего 2 1/2 главы в черновике.

И еще скажу, что Клавдия Николаевна — человек в антропософии бескомпромиссный, понимала мое отношение к Вере Оскаровне и его полностью разделяла. «Я ее очень люблю», — говорила она. И, даря ей сборник стихотворений А. Белого, вышедший в 1965 году²⁴, она написала: «Дорогой Вере Оскаровне на память

²² См. «Окончание, 7» *ДОКТОРА ЖИВАГО*, особенно с.493-94 (изд. 1958 г.), где автор пишет о Дудорове, недавно отбывшем срок первой своей ссылки: «Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояния души в ссылке. Он говорил с ними искренне и нелицемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями /.../. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю».

²³ *MEIN LEBENSANGANG* (1923-25).

²⁴ Сб. А. Белого *СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ*. (Библиотека поэта, большая серия) вышел в 1966 г.

о нашей многолетней дружбе и с благодарностью за ту радость, которую доставляли мне ее высокохудожественные переводы. К. Бугаева. 19 июля 1966 г., Москва-Снегири-Москва». Упоминание о Снегирях не случайно. Там оба семейства — Васильевы и Анисимовы жили вместе на даче в 1916-м или 1917-м году, только что познакомившись в Антропософском Обществе. И подружились крепко, на всю жизнь. В этом имени закоспирированы истоки этой связи — встреча в Антропософии. Говорю со слов самой Клавдии Николаевны, так пояснившей мне эту надпись.

Клавдия Николаевна Васильева (во втором браке Бугаева) — совсем другой человек и внутренне, и внешне. Небольшая легкая фигурка, спокойные, какие-то музыкально ритмичные движения. Красивая ритмичная походка была ее особым свойством, впоследствии еще развитым в эвритмии. И говорила она спокойно и просто, но всегда очень по существу. Любовь к шутке, юмор тоже всегда как бы играли вокруг ее лица, смягчая категоричность суждений, нисколько не умаляя этим убежденность в их истине. Но только заглянув в ее глаза, вы чувствовали то, что, на мой взгляд, можно определить как основу всего ее существа. Я называю это «жар души». У нее были удивительные глаза. Описать их можно только одним словом — «лучистые», т.е. лучистые глаза, о которых Толстой не устает напоминать, говоря о княжне Марии Болконской. Они запоминались. Одну свою приятельницу, человека совершенно постороннего, я бегло познакомила с Кл. Ник. на каком-то концерте (моя приятельница была машинисткой и предполагалось, что ее работа понадобится Кл. Н.). Знакомство продолжения не имело, но моя приятельница много лет в дальнейшем постоянно спрашивала меня о «той даме, с которой вы меня познакомили на концерте, у которой такие удивительные глаза». Трудно описать, какой ореол окружал ее в Обществе. «Старшие» говорили «Клодя», и в их голосе звучала нежность; «младшие» говорили «Клавдия Николаевна» с восхищением и почитанием. Ее авторитет был непохож на авторитет, например, Бориса Павловича, но он был необычайно высок. Было в обычае именно к ней приходиться с разными «личными» вопросами в антропософии. Она сама никогда не претендовала на такую роль «исповедника», но так получалось. К ней приходили не только из ее кружка, но и из других. Приходила и я, хотя в ее кружке не состояла. Меня к ней тянуло. Она была очень умна, это свойство замечали в ней прежде всего, даже люди со стороны. Но ум этот и эрудиция были согреты вот тем «жаром души», который в ней горел и согревал души тех, кто с ней соприкасался. Случилось мне как-то услышать ядовитое замечание недоброжелателя: «Антропософы

как хлысты, у них даже своя богородица есть для радений». (Это было сказано, когда пошли слухи об эвритмии). Это, конечно, глубоко неверно, потому что нет может быть большей противоположности, чем между антропософией и хлыстовством. Да и сама Клавдия Николаевна больше чем далека от какой бы то ни было экзатичности. Но роль Клавдии Николаевны как некоего «душевного центра» здесь, пожалуй, подмечена верно. Позднее многое изменилось, когда А.Белый как бомбой взорвал гармонию дома Васильевых, и эта бомба детонировала среди окружающих людей. Но я пишу об Антропософском Обществе начала 20-х годов, когда эта гармония была в полной силе, и свет ее светил многим душам.

Вспоминаются наши вечерние, верней — ночные возвращения из Общества. С Кудринской площади по Смоленскому бульвару топает наше Пречистенско-Арбатское землячество. Посреди бульвара между сугробами вьется протоптанная пешеходами дорожка. Кругом темнота, весь вечер мы мерзли или плакали от дыма, дома ожидает весьма скудный ужин и такая же полухолодная комната. Но нам весело, в душе подъем и от того, что только что было узнано, почувствовано, и оттого, что впереди — Клавдия Николаевна. Вот она — под руку с Петром Николаевичем; оба небольшие, легкие, складные. Они шутят, смеются. Петр Николаевич — чудесный человек, все его любят. Всегда веселый, улыбочивый, а главное — он муж Клавдии Николаевны, ее друг и защитник²⁵. За этой легконогой парой — другая, более солидная и крупная: сестра Клавдии Николаевны Елена Николаевна, высокая, красивая, и ее муж Сергей Матвеевич Кезельман²⁶. Внешне очень ладная пара, но мне уже известно, что между ними внут-

²⁵ Васильев, Петр Николаевич — врач, первый муж К.Н. Алексеевой. В 1920-е годы жил с женой и ее родными в «подвале на Плющихе» (Плющиха, д.53, кв.1). В письме Иванову-Разумнику от 16 августа 1928 г. (ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед. хр. 19) Белый писал о нем и его жене: «Мы с К.Н. *вместе* (и работаем, и морально мыслим, и вместе ищем, взявшись за руки) уже с 1918 года. /.../ Петр Николаевич человек благородный, честнейший и сияющий сознанием стать на уровне проблемы *Пути*; увы, — у него слабая воля и *страстное*, ревнивое сердце; он мучается нашей близостью с К.Н. тем сильнее, чем яснее видит, что сказать тут нечего. Он прекрасный человек, умный доктор, изумительно музыкально одаренный, но... — несмотря ни на что он с 1910 г. (года женитьбы) до 1928 г. все еще погибает от *безнадежной* любви; и ведет порою себя, как капризный ребенок». Был арестован в мае 1931 г. и выпущен в июле; развелся с женой, которая вышла замуж за А.Белого 18 июля 1931 г.

²⁶ Кезельман, Елена Николаевна — сестра К.Н. Васильевой-Бугаевой. О ней см. *ПИСЬМА А. БЕЛОГО К Е.Н. КЕЗЕЛЬМАН*. . «Новый журнал», №124, 1976, и ее воспоминания о Белом *ЖИЗНЬ В ЛЕБЕДЯНИ ЛЕТОМ 32-го ГОДА* (в кн. К.Н. Бугаевой *ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ*). Лебедянь — место ее ссылки на 3 года, когда она была арестована вместе с другими антропософами в 1931 г.

ренной гармонии нет. Но для обеих Клавдия Николаевна — предмет нежной любви и восхищения. На Смоленской площади прощаемся. Они идут направо по Плющихе, а остальная свита расходится по своим арбатско-пречистенским переулкам. Незабываемые встречи, забываемые вечера!

Кроме упомянутых трех лиц, кружки начинающих вели и другие члены Общества. Выдающуюся роль среди них играл Михаил Павлович Столяров — литературовед, критик и переводчик²⁷. Он печатался в тогдашних журналах и, конечно, владел словом. Но я затрудняюсь что-либо сказать о нем, так как странным образом у меня не было с ним никакого «контакта»: что бы он ни говорил — в Обществе или на лекции — я его просто не понимала. И во все не из-за какой-либо особой сложности или «заумности» его слов — это как раз не могло бы меня отпугнуть. Он говорил как будто просто, но меня начинало неудержимо клонить ко сну. Иногда, особенно на собраниях в Обществе, это было сущей бедой: все усилия уходило на то, чтобы неприличным образом не заснуть. И не от скуки, конечно. Назвать его выступления скучными было бы в высшей степени несправедливо. Его ценили очень серьезные и взыскательные люди — Вера Оскаровна с ним дружила, Клавдия Николаевна — тоже. И молодежь из руководимых им кружков очень к нему тянулась, искала его общества. Он был несомненно очень авторитетным членом Антропософского Общества, одним из «старших», даже не имея ореола личного знакомства со Штейнером. Было бы очень хорошо, если бы кто-либо из его тогдашних учеников поделился своими впечатлениями о нем, как о человеке и антропософе несомненно незаурядном. Это могло бы дать более объективный его образ, так как мои суждения о нем, очевидно, не могут быть свободны от предвзятости.

Кружок вела и Лидия Васильевна Калинкина, педагог, методист дошкольного воспитания, очень ценимый специалист в своей области. У нее был своеобразный состав кружка: 5-6 очень молодых 20-ти летних девушек разных профессий и среди них — два человека весьма солидного возраста: моя мама Нина Петровна Жемчужникова, ей было тогда за 50 лет, домохозяйка без специальности, и приблизительно того же возраста Николай Павлович Чернявский, юрист. Несмотря на это, кружок был очень дружный, сплоченный и между собой и вокруг своей руководительницы.

²⁷ Столяров, Михаил Павлович (1888-1937) — философ, литератор, помощник председателя (А.Белого) в Совете московского отделения «Вольфилов», член совета московского А.О.

Совсем особое место в Обществе принадлежало Маргарите Васильевне Сабашниковой²⁸. Этому способствовало и обаяние ее личности, а особенно ореол долголетнего пребывания в ближайших к Штейнеру кругах, участие в Дорнахской стройке. В ней мы видели живую связь с Дорнахом, со Штейнером, с антропософией с самого ее зарождения, когда еще не существовало нашего Общества, одной из учредительниц которого она была. В своих Воспоминаниях, вышедших уже в конце ее жизни в Штутгарте на немецком языке, она рассказывает о своей работе в Москве в эти годы — 1917-22 гг. Я очень мало видела ее лично, первые два года — 1917-19 гг. я еще не была членом Общества, а кружок начинающих проходила не у нее, а у Бориса Павловича. Зимой 1919-20 гг. она тяжело болела сыпным тифом и на собраниях Общества не бывала. Весь 1921 год она жила в Петрограде, а по возвращении в 1922 году скоро уехала за границу совсем. Но она совершила огромной важности дело: принесла нам эвритмию. В ее эвритмическом кружке я лично не участвовала опять-таки по своему «периферическому» тогда положению в Обществе. Но получилось так, что встреча с эвритмией, верней с Маргаритой Васильевной в эвритмии, стала одним из сильнейших, ярчайших и всю жизнь незабываемых впечатлений тех лет. Было так. На Рождественском собрании, вероятно 1920-го года, выступил эвритмический кружок, руководимый Маргаритой Васильевной. Была показана 2-ая глава Евангелия Луки: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление...» (ст. 1-14). Начинающие эвритмистки знали только гласные звуки и выполняли их движениями рук. Так как согласных в каждом слове обычно больше, чем гласных, то для синхронного их исполнения требуется более быстрый темп. Кроме того, внутренняя жизнь читаемого текста выражается движениями ног, вычерчивающих на полу определенные формы. Это могла тогда только сама Маргарита Васильевна.

Эвритмистки — все в белом — стояли полукругом. Впереди, в центре эллипса, образуемого полукругом эвритмисток и до-

²⁸ Сабашникова, Маргарита Васильевна (1882-1973) — художница, дочь кяхтинского купца В. Сабашникова, двоюродного брата издателей М. и С. Сабашниковых. Первая жена М. А. Волошина. Автор книги о Серафиме Саровском (М., 1913) и книги воспоминаний, вышедшей по-немецки: *DIE GRÜNE SCHLANGE* (первое изд. в 1954; послед. изд. — 1985). Одна из первых русских учениц Штейнера, много лет жила в Дорнахе, где участвовала в постройке Геганума. С начала революции бросила работу там и вернулась (в plombированном вагоне с эмигрантами) в Россию (см. с. 303-309 ее воспоминаний, изд. Fischer Taschenbuch Verlag, 1985). Работала секретарем в Отделе живописи Пролеткульта, в ТЕО Наркомпроса. Умерла в Германии. См. также *MARGARITA WOLOSCHIN. LEBEN UND WERK.* (Stuttgart, 1982). Ее брат Алексей тоже был активным членом А. О.

полняющим их полукругом зрителей, стояла Маргарита Васильевна.

Торжественно звучали хорошо знакомые слова, плавно текли воздушные движения белых фигур, освещенных мягким светом свечей на елке. А впереди — то была уже не Маргарита Васильевна, знакомая нам личность! Высокая, тонкая, овеванная белым сиянием покрывала, развевающегося от ее движений, она превратилась в белое пламя. Руки, вместе с хором стоящих сзади эвритмисток, выпевали гласные, а вся фигура трепетала и двигалась именно как пламя горящей свечи. Но это были не беспорядочные случайные трепетания свечи, горящей на ветру. Это была музыка, песня, исполненная высокого Смысла. Лицо, слегка поднятое вверх, свободное от всяких эмоций, отрешенное лицо в молитве или медитации. А все тело, в полной гармонии с развевающимся вокруг него одеянием, облегающим его, движущимся вместе с ним в едином звучании великих слов: «Слава в вышних Богу...» Это был действительно «священный танец», молитва, на миг ставшая зримой, живая музыка: «И родила Сына своего, первенца...» И какая же сила подлинного священнодействия была в этом зрелище, если теперь, спустя полстолетия, воспоминание о нем живет в душе, как свечка, зажженная в Вербную Субботу в храме и в ладонях пронесенная сквозь бури жизни. И светится в ней — благодарность.

В своих Воспоминаниях Маргарита Васильевна пишет: «После лекции* он подошел ко мне и спросил: "Смогли ли бы вы это протанцевать?" Вопрос не удивил меня потому, что с детства я испытывала потребность "протанцевать" всякое глубокое переживание, а что Штейнер "все знает", — в этом я не сомневалась. Я ответила: "Я думаю, что можно протанцевать все, что чувствуешь". — "Но именно о чувстве и шла сегодня речь". Эту фразу он повторил и некоторое время постоял еще, смотря на меня, как будто чего-то ожидая. Но я ничего не спросила. Осенью того же года, после лекции о соответствии ритмов в космосе и в человеке, он подошел ко мне и сказал: "Танец — это самостоятельный ритм. Ритм танца ведет к праязпам мира. Танцы нашего времени — вырождение древних храмовых танцев, через которые познавались глубочайшие мировые свершения". И снова он постоял около меня, как бы в ожидании, и снова я ничего не спросила. Я не понимала тогда, что слова Учителя всегда только намек, не затрагивающий свободу ученика. Чего он ждал, я поняла позднее, через 4 года, когда на вопрос одной ученицы он изложил основы эврит-

* Первая лекция из цикла об Евангелии Иоанна.

мии, нового искусства движения. Вопрос должен быть задан, тогда только он отвечал»²⁹.

Приходится горько пожалеть, что Маргарита Васильевна дважды прошла мимо, не откликнулась на призыв Штейнера послужить проводником эвритмии в мир. В руках Марии Яковлевны эвритмия пошла по пути искусства. Марии Яковлевне [фон Сиверс] принадлежит огромная заслуга в том, что эвритмия вошла в антропософскую педагогику и медицину³⁰. В руках педагогов и врачей она служит великому Общему Делу — осветлению душ. Но священнодействием, «священным танцем», предназначенным нашей эпохе, она не стала. А ведь именно об этом высочайшем назначении эвритмии говорили слова Штейнера, обращенные к Маргарите Васильевне. Мне же через нее были даны эти незабываемые минуты, о которых я могу сказать только перефразируя слова Зеленой Змеи (из гетевской Сказки), которые сама Маргарита Васильевна поставила эпиграфом к своим Воспоминаниям: «Я была в Храме, я видела священнодействие...»³¹. За это ей моя благодарность и глубокий поклон.

В ряду самых ранних и ближайших учеников Штейнера встает еще одно имя — Ольга Николаевна Анненкова. Ее престиж стоял очень высоко. Ведь именно ей Штейнер дал право «гаранта», т.е. право принимать в Общество. Кроме нее, таким правом обладал только Борис Павлович Григоров. (Вероятно, были и другие, например в Петербурге, но я говорю только что знаю о московской группе). Может быть потому, что ею был сделан перевод книги «Христианство как мистический факт и мистерии древно-

²⁹ См. *DIE GRÜNE SCHLANGE*, изд. 1985, с.197. Ученица — Lory Maier-Smits (Майер-Смитс, 1883-1971), о которой Белый писал: «Не было бы Смитс, — не было б эвритмии; когда Смитс сама поработала над проблемою связи пластики со словом [в 1912 г. — Дж.М.], то и он [Штейнер. — Дж.М.] весь ушел в ответ ей; по мере разрастания эвритмии, он все более лично работал в этом направлении; выросла отсюда: проблема слова» (*ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ*, с.43). О ней см. также: *DIE GRÜNE SCLANGE*, изд. 1985, с.264.

³⁰ Фон Сиверс, Мария Яковлевна (von Sivers, 1867-1948) — «русская немка» (родилась во Влоцлавске, провела молодость в Петербурге). В 1895-97 гг. занималась искусством декламации в Париже, с 1902 г. стала близкой сотрудницей Р.Штейнера в немецком отделении Теософского Общества, затем в А.О. В 1914 г. вышла замуж за Штейнера. Образ ее личности заключал для А.Белого «огромность в духовном плане» («Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора (1923)» — ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед.хр.3). Умерла в Швейцарии. О ней см.: *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ* А.Белого и *AUS DEM LEBEN VON MARIE STEINER-VON SIVERS* (Dornach, 1956).

³¹ «Der Tempel ist erbauet... Noch ruht er in den Tiefen der Erde, sagte die Schlange. Ich habe die Könige gesehen und gesprochen... Ich hörte die grossen Worte im Tempel ertönen: es ist an der Zeit» (*AUS GOETHE'S «MÄRCHEN»*).

сти», для меня с ее именем связалась атмосфера мистерии, атмосфера «эзотерической школы», в которой она, как это было известно, участвовала в Дорнахе. Но в ней при этом был какой-то особый налет, которого не было у других, о которых было тоже известно, что они — участники этих особых эзотерических занятий Штейнера. Это был налет какой-то отделенности от окружающих. Голову она держала несколько склоненной, поэтому взгляд получался как бы исподлобья, неоткрытый. Может быть, ее связи с литературным миром — Бальмонт, Вячеслав Иванов, Волошин, вероятно и другие знакомства из того же круга, сообщили ей этот налет своеобразного снобизма. Собеседником она была интереснейшим, особенно в объяснениях древних легенд и мистерий в их оккультно-мистическом значении. В этой области, как видно, у нее были большие знания. Но в общем ее образ оставался для меня как бы «зашифрованным», но странным образом, без особого желания его «расшифровать». Я проходила мимо нее «сторонкой».

Среди наших «старших» очень заметны были еще двое: Михаил Иванович Сизов и Трифон Георгиевич Трапезников³² — оба

³² Сизов, Михаил Иванович (1884-1956) — физиолог, педагог, критик и переводчик (псевд.: М.Седлов, Мих. Горский и др.). Близкий друг А.Белого, один из «аргонавтов» (о них см. статью А.В. Лаврова *МИФОТВОРЧЕСТВО «АРГО-НАВТОВ»*). — В кн.: *МИФ — ФОЛЬКЛОР — ЛИТЕРАТУРА*. Л., 1978), сотрудник издательства «Мусaget». О нем. см. *НАЧАЛО ВЕКА* А.Белого, с.356-357. Его первая жена, Ольга Павловна, — врач, участвовала в московских теософских кружках и, как и он, в постройке Гетеанума. Вторая жена — Людмила Вячеславовна, — антропософка.

Трапезников, Трифон Георгиевич (1882-1926) — историк искусства, один из ближайших друзей А.Белого («в антропософии») после 1912 г., когда они сблизилась в Мюнхене, где оба слушали курс лекций Штейнера. С 1913 по 1916 работал в Дорнахе над постройкой Гетеанума. Вернулся в Россию в 1917 г. (был призван в армию), где он «с начала 1918 года становится едва ли не главным организатором /.../ "Отдела Охраны Памятников", в котором работает до смертельной болезни в 1924 году; в 1924 году едет лечиться за границу и долго умирает у своего приятеля (с 1910 года) Бауэра (антропософа)». («Заявление Андрея Белого Советскому Прокурору Катаняну». Подано 27 августа 1931 года. — «Новый журнал», №124, 1976, с.157). Одно время заменял Григорова в качестве председателя московского отд. Р.А.О. Об этом периоде Белый пишет в своем «автобиографическом письме» Иванову-Разумнику: «/.../ в Москве мы [с ним. — Дж.М.] оказались в кармическом контакте, вызвав к жизни группу *Ломоносова*» («Cahiers de monde Russe et Soviétique», 1-2, 1974, с.70). Он умер в Breitbrunn am Ammersee в доме вдовы поэта Кристиана Моргенштерна. М.В. Сабашникова, с которой он много лет был в близком контакте, написала о нем в своих воспоминаниях, а также написала его портрет в 1926 г. О нем см. также *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ И ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ* А.Белого; *ПО ПОВОДУ «ИНСТИТУТА ИСТОРИИ ИСКУССТВ»* А.Тургеневой («Мосты», №12, 1966, с.358-60). и ее же: *АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР* («Мосты», №13-14, 1968, с.248). См. также: гр. В.П. Зубов. *СТРАДНЫЕ ГОДЫ РОССИИ*. 1968, с.80-87.

«дорнахцы», участники Дорнахской стройки и Дорнахской «эзотерической школы» Штейнера. Внешностью оба очень «европейцы», но по внутреннему существу — противоположности. Михаил Иванович — с юности сподвижник А.Белого, еще со времен «аргонавтов», затем Мусагета. По образованию — естествовед, а по склонности — знаток самой разнообразной оккультно-мистической литературы — печатной и сохраняемой в тайне. Так как «изучение» подобных вещей во многих случаях требует личного участия в тех или иных кругах, то ему случалось «бродить по тропинкам», оставляя на время магистраль антропософии, которую он однако никогда не упускал из своего кругозора. Маяком ему была — личность Штейнера, к которому он питал прямо-таки женственную нежность. Позднее я с ним ближе познакомилась и могла за этой некоторой зыбкостью его душевного облика почувствовать крепкий стержень духовного благородства и настоящей человеческой доброты. Даром слова он не обладал, говорил медленно и как бы затрудненно. В его высказываниях мне часто многое оставалось непонятным. Он говорил как думал, не заботясь о популяризации своей мысли, а я тогда по своему уровню слишком далеко отстояла от глубины его эрудиции. Держался он очень просто и дружелюбно, но тем не менее на всем его облике лежала печать какой-то значительности, отнюдь не назойливой, но притягивающей внимание. Высокий, красивый, для женских сердец неотразимо обаятельный и сам к ним весьма и весьма чувствительный, он вместе с тем казался каким-то пришельцем издалека. Его легко можно было представить себе в торжественном одеянии жреца. Но и в самом обыкновенном пиджаке, входя в комнату, он вносил с собой атмосферу «инобытия», в котором чувствовалось нечто очень важное и немного загадочное.

Один человек, очень проницательный и хорошо его знавший, сказал как-то: «Михаил Иванович — прекрасный рыцарь, но вместо сердца у него сливочное масло». В устах этого человека слово рыцарь означало гораздо больше, чем простая историческая метафора. Оно означало высокую духовно-мистическую сущность, в духе, например, Парсифаля. И если в его глазах «сливочное масло» в сердце (большой порок с его точки зрения), тем не менее, не разрушало в нем «Парсифаля», то этому можно верить.

Такое же впечатление значительности «инобытия» сопровождало и фигуру Трифона Георгиевича Трапезникова, но совсем по-иному. Тоже один из самых ранних учеников Штейнера, участник Дорнахской стройки. По специальности искусствовед, учился и получил звание в Мюнхене (его дипломная диссертация на немецком языке встретила мне в архиве Веры Оскаровны; я отдала

ее в библиотеку Музея изобразительных искусств им. Пушкина)³³. Наружность и вся вообще манера держаться были примечательны. Среднего роста, двигавшийся и говоривший с каким-то неторопливым изяществом. Первое, что приходило на ум при виде него: «вот европеец, европеец с головы до ног»; европейская культура, казалось, просто исходила от него, и никакие валенки и немыслимые шапки (20-е годы!) этого погасить не могли.

Хочется привести здесь отзыв Фед. Степуна в его воспоминаниях «Бывшее и несбывшееся» (вышли в Нью-Йорке в 1956 г.):

«...Трифон Георгиевич Трапезников, талантливый историк искусств, нервный, тонкий, всегда изысканно одетый человек, с подлинной аристократической, несмотря на купеческое происхождение, внешностью. За эту внешность известный читалкинский остряк Борис Эммануил при каждой встрече неизменно называл его "Три-фон-Трапезников"».

И дальше, при описании вечера с танцами: «аристократический Три-фон-Трапезников не танцевал, т.е. не прыгал и не крутился. Под размеренно мелодичные звуки па-де-катр или миньон, он с неподражаемым старомодно-декадентским изяществом ритмически прогуливался по залу с самую изящною дамою вечера»³⁴.

Но главное всего было его лицо. Мне оно казалось похожим на лицо Доктора. Не внешним сходством (его не было), но какой-то «проработанностью» всех черт, той глубоко скрытой и в то же время ни от кого не таимой внутренней жизнью, которая так пленяет в лице Доктора. Значительность — вот чем веяла вся эта фигура, просвечивала в этой сдержанности и спокойном достоинстве. Говорил он очень мало, в беседах по поводу прочитанного материала — почти никогда. Кружка никакого не вел, что делали почти все наши «старшие». Но сам читал текст — изумительно. Самая запутанная фраза (а русские переводы были у нас частенько прескверные) становилась прозрачной, вы схватывали в ней ее суть, ее главное, и оно оказывалось драгоценным. Одно его присутствие на наших собраниях внушало мысль об их значительности («эзотеричности», — сказала бы я теперь, тогда это слово мне в голову не приходило), чем самые блестящие и действительно иногда интереснейшие речи наших говорунов.

Одна из первых эвритмических постановок под руководством Маргариты Васильевны была первая сцена из Фауста — читка тек-

³³ Трапезников защитил свою диссертация *DIE PORTRÄTDARSTELLUNG DER MEDICEER DES XV JAHRHUNDERT* не в Мюнхене, а в Гейдельберге в 1909 г. Она была издана в том же году в Страсбурге.

³⁴ *БЫВШЕЕ И НЕСБЫВШЕЕСЯ*, т. I, Нью-Йорк, 1956, с. 119, 125.

ста в сопровождении эвритмии (она повторялась и после отъезда Маргариты Васильевны). Читать «роль» Фауста всегда поручалось Трифону Георгиевичу. Он надевал берет — и вы видели перед собой Фауста, все узнавшего, через все прошедшего и ничем не насытившегося — Человека с большой буквы. Таким было его лицо, освещенное настольной лампой.

Он работал в Отделе охраны памятников искусства и старины и пользовался там большим авторитетом. Он был тяжело болен, в 1922 или 23-м году уехал в Германию и там в 1926 году умер.

Его жена Любовь Исааковна, урожд. Красильщик, музыкантша. Добрейшее существо с прекрасными глазами библейской Рахили. В молодости она училась музыке в Дрезденской консерватории. Там они и встретились, и поженились. Гармонии не получилось, слишком они были разные люди. Брак был недолговечен. До конца жизни (в 60-ых гг.) она дружила с Клавдией Николаевной. Кроме антропософии их очень сближала еще и любовь к музыке.

В круг московских антропософов «первого призыва» входит и Алексей Сергеевич Петровский³⁵. Близкий друг А.Белого, вместе с ним прошедший весь путь от «аргонавтов» до Дорнаха. Упоминания о нем встречаются в ряде сочинений А.Белого. Я мало что могу сказать о нем, лично я с ним почти не общалась. Препятствием явилось то, что он довольно сильно заикался, а я никак не могла преодолеть мучительного чувства от его трудных усилий, которых ему стоило всякое слово. Те же, кому удавалось с ним разговориться, находили, что в дальнейшем разговоре заикание почти пропадало и в его словах всегда были и глубокие знания, и большая сердечная теплота. Он был большим книголюбом и всю жизнь проработал в Ленинской библиотеке. В Обществе он тоже ведал библиотекой. На все вопросы он давал всегда исчерпыва-

³⁵ Петровский, Алексей Сергеевич (1881-1958) — «Мой вечный спутник по жизни» (А.Белый о нем), «прекрасный химик» (А.Белый. *НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ*. М.-Л., 1931, с.436), активный член кружка «аргонавтов» (см. *НАЧАЛО ВЕКА*, с.21-27) и «Мусагета». Около 1910-11 гг. стал антропософом, в 1914 г. участвовал в постройке Гетеанума в Дорнахе. Организовал библиотеку московского отд. Р.А.О. Многолетний сотрудник библиотеки Румянцевского музея, затем Библиотеки им. Ленина. Переводчик ряда философских (в том числе штейнверовских) и эстетических работ, среди них *ИСТОРИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАВЮРЫ XV-XVII вв.* П.Кристеллера (1939). Знаток истории мировой гравюры и коллекционер (см. каталог *ГРАВЮРЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ А.С. ПЕТРОВСКОГО*, изд. ГБЛ, отдел редких книг, М., 1980; там же много о его научной деятельности). Арестован, как и почти все московские антропософы, в 1931 г. Провел 2 года в ссылке — см. два письма Белого к нему (1931-32 гг.) в «Новом журнале», №122, 1976. Составил вместе с К.Н. Бугаевой и Д.М. Пинесом детальное описание литературного наследия Белого («Литературное наследство», 27/28, 1937).

ющие ответы. Если он чего-нибудь не знал в данный момент, он в следующий раз непременно приносил точный и детальный ответ — как по существу содержания тех или иных книг, так и справки библиографического характера. Сердечная дружба связывала его также с Клавдией Николаевной и всем ее кругом. Скромность была, кажется, его отличительной чертой. Клавдия Николаевна как-то смеясь сказала: «Алеша говорит, что когда его хвалят, ему кажется, что его обливают теплыми помоями». Мало кому придет в голову такое сравнение! Он умер в конце 50-х годов, и его жена, много моложе его, сохраняет о нем трогательную, нежно благодарную память.

Входя в Общество, я, конечно, прежде всего, искала ответов на «загадки бытия» и, находя их в щедром изобилии в сочинениях Штейнера, была счастлива. Но вместе с тем, важнейшее значение имели для меня и люди, в которых эти идеи жили. Чтобы почувствовать себя в их среде дома, среди родных, нужно *доверие*. Оно только и дает душе счастливую свободу дыхания. Для этого доверия мало одной интеллектуальной высоты, нужно ощущение моральной чистоты атмосферы. И в Обществе были люди, самое присутствие которых служило как бы ручательством: «да, здесь чисто, здесь веет дух добра». Такова была прежде всего Екатерина Алексеевна Бальмонт³⁶. В первый же раз взглянув в ее лицо, я всей душой к ней потянулась, но... за все время ни разу с ней не заговорила. В этом лице — оживленная, открытая готовность пойти к вам навстречу, ответить — именно ответить, ничего не требуя и не ожидая, а в полной вашей свободе. *Добро-желательность* — в точном этимологическом смысле слова — была в ней господствующим выражением. Но как я могла с ней заговорить? Она всегда была окружена людьми, явно к ней близкими, как могла я «вломиться» в этот круг? В ней самой, вместе с полной простотой и открытостью было что-то величественное, может быть, самая ее наружность этому способствовала. А вернее — в этом сказывалось богатство содержания ее внутренней и внешней жизни, о котором я — тогда 20-летняя девчонка — могла только догадываться. С ней было связано яркое имя Бальмонта, а я из-за какого-то ребяческого самолюбия чуралась знакомства со «знаменитостями». Еще до встречи в Обществе я слышала о ней от Надежды Николаевны Нотгафт, которая знала ее с юности по семье

³⁶ Бальмонт, Екатерина Алексеевна (урожд. Андреева, 1867-1950) — вторая жена К.Д. Бальмонта (с 1896 г.), переводчица, автор воспоминаний о Бальмонте. Ее портрет, написанный ее племянницей М.В. Сабашниковой в 1912 г., воспроизводится в кн. *MARGARITA WOLOSCHIN. LEBEN UND WERK* (Stuttgart, 1982). О ней см. также: *DIE GRÜNE SCHLANGE*, с. 33 и след.

Сабашниковых (Маргарита Васильевна Сабашникова — родная племянница Екатерины Алексеевны). Она отзывалась о ней с почтительным восхищением, тоже как младшая о старшей. И я, не заговаривая с ней, радовалась ее появлению и всегда мысленно с ней здоровалась: «Здравствуйте, Екатерина Алексеевна!» И старалась по возможности сесть сбоку так, чтобы ее видеть, насколько мое буржуазное воспитание позволяло «пялить глаза» на кого бы то ни было.

Вторым таким же «ручательством добра» в Обществе была Людмила Вячеславовна Кафка — жена Михаила Ивановича. В наружности ее тоже была своеобразная не внешняя, а идущая изнутри величавость, но совсем в другом роде, чем у Екатерины Алексеевны. В чертах лица Екатерины Алексеевны не было ничего специфически русского — темные глаза, удлинненный овал лица — это была очень европеизированная наружность, несмотря на ее чисто русское происхождение. У Людмилы Вячеславовны, напротив, главным были именно русские черты ее лица и всей манеры держаться. У Екатерины Алексеевны была подтянутая, даже в этом, уже пожилом возрасте, очень прямая осанка. У Людмилы Вячеславовны, напротив, в ее фигуре, несколько полноватой, и движениях преобладала мягкость. Широкое открытое лицо, серые глаза, ласковая улыбка большого красивого рта — все это было даже не столько русское, сколько скорей вообще славянское. Ее чешское имя необычайно шло ей, полностью сливаясь со всем ее обликом. «Чешская королева», — сказал о ней кто-то. Это было метко сказано. Позднее я с ней ближе познакомилась (в другом, не антропософском кругу) и могла убедиться, что первое впечатление излучаемой всем ее существом доброты не было обманчивым. Доброта — не просто как некое собственное чувство, а доброта самоотверженная, т.е. всегда активная, деятельная, была, пожалуй, ее главным свойством. Движение — помощь было ее первым естественным побуждением. Вероятно именно поэтому в ней совсем не было той практической беспомощности, которая считается традиционной чертой российского интеллигента. Оказавшись в гиблой дыре — нарымской ссылке — она завела корову. Некоторые, знавшие ее, потряслись: Людмила Вячеславовна — «чешская королева» — и корова! Да, была корова, потому что в тех условиях это было практически верным способом спасения и себя, и тех, кому можно было помочь. А когда удалось перебраться в другие условия — в город Калугу — нашлось и другое практическое средство — уроки немецкого языка. Когда она в 30-ых годах приехала в Калугу, она была совершенно одинока: не только в этой самой Калуге, но и в Москве у нее в то

время никого близких — родных и друзей — не было: одни умерли, другие уехали, третьи были разбросаны по ссылкам. Но ее сердце не могло оставаться пустым. И с семьей, где она поселилась, создалась крепкая связь на всю жизнь. Она так сжилась с ними в самые тяжелые военные и послевоенные годы, что действительно стала у них «второй бабушкой». В первый раз я побывала у нее в конце 40-ых годов, когда я еще не могла жить в Москве, но уже работала и приезжала в отпуск. Рассказывая о своей жизни, она между прочим сказала: «А читаю я теперь только детские книжки и Евангелие». На мой вопрос — не надо ли ей привезти что-нибудь из книг Доктора, она ответила как-то особенно задушевно, понизив голос: «Нет, не надо. Я помню все, что надо помнить, а о книгах пришлось бы говорить с Ольгой Николаевной, мне этого не хотелось бы, это ее может огорчить». Та была очень верующая православная. Но, как видно, и это «расхождение» не могло подорвать соединившую их связь любви. Она умела хранить и старую любовь. Поэтому, вероятно, и ее старые друзья оставались ей верны. Так, даже Михаил Иванович, который за протекшие 30 лет был еще дважды женат, в последние годы жизни (он умер в 1957 году) несколько раз был у нее в Калуге. «Он здесь всех очаровал», — сказала она с невыразимо прекрасной улыбкой и глаза ее светились. Да, этот человек обладал особым «чарованием» и до конца своей 80-летней жизни его сохранял. Я не видела его в эти последние годы, но была на похоронах, и, судя по тому, что говорилось его сослуживцами (он работал в какой-то научной редакции), «прекрасный рыцарь Парсифаль» жил в нем и был виден окружающим, ни о каких Монсальватах не помышляющим. Может быть, здесь интересно вспомнить отзыв Блока (в письме к матери 28 сентября 1907 г.): «Еще приходит иногда Борин друг — Сизов... очень серьезный и значительный человек».

Кончина самой Людмилы Вячеславовны была светлая. В канун Троицына Дня (1966-го или 1967-го года — точно не помню) она под вечер уснула. Проснулась очень светлая и тихая и сказала: «Я видела хороший сон, завтра я умру». — «Я порадовалась, — говорит Ольга Николаевна, — что она так хорошо поспала, а на "умру" и внимания не обратила». А она стала готовиться совсем по-русски: вымылась в ванне (у них в то время уже была хорошая благоустроенная квартира), сменила все чистое. Ночь спала очень спокойно, утром они поздравили друг друга с праздником. Потом она встала и пошла умываться, а выходя из ванной, на пороге упала. И умерла в тот же день, не придя в сознание. Смерть ее так потрясла Ольгу Николаевну, что она бук-

вально нервно заболела: никого не хотела видеть, ничего делать, повторяя: «Как же я буду жить без Людмилочки, как же я буду жить без нее?» Не прекрасный ли это Реквием более чем 80-летней жизни? Ольга Николаевна так и не оправилась от этого удара. Она очень тосковала, болела и через 2-3 месяца в том же году умерла.

Расскажу еще один эпизод, совсем пустяковый и смешной, но он почему-то довершил во мне чувство, что здесь, в Обществе, я нахожусь в родственной мне среде, как бы дома, на родине.

Однажды перед очередным собранием, когда еще не все собрались, вошло новое лицо: молодая девушка, высокая, тонкая, очень хорошенькая. Но она, видно, не была здесь новичком. Поговорив с тем, с другим, она отошла к расставленным стульям и вдруг — села на пол! Не потому, что не было мест, свободных стульев было достаточно. Нет, просто так. Вот захотела и села на пол! Сделала она это удивительно красиво, одним плавным грациозным движением. Я разинула рот, но не подавая вида потихоньку осматривалась — как же реагируют присутствующие? А никак! Полная свобода — захотела сесть на пол — пожалуйста! Экстравагантно? Конечно, — но это не причина «пялить глаза» и хихикать. «Здесь можно быть чудаком», — не сказала себе сознательно, но почувствовала я. И ужасно мне это понравилось! Дух свободы в идеях антропософии повеял духом свободы и в отношении людей. Смешной эпизод и, конечно, не он сам породил такое чувство. Оно уже было и росло во мне, а этот случай только послужил, так сказать, «последним мазком», толчком к осознанию. Мне сказали потом, что это — Мария (Магдалина) Ивановна Сизова, сестра Михаила Ивановича³⁷. Она была женой Викентьева (историк-египтолог), тоже члена Антропософского Общества, но, кажется, в то время уже разошлась с ним. Она училась в театральной студии (не знаю — какой именно). Этим, вероятно, и объясняется как самое желание сесть на пол, может быть, выполняя какое-то «учебное задание», так и грациозность этого движения.

³⁷ Сизова Мария (Магдалина) Ивановна (1899-1969) — писательница, театральная педагог и режиссер. Ее записи лекций Штейнера, слушанных в Германии в 1910-е гг., находятся в ее архиве в ГБЛ (см. «Записки отдела рукописей», вып.34, 1973, с.167). О В.В. Викентьеве см.: *DIE GRÜNE SCHLANGE*, с.109.

ДРУЗЬЯ И АНТРОПОСОФСКАЯ РАБОТА

Этим, пожалуй, завершается круг известных мне московских антропософфов «первого призыва». Нас, антропософфов второго поколения было, конечно, гораздо больше. И существовало много кружков и групп, объединившихся очень индивидуально для различных занятий. Помещение Общества — одна, хотя и большая комната, — не могла, конечно, вместить всех. Здесь происходили общие собрания — еженедельные, особые праздничные и другие; большинство же кружков занимались на дому, где позволяли жилищные условия того времени. Эти, большей частью небольшие по количеству участников, кружки очень сближали, в них завязывались крепкие индивидуальные связи. У каждого из нас была своя «встреча с антропософией», но здесь происходило некое общее событие — «встреча в антропософии». И такая встреча выливалась часто в близкую дружбу на всю жизнь. С Верой Оскаровной, кроме антропософских занятий, где она была дающим, а я получающим, нас сблизила сама жизнь, вплоть до семейных и бытовых переплетений. Кружок же, где встреча в антропософии происходила, так сказать, «на равных», состоял, кроме меня, из четырех человек: Марк Владимирович Шмерлинг, Александр Владимирович Уйттенховен, Елена Германовна Ортман и Сергей Матвеевич Кезельман. Мы собирались у Елены Германовны, она жила вдвоем с матерью и из прежней обширной квартиры у них сохранились две комнаты. Здесь была печка, которая хорошо грела и не дымила — большое благо в те годы. Здесь мы читали циклы и вели нескончаемые обсуждения прочитанного. Всем участникам было свойственно чувство духовной свободы и создавалась атмосфера, в которой каждый мог высказывать все, что ему было интересно или лично дорого, не натываясь ни на какие препоны. Беседы велись очень оживленно. Застрельщиком всегда выступал Марк. Активность — всегда и во всем — яркое свойство его натуры. Изучать — для него никогда не было просто воспринимать, усваивать; по поводу прочитанного он всегда был полон идей, соображений, сопоставлений; иногда слишком фантастических. Но его «догадки», не всегда убедительные, были согреты яркой эмоциональностью, свойственной его натуре, а потому непременно вызывали в ответ не простое отрицание, а желание самому активно продумать его мысли с тем, чтобы или обнаружить их несостоятельность или принять. Он умел думать и умел говорить и был поэтому всегда интересным собеседником.

Александр — полная ему противоположность. Из нас он был несомненно самым «знающим» как в смысле начитанности в ду-

ховно-мистической литературе, так и по своеобразию собственного духовного опыта. Раньше он был теософом и даже членом «Ордена Звезды». Встреча с А.Белым решила и его судьбу: он стал антропософом решительно и без колебаний. Однако дыхание восточной мудрости осталось в нем живым и окрашивало все его мировосприятие. Снаружи это выглядело как пассивность, созерцательность, но только снаружи — на самом деле и ему был свойствен «накал страстей», но только он был сдержан волей и глубоко запрятан вглубь. Внешняя же, иногда довольно беспорядочная эмоциональность, которая часто увлекает за собой и мысль, заставляя ее проноситься по поверхности там, где есть и глубины и пропасти, такая эмоциональность, которой зачастую отдавал дань Марк, была ему чужда и вызывала насмешку. Скепсис и ирония вообще были его «мундир». Но в сфере познавательной он был глубоко серьезен и требователен. Он требовал конкретности духовной мысли, не терпел расплывчатости. Именно в этом он был больше всего антропософом-штейнерианцем и учеником А.Белого. Он любил афоризмы и парадоксы. Марк же больше любил «излагать и доказывать». Но наша общая любовь — антропософия — сближала и их и делала друзьями, несмотря на происходившие между ними нередко стычки.

Мне была свойственна склонность к анализу; и хотя это зачастую не нравилось и тому и другому — каждому по-своему — но это давало мне возможность выявлять крайности и «заскоки» и утверждать что-то общее. А мне было необходимо в то время культивировать эту способность анализа потому, что я одновременно участвовала в семинаре по Гегелю у проф. Ильина³⁸. Сильнейший мыслитель и красноречивейший оратор — он просто как бурей увлекал за собой. Но увлекал-то — в пропасть той гегелевской «логической объективности», которая, подменяя собой живую духовную реальность, начисто отрезает тем самым путь к ней. И мне надо было постоянно внутренне сопротивляться этому нажиму, противопоставляя ему то, что было уже найдено в антропософии, но находить для этого формулировки, приемлемые

³⁸ Ильин, Иван Александрович (1882-1954) — философ-идеалист, с 1912 г. доцент Московского ун-та по философии права. Автор известной книги о Гегеле (*УЧЕНИЕ ГЕГЕЛЯ О КОНКРЕТНОСТИ БОГА И ЧЕЛОВЕКА*). Выслан из Советской России в 1922 г. Публикатору не удалось установить, является ли Екатерина Александровна Ильина, антропософка, переводчица Штейнера, участница постройки Гетеанума, — сестрой И.А. Ильина или не является. Об И.А. Ильине писала в своих *ВОСПОМИНАНИЯХ* (Париж, 1973) Евгения Герцык: «Способность ненавидеть, презирать, оскорблять идейных противников была у Ильина исключительна, и с этой, только с этой стороны знали его москвичи тех лет» (с.154).

в обстановке философского семинара. Конечно, я не могла и не хотела выступать там с изложением антропософских идей; я только задавала вопросы. Иван Александрович Ильин ценил мои вопросы потому, что они давали ему повод для подробнейших разъяснений своих идей, но, конечно, их скрытая установка была ему ясна. И предметом моей гордости — и вместе с тем сожаления, потому что занятия эти были чрезвычайно интересны — было то, что на следующий год Ильин меня не пригласил (в университете в то время занятий на нашем факультете не было, и свой семинар Ильин вел совершенно частным образом — «privatissime», как он говорил — в кругу лиц, ему лично знакомых). И объяснил причину: «Ей здесь делать нечего, она безнадежно застряла в "штейнерианстве"». Но в занятиях нашего кружка эта философская тренировка в то время не была лишней.

Елена Германовна, напротив, вносила в наши собеседования более лирическую нотку — соответственно женственности всего ее облика, — внешнего и внутреннего. Ей был свойствен также мягкий ласковый юмор, весьма кстати действовавший и на сарказмы Александра и на «воспылания» Марка.

Сергей Матвеевич большей частью ничего не говорил. Но он очень любил и ценил всяческую «игру ума» и тихо любовался нашей увлеченностью. А еще больше — самой Еленой Германовной. Между ними начиналось тогда сближение, которое впоследствии принесло Елене много горя, стало для нее причиной настоящей трагедии. Но в то время и в той обстановке тепло человеческого чувства (вместе с теплом печки!) сообщало нашим встречам окраску уюта и задушевности. И несмотря на большие несходства характеров, мы хорошо сдружились. Для меня — фактически на всю жизнь. Кроме Сергея Матвеевича, которого я по возвращении в Москву уже не застала в живых, близкие дружеские связи с остальными членами кружка продолжались: с Еленой до ее смерти в 1955 году, с Александром — до его смерти в 1965 году. С Марком — по сей день, и никакие внешние препятствия и разлуки не могут их разрушить.

В этом составе мы занимались два года. А затем возникла идея — нам самим выступить в роли руководителей кружка начинающих, преимущественно из молодежи еще более юной, чем мы сами. Елена Германовна и Александр уклонились, а мы трое взяли очень рьяно. Чтобы подготовиться к этой ответственной роли, мы решили прежде всего сами проработать книгу «Теософия», читая ее страница за страницей, обдумывая возможные вопросы и решая, какой еще дополнительный материал из других книг и лекций надо привлечь, что и как комментировать и пояс-

нять. Это была очень увлекательная и полезная для нас самих работа. Проработав таким образом больше половины книги (на это ушла целая зима), мы решили, что со следующей осени можно начинать кружок. Но — встретилось препятствие, совершенно для нас неожиданное: наши «старшие», наиболее близкие нам — Михаил Павлович и Клавдия Николаевна — сказали, что они против того, чтобы Марк вел вступительный кружок, что он несдержан и слишком субъективен, увлекается, забывая об ответственности, и проч. Аргументы неубедительные и несправедливые, Марк даже готов был считать, что истинная причина в недостаточной почтительности, проявленной им в каком-то выступлении. Оглядываясь теперь назад, я думаю, что это, конечно, неверно и истинная причина рождалась из чувства ответственности, может быть, иногда и гипертрофированного, свойственного нашим «старшим». Но тогда я кипела и склонялась к радикальному решению: не послушаться! Общество было только что закрыто, мы теперь каждый за себя несем ответственность перед антропософией. И никакие посредники, превращающиеся в средостения, не нужны. Но Марк, хотя и был очень расстроен таким недоверием к нему, нашел в себе силу подняться на более высокую и самоотверженную позицию (чем и доказал, вопреки мнению о нем, свою духовную зрелость). «Нет, — сказал он. — Ариман³⁹ всячески стремится нас разобщать, для того и Общество закрыто. Тем сильнее должны мы держаться за нашу внутреннюю духовную общность. Клавдия Николаевна и Михаил Павлович ведь и в Обществе никаких "административных" прав не имели. Их авторитет — авторитет духовный. И таким он и остается. А наша духовная сплоченность гораздо важнее всяких личных обид. Я не могу поступить вопреки их воле». Он был прав, конечно, и я это признала. Но как же быть? Выходило, что говорить в кружке, отвечать на вопросы и проч. придется мне одной! Сергей Матвеевич был очень полезен при предварительной проработке текста, внося нотку хорошей жизненной трезвости. Но говорить среди этих юных слушателей он не будет. Я же не чувствовала себя способной одна взять на себя эту задачу. Отказаться? Но мы так сжились с мыслью о кружке, так много уже вложили в его подготовку! Остановились на компромиссном решении: всю подготовку занятий будем проводить вместе, а на собраниях кружка Марк участвовать не будет. Это требовало от него большой самоотверженности и подлинно бескорыстной любви к антропософии. Конечно, он

³⁹ Ариман — в антропософии обозначает путь демонического соблазна, угрожающего «духовному Я» в стремлении к самопознанию, дух разложения и хаоса.

мог доверять мне, что его мысли будут донесены до слушателей бережно и неискаженно. Но ведь как дорого личное общение, как дорог непосредственный отклик слушателей на то, что ты им даешь! Его лишили этой радости, но он — устоял! Это очень подняло его в моих глазах.

Кружок собрался и прозанимался всю зиму 1923-24 года. Состав его был действительно очень юным. К сожалению, не помню ни одной фамилии. Было трое скаутов. Скауты — не просто спортивная организация, в ней всегда был большой идейный заряд морально-религиозного характера. Теперь, в новых условиях, эта англиканско-протестантская мораль многих не удовлетворяла. Их организация тогда тоже была только что уничтожена⁴⁰. Те, кто не принял атеистической советской идеологии, искали новых духовных идеалов. Один из них — явно вожак, при нем два «адьютанта» — был наиболее интересен. Студент зоолог, он уже кое-что читал из оккультно-мистической литературы, но не хотел это обнаруживать. Но в его вопросах этот специальный интерес проскальзывал. В отдельных с ним разговорах он прямо сказал, что хочет найти способ ввести в свою научную специальность — зоологию, которой он был очень предан, методы и достижения оккультизма. Звали его Павел, фамилии не помню. По окончании наших занятий, я «передала» его Михаилу Ивановичу и больше с ним не встречалась.

Еще были у нас несколько человек из театральной студии, руководимой тогда Ю.А. Завадским⁴¹, и кое-кто из литературно-поэтической молодежи, «завербованной» Александром (вероятно, через Сергея Спасского и Георгия Шторма, с которыми он был знаком)⁴². В общем — публика живая и любознательная, с ними было интересно заниматься, но требовало немалой собственной работы. Этому кружку я многим обязана.

⁴⁰ Об уничтожении организации скаутов — см. секретное постановление от февраля 1924 г., помещенное в: «СССР. Внутренние противоречия», 1985, №14 (раздел: Документы 1921-1927 гг.), с.159-161.

⁴¹ Завадский, Юрий Александрович (1894-1977) — с 1915 г. актер студии Вахтангова, затем МХАТа. С 1924 г. руководитель основанной им театральной студии. Режиссер, народный артист СССР (1948).

⁴² Спасский Сергей Дмитриевич (1898-1956) — поэт и прозаик, переводчик, в юности близок к футуристам. Друг А.Белого (с 1918 г.) и Б.Пастернака. В своих *МОСКОВСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ* Надежда Павлович писала о нем: «/.../ символист, ученик Андрея Белого, Вячеслава Иванова, все творчество его связано с антропософией, отчасти с В.Соловьевым». («Литературные записки», №2, 1922, с.8). О нем см. также: *КЛЭ*, т.7, с.118, где нет упоминания о том, что Спасский был репрессирован.

Шторм, Георгий Петрович (1898-1978) — писатель, историк литературы. О нем см. *КЛЭ*, т.8, с.801.

Приблизительно в это же время, кажется, в 1922 году, в Обществе возникло начинание, в котором Марк и я приняли большое участие. Инициатива принадлежала Вере Оскаровне. Мы говорили как-то о «Вольфиле» (расцвет Вольфилы принадлежит Петрограду, в Москве она не привилась)⁴³. Она находила, что Вольфила слишком «академична» и «философична» и что теперь нужны другие, более «демократические» формы духовного общения, более широкие как по кругу вопросов, так и по составу участников. Она рассказала, что еще в дореволюционное время, когда она училась на Высших Женских Курсах, в Москве существовала чайная, куда приходили люди из самых разных слоев «простонародья», желавшие поговорить и поспорить о «вере» — сектанты различных толков, староверы и православные, толстовцы и одиночки — «искатели веры». Вот эту-то истинно народную, спонтанно возникшую традицию и следовало бы теперь, в новых условиях, подхватить, расширить и организовать — не по типу «академии» или «ассоциации», а скорей по типу «клуба», открытого для посещения и встреч людей любых духовных направлений. Идея очень понравилась — Антропософскому Обществу выступить инициатором. Как назвать? Клуб — не годится, хотя и соответствует по смыслу. Вера Оскаровна нашла формулировку — «вольное содружество». Так и решили: «Вольное Содружество духовных течений». Она же написала и устав, очень короткий, вернее — декларацию с приглашением принять участие. Подпись — «Инициативная группа». Прежде всего решили обратиться к толстовцам. Идея вполне соответствует их целям, а у них неоценимое преимущество — помещение Вегетарианской столовой в Газетном переулке. Оно достаточно просторно и часто используется для докладов, лекций и пр. Там и наше Содружество могло бы приютиться. Действительно, среди толстовцев идея встретила полное одобрение и содействие. Переговоры велись, главным образом, с Валентином Федоровичем Булгаковым⁴⁴. Чудесный, обаятельный человек,

⁴³ О «Вольфиле», т.е. Вольной философской ассоциации, основанной в ноябре 1919 г. в Петрограде, — см. статью А.Белого *ВОЛЬНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ АССОЦИАЦИЯ*. — «Новая Русская Книга» (Берлин), №1 (январь), 1922, с.32-33. К организационному ядру «Вольфилы» примкнули: Блок, Белый, Иванов-Разумник, И.З. Штейнберг, Эрберг, А.А. Мейер и др. В сентябре 1921 г. открылось отделение «Вольфилы» в Москве. «Вольная Философская Ассоциация» сосредоточивает свое внимание на проблемах философии, религии, культуры, сознания и общечеловечности, взятых в свете кризиса жизни и в свете поисков положительных начал жизни и мысли» (А.Белый).

⁴⁴ Булгаков, Валентин Федорович (1886-1966) — писатель, мемуарист (*У ТОЛСТОГО В ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕГО ЖИЗНИ*), сторонник социально-нравственных воззрений Л.Н. Толстого, в 1910 г. его личный секретарь. С 1923 (см. след. стр.)

такая в нем жила сердечная теплота, душевная чистота, искренность и простота! Полная противоположность Черткову⁴⁵ — тот говорил всегда свысока и чувствовались в нем душевная жесткость и равнодушие. Кто-то сказал мне, что он в молодости был военным и служил в гвардии. Это в нем и осталось — гвардеец от толстовства! Очень приятен был и Шорох-Троцкий — весь какой-то тихий, кроткий, с глазами, сияющими добротой⁴⁶.

Обратились мы и к теософам. Я побывала у председательницы Теософского Общества — Софьи Владимировны Герье⁴⁷. Она была больна, лежала на диване, извинилась, что ей трудно сидеть. По поводу Содружества сказала, что, конечно, это очень хорошая и правильная идея и что она сообщит наш устав и наше обращение всем членам. Но за ее словами не чувствовалось никакого живого интереса, чувствовалось, что все это ей глубоко ненужно. Выходя от нее, я вздохнула свободно, как будто я вышла из склепа, где духовная жизнь спрятана глубоко, как в каменном футляре, и не хочет никакого общения и в нем не нуждается. В принципе я могла бы отнестись с уважением к такому затворничеству, но здесь было еще что-то невыразимо гнетущее, что вызывало жалость к ней лично.

Другим нашим партнером явился Христианский Студенческий Союз. Вот уж где не было ни следа «склепа»! Много солнца и свежего воздуха! Я не помню их вожаков, — переговоры с ними вела не я, а Марк, у него там были хорошие знакомые. Но я была раза два на их собраниях. Вера их была чиста и глубока, убежденность без примеси сектантства; здесь веяло духом свободы, открытости и благожелательства — как между собой, так и вовне. У них существовало обыкновение на собраниях рассказывать о себе, о своих переживаниях. В этом не было ни назойливости, ни стремления что-то утвердить, навязать другим. Доверчивые беседы друзей — в них была иногда наивная восторженность, но в то же время глубокая серьезность. И как иначе? Ведь они хорошо

по 1948 жил в Праге, в 1949 г. вернулся в Россию, работал научным сотрудником дома-музея Толстого в Ясной Поляне.

⁴⁵ Чертков, Владимир Григорьевич (1854-1936) — издатель-публицист, ближайший сотрудник Л.Н. Толстого и пропагандист его учения. До смерти — редактор собр. соч. Толстого.

⁴⁶ Шорох-Троцкий, Константин Семенович (1892-1937) — литературовед, последователь учения Л.Н. Толстого, член редколлегии юбилейного издания его сочинений, собиратель материалов, связанных с сектантством.

⁴⁷ Герье Софья Владимировна — переводчица, дочь знаменитого историка, профессора Московского ун-та В.И. Герье (1837-1919), организатора Высших Женских Курсов («Курсы Герье») в Москве (1872). Об архиве Герье и его семье см.: «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып.21 (1959).

знали, на что идут: выступая открытыми противниками атеизма, они ставили под удар все свое студенческое и послестуденческое будущее. Так и было: их Союз был вскоре уничтожен, участники разбросаны по ссылкам. Это послужило причиной решительного поворота в судьбе Марка: была сослана в Кустанай его невеста Татьяна Николаевна Ментова. Марк поехал за ней. Там они и поженились. Но это было потом, а тогда на наше обращение по поводу «Вольного Содружества духовных течений» они откликнулись очень живо. Правда, вступить в нашу Инициативную группу и подписать Обращение от лица своего Союза как организации они не захотели; участие в беседах Содружества предоставлялось личным интересам и желаниям членов. Многие ли из них посетили эти беседы — не знаю, ведь никаких записей и регистраций не велось.

Активными участниками бесед в «Содружестве» была молодежь из круга «анархомистиков». В то время существовали еще некоторые легальные объединения не только литературно-художественные и духовно-религиозные вроде нашего Общества, но и остатки политических организаций. Так, анархисты имели тогда легальную организацию с центром в Кропоткинском музее. Среди них было два течения: анархисты-коммунисты, или «кропоткинцы», и «анархомистики». (Необходимо иметь в виду, что это течение не имело ничего общего с тем «мистическим анархизмом», который в свое время проповедовал Г.Чулков⁴⁸. Эти сочинения не вызывали со стороны Солоневича ничего кроме насмешки.) Лидером этих последних был Алексей Александрович Солоневич — яркая личность, блестящий оратор, увлеченный и умеющий увлекать других⁴⁹. Вот как говорит о нем в своих «Воспоминаниях» один из его тогдашних учеников (Гориневский Георгий Валентинович — московский архитектор, жестоко пострадавший в лагерях. Воспоминания написаны им в последние годы жизни, после реабилитации. Он очень дружил с Александром. Умер в 1966 году): «Солоневич был сильным, активным человеком. Выступле-

⁴⁸ «Мистический анархизм» — философско-эстетическая доктрина, выдвинутая Георгием Чулковым (1879-1939), главным образом, в его кн. *О МИСТИЧЕСКОМ АНАРХИЗМЕ*, со вступ. статьей Вяч. Иванова *О НЕПРИЯТИИ МИРА* (СПб, 1906), и вызвавшая ожесточенную полемику в символистских кругах в 1907-08 гг., особенно со стороны Белого, увидевшего в мистическом анархизме «профанацию» основ символизма.

⁴⁹ О нем см. Paul Avrich. *THE RUSSIAN ANARCHISTS* (Princeton, 1967), с.228, 236. Его *ПАМЯТИ А.А. КАРЕЛИНА* было опубликовано в журнале анархистов «Пробуждение» (Детройт, США), №1, апрель 1927, с.5. Солоневич был арестован в ночь на 24 апреля 1925 и отправлен на Соловки (См.: «Дело Труда», Париж, №2, 1925, с.6; см. также: Paul Avrich op. cit.).

ния его, его лекции в аудитории Кропоткинского музея, сопровождавшиеся диспутами, были захватывающе интересны и остры. Его резкая критика марксизма приводила в ярость его оппонентов, бесспорно менее эрудированных, чем он. Они пользовались графаретной пропагандистской литературой, демагогичной и поверхностной, пригодной для втирания очков людям, не умеющим самостоятельно мыслить. А он мыслил самостоятельно, знал и цитировал первоисточники. В своих лекциях он касался не только социологических вопросов, но и вопросов общего мирозерцания, громил церковников не менее остро, чем материалистов. Убедительность речей Алексея Александровича, его умение излагать свои мысли, логика и широта его взглядов привлекали к нему молодежь, и все его лекции проходили при до отказа переполненной аудитории». Далее Горинский пишет: «В прошлом он был членом Антропософского Общества, от которого позднее отошел». Это верно, но слишком слабо сказано: он не просто «отошел», но резко порвал с антропософией и стал ее непримиримым противником, можно сказать — врагом. Всех людей он делил на три категории: физиков, психиков и пневматиков (греч. пневма — дух). Первые живут интересами тела, вторые — интересами души и только третьим ведома подлинная жизнь духа. Штейнера и всех его последователей он относил к категории психиков и считал антропософию вредной, потому что она сбивает с пути духа, подменяя его путями души. На эту тему он не раз выступал очень резко. Но особенно враждебно он относился к ап. Павлу. О нем он написал большую работу, направленную, главным образом, против церковников. Но и антропософии там тоже доставалось. Он считал, что именно Павел «испортил» христианство, отравив его ядом юдаизма, завуалировал истинный образ Отца Небесного, проповеданного Христом, подставив вместо него образ Иеговы. Отсюда — все грехи исторического христианства, всей церковности, обращенной на служение земным целям и прежде всего целям земной власти. Солонович «громил» Павла так, как будто тот был его личным врагом и стоял вот тут, рядом, мешая ему проповедовать анархизм — на небе и на земле. Несмотря на многие блестящие страницы этой работы, в целом это сведение сложнейшей темы церковного и нецерковного христианства к личности ап. Павла было неубедительно, даже просто смешно.

Солонович был фанатиком, но в нем не было того, что так часто является спутником фанатизма, не было деспотического желания во что бы то ни стало покорить, заставить следовать за собой. Его анархизм, сливаясь воедино с его мистикой, как бы прокалил его духом свободы. Я не знаю никого, о ком можно бы-

ло бы с таким же правом сказать: «Вот настоящий свободный человек, не подвластный ни страху, ни каким-либо иным давлениям ни в мыслях, ни в поступках». Настоящий служитель духа, свободный от личного эгоизма». Да, это был фанатик, но фанатик «чистой воды». И это внушало уважение.

После разгрома анархистов в 1930 году он исчез в лагерях. Дошел слух, кажется, довольно достоверный, что он погиб во время одного из нередких тогда лагерных бунтов. Зная характер Алексея Александровича, можно не сомневаться, что так оно и было. Бесследно исчезла в лагерях его жена и преданная сподвижница — Агния Анисимовна Солонович.

Солонович очень рьяно (как и все, что он делал) пропагандировал идею нашего Содружества в своих кругах. Оттуда приходили многие, конечно вне организации, а просто как заинтересованные посетители.

Толстовцы не обманули наших надежд: мы могли пользоваться помещением Вегетарианской столовой. Михаил Павлович Столяров сделал доклад об Анне Карениной (точного названия не помню). Успеха он не имел. И немудрено: он пытался изображать действующих лиц романа и события, как некую персонификацию внутреннего мира человека, отражение духовных переживаний и даже духовных существ, действующих в нем. Рационалистам-толстовцам такой подход был абсолютно чужд. Публика явно скучала.

Помню появление замечательной пары. Муж и жена — они жили в деревне, по толстовскому образцу, но почему-то не считались полностью толстовцами. В сандалиях на босу ногу, в каких-то немислимых хламидах, с котомками за плечами. Он — высокий, длинноволосый, с восторженным отрешенным лицом, она — маленькая, кругленькая, с очаровательной улыбкой. Они услышали о Содружестве и пришли рассказать о себе — «поделиться своей радостью», как он сказал. Они не говорили ни о каких моральных религиозных мотивах, побудивших их избрать толстовский образ жизни. Но им ужасно хотелось рассказать людям, какая это радость, счастье — жить в природе, среди деревьев и трав, с птицами и животными. Им так хотелось, чтобы окружающие почувствовали эту радость, разделили ее. И они находили слова и выражения — простые и доходчивые для рассказа о своей жизни, о работе в огороде, о жатве, о сборе ягод... И о полянке в лесу, куда они ходят молиться.

Не назойливо, очень интимно, но проскальзывало в их словах, а главное — в выражении лиц и улыбке, что им знакомо какое-то особое восприятие духовной жизни природы, даже ду-

ховных существ, живущих в ней. В этой «мистической» нотке они, вероятно, и расходились с ортодоксальными толстовцами. «Настоящий Феликс Бальде и Фелиция»⁵⁰, — думала я. Жалею, что не расспросила о них подробнее и даже не узнала их фамилии.

Еще одно явление — совсем в другом роде. Валентин Федорович привел и представил как гостя толстовцев весьма экзотическую личность — не то индус, не то перс, член какой-то мусульманской секты. Он хотел рассказать о своем учении, но из этого мало что получилось. Он говорил на плохом английском, переводчик — неопытный доброволец из присутствующих — плел нечто и вовсе невразумительное. Слушали внимательно, задавали вопросы, старались понять — экзотика импонировала. Но сумбур остался. Этот же человек появился и у анархомистиков. Солоневич долго с ним беседовал, но тот ему не понравился: «Его идеи трафаретны и цели сомнительны», — сказал он и, насколько я знаю, никуда больше его не приглашал. Солоневич собирался прочитать доклад: «Религия Льва Толстого». Доклад не состоялся: Содружество прекратило свое существование. Режим ожесточался. «Идеологическая борьба» все больше становилась делом административных мероприятий. Толстовцам приходилось туго, их ужимали всячески. Многие уезжали. Наш друг Валентин Федорович был на пороге отъезда, он уезжал в Прагу. Наконец, Вегетарианскую столовую закрыли. С тем вместе прекратило свое существование и наше Содружество — собираться было негде, а тайные конспиративные встречи противоречили бы самой его идее. Просуществовало оно не больше года, но несомненно это было живое, жизнеспособное зерно. Оно могло бы вырасти в очень нужную и близкую русским традициям форму свободного духовного общения. Но ему не дали прорасти, затоптали чуть проклюнувшийся росток.

ДВЕ ГРУППЫ

Это начинание было, пожалуй, единственным, оказавшимся возможным или, вернее — полувозможным в наших условиях проявлением того направления в антропософской работе, которое в это время набирало силу в Дорнахе. Там одна за другой появлялись организации, имевшие целью выход антропософии вовне, «выход в культуру», как гласил этот лозунг. Уже с 1919-го года успешно работала Вальдорфская школа, была создана терапевти-

⁵⁰ Феликс Бальде и Фелиция — действующие лица в четырех мистериях-драмах (mysteriendrama) Р.Штейнера.

ческая клиника с онкологическим отделением, зарождалось движение «Христианской общины» и др.⁵¹ Все больше появлялось лекций Штейнера, связанных с профессиональными интересами слушателей. У нас, конечно, какое бы то ни было практическое приложение антропософии было невозможно. Но во внутренней жизни Общества эта тема все больше выдвигалась на передний план. Одухотворение окружающей среды, одухотворение культуры, всех профессий и занятий, интересов и достижений. Это и есть миссия антропософии, без этого выхода в жизнь она догматизируется и засыхает в узкой келье личных переживаний. Для многих именно такое понимание антропософии становилось доминирующим. Но для некоторых оно было чуждо, казалось иногда даже профанацией того, что может жить только в глубине индивидуальной духовной работы.

Взаимное неодобрение становилось неприятным, и чтобы избежать духа полемики и не мешать друг другу, было решено разделить на две самостоятельные группы. Хотя мы были очень отрезаны от жизни Дорнаха, но все-таки кое-что доходило, прорываясь сквозь рогатки. Наше новое направление в значительной мере питалось новым материалом. Но и независимо от этого оно несло в себе внутреннюю закономерность развития антропософии, ее духовного импульса, принесенного в мир 20-го столетия. Намерение создать новую группу получило одобрение Штейнера, а на вопрос, каким именем ее назвать, последовал неожиданный ответ: именем Ломоносова. Маргарита Васильевна в своих Воспоминаниях иначе рассказывает о появлении у нас имени Ломоносова, относя его к первому моменту основания Общества в 1913 году. Получается, будто Общество было названо тогда именем Вл. Соловьева вопреки совету Штейнера. Но, по-видимому, это аберрация памяти: не только у меня, но и у нескольких участников

⁵¹ Имеется в виду Вальдорфская система воспитания и Вальдорфские школы (Freie Waldorf-schule), первая из которых была основана в Штутгарте в 1919 г. Эмилом Мольтом (Emil Molt) и Р.Штейнером; клиничко-терапевтический институт (Klinisch-Therapeutisches Institut), основанный доктором Итой Вегман (Ita Wegman) в Арлесгейме (Швейцария) в 1921 г.; «Христианская община» (Die Christengemeinschaft), основанная группой протестантских и либеральных католических богословов в 1922 г. В своих *ВОСПОМИНАНИЯХ О ШТЕЙНЕРЕ* (с.20) Белый писал: «/.../ то, что он [Штейнер. — Дж.М.] создал новые основы педагогики, доказывая более 1000 школьников Вальдорфской школы, о которой пишут и которой удивляются, которая воспроизводится в Германии, Англии, Голландии, Швейцарии; что его экскурсии и методы лечения имеют конкретное содержание, доказывает медико-терапевтический институт; что его поправки к пониманию быта религиозной общины ценны и дельны, доказывают блестящие свершения деятельности "Христианской общины", руководимой группой священников».

группы Ломоносова сохранилось четкое воспоминание, что это имя появилось только в связи с образованием новой группы⁵². И хотя в первый момент оно действительно показалось неожиданным, но было принято без колебаний, как только немножко вдумались в значение личности Ломоносова в истории русской культуры. «Ведущими лицами» новой группы были Михаил Павлович Столяров, Клавдия Николаевна, Вера Оскаровна. В прежней группе, сохранившей имя Вл. Соловьева, руководителем остался Борис Павлович Григоров. У большинства из нас сведения о Ломоносове ограничивались рамками гимназического курса. Но Михаил Павлович очень детально изучил и биографию, и научную деятельность Ломоносова и сделал обширный и очень содержательный доклад о нем.

Наиболее запоминающимся событием в работе новой группы было создание так называемого «социального кружка». Как известно, основная работа Штейнера по социальному вопросу «Коренные идеи социального переустройства в настоящем и будущем. Трехчленность социального организма» — вышла еще в 1919 году⁵³. До нас она дошла значительно позднее. Она не была понята ни на Западе, ни у нас. Созданный в Дорнахе «Союз» по проведению трехчленности успеха не имел и был скоро распущен самим Штейнером. У нас те, кто первыми прочитал книгу, были в недоумении, не знали, что сказать. Заинтересованы же были все. Решили создать специальный кружок по изучению новой книги. Руководителя не было, так как никто не мог взять на себя этой роли. Выбрали председателя — Михаила Павловича и двух секретарей — Марка и меня — с наказом ввиду новизны темы как можно подробней записывать все, что будет говориться. Участников собралось много, желающие распределили главы и разделы книги, чтобы подробно отреферировать, продумать и поделиться своими

⁵² См.: *DIE GRÜNE SCHLANGE*, с.271. Воспоминания К.Н. Бугаевой и А.Белого подтверждают версию Жемчужниковой. В *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ* Белый писал: «С 1917 до 1921 года перед русскими антропософами стояли задачи, не снисвшие антропософам запада; вопросы о связи культуры России в ее СТАНОВЛЕНИИ с культурой антропософии в ее СТАНОВЛЕНИИ. /.../ Так, выделялись стремления так называемой "ЛОМОНОСОВСКОЙ" группы из "СОЛОВЬЕВСКОЙ" в Москве; и я /.../ всемерно стоял и участвовал в придумывании стиля работ ломоносовской группы /.../ Так, одно время виделся мне в нашей группе возможный орган переориентировки быта антропософии в условиях, подаваемых русской действительностью 1918-1921 годов» (с.105-108).

⁵³ В кн. *DIE KERNPUNKTE DER SOZIALEN FRAGE IN DEN LEBENSNOTWENDIGKEITEN DER GEGENWART UND ZUKUNFT* (1919) Штейнер излагает свою концепцию о «трехчленности социального организма» (die Dreigliederung des sozialen Organismus).

соображениями. Вспоминая эти занятия теперь, я вижу, насколько все мы — и «старшие», и «младшие» — были одинаково беспомощны перед этой темой. Иначе и быть не могло. Только через опыт последующих десятилетий можно найти правильный подход к идее «трехчленности». Причем — опыт глобального масштаба, опыт «тоталитаризма» во всех его разновидностях. И у нас и на Западе этот опыт был еще впереди. А тогда и там, и тут могли исходить только из существовавшей действительности, и мысль была к ней прикована. Невольно и неизбежно впадали в ту самую ошибку, от которой Штейнер предостерегает на первых же страницах книги: «Те, кто приписывают ей (этой книге) характер утопии, не поняли ее основной цели».

«Трехчленность» — не утопия, не «построение», которое можно теми или иными мерами «учредить», «установить». Идеи трехчленности содержат в себе *духовные принципы* социальной жизни человечества, а историческая действительность может быть понята как *процесс реализации* этих принципов. В фактах социальной действительности динамика движения вперед в соответствии с этими принципами сталкивается с силами, тормозящими это движение, отклоняющими его. Во множестве фактов и явлений современности прослеживается действие этих законов, этих духовных импульсов — в положительном и отрицательном направлениях. Ближайшая историческая веха на этом пути, составляющая задачу нашей эпохи, — автономная организация трех областей социальной жизни — экономической, государственно-правовой и духовной. Все социальные бедствия — результат нарушения их правильного «здорового» взаимодействия. Принцип организации всего живого, всякого живого организма — автономия составляющих его «членов» или функциональных систем, скажем — системы неравномозговой деятельности, системы дыхания и кровообращения, системы обмена веществ и пищеварения и проч. Каждая живет и действует по своим, свойственным природе ее функций, закономерностям. Тогда только и возникает между ними то гармоническое взаимодействие, в котором реализуется единство органической жизни. Так живет биологический организм. Социальный же организм находится в состоянии хаотической спутанности. Каждая из его естественных частей — экономика и государство — стремятся подчинить себе другие, установить единство насильственно, путем диктата. Насилие провозглашает себя спасителем мира, покорителем социального хаоса. Жизнь отвечает все худшими и худшими катастрофами. Опыт этих катастроф — опыт нашей эпохи, опыт полувека, протекшего после выхода книги Штейнера. Только этот опыт может на-

учить нас распознавать в окружающей действительности сквозь мрак и хаос пробивающиеся ростки будущего, те факты, в которых реализуются импульсы движения к трехчленности, как к социальному идеалу человечества. Только так понятным становится и великое всемирное значение русской социальной революции, этой ослепительной вспышки, этого могучего порыва русской народной души, предчувствие ее духовно-исторической миссии. И трагедия ее падения, плен ариманических сил, подмена духовного возрождения идеологией власти и насилия. Всего этого еще не было в нашем опыте людей 20-ых годов. И не было еще той силы ощущения *мировых* связей — экономических, политических, духовных — которая господствует и все усиливается теперь, во второй половине века. В этой «глобальности» всего совершающегося в мире складывается, так сказать, «материальный субстрат» единства человеческого рода. А тогда, напротив, господствовало ощущение безвыходной раздробленности. Немудрено, что мы беспомощно барахтались в этом хаосе, не в силах осознать действующие в нем духовные закономерности. Искали связей с действительностью — и не находили. Идея-образ трехчленности вопреки нашим усилиям не связывался с действительностью, оставаясь той самой «утопией», от которой предостерегал Штейнер. Мостов между ними, путей перехода не было. Оставалось только добросовестно изучать содержание книги, реферировать и обсуждать, что мы и делали. Я принялась было переводить, но это была, конечно, попытка с негодными средствами. Сделанные несколько страниц я дала на просмотр Алексею Сергеевичу. То, в каком виде он мне их вернул — это были не поправки, а просто полная переделка — показали мне, что эта задача мне не по зубам. Я отступилась. Конечно, русские переводы есть, они не могли не появиться, они существуют. Но они сделаны в 50-х, 60-х годах. Кроме того, есть еще два, а может быть и больше переводов этой книги. Каждый делал их по своему собственному побуждению, без ведома друг о друге. Это одно уже не свидетельствует ли о жизненной актуальности, большой познавательной ценности этой книги именно в наше время? Но тогда все еще было по-другому.

Запомнилось еще одно, важное для меня, событие — три лекции А.Белого о Блоке. Но это было позднее, уже после закрытия Общества в период работы А.Белого над постановкой «Петербург» и сближения его с М.А. Чеховым³⁴. Три вечера — три

³⁴ Имеется в виду *АЛЕКСАНДР БЛОК В ПРОБЛЕМЕ «ПУТИ»* — три лекции, прочитанные Белым «друзьям поэзии Блока» 12 и 22 января и 1 февраля 1924 г. (*СЕБЕ НА ПАМЯТЬ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЧИТАННЫХ РЕФЕРАТОВ /.../ С 1899 ДО 1932 ГОДА.* — ЦГАЛИ, ф.53. оп.1, ед. хр.96, л.17). (См. след. стр.)

субботы — лекции читались в «Круглой комнате». М.А. Чехов жил тогда на Арбатской площади, на углу Никитского бульвара. Фасад дома, выходящий на площадь, — закругленный. Там и находилась «круглая комната», служившая для занятий руководимой Чеховым театральной студии. В ней же происходили и некоторые антропософские встречи. Комната была просторная, и на лекцию А.Белого пришло много народу. Не одни антропософы, было много совсем незнакомых мне лиц, но и антропософы были представлены достаточно полно. Для меня эти три вечера явились новой ступенью во внутренней жизни души, как бы сдвигом сознания. Говорю лично, потому что знаю, что не для меня одной, а для многих А.Белый в той или иной форме сыграл подобную роль. Я не могу теперь пересказать самого содержания лекций, они забылись. Но забываемым остались их действие. Я могу назвать его только так: новое открытие мира. Когда-то А.Белый уже открыл мне новый мир, мир поэзии. Теперь было нечто неизмеримо большее. Весь мир, все восприятие как бы повернулось на какой-то невидимой оси и открылось в новом ракурсе. Это был ракурс живого духа, живой духовной действительности. И стихи, о которых говорилось, становились прозрачными, за ними бушевало пламя иной жизни — иногда ослепительные вспышки, иногда невыразимые бездонные дали, в которых душа узнавала свою родину и летела за взмахами рук того, кто эти дали показывал.

Три недели, от субботы к субботе, душа жила счастьем этого открытия родины. А когда лекции кончились и я «очнулась», то почувствовала: я стала другая и мир вокруг — другой. Я побывала «где-то», услышала «зовы Вечности», но, вернувшись, душа нашла это вечное в преходящем и заново с ним породнилась. Я не вела дневников, но записала себе на память два слова: *Vita nova* и *дату*. Дата тоже забылась, но исследователи творчества А.Белого, вероятно, найдут в его архивах какие-то следы этих лекций.

См. также *МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ /.../ 1919-1927 гг.* (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед.хр.98, л.3 об.): «1924 год. /.../ читаю неболь[шому] кружку любителей Блока 3 лекции об образных мифах у Блока». В это время Белый только начал свою переработку *ПЕТЕРБУРГА* в драму и свое «сближение» с М.А. Чеховым (о постановке см. мое Послесловие в кн.: А.Белый. *ГИБЕЛЬ СЕНАТОРА (ПЕТЕРБУРГ)*, Berkeley, 1986, с.203-37). В период 1924-27 гг. Белый часто читал лекции и вел курсы на антропософские темы у Михаила Александровича Чехова (1891-1955) — актера, режиссера, театрального педагога. Чехов был одним из руководителей МХАТа-2, в постановке драмы *ПЕТЕРБУРГ* (1925) исполнял роль Аполлона Аполлоновича. Эмигрант с 1928 г. В его письмах и театральных писаниях, собранных в двух томах его *ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ* (М., 1986), часто упоминается Штейнер. См. также его письма об антропософии в «Новом Журнале», №132, 1978, и *DIE GRÜNE SCHLANGE*, с.354-56.

Но никакие записи, конечно, не дадут представления об их живом содержании. Как и все лекции А.Белого, это была гениальная импровизация, всегда однако подчиненная живущему в ней высокому смыслу, строгой духовной мысли.

Эти лекции сопровождалась рисунками. Если они сохранились, то эти имажинации, вероятно, могут хоть сколько-нибудь дать почувствовать отразившуюся в них *жизнь духа*.

ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕСТВА

В 1922 году Маргарита Васильевна, а вскоре затем и Трифон Георгиевич уехали в Германию. Приходили тяжелые известия об острых разногласиях в Дорнахе. Затем — пожар Гетеанума⁵⁵. Чувствовался натиск темных сил. Он же действовал и вокруг нас, вынуждая все больше прятать, уводить в конспирацию то, что по самой природе своей, по природе антропософского импульса, требует солнечной ясности, открытости. Не было прежней гармонии, искажались судьбы, искажались отношения.

А.Белый «безобразничал» в Берлине, Клавдия Николаевна стала пленницей его и своей судьбы⁵⁶. Некоторые говорили даже, что Клавдия Николаевна «потеряла свою индивидуальность», с ней уже нельзя говорить как прежде, Борис Николаевич стал стеною между нею и Обществом. Другие, напротив, находили, что Клавдия Николаевна препятствует их общению с Борисом Николаевичем. Я думаю, что и то и другое неверно. Никаких воздвигаемых стен ни с той ни с другой стороны не было. Но была не-

⁵⁵ «В ночь на первое января [1923. — Дж.М.] около Базеля, в Дорнахе, сгорело огромное здание, принадлежащее Антропософскому Обществу и построенное под руководством известного философа и антропософа Рудольфа Штейнера. Здание было одновременно и помещением высшей школы духовных наук и театром. — А.Белый. *ГЕТЕАНУМ*. («Дни», Берлин, №100, 27 февраля 1923). См. также его *ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ*: «А 31 декабря 1922 года он загорелся; и горел 1-го января 1923 года /.../ С "ГЕТЕАНУМОМ" сгорел принцип "ЭСОТЕРИЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ", общество было трупом; мне было ясно: Штейнер — нужен; антропософия — нужна; "ОБЩЕСТВО" — нет. И как знак этой моей мысли мне было указание о закрытии властью "АНТРОПОСОФСКОГО О-ВА"» (с.117).

⁵⁶ Многие мемуаристы писали о «безобразиях» Белого во время его двухлетнего пребывания на Западе (он уехал из Москвы 20 октября 1921 г., вернулся в Россию 26 октября 1923 г.), главным образом, в Берлине и под немецкой столицей. См., например, *НЕКРОПОЛЬ* В.Ф. Ходасевича. Белый сам назвал это время «периодом моего берлинского обморока», когда он жил «в сплошном бреду» (*ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ*, с.115). В «автобиографическом письме» Иванову-Разумнику он писал об «окончательном значении для меня К.Н., которая в период кризиса и переоценки для меня "антропософии" мне стояла, как путеводная "звезда"» («Cahiers du monde russe et soviétique», с.80).

кая естественная самоизоляция. Они жили своей особой жизнью, зимой — Кучино, летом разнообразные поездки — Коктебель, Кавказ⁵⁷... Но подобная самоизоляция в той или иной степени и форме становилась уделом всех. Чувство общности было очень сильно, но и силы раздробления действовали — и внутри и извне. Проскальзывали тени отчужденности, по-разному люди относились и к нашему разделению двух групп и к политической обстановке вовне. Закрытие Общества ощущалось неизбежным. Оно произошло просто и буднично. Появился декрет, обязывающий все общества, союзы, объединения, «не преследующие целей материальной выгоды», — зарегистрироваться⁵⁸. Те, кому в регистрации будет отказано, тем самым подлежали ликвидации. Было совершенно ясно, что Антропософское Общество разрешения не получит. Обсуждался вопрос — надо ли подавать на регистрацию? Одни считали, что в создавшейся обстановке это не имеет смысла, надо просто самораспуститься. Другие же находили, что такой поступок означал бы, что мы сами считаем себя антисоветской организацией. Это не так: антропософия не враждебна советской власти, она видит величие ее задач. Духовную же работу, несмотря на отрицание ее господствующей идеологией, мы считали необходимой именно для блага России. Участие в духовно-моральной, религиозной жизни новой России наш долг, от которого мы добровольно отказаться не можем. Мы должны до конца идти в открытую, объясняя свои задачи. Пусть сама советская власть признает их ненужными и запретит Общество. Это ее право, как государственной власти, ее решение на ее исторической ответственности. Это мнение возобладало, и было подано на регистрацию. Выступали как единое Общество без деления на группы. Председатель Б.П. Григоров, члены-учредители, сколько их требовалось по инструкции, были из обеих групп. В положенный срок пришел ответ, конечно, отрицательный, тем самым Общество перестало существовать. Меры по спасению библиотеки были приняты заранее. Также и драгоценный дар Маргариты Васильевны, незадолго перед тем полученный, — написанный ею портрет Штейнера — был отдан в надежные руки⁵⁹. Фотоснимки с

⁵⁷ См. кн. К.Н. Бугаевой *ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ* и мой комментарий к ней.

⁵⁸ Имеется в виду постановление ВЦИК РСФСР от 3 августа 1922 г. *О ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВ И СОЮЗОВ, НЕ ПРЕСЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ, И НАДЗОРА ЗА НИМИ*.

⁵⁹ Портрет Штейнера был написан в 1922 г. Место хранения его неизвестно. Числится под номером 38 в каталоге работ М.В. Сабашниковой, помещенном в кн. *MARGARITA WOLOSCHIN* (1982), с указанием, что в ее архиве (см. след. стр.)

него были почти у всех, но, конечно, в последующие годы репрессий мало у кого сохранились.

Краткий десятилетний период (1913-1923 гг.) существования Общества, как открытой общественной организации, кончился. Русское Антропософское Общество вступало в свою «Winterreise», свое «Зимнее странствие». Так зерно, плод расцвета летней жизни, уходит в землю, укрывается во тьме и холоде. Ему светит и согревает отныне только жар «Полуночного Солнца», жар Духа⁶⁰. В нем идет сокрытая жизнь, готовящаяся к весеннему прорастанию. Так и Антропософия в России не умерла. Насилием выброшенная из физического плена, она жила и живет в душах. И не только в тех, кто по велению личных судеб воспринял антропософский импульс в те далекие, полустолетием отделенные годы. Она рождается в душах тех, кто теперь, сегодня приходят к ней своими духовными путями. В этом — знак жизни зерен, до времени сокрытых в земле. Они живы, потому что Мать-Земля, душа русского народа приняла их и возвращает, готова всходы. Они уже виднеются, они прорастают потому, что многое изменилось в мире за это полстолетие. Времена приблизились. Страшны силы зла, бушующие в мире. Но и жажда духовного возрождения, принимая разнообразные формы под действием многих импульсов, — исторических и внеисторических — не погибает, а растет. Во всем и всюду, зримо и незримо идет эта борьба. И в нее Антропософия вносит свой импульс. Это импульс высочайшего и подлинного христианского эзотеризма, того, где открываются пути к будущим формам и духовной и социальной культуры человечества. И на этих путях прорастут и зазеленеют новые всходы Русской Антропософии. Ими оденется Душа русского народа, когда, пройдя свое трагическое чистилище, она выступит во всем величии своей духовно-исторической миссии. Это — обещано. Это — будет.

1975 год.

имеется только фотография портрета. В России в 1920-22 гг. она написала портреты Ленина, Бердяева, Павла Муратова, Вяч. Иванова, Михаилла Чехова и Бориса Зайцева.

⁶⁰ Ср. название лекции А.Белого в Р.А.О. 9 декабря 1918 г.: «Зимнее странствие, ночь: полуночное солнце культуры».

А. Ванеев
ДВА ГОДА В АБЕЗИ

I. СТАЦИОНАР

Абезь — это железнодорожная станция и поселок неподалеку от северного полярного круга в автономной республике Коми. Там находился лагерь для заключенных, предназначенный для тех, кто по возрасту или состоянию здоровья непригоден для работы в каменноугольных шахтах Инты.

Абезьский лагерь уже был полон людьми, но продолжали приходить поезда, привозившие пополнение, и недоставало жилых помещений, которые могли бы вместить новоприбывших. Поэтому очень важной была проблема изготовления жилищ из обветшалых построек, оставшихся от прежнего поселка, а две бригады — строительная и техническая, — которые занимались этим делом, имели, таким образом, постоянный объект работы внутри лагеря и пользовались некоторыми привилегиями. Поэтому же наиболее влиятельными из числа заключенных были Главный строитель и Главный инженер, которые однако находились в отношениях соперничества и не ладили друг с другом.

С тех пор, как Главным инженером сделался Коля Потапов, я был при нем в должности механика. Никаких специальных дан-

Автор воспоминаний, Анатолий Анатольевич Ванеев (1922-1985), — внук одного из организаторов «Петербургского союза за освобождение рабочего класса», Анатолия Ванеева, умершего в 1899 в сибирской ссылке. Участник войны 1941-45. После войны окончил вуз, в конце 1940-х арестован (за написание стихов), попал в лагерь, описанный в его мемуарах. После освобождения долгое время был без работы, затем преподавал физику в одной из ленинградских школ. По отзывам коллег и учеников, был блистательным педагогом. Работал в Институте усовершенствования учителей. Еще в лагере заинтересовался религиозно-философскими вопросами, находился под сильным влиянием идей Л.П. Карсавина. В последние годы занимал видное место среди ленинградской православной интеллигенции. Воспоминания печатаются по рукописи, имевшей хождение в самиздате. Публикуются с небольшими сокращениями.

ных для этой должности у меня, впрочем, не было, кроме дружеских отношений с Колей Потаповым и еще некоторой способности сравнительно легко входить в нужную роль. Мне было 28 лет. Дорога, пролежавшая по местам заключения, началась для меня пятью годами раньше. За это время я достаточно освоился в условиях здешней жизни и в абезьском лагере чувствовал себя уже как бы старожилом.

Итак, я был механиком при Главном инженере, однако содержание моих обязанностей мало соответствовало названию должности. Я занимался технической документацией и всякой отчетной письменностью, и было ее так много, что мне в помощь был приставлен еще один человек. Его звали Роберт Николаевич Ланг. Он был массивный и рослый, с крупными чертами лица, римским носом и густым голосом. В молодости он был каким-то социалистом и при случае любил сообщить: «Как сказал Клемансо, кто не был социалистом в молодости, у того нет сердца. А кто остался социалистом в зрелом возрасте, у того нет головы».

Ранней осенью 1950 г. поезд из товарных вагонов, оборудованных для перевозки заключенных, доставил в Абезь этап из Ленинграда. Новоприбывших на первое время поместили отдельно, выделив для этого секцию в том же бараке, где находилось общежитие нашей бригады. Карантин обозначили тем, что от остальной части лагеря его отгородили временным заборчиком из колючей проволоки.

«Тюрьма внутри тюрьмы», — сказал об этом кто-то.

Пополнение состава живущих новыми людьми вызвало, как всегда, оживление и любопытство. Интересовались — нет ли знакомых, или земляков, или вообще чем-либо известных лиц.

Утром следующего дня Ланг, собираясь на работу, сказал:

— Слышали, с новым этапом к нам попал Карсавин.

— Слышу от вас первого, — сказал я, — а кто это такой?

Ланг сам знал об этом, по-видимому, немного. Он уклончиво сказал, что, как ему помнится, это ученый, которого считали мистиком и который в начале двадцатых годов издал книгу о философии любви.

Занявшись дневными делами, я, естественно, забыл этот случайный утренний разговор.

Штаб технической бригады находился в хозяйственном дворе. Здесь, в конце заходившего в лагерь рельсового тупичка, стояли два паровоза, обстроенные большим сараем. От него в сторону жилой части лагеря тянулись проवेशенные по столбам черные трубы, обернутые войлоком, который местами свисал рваными лоскутьями. Эти трубы, зловеще нависая над головой, своим ви-

дом могли навести страх на непривычного человека. Но назначение их было безобидным, это был паропровод: котлы паровоза использовались как источники пара для отопления всех лагерных помещений.

Основные работы в то время производились в большом гараже, переоборудованном в жилое помещение, по замыслу Начальника лагеря майора Бондаря, должно было разрешить все жилищные затруднения. Здание большого гаража, похожее на ангар, занимало среднюю часть лагеря. Своими размерами оно значительно превосходило остальные постройки. Собственно, это были одни стены, покрытые пологой двускатной крышей, которая изнутри поддерживалась фермами на столбах. Сделать из этого здания жилище требовало трудоемких работ. На лужайке перед зданием были навалом набросаны железные трубы для отопительной системы и были рядами разложены для просушки блоки, изготовленные из глины и каменноугольного шлака. Такие блоки служили строительным материалом, заменявшим кирпич.

В отличие от обыкновенных исправительно-трудовых лагерей, заполненных, главным образом, людьми, осужденными за уголовные преступления, абезьский относился к Особым, предназначенным для осужденных по политическим статьям. Здесь полагался более строгий режим содержания заключенных. Этому соответствовал и самый вид лагеря: многорядное ограждение из колючей проволоки вместо обычных деревянных заборов, прямоугольные лоскутки с номерами на спинах людей, решетки из толстых прутьев на окнах жилых бараков, двери которых на ночь запирались извне на замок, превращая барак в тюрьму.

Помню, когда нас привезли сюда, все эти обстоятельства на первых порах производили жутковатое впечатление. Однако со временем они сделались привычными и жить не мешали. А жизнь шла своим путем, не то чтобы независимо от обстоятельств, но прямо в них находя свое непредсказуемое содержание.

Проведя почти весь этот день среди работавших у большого гаража, я в результате задержался на хоздворе и потом в одиночестве шел в общежитие технической бригады.

Идти нужно было по тропинке вдоль длинного барака. Это было одноэтажное, деревянное, Г-образное в плане здание. Его длинный флигель фасадом выходил на Вахтенную улицу, соединявшую хоздвор с главными воротами вахты, а короткое крыло прямым углом отходило от вахты в сторону запасных ворот. Общежитие технической бригады было в секции, занимавшей самый угол. Вход же в нее был со стороны внутреннего двора, по которому от запасных ворот был проложен рельсовый путь, кон-

чавшийся на хоздворе тупичком, где стояли упомянутые паровозы. По этому пути в лагерь завозили каменный уголь и сыпали прямо на землю по всей длине вагонного состава. Поэтому здесь обычно была довольно высокая угольная насыпь, почти параллельная внутренней стене длинного флигеля.

Я шел по тропинке между стеной и насыпью как бы по дну ущелья. На небе, слегка уже потемневшем, светила вечерняя звезда, которая здесь благодаря чистоте воздуха выглядит особенно яркой. В этот час на дворе никого не было. Однако, проходя мимо карантина, я увидел одинокую фигуру человека. Его облик привлек мое внимание. Это был не очень высокий сухощавый старик, лицом смуглый, с редкой седой бородой, в берете на голове. Отделенный проволочным забором, он стоял слегка ссутулившись, сложив руки за спину, глядя вдаль, поглощенный своими мыслями.

Мне подумалось почему-то, что это — тот самый человек (имени я не запомнил), о котором утром говорил Ланг.

Придя в барак, я сказал Лангу:

— Видел в карантине старика, похожего на индийского факира. Не тот ли это, о котором вы говорили утром?

Ланг ответил, что не знает, как выглядит Карсавин. Очень может быть, что это был именно он.

**

В карантине я видел, действительно, Карсавина. Познакомился я с ним позднее, когда лагерная судьба привела меня в стационар, как принято было называть небольшую лагерную больницу. Карсавина прямо из карантина поместили туда потому, что в следственной тюрьме у него открылся (старый) туберкулез.

Медицинский персонал нашего лагеря в то время состоял из трех врачей. Прием амбулаторных больных заведовал Володя Якубич, студент-медик, узкий и вытянутый вверх. В Абезь он ехал в одном этапе со мной. Стационар обслуживали врач-литовец Владас Шимкунас и хирург Николай Петрович. Все заведения медицинской службы назывались одним словом: санчасть. Николай Петрович был дружен с регистратором санчасти Николаем Сергеевичем. Володя Якубич, склонный блеснуть остроумием, придумал для них прозвища: Николай первый и Николай второй. Он же сказал, что в их лице природа позаимствовала прием литературного контраста: один из друзей был тощ и желчен, другой — толстоват и благодушен.

Эти два человека имели обыкновение вечерами прогуливаться по Вахтенной улице, в это время пустынной. Неторопливо шли они, оба в лагерных неопределенно темного цвета тряпичных бушлатах, головами слегка наклоненные друг к другу, издали похожие на двух черных медлительных птиц. Так прогуливались они, не скрываясь от обитавшего на вахте ока надзора. Их прогулкам никто не мешал, однако не потому, что их не видели, а потому, наверное, что служба надзора обычно воздерживается от вмешательства в дела санчасти и без нужды не задевает ее персонал.

Стационар, занимавший, примерно, среднюю часть длинного барака, состоял из двух палат. В окна одной из них можно было видеть Вахтенную улицу. Окна другой палаты выходили во внутренний двор и вид из них упирался в угольную насыпь, которая в разные времена года меняла свою высоту. К весне, по мере израсходования угля, она становилась настолько низкой, что открывался вид на внешнее ограждение и плоско простиравшуюся за ним тундру.

Врач стационара Владас Шимкунас знал, что Карсавин — профессор Вильнюсского университета, и позаботился поместить Карсавина так, чтобы его соседом был Жвиронас, физик, профессор того же университета.

— В вашем и моем лице, — сказал Карсавин Жвиронасу, — физика сблизилась с метафизикой.

Сближение было буквальным, так как они сидели лицом к лицу, почти задевая один другого коленями. Но Жвиронас захотел понять это как метафору.

— В наше время здесь нет ничего необычного, — сказал он, — современная физика сама почти сделалась метафизикой. К тому же, и физиков, и метафизиков, как видим, постигает одна судьба.

Первые два-три дня Карсавин просто отдыхал в этой обстановке. Больничные стены были защитой от наиболее грубых сторон лагерной жизни. Любая часть тюрьмы есть все та же тюрьма, но в образе стационара это была тюрьма, смягченная снисхождением к больным. Стационар успокаивал обыкновенной больничной устроенностью и умеренностью тона врачей в обращении их с больными.

По известной легенде, Иону проглотил некий опасный морской зверь, которого по недоразумению называли китом. Карсавин сказал как-то, что и он чувствует себя попавшим, подобно Ионе, в некое чрево, таящее угрозу сдавить и переварить, но это чрево на первых порах обнаруживало почти филантропические свойства.

Отдохнув, Карсавин нашел время, когда мог работать. День в стационаре начинался рано, когда за стеной был слышен невнят-

ный гул. Это соединенными голосами людей, толпившихся у вахты, шумел развод. Стационар включался в дневную жизнь измерением температуры больных и первой раздачей лекарств. Затем следовал завтрак. Когда стихали суетливое оживление и негромкий говор, сопровождавший завтрак, многие возвращались ко сну.

В это время Карсавин устраивался полусидя в постели. Согнутые в коленях ноги и кусок фанеры на них служили ему как бы поп-питром. Осколком стекла он оттачивал карандаш, неторопливо расчерчивал линиями лист бумаги и писал — прямым, тонким, слегка проявлявшим дрожание руки почерком. Писал он почти без поправок, прерывая работу лишь для того, чтобы поточить карандаш или чтобы разложить очередной лист бумаги.

Прежде всего был записан Венок сонетов, сочиненный на память в следственной тюрьме. Стихотворная форма оправдывает себя не только со стороны удобства для запоминания. Условность стихосложения — рифма, размер, структура сонета и пр. — стесняет свободу фразы, но вместе с тем освобождает речь от других условностей, например, от необходимой в прозе досказанности, приведения высказываний в связь и т.п. В стихах мысль высказывается, как в доверительном разговоре, где непосредственность выражения адресована непосредственности восприятия.

Закончив работу над сонетами, Карсавин продолжал стихотворное выражение своих идей в терцинах, после чего написал комментарий к своим стихам. Это была любопытная авторская находка: через самокомментирование происходит как бы встреча с самим собой, открываются необычные возможности для выражения мысли. Затем Карсавин написал ряд статей.

Благоприятное для работы время дня было непродолжительным. Около 11 часов начинался ежедневный врачебный обход, после которого палата пробуждалась окончательно. Тогда Карсавин убирал в тумбочку все, что относилось к письменной работе, читал, если было что читать, или разговаривал, если было с кем говорить, и вообще всю остальную часть дня проводил так же, как это делали все.

Как-то один из больных, один из временно находившихся здесь незнакомых Карсавину людей, заметив, с какой регулярностью он работает над своей рукописью, подсел к нему и спросил:

— Глядя на вас, я подумал: вот человек, который привык много писать. У вас, может быть, есть даже печатные труды?

— Есть кое-какие, — сказал Карсавин.

Этот ответ, весьма характерный для Карсавина, показывает, насколько мало он был склонен говорить о себе самом. А люди, окружавшие его, видели в нем чудаковатого старика, писавшего

от безделья или ради привычки, в общем никчемной, которая годилась здесь разве на то, чтобы занять пустоту времени.

Относительно больше других среди нас знал о Карсавине Николай Сергеевич Романовский, регистратор санчасти.

В один из прохладных осенних вечеров, прогуливаясь, как обычно, с Николаем Петровичем по Вахтенной улице, Николай Сергеевич сказал:

— Подумать только! Не кто-нибудь как сам Карсавин оказался среди нас. Познакомиться лично с таким человеком, какая редкая возможность!

— Какая ни редкая, — сказал Николай Петрович, — а познакомиться с ним проще простого, поскольку он у нас в стационаре. Но кто он такой? Просветите и меня, чем знаменит этот Карсавин.

Николай Сергеевич сказал, что сведения, которые он может сообщить, будут иметь характер приблизительной справки, так как он не очень полагается на свою память.

Льва Платоновича Карсавина, сказал Николай Сергеевич, считают крупным специалистом по истории и философии европейской религиозности. До революции он преподавал в Петербургском университете и еще на Высших женских Бестужевских курсах, где, следовательно, учил эмансипированных дам. В 1922 г. Карсавина выслали за границу. Этой участи он подвергся не один, а в числе пятидесяти профессоров и прочей интеллигенции. Им было предложено покинуть Советскую Россию. Перед высылкой их, кажется, подержали в кутузке. До этого Карсавин успел издать довольно много работ: об основах средневековой религиозности, о западном монашестве, о католичестве. Ему же принадлежат все статьи по этим вопросам в Новом энциклопедическом словаре. Некоторые работы Карсавина имеют философский характер. Так, в начале двадцатых годов вышла его книга «Noctes petropolitanae», т.е. Петербургские ночи. Название романтическое, напоминает «Петербургские трущобы», но это не роман, а метафизика любви. За границей Карсавин, надо полагать, продолжал писать с такой же продуктивностью, но об этом Николай Сергеевич сведений не имел.

Поговорив, друзья еще погуляли, но недолго, так как Николай Сергеевич сказал:

— Однако, холод какой. Не пора ли по домам?

И тотчас воскликнул:

— Боже мой! До чего дожили, называем домом мерзкий барак, где весь твой дом — койка с тумбочкой. Ужасно, ужасно! И это по здешним условиям комфорта, у большинства и этого нет.

В скором времени должность механика, которую я занимал, была отменена, и меня из технической бригады перевели в бригаду, ходившую на общие работы.

Все это произошло в результате аварии в большом гараже. Чтобы ускорить переоборудование гаража в жилой барак, строители сложили стену из недосушенных шлакоглиняных блоков. Когда к этой стене поставили отопительные батареи и пустили пар, подогретая глина обмякла и сооружение развалилось. Главный инженер и Главный строитель ожесточенно обвиняли друг друга, но майор Бондарь не хотел отставать от должности ни одного из них. Он находил, что каждый из них хорош на своем месте. Поскольку же в каждой аварии кто-то должен быть виновен, он решил отставить меня. Не зная за собой вины, поскольку я не имел никакого отношения к этой аварии, я пришел в кабинет майора Бондаря и стал доказывать, что меня наказали незаслуженно. От возбуждения я при этом притопывал ногой.

— Перестань топтать на меня ногами, — сказал майор.

Однако это предупреждение не вернуло меня к рассудительности, я, как говорят, закусил удила. Тогда майор Бондарь звонком вызвал надзирателя и велел поместить меня для вразумления на пять суток в карцер.

Это была крошечная камера размером один метр на полтора. Откидную койку на день запирали на замок. Ходить по карцеру места не было, нужно было весь день стоять или сидеть на холодном полу. К моему счастью, погода в течение этих дней, как это бывает, держалась сравнительно теплая и мерзнуть в карцере мне почти не пришлось.

Больше всего угнетала незаполнимая пустота времени. Сперва я занимал себя тем, что с утра начинал вспоминать все стихотворения, которые сохранились в памяти, но этого занятия хватало не более, чем часа на два. Иногда появлялись мысли, но вниманию ума как бы не доставало силы сосредоточить себя на них, и мысли, блеснув намеком неразгаданной глубины, не удерживались в поле умственного зрения. Как это ни странно, но тяжесть есть свойство пустоты. Не оттого ли люди не любят пауз, стремясь заполнить их чтением, разговором, игрой, чем угодно, лишь бы не оставаться наедине со своей пустотой. Поэтому я решил впредь выучить столько стихов или других текстов, чтобы чтение их на память могло занять весь день насквозь.

После того, как меня выпустили из карцера, я ходил на общие работы вне лагеря, копал землю и таскал бревна. Это была

физически трудная работа, которая становилась для меня еще более трудной из-за того, что я сознавал себя несправедливо обиженным и на внешнюю физическую нагрузку накладывалась внутренняя нагрузка мрачного отношения к своему положению.

В конце концов я заболел, и меня поместили в стационар.

Палата, куда меня привели, светлая и по-больничному опрятная, была похожа на кусок широкого коридора. Железные кровати были составлены по две с тумбочками в промежутках между каждой парой и все стояли в один ряд, как клавиши рояля, спинками к внутренней стене. Освещалась палата окнами на противоположной стороне, ничем не заставленной. Окна открывали вид на внутренний двор. От кроватей до этой стены оставался проход во всю длину палаты: от двери в комнатку врачей до двери, за которой в отдельной пристройке находился клозет. Возле комнаты врачей была еще одна, третья дверь — в соседнюю палату.

Первую в ряду кровать занимал Шавгенин, инженер-химик из Ленинграда. Меня поместили на ближайшую к нему, т.е. на вторую от двери, кровать. Соседями с другой стороны были незнакомые лица, безучастно заполнявшие свои места, а еще дальше в худощавом смугловатом старике я узнал факира, которого видел за проволочным ограждением карантина: меня поместили в одной палате с Карсавиным.

Дневная жизнь палаты шумела общим, хотя и состоявшим из несоединимых очагов, шумом. Кругом разговаривали, впрочем, негромко. Так здесь полагалось, и ради пребывания в стационаре все были порядкопослушны.

Однажды мое любопытство привлек разговор Карсавина со Жвиронасом. Правда, из того, что говорил Карсавин, мне не все было понятно. Предметом разговора была идея всеединства.

— Эта идея, — говорил Карсавин, — раскрывает содержание жизни личности. Личный характер самосознания это первичный факт нашего знания. Я сознаю себя как «я», как данную личность, которая всегда тождественна себе самой. Жизнь личности представляет собой движение ее самотождественности. Человек, оставаясь всегда одним и тем же «я», знает себя как множество своих переживаний, отношений, поступков, вообще — тех или иных своих проявлений. Завершаясь в одном своем проявлении, личность заново определяет себя к проявлению в новом качестве, затем в третьем и т.д. Личность есть каждая своя реализация и все они в совокупности. Это не теория, а прямое описание того, что мы знаем о себе. Самотождественность при разнообразии своих проявлений — такова сущность личного характера бытия.

Самотождественность удостоверена тем, что в каждом своем моменте я каждый раз нахожу себя всего целиком. Здесь в больнице — весь «я». Но и год назад, в другом месте, в другом окружении, занятый другими делами, я опять-таки был весь «я». Жизнь личности есть ее самораскрытие. Осуществив себя до исчерпания в одном моменте, в новой реализации она являет свою непрерывность, т.е. воскресает. В нашем опыте все это распределено в последовательности времени и каждая реализация осуществляется недостаточно полно, а потому и недостаточно завершено. Не завершив себя в одном моменте, а значит и не умерев, я в новом моменте как бы накладываюсь на предыдущий, так что один сливается с другим. Поэтому в несовершенстве нашем всеединство усматривается затрудненно и смутно.

Понимание всеединства как абсолютной личности, живущей через множество своих моментов-самоосуществлений, достигается мысленным восполнением известной нам жизни личности до ее абсолютной полноты и осуществленности. Абсолютное «я» осуществляет себя нацело до исчерпания своей полноты в каждом своем моменте и живет тем, что раскрывает себя в неисчерпаемости своих моментов, т.е. всегда новых реализаций. Но в новизне, в качественной единственности каждого момента, вместе с тем, воскрешена вся личность во всей своей полноте, т.е. во всех своих самоосуществлениях. Это значит, что абсолютная личность есть всегда вся сразу, она есть свое всеединство, живет через смерть, но так, что движение и законченность движения не только не исключают друг друга, но и даны друг в друге.

Взяв лист бумаги, Карсавин нарисовал окружность, несколько точек которой были соединены с центром лучами, направленными из центра и к центру.

— Так представлял себе всеединство Плотин, — сказал Карсавин, — единый центр живет тем, что иррадирует, излучается сразу во все точки окружности, и каждая из них излучается обратно в центр. Таким образом, каждая точка окружности есть один и тот же центр, но друг от друга они отличаются как разные точки окружности. Каждая обладает всей полнотой, присущей центру, но в своей собственной качественной единственности.

Прислушиваясь к объяснениям Карсавина, я вдруг ощутил рядом с собой какое-то движение. Обернувшись, я увидел, что мой сосед Шавгенин, приподнимаясь в кровати, пытается увидеть, что нарисовано на листке. По-видимому, он тоже прислушивался к словам Карсавина. В светлых хитроватых глазах Шавгенина было любопытство и выражение определившегося, но сохраняемого про себя мнения.

Как-то, когда послеобеденный тихий час уже истек, но все сохраняли еще положение спящих, мое внимание привлек человек, которому пришло в голову в это время прогуляться по палате. Он был довольно высокого роста. Обыкновенное больничное белье на нем выглядело почти щеголеватой одеждой: рубашка была застегнута и аккуратно заправлена в кальсоны, штанины кальсон — заправлены в носки. В лице этого человека совмещались римская полновесность черт и старушечья округлая мягкость. Он страдал нервным тиком: межбровье его время от времени подергивалось, как если бы он хотел сморгнуть с лица муху.

Ему захотелось пройтись, и он неторопливо шел по палате, привычно подергивая лицом и не глядя ни на кого. Кроме того, он для собственного удовольствия напевал по-латыни негромким приятным баритоном: *et in saecula saeculorum...* Продолжая напевать латинский стих, без внимания к тому, что петь здесь было не принято, он обогнул наши крайние кровати и вышел в соседнюю палату.

— Это Николай Николаевич Пунин, — сказал мне Шавгенин.

До сих пор Шавгенин казался мне человеком молчаливым, но теперь обнаружилось, что он весьма словоохотлив. Он сообщил мне, что Пунин — третий муж Анны Ахматовой, первым мужем которой был Гумилев, Ахматова же, со своей стороны, вторая жена Пунина. Точнее, была второй, т.к. Пунин теперь женат третьим браком. Нет ничего удивительного увидеть Пунина среди нас. Он искусствовед, которого год назад в газетах называли формалистом и безродным космополитом. Можно было бы удивляться, не попади он после таких эпитетов в места не столь отдаленные, которые теперь правильнее назвать весьма удаленными местами.

По всему видно, что Пунин человек независимых привычек. Например, слова, которые он напевал, по-русски значат «и во веки веков», это слова церковной службы. Но не причислять же Пунина из-за этого к людям религии. Современная научная образованность вряд ли совместима с религиозностью. Наверное, Пунин мальчиком пел в церковном хоре и это просто привычка, сохранившаяся с тех лет.

Сказав все это, Шавгенин несколько приподнялся с кровати, повысил голос и повернул лицо в сторону Карсавина, как бы косвенно адресуясь к нему:

— Я предпочитаю позицию зрителя, неподвзято смотрящего на мир. Я вижу людей и вижу природу. Зачем мне еще Бог, Которого ни видеть, ни слышать невозможно. Христиане, правда, считают, что видели Бога в лице Иисуса Христа. Но исторической наукой доказано, что никакого Христа просто не было, евангель-

ская же история представляет собой миф. Профессор, вероятно, со мною не согласится, но нельзя же не считаться с доводами науки.

Карсавин, приглашенный таким образом в разговор, сказал:

— Никакими доводами нельзя опровергнуть факт. Дело в том, что историчность Христа несомненна.

Шавгенин, получив теперь возможность показать свою эрудицию в этом вопросе, стал говорить о том, что тексты у Тацита и Флавия, содержащие упоминания о Христе, признаны более поздними вставками, а других упоминаний нет, кроме Евангелий, которые, как известно, противоречат одно другому. Это доказывает, что нет документов, которыми бы подтверждалась историчность Христа.

Все такие сведения я слышал впервые и теперь с интересом ждал, каким будет ответ.

— Все это ровно ничего не доказывает, — сказал Карсавин, — сомнение в историчности Христа высказано не исторической наукой, а протестантскими богословами более ста лет назад. Мотивы были идеологические, а не научные. Сомневаться вправе кто хочет, но действительных оснований для таких сомнений просто нет. Отсутствие известий о лице не означает отсутствие лица. Мнение об упомянутых текстах является спорным. Противоречия встречаются в любых исторических документах. Между тем, историчность Христа удостоверена очевидными фактами.

— Какие же это факты? — спросил Шавгенин.

На это Карсавин сказал следующее. Учение христиан проповедовалось среди современников Христа. В маленьких иудейских общинах все знали друг друга, и невозможно было бы говорить людям: среди нас жил Иисус из Назарета, если бы на самом деле такого человека не было. Иудеи сначала преследовали христиан именно потому, что кощунством казалось поклонение Христу, которого многие знали и родственники которого продолжали жить среди них. Поклонников какого-нибудь Митры или Адониса никто не преследовал. Наконец, свидетельство о Христе передано через разных людей, но Его образ имеет несомненные признаки одной реальной личности, точно так же, как Его учение в разной передаче сохраняет характер одной идеи, которая последовательно выражалась во всех словах и действиях Христа. Оставить эти факты без внимания или делать вид, будто они не имеют значения, могут только люди, охваченные противоположной идеей, т. е. идеей отрицания христианства.

После этих слов Карсавина Шавгенин прекратил свои возражения, но побежденным не выглядел. На лице его было выражение сохраняемого про себя независимого мнения.

Как раз около этого времени Карсавин закончил переписывать набело Венок сонетов и дал их читать Жвиронасу.

Предпринятая Шавгениным попытка общего разговора установила между его участниками некоторый род поверхностного общения. И когда Жвиронас, прочитав сонеты, с почтительной бережностью передавал Карсавину стопу листов, Шавгенин, а вслед за ним и я, оба мы попросили Карсавина, чтобы он дал и нам прочитать свою рукопись. Карсавин, раз мы этого хотели, не стал нам отказывать.

Первым читал сонеты Шавгенин. Когда же он передал мне листы со стихами, я спросил:

— Вам это понравилось?

— Читайте, и вам, я полагаю, понравится так же, как мне, — сказал Шавгенин.

Эти стихи, значительность которых открылась мне лишь много позднее, при первом чтении произвели на меня впечатление бледных и невнятных.

Я держал в руке небольшую стопку листов желтоватой и шероховатой бумаги и с некоторым разочарованием рассматривал ровные, написанные карандашом строчки. Рисунок букв, прямых и узких, был необычен в самом своем начертании, он как бы не подвергся демократизации, которую претерпела графика современного письма. Еще необычнее было то, что в написании слов сохранялись фита, ять, ер и другие буквы, упраздненные реформой в правилах орфографии. Даже в этих мелочах открывалась принадлежность Карсавина к миру других привычек. Смысловая же невнятность стихов объяснялась, возможно, тем, что это была речь мира других понятий.

Но в одном отношении я теперь уже мог оценить значение этих стихов. Венок сонетов — 210 строк сложной стихотворной формы — был сочинен Карсавиным, когда он находился в камере следственной тюрьмы. Я помнил и незаполненную пустоту времени, которая недавно мучила меня в карцере, и мое намерение выучить столько текстов, чтобы их механическим чтением можно было заполнить сутки.

Стихи Карсавина являли пример такой сосредоточенности, которой хватило бы, чтобы заполнить целую жизнь.

**

Карсавин был курящим. Из дому ему присылали табак в пачках и папиросную бумагу, и он на каждый день приготавливал себе запас самодельных сигарет. Прямоугольный листик бумаги

он наворачивал на карандаш и в получившуюся гильзу спичкой набивал табак. Из таких сигарет в рот всегда попадали крупинки табака, и позднее кто-то, кажется, Шимкунас, подарил Карсавину деревянный мундштук местного изготовления, украшенный простеньким резным узором.

Курить ходили к оконцу в пристройке, в которой помещался клозет.

Как-то раз, когда Карсавин, покурив, шел к своему месту в палате, я, подойдя, остановил его между кроватями.

— Профессор, — сказал я, почему-то впадая в вычурность, — не согласались бы вы почитать мне лекции, скажем, по истории религии?

— Зачем же лекции, — недовольным голосом сказал Карсавин, — здесь не место читать лекции. Но если хотите, мы можем поговорить на тему, которая вас интересует.

Сказав это и не обращая далее внимания на меня, продолжавшего стоять, Карсавин стал ложиться в постель. Но шаг к сближению был принят.

Вечером того же дня я подошел к Карсавину и спросил:

— Можно?

Получив утвердительный ответ, я уселся в ногах на его кровать.

— С какой же лекции мы начнем? — спросил Карсавин.

От беседы с ним я хотел получить что-то в интеллектуальном отношении самое содержательное. Поэтому я сказал:

— Сделайте общий обзор философии.

По выражению лица Карсавина было видно, что эта тема не вполне совпадала с настроением его мысли, но т.к. выбор темы был предоставлен заказчику, Карсавин, немного подумав, сказал:

— Хорошо. Можно начать с обзора философии.

— Что я слышу? — сказал подошедший Пунин, — Вы будете рассказывать о философии? Я тоже хочу послушать.

И Пунин сел на кровать Жвиронаса, которому пришлось быстро поджать ноги, чтобы освободить для Пунина место.

— Самостоятельная философская мысль, — сказал Карсавин, — выделилась из общего фонда религиозно-мифологических представлений. Это произошло в ионийских городах древней Греции. Там, в борьбе греков колонистов с туземным населением, ранее чем в других местах, родовые отношения были нарушены выдвижением людей, которые отличались предприимчивостью, энергией, сообразительностью или другими личными свойствами. С появлением индивидуальности лица появляется и самостоятельность мысли, сперва практическая, а затем и созерцательная.

С самого своего зарождения философская мысль обнаруживает склонность к размножению на некие делимые точки зрения, в концентрации вокруг определенных лиц, т.е. к появлению философских школ, вырастающих друг из друга и тотчас вступающих между собой в словесную борьбу. Что означает эта множественность философских учений? Уже Аристофан в своих комедиях смеялся над философами за то, что в понимании истины они не могут прийти к согласию. Истина, конечно, одна. Но каждое индивидуальное понимание истины выделяет из нее один, увиденный как главный предмет, ее момент, в ущерб другим ее моментам и аспектам, которые как бы уходят на задний план и почти не выделяются. Каждое философское учение есть явление уму всей истины, но выявляет ее только в одном образе, именно в том, который дан в лице основателя школы. Такова структура познания истины, так как познание истины есть ее движение.

Невозможно в кратком обзоре рассмотреть и систематизировать хотя бы лишь наиболее яркие философские направления. Но какими бы они ни были, история мысли есть ее восхождение на пути к познанию абсолюта. Поэтому ограничим себя лишь важнейшими умозрениями на этом пути.

Первое отчетливо осознанное понятие абсолюта мы находим у Платона, основателя Академии. Он понял, что идеальный образ вещи предшествует самой вещи, т.е. относительно и множественному бытию предшествует его абсолютное основание. «Предшествует» надо понимать не во времени, а онтологически, т.е. в отношении порядка бытия. Плотин, основатель неоплатонизма, в своих умозрениях постиг, что абсолют открыт нам через свою внутреннюю различенность. Иерархия идей восходит к единому центру, но абсолютное единство, как понял Плотин, возможно мыслить только как тройство, которому он, сделав ошибку, также приписал отношение иерархии.

Радикальный успех принесло христианство в трудах отцов Церкви. Из мыслителей этого периода наиболее замечательны были Ориген и Григорий Нисский. Внутрибожественное Троиединство понято теперь как единство сущности, раскрывающее себя в трех лицах или ипостасях Отца, Сына и Св. Духа. Они равны, т.к. каждый обладает всей полнотой божества, но именно поэтому они различны, т.к. абсолютное равенство осуществляется через столь же абсолютное различие. Трансбожественное самораскрытие абсолюта делает его Творцом, соотносящим с Собою сотворенный мир и осуществляющим в ипостаси Сына соединение божества и тварной природы.

В средние века мысль движется путем как бы параллельным мысли предыдущих веков. Учение Платона возрождается в учении о реальных, о совпадении понятия и бытия, из чего Ансельм Кентерберрийский приходит к открытию, что идея Бога есть Сам Бог, а мейстер Экхарт постигает, что тройственно-делимое бытие Бога есть Его самопознание. И наконец, на рубеже новых времен величайший диалектик кардинал Римской церкви Николай Кузанский в своих умозрениях о совпадении противоположностей в абсолюте приходит к мысли, что единство противоположностей есть не что иное, как жизнь абсолюта.

Так же надо понимать и откровение истины нашему познанию. Она всегда одна и та же, но ее единство есть, вместе с тем, ее неисчерпаемость, а высказанность ее едина с ее невыразимостью. Высказав себя в полноте одной точки зрения, она заново высказывает себя, открывая нам себя в противостоящих точках зрения, и это есть ее жизнь, движение полноты, которым осуществляется ее полнота...

— Может быть, это представляется не вполне понятным?

— Это ничего, — сказал Пунин, — это неважно.

Он сказал, что изумлен масштабностью взгляда, с которой Карсавин сделал свой обзор. Пунин ожидал услышать обзор, построенный на классификации философских учений по какому-либо набору признаков. И ему чрезвычайно понравилась та непринужденность, с какой Карсавин, имея перед собой необозримый материал, обошелся вообще без классификации, а, выбрав одну линию, на нескольких примерах существенно охарактеризовал вопрос в его целом.

Что касается меня, я, помнится, был слегка разочарован этой первой беседой. Я предпочел бы именно классификационную обозримость материала, но, конечно, промолчал об этом.

— А какую позицию занимаете вы в отношении теории познания? — спросил Пунин Карсавина.

— Непротиворечивое решение проблемы познания состоит в том, чтобы познание понять как самопознание, — сказал Карсавин. — «Познай самого себя», как было написано в преддверии храма Аполлона в Дельфах.

— Не пахнет ли это солипсизмом? — спросил Пунин.

— А чем вам не нравится этот запах? — спросил Карсавин. — Но речь не о солипсизме. Это идея современного философского интуитивизма, который исходит из того, что познаваемый предмет существует объективно, т.е. сам по себе. Но акт познания понимается как становление предмета фактом сознания. Познаваемый предмет в этом отношении становится мной.

Здесь, чтобы дать нам отдых от абстрактных рассуждений, Карсавин рассказал следующую историю.

Несколько лет назад профессор, коллега Карсавина по вильнюсскому университету, шел по улице и слышал разговор студента и студентки, которые шли перед ним. Эти двое были заняты не тем, что им полагалось по возрасту в подобной ситуации, а разговором о проблеме познания. Когда они проходили мимо фонарного столба, студент сказал своей даме: «Вот фонарный столб. Поскольку я его познаю, это значит, что я и этот столб — одно и то же». Тогда профессор сразу понял, что студент был не иначе как ученик профессора Карсавина.

— Познавая предмет, — сказал далее Карсавин, — человек вступает в обладание — не копией, не отражением, не образом, а самим предметом в действительности его бытия. Отношение познания означает, что образуется дву-единство, один полюс которого — человек, а другой — предмет. Одно бытие сознает себя существующим различенно, как человек и как предмет. Реализуется это сознание в полюсе человека, именно в том, что себя он сознает как себя, а предмет — как нечто отличное от себя. Единство бытия этим не разрушается. Субъект знания воссоединяет отдельность объекта тем, что все сознает по отношению к себе. Такова сущность идеи, на которой основана теория познания интуитивизма. Познавая мир, я становлюсь им, как мир при этом становится мной. Окончательно эта идея осмысливается восхождением в абсолют. Бог есть все и все мыслит как Себя. Для Бога познание есть самопознание.

Карсавин и Пунин теперь ежедневно поддерживали общение. В частности, они оба в одинаковой мере имели пристрастие к крепкому чаю, и для них действие приготовления чая было одной из веселых забот дня. Третьим участником их ежедневных чаепитий сделался я. До сих пор я не был ценителем чайных свойств, но здесь находил удовольствие в присоединении к миру иных привычек. Чай Карсавину и Пунину присылали из дому, это был хороший индийский чай. Моим вкладом в общее чаепитие был кипяток, достаточно горячий, чтобы из горсточки сухих чайнок вытянуть хранившиеся в них крепость, цвет и аромат.

Молодой австриец Тони, которому я раньше помог устроиться в техническую бригаду, не покинул меня в моем опальном положении и теперь два раза в день подавал через форточку большой эмалированный чайник, наполненный кипятком прямо из паровозного котла, так как Тони работал в котельной.

Однажды к окну навестить меня пришел Ланг и, прижимая свой римский нос к стеклу, спрашивал, кто из находившихся в палате Карсавин. Я показал глазами, но Ланг через стекло так и не увидел.

Для заварки чая Карсавин имел фарфоровый чайник, который ставился на середину тумбочки, а рядом с ним в коробке из-под монпансье был мелко наколотый сахар.

Пунин как-то произнес хвалу чаю, упомянув, что чай обладает вяжущими свойствами.

— Не только вяжущими, — сказал на это Карсавин, — но и связывающими.

— Два человека, общаясь, образуют двуединство, — сказал Карсавин, — как в вопросе о познании, двое, взаимно знающие друг о друге, есть одно бытие, которое знает себя различным на двоих. Субъект знания, в котором разъединенность воссоединяется, в этом случае осуществляет воссоединение в каждом из полюсов двуединства. Каждый из них мыслит их взаимное общение одним и тем же образом, как «я» и «ты» или как «мы». Друг другу они противостоят как разные лица, но каждый из них действует и мыслит как от собственного лица, так и от лица двоих, от лица двуединства, которое по качественному своеобразие имеет характер личности, но не индивидуальной, а социальной. Так же любая группа лиц образует многоединство или социальную личность, самосознание которой включено в самосознание каждого из ее индивидуальных членов. «Я» каждого из нас индивидуально, но вместе с тем и сверхиндивидуально, может осознать себя как «я» социальных личностей, образующих обширную иерархию от я-своей-семьи до я-всего-человечества.

— Этому, — вдруг сказал Жвиронас, — есть, как мне кажется, прямая аналогия в физике. Каждая струна, имея основной тон, имеет, кроме того, множество обертонов. И в зависимости от способа возбуждения одна и та же струна звучит в разном составе тонов.

— Это на самом деле хорошая аналогия, — сказал Карсавин. — Человек в самосознании и в своих действиях выступает от лица актуальных в нем социальных личностей. Действуя в интересах семьи, он действует от лица семьи, т.е. она действует через него и как он. Выступая с позиций своей партии, человек отождествляет свое «я» с социальным «я» партии. Обнаруживая патриотизм, он свое «я» отождествляет с социальной личностью своего народа. Все человечество, каждый народ, каждое общество — суть социальные личности, сознающие себя в индивидуальной

личности каждого своего представителя. Этим, в частности, непосредственно объясняются малоисследованные, но несомненные факты предвидения, ясновидения, сопереживания людям, жившим в другом времени, и вообще явления так называемой парапсихологии. В нашем сознании мы видим образ всеединства. И даже больше, чем образ. Самосознание — само всеединство в той, по крайней мере, степени, в какой оно уже реализовано в нас.

Пунин не был привержен особой религиозности, но иногда позволял себе щегольнуть стилизованным в этом духе оборотом речи. Как-то он сказал Карсавину:

— Изрядно мы нагрелись, раз нам дается столь длительное время для покаяния.

Под длительностью времени он имел в виду, наверное, назначенный приговором срок заключения, который у каждого из нас был не менее десяти лет.

— Покаяние дело душеполезное, — сказал Карсавин, — но еще важнее переосмысление.

Пунин моргнул переносом, удивленно помолчал и спросил:

— Это вы сами изобрели?

— Нет, не сам, — сказал Карсавин. — Слово «покаяние» является неточным переводом греческого слова «μετάνοια», которое более правильно передается по-русски как умоперемена. В русском переводе проповедник говорит: покаяйтесь. А для греческого слушателя этот призыв звучал: перемените ум. Христианство проповедовалось людям, воспитанным в представлениях эллинистической культуры, для которых христианская идея была нелепостью, безумием. Поэтому им и говорилось: перемените ум. А перевод евангельского текста с греческого на славянский был сделан в то время, когда воспитание, руководимое Церковью, строилось целиком на христианском вероучении. Вот почему благочестивые переводчики, рассудив, что надобность в перемене ума отпала, нашли подходящим передать это слово как покаяние, которое сохраняло полноту своего значения в смысле таинства примирения с Богом. Поскольку покаяние означает осознание своей вины и ответственности, оно входит в умоперемену, как ее частное значение. Наше время требует, чтобы христианская идея было осознана заново. Поэтому опять актуальным сделалось исходное значение евангельского слова: перемените ум.

Умоперемена означает преодоление релятивизации абсолюта, выход мыслью за пределы природных понятий ума. Ведь разум сам как таковой есть именно сверхприродная способность человека и, мысля сверхприродно, разум действует в своей стихии.

Умоперемена означает переосмысление, прежде всего, непосредственного содержания жизни. В факте нашего существования и нашего убеждения в действительности окружающего нам дано прямое знание о том, что человек живет своим отношением к Богу. Однако сказать, что переменить ум легко, значило бы ввести в заблуждение. Умоперемена это процесс. Легко вступить на этот путь, нужен один шаг, но сам он — вся жизнь.

С тех пор как я вошел в относительно близкое общение с Карсавиным и Пуниным, Шавгенин, напротив, отдалился от них. И в отношении Шавгенина ко мне тоже появилось некоторое отчуждение. Лежа на приставленных вплотную кроватях, мы иногда заговаривали друг с другом, отдавая этим дань своему соседству, но, как правило, это был короткий обмен словами без оттенка личной заинтересованности друг в друге.

Подобно большинству здешних больных, Шавгенин безучастно лежал в постели. Иногда он прислушивался к разговорам, которые вел Карсавин со своими собеседниками, но сам в разговор более не вступал. При этом в глазах его было смешанное выражение любопытства и заведомого несогласия. Вскоре Шавгенина выписали из стационара. Говорили, что его взяли на этап и что он сам этого добивался, рассчитывая в другом месте найти применение своим профессиональным знаниям.

Затем пришел день, когда Пунину во время врачебного обхода сказали, чтобы он приготовился покинуть стационар. Перед своим уходом от нас Пунин сделался несколько озабоченным. Ему предстояло переступить порог больницы, сделаться элементом той лагерной стихии, о которой до сих пор он лишь слышал зловещие рассказы. В это время я ожидал, что и меня выпишут через день или два, и говорил Пунину, что, выйдя из стационара, разыщу его и в меру моих возможностей постараюсь чем-нибудь помочь. И Пунин, со своей стороны, говорил мне:

— Непременно найдите меня.

Во мне, сказал Пунин, он видит человека, сохранившего относительно независимость в условиях лагерной среды, и, ожидая испытать воздействие этой среды на себе самом, он несколько обнадеживался таким примером. Прощаясь с Карсавиным, Пунин обещал, как только немного освоится на новом месте, непременно возобновить их встречи за чашкой чая.

Однако, покинув стационар, Пунин с тех пор как в воду канул. Он не появлялся, не давал о себе знать, и вообще не было даже слышно о нем, где его поместили и что с ним. Карсавин как-то даже спросил, что бы это могло значить? Неужели Пунин совсем

забыл о своих знакомых? Я ответил, что у него, наверное, нет недостатка в новых знакомых. Просто он все еще осваивается. Это в порядке вещей.

Я ожидал, что меня самого вскоре выпишут из стационара. Однако, вопреки ожиданию, после ухода Пунина я оставался в стационаре еще не менее двух недель. Именно тогда между мной и Карсавиным наметилось сближение, которое привело к тому, что я сделался его постоянным слушателем. Это имело, думаю, значение и для Карсавина, ибо если ученик внимает учителю, то и учитель имеет заботу об ученике. Наши беседы не имели какого-нибудь предусмотренного плана, отправной точкой разговора иногда мог служить нечаянно всплывший вопрос. Но во всем, что говорил Карсавин, меня притягивала некая особая, до этого неведомая существование понимание.

Карсавин умел говорить, нисколько не навязывая себя. О вещах, самых для него серьезных, он говорил так, как если бы относился к ним несколько шутливо. И пока он говорил, сдержанно-ласковая полуулыбка на его лице и алмазный отблеск в теплой черноте глаз как бы снимали расстояние между ним и его собеседником.

Однажды я спросил Карсавина:

— Как общественная формация влияет на формы религии?

— Еще вопрос, — сказал Карсавин, — что на что влияет. Не лучше ли сперва уточнить, как мы представляем себе религию?

— Да, — сказал я, — очень интересно это уточнить.

— Осваивая бытие, — сказал Карсавин, — человек тем самым направлен к Богу как к абсолютному основанию всякой реальности. Прямое выражение это имеет в религии, в понятиях и культуре которой человек ставит себя в отношение к Богу.

Ученые, занимавшиеся вопросом быта и верований первобытных народов, такие как Тейлор и Фрэзер, собрали весьма обширный материал. Но позитивная наука, хотя и взялась объяснить происхождение религии, не сделала сколько-нибудь серьезных попыток выявить основы религиозного сознания. Объяснения эти настолько поверхностны, как будто ученый, вообразив себя дикарем, спрашивал себя: что бы такое мне обожествить?

Трудно понять, как иначе можно додуматься до такого объяснения, будто бы божественным представлялось то, что было непонятным. Это не объяснение, а скрытое утверждение, что религиозное сознание есть ошибочное.

Религиозной интуицией абсолютная явленность осознается как явленность абсолютного. Обожествляется то, через что человек вступает в обладание Богом. Суть религиозного культа — те-

ургия, т.е. действия, в которых через подражание Богу человек отождествляет себя с Ним.

Каждая религия, воспроизводя в своих формах Божество в Его отношении к миру, вместе с тем, в себе самой воспроизводит и жертвенность Божества, Его готовность отдать Себя творению.

Историческая смена форм религии есть жизнь религии, но, раскрывая через обновление свою полноту, религия несет в себе готовность отдать свое содержание. Движение религии не просто смена ее форм, а процесс, в котором сакральное неуклонно подвергается десакрализации. Религиозное как бы перетекает во вне-религиозное. Элементы религии теряют свой священный характер и становятся достоянием быта, хозяйственной жизни, культуры. Астрономия происходит от астрологии, современный театр от литургической драмы. Гуманистические идеалы и этические нормы современного общества рождены христианством. Даже в личной жизни религиозным людям известно по опыту, что религиозный подъем легко переходит в бытовую активность.

Вот почему есть основание думать, что в исторической жизни народов не формы хозяйственного и общественного устройства определяли характер религии, а, вероятнее всего, как раз напротив, религия вела за собой хозяйственный и общественный прогресс. Такие события доисторической жизни, как овладение огнем, приручение животных, посев злаков и многое другое — первоначально не имели утилитарного значения, а были священнодействием, теургией, от которой пошло и животноводство, и земледелие, и другие формы хозяйственной жизни лишь тогда, когда сама теургия подверглась десакрализации, потеряла значение священного акта.

Формы, в которые облакает себя религиозность, национальны и связаны с общими представлениями своего времени. И если достойно удивления их многообразие, то ведь не менее достойно удивления то совпадение, которое, вопреки многообразию, обнаруживается в центральных представлениях разных религий...

Несмотря на широкий разброс тематики наших разговоров, все они, как железные опилки в магнитном поле, втягивались в область, заключенную между двумя полюсами, из которых одним были вопросы философии, а другим вопросы религии. В наших разговорах как бы сохранялась та неумышленная удвоенность запроса, с которой я в первый раз подошел к Карсавину, попросив его сперва «почитать лекции по истории религии», а затем заменив это пожелание просьбой сделать обзор философии. Продолжая философскую тему, Карсавин говорил о совпадениях понятия и

бытия, об онтологическом аргументе, о выражении невыразимого. На религиозные темы он говорил об отношении веры и разума, о боговоплощении и воскресении.

Со стороны Карсавина все это, возможно, было своего рода начальным просвещением собеседника, почвой взаимного привыкания умов, что позднее открыло бы возможность для разговора по существу его главных умозрений.

**

Выйдя из стационара, я снова был определен в техническую бригаду, но не в прежней роли, а в должности дежурного на электростанции. Это назначение досталось не сразу и не без труда. Майор Бондарь запомнил, что я стучал ногами в его кабинете, и когда Потапов стал просить за меня, сперва ответил отказом. Однако преобладающей чертой в характере майора была хозяйственность, и, поверив Потапову, что для работы электростанции будет польза от грамотного в технике человека, он, в конце концов, дал свое согласие.

Так из механика я сделался электриком. Моим соседом по общежитию был теперь не Ланг, а парень из западных украинцев Саша. Он работал аварийным монтером в одной смене со мной. Группа электриков в основном состояла из западных украинцев. Все они были националисты, попавшие сюда за связь с бендеровцами, все были униаты, все носили на себе алюминиевые крестики или образки.

Электростанцией называлась деревянная пристрочка в котельной, узкий сарайчик без окон, в котором жужжал, иногда мерцающая искрами, генератор в 15 лошадиных сил. В стене, отделяющей сарайчик от котельной, был вырез для приводного ремня, соединявшего шкив генератора с маховым колесом, который стоял в котельной рядом с паровозами. Все это гудело и дрожало.

Работа дежурного состояла в том, чтобы включать и выключать, когда надо, рубильники и быть при генераторе на случай возможных неполадок. Впоследствии у меня выработался специальный слух, и я по звуку машины знал, как она работает.

Дежурство на электростанции давало мне возможность заниматься чем хотелось — читать, или писать, или бездельно лежать, для чего вдоль стены сарайчика имелась узкая лежанка, покрытая тряпьем. Надзиратели сюда не приходили, так как боялись электрического напряжения.

Устроив свои дела, я в какой-то из дней, когда был свободен от дежурства, отправился искать Пунина. Найти человека в лагере, в этом скопище людей, было, наверное, не проще, чем отыскать знакомого муравья в большом муравейнике.

В плане наш лагерь имел форму усеченного клина, сужавшегося с запада на восток, где вдали синела зазубренная полоса Уральских гор. Основная застройка располагалась вдоль периметра лагеря, а среднюю часть занимал большой гараж и еще три стоявшие вплотную здания, общий фасад которых выходил на Вахтенную улицу напротив длинного барака.

Выйдя из хоздвора, я пошел сперва к баракам северной окраины. Возле одного из барakov я увидел толпу, которая возбужденно гудела, а в середине кто-то кричал. Оказалось, в секции, где жила рабочая бригада, поймали вора. Его выволокли и лежащего били палкой. Когда я вошел в барак, я почувствовал на себе взгляды, в которых была подозрительность и вопрос: а этот еще кто? — так как я для них был чужим. Но кто-то сказал: «это электрик», и подозрительность сразу исчезла, а вместе с ней и всякий интерес ко мне. В бараках северной окраины Пунина не было.

Восточная часть лагеря была большим пустырем. Здесь слева стоял домик, служивший кладовой для хранения посылок, а на пригорке к самому углу внешнего ограждения примыкал БУР (барак усиленного режима), самая обособленность которого и окружавший его проволочный забор показывали его назначение. Это была внутрилагерная тюрьма, где, кроме того, помещалась резиденция Начальника службы надзора.

Справа от пустыря стояли три параллельные друг другу барака. Я пошел в тот, где жил знакомый мне еврейский поэт Самуил Галкин.

В это время дня барак был почти пуст, там было всего несколько человек: Галкин и в стороне от него группа бородатых людей, плотно сидевших вокруг сгорбленного, небольшого роста старика, заросшего черными с густой проседью волосами и такой же бородой. Место Галкина было в нижнем ряду нар. Он сидел на своей постели в классической восточной позе, сложив ноги как Будда и, чуть покачивая телом, сам для себя напевал что-то негромко и по-еврейски заунывно. Увидев меня, он тотчас спустил ноги с нар.

О группе бородатых людей Галкин сказал, что это православные, но отделившиеся от официальной церкви, которых недавно привезли сюда. Черноволосый человек — священник по имени отец Иван. За диковатую внешность Галкин назвал его попиком из болота. О том, что Пунин в нашем лагере, Галкин слышал, но

где находится, сказать не мог. Он обещал поспрашивать своих знакомых, которых, как я знал, у него было много.

Напротив восточных барачков на пустыре была водокачка — довольно высокая, квадратная в сечении башня. Отсюда шла улица вдоль барачков южной стороны. Придя сюда, я вдруг понял, что вообще не было нужды искать Пунина по жилым помещениям. Проще всего встретить его здесь, в столовой, когда по расписанию в ней кормят стариков и инвалидов, которых не выводят на работу за пределы лагеря.

Я приходил в столовую один раз и другой, но среди тех, кто был в этом длинном темноватом помещении, где пока одни едят, другие входят или выходят и где всегда шум от голосов, окриков и стука мисками по столам, — Пунина так и не встретил, словно он сделался невидимкой. И все же именно столовая положила конец моим поискам. Я наконец увидел там Галкина, которому, как оказалось, стало известно, что Пунин числится в бригаде, живущей в «бараке с верандой».

Такой барачок был в лагере единственным. Напротив длинного барака, занятого санчастью, как уже упоминалось, был расположен блок из трех примыкавших друг к другу зданий. В одном из них была баня. В другом помещалась КВЧ (культурно-воспитательная часть), это было особое лагерное учреждение, которое совмещало функции местного клуба, библиотеки, почты и внутренней цензуры, куда полагалось отдавать на проверку книги, имевшиеся в частном владении. Третье здание было жилым. Именно оно и называлось «бараком с верандой», так как вход в него был утеплен тамбуром, сделанным в виде застекленной, похожей на веранду пристройки. В «бараке с верандой» жило человек двести, если не больше. В этом большом темноватом помещении воздух был спертым, с примесью того отвратительного запаха, который бывает, когда сушат портянки. Все было загромождено двухъярусными нарами и густо наполнено людьми. Войдя туда, я стоял в некоторой растерянности, не зная, как найти Пунина среди этой человеческой толчеи. Но искать не пришлось. По узкому проходу прямо на меня шел Пунин, собравшийся в этот момент куда-то выйти.

Встречи с распростертыми объятьями не было. Пунин встретил меня несколько рассеянно и даже, пожалуй, с небольшим удивлением. Но этот прохладный тон первых мгновений вскоре потеплел. В разговоре Пунин оживился и держал себя со мной приветливо. В помощи, которую я мог бы предложить ему, Пунин, как оказалось, не нуждался. Из дому ему приходили примерно раз в неделю посылки. Благодаря такому необычному в лагере

уровню обеспеченности Пунин, прежде всего, сам питался из своих запасов. Я не мог встретить Пунина в столовой по той простой причине, что он вообще туда не ходил. С другой стороны, Пунин имел возможность посредством соответствующих даяний заручиться расположением лиц, от которых зависели обстоятельства устройства. На первых порах, не зная тарифа, Пунин, чтобы не дать слишком мало, дал втрое больше, чем следовало. Благодарность была соразмерной. В секции, где жил Пунин, была большая ниша. Туда для него поставили отдельную кровать, на которую положили три матраса, три подушки и три одеяла. Пунин называл это сооружение ложем Клеопатры.

Вторая моя встреча с Пуниным случилась в общежитии технической бригады. Отработав на электростанции ночную смену, я сидел днем в пустой секции, занимаясь чем-то своим, когда туда вошел Пунин. В руке он держал яблоко и шел неуверенной походкой человека, незнакомого с обстановкой. Подумав, что Пунин пришел сюда ради меня, я встал встретить гостя, но он, увидев меня, сказал, что никак не ожидал меня здесь встретить. Пунин искал коменданта, которому нес яблоко. Кто-то, видимо, по ошибке направил его сюда.

— Ну раз коменданта здесь нет, — сказал Пунин, — я, пожалуй, отдам яблоко вам.

Я стал отказываться, но Пунин при этом только укрепился в намерении отдать яблоко именно мне.

— Не держать же мне яблоко все время в руке, — сказал Пунин и сел на скамью за стол, стоявший посреди секции.

Я тоже сел. В результате мы согласились на том, чтобы съесть яблоко пополам, разговорились, и так за разговором сидели вдвоем часа полтора.

Причиной, приведшей Пунина в лагерь, он считал не газетное обвинение в формализме, как думал Шавгенин (Пунин махнул рукой, сказав, что Шавгенин ничего не понимает), а свою неосторожность и неосмотрительность в словах. Например, на одной из своих лекций в Ленинградском университете, имея в виду требование классовой идейности в искусстве, Пунин сказал: «Ничего, татарское нашествие пережили, и это переживем». В нынешнем положении Пунин находил то преимущество, что здесь, в общем, особой осмотрительности в словах не требовалось. Каждый говорил что хотел и как хотел.

В разговоре, обратившись к Пунину, я ради большей уважительности назвал его «профессор». Однако это ему не понравилось.

— Не называйте меня профессором, — сказал он, не люблю профессоров, хотя сам принадлежу к их числу. Особенно терпеть не могу профессорские разговоры.

— А как же Карсавин? — спросил я.

— К Карсавину это не относится, — сказал Пунин, — беседы с Карсавиным, которые были в стационаре, вспоминаются мне как пир мысли, как оазис среди засохших кактусов.

С этих пор я и Пунин стали встречаться довольно часто. Если я бывал свободен от работы в дневное время, то иногда приходил к Пунину и мы сидели на веранде. Она служила как бы салоном, туда приходили посидеть и там даже были поставлены столики для игры в шахматы. Если же я работал в дневную смену, Пунин, случалось, навещал меня. Кажется, ему даже нравилось приходиться ко мне на электростанцию.



В тот день, когда меня выписали из стационара, перед тем как уйти, я условился с Карсавиным, что по вечерам буду приходиться для продолжения бесед.

И когда вскоре вечером я пришел и привычно занял свое место у его кровати, Карсавин, как если бы мы ни на день не расстались, почти тотчас начал говорить, продолжая мысль предыдущей беседы.

Я приходил к Карсавину каждый вечер, кроме тех вечеров, когда был занят на работе. Нужно причем сказать, тот факт, что меня пускали в стационар, был послаблением против порядка содержания в Особом лагере. Вообще в лагерях не принято навещать больных и в стационар никому, кроме больничного персонала, ходить не разрешалось. Исключение делалось для Карсавина.

Врач стационара Владас Шимкунас, тихоголосый невысокого роста человек с чуть монгольской расширенностью лица и зелеными русалочьими глазами, сказал мне:

— Друзья профессора Карсавина мне тоже друзья. Если профессору приятно, чтобы вы ходили к нему, я не буду этому препятствовать. Если же кто-нибудь станет не пускать вас, скажите, что идете ко мне.

Хирург Николай Петрович встречал меня взглядом, в котором не было одобрения, но молчал. Пропуском для входа в палату служил надетый поверх одежды медицинский халат, который надо было где-то взять, но именно в этом мне помогла недавняя принадлежность к начальствующему персоналу. В память о ней халат мне давали в амбулатории.

Еврейского поэта Самуила Галкина я знал сравнительно давно. Более года назад, когда населенность лагеря не дошла еще до нынешней тесноты, я вместе с Потаповым, которого тогда еще не произвели в Главного инженера, узнав, что в лагерь прибыл известный поэт, решил сходить с ним познакомиться.

Придя, мы увидели довольно полного телом человека, в возрасте лет за пятьдесят, красивой иудейской внешности. Он сидел за тумбочкой, подперев голову рукой и как бы задумавшись. Когда перед ним появились два незнакомых посетителя, он сказал:

— Очень рад, — и сделал рукой домашнее движение, которым хозяин приглашает гостей располагаться. Посетители оба про себя усмехнулись этому (автоматизм домашних привычек в переносе на лагерь означает неизжитый конфликт между «был» и «есть») и расположились, присев на край соседней лежанки.

В первый день знакомства Галкин был не очень общителен. Он читал нам свои стихи, но только те, которые были в русском переводе. Позднее Галкин читал мне свои стихи в подлиннике на идиш, тут же пересказывая их по-русски.

Я однажды сказал Галкину, что здесь в лагере приобрел какое-то особое, личное отношение к звездному небу. Глядя на звезды, я чувствовал себя как бы рядом с теми, кто в то же самое мгновение видит те же самые звезды.

Галкин в ответ тотчас прочитал свое стихотворение «Звезда», (Der Stern) сопровождая, как обычно, чтение на идиш русским пересказом. Это стихотворение опубликовано в переводе Анны Ахматовой. Однако на идиш оно звучит мужественнее, и Галкин, пересказывая его без рифмы, передавал стихотворение ближе к оригиналу, чем в переводе. Он говорил: «Эта звезда мне драгоценна — ради чистоты ее огня — ради того, что путь ее проходит через века — ради того, что свет ее сам по себе чуден — и еще ради того, что все сияние своего огня — в себе самой, как в одной капле — включает она».

Закончив чтение и пересказ, Галкин признался, что написал это стихотворение под влиянием чувства поэтической зависти к стихотворению Иннокентия Анненского:

Среди миров мерцающих светил
Одной звезды я повторяю имя и т.д.

Поразившись прозрачным символизмом этой вещи, Галкин не находил себе места, пока не родилось его собственное стихотворение.

Помимо чтения стихов, Галкин рассказывал мне о хасидах, так как он был из семьи хасида.

В восемнадцатом веке в иудейской религии произошел раскол на мишнагдим и хасидов. Первые видели содержание религиозности в соблюдении очень подробно разработанных правил. Для хасидов же главным было духовное возвышение. Наряду с общими для всех иудеев священными книгами Торы (т.е. Пятикнижием Моисея), хасиды питали свой дух книгами Каббалы.

По учению Каббалы, Бог творит мир посредством тайны сжатия. Бесконечный сжимает себя в букву «юд», которая по размеру почти точка и является первой буквой сокращенного имени Бога. Сжимая Себя, Бог как бы освобождает место, так как первоначально все заполнено Им одним. Затем Бог излучается вонне Себя. Эта эманация, совершенная вблизи к центру, на периферии принимает низшие формы бытия, что и есть сотворенный мир.

— Послушайте, — сказал я, — так ведь ваша «Звезда» это и есть буква «юд»!

— Конечно, — сказал Галкин.

Встречаясь то с Карсавиным, то с Галкиным, то с Пуниным, я пил сразу из трех источников. Из того, что я слышал от них, ничто не залеживалось. Полученное от одного, делалось оборотным капиталом для разговора с двумя другими.

Рассказав Пунину о стихотворении Галкина, я сообщил ему, что Звезда была символом буквы «юд» и что символизм Галкина был в данном случае откликом на символизм Анненского.

Имя Анненского вызвало у Пунина внезапный приступ воспоминаний. Оказалось, Иннокентий Анненский был директором царскосельской гимназии, в которой учился Пунин. Анненский держался олимпийцем, появлялся лишь в редких торжественных случаях, хотя жил тут же, в квартире при гимназии. Его рабочий кабинет был застелен большим красивым ковром. Свои стихи он писал на листах, которые имели форму свитка. Читал свои стихи Анненский даже наедине весьма театрально, стоя и держа перед собой свиток в отставленной руке. Кончив читать, он ронял свиток на ковер.

Манера речи Пунина была совсем непохожа на то, как держал себя в разговоре Галкин. Всегда готовый к общению, Галкин умел говорить оживленно, причем оживлялся всем телом, говорил выразительно, помогал себе интонационными переходами голоса и руками.

Пунин вообще говорил только тогда, когда у него для этого появлялось настроение, что бывало сравнительно редко. Говоря, Пунин сидел монументально, держа руки на палке, с которой обы-

чно ходил, глядя невидящим взглядом мимо собеседника, но уж если на него находило вдохновение речи, то умел говорить так, что из его слов, произносимых без интонационных нажимов, вылепливалась как бы зримая картина в живом движении персонажей.

К Карсавину я обратился за разъяснениями по поводу Каббалы.

— Каббала, — сказал Карсавин, — это иудейский гносис, попытка представить Божество в Его отношении к сотворенному миру. Образ Бесконечного, Который сжимает Себя в точку для того, чтобы возник сотворенный мир, — это одна из наиболее удачных мифологем. Этот образ прекрасно передает образ творения. Вообще, в гносисе Каббалы иудаизм очень близко подходит к христианской идее. Сжатие Бога в точку означает самоустранение Бога ради свободы тварного бытия. Однако дальше учения об эманациях иудейский гносис не идет, до идеи Боговоплощения он не доходит. Боговоплощение мыслится как Богоизлучение. Тварная периферия бытия непоправимо и навсегда удалена от божественного центра.

Гносис Каббалы возник, вероятно, из практики свободного символического или аллегорического переосмысления библейского текста.

Отправной точкой христианского вероучения служат такие умозрения на основе ветхозаветного текста, однако христианство обращено прежде всего к конкретной личности Христа, в Котором вера открывает Сына Божия. Ради спасения человека, который вследствие грехопадения замкнут в своем несовершенстве, Бог Самого Себя в ипостаси Сына обрекает к бытию несовершенства. Страданиями Христа, Его смертью и воскресением наше несовершенство делается средством нашего усовершенствования.

Источником, питающим христианскую веру, служит, прежде всего, опыт личного обращения к Христу. Он известен нам через Его учение, в Его словах, переданных нам, в преданиях о Его жизни. Мы имеем приблизительное представление о Его облике. Как говорят, Христос был высокий ростом человек с глазами темными, взгляд которых имел пламенную глубину, с твердо очерченным профилем, с темными волосами на прямой проборе, с бородой, которая слегка раздваивалась. И как со всяким жившим с нами человеком, возможно внутреннее общение с Ним. Это достигается просто — внутренней направленностью на Него, воображением, сосредоточенностью мысли. Чтение Евангелия может дать ощущение живого Христа и переживание внутренней соприкосновенности с Ним.

Позднее я пересказал Пунину слова Карсавина, но выразил сомнение в том, будто бы чтение Евангелия может дать ощущение живого Христа. Евангелие я читал недавно, как раз, когда лежал в стационаре, и, по-моему, сказал я, речь Евангелия архаична, а фигура Христа передана довольно схемообразно. Однако Пунин не согласился с моим мнением.

— Карсавин прав, — сказал Пунин, — евангельский текст, несмотря на архаичность речи, в некоторых местах открывает картины, ощущаемые очень живо. Например, в Евангелии от Иоанна рассказывается, как женщину, взятую в прелюбодеянии, привели на суд к Христу. Рассказ этот дан с протокольной краткостью. Его цель — показать находчивость, с какой Иисус справился с приготовленной ему ловушкой. Но сказано гораздо больше. Трудно вообразить, как можно несколькими словами разогнать людей, объединенных жадой убийства. Поражает, как безошибочно действовал Христос. Подождал, не дав ответа, пока все притихли, пока спросят повторно. А после этого произнес всего одну фразу, не обращенную ни к кому, но попавшую в каждого. И все разошлись. Попробуйте представить себе эту сцену конкретно и эмоционально и вы увидите, что выдумать ее невозможно*. Этот текст психологически достоверен, он обладает силой факта.

Я был под сильным впечатлением от слов Пунина. Я, конечно, знал это место Евангелия, но для меня оно только сейчас сделалось объемным и реальным. И тут же я вспомнил, как совсем недавно видел толпу, в середине которой били вора. Я имел тогда желание вмешаться, чтобы прекратить избиение, но прошел мимо, так как не знал, как это сделать. Такими речами, как «люди! что вы делаете!», — остановить их было невозможно.

* Вот как рассказал эту сцену Пунин. «Иисус сидел утром во дворе храма. Внезапно от храмовых ворот появляется толпа возбужденных людей. Они волокут женщину, которая плачет и упирается. Многие в толпе имеют в руках приготовленные камни. В нескольких шагах от Иисуса толпа останавливается, а к Нему подходит храмовый служитель, кланяется и говорит с нарочной почтительностью: "Учитель, вот женщина, взятая в прелюбодеянии. Скажи, как с ней поступить?" Все ждут, что Он скажет. А Он не взглянул даже на них, а сидит, наклонившись, и молча водит перстом по земле. И все умолкают, ждут, не зная, как объяснить, что Он молчит. Через некоторое время служитель повторяет вопрос: "Равви, первосвященник велел, чтобы Ты судил эту женщину. Ты же слышал, ее взяли в прелюбодеянии. Моисей заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь, как надо с ней поступить?" Тогда Иисус выпрямился и, глядя мимо, сказал толпе: "Кто из вас без греха, пусть первым бросит камень в нее". И опять наклонился и стал писать на земле. И все не знали, что им теперь нужно делать. Кто-то отшвырнул свои камни и стал уходить. За ним — другие. Так в несколько минут все разошлись. И служитель ушел доложить первосвященнику. Осталась одна женщина, которая была в страхе, что ее будут убивать, и не могла понять, что произошло».

Этот разговор происходил, когда Пунин и я сидели на веранде за одним из шахматных столиков. За другим столиком, скучая, сидели двое. Один был болгарский деятель (лет через десять я встретил его в Ленинграде, он сделался заведующим книжным магазином), а второй — некий интеллигент с лошадиным лицом. Они оба ждали, когда Пунин освободится. Прислушавшись к разговору между нами, интеллигент с лошадиным лицом сказал:

— Экая отсталость тратить время на разговоры о религии. Я в шестнадцать лет понял, что Бога нет, и с тех пор к этому вопросу интереса не имею.

Пунин не терпел, когда его задевали.

— Не стоило бы хвалиться, — сказал он, — тем, что, начиная с шестнадцати лет, вы дальше не развивались.

В скором времени после этого Пунин переменил место жительства. Обстановка в «бараке с верандой» была таковой, словно здесь постоянно правился шабаш. Пунин договорился, чтобы его переселили в обычный барак, в секцию рабочей бригады, которая весь день работала на внешнем объекте и где поэтому днем было тихо. Место Пунина в этой секции находилось в общем ряду, отличаясь от других лишь несколько лучшей устроенностью. К тому времени Пунин уже ориентировался в неписанных тарифах за услуги, и его новое место было умягчено на этот раз не тремя матрасами, а двумя.

Я теперь жил также на новом месте. Секцию в угловом помещении длинного барака передали санчасти, а нас переселили в барак, ближайший к хоздвору.

Равновесие лагерной жизни вообще не отличается устойчивостью. Внешне жизнь в лагере как стоячая вода, а на самом деле непрерывно что-то меняется, кого-то переселяют, кого-то увозят, кого-то привозят.

**

В то время, когда я находился еще в стационаре, а Пунин был уже оттуда выписан, однажды вместе с хирургом Николаем Петровичем в палату пришел Николай Сергеевич. Он пришел, чтобы познакомиться с Карсавиным. Лагерная одежда Николая Сергеевича была, как полагалось, прикрыта больничным халатом, который обычно надевался как передник и завязывался сзади, однако Николай Сергеевич набросил его на себя внакидку так, что карманы были на спине. Пока Николай Сергеевич шел по проходу вдоль кроватей, ему приходилось поправлять на себе халат, который плохо держался на его весьма округлых плечах.

Приближаясь к Карсавину, Николай Сергеевич издал приветственно улыбался ему.

— Какая счастливая возможность познакомиться с вами, — сказал Николай Сергеевич Карсавину. По приглашению Карсавина он сел в ногах на кровать, где обычно садился я. Николай Петрович тоже присел на кровать Жвиронаса, но ненадолго, так как вскоре, извинившись (у него были дела), встал и ушел.

Разговор между Карсавиным и Николаем Сергеевичем проходил с той внутренней правильностью, по которой сразу опознается культурный ранг собеседников. Сначала были сказаны слова взаимной любезности. Николай Сергеевич спрашивал о самочувствии и о том, насколько Карсавин освоился в наших неудобных местах. На что Карсавин сказал, что чувствует себя неплохо, и неудобные места не столь, как можно было опасаться, неудобны благодаря общению с приятными людьми. Дальше разговор взял такое направление, чтобы обнаружить точки общности взглядов. Понизив голос, Николай Сергеевич рассказал служебный секрет. В документации, сопровождающей перевод заключенных из одного места в другое, казенная стыдливость не позволяет называть вещи их собственными именами. Не пишут, например, столько-то заключенных, а пишут: столько-то вторых. Вольнонаемные именуются первыми, а заключенные — вторыми. Весьма милый эвфемизм.

— Этот эвфемизм не смягчает, а, скорее, обнажает положение вещей, — сказал Карсавин.

— Разумеется, — сказал Николай Сергеевич, — рожки, сколько их ни прячь, всегда высунутся.

Однако на религиозных мотивах сближения не получилось.

— Рожки всегда высунутся, — повторил Николай Сергеевич, — например, в книгах протестантских богословов рассудочное начало то и дело берет верх над верой, хотя сокровище веры не в рассуждениях, а в недрах, куда разум человеческий не достигает.

— Ну, уж если бы и совсем не достигал, — сказал Карсавин, чуть улыбнувшись, — не получится ли, что, приближаясь к недрам, мы рискуем остаться без разума?

Николай Сергеевич наклонил голову, не возражая, но и не обнаруживая согласия.

Я присутствовал при этом разговоре. И в этот момент мне представилось, что в личине слов, произносимых негромко, вежливо, с обычными интонациями, как бы столкнулись два разных порядка понимания. Непроницаемые друг для друга, как твердые сферы, они вошли в соприкосновение, но тут же разошлись, не испытав ни победы, ни поражения.

— Нужно признать, — сказал Карсавин, — что репутации разума сильно повредил рационализм девятнадцатого века. Этот рационализм хотел все выболтать, между тем, удержанное в тайне может быть важнее, чем высказанное вслух.

И Карсавин тут же рассказал о подходящем к этой теме случае.

Настоятель православной церкви в окрестностях Парижа, встречая приехавшего для ревизии митрополита Евлогия, приветствовал владыку словами: «Благословен грядый во имя Господне». Но, опасаясь строгости митрополита, настоятель, как позднее об этом сам рассказывал, мысленно добавил: «А если не во имя, то и не благословен». Николай Сергеевич умеренно посмеялся по поводу этого умолчания и, по-видимому, учел его для себя, т.к. тотчас поддержал новое направление разговора и стал спрашивать Карсавина о жизни русских во Франции. Заговорив о французских делах, собеседники стали говорить между собой по-французски. Это, очевидно, им обоим доставило удовольствие.

С тех пор Николай Сергеевич еще несколько раз приходил в стационар навестить Карсавина, садился к нему на кровать, неизменно подтягивал на себя сползавший с плеч больничный халат, и они проводили время, беседуя по-французски.

Хирург стационара Николай Петрович тоже несколько раз заговаривал с Карсавиным. Николай Петрович был замкнутый сложного характера человек. Он спрашивал Карсавина, главным образом, об обстоятельствах его личной жизни и его родных. Карсавин, вообще не любивший распространяться, был в своих ответах довольно сдержанным. Отношение Николая Петровича к Карсавину можно назвать не только двойственным, а даже тройственным. Во время ежедневных врачебных обходов он ничем не выделял Карсавина среди других больных, держался отчужденно и официально. В частном разговоре с Карсавиным он вставал в позу почтительности, держался почти заискивающе. А за спиной говорил о Карсавине высокомерно, если не сказать пренебрежительно.

К этому времени Карсавин закончил Терцины и Комментарий к своим стихам. Эти рукописи Карсавин давал читать Жвиронасу, мне и Шимкунасу. Николай Петрович, увидев рукопись Терцин у Шимкунаса, так как рабочим местом обоих была маленькая комната для врачей, проявил заинтересованность и попросил, чтобы Шимкунас дал и ему прочитать Терцины. Одев на себя большие в черной оправе очки, Николай Петрович читал с пристрастным вниманием. Потом сказал:

— Весьма небезынтересно. Сколько здесь учености. Она достойна того, чтобы выразить ей уважение, но есть вопросы, в которых профессорская ученость ничего не прибавляет.

Есть разница между стихотворной речью Терцин и Сонетов. Если в Сонетах ощутимы следы напряжения и усилий, то стихотворная речь Терцин разворачивает себя неторопливо, в досказанных образах, мысль иногда подкрепляется избранными примерами из мифологии и философии. Это, наверное, и дало повод Николаю Петровичу отметить «ученость» Терцин. Различие между Сонетами и Терцинами обусловлено не только тем, что Сонеты создавались в тюремной камере, а Терцины в относительном благополучии больничной палаты. Главная причина различия, я думаю, в том, что работа над Сонетами уже дала свой плод. В Терцинах же развивается и завершает себя мысль, высшая точка напряжения которой уже осталась позади.

На известном портрете Яна Сикса Рембрандт передал взгляд поэта, который глядит перед собой, но взгляд его занят внутренним видением, а не внешним. Когда Карсавин углублялся в себя, взгляд его менялся, но не так, как на этом портрете. Карсавин не переставал видеть окружающее, но взгляд его принимал такое выражение, словно окружающее становилось для него прозрачным. Взгляд его приобретал сосредоточенность, не замыкался в себе, а проходил через окружающее насквозь, как бы за пределы видимого. Так же и в том, что он писал. Имея перед собой мир и не теряя его из виду, Карсавин сквозь внешние формы видел его как бы уже нездешним. Наше «здесь» становилось для него прозрачным, но никогда не призрачным. Именно в этом способ духовной работы Карсавина. В его умозрениях мир во всем остается самим собой и ничего не теряет, но подвергается новому осмыслению.

В рукописях Карсавина есть одна странность. Текст его рукописи — ровные строчки, почти без помарок. Но в разных рукописях Карсавин придерживается разной орфографии. То сохраняются ять, фита, ерь в конце слов, и с точкой, — весь набор букв старой орфографии. То ерь исчезает, но ять сохраняется. То, наконец, весь текст выдержан в новой орфографии. Развлекался он этим, что ли? Лучше, однако, предположить, что в сосредоточенности своей, присутствуя сразу и здесь и не здесь, в себе самом находя всеединство, он для этой сосредоточенности находил применение и в том, чтобы из внимания не выпадала даже орфографическая фактура письма.



В лагере дважды в день делаются общие поверки — утром, после развода, и вечером, когда все, вернувшись с работы, должны быть на своих местах. Для тех, кто живет в общих бараках, эти обязательные поверки представляют собой как бы временную остановку жизни. По сигналу всех собирают в общий строй на улице или, в лучшем случае, выстраивают в бараке. Нужно стоять так, пока дежурный надзиратель сосчитает всех, кто есть в наличии. Иногда, если счет не сходится, считают по несколько раз.

В стационаре во время поверки все должны быть каждый на своей кровати. В затихшей палате появляется санитар и, с ответственным лицом обходя больных, записывает их поголовье на дощечке, которая в лагерной жизни является прямо-таки ритуальной принадлежностью обряда поверки.

К концу дня, когда позади уже и поверки, и то напряжение, которым сопровождается врачебный обход и лечебные процедуры, в оставшееся время в палате устанавливалось общее настроение вечерней освобожденности. В желтоватом свете неярких электрических лампочек все становилось оживленнее, беззаботнее и общительнее. Это время было обычно и временем моих бесед с Карсавиным.

— Начало познания, — говорил Карсавин, — есть удивление. Человек удивляется тому, что хочет понять.

— Понятие и бытие совпадают, — говорил Карсавин, — иначе невозможно было бы знание о бытии. Если понятие есть только некий знак, наше знание, выраженное в понятиях, есть знание о знаках, а не о бытии. Тогда появляется нужда в специальной теории познания, которая обосновала бы связь между знаком и обозначаемым. Но каждая такая теория неизбежно противоречива, т.к. сама строится в понятиях и, какие бы ни ставила себе цели, остается все тем же знанием о знаках, не имеющим силы сделаться знанием о бытии, если только знак, хотя бы высказанно, не считать как-то совпадающим с бытием. Мысль о совпадении понятия и бытия может казаться странной, но ведь она не означает, что понятие и бытие одно и то же. Они различены, абсолютно различены, но не могло бы быть различения, если бы не было единства. Для нашего сознания они едины уже в том, что в понятиях выражена объективная истина, а в бытии объективная реальность. Понятие есть знание о бытии, знание о бытии есть знание бытия о себе самом. Непосредственно совпадение понятия и бытия усматривается в понятии «я». Невозможно мыслить свое «я» так, чтобы при этом не мыслилось свое же бытие.

Единство личности имеет бытие и реально в самом факте знания об этом единстве. Лучше философа об этом знают юристы. Ведь только на сознании человека о том, что он есть тот же самый человек, основывается ответственность за проступки, которые он совершил в прошлом.

— На этом примере, — сказал я — идея о совпадении понятия и бытия кажется мне понятной. Но как быть с понятием предметов, которые не обладают самопознанием? Например, я имею понятие — яблоко. В каком смысле оно совпадает с бытием конкретного яблока?

— Вы совершенно справедливо считаете, — чуть усмехнулся Карсавин, — что бытие яблока сосредоточено не в общем понятии, а в нем самом. Здесь действительная трудность. Вопрос вот в чем: что такое конкретное бытие, которое «само» не знает о себе? Конечно, не яблоко знает о своем бытии, а я о нем знаю. Поэтому понятие «яблоко» совпадает с бытием конкретного яблока в той степени и в том смысле, в каком можно сказать, что во мне и как я — яблоко знает о своем бытии. На основании совпадения понятия и бытия мы из наличия идеи Бога непосредственно усматриваем бытие Бога, как это показывает онтологический аргумент Ансельма Кентерберрийского.

— А что за аргумент? — спросил я.

— Это прямое усмотрение бытия Божия, — сказал Карсавин, — по существу неоспоримое, но многие его не признают.

Само рассуждение Ансельма строится примерно так. Мы можем мыслить Нечто, больше чего помыслить невозможно. Понятию такого Нечто, как и всякому понятию, присуща мыслимость. Существованию же присуща бытийность. Нечто, которое обладает и мыслимостью и бытийностью, очевидно, больше того, что обладает только мыслимостью. Из этого необходимо следует, что Нечто, больше чего помыслить невозможно, будучи мыслимым, должно, вместе с тем, обладать бытием.

Общий смысл опровержений, каким бы способом они ни строились, состоит в следующем. Считают, что понятие принадлежит только деятельности ума. Поэтому от наличия понятия нельзя сделать заключение к наличию объективного бытия, которое заведомо утверждается как существующее вне нашего ума и независимо от него. Внутреннюю реальность нашего сознания представляют себе в полном отрыве от реальности внешней. Это правильно, поскольку в таком понимании выражен прерыв между субъектом и объектом. Однако, если мы знаем о прерыве, в этом знании уже явлена непрерывность. Онтологический аргумент как прямое усмотрение — Бог есть не что иное, как откровение Бога в мысли,

облеченное в логическую форму. В средние века такая форма рассматривалась как единственная, подобающая истине, которая открывается нашему уму.

Отвлеченные рассуждения о бытии и о их связи с их понятиями, казалось бы, не могут задеть в человеке ничего, кроме некоей логической способности, подобной увлечению придумывать шахматные комбинации. Между тем, во мне появилось смутное, но уверенное ощущение, что в этом не имеющем на себе живой плоти схематизме, выражалось нечто, что не только обладало жизненной содержательностью, но принадлежало к глубинной основе сознающего себя бытия.

На следующий день я попросил Карсавина объяснить, как понимать совпадение понятия и бытия в том случае, когда в понятии мыслится небытие или какое-нибудь фантастическое существо, которое на самом деле не существует, как например, кентавр или Феникс. Карсавин кивнул, как если бы предполагал такой вопрос с моей стороны.

— Чтобы знание, выраженное в понятиях, — сказал он, — было действительным, необходимо, чтобы понятие было чем-то объективным. И внутренне-объективным может быть только то, что является объективным на самом деле. Если бы понятие небытия никак не совпадало с бытием, такого понятия просто не могло бы быть. Следовательно, понятие небытия означает не вообще отсутствие бытия, а отсутствие конкретного бытия. Одно перестает быть, становится небытием, чтобы было другое. Такова жизнь. Таково отношение между Богом и человеком: небытие Бога есть наше бытие. Итак, мое небытие совпадает с не моим бытием.

Теперь о воображаемых существах, которые на самом деле не существуют. Например, кентавр. Образ кентавра обладает чертами общего понятия, но родственнее конкретному символу, в котором знание бытия о себе выражается приблизительно, через намек или уподобление. Этот образ не реален, а мифичен, однако в нем познается действительность не в меньшей мере, чем она познается, скажем, в образе Гамлета, который тоже не существовал как исторически реальное лицо. В образе кентавра мы опознаем нашу звериность, необузданность, сочетающуюся с инстинктивной мудростью, родственность человека с животным, наконец, органичность всякого существа. Все это, несомненно, существует и невыразимым образом едино. Именно невыразимость познаваемой нами реальности обнаруживается в том, что, интуитивно опознав ее и пытаясь выразить, мы представляем себе фантастическое

существо. Ведь невыразимое, если и может быть выражено, то только так, чтобы оно вместе с тем оставалось и не выраженным.

Несколько дней спустя после разговора об онтологическом аргументе я спросил Карсавина:

— Нельзя ли понять онтологический аргумент так, что идея Бога известна человеку постольку, поскольку Сам Бог мыслит Себя через человека?

Карсавин, помолчав, ответил:

— Да, онтологический аргумент так понять можно.

Позднее, как мне передавали, в кругу нескольких человек, среди которых был Николай Петрович, Карсавин сказал обо мне:

— Это человек, раненный истиной.

После такого отзыва Николай Петрович при встрече со мной оглядел меня повнимательнее и покачал головой.

Я читал все, что мог достать. Кто-то принес мне Евангелие. Эта книга здесь была в разряде не подлежащих пользованию. Ее отнимали, если представителям местной власти удавалось ее обнаружить. Поэтому читали Евангелие с предосторожностью. И, такова практическая диалектика, даже люди равнодушного ума видели значительность Евангелия, поскольку одни берегли эту книгу, а другие преследовали.

Именно тогда я обратился к Карсавину с вопросом, что известно о происхождении Евангелия и о том, насколько там передано историческое лицо Иисуса Христа.

— Вопросом происхождения книг Нового Завета, — сказал Карсавин, — занималась евангельская критика, представленная преимущественно протестантскими богословами. Из четырех книг, содержащих историческое повествование о Христе, три довольно сходны между собой, их называют синоптическими. В отношении этих книг предполагается, что в общинах, основанных разными апостолами, существовали свои, в некоторых деталях не совпадающие устные традиции. Наиболее древняя запись послужила основой для Евангелия от Марка. Евангелие от Матфея считают обработкой того же источника, сведения которого евангелист систематизировал и, кроме того, дополнил сведениями из предполагаемого Сборника изречений апостола Матфея. Этот сборник до нас не дошел, но о нем имеются упоминания у ранних христианских писателей. Евангелист Лука принадлежал к окружению апостола Павла. Считается, что Лука, имея первоначальную запись преданий, переработал и дополнил ее в духе традиции своей общины. По мнению евангельской критики, ни один из че-

тырех евангелистов не был очевидцем описанных в Евангелиях событий.

Однако необходимо особо сказать о четвертой книге Нового Завета, об Евангелии от Иоанна. Что бы ни говорили авторы ученой критики, именно это Евангелие имеет несомненные признаки того, что оно написано очевидцем, и более того, человеком, сохранявшим память личного общения со Христом. Подобно другим евангелистам, Иоанн рассказывает о событиях жизни Христа и описывает совершенные им чудеса, но в своих сообщениях Иоанн конкретнее других евангелистов в указании мест, времен, названий и в упоминании об имевшихся тогда обычаях. Но главное не в этом. Человек, находившийся в близости к Христу, естественно, постарается передать то, что более всего поразило его в личности Христа. Что же было в Нем самое поразительное? Христос имел самосознание Сына Божия, Он мыслил абсолют как Самого Себя. Именно это должно было более всего поражать при общении с Нем. Именно это и отличает Евангелие Иоанна, основное стремление которого — передать в своем рассказе слова Христа, в которых выражается самосознание Сына Божия. Это есть у синоптиков, но в их передаче божественность Христа выражается более с внешней стороны, свидетельство же Христа о Себе дается в одном ряду с другими сообщениями о Нем. Только у Иоанна Христос говорит о Себе: «Я есмь хлеб, сошедший с небес», «Я — от начала Сущий», и еще более: «Я и Отец — одно».

Но именно это авторам евангельской критики представляется настолько невероятным, что они готовы считать Евангелие от Иоанна чьим-то богословским трактатом. В этом выражается не что иное, как их неверие в божественность Христа. Прямое свидетельство Христа о Своем Богосыновстве они хотят объяснить как чье-то богословствование. Однако наивно думать, будто бы возможно сочинить образ человека, обладающего живым Богосознанием. Такого примера в истории нет.

Николая Петровича чем-то задело слова Карсавина обо мне, как человеку, раненном истиной, и, заметив, что я занят чтением Евангелия, он увидел в этом повод разведать глубину ранения.

Как-то после врачебного обхода Николай Петрович, отойдя к окну возле входа в комнату врачей, подозвал меня к себе и там у нас произошел разговор. Говорили мы оба вполголоса.

— Я видел, вы читаете Евангелие. Как вы относитесь к тому, что там написано? — спросил Николай Петрович.

Неподготовленный к такому вопросу и стесняясь обнажать мотивы, о которых еще сам не мог дать ясный ответ, я сказал:

— Мое отношение к этой книге выражается в том, что я ее читаю.

— Я и сам это вижу, — сказал Николай Петрович, — я не о том спрашиваю. Для чего вы ее читаете?

— Для того, чтобы иметь о ней представление, — сказал я, — эту книгу надо знать, так как ее влиянием запечатлена вся европейская культура.

— Не то меня интересует, как Евангелие запечатлено на литературе, — сказал Николай Петрович, — а то, как оно взаимодействует с вашим сердцем. Верите ли вы тому, что там написано?

Этот напор вопросов вынуждал меня внутренне определиться для того, чтобы держать ответ.

— В основном верю, — сказал я.

— Что значит — в основном? — спросил Николай Петрович, — значит, не всему?

— Пожалуй, — сказал я, — я допускаю, что некоторые частности могли быть привнесены в интересах проповеди и полемики.

Как хирург, Николай Петрович был сторонником острого метода и, чтобы отрезать возможность уклончивых ответов, спросил меня словами Достоевского:

— А тому, что Христос воскресил Лазаря, вы верите?

Зная приверженность Николая Петровича к православию и желая ускорить окончание этого допроса, я сказал:

— Если верить, что Христос — воплощенный Бог, то логично верить и этому.

Вместо ожидаемого одобрения, Николай Петрович сказал с еще большей настойчивостью:

— Оставим логику. Верите ли вы тому, что труп ожил?

— А разве это существенно?

— Что же тогда существенно? — сказал Николай Петрович. И, как если бы это был камень испытания, надежно отделяющий веру от неверия, он еще раз повторил свой вопрос:

— Верите ли вы тому, что труп, в котором уже началось разложение, встал и сделался живым? Верите ли вы в возможность невозможного?

— Богу все возможно, — сказал я, — в это я верю.

Однако Николай Петрович отнюдь не удовлетворился этим, казалось бы, вполне ортодоксальным ответом. Взглянув на меня со скорбным сарказмом, он сказал:

— Что есть вера?

Вечером я рассказал об этом разговоре Карсавину, втайне надеясь получить у него поддержку своей позиции. Однако в том, как он покачал головой, полного одобрения не было.

— Есть весомые основания, — сказал Карсавин, — отнестись с доверием к сообщениям евангелистов о чудесных явлениях. И нельзя сказать, что это несущественно. Именно в чудесах видели выражение божественности Христа. А как все-таки вы на самом деле думаете о воскрешении Лазаря?

— Я не знаю, — сказал я, — верю, что Христос мог сделать это, но не имею уверенности, что он действительно это сделал.

— Лучше было бы так и сказать, а не уклоняться от ответа, — сказал Карсавин, — впрочем, в некотором отношении вы правы. Вопрос веры не то же самое, что доверие сообщению. И здесь евангельский текст, может быть, предъявляет нам испытание на здравомыслие религиозности. Во всяком случае, известно, что уже в ранний период христианства к сообщению об оживлении Лазаря не было единогласного отношения. Одни принимали его буквально, другие — символически, как прообраз воскресения Христа. Вообще традиция абсолютного доверия букве Нового Завета утвердилась только в средние века, что однако никогда не исключало и символического его толкования, начало которому положено Самим Христом, говорившим в притчах.

Что же такое вера в возможность невозможного? Вера, действительно, имеет перед собой невозможность. Возможное является предметом знания, а не веры. То, что эмпирически, природно представляется невозможным, вера утверждает не как возможное, а как действительное, как факт абсолютного бытия. О вере можно сказать, что она есть знание — через прерыв, т.е. знание о том, чего эмпирически нет, но что есть онтологически в полноте бытия всеединства. Вера переживает себя в своей действительности и этим отличается от суеверия, которое готово поверить в какую попало невозможность. Суеверие видит мир, каким он не может быть, оно разрушает реальность и направлено не на Бога, а на небытие.

Корень христианской веры есть вера в Божественность Иисуса Христа и в Его воскресение. Рождение, жизнь и смерть Иисуса Христа есть факт исторический, ограниченный определенностью места и времени. Но в таинственной глубине своей это есть факт онтологический, абсолютный и как таковой — всеединый и всевременный. На кресте умер Бог, воплотившийся в человека. И воскресение это не оживление. Воскресение Христа есть возобновление исконного Божественного достоинства Сына Божия, в которое Он возносит Свое и наше земное существование. Вера не требует от человека насилия над собой. Когда человек осуществляет над собой такое насилие, это религиозная истерия и выражение недостатка веры. Вообще вера не есть некое умонастроение или

расположение души. Вера есть прямое внутреннее совпадение с абсолютном, его актуализация в нас. И вера в воскресение есть не что иное, как само оно, данное нам как бы в предвосхищении.

**

Был ноябрь. В это время года северное небо светлеет по-дневному лишь ненадолго. Чуть только начинает темнеть, тотчас же проступают звезды, особенно многочисленные и яркие благодаря прозрачности и чистоте здешнего воздуха.

Как-то, когда день только начинал уступать сумеркам, я встретил Пунина, который сказал мне:

— Пойдемте, я познакомлю вас с московским искусствоведом. К нам его привезли из Инты. Он совсем в растрепанном состоянии души и надо думать, как ему помочь.

Идти надо было все в тот же «барак с верандой», куда теперь поместили новоприбывшего. Там была обычная толчея, голоса заглушались голосами и все дышали запахами испарений. Привычно ориентируясь в лабиринте узких проходов, Пунин привел меня к месту, где в гуще тесно составленных нар мы увидели человека в необычайно расслабленной позе. Сидя на табуретке, он верхней частью тела лежал поперек постели лицом вниз, как бы от крайней обессиленности держа руками голову. Это и был московский искусствовед. Когда Пунин позвал его, он, не изменив положения тела, поднял лицо нам навстречу.

— Отвлекитесь от ваших переживаний, — сказал ему Пунин, — я привел человека, с которым вам полезно познакомиться.

Пунин показал на меня и стал говорить столь восхвалительно, что мне сделалось неловко.

— Вот человек, — сказал Пунин, — который живет нормальной жизнью в этом бедламе. Он, как орешек, защищен от внешнего давления крепкой скорлупой, внутри которой растет сам для себя. Вот кого нам нужно взять в пример.

Московский искусствовед без интереса посмотрел на меня и сказал:

— Очень приятно, очень рад, весьма благодарен, — и так как его мысли были совсем о другом, он после этих формул сказал: — Каждому свое. У каждого своя организация души. Кто знает о том, что происходит внутри меня? И что может изменить ужас положения, в котором я оказался?

— Полноте, — сказал Пунин, — не вы один, все в таком положении. И живут. И ужас, когда к нему привыкнешь, уже не ужас.

Предаваться унынию не следует ради элементарного самосохранения.

— Я не буду предаваться унынию, — с внезапным подъемом сказал московский искусствовед, но тотчас вернулся в прежний тон. — А зачем мне заботиться о самосохранении? Сохранять себя — для чего? Я очень благодарен вам за желание помочь, но мне помочь невозможно.

— Ну, это мы еще посмотрим, — сказал Пунин.

Когда мы вышли оттуда, Пунин сказал:

— Этот человек попал в лагерь по делу довольно большой группы москвичей. Они участвовали в чтении какого-то политического романа. Их дело осложнилось тем, что кто-то из них был в дружбе с немцем, который приезжал в Москву вместе с Риббентропом. Всем им дали сроки по двадцать пять лет. Против этого, действительно, не сможешь. А вот нынешнее сплошное отчаяние, которое он нам продемонстрировал, не что иное, как приступ истерии. Со временем пройдет.

Кое-что в помощь московскому искусствоведу Пунин уже предпринял. Он говорил с нарядчиком, который устроил нового подопечного в бригаду, работавшую внутри лагеря.

Примерно в то же время распространился слух, что в наш лагерь прибыл иезуит, занимавший какое-то высокое положение, чуть ли не сам Генерал ордена иезуитов. Зная, что лагерное население имеет слабость к сенсационным известиям, я полагал, что это — очередной блеф, подобный недавно распространившемуся слуху о прибытии к нам мусульманского калифа, за которого, как выяснилось, выдавал себя армянский контрабандист. Для выяснения, насколько справедлив слух о прибытии высокопоставленного иезуита, я отправился к Шимкунасу, которому о таком деле подобало знать больше других. Шимкунас в прошлом обучался в иезуитском колледже и в моих глазах был как бы в родстве с иезуитами.

Шимкунас сказал, что, действительно, в наш лагерь доставлен иезуит Яворка, чех по национальности, имевший в католическом мире высокий ранг. Яворка был ректором Восточного института в Риме, а затем был назначен папским нунцием в Чехословакию. Таким образом, находящиеся в нашем лагере католики — литовцы, поляки и западные украинцы — в его лице получили не много не мало как наместника Папы Римского.

— А как с ним познакомиться? — спросил я.

Шимкунас пожал плечами.

— Если эксценц сам этого пожелает, — сказал он, — вы с ним познакомитесь.

Пунин получил из дома книгу. Это был второй том «Всеобщей истории искусств» М.В. Алпатова. В соседстве с нашими нарами из некрашенных досок и с байковыми одеяльцами на матрасах, начиненных стружками, это книга — большого размера и дорогостоящая на вид — выглядела попавшей сюда разве что по ошибке. По крайней мере, такое было у меня впечатление, когда я увидел эту книгу на тумбочке Пунина. Одним из первых завладев этой книгой, я рассматривал репродукции. На гравюре Дюрера «Меланхолия» среди прочих атрибутов мое внимание привлек магический квадрат, в клетках которого числа от 1 до 16 были расставлены так, что по любому направлению давали в сумме число 34. Увлечшись выяснением свойств этого квадрата, я потратил два или три вечера, вникая в симметрию, на которой было основано расположение чисел.

Пунин на вопрос о значении этого квадрата ответа не знал и посоветовал спросить об этом Карсавина. Пунин с тех пор, как покинул стационар, так у Карсавина еще ни разу не побывал, занятый заботами жизнеустройства. Теперь, получив книгу Алпатова, Пунин увидел в этом повод, чтобы пойти к Карсавину.

Итак, отложив текущие заботы и в той приподнятости настроения, какая появляется, когда человек идет в гости, Пунин пришел в стационар. Врачи приняли его как хорошего знакомого и без затруднений дали разрешение пройти в палату.

— Я принес вам книгу, — сказал Пунин Карсавину, — которую, может быть, вам доставит развлечение посмотреть. Главное ее достоинство в том, что она отпечатана в Лейпциге. Я даже завидую автору. Я тоже хотел бы издать книгу с репродукциями, сделанными в Лейпциге.

Карсавин поблагодарил Пунина, сказав, что вообще охотно занимается разглядыванием картинок, а после такой рекламы отнесется к книге с особым вниманием, в том числе и к качеству репродукций.

Книга, которую Пунин принес Карсавину, невольно определила направление разговора между ними. Они стали беседовать об искусстве, причем обнаружилось, что они в некотором роде коллеги, так как Пунин был одно время директором Русского музея в Ленинграде, а Карсавин — директором Художественного музея в Вильнюсе. С этого дня Пунин вновь стал довольно часто навещать Карсавина.

С вопросом о магическом квадрате я пошел сперва не к Карсавину, а к Галкину, так как хотел узнать, не имеет ли этот квадрат какого-либо отношения к книгам Каббалы.

Галкин к тому времени был зачислен в состав бригады, работавшей по благоустройству территории лагеря. Он жил теперь в секции, в которой постоянно было много людей, хотя и не так много, как в «бараке с верандой». Подходя к бараку, я увидел Галкина, в руках которого была большая метла. Он подметал дорожку перед баракom, делая это неумело и неохотно.

Имеет ли магический квадрат какое-нибудь отношение к Каббале, Галкин не знал. Мой вопрос дал ему повод рассказать о каббалистике чисел. Поскольку каждая буква древнееврейского алфавита имеет числовое значение, то для тренированного уха каждое слово звучит вместе с тем как своего рода тайное значение связей между словами. Например, в утверждении «Бог есть природа» первое слово выражается числом, равным суммарному числовому значению остальных слов, благодаря чему это утверждение воспринимается как очевидно справедливое. Любое число посредством Малого счисления, т.е. путем суммирования цифр, выражающих число, сводится к одному из чисел первой десятки, что и принимается за основу тех или иных толкований. Галкин иллюстрировал это следующим примером. Год рождения Карсавина 1882 в конечной сумме дает число 10 ($1 + 8 + 8 + 2 = 19$, $1 + 9 = 10$), а мой год рождения 1922 — дает число 5 ($1 + 9 + 2 + 2 = 14$, $1 + 4 = 5$).

— Как видите, поскольку пять является половиной десяти, — сказал Галкин голосом тайновещателя, — вам от рождения предопределено быть учеником Карсавина.

Стихи Карсавина я давал читать Галкину. Карсавин не просил меня об этом, но не возражал и поинтересовался, каково мнение поэта. Галкин, прочитав и возвращая мне рукопись, сказал о Карсавине:

— В нем нет ни малейшей замутненности. Но в том, что он говорит, для меня есть как бы непрозрачный осадок, есть образы, символизм которых не вызывает во мне отклика. Стихи эти — не просто зарифмованные мысли. В них есть бесспорная поэзия. Можете мне верить, на такие вещи я имею слух. Однако не все одинаково удачно в смысле поэтической силы выражения.

Больше других Галкину понравился стих из XII сонета:

И в звездах ночи мне не Сам Ты зрим,
Но Твой многоочивый серафим.

Галкин не был знаком с Карсавиным. Он сказал мне как-то, что ему было бы любопытно встретиться с Карсавиным, и спросил, нельзя ли было бы это устроить. Я пообещал.

Карсавину я передал дословно отзыв Галкина о его стихах. Карсавин, казалось, был слегка польщен. Он сказал, что этот отзыв ценен своей непосредственностью. А что не все поэтически одинаково удачно, сам Карсавин думал так же. Когда же я передал, что Галкин спрашивал, нельзя ли ему как-нибудь придти, Карсавин сказал, что охотно встретится с поэтом.

— Я попрошу Шимкунаса, — сказал Карсавин, — чтобы Галкина пропустили ко мне в палату.

Вскоре после этого я привел Галкина к Карсавину. Галкин был человек, знавший себе цену, но, придя к Карсавину, как-то разволновался, почти тотчас же стал читать свои стихи, пересказывая их по-русски, и более обычного помогал себе в этом руками.

После этой их встречи, первой и единственной, Карсавин сказал о Галкине:

— Очень темпераментный поэт. Он так торопился читать свои стихи, что я не успевал их хвалить.

А Галкин так высказал свое впечатление о Карсавине:

— Карсавин человек огранки девятнадцатого века и по внешности и по манере себя держать. Я ожидал увидеть рафинированного интеллигента, интеллектуала, каких мне случалось встречать. Но увидел человека, в котором меня поразила духовная собранность и внутреннее величие, так что я, кажется, немного растерялся перед ним.

Одно время я читал «Историю западноевропейской философии» Г.Ф. Александрова. Эта книга вышла в издании Академии наук, но была скорее учебником, чем научным трудом. За неимением лучшего, я с усердием занимался изучением и конспектированием этой книги, так как хотел усовершенствоваться в знании имен, дат, названий и прочих фактических данных. В заключение этих своих трудов я сочинил нечто вроде систематизации философских учений по признаку их отношения к единству начал и к познаваемости.

Уже начиналась весна. В эту пору, когда светило солнце и погода была потеплее, Карсавину разрешили иногда выходить погулять возле стационара. В один из таких дней, когда Карсавин неторопливо шагал взад и вперед вдоль освещенного солнцем больничного фасада, я пришел к нему, чтобы показать свое сочинение о системе философии, в авторском самолюбии надеясь на одобрение.

Мы сели на скамеечку под окнами больничной палаты. Карсавин, прочитав мой листок, некоторое время помолчал, не показывая ни похвалы, ни одобрения, а затем спросил:

— А куда в этой системе вы поместите меня?

Настроившись услышать отзыв о своей работе, я никак не ожидал такого вопроса и, не сразу найдясь, что ответить, сказал:

— Мне кажется, что среди видов философии более других подходит отнести вас к гностикам.

Карсавин немного подумал и сказал:

— Что ж, это неплохо. Мне подходит, куда вы меня поместили.

ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ КАРСАВИНА

О магическом квадрате Карсавин высказал вот какое суждение:

Дюрер поместил этот квадрат на своей гравюре, вероятно, как символ того, что человек сам себя ведет к меланхолии, когда трудится разгадать нечто, в чем нечего разгадывать.

*

Однажды Карсавин вместо карандаша взял с тумбочки деревянный мундштук.

— Профессорская рассеянность, — сказал на это Жвиронас. Карсавин возразил:

— Не рассеянность, а сосредоточенность.

*

На картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» апостол Фома, оборотясь к Христу, держит руку, подняв один палец. Об этом Карсавин сказал:

— Фома, как известно, склонен к сомнениям. На картине изображен момент, когда Христос сказал: «Один из вас предаст Меня». Фома и тут усомнился и, показывая один палец, спрашивает: «Господи, один ли?»

*

Прочитав вторую часть «Фауста», я сказал Карсавину, что эта книга показалась мне, хотя и маловразумительной, но глубокой.

— Тайный советник Гете, — сказал Карсавин, — знал секрет, как быть тайным советником.

*

Однажды Пунин, придя к Карсавину, сказал:

— Нас всех зачислили в евреи. Нашего молодого человека за то, что он ходит к Галкину. Меня за то, что я получаю много

посылок. А вас за то, что вы общаетесь с нами. Кроме того, находят, что у вас внешность южная, похожа на палестинскую.

— У меня внешность уж скорее греческая, — сказал Карсавин, — семитический тип совсем другой. Впрочем, русским свойственно подозревать друг друга в еврействе.

*

Некий историк из Ленинградского университета, имевший виды сделаться академиком, но вместо этого попавший в наши края, явился к Карсавину завести с ним знакомство. Неизвестно, о чем они говорили между собой, но после этого разговора историк более у Карсавина не бывал. А Карсавин сказал мне:

— Если бы мне теперь предложили стать членом Академии наук, я бы отказался.

— Почему? — спросил я.

— Чтобы не попасть в общество людей, подобных этому историку, — сказал Карсавин.

*

Об отношении между чудом и законом природы Карсавин сказал:

— Закон это еще не чудо, а чудо это уже не закон.

*

Людей, слишком много знавших о Боге, Карсавин называл богоспецами.

*

Карсавин иногда высказывался шутливо об апостоле Петре. Например, в Евангелии от Матфея Христос сказал Петру: ты есть камень и на сем камне я создам Церковь Мою. Но почему именно камень? Это можно понять из происхождения, о котором в том же Евангелии рассказывается на предыдущей странице. Плывшие в лодке ночью по морю ученики увидели Христа, Который шел к ним прямо по воде. Из всех бывших в лодке один Петр тоже захотел ходить по водам. Христос сказал ему: иди. Петр вылез из лодки и тут же стал тонуть. Вскоре после этого Христос и сказал Петру: ты камень. Но тут же пожалел его и добавил: на сем камне воздвигну...

*

— В христианском учении, — говорил Карсавин, — нам дана абсолютная истина. Она дана нам в выражении, которое не может быть ни дополнено, ни улучшено, ни изменено. Мы обладаем зна-

нием последним и законченным, но несовершенны в самом обладании.

В другой раз Карсавин сказал:

— В нашем несовершенстве истина дана нам как бы зеркалом в гадании. Когда умрем, тогда все узнаем.

*

— Познание не должно быть противопоставлено вере, — говорил Карсавин, — как истина не противопоставляется Богу. Считают, например, не нужным для веры умствованием рассуждения о совпадении понятия и бытия. Однако вся христианская вера разве не в том, что Слово стало плотью? А Слово стало плотью и совпадение понятия и бытия одно и то же.

**

Московский искусствовед крайне трудно осваивался в лагерном положении, и тем труднее, что внутренне кипел протестом против этого положения. Один доброжелательный человек пожелал ему не забывать чувства юмора. Московский искусствовед тут же взорвался в ответ на это пожелание. Он сказал:

— Какое может быть чувство юмора, если я был уважаемым человеком, а из меня сделали г...?

Сравнивая себя с другими, он дополнительно мучился тем, что другим было легче, чем ему. Будучи книголюбом, он питал зависть к Пунину, в обладании которого была книга Алпатова. Зная об этом, Пунин подарил ему эту книгу. Пунин вообще несколько опекал московского искусствоведа, однако подчас обращался с ним так, словно находил для себя удовольствие дразнить его. Отношения между ними были странным соединением взаимных нападок и взаимной же нужды друг в друге.

Московский искусствовед говорил:

— Наша жизнь — одно подлое существование. Преступники не мы, а те, кто из нас делает преступников. Вот их и надо сюда, чтобы они на себе испытали, что приходится испытывать нам.

— Старая история, — отвечал ему Пунин, — среди пострадавших всегда находятся такие, которые хотят стать прокурорами. Вы из таких.

— Да, я хочу быть прокурором, — сказал московский искусствовед, — это вы заняли позу стоического мудреца, что не так уж трудно при вашей обеспеченности посылками. Оттого-то вам и все равно, где жить и как жить, а мне не все равно.

Московский искусствовед был тайный стихописец, и, принеся раз Пунину свои стихи, спрашивал:

— Как вы думаете обо мне? Я — поэт?

Пунин, рассказав мне об этом, добавил:

— Вот увидите, он еще и к вам придет и спросит то же самое. Такой это человек.

— А что вы ему ответили? — спросил я.

В глазах Пунина, как отблеск на льду, мелькнуло выражение сарказма. Ясно, что он сказал что-то неприятное. Вот что он сказал московскому искусствоведу:

— Какой вы поэт? Если бы вы были поэтом, то не стали бы спрашивать.

Позднее московский искусствовед, действительно, показал мне стихи. Это был чистенько сделанный перевод стихов Эдгара По. Выждав, пока я читал, московский искусствовед спросил:

— Как вы думаете, я — поэт?

Я посоветовал ему, чтобы он спросил Галкина.

Вот еще один разговор с ним.

— Некоторые, — говорил московский искусствовед, — утешаются надеждой на Бога. Но какое может быть утешение от такой надежды? Если все это происходит по Его воле — Он зол. Если же Он бессилен этому воспрепятствовать — Он слаб. Есть ли Бог или Его нет, мне от этого не легче. Я хочу, чтобы люди уважали мое человеческое достоинство, а должен терпеть грубость надзирателей. Я хочу, чтобы считались с моими заслугами, а терплю унижения на каждом шагу. Я не могу быть равнодушным, когда потоки невинных людей текут сюда для рабского труда.

— Могу представить себе, — сказал ему на это Пунин, — сколько черной краски пойдет на ваши мемуары.

— Какое время, такая и краска, — сказал московский искусствовед, — не розовой же краской писать обо всем этом.

— Такие декларации, — сказал Пунин, — представляют собой смесь дальтонизма с инфантилизмом. Первый видит действительность либо черной, либо белой, а второй состоит в том, что эмоции заглушают мысль.

Однажды, когда я пришел в стационар, меня встретил Шимунас и пригласил зайти в комнату для врачей. Там сидел человек, такой дородный, что заслонял собой окно. Это был епископ Яворка, иезуит. Своим крупным горбоносым лицом с короткими седыми усами и седой же бородкой он отдаленно напоминал императора Наполеона III. В его равнодушно встретивших меня прозра-

чно-серых глазах была та беглая внимательность, какая бывает у человека, умеющего дать оценку с одного взгляда.

— Мне говорили о вас, — сказал мне Яворка, — как об ученике профессора Карсавина. Работы профессора Карсавина известны в Европе, и мы ценим то понимание, с которым он относится к католицизму. Но собственная философия Карсавина есть пантеизм. Вам так не кажется? Хотелось бы услышать от вас, что вы об этом думаете?

— Я не думаю, чтобы это был пантеизм, — сказал я.

— Все восточные христиане в той или иной степени пантеисты, — благодушно-хитроватым тоном сказал Яворка, — позднее у нас, может быть, найдется время поговорить об этом подробнее. Теперь же, поскольку вы торопитесь к своему профессору, не буду вас задерживать.

Прежде этого разговора Яворка, как оказалось, уже виделся с Карсавиным, однако не сам навестил его в палате, но передал через Шимкунаса в любезнейшей форме пожелание о личной встрече, которая и произошла в той же комнатке для врачей. Собственная подвижность епископа была, как видно, затруднена весомостью сана и телосложения.

Вслушав мой рассказ о разговоре с Яворкой, Карсавин усмехнулся.

— И в пантеизме есть своя правда, — сказал он, — пантеизм живет интуицией единства Бога и человека. Однако, сливая Бога с миром, пантеизм или теряет человека в Боге, или делает Бога несовершенным. Я этого не делаю. Субъектом несовершенства может быть только творимое бытие. И хотя тварь живет Богом в двуединстве с ним, она является абсолютно иным по отношению к Богу. В этом смысл отличия двуединства от простого единства. Впрочем, католики охотно подозревают в ереси всех, кто выражает свои мысли не в терминах западного богословия. Западная религиозная мысль всегда отличалась тяжеловесностью и питала недоверие к той остроте умозрений, которая ценилась у греков.

Затем Карсавин рассказал о таком случае.

— Мне привелось слышать глас народа по этому поводу. Народ был представлен в лице двух извозчиков. Оба сидели на козлах своих экипажей, скучая в ожидании своих пассажиров, как вдруг один из них спросил другого: «Ты католик?» Второй сказал: «Ну, католик». «Раз католик, — сказал первый, — значит, дурак». Оба говорили в тоне полного миролюбия. На этом разговор между ними и закончился. По-видимому, когда они встречались, этот разговор каждый раз повторялся, так как у них не было ничего другого, что еще сказать друг другу.

В 1951 году православная Пасха была 29 апреля. В этот день два священника, о.Иван и о.Феодот, пришли в стационар поздравить Карсавина с Великим Праздником и принесли ему небольшой дар — кусок кулича и яйцо, все это было завернуто в беленькую домашнюю салфетку. Карсавин был весьма тронут. Приход священников был и знаком личного внимания и актом церковного общения. Откуда они знали о Карсавине и что побудило их навесить его? Карсавин полагал, что повод исходил либо от Николая Сергеевича, либо от Николая Петровича. Я после этого захотел узнать поближе этих священников и, полагая, что Николай Сергеевич состоит в близости к ним, решил за помощью в этом деле обратиться к нему. Николай Сергеевич, узнав, что я хочу иметь с ним разговор, выразил готовность встретиться, как будто давно ожидал этого.

Николай Сергеевич освобождался от своей работы в регистратуре только к вечеру и предложил мне побеседовать, прогуливаясь по Вахтенной улице. Как он объяснил, для него сделалось привычкой после работы выходить подышать свежим воздухом и вообще удобно совмещать моцион с разговором.

Беседа между нами получилась затяжной. О священниках, приходивших поздравить Карсавина, Николай Сергеевич сказал, что ни он, ни Николай Петрович их к этому не побуждали. Священники приходили по собственному почину. Они знают, что их касается, для них вполне естественно ради праздника посетить страждущего в болезни. Из местных священников Николай Сергеевич был знаком с некоторыми, но свое знакомство с ними не афишировал.

— Если вы имеете желание познакомиться с кем-нибудь из них, — сказал Николай Сергеевич, — я, конечно, могу помочь вам в этом. Однако опасаюсь, чтобы это знакомство не принесло вам разочарования. Это люди простые, образованностью не блещут. Они знают церковную службу и обычаи своего круга, но их разговоры, возможно, покажутся вам провинциальными и не дадут удовлетворения тем запросам, с какими вы к ним придете. Вообще, возможно, что российское священство в какой-то степени виновно в том, что значительная часть русской интеллигенции воспитывалась в некотором пренебрежении к православию, видя в нем отсталость и византийский консерватизм, удовлетворение же своих духовных интересов искала на стороне — в салонном мистицизме и в западных философиях. Чтобы познакомиться с глубиной православия, нужно читать жития святых, воспринять душой их колорит. Рассказы о монашеской жизни, иногда грубоватые, всегда имеют крупицу мудрости и особой душевной простоты.

Для примера Николай Сергеевич рассказал два случая.

1. Один из монахов, впад как-то в раздражение, чувствительно обидел другого, а потом, раскаявшись, стал просить того о прощении. «Простить прощу, — сказал тот, — но забыть не забуду». Когда кто-то упрекнул его за такой ответ, он сказал: «А разве Бог делает иначе? Бог прощает наши грехи, но не думаю, чтобы Он хоть что-нибудь забывал. Невозможно, чтобы у Бога память была плохая».

2. Один человек, живший светской жизнью, испытал обращение и постригся в монахи. Он очень старался перенять монашеский образ поведения, но случилось, что, забывшись, он сидел по светской привычке нога на ногу. Старый монах, которому было поручено руководить новопостриженным, нашел эту позу неподобающей, но, чтобы не оскорбить его замечанием, велел одному из молодых послушников сесть точно так же нога на ногу. Когда же тот сделал, как ему велели, старый монах громко разбил послушника, объясняя, что монашествующему сидеть так неприлично. С тех пор новых монахов никогда не сидел нога на ногу.

— Однако, как я понимаю, — сказал Николай Сергеевич, — вас больше интересуют вопросы догматики и ее философского использования. Это важная область, для знакомства с которой, конечно, много могут дать беседы с профессором Карсавиным. Именно Карсавин может в тонкости разъяснить формулы, в которые облакаются вероучения. Но если у вас появится желание познакомиться с внутренним миром церковной жизни, из недр которой в последние столетия родилось старчество, имевшее необыкновенное влияние и на простой народ и на интеллигенцию, я охотно найду время побеседовать с вами на эту тему.

— А что вы думаете о Карсавине? — спросил я.

— Карсавин крупный ученый, — с едва уловимой суховатостью в голосе сказал Николай Сергеевич, — Карсавин человек очень почтенный, очень достойный человек. Такие люди нужны Церкви для защиты ее внешних рубежей.

Я ничего не сказал, но про себя удивился такому отзыву.

В один из теплых весенних дней, когда Карсавин был на прогулке, к нему почти одновременно один за другим подошли сперва я, а следом за мной Пунин. Так, собравшись втроем, мы сидели на скамеечке под больничными окнами.

Это было после того, как московский искусствовед сказал о Боге, что Он или зол или слаб, поскольку в подвластном ему мире господствует зло. Пунин спросил Карсавина, как в его метафизике представлена теодицея.

— Никак, — сказал Карсавин, — теодицея вообще не нужна. Творец, конечно, ответствен за Свое творение. Только еще нужно вникнуть в вопрос, в чем Его ответственность. Бог абсолютен, но и творимый Богом мир не менее абсолютен. Не нужно думать иначе, так как, принижая творение, мы принижаем Творца. Не нужно в Боге видеть горшечника, который по своей прихоти лепит мир, чтобы управлять им. Творимый мир свободно определяет себя к бытию, поэтому причина зла в мире есть сам мир, в своей свободе реализующий себя несовершенно. Наше несовершенно бытие производно от Бога в том смысле, что сама действительность нашего бытия обусловлена тем, чтобы наше несовершенство было свободно принято Им как Его собственное бытие. Ответственность Бога в том, что акт творения завершен боговоплощением и тем самым соединен с актом спасения. Бог в Себе Самом терпит несовершенство твари как муки творчества и ожидания, и тем самым несовершенство наше обращает в средство усовершенствования. Требуется, чтобы в своей судьбе человек познал свою свободу. Таким образом, за проблемой теодицеи стоит проблема об отношении между верой и познанием. В переживании веры главенствует мотив единения с Богом. Однако здесь проходит черта, где вера как таковая, в живом акте актуализуя богочеловеческое двуединство, включает в себя как свой момент деятельность познания. Если вера без дел мертва есть, то вопрос еще, насколько вера может быть жива без мысли. Достаточно часто приходится убеждаться в том, что вера, не подвергающая себя самоосмыслению, мертвоет, обрастая религиозными стереотипами и суевериями.

В конце мая Карсавина из стационара перевели в полустационар. Вот как это произошло.

Однажды, когда в конце дня я, как обычно, входил в стационар, встречный санитар остановил меня вопросом:

— Вы к кому?

Удивленный этим, поскольку думал, что всем известно, к кому я сюда хожу, я ответил:

— К Карсавину.

— Карсавина больше здесь нет, — сказал санитар, — сегодня утром Карсавина выписали, и он, забрав вещи, отсюда ушел.

Куда — этого санитар не знал. Но Шимкунас должен был это знать, и я пошел в комнату врачей.

Шимкунас встретил меня, в знак своего бессилия разведя руками. Вчера состоялось очередное совещание врачей под председательством начальницы санчасти, которая была из вольнонаем-

ных. Как всегда на таких совещаниях, обсуждалось состояние больных, ход лечения и т.п. Когда очередь дошла до Карсавина, Шимкунас, прочитав записи в истории болезни, сказал, как и раньше это говорил, что состояние больного требует продолжить лечение, и взялся уже за следующую историю болезни. Но тогда взял слово хирург Николай Петрович и сказал примерно следующее:

Как врач, он согласен с тем, что Карсавин нуждается в лечении. Но следует учесть, что Карсавин находится на излечении в стационаре уже более чем полгода. В таком же положении Жвиронас. Между тем, в стационаре всего двадцать мест на две тысячи единиц лагерного населения, среди которого много людей, по возрасту и по состоянию здоровья нуждающихся в медицинской помощи. Два места из двадцати составляют 10 процентов. Нельзя считать нормальным, чтобы при существующем положении вещей десять процентов больничных мест были постоянно заняты одними и теми же лицами. Для дальнейшего лечения их следует перевести в Центральную больницу или, по меньшей мере, в полустационар, число мест в котором втрое больше.

Кроме этих общих соображений, Николай Петрович высказал еще одно, особое. Оперативная служба, сказал он, безусловно, осведомлена о том, кто здесь что делает и что говорит. И кое-что с точки зрения оперативной службы может быть расценено неблагоприятным для санчасти образом. Например, Карсавина и Жвиронаса поместили в палате рядом, что нельзя оправдать медицинскими соображениями. Кроме того, Карсавин выделяется среди других больных тем, что весьма много пишет и едва ли не каждый день принимает посетителей. Может создаться впечатление, что в санчасти завелся рассадник какой-то, возможно, предосудительной, деятельности. Вот почему в интересах санчасти, как и в интересах самого Карсавина, его следует перевести в полустационар. Там, оставаясь под присмотром врачей, он будет свободнее и в своей писательской деятельности и в разговорах со своими гостями.

Начальница первую часть речи Николая Петровича слушала в полуха, но от заключительной части ее лицо приняло обеспокоенное выражение. Шимкунас, косвенно поставленный словами Николая Петровича под обвинение, в этой ситуации не нашел возражений, достаточных против аргументации хирурга, и было принято решение — Жвиронаса оставить на месте, а Карсавина перевести в полустационар.

Выйдя от Шимкунаса, я решил, не откладывая, повидать Карсавина в полустационаре. Вход в полустационар был со стороны внутреннего двора и, чтобы попасть туда, нужно было, пройдя по хоздвору и обогнув торец больничного барака, выйти на дорожку между стеной барака и насыпью каменного угля. Полгода назад я, проходя по этой дорожке, впервые увидел Карсавина, когда он был в карантине. С тех пор угольная насыпь заметно понизилась, так как уголь за зиму был сильно израсходован. Входом в полустационар была дощатая пристройка — тамбур, какие ставят здесь, чтобы было теплее. Дойдя дотуда, я увидел Карсавина, сидевшего на скамеечке возле тамбура. Он был одет не в лагерное обмундирование, а в одежду, присланную ему из дому. Он был в черной шелковистой стеганой на пуху куртке и в таких же штанах.

Солнце было на закате, и весь двор и скамеечка, на которой сидел Карсавин, были освещены тепловатым вечерним светом. Когда я подошел, Карсавин подвинулся к краю скамейки, чтобы я сел рядом.

— Поскольку меня перевели в полустационар, — почти весело сказал Карсавин, — я теперь не больной, а полубольной.

О совещании врачей и о том, как Николай Петрович выступил на этом совещании, Карсавин уже знал, видимо, от того же Шимкунаса.

— Я нахожу вполне справедливым, — сказал Карсавин, — что при столь малом числе больничных мест нельзя, чтобы даже одно место было занято постоянно одним и тем же лицом. Но уже этот мотив является достаточным. Все сказанное сверх того было лишним и свидетельствует о недоброжелательстве, о желании причинить мне вред, чего я никак не ожидал от Николая Петровича, он всегда показывал мне свое участие и дружественное отношение. А за спиной, оказывается, говорил совсем другое.

Темные глаза Карсавина на миг остро блеснули.

— Больше всего возмущает меня в лагерьях лицемерие, — сказал он, — впрочем, я нисколько не против перевода в полустационар и ни на кого за это не обижаюсь. Теперь, когда вы будете приходить ко мне, мы будем гулять, если позволит погода.



II. ПОЛУСТАЦИОНАР

Карсавин пробыл в полустационаре конец весны, лето, осень и начало зимы 1951 года.

Распорядок жизни в полустационаре подчинялся больничным правилам, но менее строго, чем в стационаре. Приходить навещать не возбранялось, только было запрещено заходить внутрь помещения в уличной одежде. Поэтому, когда я приходил к Карсавину, мы шли гулять или беседовали около входа, стоя в полутемном угловом закутке между входной дверью и печкой.

Как-то раз Карсавин, выйдя ко мне в этот закуток, сказал: — Я только что заварил себе чай. Чтобы вам не ждать, я возьму чай сюда и мы постоим здесь.

Он пошел к своему месту и вскоре вернулся с большой чашкой чая и с жестяной коробкой из-под монпансье, в которой был наколотый на маленькие кусочки сахар. Горячую воду для заварки чая он теперь сохранял от утреннего завтрака в подаренном кем-то железном термосе.

Карсавин стоял, прислонясь спиной к стене, в одной руке — чашка, в другой — коробка с сахаром. Он пил чай редкими глотками и взгляд его был направлен вглубь барака, как если бы он что-то сосредоточенно там рассматривал. А что там было рассматривать? Довольно темное с низким потолком помещение, некрасиво загроможденное двухъярусными нарами, все было заполнено людьми. Они имели то особое обличье, которое появляется от пребывания в лагере — бритоголовые каторжные рожи, несчастнейшие, в большинстве опустившиеся, но также и распустившиеся, так как само несчастье свое делали похвалой себе и докукой окружающим.

Здесь было шумно. Все разговаривали, а за длинным столом в проходе между нарами сидели и толпились игроки в козла, грохотавшие костяшками о стол и выражавшие свой азарт в полный голос. Их лексикон был преимущественно площадным.

В кишении лагерной жизни перевод человека из стационара в полустационар — событие незначительнейшее, просто одно из ничего не менявших мелких перемещений. Но Карсавину, подумал я, совсем нелегко было оказаться перемещенным в эту обстановку, особенно по контрасту с недавней чистенькой устроенностью стационара.

В отношении людей, наполнявших полустационар, административную власть и врачебное попечение совмещал в одном лице

доктор Алексеев, человек благомысленной внешности, невысокий и плотный телом. Для него в полустационаре была выгорожена комнатка, которая была и местом, где он жил, и кабинетом для приема и осмотра больных. Алексеев был профессором биологии из Краснодара.

Среди больных в полустационаре в это время находился Гавронский, очень опрятный сероглазый старичок. В прошлом он был философ-неокантианец Марбургской школы, ученик Когена. В начале двадцатых годов он оставил занятия философией и сделался театральным режиссером. Пунин сказал о нем, что это тот самый Гавронский, который упомянут в одном стихотворении Блока. В нашем лагере Гавронский по праву возраста не занимался ничем определенным, просто — обитал, интеллигентно остро sloвля и мило беседуя. Он отбывал уже двадцать пятый год заключения и срок его истекал в этом году. Когда Карсавин и Гавронский познакомились, в вопросах философии обнаружилось расхождение их взглядов и в дальнейшем, встречаясь, они не касались этой области, а проводили время за игрой в шахматы.

Серое однообразие лагерной жизни, не побывав здесь, я думаю, трудно себе представить. Живущие по ту сторону проволочного ограждения одни просто не хотят знать о нашем существовании, а другие представляют его себе, главным образом, со стороны экстремальных проявлений. Послушать иных, так вся наша жизнь состоит из одних экстремумов: убийств, издевательств и других ужасов. Но ведь и в повествованиях очевидцев нужно предположить в одних случаях — склонность к охотничьим рассказам, в других — передачу фактов из третьих рук, что сопровождается схематизацией и усилением элементов, бьющих на эффект. Экстраординарные факты бывают, но в общем редко и не выражают характера будничной жизни. Лагерные будни имеют раз навсегда установленную формулу: подъем-поверка-уход-приход и т.п. Изо дня в день крутятся всегда одно и то же колесо.

Вместе с тем, лагерная жизнь как бы не имеет естественной упругости. Она — как трухлявое дерево, толкнешь — и рука проходит насквозь, почти не встречая сопротивления. Пришел контролер электросети из вольнонаемных: «У вас тут никудышная проводка». — «Да, у нас никудышная проводка. Исправим.» Ни протеста, ни возражения. Трухлявое бытие и бессюжетная жизнь, в которой не видно ни назревания, ни развития, поэтому и рассказать об этой жизни трудно, серое не вспоминается. Движение событий в этой жизни в том, что вот был кто-то и исчез, а кто-то появился. Как невидимая пасть, которая то проглотит одного, то другого выплюнет...

С одним из этапов к нам в лагерь прибыл египтолог. Пунин виделся с ним и сказал, что этот человек до грани отчаяния удручен своей судьбой. Я вспомнил, в каком угнетенном состоянии прибыл к нам Василенко, и спросил — не таков ли и этот? Пунин сказал, что этот случай серьезнее. Василенко — неврастеник, а египтолог — человек, как кажется, сильного характера. Он пережил катастрофу. Его жену арестовали в одно время с ним, и он не знает, где она теперь. Он потерял все, что имел, но не жалуется, не стонет, не прокликает, что и опасно. Он падает в бездну, и чтобы остановить падение, нужна быстрая и энергичная помощь.

Я ходил к Володе Якубичу, который как врач амбулатории имел вес в делах устройства. Зная, что Якубич тщеславен, я сказал ему, что такой человек, как египтолог, непременно оставит мемуары и от самого Якубича зависит, в каком освещении его имя впишется в память человечества. Пунин тоже ходил к своим знакомым из лагерной верхушки, и вскоре египтолога назначили в бригаду, которая выполняла какие-то нетрудные работы. Позднее Пунин ввел египтолога в общество Карсавина и его окружения. Египтолог производил впечатление человека деятельного, но как бы потухшего. Внешне, благодаря седоватой подстриженной клиновидно бородке, он был похож на прогрессивного деятеля начала двадцатого века.

Как-то весной, когда солнце уже заметно пригревало, мы четверо: Карсавин, Пунин, египтолог и я, сидели на скамеечке у больничного барака. Перед нами был большой сугроб, снег которого уже утратил зимнюю свежесть. На его грязноватой пористой поверхности от солнечного тепла зарождались капли, набухали и, сорвавшись, то одна, то другая сбегали по склону.

— Как живые, — сказал о них Карсавин и добавил: — А, может быть, в каком-то смысле и на самом деле живые.

— А в каком смысле? — спросил я.

— Вещи стареют и гибнут, — сказал Карсавин, — а может ли умереть то, что хоть как-то не было живым?

— Вы думаете, — сказал египтолог, — что были правы древние греки, которые, как известно, считали всю природу одушевленной?

— Если они и ошибались, — сказал Карсавин, — то не совсем. В нас и как мы, вещи живут во всяком случае.

— А в себе? — спросил египтолог.

— Вещь в себе, — сказал Карсавин, — придумал Кант, который, как известно, под конец выжил из ума.

Пунин сидел своей прямой посадкой, не нуждаясь в опоре для спины. Он молчал, прикрыв глаза, так как солнечный свет был ярким, улыбался и прислушивался к этому разговору.

— А вот и сам господин Кант идет, — вдруг сказал египтолог.

К нам, прихрамывая и приветливо улыбаясь, подходил Гавронский.

— В этом мире, состоящем из материи, сиречь сплошной матерщины, — сказал Гавронский, — приятно найти уголок, где говорят академические речи.

Пунин сердито дернулся, открыл глаза и сказал:

— Терпеть не могу академических разговоров. Это кто же же говорит академические речи?

Но Гавронский был находчив.

— Что вас задело? — сказал он. — Вы сами только что произнесли академическую речь. Как еще назвать речи, которые произносятся в академии? А здесь, если я правильно понял, происходит заседание левоплатоновской академии. От имени — Лев Платонович.

— Ишь, как ловко он скаламбурил, — сказал, усмехнувшись, Пунин, — за прилагательное «левоплатоновская» простим ему академию.

Карсавину шутка Гавронского, кажется, тоже понравилась.

За короткое лето здесь необыкновенно быстро разрастается зеленый покров — трава выше колен и какой-то бурьян. Прямо на глазах из света, воздуха и травы творится превращение неорганики в живую растительную ткань. Одновременно разводятся тучи мошек, мушек и комаров.

Люди моего возраста по привычке военного времени называли комаров мессершмидтами или просто фрицами.

Карсавин, когда ему однажды на голову сел комар, не прихлопнул его, а дал досыта напиться крови. Комар так раздулся, что, полетев, едва держался в воздухе и тут же сел на стебелек травы.

— Вы как буддист, — сказал Карсавину Пунин.

— Ну, не во всем, — сказал Карсавин, — хотя, действительно, несколько симпатизирую отношению буддистов к мелким живым существам.

— Ради комаролюбия, — сказал Пунин, — этого обжору было лучше согнать раньше, чем он отяжелел.

В этот момент другой комар сел на руку Пунину. Прихлопнув комара, он сказал:

— Вот уж из меня буддиста не получится.

Однажды вечером Карсавин сидел на скамейке возле полустанционара. Я пришел к нему и сел рядом, а вскоре мы увидели, что к нам приближается Пунин. Когда он подошел своей прямой и несколько неуверенной походкой, мы увидели, что у Пунина сильно распухший нос.

— Что с вами? — спросил Карсавин.

Пунин сказал, что его только что ударили по лицу. Карсавин от этих слов весь как-то подтянулся.

— Как это произошло? — спросил он.

Пунин получил когда-то из дому красивый клетчатый носовой платок. Он берег этот платок, пользовался им для протирания очков и обычно носил его в верхнем кармане своей вельветовой куртки. Вечером, выйдя из жилой секции в проходную комнату, Пунин снял с себя очки и вынул платок, собираясь протереть стекла. В той же комнате оказался вор, которому понравился красивый платок. Он сказал Пунину:

— Дай-ка мне сюда этот платок.

— С какой стати я должен отдать вам платок, который нужен мне для протирания очков? — сказал Пунин.

Тогда вор ударил его кулаком в лицо и вырвал платок из руки. Удивившись такому обращению и позабыв надеть очки, Пунин, чтобы разглядеть вора, по причине своей близорукости приблизился лицом почти вплотную к его физиономии. Вор, увидев перед собой его лицо, выражавшее не страх, а любопытство, вдруг растерялся, сунул платок в руку Пунину и убежал из комнаты.

Пунин рассказывал об этом как о любопытном случае, но Карсавин после этого весь вечер оставался мрачным.

С некоторых пор Пунину понравилось приходить ко мне на электростанцию, когда я был там на дежурстве в дневные часы. В светлом проеме открытой двери вдруг появлялась его фигура — прямая, высокая, с палкой в руке. Пунин ходил с палкой не потому, что ему нужна была опора, а потому, что плохо видел.

Иногда Пунин говорил о себе: «Я сегодня потерял масштаб», и тогда молча сидел, держа руки на своей палке, глядя невидящим взглядом в открытую дверь и чему-то улыбаясь. Иногда он устраивался полежать на узкой, прикрытой тряпьем лежанке и спал, по-детски положив обе руки под щеку. А иногда он бывал в настроении поговорить.

Пунин бранил Льва Толстого. Он говорил: из всего, что написал Толстой, торчит его борода. Толстой тычет в нас содержанием. Безусловно, важно, что сказать, но в известном смысле важнее, как сказать. «Что» выявляется и передается только

через «как». На мой вопрос — не значит ли это понимать искусство как форму ради формы, Пунин сказал: никоим образом. Профессиональное искусство никогда не делает из формы самоцель. В широком смысле слова оно всегда утилитарно, так как имеет цель не в себе самом, а вне себя.

В подкрепление этой мысли Пунин рассказал о художниках Малевиче и Татлине, о которых я до этого ничего не знал.

Казимир Малевич считал, что эстетику зрительного восприятия определяет геометрия и цвет, независимо от их материального носителя (так, во всяком случае, я понял Пунина). Малевич умел, взяв случайные предметы, расположить их эстетически единственным образом. Умение видеть необходимость такого единственного сочетания геометрии и цвета он называл супрематизмом, высшею эстетической способностью. Татлин, создатель школы конструктивизма, в противоположность Малевичу, считал, что эстетически необходимая форма определяется материалом вещи. Малевич и Татлин безудержно спорили между собой. Однажды в споре Татлин вышиб из-под Малевича стул, говоря: «Попробуй усидеть на геометрии и цвете без материального носителя!» Однако впоследствии выявилась прикладная родственность этих противоположных концепций. По проектам Малевича строили табачные ларьки, а конструктивизм нашел себе приложение в технической эстетике. О Татлине Пунин написал в двадцатых годах книгу. Он обещал обязательно подарить мне экземпляр этой книги, когда мы вернемся по домам.

Однажды Пунин сказал мне, что в нашем лагере находится один профессиональный и даже приличный художник, и предложил сходить в его мастерскую. В одном из барачков для художника была отведена комнатуха. Она была вся заставлена подрамниками с картинами и заготовками. Художник — невысокий, с рыжеватой бородой — меня почти не замечал, а перед Пуниным держался как-то покорно. Взглянув на Пунина, я удивился — это был король. Взяв небрежно из рук художника картину, Пунин только касался ее взглядом и произносил свой суд.

Когда мы вышли, я сказал Пунину, что в мастерской он был, как в своем царстве. Он ничего не ответил, но улыбнулся чуть самодовольно.

**

В ясную погоду, когда я приходил в полустационар, Карсвин одевался и мы шли гулять. Местом наших прогулок обычно была тропинка между стеной больничного барака и насыпью ка-

менного угля. Длина тропинки, равная длине насыпи, была в полсотни шагов и мы ходили по ней взад и вперед. Под ноги попадались скатившиеся с насыпи куски угля. Одним концом тропинка упиралась в хоздвор и здесь был выход на Вахтенную улицу, а с другой стороны она кончалась у бокового крыла барака, где раньше помещался карантин. Здесь открывался вид на проволочное ограждение и дальше — на тундру, в которой смотреть было не на что. Карсавин называл ее безвидной землей. Зато небо в хорошую погоду отличалось необыкновенной красотой, особенно когда солнце было на закате. Еще отдельные лучи прорезали облака, которые окрашивались в густые, насыщенные цвета от оранжевого до зеленого и темносинего, а на небе уже светила вечерняя звезда своим ясным голубоватым светом. Воздух здесь чист и прозрачен.

Карсавин шел своей лагерной походкой и о чем-то говорил. Тема разговора каждый раз определялась как-то сама собой.

Несколько раз на наших прогулках Карсавин говорил об основах христианского учения.

Бог един и троичен. Это значит, что Бог открывается нам как абсолютная Личность, единая и всегда равная себе, тройственная же в своем самосознании, или, правильнее, в своем самопознании. Такая тройственность усматривается непосредственно, хотя и не очень отчетливо, в нашем личном самосознании.

Я как познающий (сознающий) себя — всегда вне познания и непознаваем. Поскольку же я себя знаю, я сам — всегда свой объект, знаю себя объективно существующим. Каждое из этих двух «я» — один и тот же я. Этим утверждается полное равенство первого и второго, но нисколько не уменьшается их взаимное противостояние. В том, что познается объект, необходимо познается и непознаваемый субъект, но именно и только — как непознаваемый. Зная себя в своих проявлениях, всегда разных и всегда новых и непредсказуемых, я могу усмотреть свое начало и основание именно в непознаваемости или, иначе, в своей неизменности. Чтобы я был всегда самим собой, через мою творящую новизну должен просвечивать я-тот-же-самый. Этим само-сознающее себя «я» раскрывается как тройственное, не теряя при этом, конечно, единственной личности. Я живу движением, но жив неподвижностью. Я сокровенный и явный, в явности же своей сразу и новый и тот-же-самый, и потому тройственный, есмь один я, как сознающая себя личность. Все сказанное — не какая-либо теория, а прямое описание факта самопознания. Однако триединство эмпирической личности опознается слабо. Если же мы восходим мыслью в абсолют и мыслим каждый момент самопознания в

совершенной и полной определенности, мы усматриваем тройственное единство Бога. В абсолютной полноте Божества всякое различие мыслится только в личном значении. Поэтому и говорим: Отец, Сын и Св. Дух — три Лица или ипостаси, которые есть один Бог. Все это имеет самое ближайшее значение для нас. Ошибкой было бы видеть в догме некое отвлеченное знание о Боге. Мысля Бога триединым, я мыслю Его как Он Сам мыслит Себя. Мыслить абсолютное значит иметь предметом само абсолютное. Поэтому это есть не что иное, как познавательное причастие Богу.

На одной из прогулок по нашему ущелью Карсавин сказал мне, что написал комментарий к молитве «Отче наш», только не по-русски, а по-литовски. Я сказал, что комментарий к «Отче наш» это крайне интересно, но как быть той части читателей, которые, подобно мне, по-литовски не читают?

— Переводить самого себя я не буду, — сказал Карсавин, — но постараюсь, чтобы интересы русских читателей не пострадали.

Некоторое время спустя Карсавин стал писать русский комментарий к Молитве Господней, а пока писал, говорил, как обычно, на тему, которая была в работе.

В Господней Молитве мы вместе с Христом исповедуем наше Богосыновство. Не иносказательно говорим мы: Отче наш, а буквально заявляем себя сынами Бога. Нас не должна смущать наша тварность и наше ничем не преодолеваемое несовершенство. Христос знал, чему учил. Бог творит человека затем, чтобы человек свободно от Него родился и был принят в единство Сына Божия.

Что же такое — рождение Сына и что такое — творение? Бог Отец не охватывается никаким определением. Все, что открывается, открывается в Сыне. Рождение есть от-единение Сына, но сразу и раз-единение Сына в Себе Самом, раскрывающее Его как Логос, как всеединство, как самопознание, которое и есть познание Отца. Разъединение есть смерть. Но божественная смерть это божье творчество, она есть жертва Собою и самоотдача Себя другому. Вместо Сына и для того, чтобы стать Сыном, свободно из ничего творится человек. Надо понять, что значит — свободно. Это значит — никакая материя и даже «ничто» не предшествует тварному бытию, иначе оно не было бы свободным и вообще не могло бы быть. Твари предшествует только Творец, но имя Творца определяет не то, как Он относится к тварям, а как они относятся к Нему: познают в Нем Творца, в себе же — тварь. Однако тварь свободно полагает свою производ-

ность, а потому и начало свое в ничто и самое возможность быть лишь через освоение божества. Смерть Бога как Его творчество означает, что сущий Бог всею действительностью Своей обеспечивает действительность Своего же становления Самим Собой. Но — становящееся Богом тем самым не Бог, а творимый Богом мир и человек. Отношение Бога к человеку есть творение как прерыв в самом Богобытии, бесконечный всею бесконечностью Божества. Поэтому несовершенство наше непреодолимо, ад — вечен. Однако сама существенность нашего несовершенства, его действительность означает, что Бог, воплощаясь в несовершенного человека, делает несовершенство нашего бытия фактом Своего бытия. Через прерыв явлена непрерывность. Несовершенный, я уже соединяюсь с Христом в своем самосознании, которое в истине своей есть самосознание Его ипостаси. Богочеловек — сама Божья ипостась, которая осуществляет единство Своего Божества и тварности и сознает и первую и вторую как Себя самое.

В другой раз, когда с нами был Пунин, Карсавин высказал такую мысль.

Собственно, мир начинает быть только Боговоплощением. Поэтому рождение Христа онтически, т.е. в отношении бытия, представляет собой центр истории мира. История же разворачивается от этого центра вдоль оси времени сразу в обе стороны — и в будущее и в прошлое, хотя для нас она и представляется движением только в одну сторону, всегда из прошлого в будущее в хронологической последовательности.

Когда Карсавин ушел к себе в полустационар, я пошел с Пуниным проводить его к бараку. Вечерело. Мы шли медленно, так как, сокращая путь, шли по кочкам, а не по протоптанной дороге. Я спросил Пунина, не показалось ли ему странной эта идея Карсавина.

— Что-то похожее, — сказал Пунин, — высказано в книге Хлебникова «Доски судьбы» (Теперь это очень редкая книга, отметил Пунин). По мнению Хлебникова, в истории наблюдается симметрия. Каждому событию можно указать соответствующее ему антисобытие.

Пунин понял идею Карсавина в том смысле, как симметричность истории относительно рождения Христа. Мне это сопоставление показалось сомнительным. В симметрии событий и антисобытий была какая-то фантастика, тогда как в идее Карсавина была сверхприродная существенность.

Все, что говорил Карсавин, для меня было ново, неслыханно, удивляло объемностью понимания и какой-то неисчерпаемой

осмысленной связностью. Однажды был разговор, короткий и как бы между прочим, значительность которого я не мог тогда себе уяснить, но сам разговор хорошо запомнил.

День был серый, промозглый, холодный, но мы, тем не менее, пошли погулять. Мы ходили по нашей тропинке, перешагивая через черные лужи. Из прошлых разговоров я усвоил, что человек, возникший из ничто, свободно, захотел несовершенства, и Бог допустил это (включая и нынешнюю отвратительную погоду), так как не мог иначе — ради нашей свободы.

— Так получается, если смотреть по восходящей, — сказал Карсавин, — а в строгом смысле невозможно, чтобы тварь хоть чем-то ограничивала Бога, даже своей свободой. Как возможно несовершенство? Этот вопрос, действительно, трудный, но ответ все же есть. Нельзя думать, будто бы Бог творит нечто меньшее Себя. Творимое Богом сразу Богоравно, совершенно, свободно и прекрасно. Совершенство онтически прежде несовершенства, обратного отношения быть не может. Значит, совершенный человек ради самоотверженной любви к Богу, свободно полагает свое несовершенство как признак своей тварности, как вечное в самом Богоравенстве и равенство твари ее Творцу.

Такой ход мысли показался мне рискованным. Как же так? Все — одна любовь, в которой стираются все моральные понятия, и грех, утрачивая свою отрицательность, становится чем-то почти положительным?

— Совсем нет, — сказал Карсавин, — этой мыслью моральные понятия не стираются. Именно в ней и даже только в ней они получают абсолютное основание. Если мы несовершенны только по слабости, то в чем наша вина? Все спишется на слабость, немощь и т.п., а Бог представится деспотом, который мог не допустить, но допустил, да еще карает за это. Только абсолютной и совершенной воле подобает и абсолютная же ответственность.

Летом того же года закончился срок Гавронского. Он соби-рался ехать в Одессу, где имел родственников. Прощаясь, Гавронский обещал Пунину прислать посылку с лимонами, т.к. Пунин любил лимоны, а получение посылки послужило бы, кроме того, знаком, подтверждающим благополучное возвращение Гавронского домой. А в этом последнем, т.е. в благополучном возвращении, никто из нас, по правде говоря, не был вполне уверен. Недели две после выхода Гавронского мы ждали, не вернут ли его обратно. Бывали случаи, когда после окончания срока человека через некоторое время после выхода из лагеря возвращали с новым сроком в тот же лагерь. Судьба Гавронского была дру-

гой. В лагерь его не возвратили, но и посылка от него не приходила.

— Вырвался человек на свободу и обо всем забыл, — сказал о нем Пунин.

Потом он раскаивался в этих словах. Не помню, каким образом, вероятно, от знакомых, через знакомых и с большим опозданием мы узнали, что Гавронский приехал домой и умер, прожив дома после двадцатипятилетнего заключения меньше месяца.

После Комментария к Молитве Господней Карсавин стал писать Комментарий к Символу веры. И опять тема, которая была в работе, сделалась темой разговора на наших прогулках.

Определение Символа веры на Вселенских соборах — это коллективное заявление и осмысление содержания веры, которое происходило в острых спорах и в атмосфере накаленных страстей. Символ веры это не просто декларация о религиозной принадлежности, а исповедание, выражение истины бытия. С наибольшим трудом было достигнуто согласие в вопросе единосутия Сына и Отца. Отрицание единосутия или подмена единосутия (омоусиос) близким по звучанию подобающим (омоюсиос) делает Сына либо творением, либо эманацией. Тогда Сын не обладает всей полнотой Божества, не абсолютен и является Богом только по имени. Тогда Бог как таковой полностью вне-мирен, а удел человека — безысходная тьма ограниченного или даже иллюзорного значения и бытия. Надо понять — это не спор о словах, который будто бы ничего не меняет в нашей жизни.

В определениях Символа веры слово берет на себя задачу выявлять определенность абсолютной действительности. В зависимости от того, какими будут эти определения, такими будут внутренние направляющие, которые формируют общественную жизнь, ее задачи, ее мораль, ее ценность и самую ее реальность. Ведь когда человек сосредоточен на том, чтобы найти определения веры, к этому привлекаются не только формальные способности, а весь человек, значит, и те внутренние начала, деятельность которых формирует практическую жизнь.

В Боге различие Отца и Сына является полным и поэтому, во-первых, основанным на равенстве, так как неравенство означало бы поглощение одного другим, несамостоятельность и несуществование другого, а во-вторых, оно является законченным, доведенным до конца, до исчерпания, а потому заново выявляющим единство. Непрерывная личная самоотчужденность Бога, являющая себя через прерыв (т.е. рождение Сына и творение) есть Бог в ипостаси Св. Духа.

В Никео-Константинопольском Символе член о Св. Духе читается: «И в Духа Святого... Иже от Отца исходящего». В Западной церкви примерно в IX веке утвердилось измененное чтение (знаменитое «Филиокве»: «Иже от Отца и Сына исходящего»).

Католики в этой формулировке видят специальное выражение равенства Первой и Второй ипостасей, но не замечают, что этим ослабляется различие этих ипостасей и принижается Третья ипостась. Если Отец и Сын имеют одинаковое ипостасное качество, определяющее «исхождение» Св. Духа, то в самом Св. Духе этого качества, очевидно, не имеется. Определением об исхождении от двух разрушается смысловая основа догмы: тождество абсолютной личности являет себя **ч е р е з** различие, но ведь не из различия. «Филиокве» представляет собой не что иное как скрытую тенденцию в сторону монотеизма: ограничивается свобода божественного единства быть сверх-единством и ослабляется его тройство. Католицизм этим как бы принимает предохранительные меры против грядущего атеизма: ослабляет в себе начало сверх-религии, чтобы ее движение было не более чем асимптотическим приближением к пределу, где должно осуществиться ее самоотрицание.

Когда Комментарий к Символу веры был написан, Карсавин отдал рукопись мне. Я отнес ее в свой барак и, не имея надежного тайника, спрятал ее от посторонних глаз на первое время под свой матрас.

**

Теплым солнечным днем я шел от хоздвора по Вахтенной улице, направляясь в столовую, т.к. было время обеда. У фасада большого барака я увидел одиноко сидящего Карсавина. Возле него навалом лежали деревянные щиты, которые служат для устройства нар. Несколько окон в полустационаре глядели пустыми прямоугольными дырами, из них были вынуты рамы, чтобы удобнее было выносить спальные щиты на улицу. Карсавина посадили сторожем при этих щитах. Он сидел здесь, наверное, уже часа полтора и устал от этого сидения, хотя ему предстояло сидеть там еще несколько часов. В этот день в полустационаре морили клопов. Все нары были разобраны, и через стекло было видно, что в помещении от нар остались одни крестовидные стояки, которые несколько человек поливали кипятком из чайников. Я присел возле Карсавина. Те из обитателей полустационара, кто физически был покрепче, приходили за щитами и по одному во-

локли их туда, где за бараками был пустырь. Там, в огромном, стоявшем на огне чане, кипела вода и каждый щит на несколько секунд погружали в кипяток. За всем этим, чтобы делалось как должно, присматривал профессор Алексеев. Мне, как морят клопов, было хорошо известно, такое мероприятие периодически проделывалось по всему лагерю. Способ уничтожения насекомых был примитивным, но радикальным.

Летом столовая была устроена под открытым небом. Площадку между водокачкой и баракom, где столовая помещалась зимой, обнесли символической оградой, внутри которой расставили столы и скамьи. Кто-то сказал: совсем как кафе на площади святого Марка в Венеции.

По пути в столовую я встретил Василенко, который с каким-то недоброжелательным удовольствием в голосе сказал мне, что знает новость, которую я, наверное, еще не слышал: «Пунина пристроили к работе».

— Его не должны заставлять работать, — сказал я, — не полагается по возрасту.

Василенко ответил, что никто и не заставлял. Пунин сам захотел быть при общественно-полезном деле и выговорил себе место дневального при столовой по выдаче ложек. Мера общественной полезности этого дела остается неясной, такое место, кстати, больше подошло бы человеку, которому нужно подкормиться в столовой, в чем сам Пунин нисколько не нуждался.

Ограда летней столовой имела вход, возле которого был столик с двумя ящиками для алюминиевых ложек. За этим столиком я, действительно, увидел Пунина. Он сидел очень прямо, не касаясь спинки стула, так, как современные люди не сидят, и по-маргивая переносьем, хмуро смотрел, чтобы входящие брали ложки из одного ящика, а выходящие клали бы их в другой. Когда я спросил, зачем он здесь, Пунин нехотя ответил, что ему надоело, чтобы на него смотрели как на праздного живущего барина, поэтому он выбрал работу себе по силам, но теперь все смотрят на него с таким разнообразным удивлением, что, кажется, ему лучше вернуться к прежнему образу жизни.

Барак, в котором размещалась наша бригада, среди бела дня подвергся внезапному обыску. Спрятанная под матрасом рукопись Комментария к Символу веры была обнаружена и конфискована. Меня при этом в бараке не было. Я отнесся к утрате рукописи сравнительно легко и ожидал такого же отношения к этому и со стороны Карсавина, так как не сознавал еще ценности и невос-

производимости написанных Карсавиным в лагере работ. Встретившись с ним, я спросил, не сможет ли он еще раз написать Комментарий к Символу веры?

— Зачем? — удивился Карсавин.

Я объяснил, что переданная мне им рукопись изъята при обыске и вернуть ее невозможно. Он ничего не сказал, но лицо его ясно выражало, что сохранение рукописи было моей заботой, а утрата — моя оплошность.

Ни восстанавливать, ни писать заново подобный Комментарий Карсавин не стал.

Впоследствии, уже после смерти Карсавина, я стал переписывать его рукописи каждую по нескольку раз, чтобы увеличить вероятность их сохранения. Ведь так же действует и природа: лучше сохраняется тот вид, который активнее размножается.

Переписывая, собственному почерку старался придать форму почерка Карсавина и вслед за ним придерживался соблюдаемого им правописания с буквами ять, фита, и с точкой и др. Отчасти я это делал из своего рода пиетета в отношении Карсавина, отчасти же вполне сознательно подражал ему, полагая, что подражание может помочь внутреннему созвучию и лучшему уяснению того, что написано.

Я давно не был у Галкина и, когда, наконец, пришел к нему, то застал его сидящим на своей постели в позе будды в обществе окружающих его собеседников. Галкин говорил что-то, как обычно, помогая себе руками, и все окружающие его тоже говорили и жестикулировали. Я остановился на расстоянии, колеблясь, не лучше ли мне уйти, чтобы не помешать, но Галкин, увидев меня, стал махать рукой, чтобы я подошел, а перед своими собеседниками извинился, сказав, что к нему пришел гость, с которым он хочет поговорить. И они послушно стали расходиться, некоторые продолжая говорить между собой, а некоторые — бегло взглянув в мою сторону. Один из них коротко, но изучающе посмотрел на меня лучистым недобрый взглядом. Кто это был, я не обратил внимания.

Когда я сел рядом с Галкиным, он сказал мне:

— Вы теперь появляетесь так редко, словно дойти до меня не ближе, чем доехать из России в Израиль. Впрочем, знаю вас. Вы посетите на лугах, где для вас есть трава, а на моем лугу для вас, верно, ничего не осталось.

— Не прибедняйтесь, — сказал я, — на вашем лугу, сколько ни съешь, что-нибудь все равно вырастет заново.

Моя маленькая лесть прихлалась кстати, и Галкин охотно стал читать стихи, которые написал, пока мы не виделись.

К этому времени в нашем лагере все установилось, созрело до типовой законченности и по внешности благоустроилось. Бараки и домишки, подчиненные и подправленные, стали, наконец, все пригодными для жилья. Число людей, населявших лагерь, хотя и колебалось несколько, в среднем больше не увеличивалось, сколько привозили к нам вновь, столько же, примерно, и увозили. Отпала нужда в новых жилищах, поэтому занялись строительством общественных и подсобных помещений. На пустыре в дальнем конце лагеря стали строить новое здание КВЧ — по какому-то вычурному проекту в виде круглого цирка с конической крышей.

Строительные новшества коснулись и нашего хоздвора. Для электростанции вместо прежнего сарайчика выстроили просторное помещение с большими окнами. Одновременно хоздвор обнесли забором из колючей проволоки со входом через будку, где посадили сторожа. Это, как сказал начальник электростанции, необходимо было сделать, чтобы никто не смог швырнуть в окно электростанции какой-нибудь железкой, которая, попав в контакты, вызвала бы замыкание. Мне такая мотивировка показалась абсурдной, однако начальник был убежден, что всегда найдется либо вредитель, либо псих, способный на диверсию, которую надо предотвратить.

После всех этих нововведений хоздвор стал называться Технической зоной, и Пунин как посторонний уже не мог навещать меня.

К началу осени похолодало, иногда падал снег, иногда — дождь. Пасмурным осенним днем я шел к Карсавину. Небо скрывали низкие облака, цветом похожие на грязный снег. Из этих небесных сугробов сыпался мелкий дождь.

В низком помещении полустационара было почти темно, так как окна в пасмурную погоду давали мало света, а электричество днем не зажигали. Однако я знал, где место Карсавина, и, войдя, сразу нашел его взглядом. Карсавин, как и все здесь, сидел в одном белье, в бараке было тепло. Увидев меня, Карсавин помахал рукой, давая знать, что сейчас выйдет. Он встал, пригибая голову, чтобы не стукнуться о верхние нары, расправил на постели одеяло и пошел в дальний угол барака к вешалке за верхней одеждой. Мне было видно, как он взял ватный бушлат и, на ходу изловчаясь насунуть его на себя, медленно шел по узкому проходу, пошатываясь и переступая через торчащие с нар ноги.

Погода к прогулке не располагала и мы вышли постоять в тамбур. В этой узкой защищающей вход с улицы пристройке было

оконце без стекла. Карсавин закурил и в задумчивости смотрел через оконце куда-то вдаль, где за проволочным ограждением была застланная туманом тундра.

Карсавин стоял ко мне боком, держа сигарету в руке. Дымок от сигареты, поднимаясь, обтекал его бороду и лицо. Сквозь прозрачную бороду был виден профиль его подбородка, изгиб линии которого производил почему-то неожиданное впечатление, напоминая мне очертания нежного нездешнего цветка. Время шло, а Карсавин все смотрел и смотрел неподвижным взглядом как бы мимо всего видимого. Это был единственный раз, когда в его глазах я видел выражение горькой отрешенности и отсутствия надежды. Разговора в этот день не получилось.

Но и в другие дни, когда из-за непогоды мы вместо прогулки выходили в тесный тамбур, где мимо нас то и дело кто-нибудь проходил, топя неуклюжими лагерными ботинками и хлопая дверьми, поговорить в такой обстановке, по существу, не удавалось и встреча сводилась к тому, чтобы некоторое время постоять рядом.

Примерно в середине сентября я пошел в амбулаторию на прием к Володе Якубичу и попросил, чтобы меня поместили в полустационар, ссылаясь на боли в раненой ноге и на потребность в отдыхе по общему самочувствию.

Обычное для полноправных граждан право на отдых на нас не распространялось. Но по усмотрению давали оздоровительный отдых из соображений трудовой профилактики. Под углом зрения этого неписанного правила моя просьба была удовлетворена. Я рассчитывал пробыть в полустационаре недели две, но мотив личного знакомства сработал в мою пользу, выписывать из полустационара врачи не торопились, и я пробыл там более месяца.

Сперва меня поместили на верхних нарах в темном углу. Однако на четвертый день мне была уготована удача сверх всякого ожидания. При очередной выписке из полустационара выбыл сосед Карсавина, и я, не медля, занял освободившееся место. Более месяца, пока меня держали в полустационаре, я жил возле Карсавина, отделенный от него только узким проходом. Мы могли разговаривать лежа, могли разговаривать сидя, причем настолько близко, что соприкасались коленями. Мы могли разговаривать досыта и в любое время — и утром, и днем, и вечером.

Но разговаривали в общем мало и все как-то отрывочно. Карсавин чувствовал себя нездоровым и больше лежал, иногда впадая в дремоту. По его словам, самочувствие его ухудшилось с тех пор, как он перестал выходить на свежий воздух, и ему пришлось жить постоянно в атмосфере чужих дыханий и испарений.

Зато вокруг нас разговаривали беспрерывно. Можно было услышать весь набор типичных для лагеря высказываний.

— Нас кормят негодными продуктами потому, что лагерь снабжается в счет госпоставок, и начальство, получив взятку, принимает от поставщиков всякие отбросы.

— Лагерные помещения строят специально с заниженной кубатурой, чтобы мы скорее померли.

— Разрабатывается новая конституция, по которой нам будет амнистия.

— Никакой амнистии для нас не будет. Амнистии бывают только для одних уголовников.

И т.д. и т.п.

— Ну и тоску же несут, — сказал я, наслушавшись этих разговоров.

Карсавин согласился, что — тоску. Вернее, владеющая людьми тоска в их разговорах сама себя высказывает. Но не такова ли жизнь повсюду? Она вечно хочет самой себе рассказывать о себе самой. Это — никогда не умолкающее самовыражение бытия. И никуда не денешься, хотя от этой бесконечной говорильни временами болит голова.

Тремя годами позднее, освободившись из лагеря, я бродил в положении безработного по Инте и встретил профессора Алексева, который был освобожден раньше меня и уже успел обосноваться. Он пригласил меня к себе, радушно угощал чаем и моченой брусникой и, между прочим, сказал, что когда я попал в полустационар, он нарочно освободил для меня место возле Карсавина.

Не исключено, конечно, что это было сказано для украшения разговора.

В тот период, к которому относится пребывание в полустационаре, я интересовался историей Древнего Востока. Кое-что по этому вопросу я узнал, прочитав книги Тураева, Струве, Авдиева, которые здесь имелись на руках, а также читая Библию и занимаясь, хотя недолго, древнееврейским языком. Обстановка лагерного общения мне была привычна и ни человеческая толчея, ни шум вокруг — не мешали заниматься своим делом. В результате этих занятий я сделал два научных открытия.

Первое — о происхождении алфавита. Мне пришла мысль, что алфавит появился не как изобретение нового способа письменности, а выделился потому, что у финикийцев алфавитный ряд имел значение числового ряда. Иероглиф, обозначающий число, сделался буквой благодаря склонности семитических народов

воспринимать слово в значении числа, как это видно благодаря мистической значительности числа, например, в числовых манипуляциях каббалистики. Подтверждение этой идеи я видел в том, что алфавитный ряд от народа к народу всегда в неизменном порядке, совпадающем с порядком числового ряда, и каждая буква сохраняла неизменное же числовое значение. Алеф, альфа, аз — везде единица.

Вторая идея относилась к библейской Песне песней. Если прочесть ее не символически и не поэтически, а в точном буквальном значении, то получится текст, похожий на текст культовой мистерии, где разные группы участников произносят свои реплики, одни от имени женского божества, другие от имени мужского. Известно, что во времена Соломона в Иерусалиме был возобновлен культ Ашторет. Почему бы не предположить, что в священные книги иудеев был внесен, хотя и подвергшийся позднее редакционным изменениям, культовый текст мистерии Ашторет или родственного ей женского божества?

Карсавин к моим открытиям отнесся прохладно. Связь алфавитного ряда с числовым давно известна и навряд ли проливает свет на их генетическую зависимость, которая может быть и обратной. Еще менее вероятна гипотеза, будто бы Песнь песней может оказаться текстом неиудейского культа. О Песне песней разных гипотез высказано весьма много и ничто не изменится, если одной гипотезой станет больше.

Утешение в своих авторских чувствах я нашел у египтолога, который сказал о моих догадках, что они любопытны и не исключено, что могут оказаться верными.

О разговоре с египтологом я сказал, между прочим, Карсавину. Он пожал плечами. Существо высказанных им возражений, пояснил он, относилось не к возможной правильности этих гипотез. Допустим, они верны. Для того чтобы обосновать их, требуется много сил и времени. И что же? Знание обогатится еще одним-двумя фрагментами. Между тем, принципиальная задача состоит как раз в преодолении фрагментарности. Конкретную историю нужно увидеть в свете метафизики, способной осмыслить весь исторический процесс. Карсавин сказал, что собирается написать работу в этом духе. Название для нее он уже придумал: «Об апогее человечества».

— Знание обосновано в Логосе и в его всеединстве, — говорил Карсавин, — общее дано в единичном, иначе знание было бы невозможным.

Знание не отрицает тайны, но видит в ней то, что зовет к постижению и постоянно постигается, являясь в пределе постижением Богобытия. Умиление перед разными «тайнами» всегда обращивалось вульгарным агностицизмом, хотя бы он и наряжался в понятия иррационального, вне- или сверх-разумного.

*

Надо помнить о глубинном, первичном, ускользящем от внимания единстве знания и бытия. Например, мы говорим: мир был всегда. Да, мир Б Ы Л всегда, но после того, как мы это познали. Весь свет знания концентрируется на Б Ы Л , а «после» (в котором вся соль отношения между знанием и бытием) уходит в тень, совершенно исчезает там.

Наше знание о бытии есть знание бытия о себе самом. «О себе» — значит имеющее личный характер по отношению ко всему объему бытия. Это знание имеет абсолютную определенность. Оно не только имеет значение знания о бытии, оно имеет значение самого бытия. То, что нами познается, тем самым сразу есть и было всегда. Всегда было собственной своей силой, не как возникающее из знания, а как предшествующее знанию, но, вместе с тем, только через знание и в силу знания.

*

Наше знание ограничено, поскольку мы несовершенны. До тех пор, пока страшусь смерти, пока не имею любви, зовущей к всецелой самоотдаче, мысль не в состоянии вобрать в себя полноту бытия. Умрем — все узнаем.

Если выдавался день посветлее, мы выходили погулять. Однажды, когда мы вышли, я сидел на скамейке, а Карсавин для разминки прохаживался взад и вперед. Не помню с какой стати, я заговорил о традиционной церковности, которая держится обветшалостью форм и этим отвращает от себя современного человека. Как конкретный пример, я назвал почитание мощей.

— Вероятно, — сказал я, — это отголосок какой-то допотопной некромагии. Берегут высохшие кусочки мертвого тела, да еще приписывают им магические свойства. И нелепо и негигиенично.

Карсавин, остановив свое хождение, встал против меня, держа руки за спиной.

— Вы судите о вещах очень опрометчиво, — сказал он, — традиционное понимание несовершенно не в том, Ч Т О оно понимает, а в том, К А К оно понимает. Дело не в чудотворных свойствах, хотя и с их отрицанием не следовало бы торопиться. Почитаются не просто мумифицированные останки, а мощи святых.

Через смерть и разрушение тела человек телесно соединяется с телесностью мира. Поэтому нужно видеть особый подвиг любви к людям, если человек свободно принимает судьбу, чтобы после его смерти его тело противостояло разрушению и обратилось в мощи. Этим он как бы оставляет возможность не только мысленного, но и телесного общения с собой. Где тело человека, там он сам.

Когда мы возвратились с прогулки и сидели друг против друга на наших местах, Карсавин сказал:

— В святом видят сверхприродного помощника людям. Этот смысл и нужно усматривать в слове — мощи.

*

В другой раз Карсавин сказал:

— В судьбе слова обнаруживается инстинктивная разумность языка. Например, слово «достоверность» выражает, что знание основано на вере. И поразительно, как мало осталось в языке следов от всяких искусственных выдумок. Слово не принимает их в свой состав.

*

В разговоре с Пуниным я сказал, что христианство, поскольку оно принимает, что Бог рождается в материальном мире, является абсолютным материализмом.

Пунину эта мысль понравилась.

— Правильно, — сказал он, — хватит клеветать на материю.

Карсавин, услышав (от меня же) об этих словах Пунина, сказал:

— Пунин мыслит восклицаниями.

*

В одном из разговоров, сравнивая русских с народами Западной Европы, Карсавин сказал:

— Русского гораздо меньше, чем европейца, заботит внешняя устроенность быта. Русский хочет жить для идеи и возмущается, когда видит, что европейцы живут для в о к р у г с е б я .

В полустационар вечером ко мне пришел австрийский студент. Барак освещался электрической лампочкой, висевшей в проходе между противоположными рядами нар, однако наши места были в глубокой тени из-за сплошного верхнего яруса нар над нашими головами. Увидев гостя, я спустил ноги с нар, освобождая часть постели. Он сел вполоборота ко мне, так как проход между моим местом на нарах и местом Карсавина был узким. Карсавину

в тот день нездоровилось. Он лежал, прикрытый одеялом. Тумбочка между нашими местами заслоняла от нас его голову.

Австрийский студент был высок и прям и, хотя держал голову в смиренной склоненности, почти касался ею верхних нар. Он принес мне латинский текст Символа веры, о чем я его как-то раньше просил, и выразил готовность помочь мне, если нужно, в переводе. Заглянув в текст, я сказал, что помогать не потребуется, латинский текст в общем совпадает со славянским, кроме слова «Филиокве», которое, как известно, появившись у католиков, является одним из догматических разногласий между восточной и западной церквями. Австрийский студент сказал мне, что я заблуждаюсь. Не католики добавили «Филиокве» в Символ, а восточные христиане исключили это слово из Символа. Однако я сознавал себя несколько образованным в этом вопросе.

— Как не так, — сказал я, — ни в первом Никейском, ни в окончательном Никео-Константинопольском чтении Символа «Филиокве» нет.

— Зато есть в наиболее раннем Апостольском символе, — сказал австрийский студент, — и в Римской церкви Символ всегда читался, включая «Филиокве».

— Да нет же, — сказал я.

— Всегда читался, — с маниакальным упрямством повторил австрийский студент, — это известно из истории.

При этих словах Карсавин вдруг приподнялся. Борода его была несколько примята, он выглядел больным и раздраженным.

— Чтобы сослаться на историю, — сказал он австрийскому студенту, — надо иметь в голове, по меньшей мере, то, чему учат в школе. Апостольский символ — древняя, но краткая крещальная формула. «Филиокве» там и в помине нет. Там сказано только: «И в Духа Святого» — без указания об исхождении. В Символе употребление «Филиокве» появляется не ранее VI века, сперва в Испании, затем во Франции. Рим энергично возражал против этого. Папа Лев III в IX в. приказал выбить на бронзовой доске текст Символа без «Филиокве», чтобы увековечить правильное чтение. — Сказав это, Карсавин снова лег и голова его скрылась за тумбочкой. Австрийский студент умолк. Недолго посидев, с красными пятнами на щеках, он ушел.

**

Когда установились морозы, Карсавин почувствовал себя лучше. Он радовался свежему снегу, который здесь особенно чист и блестит на солнце.

Я к тому времени был уже не в полустационаре, а на прежней работе, и когда приходил к Карсавину, мы опять гуляли по нашей тропинке.

Зимой весь лагерь посветлел и видоизменился. Снег толстыми перинами лежал на крышах, повсюду громоздились высокие сугробы. Карсавин жил в нашем лагере уже второй год, ничего до сих пор не видел, кроме окрестностей больничного барака, и вот однажды мы предприняли дальнюю прогулку к новому зданию КВЧ.

Туда Карсавина пригласил Финкельбаум, который заведовал при КВЧ библиотекой. Финкельбаум был профессор философии из Москвы. Попав к нам, он приходил представиться Карсавину, держался благовоспитанно и непринужденно, сообщил о себе, что на досуге любит петь романсы, и расположил Карсавина, как мне кажется, тем, что тут же вполне приятным баритоном спел для него что-то из своего репертуара.

Для того чтобы попасть в КВЧ, нужно было пересечь весь лагерь. День был солнечный, снег скрипел под ногами и сверкал белизной. Идти надо было узкими проходами между сугробами, вернее, между ровными сахарно-белыми стенами высотой в человеческий рост. Бригады, работающие на уборке лагеря, разгребая снег в сугробы, выравнивали их поверхность, чтобы она имела правильные прямолинейные и прямоугольные очертания. Казалось, что идешь по какому-то высеченному из белого кристаллического вещества городу. Эта застывшая красота казалась вечной. Мы шли в направлении на восток, где на горизонте была видна синеватая с зазубринами полоса очень далеких Уральских гор. Наконец, мы вышли к пустырю, на котором стояла круглая приземистая постройка с пологой конусообразной крышей. Здесь помещалась КВЧ. Это чудо лагерного зодчества было, попросту, круглым сараем.

Финкельбаум, увидев нас, вышел навстречу. Распахнув двери, он сказал:

— Добро пожаловать в наш форум. — (С ударением на «у»).

Я про себя отметил, что профессор философии произнес латинское слово с неправильным ударением. В латинских словах ударение не бывает на последнем слоге.

— Вы находитесь, — сказал Финкельбаум, когда мы вошли, — в культурно-воспитательном заведении нашего лагеря. По соседству есть еще воспитательное заведение. Видите барак, огороженный колючей проволокой? Это — БУР. Так на местном жаргоне называют штрафной барак. Хотя мы и соседи, но принципы воспитательного воздействия, конечно, разные. В этой части лаге-

ря вы, вероятно, впервые? Как вам понравилась снежная бутафория вдоль дорог? Я называю это памятником обесцененного труда, хотя для памятника все это слишком недолговечно. Сегодня снежные дворцы, а завтра слякоть.

Разговаривая таким образом, Финкельбаум показал нам внутренние помещения КВЧ. Служебные комнаты, повторяя форму круглой постройки, располагались кольцом, внутри которого был круглый зал с небольшой эстрадой и несколькими рядами скамей. Здесь, сказал Финкельбаум, устраивались концерты, в которых сам он выступал в амплуа певца. Затем он провел нас в библиотеку показать книги, выразив при этом надежду, что Карсавин среди них найдет подходящую для себя духовную пищу. Книг было немного. Карсавин, бегло взглянув на них, не взял ни одной. Пока Карсавин и Финкельбаум о чем-то разговаривали, я имел время поближе посмотреть библиотеку. Подбор книг был жалким, преобладали идеологически-назидательные брошюры.

Когда мы вышли из КВЧ, я вопросительно посмотрел на Карсавина. Он видел мой взгляд, но молчал, не высказывая своих впечатлений. Лишь когда мы несколько отошли, он негромко, но с отчетливо-презрительной интонацией произнес слово «форум» с ударением на последнем слоге.

На обратном пути было еще светло, но солнце уже зашло. Дорожка местами сужалась настолько, что приходилось идти не рядом, а по одному. Карсавин своей легкой походкой шел передо мной, шагал он быстро, ему, видимо, хотелось вернуться скорее к себе в полустационар.

Внезапно впереди нас из скважины между сугробами появился человек — без шапки, с рыжими волосами. Он встал так, что перегородил собой путь, и Карсавин остановился перед ним.

— Профессор, — торжественным голосом сказал рыжеволосый, — я вас видел в Сорбонне.

— Ну так что из этого? — спросил Карсавин.

— Я был в Сорбонне и я вас там видел, — повторил рыжеволосый.

— Но мы не были знакомы, — сказал Карсавин, отстраняя его рукой.

Тот отступил, и мы все таким же быстрым шагом прошли дальше.

Уже возле полустационара, перед тем как расстаться, Карсавин сказал, как бы оправдываясь:

— Не люблю навязчивых субъектов. А этому только и нужно было сообщить: что он был в Сорбонне.

К обстановке в полустационаре Карсавин давно адаптировался настолько, что она не мешала ему работать. Зимой он работал над рукописью «Об апогее» и как обычно рассказывал о том, что писал, когда мы прогуливались. Угольная насыпь, возобновленная запасом угля на всю зиму, выглядела теперь как большая снежная гора. Прогуливаясь, мы снова ходили взад и вперед как бы по дну ущелья.

Работа историка, говорил Карсавин, как и всякого исследователя, всегда направляется, осознанно и неосознанно, некоторой исходной идеей, взятой как нечто самоочевидное и самодостовверное, т.е. в конечном счете идеей метафизической. Эта идея определяет осмысление материала, но не должна исказить его состав, его свободу быть тем, что он есть.

Если мы занимаемся конкретной историей, первейшая задача — возможно более полная и точная констатация фактов, что только и дает основание для общих выводов.

Тем более удивительно, что именно исторический взгляд на развитие человечества, охватывая очень широкую, но все же обозримую совокупность фактов, приводит к выводу, что апогей человечества, его наибольший расцвет и наибольшее развитие его жизненных и творческих сил приходится на время начала Римской империи, т.е. на время жизни Христа.

На первый взгляд эта мысль может показаться сомнительной. Мы привыкли видеть вершину развития человечества в новых формах социального устройства и в небывалых успехах современной науки и техники. Но верно и то, что современный человек анемичнее людей эллинистического и римского времени. Развитие человечества идет по многим линиям и каждая из них в свое время кульминирует, причем не один раз, а много, одноразовой является лишь ее наивысшая кульминация, ее апогей, которому предшествуют и за которым следуют другие кульминации той же линии. Это очень хорошо видно, если посмотреть на развитие отдельных сторон искусства или материальной культуры. В середине двадцатого века мы, несомненно, переживаем кульминацию естественных наук и всей связанной с ними прикладной техники и производства. Мы переживаем апогей в развитии важных направлений материальной культуры. Возможно даже, что главный кульминационный пик еще впереди. Но вот вопрос: наблюдается ли одновременно кульминация в развитии других важных сторон жизни людей? Таких, как религия, этика, культура мысли, словесность, искусства и др.?

Обращаясь теперь назад к началу нашей эры, мы видим, что за исторически-короткое время в два-три столетия сходятся один

за другим кульминационные петли в развитии наиболее существенных сторон человеческой жизни. Религиозные интересы достигают такого напряжения, которое никогда более в истории не повторялось. Философская мысль, отличаясь необычайной живостью, достигнув кульминации в работах Платона, вторично кульминирует в неоплатонизме и параллельно у отцов Церкви. Рим реализует идеал мировой империи полнее, чем это когда-либо удавалось. В области этики выработан идеал человеческой жизни, с одной стороны, у стоиков, с другой — у христиан. Культура слова составляет образцы, которые столетиями служат для подражания. Добавьте еще памятники зодчества и скульптуры, которыми мы и теперь не устаем восхищаться. Каждое из этих достижений примечательно само по себе. Но еще более то, что все они явились почти рядом, как бы толпой, подобно волхвам, принесшим свои дары родившемуся в мир Христу.

Вот почему этот недолгий период истории может быть назван апогеем человечества.

Зимой того же года наша жизнь была усовершенствована еще одним нововведением. В отдельном домике, где находилось хранилище для посылок (в жилых помещениях хранить продукты не разрешалось), устроили кухню и при ней — небольшую столовую, обставленную даже с некоторым уютом. Там стояли квадратные столики с четырьмя табуретками при каждом, а окна были украшены цветными занавесочками. Кухню обслуживали повара, а посетитель, придя туда, мог заказать, чтобы ему приготовили еду из продуктов, имевшихся в принадлежавшей ему посылке. Между собой мы называли это заведение «рестораном», официально же оно называлось «индивидуальной кухней». При ней из небольшого числа имущих составилась круг постоянных посетителей и наипостояннейшим среди них был Пунин. Он там и завтракал, и обедал, и ужинал, и был доволен таким положением. А в общей столовой, куда и раньше почти не ходил, он теперь совсем перестал бывать.

Однажды, отработав на электростанции ночную смену, днем я занимался чем-то, сидя в бараке на своей койке. День был солнечным, вокруг меня в помещении было светло и пусто, все с утра ушли на работу. Я сидел спиной к входу и вдруг услышал, что меня окликает знакомый голос. Обернувшись, я увидел Карсавина. Он стоял у входной двери и осматривался. В жилой барак Карсавин пришел впервые. Намерения пройти внутрь он не обнаруживал, а на мои приглашения ответил, что пришел позвать меня в местный «ресторан», куда нас пригласил Пунин.

— Что это такое и как туда идти, я не знаю, — сказал Карсавин, — полагаюсь во всем на вас.

Домик, где была индивидуальная кухня, находился на пустыре за бараками на северной окраине лагеря. Миновав ряд барачков, мы вышли на дорожку, протоптанную по снежной целине. Снег блестел на солнце и громко скрипел под ногами. У входа в домик, встречая нас, стоял Пунин. Он слеповато всматривался в дорогу, но узнал нас только тогда, когда мы подошли к нему почти вплотную.

В небольшой зале индивидуальной кухни было в общем довольнолюдно, но Пунин был здесь одним из своих и для нас приготовили отдельный столик, уютно стоявший в углу.

Пунин был в приподнятом настроении. Ему, как мне показалось, нравилось являть себя радушным хозяином. Он ходил напоминать повару, чтобы черный кофе не перекипятели, и за столом был оживленно разговорчив, хотя говорил какие-то приличные случаю пустяки.

— Черный кофе приятно пить иногда, а чай — всегда. По-настоящему толк в чае понимают весьма немногие. По цвету чая можно судить об отношении к нему. Кто пьет чай с желтинкой, тот в нем ничего не понимает. Кто пьет с краснинкой, тот понимает кое-что. А действительные знатоки только те, кто пьет чай с чернинкой.

Карсавин слушал и соглашался. Он сидел на почетном месте в самом углу, и хотя весь этот ресторанный прием был устроен ради него, суэта вокруг как бы лишала его внутренней упругости. Он как-то осел, выглядел усталым и, прихлебывая кофе, больше молчал.

Наше пребывание в «ресторане» длилось около двух часов. Затем я проводил Карсавина в полустационар. Это была его вторая и последняя прогулка по лагерю.

**

В декабре дня почти не стало. Звезды держались на небе круглые сутки. Когда бывало шатровое северное сияние, небо казалось накрывающим землю куполом, ребра которого светились бегающими цветными отсветами. Стояли сильнейшие морозы.

Карсавину опять нездоровилось, приходя к нему, я каждый раз заставал его лежащим. Гулять мы не ходили, при сильном морозе на воздухе перехватывало дыхание.

Пунин сказал мне, что профессор Алексеев добивается перевода Карсавина обратно в стационар. По его словам, Карсавин нуждается в больничном лечении, иначе чем дальше, тем его здо-

ровье будет хуже. Алексеев, сказал Пунин, человек сведующий, зря так говорить не станет.

Навещая Карсавина в полустационаре, Пунин нашел общие точки с профессором Алексеевым и стал ему верить по врачебной части больше, чем кому-либо из наших врачей.

И действительно, Карсавина перед Новым годом взяли в стационар. С этих пор видеться с ним сделалось гораздо трудней. Шимкунаса в стационаре уже не было, его перевели врачом на другой лагерный пункт. Распоряжался теперь всем Николай Петрович. Мне было разрешено приходить к Карсавину в палату не чаще одного раза в неделю.

Был, впрочем, еще один, хотя и вовсе незавидный, способ увидаться. В пристройке, где помещался больничный клозет, имелось окошечко, которое ради вентиляции не закрыли стеклом. Сюда ходили курить. Кого-нибудь из тех, кто там был, я просил позвать Карсавина. Он приходил и мы переговаривались. Через узкое, как горизонтальная бойница, окошечко мне была видна только средняя часть лица Карсавина — от глаз до рта. Говорили больше о чем-то бытовом.

Позднее я догадался завести знакомство с завхозом санчасти, жившим в крохотной комнатке при стационаре. Это был немолодой малорослый человек, который, зная что-то об оккультизме, в собственных глазах возвышался над окружающими и потому казался нелюдимым, хотя любил поговорить. По вечерам, когда в стационаре не оставалось врачей, я приходил к нему в его конуру, чтобы потом пройти в палату.

Карсавина поместили на кровати, стоявшей отдельно у стены возле двери между палатами. Непосредственных соседей не было. Но кровать стояла на самом проходе и на протяжении дня и санитары, и врачи, и просто праздно бродившие больные — без конца ходили мимо. Тумбочки не было, вместо нее к кровати Карсавина была приставлена табуретка.

Московскому искусствоведу Василенко из дому прислали первый том «Всеобщей истории искусств». Несколько дней Василенко ходил прямо-таки сам не свой от счастья. Еще ранее Пунин подарил ему второй том, и теперь Василенко сделался обладателем полного издания, которое в его глазах являлось большой ценностью.

Пунин, встретив меня, между прочим спросил, не приходил ли ко мне Василенко спрашивать, что я думаю о глазах Владимирской Богоматери, репродукция иконы которой есть в полученной книге. Я сказал, что книги этой не видел, но хотел бы ее посмотреть.

— Василенко тешится своей книгой, как писаной торбой, — сказал Пунин, — и, кажется, никому не хочет давать, но вам-то, я думаю, даст.

Я сходил к Василенко и попросил у него книгу. Он, хотя и не слишком охотно, дал ее мне, выразив надежду, что я буду бережно с ней обращаться и вымою руки, прежде чем ее смотреть.

Икону Владимирской Богоматери я рассматривал несколько раз подолгу и со вниманием. Действительно, очень сильное впечатление производят глаза Богоматери. Они смотрят на нас с печальным и совершенно живым пониманием. Пунин сказал, что глаза Младенца не менее удивительны. Если переместить взгляд от лица Матери к глазам Младенца, то на миг кажется, что в них выражено сверхчеловеческое могущество.

Пунин много раз видел эту икону после того, как ее выставили в Третьяковской галерее. Это шедевр, сказал он, которому нет равного, может быть, во всей мировой живописи. Хороши не только глаза. В лице Марии переданы нежность и девственность. Удивительно хорошо соединение смуглого лица с золотистым фоном. Икона византийского происхождения. По преданию, она привезена в Россию матерью Владимира Мономаха. Когда-то икону подновили и старый рисунок был покрыт новой росписью, ничем не замечательной. После того, как икону взяли в музей, лица Матери и Младенца были отмыты и обнажилось первоначальное византийское письмо. Временем создания иконы считают XI век. Однако Пунин полагал, что правильнее отнести ее ко времени до иконоборчества, т.е. примерно к VIII веку. Мастерство работы говорит о наличии иконописной школы, но ничего другого в подобной манере до нас не дошло. Можно думать, что эта икона уцелела потому, что принадлежала императорской семье, тогда как другие произведения той же школы были уничтожены иконоборцами. Православная традиция считает икону Владимирской Богоматери произведением евангелиста Луки, который, по преданию, был художником. Исторически это, конечно, невозможно. Но, как говорил Карсавин, традиционное понимание ошибается не в том, что, а в том, как оно понимает. Называя автором Луку, оно лишь выражает, что оценивает настоящего, но неизвестного автора иконы в достоинстве евангелиста Луки.

Несколькими днями позже, идя к Карсавину, я, как теперь делал, сперва зашел к завхозу санчасти и застал его за тем, что он рассматривал (и без особой бережности) первый том «Всеобщей истории искусств». Книга, сказал он, была у врачей и он взял ее на вечер посмотреть. Подумав, что уже и Карсавин видел эту книгу, я в разговоре спросил его что-то о ней. Карсавин сказал,

что книги этой не видел. Василенко обещал ее принести, но пока еще не принес. Я сказал, что книга здесь, у завхоза, который взял ее у врачей, и, если Карсавин хочет, я сейчас ее принесу.

— Не нужно, — сказал Карсавин, и по его тону я понял, что напрасно сунулся со своим предложением.

А Пунин после того, как узнал об этой истории, встретив Василенко, взял его под руку и рассказал, как историк М.И. Ростовцев, враждебный Советской власти, уезжая из России, прощался с провожавшими. Оставайтесь, сказал Ростовцев, будьте рабами, но не будьте лакеями.

Полярная ночь держится в этих широтах недолго и к февралю опять установились солнечные дни.

От постоянного лежания Карсавин мог ослабеть, поэтому в спокойную и ясную погоду его выпускали погулять. Это было нерегулярно, я к этим его прогулкам присоединялся лишь тогда, когда случайно оказывался поблизости.

Как раз в то время к нам в лагерь попал латыш-теософ. Он ходил в круглых очках, лицо у него было широкое, румяное, с какой-то странной бородой — белесой и такой клочковатой, словно в ней застрял ветер. Он бывал в Китае, о буддистах и об йогилах говорил тоном, каким говорят о близких родственниках, в отношении теософских взглядов принадлежал к школе Рериха, учение которого называл агни-йогой.

Оказалось, что и Пунин был знаком с Рерихом, пока тот жил в России. Тогда его знали, сказал Пунин, по его картинам на экзотические славянофильские сюжеты. После поездки по Востоку Рерих поселился в Америке, где приобрел известность не столько как художник, сколько как глава теософской школы.

Мне показалось соблазнительным услышать из первых рук обо всех этих малоизвестных мне вещах, я познакомился с теософом и мы договорились, что я приду побеседовать к нему в барак. В условленное время во второй половине дня я шел в invalidную секцию больничного барака, где жил теософ.

Возле стационара я увидел Карсавина. Погода стояла безветренная и не слишком холодная, и его в этот день выпустили погулять. В своей черной стеганой на пуху курточке и таких же штанах Карсавин неторопливым шагом, держа руки за спиной, прогуливался в больничном палисаднике. Увидев меня, он остановился, думая, что я иду составить ему компанию. Но, вероятно, по мне было видно, что мне нужно что-то другое, т.к., заговорив со мной, он вскоре спросил, не тороплюсь ли я куда-нибудь. Я сказал, что условился встретиться с теософом, чтобы узнать от него кое-что из теософских учений.

— Ну что же, желаю вам приятных открытий, — с доброжелательным сочувствием сказал Карсавин.

Теософ ждал меня и дышал готовностью к беседе. В теплом и застоявшемся воздухе, провонявшем всеми стариками, собранными в этой секции, теософ еще более, чем всегда, раскраснелся и выглядел несколько разомлевшим. Он спросил меня, имею ли я хоть какое-нибудь понятие о теософии, поскольку же я не имел, предложил начать с самых основ.

Человек состоит из семи субстанций: трех духовных и четырех материальных. Три первые образуют духовный треугольник, который есть бессмертное ядро личности. Материальные же, соответственно своему числу, составляют квадрат, в смерти распадающийся на элементы. Соединение треугольника с квадратом есть геометрический образ человека. После распада материального квадрата духовный треугольник продолжает бестелесное существование до тех пор, пока из материальных элементов подберется новый соответствующий образу его предыдущей жизни телесный квадрат. Через их соединение рождается новое существо.

Я слушал, вежливо скрывая скуку, пока прошло столько времени, чтобы прилично было встать и уйти. Теософ приглашал приходиться еще для продолжения разговора.

Карсавина возле стационара я, разумеется, уже не застал, выходить ему разрешалось ненадолго. В раскаянии я мысленно упрекал себя за то, что не остался с ним, пока он был на прогулке.

В другой раз, когда я вечером пришел в стационар, Карсавин в разговоре чуть лукаво, как он это умел, спросил меня, не открылось ли мне что-либо в результате беседы с теософом.

— Открылось, — сказал я, — что он просто набитый вздором дурак.

— Так ведь это и сразу было видно, — сказал Карсавин.

В стационаре Карсавин написал статью «Об искусстве», общая тенденция которой все та же, что и во многих его высказываниях и, особенно, в работе «Об апогее», была в том, чтобы вполне конкретный вопрос рассмотреть в свете метафизической идеи.

Эстетическое чувство мы понимаем как способность видеть красоту предмета, т.е. такую его значительность, которая выходит за рамки утилитарного назначения. Большинство людей только учится такому видению по более или менее хорошим художественным образцам. В художественном изображении мир предстает в той индивидуальной законченности, которой не достигает в своем непосредственном бытии, но какую может достигнуть

в человеке и через человека. Истина единства мира и человека специфически реализуется в художнике, который, действуя спонтанно, переживает это единство как творческий подъем и вдохновение. И в его творчестве мир, внутренне единый с ним, усовершенствуется и повторяется, возвышаясь в форме художественного образа над эмпирической данностью. Этим объясняется, почему художественный образ, будь то даже портрет, «чуть-чуть» отличается от своего оригинала. Пунину особенно не понравилось это выражение «чуть-чуть», повторяемое в статье с некоторой настойчивостью. Когда он говорил мне об этом, в нем, видимо, выиграл искусствовед, и он стал громко опровергать Карсавина:

— Произведение искусства, — говорил он, — совсем не «чуть-чуть» отличается от оригинала. Оно может вообще ничего не изображать. Подлинная задача искусства — не воспроизведение природной реальности, а создание своей собственной эстетической реальности. И ничего искусство не «усовершенствует», иначе получится, что какой-нибудь богомаз может усовершенствовать Христа. Это Чистяков придумал про «чуть-чуть», а журнал «Мир искусства» сделал его авторитетом в эстетике. Карсавин же от юных лет впитал мирискуснические взгляды на эстетику и не хочет с ними расстаться.

Я усомнился, чтобы Пунин решился сказать все это самому Карсавину.

— Скажу, — заявил Пунин.

— Тогда пойдем к нему, — сказал я, предвкушая сражение генералов.

Несколько помедлив, Пунин сказал:

— Ну и пойдем.

И мы пошли. Через оконце в пристройке, где находился клозет, мы попросили позвать Карсавина и вскоре в оконной прорези увидели его лицо, приветливо обращенное к нам. Едва мы поздоровались, как Пунин пошел в наступление и даже более агрессивно, чем я ожидал.

— Что это вы там написали, — громко говорил он, — будто бы искусство начинается с «чуть-чуть»! Это же мирискусническая ерунда!

«Сейчас Карсавин даст отпор», — подумал я, сгорая от любопытства, как это произойдет.

Но отпора не последовало.

Карсавин не ожидал от нас ничего подобного и на его лице отразился как бы упрек нам. Подвергшись нападению, он стоял за оконцем, готовый, казалось, терпеть это нападение. Он только сказал слабым голосом:

— Знаете ли, сердце у меня что-то стало сдавать.

И атака осеклась. Пунин сразу сказал:

— Простите меня. Это меня просто занесло.

После этого случая я чувствовал себя в некотором роде провинившимся перед Карсавиным, а Пунин, вероятно, еще более.

Когда я в другой раз встретился с Пуниным, мы стали говорить о Карсавине и нам слов не хватило, чтобы воздать ему достаточную хвалу. Кажется, тогда-то Пунин, вдохновившись до художественного образа, нашел способ выразить свое восприятие Карсавина в цветовом определении.

— Карсавин — золотистый, — сказал Пунин.

Когда я сообщил Карсавину, в каком цвете его видит Пунин, Карсавин удивился.

— Это, вероятно, метафора какая-то, — сказал он, — или странная цветовая ассоциация.

Потом я попросил Пунина объяснить, откуда ему все-таки пришло в голову назвать Карсавина золотистым.

— Объяснять тут нечего, — сказал Пунин, — таково выраженное в цвете переживание мною личности Карсавина.

Я спросил, не скажет ли он, в каком цвете переживается им моя личность. Он ответил не сразу. Снял очки, смотрел на меня и, наконец, сказал:

— Вы — синий.

Теперь пришла очередь удивляться мне.

Так текла наша жизнь. И каждый из сроков, проплывавших во времени мимо нас, подавал как бы свой неслышный звонок, из которых один должен быть последним.

В какой-то из дней, кажется, в двадцатых числах марта, я как всегда пришел к Карсавину. Я сидел возле его кровати, приставив свой табурет к ней вплотную, чтобы не быть помехой на пути проходивших мимо нас из палаты в палату. Карсавин лежал. Он был в этот день весьма слаб и разговаривал со мной лежа, а не в обычной своей полусидячей позе.

Он говорил, что религиозное осознание действительности можно выразить просто, не прибегая к тонкостям метафизики.

Человек от рождения своего растет к Богу. Растет естественно, как из семени и крошечного побега вырастает устремленное к небу дерево. Всей своей жизнью человек становится личностью и, чем полнее раскрывает себя как личность, тем более приближается к своей «будущей» обоженности. Каждое дело человека есть как бы возносимая к небу песнь, хотя и поется еще неокрепшим и не достигшим полноты звучания голосом. Каждый человек

своей жизнью произносит свое аллилуйя и каждый другой делает это по-другому. Так, в оркестре скрипка играет одну мелодию, а флейта — свою, получается же одно слитное звучание.

Говорил Карсавин негромко и так, как если бы при этом думал еще о чем-то. Кончив и помолчав, он вдруг сказал:

— А вам с завтрашнего дня больше не нужно будет приходить ко мне.

— Как так? — спросил я в недоумении.

— Завтра меня увезут отсюда в Центральную больницу, — сказал Карсавин, — врачи решили, что моя болезнь требует более основательного лечения, для которого здесь нет условий.

В Центральной больнице Карсавина положат в клинику, где есть опытные специалисты и необходимые лекарственные препараты, так сказали врачи.

Когда я собрался уходить, Карсавин приподнялся, чтобы я его поцеловал. Уходя, я сказал:

— Я уверен, что мы еще обязательно увидимся.

— Я тоже надеюсь на это, — сказал Карсавин.

Как его увезли, я не видел, это было во время моего дежурства на электростанции.

Один из очевидцев описал мне картину отъезда очень подробно, почти со зрительной отчетливостью.

Был солнечный морозный день. У ворот возле вахты собрались несколько человек, назначенных для отправки в Центральную больницу. Провожавших никого не было. Кроме назначенных на отправку, присутствовали только те, на ком лежала ответственность за организацию отправки. Карсавину путь в несколько километров был не по силам, для него отыскивали где-то небольшие саночки. Он сидел на саночках, поджав ноги и обхватив руками колени. Поверх одежды его укутали одеялом.

Ворота открылись. Люди, кучкой стоявшие перед ними, двинулись медленным шагом, увозя с собой саночки, на которых сидел Карсавин.

**

Николай Сергеевич Романовский, когда я спросил у него, правда ли, что Карсавину в Центральной больнице будет лучше, чем у нас, сказал, что такие разговоры — чистый камуфляж. Карсавина отправили туда, потому что считают его погибающим больным и не хотят, чтобы в отчете по нашей санчасти появилась смертность.

Но я не очень поверил словам Николая Сергеевича. Мое отношение к нему было двойственным. Я охотно приходил послушать, что он говорил о церковной жизни, о старчестве в русском православии, о Серафиме Саровском и о других подобных вопросах. Однако в оценке причин, движущих события жизни, он мог легко впасть в абсурдную крайность. Он хотел все видеть, исходя из каких-то нереальных представлений о противоборстве сил света и тьмы. Не принимать же всерьез было его рассказы о «старичках», которые будто бы управляют всем, что происходит в мире. Мне встречались и другие люди, которые представляли себе действительность так же нереально. Обычно их воображение занимали апокалиптические образы, но их апокалиптика была какой-то игрушечной, в ней ощущалась не столько религиозность, сколько увлечение как бы апокалиптическими крессвордами.

В недоверии к тому, что сказал Николай Сергеевич по поводу перевода Карсавина в Центральную больницу, меня укрепил Пунин. Он беседовал об этом с доктором Алексеевым, который сказал, что на перевод решились исключительно в интересах Карсавина.

Если раньше Центральная больница была для меня, так сказать, отвлеченным понятием, то теперь, поскольку там жил Карсавин, она в моем представлении приобрела, хотя и далекий и неизвестный, но твердый в своей наличности силуэт. Ее невидимую, но реальную близость еще раз дало почувствовать событие, которое вскоре на какое-то время взволновало наш лагерь.

К нам привезли группу воров-рецидивистов. Их было 12 или 15 человек, все они имели политические статьи — кто за побег, кто за саботаж или еще за что-то. Везли их, собственно, в Центральную больницу для медицинского обследования, но поскольку наш лагерный пункт был ближайшим к железнодорожной станции, на первое время их поместили у нас. Едва стало известно об их появлении, как это вызвало поветрие воинственных настроений среди западно-украинской бендеровской молодежи. Между нею и ворами существовала жестокая вражда. Западноукраинцы, которых здесь было несколько сот, тотчас, как по сигналу, стали группами скапливаться у барачков. Это было не то что организованные действия с их стороны, а скорее какой-то инстинкт сбиться в массу, способную и к обороне и к нападению.

Чтобы предотвратить столкновения, воров поместили в БУР, огороженный забором и охраняемый надзирателями. В столовую и в баню воров водили также под охраной надзирателей, так как на пути всегда оказывалась более или менее многочисленная толпа бендеровцев, ждавших, не будет ли случая для побоища.

Держали воров у нас недолго, возможно, пока решался вопрос, как обеспечить их сохранность в расположении Центральной больницы. Там, как сделалось известно потом, их поместили в изолятор для туберкулезных больных.

Новые лица вообще не переставали появляться в нашем лагере. В большинстве случаев их появление проходило незамеченным, только некоторые чем-либо привлекали к себе внимание. Среди них был Виктор Луи и князь Святополк-Мирский.

Луи был переведен к нам из Инты. О нем говорили, что в долагерном прошлом он был шпион, а теперь состоял в осведомителях. Однако в местах заключения люди склонны с излишней легкостью подозревать друг друга в осведомительстве.

Однажды я встретил Луи, когда он шел с кем-то вдвоем. Луи был высокий молодой человек с бледным лицом, в очках, оправленных тонким золотым ободком. Со своим собеседником он держал себя с небрежной развязностью. Так держат себя выходцы из богемы. Василенко, когда мы были у Пунина, назвал Луи фигурой, окутанной туманом темных слухов. Василенко, прежде чем попал к нам, находился в Инте, и по его воспоминаниям, Луи был гомосексуалист и вообще порочный юнец. В ответ на явно осудительный тон этих слов Пунин сказал, что стихия половой жизни игнорируется лагерным регламентом и мстит за себя, проявляясь в гротескных формах. Гомосексуализм в мужских лагерях дело обычное. Вообще вопрос пола это темный вопрос. «У каждого, — сказал Пунин, — есть свои бездночки».

Бригада, в которой был Луи, работала на внешнем объекте. Там произошла какая-то авария, и Луи получил травму ноги. Я видел, как он, держа больную ногу на весу и выгнувшись полумесяцем, довольно неуклюже прыгал на костылях.

Князь Святополк-Мирский был, по слухам, международный авантюрист. У нас его поставили заведовать столовой. Был он в возрасте старше сорока, худощавый и лысый. Даже и в лагерной незавидной одежде у него получалось сохранять вид человека из хорошего общества.

Однажды в столовую пришел кто-то из начальства. Князь встретил персону легким поклоном, гостеприимным жестом пригласил сесть за отдельный столик и сам сел — с полнейшей непринужденностью — нога на ногу, опираясь слегка локтем о стол и глядя поверх голов — кто бы мог их обслужить.

В другой раз получилась такая сцена. Для сбора грязной посуды при столовой околачивались добровольцы, обычно из числа опустившихся и неопрятных людей. Один из таких, собирая со

столов пустые миски, составлял их в стопку. Нести посуду в мойку лишний раз ему было лень и он наставил стопку такой высоты, что она рухнула и миски посыпались с металлическим грохотом. Князь сидел за своим столиком. Услышав грохот, он тотчас встал, подошел к сборщику посуды и распек его, в совершенстве употребляя бранную лексику. Потом воздел глаза в потолок, перекрестился и сказал: «Прости меня, Господи».

Я давно хотел познакомиться со священниками. Николай Сергеевич, который отзывался о них с обязательной уважительностью, сам, как оказалось, с ними не встречался и смог только сказать мне, в каком бараке помещается о.Иван, священник, которого он за его возраст считал самым почтенным. Я пришел к о.Ивану, не зная, впрочем, как он воспримет мое появление. Пока мы знакомились, о.Иван — старенький, сгорбленный, черноглазый, заросший черными с обильной проседью волосами, — рассматривал меня из-под бровей взглядом, выражавшим любопытство и благожелательность. С этой первой встречи между нами утвердилась взаимная приязнь и я стал часто приходиться к о.Ивану. Как я заметил, он одевался многослойно, во всех его одеждах были карманы, где хранились поистершиеся записные книжечки и просто листки с разными канонами и акафистами. Возле него почти всегда кто-нибудь был.

Собравшиеся обычно негромкими голосами пели что-нибудь из церковных служб, реже — вели разговоры, преимущественно на церковные темы. Всего сходящихся вокруг о.Ивана было человек около десяти, из них два священника — о.Филарет и о.Федот.

Соединяющее их начало заключалось, как я понял, не столько в личных отношениях, сколько именно в церковном общении, через которое они были общиной и как бы Малой церковью. В отношении к Московской Патриархии все они состояли в непримиримой оппозиции. Подлинной церковью в России для них была та, которую называли «непоминающей» и которая существовала подпольно.

Все три священника были очень разными людьми. О.Иван, священник дореволюционного склада, сделался приверженцем подпольной церкви не по каким-либо особым взглядам, а силой естественного порядка вещей. Он служил под властью епископа, который в числе других заявил в 30-х годах о своем несогласии с возглавлявшим церковь митрополитом Сергием (будущим Патриархом). Священство, верное своим епископам, прекратило упоминание имени Сергия в ектинях. Отсюда название — непо-

минающие. Существа вероисповедания, т.е. таинств, догматики и чина богослужения этот акт не затронул. Однако оппозиция к официальной церкви необходимым образом соединялась с оппозицией к власти, что сделало церковь непоминающих гонимой и оказавшейся на пути к распаду на отдельные подпольные общины, которые тяготели принять замкнутый сектантский характер.

О.Филарет, иеромонах, был сравнительно молод. Он вырос в одной из таких подпольных общин и был воспитан в ее нравах. Они отражались и в категоричности его взглядов, и в той стойкости, с какой он соблюдал внешние признаки православности, свой иеромонашеский облик. Он имел густую рыжеватую бороду, красивые волосы до плеч и всегда ходил в подряснике, сшитом по его стройной фигуре.

О.Феодот был совсем другой. До лагеря он служил в приходе, подчиненном Московской Патриархии, когда же попал сюда, то покорился влиянию о.Ивана и примкнул к его кружку. Простоватый и мягкий, о.Феодот любил церковную музыку и всех приходящих к о.Ивану образовывал в элементах музыкальной грамоты, чтобы из них получился хоть какой-нибудь хор. Он и меня взялся обучать церковному пению, чтобы я мог петь вместе с ними.

Словом, здесь была своя стихия жизни. Я обучился осьмигласному пению и вместе со всеми пел на ежедневной Вечерне «Господи, услыши мя».

Быт моих новых знакомых был архаичным и элементарным. Вместе с тем, этот быт обладал большой прочностью потому, что в самых своих предпосылках он был коллективным. Он был прочным еще потому, что сознавал себя правильным, таким, правильнее которого не может быть. Поэтому в сознании своей правильности он ощущал себя последним. Он был прав в этом и, вместе с тем, ошибался, т.к. свою правильность невольно отождествлял с неподвижностью. И так уж устроена жизнь, что в сознании о своей неподвижной правильности он выражал не что иное, как утрату жизненных сил и самой своей жизненности, близость свою к состоянию анабиоза. Действительная жизнь не может отказаться от движения.

Она и не отказывалась, исторически осуществляя себя через распад этого быта в движении к индивидуализму нового времени. В чем же тогда был прав этот архаичный быт? В том, что индивидуализм точно так же не может быть последним словом. Через свою сознательность он должен преодолеть себя (иначе он останется недостаточно сознательным и внутренне останов-

ленным), чтобы выйти к новому идеалу, который диалектической силой единения нового со старым не может быть ничем иным, как новым коллективным идеалом.

Однако, новым, не прежним, не исключаяющим индивидуализм, а выводящим его на предел, на такую полноту выражения, которая находит себя в коллективном начале.

Таким идеалом является всеединство. Абсолютное самосознание находит себя через каждого из нас, и полнота сверхприродного бытия осуществляется через наше существование, через радость и трагизм нашей жизни, нашего мира, нашей земли, которая со всех сторон охвачена бездонностью небес...

III. ИЗОЛЯТОР ДЛЯ БЕЗНАДЕЖНЫХ

Месяца два спустя после отъезда Карсавина в Центральную больницу от него оттуда пришло письмо. Оно было написано по-литовски, мне дали перевод, сделанный Жвиронасом.

Вот текст перевода:

В отношении здоровья мне здесь, несомненно, лучше. А здоровье мое вот какое. Appetit у меня лучше, больше ем и выгляжу чуточку крепче. Но процесс протекает интенсивно. Температура колеблется от 36,5° (редко) до 37,2° и даже до 38°. Доктора утверждают, что с таким туберкулезом можно жить долго, они называют его фиброзным и продуктивным. Один мне обещал даже 100 лет, но, конечно, бесстыдно соврал. Однако условия жизни довольно-таки тяжелые. В моем бараке и «палате» хозяйничают «блатные» (правда, еще сравнительно посредственные), которые терроризировали даже пугливого врача. Эти люди все время шумят, хохочут, бегают, сквернословят и больницу превратили в корчму. При удобном случае воруют. Вначале они и разные завистники наделали мне немало пакостей. Но сейчас все успокоилось. Только я убедился, что лагерь выявляет сквернейшие качества человека, превращает его в животное. Литовцев мало. Это искренние люди, которые по отношению ко мне проявляют очень большую заботу. Но моя интеллектуальная работа и духовная жизнь их, в сущности, не интересует. Читать нечего. Из этого сделал соответствующие выводы. Сосредоточился и, не имея сил более лежать без работы, написал «Критику рефлексологии» (по-русски), а также «О духе и теле» и «О совершенстве» (по-литовски), — сам не знаю, для чего. Это мой отчет. До свидания. Приветы.

27 мая 1952 г.

Тогда же, в какой-то нерабочий день я празднично сидел на скамейке у освещенной солнцем стены барака, когда ко мне подошел молодой литовец. Это был крепкого сложения человек, лагерная одежда на нем едва сходилась. Не очень справляясь с русской речью, он назвал мое имя, спрашивая, тот ли я, кого он ищет. Я подтвердил, что тот. Но этого ему показалось мало. Ради более надежного удостоверения моей личности он спросил — есть ли у меня знакомые в Центральной больнице.

— Есть, — сказал я, — профессор Карсавин.

— Вам, — сказал литовец, — от него письмо.

Оглядевшись вокруг, он снял с ноги изношенный полуботинок и достал из-под стельки сложенный листок.

Увы. Письмо было написано карандашом, и две трети текста бесследно стерлись под пятой письмоноса. Сохранилось всего несколько фраз, в которых Карсавин лестным для меня образом отзывался о наших отношениях и, отметив «диалектические способности» моего ума, предупреждал против увлечения «арабскими каббалистиками». Подразумевалось, по-видимому, содержание бесед с Галкиным. Этот совет выражал внимательность и теплоту отношения со стороны Карсавина, практического же значения не имел, так как я особенного увлечения этими «арабесками» не испытывал, да и с Галкиным последнее время виделся мало. Карсавину, впрочем, неоткуда было знать, что теперь я ходил, главным образом, к священникам.

После писем Карсавина я понял, что мне нужно быть с ним. Добиться перевода в Центральную больницу я в общем мог. Основание для этого у меня было. В абезский инвалидный лагерь меня определили в связи с болезнью ноги, до сих пор не вполне излеченной после ранения во время войны. При обострении болезни меня иногда помещали в стационар, где давали полежать и подлечивали лекарствами, чтобы погасить воспалительный процесс. Радикальное лечение требовало операции, но в стационаре для этого не было условий. Больных, нуждавшихся в операции, отправляли в Центральную больницу.

Итак, пришло время для операционного лечения моей ноги.

Я пошел в амбулаторию на прием к Володе Якубичу. Выслушав мое желание и взяв письменное заявление, он сказал:

— Ты хочешь теперь, чтобы тебя отправили в Центральную больницу. Тогда нужно вызвать для консультации хирурга, чтобы он подтвердил целесообразность операции. Но имей в виду, если твоя нога заживет, тебя не станут держать в инвалидном лагере. Тебя отправят в Инту работать в угольных шахтах.

Якубич считал себя обязанным предупредить меня, но все это я знал сам. Я поблагодарил его и сказал, что остаюсь при своем намерении. Как бы ни обернулось дело, на операцию и на излечение потребуется время, может быть, около года. В нашем положении не стоило задумываться о последствиях, отодвинутых на такой срок.

Был вызван хирург Николай Петрович. Он долго с официально-безучастным выражением лица рассматривал и ощупывал мою ногу, как будто видел ее впервые. Он дал свое заключение о целесообразности операционного лечения, и вскоре, пройдя необходимые инстанции, вопрос о моей отправке был решен. Теперь оставалось только ждать, когда будет собран этап в Центральную больницу.

Пунин к известию о том, что я ожидаю отправки в Больничный городок, отнесся без малейшего удивления.

— Все правильно, — сказал Пунин, — вам и надо быть с Карсавиным. Жаль, разумеется, что вас здесь не будет. Но ничего. А в некотором смысле это даже очень хорошо.

Заметив, что его слова восприняты мной с некоторым недоумением, Пунин сказал:

— У жизни есть свой супрематизм. Он как будто однообразен, но всегда приносит что-то неожиданное. Главное же то, что, взглядевшись в такую неожиданность, вдруг понимаешь, что именно ее и не хватало, именно она сообщает ситуации внутреннюю законченность. Так и с вашим отъездом. Я даже несколько завидую вам, что вы едете к Карсавину.

Пунин теперь жил в большом бараке, в самом крупном в нашем лагере вместилище для людей. Прежде это был огромный гараж на несколько десятков грузовиков, который, наконец, переоборудовали в жилое помещение. Здесь на установленных по обычному вагонному типу двухъярусных нарах жили, примерно, пятьсот человек. В этом море голов и тел — движущихся, гудящих соединенными голосами, — Пунин, как и везде, где ему приходилось жить, занимал одно из наиболее удобных мест. Оно было, правда, скромнее, чем «ложе Клеопатры». Его местом здесь была нижняя полка вагонки, но не спаренная с симметричной ей полкой, а крайняя в ряду и по ограниченности пространства сделанная одиночной, с индивидуальной тумбочкой.

В этом обширном и густо населенном людьми жилище Пунин нашел себе человека, занявшего его внимание. Этого человека в лагере называли юродивым.

Мне раньше случалось видеть этого человека. Какое-то время он жил в бараке, где тогда помещалась наша бригада. Ходил он в бушлате, расшитом цветными лоскутами. Говорили, будто бы в прошлом он был чуть ли не епископом. Он был невысок и коренаст, лицо имел носатое, взгляд невыразительный. Был он действительно юродивым или не был, во всяком случае, держал себя достаточно необычно. Однажды во время проверки, при надзирателе, не выходя из общего ряда, он встал на колени и громко внятным голосом стал читать «Отче наш». В другой раз в конце барака вокруг юродивого собралась толпа. Из любопытства и я пошел посмотреть, что там. Оказалось, все тот же надзиратель пришел развлечься разговором с человеком, которого он, очевидно, считал придурковатым. Я слышал только окончание их разговора. Оба называли друг друга на «ты». Надзиратель спрашивал:

— Откуда ты знаешь, что есть Бог?

— Об этом ты мне сказал, — ответил юродивый.

— Я этого не говорил, — сказал надзиратель.

— Чего совсем нет, того и назвать нельзя, а ты сказал — Бог, — ответил юродивый, — а теперь ты мне скажи: с чего это ты взял, будто бы Бога нет?

Это был, отметил я, онтологический аргумент, развернутый для полемики. Надзиратель объяснить свою позицию в этом вопросе затруднялся. Он сказал:

— Ты что, только прикидываешься дурачком или на самом деле такой?

— А ты на самом деле умный, — сказал ему юродивый, — или только притворяешься умным?

Время проверки застало меня у Пунина. Когда мы протискивались в главный проход, куда со всех сторон сползались местные обитатели, чтобы выстроиться, как полагалось, в ряды, Пунин показал мне юродивого. Тот сидел на верхних нарах в средней части помещения, в самой гуще живущих здесь людей, сидел торчком и имел вид, будто вся эта возня для него не существовала. Я спросил Пунина, что привлекло его к этому человеку. Помолчав, Пунин сказал:

— Отсутствие благодарности.

На мой вопрос — как это понять? — он рассказал следующее. Первый раз Пунин подошел к юродивому просто так, из любопытства, посмотреть, что он за человек. К юродивому с разговорами приходили многие, но как правило, чтобы посмеяться над ним за отсутствием других развлечений. Поэтому Пунин, чтобы выразить дружелюбие своих намерений, принес ему какие-то

пустяки — то ли яблоко, то ли печенье. Юродивый взял угощение и разговаривал с Пуниным. Говорил он с той лаконичной вразумительностью, которую я заметил в его разговоре с надзирателем, но более всего удивил Пунина тем, что взял принесенный подарок, не выразив ни малейшей благодарности. В другой раз Пунин принес ему лакомства из числа лучших, какие имел, но результат был тот же. Юродивый взял подарки с каменным безразличием к дарящему.

— Вот это и необыкновенно, — сказал Пунин, — человек так устроен, что в нем непременно возникает хоть какой-нибудь отклик на подарок. А если нет никакого отклика, то это либо ненормально, либо сверхнормально.

— В каком же смысле, — спросил я, — это сверхнормально?

— В том, — сказал Пунин, — что есть как бы высший порядок, когда не одаряемый благодарен дарящему, а наоборот, дарящий благодарен, если его подарок принимается.

— Стало быть, — сказал я, — вы теперь пропитались благодарностью к этому человеку?

— По крайней мере, некоторым интересом, — ответил Пунин.

Основание для интереса давали не только поведение, но и взгляды юродивого. Для обычного типа интеллигентной православности характерным является предубеждение против разума и сильное приподнятое отношение к религиозным чувствам и молитвам.

Юродивый в этом вопросе довольно неожиданно держался противоположной точки зрения. В Писании сказано, говорил он, «входите узкими вратами». Какой же путь может быть более узким, чем путь разумения? Поклоны да молитвы это и есть широкая дорога, по которой ходят толпами. Дело не в том, чтобы читать много молитв и млеть чувствами, молитва нужна такая, чтобы через нее мы прямо имели участие в вечности. Молитва есть слово, внятно и весомо произносимое в храме Ума.

— Когда увидите Карсавина, — сказал мне Пунин, — спросите его об этом.

В разговорах я засиделся у Пунина допоздна. Укладываясь при мне спать, Пунин натянул одеяло до полголовы и быстро перекрестился.

— Вспомнил детскую привычку, — сказал он, выглянув из-под одеяла.

До сих пор я что-то не замечал у него такой привычки.

Священники — о.Иван и о.Феодот, которые на Пасху ходили поздравлять Карсавина, просили передать ему от их имени поклоны. Галкин назвал когда-то о.Ивана за диковатую внешность

попиком из болота. На самом деле он не заслуживал такого названия. О.Иван был человек очень добрый и всегда занятый чем-нибудь богослужebным. Как-то раз при мне, шепча молитвы, он заснул с четками в руках, но проснувшись минут десять спустя, тотчас продолжал шептать с того самого слова, на котором его прервал сон.

О.Иван одобрял мое предприятие и дал мне несколько напутственных советов. По его словам, в Больничном городке должен был находиться известный о.Петр, протоиерей, получивший образование в Духовной Академии. Знакомство с ним, по мнению о.Ивана, для меня могло быть интересным и небесполезным. Там же должен был находиться некий человек, которого многие считали старцем и прозорливым. Как слышал о.Иван, старец позволял себе некоторые странности: говорил с прибаутками, ходил иногда в шубе, вывернутой наизнанку, сам делал нательные кресты, которые носил по десятку и более, чтобы дарить их тем, кто ему понравится. На мой вопрос — не шарлатанство ли это, о.Иван ответил осторожно.

— Разобраться в этом не так просто, — сказал он, — бывают иные, которые держат себя так, чтобы действовать на воображение темных людей. Но если этот старец на самом деле прозорливый, он всеми этими внешними знаками себя смиряет. Впрочем, когда встретишься с ним, попытайся сам во всем разобраться.

После этого, поискав в своих многочисленных карманах, о.Иван достал залистанную и потемневшую от употребления записную книжку, в которой был Канон на исход души, и дал мне, чтобы я списал этот Канон.

— Сделай это не только на случай, — сказал о.Иван, — если кто-нибудь станет умирать. Этот Канон, написанный весьма сильными словами, хорошо иногда читать для самого себя, так как смертному человеку полезно иметь память о своей смертности.

Третьего июня мне велели готовиться к этапу.

**

Когда нас привезли в Больничный городок, был уже вечер, но июньское северное солнце еще не шло на закат.

Надзиратели на вахте обыск сделали быстро и поверхностно, и, пропустив нас, оставили подождать у освещенной солнцем стены вахты, пока по нашим бумагам разберутся, кого куда следует отвести. Сколько ждать — нам не сказали, по всему было видно, что здесь не в обычае торопиться с такими делами. Один из нашей группы стал ворчать, возмущаясь невниманием к его

болезни. Другие же, настроившись попользоваться солнечным светом и теплом, располагались — кто под стеной вахты, кто на земле.

А я, прикинув, что время есть, решил разведать дорогу к месту, где находился Карсавин. О том, что меня могут хватиться, я не слишком беспокоился, если потребуется, то найдут и самое большее выберут, мне же не терпелось встретиться с Карсавиным.

В проходах между бараками и на освещенных солнцем лужайках сидели и лежали люди, по-видимому, из числа больных и выздоравливающих. Все они были в одном нижнем белье, на солнце казавшемся очень белым. Проходя мимо них, я приглядывался — нет ли знакомых лиц, но не увидел никого, с кем раньше встречался. Наконец, я вышел на широкую ровную лагерную улицу, откуда взгляду открывалась перспектива какой-то части больничного городка — одноэтажные деревянные здания, стоявшие довольно раздвинуто одно от другого. Это был как бы заколдованный мир, в котором отсутствовало движение и который пыльно стыл в солнечном тепле.

На крылечке одного из бараков виднелся человек в белом халате. Склонность белых халатов к кастовой замкнутости отчуждала нас, прочих, от них. Несмотря на это, я уже готов был подойти, чтобы спросить дорогу к бараку для туберкулезных больных, но как раз в это время на пустовавшей улице появился человек. Он был не в халате, а в обычном лагерном тряпье, видимо, местный работяга, неторопливо волочивший ноги по каким-то своим делам. Я подошел к нему со своим вопросом и он объяснил, куда нужно было идти.

Барак для туберкулезных стоял обособленно посреди плоского пустыря. Я вышел сюда со стороны, к которой этот барак был развернут своим длинным, придавленным крышей фасадом. По обе стороны от входа были скамеечки, на которых никто не сидел, и стояли три или четыре пустые железные кровати. Выглядело все это оголенным и то ли забытым, то ли брошенным.

Я пересек пустырь по тропинке, заросшей, как будто по ней никто не ходил, взошел на ступеньку низенького крыльца, толкнул дверь, за ней еще одну и, оказавшись внутри барака, не сходя с порога, огляделся. По контрасту с солнечной ясностью уличного света здесь был полусумрак. Помещение не имело жилой устроенности. Это был сарай, не разгороженный ни на комнаты, ни хотя бы на отсеки. Только с правой стороны напротив входа кусок помещения был отгорожен дощатыми стенками. За

ними была, видимо, чья-то отдельная комната. А на кровати, при- ставленной к боковой стенке этой комнаты, лежал Карсавин.

Он лежал на спине полуприкрытый одеялом. Лицо его было повернуто к стене. Подойдя, я негромко его окликнул. Он не спал. На мой голос он повернул голову, увидел меня и сказал:

— А, это вы.

Он сказал это без удивления и без обрадованности, так, будто мы виделись не далее как вчера. И подставил щеку для поцелуя.

Кое-что в нем изменилось. В лице появилась припухлость, борода поседела до последнего волоска, как бы погустела, ста- ла слегка кучерявиться и разделилась надвое. Голос звучал с хрипотцой.

Я сказал, что меня доставили сюда для того, чтобы опери- ровать ногу. Я нигде еще не устроен и зашел всего на мину- ту, но как только устроюсь, буду, как раньше, приходиться каж- дый день.

— Приходите, — сказал Карсавин, — может быть, если мне позволят силы, мы продолжим наши беседы. Я так привык бесе- довать с вами, что здесь, особенно в первое время, мне этого ощутимо недоставало. Я написал вам об этом в письме, но не знаю, дошло ли оно до вас.

Я сказал, что письмо дошло, но, к сожалению, молодой ли- товец, взявшийся быть письмоношцем, прятал его под стелькой башмака, и под его пяткой в письме много стерлось.

— Литовцы надежные люди, — сказал Карсавин, — несколь- ко из них постоянно навещают меня и заботятся обо мне. Но мои разговоры с ними сводятся к ответам — как я себя чувствую и не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Впрочем, Владас считает, что для меня разговаривать излишняя роскошь. Вы знаете, что Вла- дас здесь?

Я об этом знал. Кроме того, я слышал, что Карсавина лечат препаратом ПАСК, и спросил, помогает ли ему этот препарат.

— Меня им лечили, — сказал Карсавин, — мне ежедневно давали этот ПАСК лошадиными дозами, но больше не дают. Ока- залось, что ПАСК вредно влияет на печень. Говорят, существу- ет какой-то другой препарат против туберкулеза, но здесь этого лекарства нет. Теперь меня лечат только измерениями темпе- ратуры.

Когда я собрался уходить, Карсавин приподнялся с кровати, опираясь руками, и сказал:

— Приходите, я вас буду ждать.

Обратную дорогу я нашел без расспросов. Я торопился, опа- саясь, что за время моего отсутствия всех развели по местам

назначения, но оказалось, что торопился я напрасно. Вся наша небольшая группа была на том же месте, и я нашел их в том же расположении, в каком оставил. Одни лежали на земле, подложив под голову вещевой мешок или чемодан, другие сидели под вахтой, опираясь спинами о стену. Я сел так же. Прошло еще добрых полчаса или более того. К этому времени тени от ближайших бараков напоздли уже на нашу лужайку, подбираясь к стене вахты, и местами уже начали вытеснять с нее солнечный свет, в котором появилась желтоватая блеклость. Наконец, пришел санитар со списками. Но это не было концом нашего ожидания, это было только началом конца. Сперва сделали общую перекличку, потом всех нас разделили соответственно распределению по разным отделениям больницы. Пока санитар отводил одних, оставшиеся пребывали в ожидании. Длилось это довольно долго, так как места назначения находились в разных концах лагеря, территория которого была весьма большой. Назначение в хирургическое отделение имел я один. Когда подошла моя очередь, солнце уже скрылось за плотными облаками, которыми был обложен горизонт. Дорога, по которой вел меня санитар, мне совсем не запомнилась, хотя темно не было, а был прозрачный сумрак северной белой ночи.

Хирургическое отделение, куда привел меня санитар, помещалось в деревянном здании с крыльцом посередине фасада. Санитар вошел внутрь, а я, взойдя на крыльцо, остался ждать, локтями опершись на перила. Напротив было еще такое же здание и с таким же крыльцом. В промежутке между зданиями и вокруг них были поросшие травой лужайки и даже немного кустов. В личине Больничного городка лагерь являл вид мирный, почти приветливый, навевающий впечатление, будто ты приплыл в тихую пристань. Душа готова была размягчиться от этого впечатления, готова была забыть, что любая часть тюрьмы есть все та же тюрьма.

Так и несовершенство нашего бытия, подумалось мне, может облечься в нечто нежное и благовидное и даже возвышенное, оставаясь всегда все тем же непреодолимым несовершенством.

Санитар вышел и, не глядя на меня, сбежал с крыльца, а из дверей выглянул, по-видимому, перед этим спавший и еще не вполне перешедший в состояние бодрствования дежурный фельдшер и сказал мне, чтобы я вошел.

Приемным покоем служила комнатка со столом для дежурного и некрашеным топчаном для больных, на котором, вероятно, в дежурных сновидениях проводил свое время принимавший меня

фельдшер. Он с моих слов записал сведения, полагавшиеся для истории болезни. Затем меня отвели в кладовую. Заспанный завхоз — круглоголовый неприветливый старик, сидевший за низким барьером, — сказал мне раздеться и записал в книгу все, что на мне было. В этой кладовой было тесно и пахло деревом, смолистым старым деревом, как в столярной мастерской. Я переоделся в больничное белье, которое было рассчитано на человека явно меньших размеров. По лицу старика завхоза было видно, что он готов отвергнуть мои протесты, но я, обманув его ожидания, просить о замене белья не стал, зная, что чуть позже найдется благоприятное время, когда без всяких препирательств смогу получить белье, более мне подходящее.

Наконец, за мной пришел местный санитар и по темному коридору отвел меня в назначенную палату. Когда он включил свет, я увидел освещенную свисавшей с потолка электрической лампой почти квадратную комнату с двумя окнами. Она была плотно заставлена кроватями, на которых люди лежали почти без одеял, так как было душно. Оба окна были закрыты, застоявшийся с примесью лекарственных запахов воздух едва вентилировался через форточку, затянутую марлей. (Окна держали открытыми только днем, вечером же закрывали, чтобы не налетели комары.)

— А где мое место? — спросил я санитаря, так как видел, что в этой палате ни одного свободного места не было. Санитар, не отвечая, стал зачем-то оглядывать все занятые кровати. Затем он вышел. Я не знал, что будет, и в некоторой растерянности спросил, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-нибудь:

— Куда же меня здесь положат?

— Тебя положат третьим, — сказал человек с ближайшей ко входу кровати.

Что означали его слова, вскоре выяснилось. Санитар принес матрас и положил его в середине на две кровати, сдвинув плотную.

— Вот тебе место, — сказал он, — можешь не опасаться, что кровати разъедутся под тобой, разехаться им некуда.

С такой практикой укладывать троих на две кровати мне в лагерных больницах встречаться еще не приходилось. Но я был утомлен перипетиями дня, после свидания с Карсавиным чувствовал в себе устойчивое радостное настроение, которого не могли смутить такие второстепенные обстоятельства, как отсутствие отдельного места или малое по размеру белье. Правда, мои новые соседи были ущемлены в своих удобствах, поскольку меня поместили между ними. Но явно они по этому поводу особого недовольства не выражали. Соседом справа был тихого вида

парень из Западной Украины. Сосед же слева оказался мне знаком — и в лицо и по имени. Узнав его, я ощутил некоторое замешательство. Моим соседом слева был Виктор Луи, тот самый Луи, который был окутан туманом темных слухов.

— Как-нибудь уместимся, не стесняйтесь, — сказал мне Луи, — устраивайтесь. Надо полагать, это временно. А мы, кстати, кажется, где-то встречались?

На следующий день я решил повидаться с Шимкунасом. Для врачей в Больничном городке были отведены небольшие отдельные домики. Мне объяснили, как туда пройти. Шимкунас жил в чистенькой комнатке с занавесочками на низких окнах, из которых одно выходило на лагерную улицу, а другое — на приятно зеленую лужайку.

Когда я вошел в комнату, Шимкунас принял меня радушно, как человека, неожиданное появление которого доставило ему удовольствие.

— Очень рад снова видеть вас, — сказал он, — и, конечно, Карсавин будет рад вашему обществу. Он неоднократно вспоминал вас. А как случилось, что вас перевели сюда?

Я рассказал обстоятельства своего перевода, Шимкунас, в свою очередь, рассказал о себе. После нашего лагерного пункта он работал врачом на другом лагерном пункте, узнав же, что Карсавин в Центральной больнице, добился для себя перевода сюда, согласившись работать в должности патологоанатома. Работа эта состояла в том, чтобы делать вскрытие умерших и составлять протокол осмотра внутренностей. Когда я сказал, что это, вероятно, ужасная работа, Шимкунас пожал плечами. Он спросил меня, как я здесь устроен и виделся ли уже с Карсавиным. Я сказал, что ходил к Карсавину в первый же день, пока нас оставили подле вахты ожидать распределения, и что, на мой взгляд, Карсавин выглядит сравнительно неплохо. Шимкунас, сощутив свои русалочьи глаза, покачал головой.

— Вы мало пригляделись к нему, — сказал он, — Карсавин в очень плохом состоянии.

— Что значит — плохом? — спросил я.

— Карсавин умирает, — был ответ, — у него миллиарный туберкулез. Это значит, туберкулезными палочками поражены не только легкие, но и другие органы. Может быть, вы заметили изменение в его голосе? Это от того, что процесс распространился на гортань.

Вот что означала хрипотца в голосе Карсавина, и вот почему разговаривать для него, как он сказал, сославшись на Владаса, было излишней роскошью...

— А сам Карсавин, — спросил я, — знает, каково в действительности его состояние?

— Конечно, знает, — сказал Шимкунас.

— Однако в письме, которое он прислал нам, — сказал я, — он написал, что в отношении здоровья ему стало здесь лучше и что сам он стал крепче.

Не успев, однако, договорить эти слова, я вспомнил, что в письме не было написано «стал крепче». Там было — «выгляжу крепче».

— Ну, насколько он стал крепче, это вы сами увидите, — сказал Шимкунас. — Что же касается письма, он просто не хотел вас огорчать. Он не может не знать о том, каково в действительности его состояние, так как находится в изоляторе для умирающих.

— Это тот обособленный барак, — спросил я, — который на краю лагеря?

— Это барак, куда больных туберкулезом отправляют умирать, — сказал Шимкунас, — там практически уже не лечат, а только по возможности облегчают страдания. Кто попал туда, живым уже не выходит. Когда наступит конец — это вопрос времени. Сколько времени осталось Карсавину, точно не скажу, может быть, месяца два-три, а может быть и меньше.

Таким образом, теперь выяснилось, что профессор Алексеев воздержался сказать нам правду. Мог ли он не знать эту правду, если ее знал регистратор санчасти Николай Сергеевич? Впрочем, это уже не имело значения.

— А разговаривать ему хоть сколько-нибудь можно? — спросил я.

— Если ему этого хочется, — сказал Шимкунас, — пусть разговаривает, сколько ему позволят силы.

Видя, что я оглушен и подавлен всеми этими сведениями, Шимкунас взял ободряющий тон.

— Вы проведете здесь, вероятно, несколько месяцев, — сказал он, — у вас будет много свободного времени. Я знаю несколько молодых людей, литовцев, которые, подобно вам, интересуются вопросами религии и философии. Они знакомы с Карсавиным и относятся к нему с большим уважением. Если хотите, я могу познакомить вас с ними.

Я поблагодарил Шимкунаса и сказал, что мне, конечно, было бы интересно познакомиться с этими людьми. На этом мы расстались, договорившись, что будем встречаться, насколько это позволят обстоятельства.

Времени, свободного от какой бы то ни было занятости, здесь, действительно, было много. И вместе с тем эта бездельная, полусонная больничная жизнь была устроена так, что свободного времени как бы и не оставалось. Весь день был расписан. Длительность дня была разбита на множество узелков, которыми больные были прикреплены к своим местам: измерение температуры, прием лекарств, завтрак, утренняя поверка, врачебный обход, процедуры, полдник, еще процедуры, обед, тихий час и т.д. В результате все время уходило на какую-то бестолковую возню, заполненную обрывочными разговорами, суммарное содержание которых было равно нулю, а подвижность наша сводилась к тому, что иногда лежание на кровати заменялось лежанием на лужайке возле внешней торцевой стенки барака.

В этом вязком течении времени, тем не менее, наметились два промежутка, два «окна», в которые я мог ходить к Карсавину. Это было время от врачебного обхода до обеда, поскольку процедурами меня особенно не донимали, и время от тихого часа до ужина. К началу вечерней поверки обязательно полагалось быть на своем месте, отсутствие больного на его месте во время поверки каралось выпиской из больницы.

Чтобы попасть из хирургического отделения в барак, где находился Карсавин, мне приходилось пересечь значительную часть Больничного городка, что по здешним масштабам было сравнительно дальней прогулкой.

Несмотря на свое название, Больничный городок всей своей статью был более или менее обычным лагерем, т.е. как бы островом, охваченным обручем проволочной ограды, землей среди земли, на которой наставлены с намеком на запланированную размещенность одноэтажные деревянные дома. Лучше сказать, это были не дома даже, а неуютные здания для жилья, которым именно не присущ характер «домашнего» и которые, независимо от их назначения, назывались бараками.

Не знаю, имеет ли слово «барак» корневое родство со словами «барка» или «баржа», но внешнее сходство подсказывает предположение о таком родстве. Барак обычного типа похож именно на поставленную на землю и покрытую крышей баржу.

Сурово и уныло стоят эти здания на земле, поверхность которой отличается характерной для лагерей устроенностью. Всюду — ровные, утопанные дорожки, присыпанные битым кирпичом и всегда подметенные. Дорожки, которые пошире, окаймлены штакетником, т.е. колышками с перекладинами, выкрашенными обычно в белый цвет. Кое-где встречаются сооружения, которые

принято называть «клумбами», это массивные выпуклости из кусков кирпича, выложенные в аляповатые узоры.

Помню, вся эта мелочно продуманная, убогая и замыслом и материалом украшенность лагеря немало раздражала нас. Мы иронизировали, давая ей определения — тюремная бутафория, памятник обесцененного труда, создание вкуса начальствующего персонала и т.п.

— Если бы меня спросили, как выглядит ад, — сказал как-то Пунин, — я описал бы его именно таким. Тотальное господство прямолинейности и прямоугольности. Живого места нет от этой разгороженности загородочками, подметенности и подмалеванности. Чепуха, будто бы ад вымощен благими намерениями. Не благими, а непременно бессмысленными, которые на человека нагоняют тоску.

После разговора с Шимкунасом я пришел к Карсавину вечером другого дня. Карсавин писал. Раньше мне случалось видеть его работающим, когда он устраивался писать полусидя, держа лист, как книгу, на приподнятых коленях. Теперь он сидел иначе, оставаясь весь на кровати, но как-то (мне показалось — не совсем удобно) извернув себя к тумбочке. Низко наклонясь над ней, он писал чернилами (а не карандашом, как раньше), сосредоточенно вписывая строчки прямых букв в клетчатый тетрадный лист.

Я подумал, что он, может быть, пишет письмо, а я своим появлением помешаю ему. Он, однако, уже увидел меня и, улыбаясь, приглашающе показывал рукой на соседнюю свободную кровать. Я подошел и сел.

— Не думайте, будто вы помешали мне, — сказал Карсавин, — я вас ждал.

Сложив письмо и убрав его в картонную папку, он сказал: — Это совсем не к спеху.

Слегка опершись локтем на тумбочку, он отклонился спиной на подушку и принял то положение, какое было обычным, если он имел намерение провести время в беседе.

На его тумбочке стоял знакомый мне фарфоровый чайник, к которому теперь прибавилась фарфоровая чашка, формой похожая на тюльпан. Заметив, что я посмотрел на эти предметы, Карсавин сказал, что здесь, как он уже упоминал, нашлись люди, которые о нем заботятся, приносят ежедневно горячую воду для заварки чая, снабжают бумагой и чернилами. О соседях Карсавин сказал, что повода быть недовольным ими теперь, в общем, нет. Раньше одно время здесь были блатные — развязные, наглые, шумные. Об этом написано в письме. Этих людей держа-

ли, чтобы сделать им врачебное обследование, затем их отсюда перевели. Теперь здесь тихо.

Здесь побывала, подумал я, та самая, как видно, компания рецидивистов, которых на нашем лагерном пункте держали в БУРе, охраняя их от украинской молодежи.

Я спросил Карсавина о статьях, которые он здесь написал. Статьи, написанные по-литовски — «О духе и теле» и «О совершенстве» — сказал Карсавин, по содержанию похожи на то, о чем уже раньше он писал по-русски и о чем говорил в наших беседах. Что же касается «Критики рефлексологии», эта статья среди других работ может выглядеть неожиданной. Она и для него самого написалась как-то неожиданно. Это — критические соображения в отношении методов, которыми пользуется биология, занимающаяся высокоразвитыми животными.

Жизнь животного в естественных условиях спонтанно-целесообразна. Для опытов животное изолируется, чем обрываются связи, которыми оно включено в единство природы. Основанием для теоретических построений служит то, что подвергая животное более или менее изобретательным, а чаще — примитивным, воздействиям, изучают его реакции. Однако, утратив свою естественную целесообразность, эти реакции почти неизбежно приобретают механический характер. Кроме того, животное, пытаясь приспособиться к созданным для него искусственным (или даже противоестественным) условиям, в меру доступной ему догадливости старается действовать или невольно действует так, как от него хотят. Это значит, что исходная установка такого научного метода косвенно предопределяет его результаты. Следовательно, научная обоснованность методов вызывает сомнения. Но есть и другая, еще более существенная сторона дела. Мы видим, как науке приносится в жертву этика. Как иначе оценить такие вещи, как насилие над жизнью, сознание за собой права вырвать живое существо из свойственной ему среды, поместить его куда заблагорассудится, по своему произволу пользоваться его беззащитностью?

В словах Карсавина был неявный, но все же улавливаемый пафос. Не означал ли он, подумалось мне, что, говоря о животных, Карсавин вместе с тем имел в виду нас и наше положение?

На этот раз я пробыл у Карсавина довольно долго, имел время осмотреться и более внимательно рассмотрел помещение, где мы находились. Изнутри барак для больных туберкулезом был обширен и пуст, для лагерных жилищ пуст необычайно. Кровати были расставлены с большими промежутками, из них занятых лежащими телами — не более половины. Возможно, кто-то из

этих мирно лежавших на своих кроватях людей в письме Карсавина был назван «завистником»? Какая реальность человеческого недоброжелательства пряталась в этом слове? Но спрашивать Карсавина об этом я не стал, полагая, что со временем смогу проникнуть в существующие здесь отношения и сам.

В этой обширной палате Карсавин был устроен почти обособленно. Его кровать, приставленная к перегородке, за которой была комната врача, занимала угол, а соседняя кровать, на которой я сидел, была вообще не занята и так оставалась незанятой на протяжении всего последующего времени. Рассматривая помещение, я обратил внимание на какое-то непонятное сооружение у противоположной стены барака. Там несколько пустых кроватей были разгорожены фанерными щитами так, что каждая стояла в отдельной открытой кабине. Карсавин, увидев, что я разглядываю эти кабины, объяснил их назначение: туда кладу умирающих, чтобы вид их агонии не пугал их соседей.

Итак, недомолвок теперь не было. Шимкунас сказал правду. Карсавин знал, что умирает. Он знал также, что я знаю об этом. И этот барак, похожий на баржу, для Карсавина и для всех, здесь находившихся, был именно особого рода баржей, материализовавшейся из мифа баржей Харона. Вот какова она — не сходя с места уныло плывущая во времени, уносящая из жизни свой пока еще живой груз. Роль Харона была, по-видимому, соединена с должностью врача туберкулезного изолятора. А сам этот Харон незримо обитал почти вплотную от Карсавина, отделенный от него перегородкой из дерева едва ли не в два пальца толщиной.

Я хотел бы все отпущенное мне время быть при Карсавине, хотя бы хоть чем-нибудь сделать более сносным образ существования, на которое он был обречен.

Непросветляемый даже днем полусумрак, непроветриваемая затхлость воздуха, атмосфера, насыщенная миазмами болезни, и не только материальным ее носителем — бактериями, сколько общей духовной подавленностью, духом безнадежности, беззвучным криком против надвигающейся смерти, — вот что такое был туберкулезный изолятор. Когда я, переступив порог, отделявший этот мир от окружающего, входил сюда, то по контрасту с ясной теплотой солнечного дня на всем находящемся здесь, казалось мне, уже лежала могильная тень.

Вот почему в один из солнечных дней, увидев Карсавина довольно бодрым, я сделал ему предложение выйти отсюда на свежий воздух.

— Возле входа в барак, — сказал я, — стоят пустые кровати. Если вы хотите, можно было бы воспользоваться одной из них, чтобы вы полежали на солнышке. День сегодня теплый. А на воздухе мы побеседовали бы, как раньше во время прогулок.

Карсавину эта идея понравилась.

— Да, — сказал он, — кровати перед входом для этого и стоят. Даже тех, кто совсем не ходит, иногда выносят туда полежать на воздухе. Я, пожалуй, охотно полежу там.

Мое предложение помочь ему дойти он отверг, сказав, что у него хватит сил пройти без помощи такое расстояние. Сказав так, он откинул одеяло и, упираясь руками на край постели, встал. По выражению его лица было видно, что он был немножко доволен, доказав мне неосновательность моих сомнений в его силах.

Я собрал с кровати постельные принадлежности и пошел на улицу приготовить для него место. Из кроватей, стоявших на освещенных солнцем мостках, я приглядел одну, менее рваную, и занялся ее приготовлением. Уже заканчивая это дело, я почувствовал за спиной движение и, оглянувшись, увидел Карсавина.

Только теперь, глазами, я понял, насколько хуже сделалось его состояние. В темном дверном проеме я увидел его белую, едва держащуюся на ногах фигуру. В его лице была истощенность сил. Исхудавший, в одном белье, он стоял как бы вырезанный из фанеры, держась, чтобы устоять, рукой за косяк. Я поспешил навстречу. Однако он свободной рукой показал, что помогать ему не надо. Постояв, он сам дошел до кровати — медленно и сохраняя напряженную прямогу. Лег и после этого некоторое время лежал, прикрыв глаза, ожидая возвращения сил. Я с тревогой смотрел на него, терзаясь тем, что все это затеял, и тем, что не в состоянии был хоть чем-нибудь помочь. Но выражение тяжелой усталости постепенно сходило с его лица. Минут через 15-20 к нему вернулись и обычное выражение глаз, и речь.

— Проще всего быть червяком, — сказал Карсавин, — вертикальное положение тела, как я теперь вижу по себе, оказывается, большая победа человека над природой. Червь ползает, а человек, хотя ему и недостает необходимой для устойчивости третьей ноги, познал свободу быть вертикальным.

Солнце грело, но не жгло. Теплый ветерок мягко обтекал нас. Карсавин, не захотев ничем прикрыться от солнца, лежал в одном белье. Увидев, что на его ногах сильно отросли ногти, состричь которые сам он не мог, я сходил в барак за ножницами. Я стриг ногти на его ногах и занимал его рассказом о том, как Пунин завел знакомство с юридическим и удивляется, во-первых, отсутствию у него благодарности, а во-вторых — религиозному

отношению к разуму. Пока я говорил, на лице Карсавина появилась хорошо знакомая мне сдержанно-ласковая полуулыбка.

— Среди юродивых, — сказал он, — бесспорно, всегда встречались люди, сознательно избравшие этот путь. Нет, в общем, ничего особенного, что знакомый Пунина высоко ценит разум. Во времена отцов Церкви слово Ум писали с большой буквы, в таком отношении к разуму отклонения у традиции, в общем, нет. Тем не менее, для современной религиозности такой взгляд необычен, с тех пор на отношении к разуму произошло смещение акцентов. Свободная мысль в наше время считается достоянием атеизма, а религиозность считает себя хранительницей невыразимой тайны. И то и другое правильно. Но вот что уже пора понять: для религии было бы губительным, если она не увидит, что достоянием атеизма является то, что должно принадлежать ей самой.

Давая себе отдых, Карсавин недолго помолчал.

— Суть материализма, — продолжал он, — в непосредственном мироутверждении, в прямой убежденности, что объективная действительность существует независимо от сознания. Против этого нелепо было бы спорить, это несомненно. Нужно только сделать еще один шаг и усмотреть, что именно действительность объективного мира есть самое прямое, достоверное свидетельство об абсолютном субъекте действительности. Объективная действительность является независимой от сознания. Однако это утверждение скрыто содержит в себе обратное утверждение о том, что сознание столь же независимо от объективной действительности. Невозможно, чтобы независимость была односторонней. Если сознание просто некий продукт самого мира, как это обычно, не задумываясь, полагают, то — какой смысл в утверждении о независимости мира от сознания? Односторонняя независимость оказывается мнимой. Усмотреть это мешает натуралистическое отношение к вопросу: мир велик и вечен, сознание же в человеке, жизнь которого коротка. На самом деле это не имеет никакого значения, сознание как таковое должно быть независимым от объективной действительности. Без этого мир не может быть независимым от сознания и тогда сама объективная действительность утратила бы ту опору, без которой подлинное невозможно отличить от иллюзорного. Когда же мы приходим к такому пониманию, этим преодолевается атеизм. Независимость сознания находит гарантию только в Боге. Мир существует своей собственной действительностью, но не мог бы ни существовать, ни знать о своем существовании, если бы не было действительности — совершенного Божественного бытия.

Сосредоточенность мысли, по-видимому, утомила Карсавина. Кончив говорить, он молча полежал еще некоторое время, после чего сказал, что давно не выходил на воздух и нам пора идти назад. Я подставил свои плечи, и так потихоньку мы добрались до места. Карсавин лег, а я, к своему успокоению, отметил, что на этот раз наш переход не слишком утомил его.

**

Палата в хирургическом отделении, куда меня поместили, представляла собой почти квадратную комнату с кроватями, наставленными впритык, как костяшки домино.

Втроем на двух кроватях я и оба мои соседа уживались без ссор и без взаимного неудовольствия. Один из них, молодой западноукраинец из бендеровцев, лежал с болезнью ног после перелома, полученного при аресте. Он не ходил, был сильно истощен и тих. Другой — Виктор Луи, получивший травму ноги на работе в лагере, уже обходился без костылей.

Наше утесненное жительство втроем продолжалось недолго. С неделю спустя освободилась кровать по ту сторону тумбочки и Луи тотчас перебрался на эту кровать, освободив свое место для меня и сделавшись по отношению ко мне из соседа рядом соседом напротив.

Известный мне по отзыву Василенко как «фигура, окутанная туманом темных слухов», вблизи Луи не производил неприятного впечатления. В палате он держал себя со всеми дружелюбно, охотно пользовался лагерными оборотами речи, как бы принимая этим «цвет» обстановки, но не поддавался растворению в преобладавшем здесь анекдотно-бездельном настроении. Если он и был из преисподних, то, по крайней мере, из довольно беспечальных.

Помимо близости, обусловленной обстоятельствами места и времени, мы невольно выделяли друг друга из среды остальных, так как были примерно одинакового возраста и оба выросли в условиях жизни интеллигентного слоя большого города.

Из слухов о Луи правдой было то, что он находился здесь по редкому среди нас обвинению в шпионаже. По его словам, он прежде работал переводчиком в посольстве какой-то латиноамериканской страны и составлял для своих работодателей вырезки из наших газет. Луи был полуеврей, имел матово-бледное в чуть заметных веснушках лицо, красивый точеный профиль, очки в тонком золотом ободке и изящно-свободные манеры, приобретенные, возможно, в среде дипломатического персонала посольства.

Его запас жизненной энергии был достаточен, чтобы оптимистически относиться к будущему. Он довольно много читал, доставая книги с рук, и сам обладал стопкой книг, среди которых я заметил превосходный англо-русский словарь заграничного издания и книгу «Учение о рефлексах». Когда я спросил, зачем ему эта книга, Луи сказал:

— Для общего образования.

Свое пребывание здесь он, кажется, рассматривал именно как время, выделенное ему жизнью для пополнения образования. Он был готов интересоваться всем — науками и философией, но не ради их существа, а для того, чтобы быть информированным в этих вопросах. К религии он был равнодушен. Для него религия была, кажется, формой политики, а религиозность — выражением политической принадлежности. Он говорил, что не имеет определенных взглядов, и что это весьма удобно, так как всегда позволяет выбрать ту позицию, которая наиболее выгодна. Возможно, он рисовался некоторым цинизмом.

Как-то, когда мы сидели на кроватях друг против друга, он сказал:

— Меня, я знаю, подозревают в сотруди́честве с оперуполномоченным. Но кто так думает, или глуп, или меня считает глупцом. Я вовсе не хочу сказать, что имею какие-то принципы, в силу которых подобная роль для меня невозможна. Таких принципов у меня нет, но у меня есть голова. Информация, которую собирает здесь оперуполномоченный, ничтожна, как ничтожно и вознаграждение за нее, место дневального, например. Мне же мелкие подачки не нужны. Играю только в такую игру, которая стоит свеч.

Наличие книги «Учение о рефлексах» в стопке книг, принадлежавших Луи, навело меня на мысль, не эта ли книга, как-то оказавшись у Карсавина, послужила поводом для его статьи о рефлексологии. При случае я спросил его об этом. Он подтвердил мою догадку, сказав, кроме того, что именно Луи приносил ему эту книгу. Я спросил, откуда ему знаком Луи.

— Он приходил ко мне несколько раз, — сказал Карсавин, — вполне воспитанный молодой человек. Спрашивал меня о чем-то, помнится, вопросы были пестрого характера, то об одном, то о другом. Трудно было понять, что именно его интересовало.

Узнав, таким образом, что Луи пополнял свое образование и через общение с Карсавиным, я поддался внезапному чувству ревности. Я тут же передал Карсавину слова Василенко, который сказал о Луи, что он гомосексуалист и вообще порочный юнец. От

моих слов на лице Карсавина выразилось не удивление и не осуждение, а как бы некоторая внутренняя озабоченность.

— Это очень трудный вопрос, — сказал он, — мотивы, определяющие половую жизнь, наиболее интимны. Осудить легко. Между тем, в способности человека к любви и жертве выражено наше, может быть, самое высокое начало. Поэтому в этой же сфере человек наиболее подвержен дурной саморастрате.

Как-то вечером, когда мои соседи по палате томились предсонным бездельем, мне сказали, что пришли какие-то люди и просили передать, что они ждут меня у входа в хирургическое отделение. Я вышел. На лужайке немного в стороне от входа в наш барак меня ждали два человека. Один из них был Шимкунас, другой — рослый, довольно молодой человек с приятным чистым лицом. Он встретил меня взглядом, выразившим благожелательное любопытство.

— Выполняю обещание познакомить вас с нашей католической молодежью, — сказал Шимкунас, — я привел к вам самого главного из них. Это — Свентонис. Я уверен, вы оцените его, когда познакомитесь поближе. До заключения он был студентом Духовной семинарии. Интересуется богословием, экзистенциализмом, вообще — состоянием христианского мира, и является почитателем Карсавина.

Свентонис сказал, что обо мне он слышал (от кого, кроме Шимкунаса?) как об ученике Карсавина и надеется услышать от меня разъяснение основных идей Карсавина, поскольку самого Карсавина в нынешнем его состоянии просить об этом, к сожалению, нельзя. От разговоров может быть вред его здоровью. Из лагерных работ Карсавина Свентонис читал те, которые хранились у Шимкунаса и были написаны по-литовски: «О совершенстве» и «О духе и теле». По мнению Свентониса (до удивления напоминавшему слова Яворки), во взглядах Карсавина отразилась свойственная восточному христианству (слово «православие» католики не употребляют) склонность к пантеизму.

Я сказал Свентонису, что с таким же успехом можно предположить обратное, именно, что в его собственных словах отразилась свойственная западному христианству склонность подозревать православных в пантеизме. Иначе трудно понять, откуда во взглядах Карсавина усматривается пантеизм.

В традиционной богословии сотворенный мир противостоит Творцу как некое небожественное бытие — Божественному. Такое противопоставление исключает пантеизм. Однако оно оказывается близким к дуализму, так как допускает два бытия. Карсавин

в своем понимании творения устраняет это удвоение бытия. Тварь есть абсолютно иное по отношению к Творцу. Бог есть все, тварь как таковая есть ничто. Не имея своей действительности (другой нет, как даруемой Богом), тварь становится сущей, воспринимая абсолютную действительность. Обретая бытие, тварь наполняется Богом. Но как носитель даруемой божественности тварь никогда ни в несовершенстве, ни в совершенстве своем не тождественна Богу, который один есть истинный субъект божественности. Такое понимание преодолевает сразу и пантеизм и дуализм.

— Да, конечно, — сказал Свентонис, — вы правы и очень понятно объяснили мне точку зрения Карсавина. Хотя Бог у него немножко и растворяется в мире, но он устраняет это с помощью экзистенциализма. Я правильно вас понял? Но даже если мы в чем-нибудь и не согласны между собой, я думаю, лучше не спорить о словах. Как, например, на Флорентийском соборе столько почтенных богословов не смогли договориться, читать ли в Символе: «пер филиум» или «филиокове».

Я взглянул на Свентониса с намерением возразить, так как прочно усвоил от Карсавина, что спор о «Филиокове» — не спор о словах, а расхождение по существу, отобразившееся в различии исторической судьбы Запада и Востока. Но Свентонис поспешно сказал:

— Догматические несогласия лучше оставить в стороне. Зачем их касаться, особенно в нашем положении. Гораздо важнее просто узнать друг друга. В этом отношении лагерь имеет позитивное значение. Здесь открывается исключительная в своем роде возможность продуктивных контактов между представителями западного и восточного христианства. Это может послужить сближению Церквей в будущем.

Свентонис говорил с оттенком восторженности. При всех его увлечениях экзистенциализмом и всем прочим, он был ортодоксален католической ортодоксальностью. Он проявлял интерес к теоретическим вопросам, но центр его интересов лежал в области практической активности.

Когда Свентонис пришел во второй раз, он попросил меня вкратце изложить главные идеи Карсавина.

Я сказал, что, по мысли Карсавина, основание и источник нашего знания даны в христианском учении о Троицизме Бога. Догму следует понимать в том смысле, что троичность единства есть не что иное как самопознание абсолютной личности.

Бытие, которое не знает о себе, ничем не отличается от небытия. Бытие же, знающее о себе, есть личное бытие. Но знание

о себе предполагает прерыв в себе самом, разделение в себе на того, кто знает, и на того, о ком знают. Вместе с тем, личность непрерывна. Поэтому именно в личном самосознании нам дана наша соединенность с Богом, из которой мы познаем себя сотворенными, т.е. возникшими из ничто и сущими в меру причастия Богобытию, которое тем самым переходит в наше бытие, в бытие человека, мира. Однако человек причаствует Богу лишь ограниченно. В своем желании быть человек не хочет той полноты любви, которая зовет его жертвовать собой. Реализуя так свою свободу, человек делает цель любви недостижимой и замыкает себя в неполноте несовершенного бытия. Бог, в Своем самопознании являя Себя Творцом, доводит акт творения до предела, до Боговоплощения, которое по отношению к нам является актом нашего спасения. Бог есть все. Принимаемая бытие несовершенства как Свое бытие, Он — через воплощение, смерть и воскресение Христа — преодолевает замкнутость эмпирии. Для каждого из нас эта замкнутость преодолевается конкретно, когда человек опознает, что он в своей свободе, определив себя к несовершенству, сам виновен в этом. И через опознание своей вины в обновлении ума хочет реализованности несовершенства, дабы претерпеть его как кару за свою вину. Такое новое понимание есть покаяние или умоперемена, которая в наибольшей своей силе становится последним судом и светопреставлением.

Так я пересказал, что усвоил из бесед с Карсавиным.

Свентонис выслушал все, что я говорил, с вежливым вниманием. Он сказал, что в моем пересказе идеи Карсавина предстают как своеобразное изложение христианской догматики, в основном не расходящееся с традиционным ее пониманием.

Чтобы побудить Свентониса высказать его собственное отношение к Карсавину, я привел слова Николая Сергеевича, который сказал о Карсавине, что такие люди нужны Церкви для защиты ее внешних рубежей.

— Такая оценка не кажется мне достаточной, — сказал Свентонис, — внешние рубежи Карсавин защитить, конечно, сумеет. Но защитников Церкви и так довольно. Для этого, в конце концов, нужна лишь хорошая научная подготовка плюс личная стойкость. Карсавин глубже. Я бы отнес Карсавина к тем немногим, кому дано разрабатывать содержание христианского учения. Таковы, например, наши великие схоластики.

Поместив, таким образом, Карсавина в почтенную компанию, Свентонис сказал, что сам он по склонности души предпочитает глубину Фомы Кемпийского.

Когда я сказал, что читал «Подражание Христу» Фомы Кемпийского и что немного разбираюсь в латыни, это, кажется, повысило меня в его глазах. Усмотрев в этом интерес с моей стороны к образу католической религиозной жизни, он сказал, что охотно познакомит меня с нею. В первую очередь он рассказал мне о медитации и контемплиации. Медитация это свободное размышление над текстом или над заданной темой. Контемплиация — сосредоточенное представление в мысленных образах событий евангельской истории. Это были элементы той практической религиозности, которую ценил Свентонис. Он был очень осведомлен в таких вопросах.

Из разговоров со Свентонисом для меня выявился следующий парадокс. Люди, образованные в богословии и вообще осведомленные в вопросах религии, в Карсавине склонялись видеть повторение известных идей, в отклонении от которых они находили лишь признак некоторого еретического свободомыслия. Мне же, получившему атеистическое воспитание и неискушенному в вопросах богословия, казалось, что образованность Свентониса, Николая Сергеевича и других загромождает их ум и мешает увидеть в Карсавине самое главное. Мир их образованности казался мне чем-то школьным, подчинившимся гипнозу стереотипов, чему на стороне Карсавина противостояла свободная от всякого одереветнения живая, индивидуальная и внутри себя несравненно более подлинная религиозная сосредоточенность.

Молодые люди, знакомые Свентониса, как и он, занимались богословием и экзистенциализмом. Кроме того, они все интересовались телепатией. Среди них был молодой литовец — телепат. Его телепатическая одаренность состояла, как мне рассказали, в том, что он мог, взяв в руку закрытую записку, слово в слово сказать, что там написано. Такие сеансы делались в присутствии нескольких человек, но — редко, потому что очень утомляли слабого здоровьем телепата. Позднее меня познакомили с ним. Это был невысокий, шуплый, бледный, выглядевший очень молодо человек. Я ожидал особой одухотворенности во взгляде, но, напротив, взгляд его был бесцветен и выражал только внутреннюю усталость. За время моего пребывания в Центральной больнице он только однажды повторил свой опыт перед небольшим обществом, собравшимся в комнате Шимкунаса. Я тоже был приглашен. Но как раз в то время мне сделали операцию, и я не мог ходить.

Как-то, когда я пришел к Карсавину, он, приподнимаясь мне навстречу, вместо приветствия сказал с возмущением:

— Меня лечит коновал.

Сказал он это громко, не стесняясь тем, что «коновал», т.е. врач туберкулезного изолятора, он же Харон, сидел совсем неподалеку, отделенный всего лишь тонкой перегородкой.

Как сказал мне позднее Шимкунас, этот врач не фигурально, а на самом деле был коновалом. В больнице не хватало квалифицированных врачей и в туберкулезный изолятор, где помещались неизлечимые, был назначен врачом ветеринар. Считали, что в других отделениях пользы он не принесет, а в этом изоляторе, куда никто из врачей не хотел, уж лучше быть человеку, имеющему хоть ветеринарное, но все же медицинское образование.

Как раз перед моим приходом эти обстоятельства сделались известны Карсавину и он возмутился. Высказав это мне, он снова прилег. Затем, быстро вставая от взволновавших его чувств, он сказал:

— Впрочем, не все ли равно — кто? Не все равно тогда, когда лечат.

В тоне этих слов был оттенок горечи.

Однажды, заметив, что на Карсавине не было нательного креста и подумав, что ему, может быть, хотелось бы иметь крест, я решил предложить ему свой. Карсавин сказал на это:

— Вы угадали мое желание. Мне, действительно, хотелось иметь нательный крест, но неоткуда было его взять. А как же я вас оставлю без вашего креста?

Я сказал, что этот крест сделал я сам и оттого мне тем более приятно, если Карсавин возьмет его в подарок. Себе я сделаю другой.

Я снял с себя свой нательный крест, который был на шнурке, потемневшем от соприкосновения с телом. Крест был из свинца. Сделанный около года назад, он уже потерял прямизну линий и вырезанное на нем распятие уже несколько стерлось.

Карсавин подставил голову и я надел на него шнурок с крестом, который отныне останется на нем на весь остаток дней жизни и посмертно будет лежать вместе с ним в земле.

**

Шимкунас считал, что для наших встреч следует не мне ходить к нему, а ему ко мне. Он как врач мог ходить везде. А я был в положении больного, прикрепленного к месту лечения, и слишком частыми отлучками мог привлечь к себе нежелательное внимание со стороны надзора. Правда, здесь все ходили кто куда хотел, но все же правила есть правила и в нарушении их лучше ограничиваться необходимым минимумом, состоявшим в посеще-

нии Карсавина. Приходя ко мне, Шимкунас обычно не заходил в палату, а через кого-нибудь вызывал меня на прогулку. Причем приходил он не просто повидаться, а всегда с каким-нибудь определенным делом.

Однажды, вызвав меня, Шимкунас, пока мы прогуливались за торцевой стеной нашего барака, сперва спрашивал меня — скоро ли ожидается операция и не приобрел ли я за это время еще новых знакомых, а потом сказал:

— Карсавин внешне довольно бодр, но процесс распространяется неумолимо. Дни его сочтены. Кстати, вы не говорили с ним о том, что пришло время пригласить священника для последнего напутствия?

Я понял, что этот вопрос и есть дело сегодняшней встречи.

— Мне и в голову не приходило говорить с Карсавиным об этом, — сказал я.

Шимкунас остановил наше хождение и, глядя мне в лицо, спросил:

— А вы сами как об этом думаете? Можно ли допустить, чтобы Карсавин ушел без исповеди? Когда человек умирает, ему нужна духовная помощь. Кроме того, через обряд подтверждается единство человека с Церковью.

Внутренне я не был убежден в том, что Карсавину действительно нужна духовная помощь. Я думал, что Карсавин сам лучше нас знает, что ему нужно и что не нужно. Но я вспомнил своих знакомых священников и точно понял, что в этом вопросе они на стороне Шимкунаса. Я сказал Шимкунасу, что, вероятно, он прав. Однако я не представлял себе, как отнесется к этому сам Карсавин, и тем более даже предположить не мог, что вокруг этого дела появятся всякие осложняющие обстоятельства.

— Вам надо поговорить с Карсавиным, — сказал Шимкунас, — и надо найти священника. Вы знаете здесь кого-нибудь?

— Лично не знаю, — сказал я, — но мне говорили, что здесь, в Больничном городке, находится весьма уважаемый протоиерей о.Петр.

Шимкунас кивнул.

— Мне он известен. Что ж, обратитесь к о.Петру. Вы знаете, где его найти?

Я этого не знал.

— Его легко найти, — сказал Шимкунас, — он работает капте-ром. Заведует складом обмундирования.

Я слегка удивился. Эта должность чем-то не отвечала моим приподнятым представлениям о протоиерее.

— Чего же удивляться, — сказал Шимкунас, — не работающих здесь не держат. А это работа спокойная, подходящая для старого человека.

Вечером следующего дня, придя к Карсавину, я сказал ему, что в этом лагере есть священник о.Петр, человек весьма уважаемый, с академическим образованием. Он работает здесь каптером, так как эта работа — подходящая для старого человека.

— Если вы хотите, — сказал я Карсавину, — можно попросить о.Петра, чтобы он пришел к вам. Может быть, он вам понравится. Может быть, вы захотите исповедаться ему, поскольку через обряд подтверждается единство человека с Церковью.

Я говорил все это как бы от себя, но Карсавин, посмотрев в мою сторону чуть лукаво, уверенно сказал:

— Вижу, вас подослал с этим разговором Владас. Он как врач знает, что пришло время мне подготовиться. Он добрый человек. И об о.Петре я слышал. Но разве обязательно нужен о.Петр или кто-нибудь другой? Что изменится от этого? Умирая, человек соединяется с Богом. Бог сам знает, как нужно все устроить.

Когда я передал этот разговор Шимкунасу, он твердо сказал:

— Нужно уговорить Карсавина. Никто не может сделать это, кроме вас.

Возможно, этими словами он хотел укрепить меня на своей стороне. Но я в этом вопросе уже взял на себя роль. Сделав один шаг, я предопределил себя к тому, чтобы сделать второй.

Придя на другой день к Карсавину, я сказал ему, что подумал о некоторых своих знакомых из православных. Всем им свойственна известная щепетильность в отношении формы, через которую выражает себя церковность.

— Я понимаю, — сказал я, — что нехорошо быть назойливым. Конечно, один Бог знает, как нужно все устроить. Но разве не может быть, что через нашу назойливость Бог что-то и устраивает?

Карсавин молчал. Я подумал, что он и на этот раз ответит отказом. Но он ответил согласием.

— Я понимаю, вы настойчивы потому, что любите меня, — сказал он, — хорошо. Пусть будет, как хотите вы и Владас. Пригласите ко мне о.Петра.

Тогда, чтобы быть до конца полезным, я сказал:

— Для исповеди вам понадобится Пятидесятый псалом. Хотите я напишу его для вас?

— Я его помню, — сказал Карсавин, посмотрев на меня.

И этот его взгляд, как мне показалось, был чуть укоризненным.

В лагере, даже если это Больничный городок, не принято вешать на зданиях ни номеров, ни табличек, которые объяснили бы их назначение. Поэтому в поисках каптерки мне пришлось спрашивать дорогу к ней. Поплутав в проходах между похожими друг на друга деревянными зданиями, я, наконец, нашел, что мне было нужно.

Это был небольшой одноэтажный полудом-полусарай. Окна были закрыты деревянными ставнями, запертыми с помощью железных накладок на замки. Только одно, ближайшее к углу, окно не имело ставень и глядело стеклом, завешенным чем-то изнутри. Это был намек на то, что окно принадлежало обитаемому помещению.

Войдя с крыльца об одну ступень через незапертую наружную дверь, я оказался в темном и довольно затхлом коридорчике, наощупь нашел дверь, которая по моему расчету должна была принадлежать комнате с угловым стеклом, и постучался.

— Войдите, — сказали мне оттуда.

В тесной комнатухе за столом, боком приставленным к окну, сидел человек, довольно старый, с рыжеватой бородой. Он смотрел на меня вопросительно, предполагая во мне, очевидно, посетителя по хозяйственным делам. Я спросил его, не он ли о.Петр.

— Да, я, — сказал он.

Я подошел под благословение, он благословил, но смотрел на меня с тем же вопросом во взгляде. Я сказал, что слышал о нем от священников, с которыми был на одном лагерном пункте, и передал ему поклон от о.Ивана и о.Феодота.

— Знаю их, — сказал о.Петр. — А вы-то, скажите, как попали в эту компанию?

После моих объяснений я ожидал, что о.Петр примет меня как одного из своих. Его вопрос показался мне не то чтобы неуместным, а скорее обидным, хотя и не по отношению ко мне, а по отношению к священникам, которые кланялись ему через меня. Я объяснил, как познакомился с о.Иваном и о.Феодотом и в чем состояло мое общение с ними.

О.Петр слушал, склонив слегка голову, и наблюдал меня спокойно, но без потепления во взгляде. Когда же в заключение своих слов я сказал, что пришел к нему по делу, он кивнул, показывая, что именно этого и ожидал. Подумав, что он принимает мои разговоры, как подступы к просьбе выдать мне новые штаны или вообще что-нибудь из доверенных ему тряпичных сокровищ, я поспешил отклонить такое предположение с его стороны. Я сказал, что дело, по которому пришел, касается не меня, а Л.П. Кар-

савина, известного историка и религиозного мыслителя, который уже несколько месяцев находится в Больничном городке.

— Я о нем слышал, — сказал о.Петр, — он, помнится, в туберкулезном изоляторе. А вы не теряете времени даром. Вы и с Карсавиным знакомы?

В этом вопросе протоиерея, как и в первом его вопросе, был призыв какой-то игривости, которая как бы игнорировала серьезность повода, побудившего меня прийти к нему.

— С Карсавиным я знаком сравнительно давно, — сказал я, — а к вам пришел потому, что Карсавину осталось недолго жить. Я пришел, о.Петр, попросить вас, чтобы вы сходили к нему.

Теперь на лице о.Петра отразилось, что он понимает серьезность моего настроения.

— Карсавин выразил это желание сам? — спросил он.

— Не далее как вчера, — сказал я, — он поручил мне обратиться к вам с этой просьбой.

О.Петр больше вопросов не задавал. Некоторое время он молча смотрел в окно, словно что-то обдумывая. Потом, повернувшись снова ко мне, сказал:

— Хорошо. Я приду.

Я поблагодарил его и на этом мы расстались.

Карсавину я рассказал, что был у о.Петра, который выразил участие и обещал прийти. Карсавин выслушал мой отчет равнодушно.

— Спасибо вам за хлопоты, — сказал он.

Больше этого вопроса мы не касались.

На первой неделе июля меня назначили на операцию. В день операции с утра мне велели не есть. Время, пока за мной пришел санитар, я провел в обычном в таких случаях нервном состоянии.

— Вы имеете право отказаться, — сказал мне Луи, — только вас в тот же момент выпишут отсюда. Такие случаи бывали. Наш бог-хирург разгневется и выставит вас из этого рая.

Я сказал, что меня такой оборот дела не устраивает.

— Тогда приготовьтесь к терпению, — сказал Луи, — наш хирург живорез по призванию. Я его изучил более или менее. Когда вы попадете в его руки, он воспользуется вами, чтобы испробовать на вас какой-нибудь новый метод.

Наконец, за мной пришел санитар и отвел меня в операционную. Ожидавший меня там хирург, худощавый латыш, державший себя несколько свысока, сказал, что мне будет сделано обезболивание путем введения новокаина в спинномозговой канал.

С меня сняли рубашку и посадили на стол спиной к окну. Хирург набрал в шприц мутноватую жидкость и стал тщательно ощупывать позвонки в средней части спины. От укола в позвоночник меня дернуло, как от сильного электрического удара.

— Через несколько минут, — сказал хирург, — наступит полное онемение левой ноги, операция будет для вас полностью безболезненной.

Вышло, однако, не вполне так, как обещал хирург. Онемение, действительно, наступило, полное, парализовавшее ногу, но не левую, которую надо было оперировать, а правую, здоровую. Меня отнесли на носилках в палату и, отняв подушку, велели лежать, не поднимая головы.

— Теперь вы убедились в том, что я не ошибся, — сказал Луи.

— Теперь вижу, что вы из пророков, — ответил я.

В моих словах не было намека на национальную принадлежность Луи. Но ему такой намек, по-видимому, послышался.

— Никакого отношения к пророкам, кроме происхождения, не имею, — сухо сказал он, — просто знаю, что наш хирург человек прогрессивный. Он читает, сколько ему удастся, новую медицинскую литературу и, стремясь не отставать от науки, осваивает прочитанное на оперируемых. В таких уколах, как ваш, он еще, наверное, не набил руку.

Когда меня отнесли после неудачного укола в палату, мне сказали, что операция откладывается. Однако минут через тридцать за мной снова пришли с носилками, так как правая нога еще оставалась парализованной, и снова транспортировали в операционную.

— Вам дали отдохнуть, — сказал хирург, — и теперь пора довести дело до конца.

Как мне потом объяснили, о переносе срока операции надо было ставить в известность начальство. Не исключено, что хирург не стал ее откладывать, чтобы не была засвидетельствована его оплошность.

Операция под местным обезболиванием прошла благополучно. Однако вливание новокаина в спинномозговой канал стоило мне нескольких дней тягчайшей головной боли. Ничто не помогало, нужно было только ждать, пока это кончится само собой.

Когда мне полегчало, Луи принес мне свои костыли, которые хранились у завхоза в кладовой. Костыли по росту мне подошли, но ходить в палате было трудно из-за тесноты. В последующие дни, окрепнув настолько, чтобы преодолевать теснины между кроватями, я выбирался из палаты на лужайку за баракком, служившую обычным местом прогулок больных нашего отделения.

В один из дней, когда я, повиснув на костылях и не рискуя удаляться от нашего барака, был с Луи на лужайке, меня пришел навестить Свентонис. Луи отошел, чтобы оставить нас вдвоем.

— Этот человек — ваш знакомый? — спросил Свентонис.

— Он мой сосед по палате, — сказал я. Ощувив, что этими словами я несколько как бы отодвинул Луи от себя, я сказал, что он знаком с Карсавиным.

— Такие люди, как Карсавин, — сказал Свентонис, — притягивают к себе весьма многих.

Ко мне Свентонис шел с вопросом. Ему показалось непонятным выражение Карсавина «несовершенство обращается в средство совершенства», и он хотел услышать, как я понимаю это выражение. Какие-то мысли у меня были, но вряд ли они могли устроить Свентониса.

— несовершенство, — сказал я, — это прерыв по отношению к Богобытию. Прерыв не имеет дна. Но он является остановленным в любой точке, где начинает выявляться непрерывность. Она выявляется прежде всего в чувстве вины и в сознании своей ответственности. Страдая своим несовершенством и осуждая свою вину, человек воссоединяется с Богом, что выражается в желании усовершениться.

Свентонис поблагодарил меня за разъяснение, в котором, как он сказал, выразился метафизический склад моего ума. Сам он был человеком прежде всего практическим и понял мои слова по-своему.

— Лагерь как таковой, — сказал он, — есть учреждение несправедливое. Но поскольку мы здесь находимся, нужно использовать возможности нашего положения. Здесь много равнодушных христиан. Нужно брать их за руку и говорить: ты здесь для того и находишься, чтобы показать, что ты не только по названию христианин, а и на деле. Наш общий друг Шимкунас слишком осторожен в этом вопросе. Мне не по душе такая осторожность.

Шимкунас со своей стороны говорил о Свентонисе, что он искренний человек, но чрезмерно порывист. Его удовлетворяет только программа-максимум. Он ходит ухаживать за тяжелыми больными, делится с неимущими из своих посылок и своих друзей побуждает к тому же. Это все очень хорошо. Но в нашем положении чем меньше наша деятельность бросается в глаза, тем больше мы можем сделать.

Короче говоря, Свентонис и Шимкунас, единоклубные в своей преданности католичеству, являли собой полюсы единоклубия.

Свентонис принес мне латинские тексты, чтобы я совершенствовался в латинском языке и одновременно знакомился с миром

католической религиозности. Со своей стороны он проявлял некоторый интерес к миру религиозности православной. По его желанию, я рассказал ему о священниках на нашем лагерном пункте. Заодно я упомянул и о юридивом. Выслушав меня, Свентонис сказал:

— К сожалению, я мало знаком с лицами, принадлежащими к восточной Церкви. В Больничном городке состав населения очень текуч, а среди постоянного персонала здесь есть только один священник, которого вы знаете и который не отличается особой общительностью. Есть еще один человек, которого называют старцем. Он держит себя с некоторыми странностями, что меня лично не располагает к знакомству с ним, но если вы имеете интерес, я вам его когда-нибудь покажу.

Я сказал, что такой интерес имею, так как подумал — не тот ли это старец, о котором говорил мне о.Иван.

**

Как только я почувствовал себя способным к передвижению на относительно большие расстояния, я отправился к Карсавину. Утомительно подпрыгивая на костылях, я долго шел знакомыми дорожками, которые казались мне теперь значительно менее удобными для ходьбы. То я натыкался на торчащий камень, то попал костылем в выбоину.

Вокруг бараков, как всегда в летние вечера, сидели и бродили больные, вышедшие из своих палат. Когда я проходил мимо какого-то барака, из дверей прямо на меня выбежал человек. Не имея подвижности, чтобы быстро отступить в сторону, я готов был к тому, что он собьет меня с ног, но он успел затормозить, коснувшись меня только руками и говоря: «тихо, тихо», как будто не он меня, а я его собирался сшибить, и мы благополучно разошлись.

Свет вечернего солнца почти не попадал на землю, покрытую длинными тенями, но стоявший на открытом месте барак для туберкулезных был весь освещен неярким и почти не греющим светом.

Я нашел Карсавина лежащим на кровати на спине с закрытыми глазами. Правая его рука лежала поверх одеяла, а левой он обнимал себя за голову, как бы пытаясь ее согреть. Я подошел, постукивая костылями. Карсавин открыл глаза (он не спал) и встретил меня улыбкой и слабым движением руки. Я сел на соседнюю, по-прежнему никем не занятую кровать. Карсавин спросил:

— Как ваша операция?

Я сказал, что все хорошо, и спросил:

— А как ваше самочувствие?

— В последние дни я совсем обессилел, — сказал Карсавин. Говорил он одними губами, не изменяя положения тела и даже без поворота головы. Видя это, я понял, что за время, пока я не приходил сюда, Карсавин резко сдал.

— Может быть, вам трудно говорить? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — говорить я могу.

Говорить он мог. Но разговор сделался невозможным. Он произносил только короткие фразы и после каждой требовался отдых. Я перестал задавать вопросы и сидел, не желая уйти от него, но и боясь утомить его своим присутствием. Карсавин сказал:

— Пока вас не было, говорить было не с кем. Я думал.

Я не стал спрашивать, о чем он думал, но сказал, что ему нужно беречь силы и для этого больше спать.

— Я сплю много, — сказал Карсавин.

Мы недолго помолчали, после чего он сказал:

— Я думал о том, что не случайно я здесь, и вы здесь. Мы все здесь не случайно.

— Конечно, не случайно, — сказал я, хотя не понял, что он при этом имел в виду. Но Карсавин эту мысль дальше не развивал. По-видимому, из того, что он думал, этими словами было сказано главное. Затем он пожаловался:

— Я весь день мерзну. В бараке, наверное, холодно.

Я подтвердил, что в бараке холодновато, хотя на самом деле было, в общем, тепло, и предложил Карсавину покрыть его вторым одеялом со свободной кровати, на которой я сидел.

— Нет, не нужно, — сказал он, — от второго одеяла мне будет тяжело.

— А вы голову обняли рукой, — спросил я, — для того, чтобы голове было теплее?

— Нет, — сказал он, — просто мне так удобно.

Опасаясь, что я утомляю его, я спросил, не лучше ли мне уйти.

— Не уходите, — сказал он.

Так, уже без разговоров, я посидел возле него до тех пор, пока в окнах исчез отблеск солнца. Тогда я пожелал Карсавину хорошего сна и, водрузив себя на костыли, не спеша отправился в свое отделение.

На другой день я нашел Карсавина лежащим в белом плотном шерстяном свитере. Одеялом он был прикрыт только до пояса. Свитер облегал его тело туго, как перчатка, высокий воротник в два слоя обхватывал шею.

— Какой на вас прекрасный свитер, — сказал я, — вы выглядите, как спортсмен. Вам больше не холодно?

— В свитере мне тепло, — сказал Карсавин.

Однако через некоторое время он сказал:

— Мне в свитере неудобно и жарко. Он мне дышать не дает.

— Тогда, может быть, — сказал я, — лучше его снять?

— Да, я хочу, чтобы его с меня сняли, — сказал Карсавин, — позовите, пожалуйста, санитар, чтобы он снял с меня свитер.

Мне показалось излишним звать санитар, снять с Карсавина свитер мог бы я сам. Но Карсавин этого не захотел.

— Вам неудобно, — сказал он, — вы на костылях. Пусть снимет санитар, он где-то здесь в палате.

Я не стал настаивать, пусть будет, как он хочет. Оглядев барак, в дальнем конце я увидел человека в сером халате. Он ленивой походкой шел в нашу сторону. Я окликнул его и сказал, что Карсавин просит снять свитер, который на нем, от свитера ему жарко и трудно дышать. Санитар подошел, помог Карсавину сесть и взялся снимать свитер. Оказалось, что это не так легко. Плотная тугая ткань как приросла к телу. Санитар стягивал свитер с усилием и делал это так грубо, что я едва терпел, сдерживая себя, чтобы не вмешаться.

Когда свитер, наконец, был снят, Карсавин дышал неровно и затрудненно. Меня испугало выражение его глаз. Он как бы прислушивался к тому, как внутри него что-то рвется, как расторгаются связи, которыми в теле удерживается жизнь. Сидя в кровати, он словно не смел шевельнуться, словно сама жизнь его зависела от того, удержит ли он тело в положении, в котором была хоть какая-то устойчивость.

Бросив костыли, я подскочил к нему, обнял, помог ему лечь.

Прошло минут двадцать. Карсавин открыл глаза и тихо, с сожалением сказал:

— А ведь я надеялся погулять с вами по Ленинграду.

Больше в этот вечер он ничего не говорил.

Вечером того же дня Шимкунас, придя ко мне, сказал:

— Священник до сих пор не приходил к Карсавину. Может быть, ему нужно напомнить? Время не ждет.

Я удивился тому, что священник не приходил. Спросить у самого Карсавина, был ли у него о.Петр, мне и в голову не приходило. Но я понимал, что время, на самом деле, не ждет.

— Странно, — сказал я, — почему о.Петр до сих пор не приходил. Он обещал. Не может быть, чтобы он забыл. Наверное, он думает, что еще есть время. Я схожу к нему еще раз, скажу, что откладывать дальше нельзя.

После разговора с Шимкунасом я вторично пошел к о.Петру. Теперь я обходился уже только одним костылем, но передвигался пока еще довольно медленно. Миновав проходы между бараками, я добрался, наконец, до каптерки. Найдя дверь в темном коридорчике, я постучался и вошел в комнату, где все выглядело, как в первый раз. О.Петр сидел в прежней позе боком ко мне за столом. Теперь он уже не предполагал во мне просителя по части обмундирования. Он глядел на меня как на знакомого и, мне показалось, несколько виновато. Показав глазами на мой костыль, он сказал:

— Вас, как вижу, можно поздравить с благополучным исходом операции.

Я подтвердил, что так оно и было, если не считать неудачного укола новокаином в позвоночник, и сказал, что, сделавшись способным ходить, я пришел напомнить ему о моей просьбе.

— Я помню, — сказал протоиерей, — и догадываюсь, что вы пришли меня поторопить. Что, дело так плохо?

Я сказал, что, к сожалению, плохо. Сегодня Карсавин едва не умер, когда санитар снимал с него тугой свитер. Протоиерей слушал меня с сочувственным выражением лица.

— Я думал, еще можно подождать, — сказал он, — но если Карсавину так плохо, откладывать, конечно, больше нельзя.

— Можно сказать Карсавину, что вы придете? — спросил я.

— Да, я приду, — сказал о.Петр, — завтра. Или, самое позднее, через день. Если я приду через день, как вы думаете, это не будет слишком поздно?

— Будем надеяться, что нет, — сказал я.

— Будьте спокойны, обязательно приду, — повторил о.Петр, прощаясь со мной. Я поблагодарил его за обещание и ушел.

Трудно разобраться в мотивах поведения человека. Бывают в поведении людей провалы и загадки, которым не находится объяснений. Так и в истории с о.Петром. Он не пришел — ни завтра, ни через день. Этот человек вообще не пришел, хотя обещал прийти, хотя знал, что его ждут и что придти было его долгом.

**

Свентонис рассказал мне, что знал о старце Больничного городка. Этот старец выказывал себя в странностях более или менее заурядных, соответствующих бытующему образу юродства. Как мне уже рассказывал о.Иван, зимой этот человек ходил босиком и без шапки, а летом в овчинном тулупе, вывернутом зачем-то мехом наружу. Юродствующий старец держался ото всех

обособленно, но у него всегда находились поклонники, привлеченные окружающей его атмосферой загадочности.

Однажды мне издали показали его. В солнечный день на широкой лагерной улице в значительном от меня отдалении я увидел черную глыбу, мелкими шажками плывущую, дымя пылью, по дороге. Сбоку кто-то, быстро скользнув, приблизился в почтительном изгибе, и глыба остановилась, наклоном головы обозначив связь с подошедшим. Вглядываясь, я думал о том, что нарочитые чудачества юродства, может статься, не прихоть, не фарс, а специфическое выражение религиозности. И, может статься, под всем этим накрутом, который казался толще, чем кожа бегемота, притаилась нежнейшая христианская сущность, цветок благоуханный, ради которого, чтобы его сохранить, и нужна была эта бегемотья непробиваемая толщина. Я стоял и сомневался. Одно было ясно — под вывернутой шубой обитала прочность, которой недоставало просвещенному протосвященству о.Петра. Меня почти магической силой потянуло к этой глыбе, брэнчавшей, как говорил о.Иван, самодельными крестами.

Но между нами тотчас обнаружилась преграда, невидимая, но достаточная, чтобы нейтрализовать силы притяжения. Такой преградой было здравомыслие религиозности. Собравшись уже приблизиться к юродствующему, я повернулся к нему спиной и ушел, не имея более интереса к нему даже настолько, чтобы хоть раз оглянуться.

Когда позднее на вопрос о.Ивана, видел ли я старца Больничного городка, я сказал, что видел, в его глазах блеснул интерес и ожидание. Узнав, однако, что было дальше, он разочарованно сказал:

— Ты не подошел просто потому, что тебе не достало смирения.

Тогда я почти поверил этому объяснению и даже испытал некоторое раскаяние. Теперь я думаю, что слова о.Ивана о смирении были в какой-то мере условным оборотом речи, означавшим осуждение за то, что мне не достало любопытства. Не в смирении там было дело. Смирение означает не правила поведения, а отношение к смерти.

Шимкунас, встречаясь со мной в последующие дни, сам о священнике не заговаривал, но каждый раз смотрел на меня с вопросом во взгляде. Наконец, я сказал ему:

— Этот протоиерей, заведующий складом обмундирования, по-видимому, не хочет приходить. Других православных священников здесь нет. Есть, правда, некий старец, который больше

похож на шамана, чем на духовное лицо. Не его же приглашать к Карсавину. Может быть, следует попросить католического священника?

— Наш ксендз придет по первому слову, — сказал Шимкунас, — но мне самому было неудобно предложить вам это. И неизвестно, согласится ли Карсавин.

— Попробую его уговорить, — сказал я.

Карсавину я сказал, что несколько дней назад ходил еще раз к о.Петру, который обещал прийти, но почему-то не пришел. Может быть, он дал обязательство не выступать в роли священника, но признаться мне в этом постеснялся. Может быть, ему что-то другое мешает прийти. Так или иначе, ждать его нечего.

Карсавин выслушал меня, спокойно глядя в потолок. О.Петр не приходит? Пусть не приходит. На то он и Петр. В таких обстоятельствах церковный закон вообще разрешает обойтись без священника. Любой православный в отношении к умирающему может взять эту обязанность на себя.

Обстоятельства сложились так, что любимым православным мог быть не кто иной, как только я. Но я не сознавал себя готовым к этой роли и даже не знал толком, как это делается. Поэтому я сказал:

— Пусть уж лучше, чтобы это был хоть католический, но священник.

— Хорошо, — сказал Карсавин, — пусть будет, как решите вы и Шимкунас.

Точка зрения Шимкунаса была ясна. Что же касается меня, я не был свободен от колебаний в этом вопросе. Мое отношение к нему отчасти было подсказано оглядкой на мнение тех людей, религиозная шепетильность которых приписывала вес обрядовой стороне дела. Как раз поэтому обращение к католическому ксендзу, несмотря на каноническую правомерность, имело в себе нечто, смущавшее меня.

Обоснованность моих тогдашних сомнений нашла подтверждение в том, что позднее на Западе появилось ошибочное сообщение, будто бы Карсавин перед смертью перешел в католичество. Не думаю, чтобы здесь имела место сознательная ложь. Просто у католиков встречается конфессиональная восторженность и легкое верие в свою пользу. Сообщение о том, что Карсавин принял последнее таинство от католического священника, в устной передаче подверглось трансформации вплоть до ошибочного, но сенсационного известия о переходе в католичество. Предположить со стороны Карсавина такой шаг могли только люди, не имевшие никакого представления о нем.

Итак, не Карсавин, а я определил выбор священника. В каком-то автономном от ума и смутном слое сознания я допускал, что формула слов, произносимая поставленным от Церкви лицом, имеет сокровенную силу и может оказать Карсавину помощь, которую сам я сознавал себя не в состоянии оказать ему.

Когда я пришел на другой день, Карсавин сказал мне бодрым голосом:

— Ко мне приходил ксендз, литовец. Я исповедался ему на литовском языке. Видите, как Бог через вас придумал устроить.

Помимо успокоенности от совершения таинства, ему, как мне показалось, было занято, что исповедаться пришлось не по-русски, а совсем необычно — на литовском языке.

Карсавин лежал навзничь, руки поверх одеяла. В разрезе незастегнутой рубашки я увидел, что на его груди лежали два креста, один — мой, свинцовый, а второй — черный, блестящий миниатюрным распятием. Я удивился и спросил:

— Зачем на вас два креста?

Он посмотрел на меня чуть виновато.

— Это Свентонис, — сказал он, — приходил после исповеди. Поздравлял и захотел подарить мне крест. Я не возражал, чтобы его не огорчить. Пусть будут два.

Сказав столько слов, Карсавин устал. Он закрыл глаза и некоторое время лежал молча и без движения. А я сидел на соседней кровати и смотрел на него. Что ж, пусть на нем будут два креста. В этом был даже как бы символический оттенок. В отношении Карсавина Восток и Запад как бы готовы были снять свои разногласия. И сам он, хотя и находил удовольствие подшучивать в отношении апостола Петра, никогда не обнаруживал распространную среди православных нетерпимость к католикам.

И все же, в теновом слое сознания осталось что-то, неясным предчувствием тревожившее меня. Впрочем, тревожат нас, чаще всего, вещи второстепенные. Несомненное значение последовательности событий лишь то, что каждое — это удар метронома, отсчитывающего приближение сроков. Таково было, по меньшей мере, и значение событий следующего дня.

**

На следующий день Карсавину стало хуже. Он встретил меня без слов, только обессиленным взглядом глаз, в темной теплоте которых отразилось приветствие. Лежал он все так же навзничь и по новой своей привычке левой рукой обнимал себе голову. Другая рука лежала поверх одеяла вдоль тела.

Я сел на соседнюю кровать и, наклонясь к нему, держал его за руку. Он лежал, закрыв глаза. Так в молчании прошло некоторое время. Потом он открыл глаза, посмотрел на меня и, поняв мои чувства, сказал:

— Не огорчайтесь вы так. Мое время измеряется еще неделями.

На самом деле его время измерялось днями.

Так я сидел возле него, видя только темный угол, в котором на кровати на мятой простыне лежал обессиленный умирающий Карсавин. Все мое сознание стянулось в пределы этого угла. Здесь был свет, который медленно или, напротив, слишком быстро обволакивался тьмой.

Вдруг, словно позади что-то произошло, я спиной ощутил уходящий объем помещения и тотчас услышал голос, который говорил громко, на весь барак. Говорили обо мне, но я понял это не сразу, настолько неправдоподобным было то, что я услышал. Это было непредвидимое нападение, заставшее меня врасплох.

— Эта шлюха, — говорил голос, — таскается к старому дохляку, чтобы его обобрать. Подбирается, тварь, к наследству. Но ничего шлюха не получит, будет ей в наследство один туберкулез.

Я мельком посмотрел через плечо. Говорил сидевший на дальней кровати бледный человек, один из тех, кто в смертной своей тоске ожидал своего часа, когда его поместят на койку в фанерной кабине.

Карсавин опять приоткрыл глаза и, пересиливая слабость, едва слышно спросил:

— Вас обижают?

— Пустяки, — сказал я, — от безделья мало ли что говорят.

Рука Карсавина в моей руке отозвалась еле ощутимым движением.

Еще недавно я хотел вникнуть в существующие здесь отношения. Теперь все проявилось само собой. Их сутью была обнаженная злобность. В этой ситуации ничего невозможно было сделать. Оставалось только терпеть. Некоторое время я оставался на своем месте, надеясь, что дикая эскапада исчерпала себя и больше ничего не последует. Но когда я собрался уходить, я почувствовал, что рядом кто-то стоит.

Повернув голову, я увидел толстого человека в белом халате. Румяное круглое лицо, бесцветный взгляд, седой бобр на голове — это был Харон, врач туберкулезного изолятора. Я видел его в первый раз. Он стоял фундаментально, как хозяин положения, но вместе с тем чего-то ему не хватало, не было в нем силы человека, уверенного в себе.

— Когда будете уходить, — сказал он, — зайдите, пожалуйста, в мою комнату.

Он показал рукой на перегородку, не спеша повернулся и грузными шагами ушел к себе. Карсавин смотрел в его сторону напряженным и тревожным взглядом.

Я же, получив приглашение, не стал торопиться с уходом. Не допуская, чтобы малейшая тень озабоченности отразилась на моем лице, я успокоительно улыбнулся Карсавину. Я понимал, что мне предстоит разговор, к которому я не был готов, но был спокоен. Посидев так с полчаса, я сказал Карсавину, что скоро вернусь, взял для устойчивости свой костыль и, подойдя к комнате врача, постучал в дверь, из-за которой отозвались — «войдите».

В узкой комнатке за столом у окна боком ко мне сидел врач — Харон. В комнате он был не один. Справа от входа на деревянном больничном топчане сидел бледный смертник. Как он пришел сюда? Пока я сидел подле Карсавина, я этого не заметил, хотя пройти сюда было возможно только мимо меня.

Боковым взглядом я бегло рассмотрел его. Сидел он прямо, почти скелет, впалые щеки под выпирающим подглазьем. Он разглядывал меня большими лучистыми недобрыми глазами, будто ожидал получить развлечение. Этот лучистый недобрый взгляд был чем-то знаком мне, но память ничего не подсказала мне на этот счет.

Сесть мне не предложили, хотя я стоял, опираясь на костыль. Харон казенным голосом стал задавать мне вопросы. Он спрашивал, не родственник ли мне Карсавин, не является ли он моим знакомым с воли, откуда тогда я с ним знаком и зачем сюда хожу. После моих ответов Харон сказал с подчеркнутой весомостью в голосе:

— Для того чтобы посещать вашего знакомого в туберкулезном отделении, вам следовало обратиться ко мне за разрешением. Я — врач этого отделения и я за него отвечаю.

Я признал, что мне, действительно, следовало это сделать. Не обратиться к нему за разрешением было ошибкой, о которой я сожалею и прошу меня извинить. Но теперь, пользуясь благоприятным случаем, я прошу разрешить мне навещать Карсавина.

— Я этого разрешить не могу, — сказал Харон, — Карсавин в тяжелом состоянии. Всякие разговоры ему противопоказаны.

Я сказал, что хорошо это понимаю и хочу быть возле него именно потому, что он в тяжелом состоянии, потому, если говорить напрямик, что ему осталось недолго жить. Я мог бы облегчить оставшиеся ему дни, мог бы ухаживать за ним.

— За ним есть кому ухаживать, — сказал Харон, увидев для себя опору в моих словах, — в нашем отделении больные получают необходимый уход. Для этого есть санитары.

Я видел, каков этот уход, когда санитар снимал с Карсавина свитер, но говорить об этом не стал.

— Согласитесь, доктор, — сказал я, — что свой человек не то же, что санитар, у которого на руках много больных и, кроме того, много других дел. Санитар, наверное, не обидится и не будет возражать, если заботу об одном из больных хоть отчасти возьмет на себя его знакомый.

Харон молчал. То ли он был поколеблен моими доводами, то ли просто исчерпались его возражения.

Тогда заговорил бледный смертник:

— Не верьте ему, доктор, — сказал он с той же обиженной злобностью, — этого подонка я давно знаю. Он только и смотрит, кого бы обокрасть. Он умеет подкатываться к людям. Уважаемый поэт Галкин ради него готов был забыть своих настоящих друзей.

Вот откуда мне был знаком этот недобрый лучистый взгляд. Это было, когда, придя к Галкину, я застал его окруженным собеседниками. Извинившись, он отпустил их ради разговора со мной. Некоторые из расходившихся смотрели в мою сторону. Именно тогда я ощутил на себе этот взгляд, и человек, которому он принадлежал, теперь был передо мной.

Между тем бледный смертник продолжал говорить:

— Гоните его вон, велите санитару вышвырнуть его, чтобы он и дорогу забыл сюда, чтобы ради своей подлой корысти не разносил туберкулез по всему лагерю.

Вся эта брань, неправдоподобная своей бессмысленной злобностью, в тот момент как-то мало задевала меня. Слова этого человека были накипаю опустошенного страхом смерти ума. Но последней его фразой мне был нанесен реальный удар, который не оставлял места надежде на благоприятный исход разговора. В туберкулезный изолятор ходить нельзя... Тот, кто ходит сюда, разносит туберкулез по всему лагерю.

Врач приосанился. Он от начала и до конца был корректен, хотя, возможно, и держал в памяти возмущенный возглас Карсавина: «Меня лечит коновал». В голосе коновала-Харона теперь звучала твердость последнего слова.

— Разрешить вам дальнейшие посещения я не могу, — сказал он, — и прошу вас прекратить ваши посещения.

Бледный смертник имел победный вид.

Позиция просителя была мною проиграна, оставалось перейти в наступление.

— Доктор, — спросил я, — кто этот человек (я показал на бледного смертника). Кто он — ваш помощник или ваш советчик? Почему тогда он изъясняется, как законченный хирург? Если же он никто, почему вы разрешаете ему вмешиваться в наш разговор? Неужели таковы порядки в вашем отделении? Поймите, уважаемый, я не новичок. Я никоим образом не откажусь видеться с Карсавиным, пока он жив.

— Поймите и вы меня, — сказал Харон, но уже безо всякой твердости в голосе, — поймите и вы, надо мной есть начальство. Меня не похвалят, если в изолятор с моего разрешения будут ходить посторонние. Я не могу разрешить. Поймите, я не разрешаю.

Когда он это сказал, меня осенила мысль, что Харон трус и боялся для себя угрозы с двух сторон. Он боялся дать мне разрешение, но побоится и активно воспрепятствовать мне.

— Хорошо, доктор, я вас понял, — сказал я и повернулся к выходу.

— Что они от вас хотят? — спросил Карсавин.

— Все в порядке, — сказал я (кажется, мне удалось сказать это веселым голосом), — просто ваш ветеринар обиделся, что я не попросил у него разрешения навещать вас. Мне пришлось извиниться. Ждите меня завтра, как всегда.

Мне нужно было немедленно посоветоваться с Шимкунасом. Как бы то ни было, положение выглядело двусмысленным. До сих пор Харон не мешал мне видеться с Карсавиным. Возможно, он и сейчас лишь хотел застраховать себя в глазах свидетеля, которым явился бледный смертник, для меня же оставлялась прежняя возможность приходить. Для свидетеля говорилось: я не разрешаю. А для меня: как ты обходилась без разрешения, так и дальше обходишься. Но могло быть и так, что он в самом деле попытается перекрыть мне доступ к Карсавину. Причины могли быть какие угодно — амбиция, зависть, антипатия. Средства, чтобы настоять на своем, он, конечно, найдет. От этой мысли я возмутился. Сперва я стал мысленно браниться. Меня затопило неистовое чувство. Когда же волна гнева израсходовала себя, мое возбуждение приняло другую форму. Я стал изобретать проекты, которые должны были обеспечить выход из создавшегося положения. «Если мне запретят ходить в туберкулезный изолятор, — думал я, — я предложу себя туда в качестве санитаря. Вероятно, не так уж много желающих работать там санитарями. Наконец, Шимкунас может оказать мне протекцию. Завтра же, нет, сегодня же нужно взяться за реализацию этой идеи».

Разговор с Шимкунасом значительно умерил мое возбуждение. К моему рассказу о разговоре с врачом туберкулезного

изолятора (о бледном смертнике я умолчал) Шимкунас отнесся вполне спокойно.

— Этот человек, — сказал он, — по-своему прав. Он дорожит местом, т.к. знает, что ни на что другое здесь не годен. А в туберкулезный изолятор, на самом деле, посторонним ходить не разрешается. Но вы не беспокойтесь, для вас будет сделано исключение.

Мое предположение, что все сказанное Хароном говорилось с целью застраховать себя в глазах начальства, Шимкунас признал вполне вероятным. Идею же добиваться места санитаря в изоляторе он категорически отверг.

— Там не просто тяжелые больные, — сказал он, — там безнадежные. Каждый день там кто-нибудь умирает, а остальные ожидают своей очереди. Некоторые, не имея надежды на спасение, опускаются и физически и морально, держат себя отвратительно, капризничают, оскорбляют персонал. Что с них взять? Там — клоака. Чтобы работать там, нужно иметь очень крепкие нервы или быть бесчувственным человеком. Нельзя не сожалеть, что Карсавин находится в таком месте, но этого не изменишь. Идти туда санитаром вам совсем не нужно. Карсавину вы этим не поможете, а, вероятно, даже навредите. Будучи санитаром, вы неизбежно проявите к нему больше внимания, чем к другим. Это вызовет с их стороны ревность, и никто не знает, в какие она может вылиться крайние формы.

Итак, нынешняя сцена в бараке была ничем иным, как формой ревности, и, возможно, даже не крайней.

И столь велика сила трезвых объяснений, что я, не задумываясь, принял точку зрения Шимкунаса, согласился с ним и тотчас почувствовал облегчение, как если бы опытный врач положил мне на нужное место смягчающую припарку. Прощаясь со мной, Шимкунас сказал:

— Не подавайтесь эмоциям. Ходите к Карсавину, как ходили. Если вас попытаются не пустить, скажите, что есть разрешение начальника больницы. Это всесильный аргумент. Сошлитесь на меня, скажите, что это я получил для вас разрешение. А я, если меня спросят, найду, что ответить.

**

Вернувшись в палату, я сел на кровать и, подперев щеку рукой, непроизвольно продолжал думать о вторгшихся в жизнь осложнениях. Во мне в образах и в словах как бы разыгрывалась по ходу действия сочинявшаяся сама по себе пьеса. Так я сидел и переживал, когда в палату вошел Луи. Гибко скользнув между кроватями, он окликнул меня по имени.

— Что вы сидите! Вам посылка. Берите костыль и скорее идите за мной.

Это известие вызвало перелом в моем настроении.

В лагере посылка из дому — праздник, хотя обычно и омрачаемый процедурой выдачи в присутствии надзирателя. Однако в Центральной больнице это делалось проще — посылки разносились по отделениям, так как не все могли ходить. Выдачей посылок ведал завхоз.

— Пойдемте вместе, — сказал я Луи, — у меня одна рука занята костылем. Было бы хорошо, если бы вы мне помогли.

Он не возражал, и мы пошли вдвоем.

Местом выдачи посылок служила маленькая кладовая, где хранились вещи больных и где старик завхоз, выполнявший также столярные работы, держал нужные для этого материалы. Воздух в кладовой был насыщен запахом старого смолистого дерева.

Завхоз, который был неприветливым человеком, стал ворчать на нас, говоря, что уже поздно и выдача посылок на сегодня закончена. Луи, однако, имел дар обхождения с людьми и вскоре мы вернулись в палату, держа за углы мешок, куда было пересыпано содержимое посылки. Кроме предметов первой необходимости, там были конфеты, домашнее печенье, баночка клубничного варенья и лимон. Раздав часть этих лакомств, как в лагере принято, своим соседям по палате, я предложил Луи угоститься чаем с лимоном.

Устроившись по обе стороны тумбочки каждый на своей кровати, мы, не имея ножа, пилили лимон ниткой. Луи держал его, а я, натянув нитку руками, водил ею поперек лимона, который брызгался соком и источал сводивший рот цитрусовый аромат.

Луи, взгляд которого скрывался за золотыми кольцами очков, сидел согнувшись над кружкой с чаем и ворожил над печеньем, увеличивая его количество тем, что разламывал каждое на части.

— Я бы на вашем месте не был столь щедр, — говорил он, — зачем раздавать свое добро неизвестно кому? Я, как вам известно, эгоист и полагаю, что всякий разумный человек должен быть эгоистом. Впрочем, согласно этой теории получается, что ваша щедрость — тоже род эгоизма.

На следующий день, собираясь к Карсавину, я взял для него немного печенья из посылки, хотел взять также баночку с клубничным вареньем, но подумал: «Не буду относить все варенье, а разделю, часть ему, а часть оставлю себе». Однако посуды для такого раздела я не имел и решил сделать это в следующий раз,

для чего нужно было попросить у Шимкунаса какую-нибудь стеклянную банку.

Когда в обычное время я шел к бараку для туберкулезных, в памяти с новой силой ожили вчерашние события и воображение заново стало пугать предчувствием каких-либо враждебных против меня действий. Я опасался, что дюжий санитар встретит меня на пороге словами «сюда нельзя» и даже слушать не станет, будто у меня есть разрешение. Но опасения мои были напрасны, а предчувствия оказались пустой мнительностью. Барак стоял, как ему полагалось, на своем месте и странным образом радовал прочной несомненностью своего, хотя и унылого, существования. Когда я переступал порог, никто и не пытался меня не пускать. Все было как всегда — и обычная тишина, и отсутствие движения, и полусумрак, тенью лежавший на лице этого места. Харон пребывал в невидимости и повредившийся в разуме смертник ничем не выдавал себя, затерянный среди лежавших на кроватях тел.

Карсавин лежал с открытыми глазами. Он ждал меня, сразу увидел и на лице его появилась улыбка. Я был и обрадован и удивлен тем, что Карсавин выглядел сегодня заметно бодрее, чем вчера. Когда я сел возле него, он сказал:

— Откройте тумбочку. Там внизу картонная папка. Возьмите ее.

Я сделал как он сказал. В тумбочке на нижней полке, действительно, лежала папка, которую я уже как-то видел у Карсавина. Когда я ее взял, оказалось, что это — скорее самодельная сумка из картона, лист которого, согнутый вдвое, был с двух краев обшит черными нитками. Картонные стенки распирало, папка была чем-то плотно наполнена.

— Там рукописи, — сказал Карсавин, — но не все. Другие хранятся у надежного человека. Вам надо найти его и сказать, от моего имени, чтобы он все отдал вам. Так мы с ним условились.

Карсавин назвал имя этого человека и сказал, где его найти.

Таким образом, без пафоса, без сентиментальных слов, как-то по-деловому просто свершился акт введения в права наследования. Неожиданно для себя я уже держал в руках часть этого наследства, ощущая внутреннюю значительность момента и уже озабоченный тем, как все это сберечь.

А Карсавин лежал, удовлетворенный сделанным делом. Истощив себя усилиями речи, он больше не говорил и прикрыл глаза. Я дал ему помолчать, а потом, желая хоть чем-нибудь помочь ему, спросил:

— Не больно ли вам всегда лежать на спине? Я мог бы пере-
ложить вас на бок, чтобы спина отдохнула. Хотите, я это сделаю?

Обычно Карсавин не сразу соглашался принять какие-либо
услуги. На этот раз он просто сказал:

— Хочу. Поверните меня на бок.

Он очень исхудал, но все же имел достаточный вес. Я пере-
кладывал его как мог бережно. Если ему при этом и было больно,
он терпел. В последние дни он вообще все терпел. Ни разу и ни
по какому поводу не показал неудовольствия, ни разу и никому не
сказал о своих страданиях, хотя болезнь, должно быть, мучила
его жестоко. Когда я положил его на левый бок в слегка согнутом
для устойчивости положении тела, он с виду сделался как бы мень-
ше, лежал по-детски тихо, подложив руку под щеку.

Отдохнув, он заговорил — негромко и как бы для самого себя.

— Я был готов к тому, что мне здесь будет плохо. Но Бог дал
мне умереть среди близких и родных.

Затем, опять недолго помолчав, он сказал:

— Всю жизнь я ходил около истины. А теперь все так просто.

Что именно просто, он не сказал. А я, хотя вслушивался в
его слова как мог внимательнее и хотя не понял, что для него
стало просто, не спросил об этом, так как каждое сказанное им
слово истощало его силы, которые нужно было беречь. По сравне-
нию с предыдущими днями он выглядел чуточку лучше, и я наде-
ялся, что неизбежная разлука еще не у порога.

На самом деле я обманывал себя призраком надежды. Види-
мое улучшение состояния Карсавина было предсмертным. И си-
лы, чтобы говорить, он нашел в себе, чтобы сказать слова, кото-
рые были прощальными.

**

Утром следующего дня, пока мои соседи по палате спали,
хотя лагерный день уже начался, я расположился на кровати с
картонной папкой, которую дал мне Карсавин, и вынул из нее все,
что ее наполняло.

Там были рукопись «Об апогее», около ста листов толщиной,
и рукописи двух редакций «О Молитве Господней». На обороте ру-
кописи первой редакции я увидел надпись: «Fuga divina». Еще
там был лист тетрадной бумаги в клеточку с плотным текстом,
написанным чернилами. Это был тот самый лист, о котором Кар-
савин сказал: «Это не к спеху», а я тогда подумал, что это пись-
мо. Вместе с бумагами в папке оказалось несколько мелких пред-
метов: старый кожаный бумажник, гребень из желтой пластмас-
сы, поврежденный зубной протез и знакомый мне деревянный

мундштук, из которого Карсавин курил свои самодельные сигареты, когда находился на нашем лагерном пункте.

Впоследствии большая часть рукописи «Об апогее» была утрачена, от нее уцелело лишь около десятка листов. До сих пор не могу понять, как случилось, что эта рукопись была изъята у меня при обыске на вахте, когда меня переводили из Центральной больницы обратно на прежний лагерный пункт. Обыск был самым поверхностным. Когда я раскрыл чемодан, надзиратель, увидев толстую пачку листов и тетрадей, счел себя обязанным что-нибудь отобрать. Ему было все равно, что именно. Самый факт изъятия в глазах вышестоящих служил достаточным показателем надзирательского усердия. Точно так же лагерный цензор вымарывает в письмах безобидные строки, лишь бы письмо, прошедшее цензуру, имело на себе обильные следы цензурской работы.

Надзиратель, чтобы не утруждать себя разбором моих бумаг, предложил мне самому разделить их на две стопки, одна из которых предназначалась для изъятия, а другая оставлялась мне. Рукописи Карсавина я сложил, понятно, во вторую стопку, которая была оставлена мне. Но, когда пройдя процедуру перевода с одного лагерного пункта на другой, я сделал смотр своему имуществу, оказалось, что все рукописи на месте, кроме рукописи «Об апогее», от которой среди прочих бумаг нашлось только несколько листов. В непостижимом затмении ума я собственными руками отдал эту рукопись и ее выбросили в мусор или сожгли вместе с прочими трофеями. В том же обыске я лишился письма, присланного мне Карсавиным через посредство молодого литовца. Сложенный вчетверо листок, побывавший под стелькой в башмаке письмоносца, своей обмятостью и потертостью показался надзирателю подозрительным. Мои просьбы не помогли. «Вижу, что это письмо, — сказал надзиратель, — и как раз поэтому изымаю. На нем нет пометок цензуры».

Вернусь, однако, к утру того дня, когда, расположившись на кровати с картонной папкой Карсавина, я выложил перед собой ее содержимое. Это было мое наследство. Но едва это слово вошло в сознание, как память переместила меня на два дня назад, когда голос, говоривший мне в спину, сказал: «подбирается тварь к наследству». Не странно ли, что в этом злобном вранье, тем не менее, была какая-то правда. Или без правды не может быть и лжи, которая лишь искажает ее до неузнаваемости.

Как бы то ни было, наследство лежало передо мной и, пока соседи спали, я имел время внимательно рассмотреть его.

Рукописи «Об апогее» и «О Молитве Господней» Карсавин ранее уже давал читать мне. Поэтому прежде всего я взял клетчатый тетрадный лист с плотным написанным чернилами текстом, и увидел, что это вовсе не письмо, а «Венок сонетов» и стихотворение «Вам Бог сказал...». Все это, при обычном написании занимающее 17 листов, было вписано ювелирными буквами и сплошными, не разделенными на стихи строками в один развернутый тетрадный лист. Такой способ написания указывал, что эти вещи Карсавин переписывал не ради доработки, а для большей сохранности, чтобы именно они вернее уцелели среди обысков, роковым образом уносивших написанное. Этим он сам отметил, что более всего ценил из своих лагерных работ.

Вглядываясь в эту, последнюю, рукопись Карсавина, я заметил еще нечто, чего не встречал в других рукописях. Текст был написан в правилах новой орфографии, в чем, собственно говоря, ничего особенного не было. Работая над той или иной рукописью, Карсавин в разных случаях придерживался разных способов написания, но всегда с безукоризненной аккуратностью соблюдая выбранную орфографию. В последней же рукописи единый орфографический строй был прорван, нет, он распался и вообще переставал существовать. Буквы «ять», «и с точкой», «ерь» и другие, которым в заданном способе написания было запрещено появляться, тем не менее, вторгались в слова, сперва одиночками, потом россыпями, создавая смешение старого и нового написаний.

Сквозь строки, орфографический строй которых подвергся разрушению, на меня глядело разрушение, которое хозяйничало в теле Карсавина и которое подтачивало — не мысль еще, но дисциплину ума.

Под этим впечатлением, сложив содержимое папки обратно, я достал Канон на исход души, который переписал из книжки о.Ивана. Читая этот Канон, я ощущал его мрачноватую выразительность, но, дочитав примерно до половины, отложил его. Мне показалось, что своим чтением я как бы подталкивал Карсавина к смерти.

Палата между тем просыпалась. Виктор Луи, опустив ноги с кровати, смотрел близорукими и не вполне еще проснувшимися глазами. Потом надел очки и сразу приобрел свой обычный интеллигентный вид. В ожидании завтрака все стали разговаривать. Так, в ленивых разговорах прошло что-то около получаса. Дверь в палату приоткрылась. Мы думали, что это санитар несет завтрак. Но это был не санитар. В дверь заглянул Шимкунас, я понял, что ему нужно что-то мне сказать, и пошел к выходу.

Пока я шел, я припоминал, что сам собирался попросить Шимкунаса о чем-то, но о чем — никак не вспоминалось.

Когда я вышел, Шимкунас сказал:

— Тридцать минут назад скончался Карсавин.

Вот как. Значит, Карсавин скончался. Как ни был я внутренне подготовлен к этому, все равно это было неожиданностью. Я спросил: мучился ли он? Шимкунас ответил, что, наверное, да, так как он до конца был в ясном сознании. Имени умершего мы называть избегали, называя его местоимением третьего лица. Я спросил:

— В фанерную кабину его перекладывали?

— Нет, — сказал Шимкунас, — незачем было перекладывать, близости от него соседей не было.

— А где он теперь? — спросил я.

— В морге. Я пришел проводить вас туда, — сказал Шимкунас, — пойдите, попрощайтесь.

**

В морге был светлый день. Но солнечный свет не проникал сюда, окна были завешены белой тканью.

На невысоком деревянном топчане лежал Карсавин. Лежал прямой, во весь рост, руки вдоль тела. В лице его уже не было припухлости, раздвоение бороды почти исчезло, она сделалась прежней.

Подойдя, я взял его руку. Его рука сохраняла еще податливую мягкость и теплоту. Так я стоял, держа его за руку. Я глядел в его лицо. Линии рта и бровей были мучительно напряжены. Это был врезанный в черты лица след страдания. Но сквозь этот жестокий след, не стирая и не ослабляя его, проступало выражение ясной успокоенности, как будто конец для него не был погружением или провалом во тьму, а был — концом тьмы.

Я долго смотрел на него и слезы текли у меня по лицу. Пока я так стоял и смотрел, пришел Шимкунас, постоял рядом и громко сказал:

— Я попросил, чтобы вам не мешали. Но уже пора.

Когда я отпустил руку Карсавина, на ней остались вмятины — следы моих пальцев.

В свою палату я пришел, когда завтрак подходил к концу. Луи, делавший все быстрее, уже съел свой завтрак и прилег, приготовившись подремать до врачебного обхода.

Подойдя к своему месту, я сказал Луи:

— Сегодня утром умер Карсавин.

Луи приподнялся в кровати, привычным движением надел очки и только после этого сказал:

— Умер, говорите? Жаль старика. Я был с ним немножко знаком. Последнее время, я слышал, он был совсем плох. Но возраст у него был почтенный, неизвестно, удастся ли нам дожить до такого. Что ж, в жизни, особенно нашей, каждая встреча рано или поздно заканчивается разлукой. Вас, я понимаю, его смерть огорчает, вы постоянно общались с ним. Из сочувствия к вам советую — не забудьте съесть свой завтрак. Сделайте это не откладывая, а то каша совсем остынет.

На тумбочке для меня стоял завтрак: тарелка с овсяной кашей, хлеб с кусочком масла и дневная порция сахарного песка, насыпанного на листок бумаги.

Сознание разлуки с Карсавиным переживалось мною тяжело и притупило аппетит. Но в лагере выдаваемый паек съедается, невзирая ни на какие переживания. Я последовал совету Луи, съел кашу, которая уже вполне остыла, и хлеб с маслом. Сахарный же песок, я увидел, был насыпан на листок из Канона, который я, уходя, нечаянно оставил на тумбочке. Нужно было ссыпать сахар с этого листка в банку, где хранился мой сахарный запас. Приоткрыв дверцу тумбочки, я наощупь нашел эту банку. Вынув же ее, увидел, что держу в руке не банку с сахаром, а банку с клубничным вареньем, которую я пожалел отнести Карсавину. В тот же момент память подсказала мне то, что я никак не мог вспомнить, пока шел, увидев заглянувшего в дверь Шимкунаса. Мне нужно было попросить у него стеклянную банку или какую-нибудь другую подобную посуду, чтобы разделить варенье.

День (все тот же) был солнечным и теплым. После врачебного обхода все в нашей палате, кто мог ходить, взяв одеяла и подушки, пошли на лужайку возле торцевой стены барака. Я и Луи пошли со всеми. На лужайке располагались, как на пляже. Луи берег себя от загара. Покрыв голову полотенцем, он сел к солнцу спиной, чтобы читать взятую с собой книгу. Я же, расстелив сложенное вдвое одеяло, растянулся на земле и лежал, закрыв глаза. Вдруг я почувствовал, что Луи трогает меня за плечо, и услышал, как он говорит:

— Пришел ваш знакомый, смотрит сюда, наверное, ищет вас.

Я поднялся с земли и огляделся вокруг. В стороне в белом халате стоял Шимкунас. Увидев меня, он сделал знак, чтобы я к нему подошел.

Шимкунас пришел потому, что задумал новое дело и хотел, чтобы я ему помог. Дело было вот в чем. Как сказал Шимкунас,

умерших в лагере хоронят в безымянных могилах, на каждой ставят только колышек с условным номером. Такие опознавательные знаки недолговечны и определить впоследствии, кто где захоронен, невозможно. А рано или поздно придет такое время, когда о Карсавине вспомнят и, возможно, захотят найти его останки. Есть простой способ, чтобы прах Карсавина можно было опознать. Когда будут делать вскрытие тела Карсавина, нужно вложить во внутренности герметически закрытый флакон с запиской, в которой было бы сказано, кто такой Карсавин. Шимкунас хотел, чтобы эту записку написал я.

— Но ведь могут увидеть, — сказал я, — как вы вкладываете флакон.

— Ну, так что из этого, — сказал Шимкунас, — разве это преступление? Кроме того, все можно сделать так, чтобы никто не увидел. В прозекторской, когда идет вскрытие, присутствуют только двое — врач и санитар. Тело взрезают, осматривают внутренности, составляют протокол, а затем все, вынутое из тела, укладывают обратно и разрез зашивают. Перед этим санитару можно послать за чем-нибудь, скажем, за новой парой резиновых перчаток, а ко времени, когда он вернется, флакон уже будет лежать, где надо, и никто ничего не будет знать.

Я не сразу ответил Шимкунасу, так как мои чувства как бы раздвоились от его слов. В его предложении, во всей этой продуманности было нечто чудовищное. С другой стороны, в том же самом было нечто трогательное. Обстановка не позволяла, чтобы на могиле Карсавина, как нам этого бы хотелось, был воздвигнут памятник с подобающей надписью. Вместо памятника Шимкунас предлагал, чтобы была написана тайная эпитафия, предназначенная лежать захороненной вместе с человеком, кому она посвящена. Шимкунас пришел ко мне обсудить эту идею, чтобы она была нашей общей идеей, чтобы не он единолично, а мы оба вместе взяли на себя этот акт последнего внимания к Карсавину. В единстве общего дела каждому из нас надлежало выполнить свою часть. Написать тайную эпитафию возлагалось на меня, это был мой вклад, ибо что в этом деле мог я бы сделать другое?

Как бы то ни было, я принял идею Шимкунаса и согласился на его предложение.

— Я напишу, — сказал я, — но мне надо собраться с мыслями. Найдут ли когда-нибудь эту записку или не найдут, на мне ответственность на все времена за каждое слово.

— Конечно, вам надо сосредоточиться и не торопясь обдумать, что написать, — сказал Шимкунас.

Для того чтобы я имел возможность сделать это в спокойной обстановке и без посторонних глаз, он отвел меня в домик врачей.

В чистенькой комнатке Шимкунаса белые занавесочки на окнах смягчали яркость солнечного света. В этом белом свете дня, в тишине и одиночестве, я сидел за рабочим столом Шимкунаса и, пытаясь отрешиться от тесноты обступавших меня стен и от собственной взволнованности, мысленным зрением и слухом вызывал в памяти встречи с Карсавиным, и его голос, и его слова, и наши прогулки по ущелью между угольной насыпью и стеной больничного барака. И, наконец, последнее прощание с ним сегодня утром в морге, где в таком же белом дневном свете на деревянном топчане во весь рост лежал Карсавин и на его лице сквозь тень предсмертных страданий ясно проступал свет полного покоя.

Что было мне написать? Нужны были слова, которыми выразилась бы значительность личности Карсавина и которые были бы словами прощания с ним. Вот какой вышла, насколько помню, тайная эпитафия:

Лев Платонович Карсавин, историк и религиозный мыслитель. В 1882 г. родился в Петербурге. В 1952 г., находясь в заключении в режимном лагере, умер от миллиарного туберкулеза. Л.П. Карсавин говорил и писал о троякоственно-едином Боге, который в непостижимости Своей открывает нам Себя, дабы мы чрез Христа познали в Творце рождающего нас Отца. И о том, что Бог, любовью преодолевающая Себя, с нами и в нас страдает нашими страданиями, дабы мы были в Нем и в единстве Сына Божия обладали полнотой любви и свободы. И о том, что само несовершенство наше и бремя нашей судьбы мы должны опознать как абсолютную цель. Постигая же это, мы уже имеем часть в победе над Смертью чрез смерть. Прощайте, дорогой учитель. Скорбь разлуки с Вами не вмещается в слова. Но и мы ожидаем свой час в надежде быть там, где скорбь преображена в вечную радость.

Немного погодя после того, как я кончил писать, пришел Шимкунас. Я подал ему лист с текстом. Шимкунас читал не торопясь и, видимо, взвешивая мысленно каждое слово. Наконец, он сказал, что, по его мнению, написано в общем то, что нужно.

У него заранее был припасен флакон из темного стекла. Свернув лист с тайной эпитафией в плотный рулончик, Шимкунас вложил этот рулончик во флакон и при мне накрепко закрыл флакон завинчивающейся крышкой.

Возложенная на меня часть дела была завершена. Мы попросились и я пошел к себе в барак хирургического отделения. А Шимкунас, положив флакон с запиской в карман халата, пошел в прозекторскую, где ему предстояло выполнить взятую на себя обязанность.

В акте вскрытия, в этом акте врачебной некромании, флакон из синего стекла был вложен в разрезанный труп. С этого момента и навеки прах Карсавина имеет в себе памятник, стеклянная оболочка которого способна противостоять гниению и разложению, сохраняя написанные — не золотыми буквами на камне, а обычными чернилами на бумаге — слова свидетельства о человеке, останки которого захоронены в земле безымянной могилы.

**

Вечером этого же дня нас предупредили, чтобы после поверки никто не уходил из палаты, потому что придут читать приказ. Какой приказ, толком нам не сказали. В ожидании каждый занимался своим. Я предложил Луи организовать чаепитие из остатков посылки, и мы опять устроились за нашей общей тумбочкой. У меня не получалось что-нибудь говорить и благовоспитанный Луи взял осуществление разговора на себя.

— Вы спрашивали меня, — сказал он, — зачем мне книга о рефлексологии. Сказать правду, она мне ни к чему. Я ее даже не одолел. Но я давал ее покойному Карсавину, чем, кажется, доставил ему некоторое развлечение. Подобный альтруизм с моей стороны не отменяет мою теорию разумного эгоизма, так как диалектика учит нас, что противоположности совпадают. Кстати, почему вы не едите это превосходное клубничное варенье? Оно вам не нравится? Впрочем, о вкусах нон диспутандум, тем более, что в данном вопросе спорить мне просто невыгодно. Если вы не возражаете, я, за ваше здоровье, съем его один.

Время шло. Кто-то высказал предположение, что сказанное нам о приказе было просто уткой, пущенной, чтобы зачем-то задержать нас в палате.

Однако незадолго перед сном в палату явился, наконец, кто-то из лагерной obsługi и, прикрикнув на нас, чтобы было тихо, скороговоркой прочитал приказ о случае воровства, имевшем место в Центральной больнице. В туберкулезном отделении расхищено имущество умершего там больного Карсавина. Далее в приказе перечислялись похищенные предметы. Под неприятным впечатлением от самого факта, я слушал этот перечень не очень внимательно, называемые предметы как бы скользили сквозь

сознание, как вдруг один заставил меня встрепенуться и облекся в отчетливый зрительный образ. Это было, когда среди украденных вещей назвали белый шерстяной свитер домашней вязки.

На следующий день и в последующие дни, в часы, когда Шимкунас был свободен от работы, я приходил к нему в домик врачей.

Меня беспокоило, как будет похоронен Карсавин. Раньше мне приходилось слышать рассказы, будто в лагерях с трупами умерших обходятся почти как с падалью.

— Что вы, — сказал Шимкунас, — это преувеличение. Хорошат здесь в общем прилично. На покойнике оставляют белье, хорошат в гробу, каждого в отдельной могиле.

По моей просьбе он сводил меня посмотреть гроб, в котором лежал Карсавин. Этот гроб был просто длинный плоский ящик, сколоченный из горбыля, т.е. из досок, срезаемых с краев бревна и сохраняющих с одной стороны закругленность и остатки коры.

Захоронение тела Карсавина было произведено только на третий день. Как рассказывал Шимкунас, по здешним порядкам это делают ночью, чтобы не привлекать внимания со стороны заключенных. Впрочем, на севере в июле ночью довольно светло, примерно так, как в средних широтах бывает в начале рассвета.

Команда из четырех человек, специально содержащихся при больнице для такой работы, погрузив ящик с телом на тележку, вывезла его из лагеря на кладбище. Среди четырех был литовец, которому Шимкунас поручил позаботиться о том, чтобы могильная яма была не слишком мелкой и чтобы на месте захоронения был сделан заметный холмик. В этот холмик воткнули палку с дощечкой, на которой был номер: П-11.

Разговаривали мы об этом, помнится, возле домика врачей, не заходя вовнутрь, и говорили негромко, как если бы хотели, чтобы нас никто не слышал.

— Вместе с ним, — сказал Шимкунас, — похоронили ногу.

Я не понял. Какую ногу? Какое отношение к похоронам Карсавина имеет упоминание об этой ноге?

Тогда Шимкунас объяснил, что в тот день в хирургическом отделении кому-то из больных отрезали ногу. Отрезанные части тела захораниваются на том же кладбище. Чтобы не хоронить эту ногу отдельно, ее положили в гроб Карсавина.

Я возмущился. Неужели нельзя было этого избежать? Как в расхищении личных вещей Карсавина, так и в этой подброшенной ему в гроб чьей-то ноге, для которой не нашли другого места, словно деть ее больше некуда, было, хотя и ненарочное, а именно безличное, безразличное, тупо равнодушное отношение к останкам человеческим, как и к памяти тех, кому они принадле-

жат. Шимкунас спокойнее смотрел на эти обстоятельства. Взгляд его зеленоватых русалочьих глаз бесстрастно отражал мои эмоции.

— Какие уж тут гуманистические идеалы по поводу останков, — сказал он, — не будем возмущаться, а посмотрим на дело с практической стороны. Карсавину все равно. А когда придет время, этот лишний вещественный признак поможет опознать захоронение.

Луи, когда узнал от меня об этой третьей ноге, сказал:

— Через несколько столетий археологи сделают открытие, что в двадцатом веке жили трехногие.

А Пунин, когда спустя месяц или около того мы снова встретились и я рассказал ему о кончине и о похоронах Карсавина, точно так же, как было со мной, не сразу понял, какое отношение к моему рассказу имеет упоминание о чьей-то ноге. Затем, задумавшись на минуту, он сказал: «Бедный Карсавин». Но, сказав это, Пунин вдруг осенился мыслью, которая удивила меня своей меткой простотой:

— Повезло же кому-то, — сказал он, — хоть одной ногой лежать в гробу вместе с Карсавиным. А ведь бывший владелец этой ноги, вероятнее всего, никогда и не слышал о нем.

Пунин умер, немногим более года пережив Карсавина. Но меня в то время уже не было в Абези. Как предсказал Володя Якубич, врачебная комиссия после заживления ноги признала меня годным к использованию на общих работах, и вскоре я был назначен на этап в Инту, где заключенные работали в угольных шахтах.

Зимой 1954 г., уже освобожденный из заключения, но оставленный на положении ссыльного в Инте, я как-то поздним вечером шел вдоль стоявшего у станции пассажирского состава. Пал дал мелкий снег и было довольно темно. Вдруг я увидел фигуру несомненно знакомого мне человека, который стоял у вагона, зябко сводя плечи. Это был Шимкунас. Я настолько удивился, что вместо слов приветствия спросил:

— Как вы сюда попали?

Оказалось, Шимкунас, отбыв свой срок, был, подобно мне, освобожден из заключения, но продолжал работать врачом в Абези. Теперь он ехал в командировку в Сыктывкар, где находилось какое-то медицинское Управление. Неожиданная встреча была недолгой, поезду вскоре дали сигнал отправления. Именно тогда из короткого разговора с Шимкунасом я узнал, что Пунин умер от сердечного приступа.

Пунина похоронили на том же кладбище, где был похоронен Карсавин. Кладбище это расположено в стороне от поселка. Оно состоит из множества холмиков, на которых не написаны ничьи имена. Вокруг кладбища — плоская однообразная тундра, безвидная земля. Больше всего здесь неба. Ясная голубизна с прозрачно белеющими облачками охватывает вас со всех сторон, красотою небес восполняя скудность земли.

Приложение

Л.П. Карсавин
ИЗ «ВЕНКА СОНЕТОВ»

СОНЕТ XV (МАГИСТРАЛ)

Ты всё один: что будет и что было,
И есть, и то, что может быть. Тебе
Сияет всё, как на небе светило,
И движется, покорствуя Судьбе.

Безмерная в тебе сокрыта сила.
Являешься в согласи и в борьбе
Ты, свет всецелый, свет без тьмы в себе.
И тьма извне Тебя не охватила.

Ты беспределен: нет небытия.
Могу ли в тьме кромешной быть и я?

Свой Ты предел — всецело погибая.
Небытный, Ты в Себе живешь, как я,
Дабы во мне воскресла жизнь Твоя.
Ты — мой творец, Твоя навек судьба я.

***ИЗ НАСЛЕДИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФИЛОСОФИИ***

В.В. Розанов
ВЕЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Вся живопись Нестерова есть великая тревога совести.

Нестеров есть вполне исторический и огромный человек потому, что он выразил со страшной, упорной силой главный религиозный мотив Руси, главную душу наших религиозных скитаний и исканий и притом за всю историю:

«поблдневшую совесть»,

не в колоколах, не в свече дело, — и не в обрядах: не в богатых ризах. Не в этой — да будет прощено глупое слово — «помпе» православия. Пока только это есть — еще ничего нет. Не отсюда родится молитва и вера. Все это принесено было из Византии, как великий наряд и убор на свеженький и дикий народ из славян. «Убор веры» был, но не было самой веры. Этот «убор» веры большею частью и рисуется религиозной живописью, — или «эскизами», «молитвами кистью» на церковные темы. Все это даже прикоснуться не смеет к Нестерову. Мир его — исключительно мир души. Однако живопись его несколько не в противостоянии и этому «убору веры», и здесь его глубокое различие, например, с Толстым, который выступил новатором в области веры, работая также около вопросов совести. Нестеров глубоко скромнен и от этого глубоко археологичен (архаичен). Он поет о старом, о древнем. Вся его живопись, будучи воплем души, одета в древности старой Руси, еще Московской и Киевской Руси.

Что это такое?

Да то, что в Русь действительно был принесен застывший убор веры; но он не всегда был застывший, а когда-то был раскаленный.

Нестеров и рисует этот раскаленный убор православия, — в таких серых и тусклых одеяниях монахов, послушников, старцев, заброшенных на север монастырей. Молитвы когда-то *родились*, обряды когда-то, кем-то были *выдуманы*, придуманы, сотворены. Когда? кем? — Святыми! В многочисленных вариантах Нестеров и рисует собственно одного человека, одно и то же русское лицо, мужское или женское — *святого*. Не святого «в облачении», как он потом вошел на «икону», а в жизни, в движении, собственно в усилении, «в пути» к святости.

Весь «путь Нестерова» и его призыв и «один колокол» звучит призывом: поднимемся из праха и пойдем к Вечному Свету,

Который просто в Евангелии,

Просто в Церкви.

Вот его археология и лозунг: «ничего нового». Он верит в «старых богов» Руси и нетерпимо враждебен всем новым.

Поле его картин, не переступая граней Московской и Киевской Руси, собственно захватывает те старые и закрытые уголки теперешней действительности, где сохранился тот Московский и тот Киевский дух. Если чего нельзя вообразить себе, то это Нестерова, рисующего «Петербургскую улицу»... Ничего «Петербургского», ничего «после Петра Великого»... Вся эта суета и сор, поналезшая вместе с «делом» в «окно» (в Европу) Петра Великого — совершенно ему чужда и враждебна, совершенно ему не нужна.

И он как будто стучит жесткой монашеской клюкой в это «окно в Европу» и говорит грубо: «Душу забыли! Душу забыли... Где душа?.. А с забытой душой изменят вам ваши пушки, изнашивается мишура...» Сегодня — красота и блеск и кажущееся могущество, а завтра небо совется как свиток и поколеблется все в самых основаниях...

Живопись Нестерова есть жестокий окрик на «нас». Он не только есть прозелит старой веры, но и жестокий воитель против всяких «новшеств». Он определенно говорит Петру Великому: «не в том дело». Говорит как буйный стрелец, как боярыня Морозова, увозимая в заточение. Но живопись Нестерова убедительнее и криков стрельцов и неразумных воплей Морозовой. Живопись Нестерова вообще очень убедительна, и ее невмочь переспорить даже Петру.

Она говорит очень просто:

«Когда душа погибнет, то не нужно будет и всего этого...»

«Всего этого», т.е. цивилизации, лезущей в прорубленное окно Петра Великого. Живопись Нестерова переоценивает «старым

русским судом» новые ценности Европы, все наши новые «культурные приобретения» — и суд этот строг, немилостив, беспощаден.

Бедя для нас в том, что он действительно основателен. Петр Великий не разобрал кое-чего ни в старой Руси, ни в новой Европе. Он руководился «нуждою» и «необходимостью», как и подобает государю, т.е. воителю, дипломату и, в формальном смысле, законодателю. Но это недостаточно. Он был «преобразователем Руси», не в формальном смысле, а в существенном: он не обновил военный строй и корабли, а менял «дух страны». Он это не только хотел сделать, но и сделал, достиг. Русь действительно переменялась «духом» и в XVIII веке мы ее видим совсем не тою, какою знаем в XVII.

Тут окрик и протест Нестерова совершенно прав. «Дух страны», конечно, пристокает из ее веры, — и Петру, чтобы кончить реформу и вместе чтобы настоящим образом укрепить ее, нужно бы собственно переменить веру, отречься от православия, приняв протестантизм что ли... Этого бы, конечно, ему не удалось, и он погиб бы в волнах народного движения. И он рассудительно этого народного движения не вызвал, а паче всячески его укрощал. Что же вышло? Неполная реформа, притом не только в его время неполная, но и на веки вековечные неполная.

Петр в сущности ничего не сделал и ничего не мог сделать, кроме как победил шведов и обезопасил Россию вообще с Запада.

Два века «после него» собственно производят великий пересмотр реформы Петра и все более суживают ее значение, сводя ее именно к формальным границам, к созданию «Сената и Синода», к новым войскам и постройке кораблей, но отнимая от нее дух и смысл целого. Кажется, что успевает все два века западничество, но на самом деле успевает и в минувшем веке и в девятнадцатом славянофильство. «Перемены духа» ведь в сущности не произошло, и оттого просто, что не была переменена вера. Дух поновился лишь формально: стали больше учиться, переводили постоянно новые книжки, понаоткрывали множество учебных заведений. Но чем больше учились — и учились-то все-таки русским умом и русскими приемами, — тем яснее видели, что все-таки все идеальное содержание русской жизни, все ее высокое и нравственное содержание, идет от «киевских пещер» и «Московского Кремля» по «прежней молитве» и «старой вере». Реформа Петра решительно не удалась, потому что все-таки осталась старая молитва и старое «задушевное», старый «натальный крест» и наша «крестильная купель». Не переменяв веры, Петр не достиг ничего, кроме «пушек» и Ништадского договора, т.е. достиг толь-

ко частностей и мелочей. «Дух страны» тот же, и по простой причине — что «Православие то же: Киево-Московское». Но «что-то» он сделал, колоссальное, огромное, и уже в «духе страны». Именно — он его испортил, не поколебав. В своих реформах и торопливости он на двадцать лет — и могущественно, царственно — забыл «святыни». И это забвение продолжалось на весь его век, XVIII век. Только в XIX веке начинается возврат к «святыням» и определенное сознание, что собственно без духа «старой Руси» не проживешь, да мы в сущности все время и жили и творили исторически этим «старым духом», отнюдь не новым. «Новым» мы творили только технику жизни, разные законодательные мелочи управления, да кой-какие книжки. Мелкое шло с Запада — «не по вере нашей». Но решительно как только дело доходило до подвига, до высокого и святого, в личной ли жизни, в семейной, в государственной, в правительственной — мы неизменно творили «старым русским духом в себе». И это равно было в переходе Альп Суворова, в войне 12-го года, в стихотворениях Пушкина, в «Войне и мире» Толстого. Ибо, конечно, мы перешли Альпы не потому, что с нами были «новые пушки», а потому, что по-православному крестились и по-православному терпеливо умирали, и потому же отстаивали отечество в 12-м году, и так пели и рассказывали Толстой и Пушкин. Итак, мелочи с Запада, крупное от Киева и Москвы. Победило именно славянофильство, несмотря на вечный неуспех свой; но победило не в мелочах литературы, действительно неудачной, не в журнальных спорах, а делом и в жизни. Пришлось вздохнуть.

А все-таки все серьезное оттого, что мы как встарь православные и верим «по-своему», а не как немцы и латиняне.

Вот стержень души и жизни остался тот же, и никакой «общей реформы» и сотворения «нового мира» из себя, как ожидали и думали в XVIII веке ближайшие сподвижники Петра и его преемники, его апостолы, вроде Ломоносова и Кантемира, не произошло.

Но, оглядываясь вспять, мы видим, могучий дух Петра, «пройдясь» по Руси, многое в ней потряс, выкорчевал и искоренил. Не было «преобразования Петра», было «потрясение Петра».

Он потряс Россию. Здрожали самые корни, но не вырвались. «Многие гробы потряслись, и мертвецы вывалились из них...» Старые идеалы дрогнули: но нечем было жить помимо их, — и по этому уже одному они удержались.

Нестеров благоуханно полил эти «старые идеалы» водою. Полил и возделал землю около них, или, вернее и правильнее ска-

зять, он укрепил эту землю возле них, укрепил весь этот пласт земли. Своею кистью он показал «старого верующего русского человека», — как такого, с которым нам нечего вздыхать ни о немецких землях, ни о латинских землях. «Старая вера есть подлинно святая», — сказала его благородная и одухотворенная кисть, сказали его нежные и благородные лики. Подлинно «лики», а не «лица», даже на картинах.

...«Нет, царства не создаются так, и земли так не стоят...»

...Вы увидели в религии один анекдот и рассказали о верующем русском человеке только анекдот. Около широкого бытового явления, которое повсеместно есть, и около него есть всякие люди, вольные и подневольные, и не может не быть анекдота, не может не народиться всяческих анекдотов, которых сотни и тысячи не стоят однако ни одной крупницы истории. А она есть, эта наша русская история, на которую вы посмотрели воистину анекдотическим, пошлым, наглым глазом. Посмотрели так и оскорбили ее; посмотрели так и осквернили ее. Народ не чурбак и чурбаком никогда не был. Народ-то злился, плакал, бежал за своими угодниками, за святыми Божьими людьми, иногда юродивыми, и, однако, всегда — за людьми высочайшего душевного света, хотя и не всегда вразумительного слова. Слова не всегда находились у этих Божьих людей, но в возмещение этого всегда у них находился святой поступок, святая правда жизни, всегда бескорыстный, всегда не самолюбивый, всегда без самолюбования и самолюбления, как это везде встречается долу, в нижнем этаже ее, у нас, художников, у нас, писателей, у нас, ученых... Народ извел из души своей образ праведного человека и им просветлил землю, и им просветился и наставился сам. Этот образ и тип народного праведного человека выше всех типов и образов литератур, т.е. данных литературой в общественное просвещение... Выше он и героев собственно политической истории... и дан он просто церковью, о которой вы рассказывали одни анекдоты; церковь в нераздельном слиянии ее с народным духом, где и не различишь, что собственно принадлежит Евангелию и Христу, а что принадлежит уже народу, селу, деревне, быту, купцу, дворянину, царю и московскому или киевскому князю, воину и всякого чина русскому человеку... Вот они. И он живо, кистью конкретно и через это самое «не выдуманно», не ложно и не риторично показал Святую Русь в ее молитве.

С тех пор «Святая Русь» и «Нестеров» как-то неотделимы и навсегда останутся неотделимы. Пока он «при нас», т.е. пока Михаил Васильевич жив, — это еще не так заметно. Пока «ходим на выставки», смотрим «разное» и в этой суете и в этом соре не

определяется вечное от временного, не выделяется «святое» из современности. Но как только «его не станет» или почувствуем, узнаем и увидим, что никогда более, никогда еще не проведется «нестеровской рукой» этот тонкий профиль, этот заостренный носик, эти сведенные странно, неземною улыбкою губы, — все слитое в молитву о каком-то ненужном прощении, о какой-то пощаде бедной и страждущей душе человека, — мы узнаем, кого потеряли, что стало неповторяемо и непродолжаемо... Потому что этой тайны «нестеровской черточки» никто не повторит — «черточки», в которой и содержится тайна «нестеровского лица», как особого и нового типа в живописи. «Пощади, Боже! Пощади, Боже! Помоги слабой плоти!.. О, я и сам ее ненавижу: но пока ношу ее — подвержен законам железного одеяния своего... — Лети, душа моя, дальше, как можно дальше, и до конца дальше!!!» — вот и молитва Нестерова — вот его один колокол. И гудит он, гудит, — как во времена Грозного и Василия Блаженного большой колокол Кремля... Он зовет нас от действительности, грубой, жестокой, оскорбляющей и часто лживой — к Вечному Преображению, зачаток которого, но только зачаток, рождается с рождением всякой души человеческой... Но у всех почти он скоро заснет, засорится, сламливается, гибнет. Груба и жестока действительность. Лишь у немногих он сохраняется, возрастает пышно. Это — святые.

Как отличить «во плоти» — как узнать, пока они живы и ходят возле нас? Нестеров и ответил нам на это. «Нестеровское лицо», как особый пункт в живописи, особая точка всей истории, и есть «святое лицо». Оно везде одно, везде повторяется и в чисто светских, вообще не в церковных сюжетах. Лицо — несущее в себе и отражающее Преображенную Душу.

«То старое земное — все умерло.

А родилось — это новое — в вечную радость».

А.А. Мейер
СЛОВО — СИМВОЛ

Мы часто называем словом тот звуковой знак, который указывает на наличность в нашем сознании так называемого представления. Само собою разумеется, что в таком случае мы допускаем некоторую неточность, нечто вроде фигуры, называемой *pars pro toto*.

Звук сам по себе еще не слово. Граммофон не говорит: он бессловесен. Только в соединении с внутренним актом сознания, называемым мыслью, звуковой знак становится словом. Если сама мысль есть *внутренняя*, неслышная речь, внутреннее говорение, как это выяснено было уже Моро, то и внешнее слово есть не что иное, как внешняя, в звуки вошедшая мысль.

Не то, чтобы внешнее слово было «неотделимо» от внутреннего говорения: дело не в связи между какими-то двумя явлениями — словом и мышлением — а в их полном единстве. И если бы звуковое слово могло быть произнесено без акта мышления, то оно просто не было бы словом, как не было бы им и некоторое состояние сознания, принимаемое за мышление, при отсутствии всякого словесного содержания.

Слово не произносится: произносятся звуки, но они произносятся и граммофоном. Слово же рождается. И рождается оно в одно и то же время как звук и как мысль. Вернее, и звук, и мысль есть то, что проявляется при рождении слова, потому что само слово, строго говоря, уже не феномен, каким является и звук, и процесс мышления. Слово произносимое, но не рожаемое, совсем не может быть признано словом. Процесс мышления и процесс говорения, как феномены, представляют собою плоть, в которую облекается при своем рождении наше слово, и потому мы вправе

сказать, что оно рождается, как звучащая мысль или как мыслимый звук, — что одно и то же.

«Форма» слова вовсе не заключается в его звуковой стороне, как и «содержание» отнюдь не сводится к представлению или мышлению. Звучание в такой же мере относится к содержанию слова, как и мысль, потому что сама мысль, как только что указано, есть неслышное для уха звучание слова, а слово-звук это слышимая ухом мысль. Форму слова нужно искать в форме мысли так же, как и в форме звуковых сочетаний. Впрочем, самое противопоставление формы и содержания в данном случае совершенно неоправдано. Можно говорить о форме и материи, как эти термины употребляются, например, у Аристотеля; но форма Аристотеля гораздо больше прав имеет на то, чтобы быть признанной «содержанием» какой-либо вещи, чем его «материя». А еще правильнее было бы сказать, если употреблять аристотелевские понятия, что слово уже по самому существу своему есть та форма, без которой материя оставалась бы чистой возможностью, небытием. Нет никакой материи у самого слова, потому что именно словом объемлется и формуется всякая материя. Что же еще можно было бы различать в едином слове, как его содержание и его форму?

Итак, слово есть некоторый единый акт, по самому существу, по содержанию своему являющийся *звучанием мысли* или мышлением звука. Вопрос же, который мы себе ставим, размышляя о слове, минуя тему о его форме и содержании, заключается в следующем: во-первых, какой смысл имеет единый акт, именуемый словом, чем обосновывается необходимость слова, или, говоря еще иначе, что достигается словом; а во-вторых, почему задача, осуществляемая словом, осуществляется именно им, а не каким-либо иным актом.

Словесное действие, т.е. говорение, речь, есть частный случай человеческих действий вообще. Смысл говорения поэтому должен быть выяснен прежде всего в связи со смыслом *действия* вообще.

Действия человека могут быть разбиты на две, конечно не всегда резко разграничивающиеся группы. С одной стороны, мы знаем акты, все значение которых сводится к их технической (в широком смысле слова) полезности, к роли их в целесообразном изменении окружающих человека условий — с другой стороны, существуют такие действия, которые с точки зрения внешней полезности могут расцениваться крайне низко, но которые на самом деле представляют собой единственно достойные человека проявления. Человек способен совершенно бескорыстно, в изме-

стном смысле «бесцельно» откликаться на то, что совершается вне его. Не будучи связаны с определенными внешними результатами, не будучи сообразованы ни с какими внешними целями, такого рода отклики гораздо свободнее, а потому ритмичнее и выразительнее действий первой категории. Их всего правильнее, мне кажется, обозначить именем *символических*.

Конечно, не следует в термине «символ» видеть намек на какое-то противопоставление этих действий как знаков чему-то более существенному, тому, что ими будто бы «означается». Символ — не условный значок, не «только символ», как иногда выражаются, и не аллегорический образ, скрывающий за собой какую-либо мысль, могущую быть выраженной и без него. Наоборот, символ есть прямой непосредственный отклик жизни, не менее реальный и не менее (а более) автономный и самоценный, чем всякое иное действие. Мысль, заключенная в нем, гораздо глубже и богаче той, какую можно было бы найти в нем, приняв его за аллерию, и она потому именно и требует символа, что не вмещается в рамки рационального суждения, если впрочем даже само рационально формулируемое суждение не есть тоже символ, символическое слово. Если символ что-либо «означает», то означает одновременно очень многое, говорит о многом. Во всяком случае, он не создается для обозначения чего-либо, что будто бы существеннее и первоначальнее его, а рождается как новая реальность, имеющая совершенно самостоятельное значение.

Символическое действие есть отклик некоторому живому акту, т.е. акту, входящему в содержание жизни. Мы слышим голоса жизни, когда сталкиваемся с явлениями, с фактами, с вещами и их взаимоотношениями. Эти голоса обращаются к человеку из глубин жизни и говорят о действительной, вне человека пребывающей реальности, призывая его к участию в ней.

В нашем отклике голосу жизни всегда имеет место уподобление тем или иным эмпирическим данным «вещами» или «фактами», т.е. воспроизведение в наших действиях явившихся нам образов. Такого рода ответы на знаки, посредством которых жизнь сама обращается к нам, лежат в основе многих, если не всех культовых действий и заповедей художественных творений и даже правил этикета. Символы, как говорит К.О. Мюллер в своих «*Prolegomena zur Wissenschaftliche Mythologie*», так же древни, как человеческий род: они обусловлены соединением в человеке духа и тела, и понимание их вложено в сердце человека самой природой.

Нужно помнить, однако, что символическое воспроизведение — не то же, что копирование какого-либо образца: оно не долж-

но быть изображением, повторением вещи или явления в их деталях. Последнее было бы очень далеко от отклика, и чем точнее и детальнее оно было бы, тем дальше уводило бы от соприкосновения с живой реальностью.

Это следует уже хотя бы из того, что для подлинного живого воспроизведения должны заговорить в воспроизводящем существе те стороны его, которые действительно общи ему с тем, что он воспроизводит. Стремление же скопировать в деталях тот или иной образчик удалило бы от общего и увлекло бы нас к насильственному и бесплодному подчинению нашей природы чуждым ей началам.

В образцах, которым мы откликаемся своим символическим действием, нам надлежит улавливать не одно только эмпирически данное, а то, что делает сами эти образы символами. Ибо, как на это указывал уже Ямвлих, в наших символических действиях мы подражаем самой *символически же действующей природе*. Явления природы суть символические акты жизни, т.е. знаки, с помощью которых говорит с нами жизнь. Живая реальность «не скрывается и не говорит прямо, а подает знаки (*συμναίνει*)» (Герраклит). В качестве символов явления природы сами представляют собой отклики, а потому в них раскрывается общее, единое во многом. Жизнь в существе своем, быть может, есть игра взаимоотноек, взаимопризывов. Это и означало бы, что жизнь действительно есть любовь, ибо любовь в последнем счете выражается именно в зовах, и если чего-либо требует и ждет, то только отклика.

Подражание знакам-символам, которыми говорит с нами жизнь, позволяет нам войти в реальность, потому что оно вводит в общее, а общее и есть реальное.

Воспроизведение какого-либо образа приобщает к общему, реальному (к идее Платона), скрытому за воспроизводимым образом. Только такое приобщение к реальности, вхождение в нее и может дать *знание о ней*. Воспроизвести в своем действии подобие явления значит уже до некоторой степени отождествиться с ним, войти в него. На эту онтологическую истину намекает, очевидно, и тот известный психологам эмпирикам факт, что через воспроизведение в себе какого-либо действия можно испытать состояние действующего.

Если за явлением так называемой неодушевленной природы на самом деле скрыто какое-либо «для себя бытие», если за движением ветра и за шумом моря и за падением дождя нужно предполагать какую-то реальность, не исчерпывающуюся данными наших восприятий, то внутреннее состояние этой реальности, ее

«жизнь» можно узнать, уподобляясь в своих проявлениях ветру, морю, дождю.

Пока мы остаемся с нашими так называемыми внешними восприятиями, мы имеем перед собой создаваемые ими образы, как *данное*, как объект, и еще не переступаем пропасти, отделяющей объект от субъекта, несмотря на то, что этот объект может быть весь целиком сведен к «содержанию нашего сознания». Наше знание остается еще крайне неглубоким, так сказать периферическим. Восприятие само по себе, т.е. *вне действий*, едва ли впрочем и существует; действие же, как движение, идущее навстречу реальности, приводит уже в самом восприятии к некоторому участию в жизни, к участию, каким является и всякое воспроизведение в себе того или другого образа. Если правы некоторые из современных философских школ, пытающиеся вернуть до известной степени права наивному реализму и полагающие, что в самом восприятии мы уже действительно касаемся реальности, то, быть может, правота их только подчеркнется, если мы скажем, что уже сами восприятия заключают в себе действия уподобления — и при том не частности, а общему.

Но остановиться на восприятиях наше познание действительности не может. Такая постановка превращает образы восприятия действительно в феномены, существующие только в нашем сознании: в реальности они существуют не иначе, как будучи связаны с общими идеями, т.е. с реальными сущностями. Вне этой связи их *нет*. Подлинное знание реальности — ἐπιστήμη древних философов — дается действительным воспроизведением в себе образа, открывающегося в природе ὁμοίον ὁμοίῳ γινώσκειται. В этом заключается познавательное значение всякого символического действия.

Будучи откликами на зовы, идущие от реальности, символы в то же время сами требуют отклика себе, сами являются зовами, вызовами. Наше участие в реальности не исчерпывается ее познанием: мы действуем в ней, внося в нее свою волю, *творя* реальность. В то время как технически полезное действие вызывает изменение в окружающей обстановке, не внося в нее по существу ничего нового, а лишь комбинируя данное, символическое действие обладает силой непосредственного созидания: первое есть, собственно говоря, использование условий, и сила его заключается не в нем самом, а в данных условиях: действительность второго, напротив, совершенно не связана с наличием этих условий и обладает внутренней, в широком смысле магической силой. Воспроизведение образа, появление которого требует воля человека, вызывает к бытию тот акт жизни, который откликается на зов

человека именно данным образом. В символическом действии, следовательно, познавательное значение неотделимо от значения его, как силы, вносящей в реальность новое, т.е. от его творческого значения.

По верованиям народов, не сомневающих в действенной творческой силе их символов — вызовов, даже перемена времен года зависела от совершения определенных обрядов, изображающих изгнание зимы — старика, встречу лета — Майи и т.п. Мы не можем не придавать значения этим верованиям, но за ними скрыто ведение некоторой очень глубокой правды, раскрыть которую значило бы обличить тайну творчества. *Similia similibus evocantur* — в этой истине, быть может, заключена вся философия творчества.

Произношение слова есть одно из действий, производимых человеком, и смысл его должен прежде всего быть тем же, что и смысл действия вообще. Поэтому и говорение может быть рассматриваемо или как технически полезная работа, или как символический акт. Нет сомнения, что человеческая речь приспособлена к тому, чтобы служить, как и другие действия человека, определенным внешним заданиям. Но если мы признаем, что более первоначальным и в то же время более достойным человека является действие символическое, т.е. зов и отклик, то есть основание думать, что и язык человеческий, несомненно могущий быть символическим, в этом символизме и находит свое исконное истинное значение. Техническое использование слов вполне возможно, но рождаются слова не для того, чтобы быть так используемыми: они рождаются так, как рождается всякий отклик жизни и всякий зов, ожидающий от нее ответа.

Если бы наше обычное отношение к вещам не определялось преимущественно — иногда даже исключительно — обиходом или, в лучшем случае, научной работой, то весьма возможно, что у нас не возникло бы даже и мысли о каком-то первоначальном значении слов, как названий вещей. В таком случае естественное, исконное назначение слова — быть символом, вскрывающим суть вещей, — было бы нам с самого начала очевидным. Можно не вполне соглашаться с Ревиллем, утверждавшим, что язык относится к области тех же явлений, что и жест, выражение лица, крик, плач, смех, поза. Но во всяком случае с отрицательной стороны аналогия эта более или менее верна. Язык так же мало изобретается, создается для каких-либо заранее намеченных целей, как и выражение лица или жест. Плачем или улыбаемся мы *не для того, чтобы* указать кому-либо на явление, вызвавшее у нас чувство горечи или радости.

Техническая полезность слов, как названий и кличек, обуславливается, как известно, необходимостью для человека *при сотрудничестве его с другими людьми* привлекать внимание последних к тем или другим фактам и вещам. Поэтому, если бы слова действительно были только названиями фактов и вещей, они теряли бы всякий смысл для человека, когда он остается один. Они были бы только орудием общения людей в делах. Но мы знаем, что песнь человеческая не перестает быть осмысленной и живой даже и тогда, когда нет никого, кто бы ее слышал, или, вернее, когда она обращена, как зов, ожидающий отклика, к самой жизни, а не к тому или иному отдельному сотруднику.

Платон учил, что «слово дано не для того, чтобы беседовать и действовать в обществе людей, а для того, чтобы уметь говорить приятное богам и совершать все угодное им». Не совсем прав он был, когда назначение слова так решительно отделял от беседы человеческой. Между откликами реальным силам жизни, которые он называл богами, и откликами человеческим душам нельзя пролагать такой резкой грани. Но несомненно, что слово дано только для беседы, — будет ли эта беседа с богами или с людьми — беседы, в которой совершаются как бы бесцельные, т.е. бескорыстные, отклики и в которой люди призывают друг друга к совместному участию в общем, т.е. в подлинной жизни, так как это участие и есть то, что, говоря словами Платона, «угодно богам».

Если же слово действительно есть прежде всего символ, то все, что выше было сказано о символическом действии вообще, относится и к слову. И словесный символ, как всякий другой, не может быть «только символом», и если слово означает нечто, то не в смысле условного значка, названия предмета, а в том смысле, что само есть голос, присоединяемый к другим голосам жизни. Означая в этом смысле нечто общее, т.е. единое во многом, слово всегда по самому существу своему имеет только *переносное значение*. Так называемое «собственное» значение слова появляется у него уже только при техническом его использовании. Язык человеческий по самой природе своей и по своему естественному назначению метафоричен. Это хорошо выяснено Бизе в его работе «Die Philosophie des Metaphorischen». Язык, говорит он, весь целиком метафоричен. Метафора — это божественное в человеке, потому что истинно творческое. Это не обман и не видимость, а мост к вечному «само». Слово означает многое, так как оно означает прежде всего живой поток образов, говорящих о глубочайших правдах жизни.

Однако это не делает слово только так называемым «логическим понятием», обобщающим частности. Универсалии, кото-

рые, как известно, *sunt realia*, не отвлеченности, а вполне конкретные сущности, идеи. Слова, с ними внутренне связанные, должны также пониматься не как отвлеченные формулы, а как совершенно конкретные *акты*. Живое слово, метафора, переводящая нас от одного образа к другому, связывается при этом всякий раз со всей полнотой конкретного содержания реальности, живущей в этом образе. Оно не имеет нужды делать своим содержанием, говорить о соответствии его эмпирическому образу, — нечто всегда себе равное. Оно говорит в одно и то же время об общей сущности вещей и о частных образах, о сходном и о различном, о постоянном и меняющемся, оно живет в движении, в динамике образов. Беря каждый образ во всем его содержании, как единое целое, и утверждая его конкретность, оно сближает его с другими образами не по способу абстракции, не удалением различий, а *преодолевая* различия, поднимаясь над ними и вводя их в единство реальности, стоящей за многими образами: оно делает различное как бы сопричастным общему. Слово «буря» приложимо в одно и то же время и к явлению природы и к буре в душе человеке не потому только, что существуют общие признаки у этих двух образов — признаков этих в сущности весьма немного, а потому, что состояние, именуемое душевной бурей, по природе своей, в онтологическом своем содержании, родственно буре, одно с нею и это единое конкретно так же, как конкретны оба образа.

Итак, с помощью слов, как и с помощью всяких других символов, мы как бы входим в реальность и потому познаем ее. Слово-мысль есть орудие, или, вернее, путь истинного познания. В то же время оно является творческой силой, преобразующей действительность изнутри. От слова станется: оно не проходит бесследно, если только, конечно, оно *живое слово*, а не мертвый технический термин.

Но могут спросить: что же собственно воспроизводится словом, что общего между действием говорения и теми образами, которым оно отвечает? Вспомним, прежде всего, что слово не есть только звуковой образ, а слово и мысль — едино. Данному образу отвечает в душе человеческой отнюдь не один только комплекс восприятий, а прежде всего мысль, ибо без мысли нет вещи. Кто не понимает этой истины, тот, конечно, не сможет понять и роли слова в познании. Но кто же из мыслящих людей смеет после Платона, после Ансельма и после Лосского этого не понять?

Образ, появляющийся в сознании, *мысленный образ* — есть *акт* сознания, отвечающий образу, даваемому реальностью. Так как слово и мысль — одно, то образ этот уже сам по себе должен быть словесный. Однако так называемый мысленный образ, бу-

лучи откликом данному вовне, еще не является в полном смысле символом-словом, если он взят только *как образ*. Если он не связан с речью, со словесным знаком, то он, строго говоря, не может быть *мысленным* образом, если в нем нет того акта, который должен быть присоединен к одним только данным восприятий, дабы образовалась мысль.

Мысль же, а потому и слово, начинается там, где имеет место отклик слову, объективно, в самой реальности звучащему. Строго говоря, уже всякое символическое действие, поскольку оно воспроизводит общее в частном и поскольку подводит к реальности, заключает в себе некоторое слово, некоторую мысль, отвечающую слову-мысли самой реальности. Если бы данная нам действительность включала в себя только материал нашего эмпирического опыта и если бы материал этот не был оформлен, организован в связное целое, никакого слова-мысли не появилось бы в нашем сознании, потому что ничему не уподоблялось бы наше сознание, что можно было бы назвать словом. На самом же деле, в самих вещах, в их взаимоотношениях и взаимодействиях уже присутствует мысль не как психический процесс, не как мышление, а как то, *что мыслится*. Конечно, если мы будем отождествлять самое мысль с психическим процессом мышления, то этот последний мы не сможем никогда понять, как наш действенный отклик какой-то реальности. Тогда мы безнадежно будем путаться в противоречиях номинализма, предрассудки которого до сих пор, к сожалению, не изжиты сознанием европейцев.

Всякое символическое действие не только говорит о реальности самой по себе, но, как выше указано, и соединяет с нею того, кто его совершает. Отклик, в нем заключенный, есть в одно и то же время и внешнее действие человека и внутреннее приобщение самого существа человека к реальности. В плоскости психологии это означает наличность в субъекте особого душевного состояния, которое мыслится, как *его* состояние. Поэтому всякий раз, когда совершается символическое действие, оно говорит и о самом человеке, о его душевном состоянии. Слова-символы, охватывающие собою очень многое, связанное внутренним единством, становясь названиями явлений, оказываются применимыми одинаково как к явлениям психическим, так и к явлениям физическим. Светлая мысль, светлое состояние духа и светлое небо говорят об одном и том же свете. И о радостных лучах солнца можно говорить с таким же правом, как и о радостном лице. Здесь нет какого-то *переноса* значения слова с одного явления на другое, так, чтобы, например, слово «свет» нужно было считать преимущественным обозначением физического явления, только перенос-

но обозначающим свет сознания. На самом деле подлинное значение этого слова не совпадает ни с тем, ни с другим: оно относится к некоторой *сущности*, проявляющейся и в свете неба и в свете мысли. Но именно поэтому всякий, совершающий символический акт, говорит в такой же мере и *о себе*, как и о том, что он познает *вне себя*. И слово, как отклик реальности, есть поэтому не только слово о жизни вне человека, но и слово его о себе самом.

Символическое действие, будучи мостом, соединяющим человеческую душу с миром, становится, благодаря этому, также и орудием общения людей между собою. Совместная пляска нескольких человек, совершаемая как отклик какому-то живому ритму самой жизни, есть в то же время для каждого из ее участников зов и отклик, обращенные к другим людям. Поэтому и слово, как символический акт, становится орудием общения человеческого: чрез слова иным образом душевная жизнь одного становится доступной другому. В ряду всех действий, производимых с этой целью человеком, слово наиболее свободно и мощно, так как оно само является наиболее живым выражением внутреннего состояния человека. Связывая его со сложными образами действительности, оно дает возможность обладающим речью существам соединять общение друг с другом с самим актом постижения объективной реальности. Говоря друг другу о себе, они делятся друг с другом своим опытом, своим ведением жизни, не ограниченной их малыми «я».

Когда мы говорим о голосах жизни, это, конечно, метафора, но именно потому, что это метафора, голоса жизни должны быть признаны реально сущими. Жизнь обращается к нам со своим словом, потому что в ней подлинно присутствует мысль. Мысль, какую мы ее знаем в нашем сознании, есть поэтому отклик словам, идущим от жизни. Нет надобности искать в слове-звуке какого-то звукового подражания вещи, явлению. Словом человека воспроизводится само слово в его истинном смысле, в его собственном содержании, как слово-мысль-звук, а не только какое-либо «явление».

Отклик словом на слово имеет место, собственно говоря, в каждом нашем символическом акте. Ведь мысль, присутствующая в реальности вообще, присутствует и в наших действиях. Если бы даже эти действия совершались без всякого сопровождения их сознанием, то и в этом случае они не были бы лишены мысли-слова. Осмысливание нами наших действий, осознание их, есть нахождение заключенной в них мысли, а не привнесение в них извне чего-то им по существу чуждого. Человеческие же действия совершаются в сопровождении сознания, и потому слово отклик,

имеющийся в них, есть также и отклик сознания. Внутреннее говорение сопровождает все человеческие действия, и может возникнуть вопрос, для чего понадобилось эти уже рожденные слова воплощать в слышимой речи, если они рождены вместе с облеченными плотью символическими движениями, жестами, позами, вместе с вещами.

С того момента, как слово-мысль делается слышимым, человеческие отклики жизни приобретают несравненно большую силу. И познание бытия и творческое участие в нем делаются не только более глубокими, но и охватывающими гораздо более широкие области.

Речь в качестве внешнего выражения слова, имеет целый ряд преимуществ перед всеми другими человеческими действиями. Прежде всего, уже сама большая сравнительно динамичность, подвижность речи делает последнюю наиболее свободной.

Среди наших действий нет ни одного, которое могло бы в достаточной мере поспевать за огненно-быстрым потоком мысли в самой реальности, не говоря уже о том, что ни одно из них не в состоянии откликнуться всем тонким и сложным извилинам объективной мысли-слова и не в состоянии отразить в себе в достаточной общности и в то же время достаточно детализованно богатой и сложной системы идей, воплощенных в мире. Между тем, для проникновения в большую глубину реальности и для большего ее охвата необходима весьма большая подвижность символов. К этому нужно также прибавить, что только при такой подвижности возможно сделать символы в той мере ритмичными и свободными, как этого требует их роль откликов ритмичному и свободному дыханию жизни.

Слово, воплощаемое в слышимой речи, в силу большой динамичности речи, не встречает в этом случае тех задержек и преград, которых не могут миновать все наши более косные, более тяжелые проявления жизни. Даже если бы мы захотели передать слова только графическими знаками, в которых мы, конечно, более свободны, чем в движениях собственного тела, или в создании каких-либо вещей, то и эти слова-знаки были бы еще очень далеки от того ритма и от той подвижности, на какие способен звук. Не встречая задержек и не зная пределов богатству своих форм, язык человеческий и мысль человеческая ухватывают далеко простирающиеся линии живой мысли, творящей мир. Когда мысль-слово свободно звучит в речи, она приближается к отклику единому, все голоса жизни охватывающему Слову, тому Слову, которое так близко знал Гераклит, гениально прозревший его тождество огню. На самом деле, и все наши отклики, все символиче-

ские действия только тогда и могут обладать действительно вызывающей силой, истинной магией, только тогда и могут быть ответами, дающими знание реальности, когда они не знают остановки и вводят в систему символов, влекущих нас все дальше и дальше, до полного обхвата жизни. Но только свободная песнь, речь, поток образов, мыслей, слов, ничем не задерживаемых, может повести в эту даль и открыть перед нами единое слово, дать силы творческого зова, на который откликнулось бы само слово. Вот почему человек, именно как человек, а не как явление природы только, знает в себе какую-то почти непреодолимую потребность сопровождать песню, внешним ритмическим говорением все свои остальные символические акты. Редко можно было бы видеть несопровожаемую звуками пляску, совершенно безмолвное сценическое действие, молчаливую процессию и т.п.

И даже в тех случаях, когда символ требует именно молчания (печальное шествие, эротическая пляска и проч.), само это молчание, как нарочито присоединенное к символу и подчеркивающее его особую торжественность, или мрачность, или напряженность, — есть молчание говорящее: это только пауза, которая, как известно, входит в содержание слова, а не является чем-то ему противоположным. Безмолвные символы сопровождаются, собственно говоря, тоже звучанием, звучанием паузы. Действий же, которые совсем не знали бы звукового сопровождения и которые поэтому были бы нейтральны по отношению к звуку, вероятно, совсем не существует. По крайней мере, такие действия уже были бы лишены значения символов, совершаемых человеком. В них человек уже приравнивал бы себя к существам, не знающим своего лица. Ибо потребность пройти в своих символах *весь путь* до единого слова есть потребность, свойственная личности как таковой, и отсутствует у тех, кто личности в себе не ведает. Гераклит скорбел о людях, теряющих эту потребность, ибо их он имел в виду, когда говорил: «Хотя и существует единое слово, но живут многие так, как будто бы каждый имел свое». Так живущие живут во сне, потому что только во сне у каждого свой мир: проснувшиеся знают, что все они в одном мире.

Вторым и самым существенным преимуществом звуковой речи, как материала символического акта, является само звучание. Как я говорил в начале, слово-мысль и слово-звук неотделимы друг от друга. Но кто же дал нам право думать, что эта нераздельность их должна наблюдаться только в мышлении и говорении, как в процессах, а не в самой мысли-слове, как онтологическом начале. Не звучит ли слово само по себе, и не потому ли мы находим в нашей звуковой речи наиболее подходящий способ

отклика слову, что в данном случае мы можем отвечать на звучание слова собственным звучанием, пользуясь звуком, как тем, что ближе всего к самому звучанию слова?

Было бы странно, конечно, утверждать, что само слово непременно связано с *flatus vocis*, с воздушными волнами или со слуховыми ощущениями. Онтологическое звучание, конечно, не физическое звучание, как и онтологический огонь Гераклита не сводится в своем существе к тем химическим процессам, которые мы называем горением; но точно так же, как огонь мира неотделим внутренне от явления огня, говорящего о нем, потому что все явления суть говорящие о реальности символы, от самой реальности неотделимые, — так и слово звучащее находит себе, между прочим, символическое выражение и в музыке сфер, и в нашей музыке, и в нашей песне, в явлении звука вообще. То, что можно назвать звучанием слова, есть, конечно, не только звучание.

Это лишь взятая в одной своей стороне слава слова, та основная глубочайшая *слава жизни*, которая с таким же правом, рассмотренная с другой своей стороны, оказывается огненностью, горением. Звучащее слово — оно же и огненное слово, оно же и светлая мысль, светлое, блестящее слово, сияние славы. Вообще, сияние, блеск, свет, мысль, яркий звук — есть лишь символические, т.е. метафорические обозначения какой-то одной энергии, которую может быть всего ближе было бы назвать именем славы, т.е. в сущности тем же именем слова-мысли. Сильный, резкий звук и яркое пламя, очевидно, из начала были сближены в сознании человека, если на языке наших отдаленных предков звук и свет обозначались словами общего корня (в санскрите *svar*) и если, например, в Риг-Веде торжественный гимн и солнечный луч имели одно имя (*ark*). Луч представлялся песнью солнца, а песнь сияла и светила, как солнечный луч. Песни и гимны, потоки слов текут, как влага, как река. Для Вед у гимна-песни и у огня один отец и владыка: текущий потоками небесной влаги опьяняющий огненный Сома-Агни, «дождем разливающий гимны, струящий гимны».

И в еврейском сознании слова текут, как влага, подвижные, быстрые. «Слушай земля слова уст моих, прольется, как роса, вещание мое, как ливень на всходы, как проливной дождь на растение» (Второзаконие). Но эти динамически мощные потоки, словесные реки, напоющие и оплодотворяющие землю, таят в себе огненную, светлую, дающую свет, знание, блеск мысли силу. Потому что реки эти суть «речи светоносные, лучистые, испускающие

свет». (Риг-Веда*). Огненное сияние мысли-слова есть ее же звучание, и, конечно, среди всех явлений, доступных нашим восприятиям, быстро несущийся свет и ритмический звук в наибольшей степени приближают нас к силе слова.

Звуковое содержание слова, произнесенного человеком, соответствует в какой-то мере, как символ, звучанию самого слова. Язык человеческий — не случайное изобретение и не условная деятельность, а творческое вхождение в самую реальность, открывающее истинные, вечные имена вещей. Уже Платоном (в диалоге Кратил) решен вопрос: слова имеют свое значение не $\nu\omicron\mu\phi$, а $\gamma\upsilon\beta\epsilon\iota$.

«Правильность названия прирождена каждой из вещей уже от природы». И если мы, люди, говорим на разных языках, так что кажется, будто каждый из народов по-своему называет вещь, то ведь каждое символическое действие, каждый символический отклик производится каждым из нас, конечно, тоже по-своему.

И речи человеческой, как символическому действию, нет никакого основания быть в этом отношении исключением. Наоборот, чем многообразнее ответы-отклики, тем полнее в этом многом вскрывается единое, общее. Есть единый человеческий язык, но на этом языке, как и на едином русском языке, каждый из нас говорит по-своему. Когда нам кажется, что мы не понимаем чужих языков, то это лишь результат недостаточно внимательного вслушивания в общее. Когда же нам кажется, что мы говорим со многими на одном языке, то это результат недостаточно внимательного отношения к различиям. Имена же реальности, по-разному звучащие для каждого из нас и в каждом из нас вызывающие по-разному звучащие ответы, суть имена неотменимые, присущие реальностям самим по себе. Наше общее слово дает нам ведение именно этих имен, и кто не знает имен, тот не знает реальности. Имена — не «собственные», имена не клички, произвольно даваемые вещам и лицам, а общие идеи, единое во многом, но в то же время они — нечто конкретное, личное.

Для придания вещи собственного имени пользуются словами как готовым материалом. Вот почему все собственные имена, кроме того значения, которое им придается как названиям единичных предметов, как кличкам, имеют всегда еще и общий смысл, являющийся воистину их собственным значением. Придание лицу или вещи имени первоначально, надо думать, соверша-

* Эти и последующие выдержки из гимнов Риг-Веды я привожу в переводе Д.Овсяннико-Куликовского в его книге «Опыт изучения вакхических культов Индо-европ. древности». Од.188.

лось даже не ради удобства, представляемого вообще кличками, а в предположении магической силы, которою обладает слово-символ. Именуемый львом, силою этого имени становится в какую-то внутреннюю связь со львами вообще, с тем, что символизируется словом лев, приобщается к львиности, если можно так выразиться, потому что само слово лев по своему первоначальному значению ближе к тому, что мы назвали бы теперь «существом, обладающим львиностью», а не просто львом.

Я сказал: не существует собственных имен. Но в каком-то смысле, быть может, только собственные имена и существуют. И все слова, живые слова, всегда имена, а не нарицательные термины. Только умирая, живое имя превращается или в условный термин, или в ничего не говорящую условную кличку. Но и в том и в другом случае мертвое слово уже не говорит ни о конкретности, ни об общности: оно говорит в первом случае о сумме частных, во втором случае об *одном* частном (о понятии), реальности же самой по себе, которая всегда есть в одно и то же время общее и вполне конкретное, эти мертвые слова не касаются. Без имени нет никакой живой реальности. Человеку для того, чтобы действительно быть человеком, надо иметь свое имя. Перуанцы верили, что даже каменные изваяния людей могут быть оживлены через дарование им имен.

Слово-символ открывает истинные имена жизни и именно поэтому дает и знание ее, и творческое могущество для действительного участия в ней. Права была богиня Вач в Риг-Веде, когда говорила о себе: «гибнет тот, кто не чтит меня. Внимайте. Я возвещаю достоверное. Я открываю то, что признано богами и людьми. Я делаю сильным того, кого полюбила».

Богиня Вач была богиней речи, песни, звука. Я позволю себе закончить словами этой богини, резюмирующими все мною вышесказанное, приведя целиком один из гимнов, ей посвященных (в переводе Д.Овсяннико-Куликовского).

«Я шествую вместе с Рудрами, Васавами, Адитьями и всеми богами (или Вашвадевами): Я Митру и Варуну обоих ношу, я (ношу) Индру и Агни и (ношу) обоих Ашвинов.

Я Сому обильного ношу, я (ношу) Тваштара и Пушана, Бхага: я даю богатство совершающему возлияния, ревностному, приносящему жертву, выдавливающему сок (Сомы).

Я царица, собирательница благ, мудрая, первая из (божеств) достойных поклонения. Это меня боги распределили по многим местам, (создав меня как) обительницу многих (мест и как) путеводительницу повсюду.

Мною вкушает пищу тот, кто видит, кто дышит, кто слышит сказанное, (сами того не зная), они при мне состоят («они о мне живут»). Слушай. Слушайте. Я говорю тебе правду.

Я ведь сама собою это говорю, излюбленное богами и людьми. Кого я люблю, того я делаю страшным (мощным), жрецом, поэтом, мудрецом.

Я натягиваю лук Рудро, для стрельбы, для убийства того, кто ненавидит молитву. Я сообщаю людям боевое воодушевление. Я проникла небо и землю.

Я возбуждаю (воодушевляю, привожу в экстаз) отца, в голове его; мое рождение — среди вод, в океане; оттуда возвысилась я надо всеми существами, и головою касаюсь я самого неба.

Я, как ветер, развеваюсь, охватывая все существа. Превыше неба, здесь превыше земли — столь великой я стала».

М.И. Каган
ЕВРЕЙСТВО В КРИЗИСЕ КУЛЬТУРЫ

К кризису культуры уже не подходят больше с усмешкой и сомнением. Печальный этот факт стал достоянием сознания, подавляющим подчас всякое устремление к ответственной культурной деятельности, к творчеству. Переживание тяжелое. Тем не менее, то, что его вызывает, не есть нечто экстраординарное, не есть нечто роковое, оправдывающее уход от культуры, уход назад «к природе». В том-то и дело, что сама «природа» и есть то исторически-роковое, что всегда приводит к кризису. Весь труд, вся работа культуры всегда на то и направляется, чтобы преодолеть косное безразличие уже готовой, постоянно преднаходимой хаотической или теоретически закономерной стихии природы. Ведь преодоление рокового бремени трудом и есть ответственно-свободное творчество бытия исторической культуры, мир которой не закончен, не завершен, открыт. «Новое небо и новая земля» не антикультурны, не хаотичны, не преднаходимы, они только предназначены для свободного участия людей. И когда получается, что человеческая культура вдруг оказывается перед пропастью, когда творчеству истории угрожает гибель, то причиной такого рода явления может быть не роковая сущность культуры, а, прежде всего, отсутствие индивидуально-творческой силы самой культуры.

Дело не в том, что сегодня эта безраздельно-цельная творчески порождающая культура будто бы отсутствует. Возможно, что именно сегодня, именно тогда, когда кризис ощущается острее всего, какая-то особая, новая, нераздельно-индивидуальная, творчески имманентная культурная мощь настоятельно застав-

Подробные данные о биографии и творчестве Матвея Исаевича Кагана (1889-1937) см. в работе К.Невельской. *М.М. БАХТИН И М.И. КАГАН*. — Исторический сб. *ПАМЯТЬ*. Вып. 4, Париж, 1981, с.249-281.

ляет нас требовать созидательного могущества, индивидуальности нашего культурного прошедшего, вернее, нашего былого. Наше культурное былое — разрознено. Мы ответственны за все культурное наследство истории. Возможно, мы не сумеем вынести этого бремени сколько-нибудь творчески. То, что нас хаотически разлагает, это неиндивидуальная стихийность хаотического естества, которая при своем безразличии к культуре действует на нее разрушительно. Преодолеть это можно только трудом. «Естественный ход вещей» может идти параллельно творчеству культурной истории; некоторое время — бывает, что и долго — он сумеет выдавать себя за историю, цивилизируя человечество, делая людей техническим средством, посредниками между стихией и культурой исторической. Естественный ход вещей и приводит культуру к кризису, сам при этом оказываясь в критическом состоянии.

История человечества, культура его в истории всегда *открыта* и не завершена, но в то же самое время она создается, *индивидуально* — замыкаясь эпизодами, будто бы предвосхищая завершенность и совершенство «нового неба и новой земли», совершенство бытия, цельность и целесообразность мира во всей его полноте, осуществленность жизни в ее постоянстве единства разнообразия. Всякий момент действительной истории как бы мифологически объективно заключает в себе и задачу и решение ее, задание и оправдание бытия будущего в настоящем. Исторически всякая группа людей — это индивидуальность, творящая культуру в целокупно постигнутом мифе, завершающем как бы всю историю. И если тот или иной момент истории ощущается как критический, то индивидуальность эта уже не совсем индивидуальна, разложена чем-то безличным и посредственным, абстрактно-обезличивающей цивилизаторской техникой, заменившей жизнь индивидуальности и непосредственность истории вообще. Недостаточная цельность оборачивается разложением и распадом. Недостаточная индивидуальность — ущербом творчества и инертностью.

Какое отношение все это имеет к непосредственно переживаемому нами кризису культуры, к кризису европейской и еврейской культуры?

Оправдано ли сопоставление европейского и еврейского?

Дело здесь не в нарочитом сопоставлении. Культур много. Вряд ли сейчас вообще можно отделить одну культуру от другой. Я имею в виду культуру европейскую и культуру евреев. Нельзя не считаться с тем, что на протяжении двух тысяч лет происходила иудаизация европейской культуры. Христианизируясь, Ев-

ропа проникалась иудаизмом. Идея культурного национализма воодушевляла всякую реформацию христианских народов. Дело тут даже не в полной иудаизации, конечно, а в принятии идеи народа-гения, творящего культуру. Несмотря на то, что гениально-творческая индивидуальность христианских европейских народов связана преимущественно единством в прошлом, единством происхождения от одних и тех же предков, а не единством задач будущего, иудаизация христианства в истории остается фактом. Историю европейской части человечества можно рассматривать как историю христианскую. Это не значит, что все европейцы во всем христиане. В большей или меньшей степени, они, конечно, язычники. Трудно решить, что отделило христианство от иудаизма больше: сам иудаизм или языческие черты в европейском христианстве. Христианство с его тенденцией разработки откровения индивидуальности человека — Раба и Сына Божиего — вряд ли столь сильно отошло бы от иудаизма, если бы не тревожили его задачи, стоящие перед язычеством. Язычество тоже неоднородно и отнюдь не преодолено. Главное, что объединяет язычество и роднит язычников — это подход к миру, как к уже готовому. Пантеистическое отношение к миру и бытию — по существу своему языческое.

Задача *историческая* в том, что мир вовсе еще не готов, что все дело в созидании его, в очищении себя работою над ним, эта задача язычеству чужда. Задача *истории* — задача иудейская. И ее приняла Европа, не сумев отойти от постижения мира как мира наличествующего, готового. Пантеистическая струя христианства, абстрактно живущая в нем, сделала его внутренне понятным и приемлемым для всех европейских народов и отделила его от иудаизма, от иудейства.

Этически же причина была не в этом.

Здесь надо сказать, что альтруизм христианства уступает альтруизму иудейскому. Представления, бытующие на этот счет, основаны на недоразумении. Ведь и завет «возлюби ближнего как самого себя» в иудействе выражен гораздо альтруистичнее. «Rea» это не только ближний, но и «другой» — alter и даже «пришелец», «чужой»¹. «Сомоичо» означает второе лицо, буквально, «он — это ты»². И пресловутое «око за око», доказывающее будто бы мстительность, не более чем недоразумение. В контексте речь

¹ Сравн. Н.С.С. С. Cohen. *DIE RELIGION DER VERNUNFT AUS DEN QUELLEN DES JUDENTUMS*. Leipzig, 1919, S.508.

² Там же, S.138, слова Акивы: «Ты должен любить другого (Rea), он — это ты. Это имеет великий смысл в Торе».

идет о штрафах и наказаниях за насилие над рабами и другими обиженными. За око обиженного — око обидчика, сильного своим произволом³. А перевод «возлюби ближнего, как самого себя» дает эгоистическое его как исходный пункт, как этическое мерило. По отношению к иудейству, живущему коллективной индивидуальностью, это было бы нелепостью. У пророка идея ответственной и творчески единичной индивидуальности, когда он провозглашает, что человек не только потомок, подобный своим предкам, но и участник культурного творчества, ответственный за все, что было и что будет, — дана четче, чем в идее Христа, которому следует уподобляться как Герою.

Упорное неприятие евреями христианства есть и нежелание пожертвовать идеей, отличной от пантеистического альтруизма, идеей, без которой может быть по существу подорвана идея свободы. Пантеистический альтруизм христианства сделал идею истории близкой Европе, ввел ее в круг исторического действия, но этот же пантеистический альтруизм подорвал индивидуальный характер исторического творчества и привел к глубокому кризису.

Еврейство тоже причастно к этому кризису. Оно все более и более проникалось пантеизмом.

Большинство мистических устремлений евреев, включая и новейший хасидизм, несомненно пантеистично, и эти устремления близки к христианству. Еврейские цадики, русские старцы, несмотря на всё их различие, похожи, потому что они рождены в большой мере пантеизмом, они героичны, связаны с приятием *воплощенной* святости, биологической святости живого человека. Современная Европа практически почти нивелировала положительно-культурную разницу между иудеем и христианином, сохранив за ними разные отрицательно-культурные свойства распадающейся индивидуальности.

Дело совсем не в том, чтобы всё время оглядываться назад и только в прошлом находить культурную цельность, полноту и целесообразность. Оставляя в стороне другие мировые религии, потому что трудно предположить, какую роль сыграют они и сыграли уже в творческой истории человечества, отмечу только, что языческое жизнеощущение и языческое воздействие на действительность отнюдь не прекратили своего существования и не прекращались никогда.

Жизнь язычества более существенна, чем его отмирание.

Язычество живо тем, что оно внутренне постигает какое-то требование смысла в связи с человеком, не принимая существу-

³ Сравни. Исход, 21, 26 сл.

ющий мир как исключительно возможный и завершённый. Оно ставит задачи, связанные с откровением смысла. Но смыслов для него — много, как и богов много. Много и людей, много задач. В этом и таится смысл мифотворчества, которое по существу своему — постановка проблемы истории человечества, истории как таковой, истории вообще.

Мифотворчество — это не то, что необходимо преодолевать во имя науки как нечто неразумное или недоразумное. Миф несколько и не претендует на научное понимание объективных закономерностей жизни. Мифология и естественно-научная теория — это разные культурные факты, которые не зависят друг от друга. Наука познаёт закономерность существующего, мифология постигает смысл того, что ещё не осуществилось. Миф и не пытается объяснить космически-объективное бытие природы, он есть постижение осмысленно-целесообразного бытия в связи с необходимостью для человека видеть в бытии смысл.

Истории мало только лишь объективироваться, ей надо быть бытием оправданным, имеющим смысл. Мир для человека — это совместное творчество бытия и человека. Всякие такого рода постижения предварительны. Однако они ставят задачи творческие. Таковы все мифы. Как предвосхищения смысла истории они многообразны, и поскольку они не ставят перед собой задачи найти единичный смысл бытия, они в большей или меньшей степени пантеистичны и политеистичны, но в то же время они вполне отличны и от научного постижения объективной природы. Они могут быть чужды идее науки вообще, понимая науку как миф особого рода, как миф о теоретически-постигающем разуме. Но такого мифа о науке может и не быть. Речь здесь только о том, что пока история не живет прежде всего единством смысла во всей его полноте, до тех пор всё — в большей или меньшей степени — остается языческим, политеистическим. Это факт, от которого не следует отмахиваться. Человечество не впервые пытается вступить в историю, не впервые пробует постигнуть проблемы истории как смысла, которого в готовом мире, существующем фактически, собственно говоря и нет. Всё язычество, в том числе и античное, ставило перед собой задачу постижения смысла для того, чтобы понять историю.

Греки не справились с мифом о единстве смысла бытия, как бытия исторического в его трансцендентной и несравнимой целесообразности бытия совершенного единства. Эта проблема, проблема истории выпала на долю еврейскому народу, священные книги которого и говорят о бытии как бытии историческом. Вопросы научные, вопросы частных наук еврейство не ставило.

Кажущаяся некосмичность библейской мифологии не есть незнание или непонимание мифического. Космологическое и пантеистическое было включено в проблему истории. В христианстве это вылилось в противопоставление науке как мифу, разрабатывающему проблемы объективной природы.

Пантеизм христианства слишком быстро справился с язычеством, не преодолев его. И осталось язычество подпольное, в виде гносиса, язычество, пытающееся привлечь к себе христиан, стремящееся не зависеть от церкви, от христианства. Появилась идея христиански-светского государства и вместе с тем создавались государства вне связи с церковью. Жизнь под опекой церкви и не зависящая от нее. С одной стороны: церковь как всеобъемлющее учение, с другой стороны: науки — вне связи с церковью. Потом борьба с науками, подобная борьбе с языческой мифологией, выступление против внецерковных государств, против свободного хозяйства и быта. Со всем этим христианство борется так же, как и с иудаизмом. А изолированное от всего мира иудейство тоже кое-что заимствует у христианства. Государственность стала претендовать на самоцельный смысл, хозяйственность — на свой смысл. В общем, цивилизаторская и технически-организационная стороны жизни противопоставили себя канонически священным. Науки выступили против церкви, связывая себя то с хозяйством, то с государственностью, то противопоставляя себя и тому и другому. С точки зрения церкви — появилась культура духовная и культура профанная. С точки зрения мирской жизни — культура религиозная и атеистическая.

Свобода творческих сил человека вне религиозной культуры породила Ренессанс, который, несмотря на все тенденции его и связи с реформацией и иудаизмом, с одной стороны, и с язычеством, с другой, все-таки противостоит духовной культуре и сливается с атеизмом. Это *обращенное* средневековье лишает человеческую культуру самого важного, того, что является душою исторической жизни вообще, без которой человечество — люди вообще и отдельный человек — жить не могут, ибо все знают, что мир открыт и открывается, что он создается людьми, живущими творчеством, отличным от простого продолжения и развития стихийной природы, которую исследует наука.

Постоянный и самый важный вопрос сегодняшней культуры — как христианской, так и иудейской — это вопрос канонизации, признания святости труда-творчества. Еврейство не знало средневекового разрыва между культурой профанной и духовной, но, причастившись к Ренессансу до того, как он наступил, оно познало профанную атеистическую культуру. Теперь они, евреи, в ате-

истическом пафосе не уступают христианским народам, и даже превосходят их, усердствуя более рьяно.

Интересно, что в средние века евреи не ощущали нецельности, разъятости культуры, сохраняя представление о смысле всей культуры. И это в то время, когда вокруг шла непрерывная борьба, разрывающая всякую цельность.

Не утратили знание цельности мира и смысла культуры отчасти также и христианские монастыри и монашеские братства, если они не становились на путь государственной церковности. Это может быть поучительным и в сегодняшнем кризисе культуры.

Пагубен отказ от идеи единства и смысла всей истории. Задачи творчества многолики и многообразны, разным группам людей они открываются по-разному, теоретическая же предпосылка — общая для всех.

Понимание цельности человечества и цельности единого смысла бытия как исторического космоса не может быть ни юридически-цивилизаторским, ни абстрактно-научно-теоретическим. Оно может быть лишь индивидуально-творческим, творчески конкретным. Признание святости культуры может появиться в небольших братствах. Их должно быть много, они не будут ни иудейскими, ни христианскими, но могут тяготеть и к иудаизму, и к христианству. Они могут быть даже и внутрицерковны, только творчество их, работа их не ритуально-культовая, не чисто церковная. Их путь труден, они включают и всю культуру мифологического творчества. В них есть правда и языческая, и христианская. Что-то похожее было у евреев в средние века; но сейчас творчески необходимо изжить неиндивидуальность, механистичность. Очень может быть, что необходимо вступить в новое средневековье. Тогда язычество, христианство, иудаизм встанут рядом для нового возрождения творческой культуры осмысленной истории, истории, имеющей смысл. Вполне вероятно, что такая органически творческая, братская жизнь отнюдь не настанет сразу и навсегда, но только такой путь истории не приведет к кризису.

Кризис возникает из-за утраты смысла, утраты представления о свободе индивидуальности. Кризис культуры, по существу, — забвение проблемы истории как строительства «нового неба и новой земли», кризис культуры в решении периферийных вопросов, в представлении об истории, как о преходящем, концом которого является забвение, Лета. Между тем как история, по существу, допускает смерть только в прошлом, разрушение — в прошлом, в будущем же — жизнь. История отстаива-

ет жизнь от смерти, требуя постоянного благодатного творчества.

В кризисную эпоху средневековья иудаизм отстоял смысл от бессмыслицы и распада индивидуального творчества. В нем была некая монашеская черта, при том, что никакого монашества в еврействе не было. Та черта, которая отличает монашество, нашедшее путь к спасению в работе, в благодати творчества, как в осуществлении идеи осмысленной истории. Смысл этот, конечно, не рационалистичен, а космичен и откровенен. Он не вступает в конфликт с разумом познания, но он больше его. Без него невозможно вообще ни говорить об истории, ни жить в ней. Христианство этот смысл рационализировало, отделив его от живого органически творящего его коллектива, сделав его жизнью церкви вселенской и интернациональной. С другой стороны, христианство вводило в этот смысл стихийно пантеистические моменты чуда, которые приводили мифологию в конфликт с разумным постижением природы. И то и другое подрывало цельность и имманентность любви в ее целесообразной правде единства смысла истории, давало возможность преодоления идеи истории как смысла жизни.

Таким образом, вопрос, на который европейская культура не дала ответа, это вопрос о святости культуры. Вряд ли нужна официальная канонизация, канонизация догматическая, как об этом думает Н.А. Бердяев. Гораздо более нужны в свободной язычески-мифотворческой канонизации, которая любовно и эстетически появляется в самой творческой жизни. Цивилизованное декретирование само по себе абстрактно и нежизненно.

*Петроград,
январь 1923 г.*

М.О. Гершензон
ПИСЬМА К ЛЬВУ ШЕСТОВУ (1920-1925)

Публикация А.д'Амелиа и В.Аллоя

В русской культуре конца прошлого — начала нынешнего столетий Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) занимает особое место. Будучи непрекаемым авторитетом в области истории литературной и общественной мысли, сам он, как мыслитель, остается по сути еще не открытым. Для исследователей он, прежде всего, автор «Исторических записок», «Образов прошлого», «Грибоедовской Москвы», «Мудрости Пушкина» и т.д. — блестящий стилист, психолог, мастер художественно-философского портрета. Затем — публикатор и редактор архивных материалов¹, вдумчивый текстолог, знаток исторического быта русской культуры. Наконец — тонкий, изощренный переводчик². И лишь в последнюю очередь, да и то вскользь, упоминаются собственно философские работы Гершензона, что, по-видимому, должно подчеркнуть их несамостоятельность, вторичность в его наследии. Взгляды его обычно характеризуют одной фразой: «примыкал к философскому учению первых славянофилов»³; развивал «вариант мистико-идеалистической философии»⁴; основывался «на идеях философского идеализма, /.../ интересо-

¹ См., напр., изданные под его редакцией *ПИСЬМА А.И. ЭРТЕЛЯ* (1909), *ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И.В. КИРЕЕВСКОГО* в 2-х тт. (1911), *СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И.НИКИТИНА* (1912), *СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА П. ЧААДАЕВА* в 2-х тт. (1913), а также 6 тт. *РУССКИХ ПРОПИЛЕЙ* (1915-1919) и *НОВЫЕ ПРОПИЛЕИ* (1923).

² В переводе Гершензона вышли: *ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ* Лависса и Рамбо в 3-х тт.; *ИСТОРИЯ ГРЕЦИИ* Белоха в 2-х тт.; *ОБРАЗОВАНИЕ* Паульсена; *МЕТОД В ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ* Лансона; *ПЕТРАРКА* (прозаические произведения) и др. книги.

³ См. статью А.Горнфельда в *НОВОМ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ*. СПб, изд. Брокгауз-Ефрон, т.13, с.345.

⁴ См. статью Н.Пиксанова в *БСЭ*, под ред. Н.Бухарина, М.Покровского и др. М., 1929, т.16, с.502.

вался исканиями религиозно-мистического характера, поисками иррационального начала в творчестве»⁵. Либо не характеризуют вовсе, — просто отсылая читателя к его книгам⁶.

Интересно при этом, что у самого читателя имя Михаила Осиповича Гершензона ассоциируется прежде всего с «Перепиской из двух углов», в которой он выступает соавтором Вячеслава Иванова и развивает именно свои философские концепции. Но и здесь проявляется тот же парадокс: «Переписка из двух углов» — книга для него в значительной мере случайная, создававшаяся в специфической обстановке, почти против воли самого Гершензона⁷.

Даже у ближайших его друзей — Вячеслава Иванова и Льва Шестова — философская позиция Гершензона вызывает противоположные по смыслу возражения. Первый упрекает его в «обостренном чувстве непомерной тяготы влекомого нами культурного наследия», проистекающем «из переживания культуры не как живой сокровищницы даров, но как системы тончайших принуждений»; в том, что собеседник не мыслит «пробытия в культуре без существенного с нею слияния» и отказывается от нее, ибо «опротивела мумийная "культура", с ее неутоляющей жажды мудростью»; наконец, в забвении памяти человечества, которая собственно и есть культура. Вывод Иванова категоричен: «пуста свобода, украденная забвением. И не помнящие родства — беглые рабы или вольноотпущенники, а не свободно-рожденные»⁸.

Лев Шестов, всю жизнь борющийся с самоочевидностями, с принудительностью категорий разума, упрекает друга в отказе от этой борьбы, в сдаче на милость истины «мира сего», заменяющей личностное отношение к Богу «общечеловеческим». Сравнивая «Переписку из двух углов» и «Ключ веры», он с горечью заключает, что попытка вырваться за пределы этих истин Гершензону не удалась, и «все "религии, философские системы, знания, искусства и т.д.", память о которых так тяготила его душу и от которых он, слушая великолепные речи своего друга и товарища по здравнице, так страстно стремился освободиться, вновь приобрели власть над ним...»⁹

Если оба критика в чем-то и сходятся, то единственно в признании у оппонента «вопиющих противоречий», смешения понятий, отказа от диалектики и логики.

Между тем, Гершензона меньше всего можно обвинить в противоречивости и непоследовательности мышления. Ощувив разрыв между «логическим сознанием и чувственной личностью», он всю свою жизнь

⁵ См. статью А.В. Белинкова в: *КЛЭ*, М., изд. «Советская энциклопедия», 1964, т.2, с.160-161.

⁶ См. предисловие М.Цявловского к кн.: М.О. Гершензон. *ПИСЬМА К БРАТУ. ИЗБРАННЫЕ МЕСТА*. М., 1927.

⁷ См. письмо №4 от 26 июня 1922 г. в настоящей публикации.

⁸ Вячеслав Иванов и М.О. Гершензон. *ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ*. Пг., «Алконост», 1921, с.13, 20, 40, 57.

⁹ Л.Шестов. *О ВЕЧНОЙ КНИГЕ. — УМОЗРЕНИЕ И ОТКРОВЕНИЕ*. Париж, 1964, с.21.

шел одним путем — поиска органического единства, при котором направленному вовне сознанию «присущ характер личного дела, самосознания личности». Для такого «раскрывшегося сознания нестерпимо созерцать хаос, оно должно искать единства в мире, которое есть не что иное, как единство собственной личности»¹⁰. Бесконечность внутреннего мира обуславливает для него связь с миром внешним, и только через нее, через открытие в себе Образа Божьего, осуществляется полнота внешнего «культурного» делания. «Когда сознание обращено внутрь, когда оно работает над личностью, — оно здесь, в ежеминутном соприкосновении с иррациональными элементами духа, непрерывно общается с мировой сущностью, ибо через все личные воли циркулирует единая космическая воля; и тогда оно по необходимости мистично, т.е. религиозно»¹¹.

Эти слова написаны за тринадцать лет до «Переписки из двух углов» и «Ключа веры». Проблема, сформулированная по отношению к русской интеллигенции в «Вехах», еще полнее раскрывается в «Тройственном образе совершенства»¹², — книге, которую можно назвать философским кредо Гершензона.

Мир един изначально, в нем все существует как личность, в нем «нет материи и духа, но вся материя духовна и все духовное воплощено; беспредельность действует только через предельное, и всякое проявление предельности исходит из беспредельности» (с.88). Трагизм человеческой судьбы определяется, по Гершензону, тем, что «человек поставлен в необходимость примирять два противоположных начала. Пока личность целостна, она неизбежно воспринимает и всякое другое создание как целостное, как личность, и потому встречает неодолимую преграду в личных волях всего, что ее окружает» (с.75). Расширение вовне — и есть, в сущности, культура. Ее единственный метод — отвлечение, и «отвлечением она не может не шириться, и потому неизбежно разлагает все уцелевшее в личности» (с.75), обезличивая ее, превращая уже не в субъект, но в объект культуры, в орудие ее бесконечной экспансии. Предел отвлечения — число, одновременно означающее для Гершензона смерть личности.

Полярная противоположность культуры — любовь, «потому что любить значит как раз целостно воспринимать чужую личность. Любовь /.../ одна дает человеку полное самопознание, тогда как творчество учит нас знать себя только частично; а познавать себя значит познавать свой образ совершенства» (с.75). «Любовь есть полнота жизни, реальное согласование противоречий: в пределе беспредельность, в двойственности единство, покой в движении и свет во тьме» (с.100). «Острие любви направлено против отвлечения и орудийности, разрушающих личность любимого; а ее положительное хотение — чтобы любимый осуществлял свой образ совершенства» (с.79).

Этот образ совершенства, «огненный центр» личности, существует в каждой человеческой душе, «тождественный у всех, и люди разнятся друг

¹⁰ М.О. Гершензон. *ТВОРЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ*. — В кн.: *ВЕХИ*. Сборник статей о русской интеллигенции. 2-е изд. М., 1909, с.73, 76.

¹¹ Там же, с.82.

¹² М., 1918. Все цитаты из книги приводятся в дальнейшем по этому изданию.

от друга только размерами его освещенной части. /.../ Поскольку человек ощущает его целиком, единый образ воспринимается им в трех видах: как образ своего лучшего "я", как образ лучшего мира и как образ своего лучшего положения в мире» (с.24). Гармония этих восприятий определяет и органичность человеческого бытия, и органичность культуры. «Нам даны три обитатели: первая — чистое бытие или бытие личности в ней самой, в ее тройственном образе совершенства. Здесь нет раздельности. Вторая — действительное бытие, где единство насыщено раздельностью. В каждом действии человек смешивает лицо и число — и сам выбирает пропорцию. Третья — смерть, царство Числа, где в ровном мертвенном свете все раздельно и все — вражда» (с.100).

В «Переписке из двух углов» Гершензон говорит в сущности о той же гармонии — в приложении к творческой деятельности человека. Он отнюдь не отказывается от культуры, как упрекает его Вячеслав Иванов. «Разве я не сын ее? Не блудный сын, как вы думаете, а, что тяжелее, сын блудной матери. /.../ Я вовсе не хочу вернуть человечество к мировоззрению и быту фиджийцев, отнюдь не хочу разучиться грамоте и изгнать муз /.../»¹³. Отвращает его лишь музей, пантеон, кладбище культуры. «Речь идет о динамичности познанной истины, об ее инициативности в духе. /.../ Объективная истина реально существует только как путь, как направление, но ее нет, как законченной данности, которую можно и должно усвоить себе. В "посвящениях отцов" драгоценно не содержание их, потому что содержание всякой познанной человеком истины условно, а постольку ложно и брэнно: драгоценна только их методология»¹⁴.

При утрате динамичности память мертвеет, инициации превращаются в мумии и фетиши. Это и есть для Гершензона «культура числа» — мертвое скопище раздробленных вещей, идей, систем, усвоенных без разбора и без потребности души, засоряющих ее и отвлечением подчиняющих себе разум, подобно «гуттаперчевым воротничкам, зонтам, калашам и часам, которые надевает на себя, выменяв у европейца, голый негр в джунглях Африки»¹⁵. Именно такая культура неприемлема для Гершензона. Но ведь то же самое говорил он и в «Тройственном образе совершенства»: «Дикий не знает Числа, и потому не умеет, мы знаем закономерность безличных природных рядов, но забыли Лицо — и потому все умеем, но творим без смысла и разумения» (с.86).

Спасением от разорванности, от числа — для Гершензона по-прежнему остается согласование противоречий, исполнение обоих законов: познания (= культуры) и любви (= оживления личности), другими словами — не свобода от умозрения, но свобода самого умозрения. «Исходная же точка, к которой все должно вернуться, — личность. Она вмести в себя всю найденную полноту /.../ вера снова делается простою и личною, труд — веселым личным творчеством, собственность — интимным общением с вещью; но и вера, и труд, и собственность будут в лично-

¹³ ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ, с.31.

¹⁴ Там же, с.33.

¹⁵ Там же, с.18.

сти непреложны и святы, а вовне безмерно обогащены, как из зерна проросший колос. Задача состоит в том, чтобы личное стало опять совершенно личным, и однако переживалось как всеобщее; чтобы человек знал во всяком своем проявлении, как Мария, заодно и свое дитя, и Бога»¹⁶.

Эта же мысль выражена и в «Ключе веры», но уже в применении к истории, которую Гершензон видит как «двойственное постижение [человеком] мира — как внеположной данности и вместе с тем как имманентного себе образа»¹⁷, т.е. по существу как постижение единого Бога. «В своем законченном виде Бог единобожия совмещает в себе три сущности или три смысла: образ мира, познаваемого как единство действующих в мире сил и вместе как закономерная объективация человеческого духа»¹⁸. «Бог и человек не два отдельных существа, но Бог — чистейшая и реальнейшая сущность человеческого духа»¹⁹ — тот самый образ совершенства, что составляет огненный центр личности. И потому «ключ всех земных дел — в душе человека; история всецело определяется состоянием души человеческой, здорова ли она, живет ли по своему закону или нет, — а это значит: цел ли в ней или выпал из нее ее главный стержень — вера в истинного Бога»²⁰. Таким образом, ключом веры для Гершензона является «мысль о космически-правильном поведении человека, как непреложном условии его благоденствия»²¹, другими словами — стремление к тому самому гармоническому бытию, когда личность вмещает всю полноту познания и любви. Религия — лишь «методология такой правильной, благополучной жизни»²².

♦♦

В споре между Афинами и Иерусалимом, между дионисийским витийством Иванова и библейским неистовством Шестова — Гершензон оказывается далек от обоих полюсов. Ему чуждо ивановское упоение, «пенье замуриив глаза»²³, убежденность, что «довольно выйти в дорогу, найти тропу; остальное приложится само собой»²⁴. Не прикладывается ничего — это Гершензон сказал еще в «Вехах». Истина дается лишь трудом, постоянным мучительным поиском, вырастает из человеческой истории, из ежедневной, практической жизни духа. Здесь Гершензон гораздо ближе к Шестову. Не потому ли Иванов упрекает его в плоскостном понимании культуры, а Шестова считает «трагическим и живучим могильщиком», всю жизнь свою пишущим один длинный и сложный трактат о духовном оскудении и тщете умозрений. Но и в этой близости есть своя черта. Там, где Иванов готов восставить вертикаль из «любого угла», лежащего

¹⁶ ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ, с.38.

¹⁷ М.О. Гершензон. КЛЮЧ ВЕРЫ. М., «Эпоха», 1922, с.90.

¹⁸ Там же, с.91.

¹⁹ Там же, с.103.

²⁰ Там же, с.71.

²¹ Там же, с.118.

²² Там же.

²³ См. письмо №4 от 26 июня 1922 г. в настоящей публикации.

²⁴ ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ, с.22.

на поверхности любой культуры, и воспарить; там, где Шестов, словно ветхозаветный Иов, ведет безнадежную тяжбу с человеческим разумом и Богом, — там Гершензон ищет ответа в себе, в глубинах человеческой личности, оставаясь на земле и одновременно открывая в душе связь с небом, с беспредельным, с мировой божественной сущностью. Можно было бы сказать, что в споре Афин и Иерусалима Гершензона тянет к последнему, но к Иерусалиму преображенному, тому, где Мария знает «заодно и свое дитя и Бога».

Близость к Шестову и одновременно та грань, что отделяет Гершензона от шестовской мысли, еще более выпукло проявляется в письмах. «Твои статьи говорят только "нет" людской мысли /.../ по самому существу твоего мировоззрения, оно не ищет положительной формулы, — оно может *в словах* только отрицать истинность всякой оформленной истины, говорить ей "нет", а не самой устанавливать свою оформленную истину»²⁵. «В общем твоя установка мне в высшей степени близка, но что-то не позволяет мне перейти на твой берег: меня удерживает на этом — если не ошибаюсь — конкретность моего зрения и чувства, т.е. страстное восприятие всего земного, человеческого, и сердечное участие в нем. Это земное можно улучшить только по старому способу; история не случайно выработала эти методы познания, эти идеи и идеалы; трехмерное пространство — иллюзия, но мы в нем живем и наши органы познания суть органы познания трехмерного пространства; значит, кто действует или хотя бы только следит за действиями, должен мыслить мир трехмерным. От этого я не могу отрешиться; но твоя заслуга, как Эйнштейна, та, что ты учишь видеть условность трехмерного мировоззрения. Есть великое освобождение в том, чтобы знать, что этот берег — не вся земля, что это именно берег, наш, человеческий берег, — а за ним есть безбрежное море, и по ту сторону его — иной, твой берег — четырехмерный, зыбкий мир чуда. И не только умственное освобождение: это знание многому учит и в земных делах. Этот "корректив" отсюда сюда я, кажется, твердо усвоил, отчасти из опыта последних лет, отчасти из Ветхого Завета, отчасти от тебя»²⁶.

Упоминание «опыта последних лет» чрезвычайно существенно для понимания поздних работ Гершензона, его общественной и человеческой эволюции. Шестов покинул Москву в начале 1918 г., в январе 1920 эвакуировался из России, в Париже обосновался с начала 1921. Гершензон провел все это время в Москве. Таким образом, речь идет о годах военного коммунизма и гражданской войны, о развале не одного лишь устоявшегося быта, но крушении всех жизненных связей: дружеских, профессиональных, мировоззренческих. Объясняя другу свою жизнь, Гершензон пишет: «Я страдал лично, страдал за бесчисленные чужие страдания, которые были кругом, — и думал про себя молча. /.../ Весь физический ужас нашей революции я чувствую наверно не меньше тебя, уже потому, что я его видел в большем количестве, — я разумею кровь, всяческое наси-

²⁵ См. письмо №4 от 26 июня 1922 г. в настоящей публикации.

²⁶ См. письмо №12 от 27 февраля 1923 г.

лие и пр. /.../ Самое трудное в России для меня было теперь, т.е. в последнее время, кроме личных трудностей и лишений, — две вещи: во-первых, *воспоминание* о предыдущих 4 годах, воспоминание о том, как ужасно я и моя семья жили, и воспоминание о многих чужих ужасающих страданиях, которое за эти годы легло на мою душу тяжелой ношей на всю жизнь; во-вторых, что власть, всякая, делает свое дело всегда с кровью, — но раньше (и в Европе) она работала за ширмами, теперь она у нас вся на виду, — колоссальная разница! — Жизнь почти невыносима, когда изо дня в день *видишь*, как она стряпает свою стряпню. А нынешняя русская власть к тому же — из властей власть: сущность власти как закона беспощадного, отрицающего личность, — и неизменный во все века спутник — вырождение закона в произвол отдельных персонажей власти, — в ней выражены ярче, чем где-либо. И все это у тебя постоянно на глазах; вот что очень страшно»²⁷. «/.../ когда впервые сам и на ближних познаешь подлинно Голод, тогда сам собой пропадает интерес к "истории литературы", — и Холод, и когда кругом муки еще горше, и смерть от них. Я и теперь люблю "историю литературы", но только отвел ей место, где ей следует быть, да и наполняю ее другим содержанием. По твоему примеру, и я не грешил пером, — напротив, стал много строже прежнего: ничего не писал и не пишу сколько-нибудь безразличного, чего можно бы и не написать, пишу только обязательное для меня...»²⁸.

Другим мучительным опытом этих лет было одиночество, духовный вакуум, в котором очутился Гершензон после высылки или отъезда близких ему людей. «Ты спрашиваешь о друзьях; старых друзей нет — "иных уже нет, а те далече"; из знакомых старые и больше новые, но именно знакомства, которые не греют, так сказать, "души ничуть не шевелят"; а в общем одиноко. Не скажу, чтобы молодое поколение было плохо; напротив, в старом, в наших сверстниках, обнаружилось за эти годы много непривлекательного; молодые чище, менее практичны, менее корыстны. Зато в молодых преобладают формальные интересы, не идейные или нравственные; на первом плане — т. наз. "научность", затем эрудиция; если теория литературы, то работает над изучением ассонансов, или рифмы, или ритма прозы у Тургенева, и т. п., и дела ему нет до поэзии самой. Это мне скучно; все головастики»²⁹.

Иногда одиночество это прорывается настоящим криком отчаяния: «Зачем ты сидишь в Париже? зачем тебя здесь нет?»³⁰ или: «Я начал думать, о чем хотел бы написать, думал о многом, обо всем, — и вот теперь, очнувшись, взялся за перо, чтобы написать, что ничего не напишу, потому что написать невозможно. А как мне жаль этого! — до боли. Если бы не сентиментальный тон, я мог бы вполне повторить те четыре стиха, которые Татьяна пишет Онегину: "Вообрази", и т. д. ...»³¹

²⁷ См. письмо №8 от 7 декабря 1922 г.

²⁸ См. письмо №3 от 23 апреля 1922 г.

²⁹ См. письмо №23 от 29 марта 1924 г.

³⁰ См. письмо №21 от 15 февраля 1924 г.

³¹ См. письмо №29 от 28 октября 1924 г.

Гершензона и Шестова связывали двадцатилетние отношения, с начала 1910-х годов переросшие в глубокую интимную дружбу. Их сближало все: мировоззренческие и нравственные оценки, самоощущение в лоне русской культуры, наконец, похожесть личных судеб и жизненных ситуаций. Поэтому письма Гершензона отличаются той степенью искренности, открытости, душевной обнаженности, с которой можно обращаться лишь к человеку родному, «своему». Однако они представляют исключительный интерес не только тем, что раскрывают отношения двух мыслителей или помогают лучше понять внутренний мир Гершензона, движение его души и мысли. В них пульсирует то «страстное восприятие всего земного, человеческого, и сердечное участие в нем», — в которых он признается другу. Несмотря на внешнюю бедность событиями, на замкнутую жизнь тех лет, письма Гершензона заключают громадный историко-культурный материал. Из них возникает пореволюционная Москва, с ее бытом, нищетой, холодом, но и с ее духовной жизнью, спорами, кружками, дружеским участием и взаимопомощью людей науки и искусства³². Наконец в них — десятки портретов окружающих людей, зарисовок характеров и событий, сделанных рукой тонкого психолога, мягкого и мудрого наблюдателя. Эта ровная мягкость и особое, не просто серьезное, а поистине целомудренное отношение к слову — создают полное доверие к тексту, ощущение его абсолютной правдивости: так было...



Эпистолярное наследие М.О. Гершензона огромно. По свидетельству М.Цявловского, в архиве писателя (в настоящее время находится в ЦГАЛИ) только писем матери и брату — больше четырех тысяч³³. К сожалению, до сегодняшнего дня лишь ничтожная их часть дошла до читателя. В настоящую публикацию входит 30 писем Гершензона Льву Шестову за период с июля 1920 г. по февраль 1925 г. Последнее написано всего за пять дней до смерти отправителя. Все они хранятся в архиве Л.Шестова в библиотеке Сорбонны.

Пользуемся случаем выразить признательность Н.Л. Барановой-Шестовой, предоставившей нам копии текстов для публикации, и Д.В. Иванову — за помощь и советы при составлении примечаний.

³² М.О. Гершензон был одним из организаторов и первым председателем Союза Писателей, который занимался поисками средств для нуждавшихся литераторов в самые тяжелые годы гражданской войны. См. об этом, в частности: В.Ф. Ходасевич. *ГЕРШЕНЗОН*. — В его кн. *НЕКРОПОЛЬ*. Брюссель, «Петрополис», 1939, с.141-157.

³³ См. предисловие к кн.: М.О. Гершензон. *ПИСЬМА К БРАТУ. ИЗБРАННЫЕ МЕСТА*. М., 1927, с.VI.

Москва, 31 июля 1920

Дорогой Лев Исакович,

Твое письмо, посланное с барышнями Бах¹, я получил, спасибо за память. Я был очень рад вести от тебя, хотя она оказалась не столь радужна, как я ожидал. Трудно оставшимся здесь, но, как видно, не легче и разъехавшимся во все концы России и Европы. Мы прожили зиму очень трудную, в холоде и жестоком голоде; с теплом стало легче, к тому же я с марта получаю так называемый здесь академический паек, натурой (за прежние заслуги) — около пуда муки, 1/2 п. пшеница, 6 ф. жиров ежемесячно, но за этот год я почти ничего не писал; издал книгу «Мудрость Пушкина», да теперь выходят книга о Тургеневе и 6-й том Рус[ских] Пропилей². Дети с весны в колонии под Москвой. Написать тебе о знакомых. И прежде всего о вашей бывшей квартире³, в которой мы как раз вчера были: ходили к С.Я. Игнатовой заказывать себе на зиму ковровые ботинки, какие она шьет. У вас все в полной сохранности — так и велела Аннушка⁴ тебе написать, и еще просила кланяться вам. Живут Игнатовы⁵, вся семья, и А.Е. Березовский⁶ с женою (в твоей комнате). Забор к улице сломан зимой на топливо, неудобный вид. Бахи живут тепло и очень сытно все время; Лидия Ал[ексеевна], хворавшая зимою, с хорошей оказией в начале лета уехала на юг и, как сказал мне на днях по телефону Алексей Ник[олаевич]⁷, находится в санатории в Геленджике на Черноморском побережье; недели через три вернется. Иногда выдаю Г.Г. Шпета⁸; он жалуется на нервность и неспособность к работе. Бердяевы, я слышал, уехали на месяц под Москву на дачу⁹. Печальные дела у Вяч[еслава] Иван[ова]¹⁰. Вера Конст[антиновна] после плеврита зимою все лихорадила, а теперь у нее скоротечная чахотка в последних градусах; с прошлой недели она лежит в клинике, и дни ее сочтены. А он еще весною получил от Наркомпроса денежную командировку за границу, и уже его паспорт заграничный был почти готов, чтобы ехать со всей семьей, но тут-то Вере Конст. и стало хуже. Татьяна Фед[оровна]¹¹ уже второй месяц здесь, с матерью и младшей дочерью, старшую оставила в Новочеркасске. Т.Ф. в Ростове перенесла тиф; здесь ей на казенный счет чудно ремонтировали квартиру, она же получает и паек, и пенсию. Впрочем, Т.Ф. сама припишет к этому письму. Умер от операции печени, как видно — в Екатеринодаре, еще в марте Богдан Алекс[андрович]¹². Петрушевский¹³ профессорствует и живет в Иваново-Вознесенске, а семья здесь. Андрей Белый здесь, читает лекции, живет плохо, не пи-

шет¹⁴. Кажется, все написал. А размышлений и настроений ведь не напишешь.

Жена и я шлем привет Анне Ел[еазаровне]¹⁵ и вашим дочкам, а я заглаза обнимаю тебя и остаюсь

Любящий тебя

М.Гершензон.

¹ Ирина Алексеевна, Лидия Алексеевна и Наталья Алексеевна Бах — дочери крупного химика, академика Алексея Николаевича Баха (см. прим. 7). Ирина была замужем за Сергеем Даниловичем Балаховским (1896-1960), младшим сыном сестры Шестова — Софьи Исааковны. Весной 1919 г. Балаховский эмигрировал в Швейцарию с родителями; там учился на медицинском ф-те и женился на Ирине Бах; затем со всей семьей переселился в Париж, где жил до 1925 в большой квартире на rue d'Alboni, 1. Paris XVI. В декабре 1925 Ирина и Сергей Балаховские уехали в Москву по приглашению родителей Ирины, и остались там. (См.: Н.Баранова-Шестова. *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*. Париж, 1983, т.2, с.286-287).

² *МУДРОСТЬ ПУШКИНА*. М., Книгоиздательство писателей, 1919, 230 с. (Reprint: Ardis, 1983); *МЕЧТА И МЫСЛЬ ТУРГЕНЕВА*. М., Книгоиздательство писателей, 1919, 170 с. (Reprint: Slavische Propylaen, München, 1970); *РУССКИЕ ПРОПИЛЕИ*, т.6. М., Изд. Сабашниковых, 1919.

³ Речь идет о квартире, где Шестовы жили с октября 1914 (Плющиха, Новоколюшенин пер., д.14, кв.3). «Квартира состояла из пяти комнат и была расположена на первом этаже деревянного дома. Она отапливалась двумя русскими печами. Во дворе был сарайчик, где складывались дрова. Окна передних комнат выходили на просторный двор, а из задних комнат открывался вид на церковь и церковный двор, необычайно красивые зимой, когда все было покрыто снегом». (См.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.128).

⁴ Аннушка — прислуга Шестовых.

⁵ И.И. Игнатов (? - 1921), публицист «Русских ведомостей», друг Шестова.

⁶ Александр Елеазарович Березовский — брат жены Шестова. О семье Березовских см. подробнее: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.2, с.291-298.

⁷ Алексей Николаевич Бах (1857-1946) участвовал в народовольческом движении, с 1885 по 1917 жил в эмиграции; в Женеве часто встречался с Шестовым, когда тот жил в Коппе. В июне 1917 Бах с семьей вернулся в Москву, где отношения с Шестовым возобновились. (См.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.156). Основатель школы советских биохимиков, действительный член АН СССР с 1929.

⁸ Густав Густавович Шпет (1879-1940), философ. Род. в Киеве, окончил историко-филологический ф-т Киевского института. В 1907 переехал в

Москву вслед за своим учителем Г.И. Челпановым; в 1910 и 1912 — в Германии и Англии. В 1916 защитил диссертацию «История, как проблема логики». С 1918 проф. Московского ун-та, с 1921 действительный член, а с 1923 по 1929 — вице-президент Российской Академии художественных наук (впоследствии ГАХН). Занимался литературной и философской работой, перевел *ФЕНОМЕНОЛОГИЮ ДУХА* Гегеля. После 1927, по-видимому, не печатался. О нем см.: В.В. Зеньковский. *ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ*. Париж, 1948-1950, т.2, с.369-372; *HANDBOOK OF RUSSIAN LITERATURE*. Ed. by Victor Terras. New Haven and London, Yale University Press, p.417. Его личности и его выступлениям в кругу московских философов посвящены страницы воспоминаний А.Белого в кн. *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*. (Л., Издательство писателей, 1934, с.305-311).

⁹ Дача находилась «в Звенигородском уезде, в Борвихе, в очаровательном месте на берегу Москва-реки, около Архангельского Юсуповых, где в то время жил Троицкий. Леса около Борвихи были чудесные, мы увлекались собиранием грибов. Мы забывали о кошмарном режиме, он чувствовался меньше в деревне» (Н.А. Бердяев. *САМОПОЗНАНИЕ*. Опыт философской автобиографии. Париж, YMCA-Press, 1949, с.263.) О жизни Бердяевых на даче и об интеллектуальной атмосфере старого дома в Борвихе вспоминает также Е.К. Герцык (*ВОСПОМИНАНИЯ*, Париж, YMCA-Press, 1973, с.136-140).

¹⁰ Зима 1919-20 гг. была для семьи В.И. Иванова крайне трудной: холод, голод, болезнь его второй жены — Веры Константиновны Шварсалон, и детей. (См.: О.Дешарт. *ВВЕДЕНИЕ* к кн. В.Иванов. Собрание сочинений, т.1, Брюссель, 1971, с.164). Дружеские отношения В.Иванова и М.Гершензона начались еще в 1900-х гг. 17 сентября 1911 Гершензон пишет родственникам: «Кстати о Вяч. Иванове. Он жил это лето в Силламягах, и я очень сблизился с ним (мы давно приятели, но редко виделись). Он очень замечательный человек, по глубине мысли — мудрец и великий художник для немногих» (см.: М.О. Гершензон. *ПИСЬМА К БРАТУ*. Избранные места. М., изд. М. и С. Сабашниковых, 1927, с.176). Оба активно участвовали в культурном движении 1910-х гг., в религиозно-философских обществах, по-разному поднимая вопросы культуры, религии, истории: «они были диаметрально противоположные, но друг друга понимали, ценили и любили» (О.Дешарт. *ВВЕДЕНИЕ*, с.165). Несколько писем Гершензона к Иванову хранится в Римском архиве В.И.Иванова.

¹¹ Татьяна Федоровна Скрябина, ур. Шлецер, вдова композитора, была в близких отношениях с семьей Шестова и в частности с Даниилом Григоровичем Балаховским, знатоком и любителем музыки, организатором киевских концертов Скрябина в 1913 г. После кончины Скрябина и отъезда Балаховских в Париж Т.Ф. и ее дети — Ариадна, Юлиан и Марина — в ноябре 1919 переселились в Киев в большой дом Шестовых, где к ним присоединился брат Т.Ф. — музыкальный критик, переводчик и писатель Борис Федорович Шлецер. (См. фрагмент из воспоминаний Н.Л. Слонимского в кн. *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.160-163).

¹² Богдан Александрович Кистяковский (1869-1920), социолог, юрист, приват-доцент Демидовского лицея.

¹³ Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863-1942), историк, профессор Московского ун-та; с 1929 — академик. Основные его труды относятся к социальной истории Англии в средние века. В 90-е годы Гершензон посещал его лекции в Московском ун-те и с тех пор был в дружеских отношениях и с ним, и с его женой Елизаветой Сергеевной (урожд. Щелкина). Имя Петрушевского часто упоминается в юношеских письмах Гершензона брату (см. *ПИСЬМА К БРАТУ*).

¹⁴ О своей жизни в пореволюционные годы Белый подробно сообщал жене в письме от 11 ноября 1921 («Воздушные пути», с.296-309); об этом же вспоминает и Ходасевич: «Военный коммунизм пережил он, как и все мы, в лишениях и болезнях. Ютился в квартире знакомых, топя печурку своими рукописями, голодая и стоя в очередях. Чтобы прокормить себя с матерью, уже больною и старою, мерил Москву из конца в конец, читал лекции в Пролеткульте и разных еще местах, целыми днями просиживал в Румянцовском музее, где замерзали чернила, исполняя бессмысленный заказ Театрального отдела (что-то о театрах в эпоху французской революции), исписывая вороха бумаги, которые, наконец, где-то и потерял. В то же время он вел занятия в Антропософском обществе, писал "Записки чудака", книгу по философии культуры, книгу о Льве Толстом и другое» (*НЕКРОПОЛЬ*, Париж, УМСА-Press, 1976, с.85-86). Но именно эти годы, до отъезда за границу, отмечены для Белого очень активной культурно-общественной работой. Ср.: А.В. Лавров. *МАТЕРИАЛЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО В РУКОПИСНОМ ОТДЕЛЕ ПУШКИНСКОГО ДОМА*. — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 г.». Л., 1981, с.56.

¹⁵ Анна Елеазаровна Березовская (1870-1962), жена Л.Шестова. Дочь помещика, коллежского ассессора Е.А.Березовского. Встретилась с Шестовым в 1897 в Риме, в том же году вышла за него замуж. Шестов скрывал женитьбу от родителей, т.к. отец его никогда бы не дал согласия на брак с православной. А.Е. изучала медицину в Швейцарии, жила в Цюрихе, Берне и Лозанне с дочерьми (Татьяна родилась 31.12.1897, Наталья — 26.11.1900); сам Шестов жил частью в России (из-за семейных дел), частью в Швейцарии. В 1908 Шестовы отправились в Лондон, чтобы узаконить брак, в 1914 — вернулись в Россию. Подробнее см. об А.Е. в *ЖИЗНИ ЛЬВА ШЕСТОВА* т.2, с.291-298.

2

Москва, 26 февраля 1922 г.

Дорогой Лев Исакович,

Твоя посылка через Ара¹ пришла аккуратно и уже поделена согласно твоему письму, которое пришло раньше. Сердечно благодарю тебя. Ты обещаешь еще прислать; итак, прошу тебя, впредь присылай врозь, без дележа, который оказался для Марии

Бор[исовны]² и хлопотен, и неприятен (вес не везде тот, надо объяснить и т.п.). Здесь теперь каждый шаг труден, даже такая небольшая вещь. Мне очень жаль, что единственное письмо, которое за такой долгий срок дошло до нас, опять, по твоей привычке, ничего не рассказало нам о тебе и твоей семье. Не знаю даже, все ли вы вместе, вышла ли Таня замуж³, чем ты занимаешься и зарабатываешь, что написал и напечатал за это время. Написать об этом было бы не менее, а более дружественно, чем посылка, потому что ведь и посылку я принимаю от тебя только потому, что нечто чувствую к тебе и следовательно прежде всего интересуюсь твоей участью. Я читал и слышал о твоём приезде в Берлин⁴ и о тяжелой истории твоей с Ев[гением] Герм[ановичем]⁵; читал твою работу о посмертных произведениях Толстого⁶. Кстати: к тебе обратится петербург[ский] издатель Е.Я. Белицкий⁷ («Эпоха») с просьбой написать на 2-3 печ[атных] листах изложение твоих основных мыслей (он хочет дать в 1 книге четыре или 5 таких статей: ты, Бердяев, Булгаков и т.п. — как корифеев современной русской мысли; просит пока держать это в секрете). Белицкий очень порядочный человек, издает всего А.Белого⁸, друг Ремизова⁹, теперь у меня купил книжку¹⁰. Заплатит хорошо.

Эти годы были трудные. У нас прошлую зиму дети оба переболели дифтеритом, эту зиму — Сережа брюшным тифом, и я хвораю, а М.Б. выбивается из сил без прислуги. Главное, все так истощены, что и болезни долго тянутся, и все — не по силам. Теперь, с появлением частных издательств, стало легче, хотя наивысший гонорар — и тот равен едва ли половине обычного довоенного гонорара, по покупательной силе денег. Платят 5-8 миллионов с листа, а за башмаки ребенку надо заплатить 4 милл. и сажень дров столько же, не говоря уже о провизии, которая всего дороже. Я, как знаешь, не из умелых, и мы жили и живем очень скудно, а другие приспособились и процветают. Недавно я имел случай писать Лундбергу, по слухам, Переписка из двух углов читалась за границей и были даже разговоры о переиздании ее там¹¹; я просил Лундберга устроить это переиздание¹² с тем, чтобы гонорар высылался мне и Вяч. Ив[анову] ежемесячными посылками Ара; это было бы хорошо хоть в смысле пропитания, хотя и обношенность белья, платья — вопиющая. Здесь трудно, а у вас там, кажется, тяжело и душно, в своем роде не лучше здешнего. Я занимался эти годы, по летам, далекими предметами; написал за эти два года две книжки, листов по 5-6: «Ключ веры» и «Гольфстрем»¹³; обе теперь набираются. А еще служу — в Главархиве и т.п. От Ремизова получил одно письмо из Берлина, насчет его арестованных рукописей¹⁴, не знаю, искренно ли он пишет, что хочет скоро вер-

нуться¹⁵. А Белый, кажется, действительно вернется¹⁶. Ты в Париже пожалуйста скажи от меня привет Алексею Толстому с женою¹⁷, М.О. и М.С. Цейтлиным¹⁸ — и Балаховским обоим¹⁹, о которых я сохранил по-разному наилучшие впечатления.

Здесь теперь отбою нет от приглашений: журналы возникают как грибы после дождя, и сборники-альманахи²⁰; но покупают только неизданное, пока, кажется, не переиздают. Все это делается беспорядочно, поспешно, издают дребедень, а нужных книг, ни даже учебников не издают, хаос и только. Вдруг окажется, что в Москве выходит 6 театральных журналов, ненужных разумеется; вдруг выйдет на роскошной бумаге сборник дряннейших рассказов, или миниатюрное издание «Бедной Лизы» Карамзина выпущено по чудовищной цене, и т.п.; точно то же, что в бесчисленных роскошных гастрономиях Арбата — все тончайшее до ананасов, а молоко, пополам с водой — в единственной молочной, и фунта манной крупы нигде не достанешь, а если и найдешь с большим трудом, то заплатишь не меньше 1/4 миллиона. А какие кондитерские — обильнее прежнего Эйнема²¹, какие рестораны — все сплошь с «салонным оркестром», «первоклассная кухня», и «торговля до 2-х часов ночи», да все — при ужасах Поволжья.

Передай наш дружеский привет Анне Елеазаровне и дочкам. Березовским я передал адрес и просьбу написать. Если пошлешь мне еще посылку, то — на имя Марии Борисовны. Она кланяется, и я обнимаю тебя и остаюсь

Любящий тебя

М.Гершензон.

¹ American Relief Administration отправляла посылки в Россию по соглашению, заключенному между РСФСР и США 20 августа 1921 г. в Риге.

² Мария Борисовна Гершензон — дочь кишиневского присяжного поверенного Б.С. Гольденвейзера (1838-1916) и В.П. Щекотихиной (1848-1898). Еще с детства была знакома с М.О. Гершензоном. Позднее, когда М.О. учился в Московском ун-те вместе с ее братом Николаем, отношения переросли в интимную дружбу. Однако браку мешало различие вероисповеданий. Чтобы обойти это препятствие, М.Б. после 1905 перешла из православия в протестантизм, вышла замуж за М.О., и Гершензоны смогли обосноваться в Москве. От брака родилось двое детей: сын Сергей (р. 1906) и дочь Наталья (р. 1907). (См. письмо Н.М. Гершензон-Чегодаевой в кн.: В.Иванов. Собрание сочинений., т.3, Брюссель, 1979, с. 808-810). О М.Б. и обстановке в доме Гершензонов пишет также О.Дешарт: «Il était constamment entouré de disciples dévoués et d'amis sûrs. Dans un milieu familial typiquement russe, autour de la table de thé, de vénérables académiciens cotoyaient des littérateurs débutants et des chercheurs en quête de conseils de

travail et parfois de vie. La maison ouverte à tous, éclairée par le bon sourire de Mme Gerschenson, attirait les gens et retentissait de débats agités sur des thèmes d'importance vitale qui ne manquaient pas en ces années orageuses») (O. Deschardes, Préface à: Vjatcheslav Ivanov — Mikhail Gerschenson. *CORRESPONDANCE D'UN COIN À L'AUTRE*. Genève, L'Age d'Homme, 1979, p.36). См. о ней также: Е.К. Герцык. *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.159-162.

³ Татьяна Львовна Березовская-Шестова (1897-1972) вышла замуж за инженера-оптика Валентина Григорьевича Дудкина (1900-1965) 7 августа 1929 г.

⁴ В 1921-1930 Шестов часто ездил в Германию для чтения лекций в Берлине и др. городах. В ноябре 1921 он был приглашен прочесть две лекции о Достоевском. Во время этой поездки Шестов пытался выяснить положение с его книгами, которые на русском и немецком языках должно было выпустить изд. «Скифы».

⁵ Евгений Германович Лундберг (1887-1956), писатель, переводчик, критик. В начале века был связан с «Христианским братством борьбы» (А. Белый, С. Булгаков, П.А. Флоренский, А.С. Петровский) — ядром будущего Московского РФО. С 1906 входил в окружение Шестова (см. о нем *ВОСПОМИНАНИЯ* Е.К. Герцык, с.102-103). В 1910-е печатался в «Русских Ведомостях», «Речи» и «Русской мысли». В 1917-18 входил в группу «Скифы». Летом 1920 эмигрировал в Берлин, где основал правозероверское издательство «Скифы» (см. «Русская книга», №1, с.9); позднее возглавил первое советское издательство в Берлине «Бюро иностранной науки и техники», что привело его к разрыву со «Скифами». В Берлине печатался в газ. «Накануне» и «Новый мир», выпустил книгу *ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ* и сб. статей *ОТ ВЕЧНОГО К ПРЕХОДЯЩЕМУ* (1923). Вернулся в Россию, где выпустил кн. *ЛЕНИН И ЛЕГЕНДА* (1930) и переиздал в расширенном виде *ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ*, добавив к ним второй том о берлинском периоде. Арестован в феврале 1938, через три месяца выпущен на свободу. О его берлинском периоде см. *РУССКИЙ БЕРЛИН. 1921-1923*. Под ред. Л. Флейшмана, Р. Хьюза и О. Раевской-Хьюз. Paris, YMCA-Press, 1983, с.28-31, 58-59.

«Тяжелая история», упоминаемая Гершензоном, относится к скандалу 1921 г., когда Лундберг уничтожил тираж напечатанной им брошюры Шестова *ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ* («Скифы», 1921). Поступок Лундберга был связан с его сближением с советскими представителями в Берлине. Об уничтожении книги и последующем примирении Лундберга и Шестова см. также: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.189.

⁶ Л. Шестов. *ОТКРОВЕНИЯ СМЕРТИ. ПОСЛЕДНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО*. Статья была частью неоконченной книги *SOLA FIDE*, появилась в «Современных Записках», 1920, №1, с.81-106 и №2, с.92-123, а позднее вошла в кн. *НА ВЕСАХ ИОВА*. Париж, изд. «Современные записки», 1929.

⁷ Ефим Яковлевич Белицкий работал в изд. «Эпоха», выпускавшем горьковскую «Беседу», и являлся сотрудником «Беседы». 30 ноября 1922 г.

Шестов заключил договор с «Эпохой» на издание своей кн. *СТРАНСТВОВАНИЯ ПО ДУШАМ*, но книга так и не вышла. 23 мая 1922 Гершензон пишет Шестову: «Через две недели будет в Берлине Белицкий, издатель "Эпохи", с которым я в дружеских отношениях и которому вполне доверяю. Он берется сам издать в Берлине пару моих книг и пристроить другие в тамошних издательствах» (Архив Л.Шестова).

⁸ Гершензон, вероятно, имеет в виду доверенность на право издания своих сочинений, которую Белый оставил жене Белицкой 21 октября 1921. За год до этого (20 января 1920) Белый заключил договор на издание собрания сочинений с З.И. Гржебиным, однако оно так и не вышло, отчасти из-за отсутствия бумаги. Получив разрешение на выезд за границу в сентябре 1921, Белый расторг договор с Гржебиным, чтобы искать другого издателя. (ср.: А.В. Лавров. *МАТЕРИАЛЫ АНДРЕЯ БЕЛОГО...*, с.65-68).

⁹ Ремизов издал в 1922 в «Эпохе» сб. рассказов *МАРА*.

¹⁰ Вероятно, речь идет о книге *СУДЬБЫ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА*. Пб.-Берлин, «Эпоха», 1922.

¹¹ Через год после петербургского издания («Алконост», 1921, 62 с.) *ПЕРЕПИСКА ИЗ ДВУХ УГЛОВ* вышла в Германии (М.-Берлин, «Огоньки», 1922, 71 с.)

¹² С той же просьбой обратился Гершензон к Шестову, который пишет 9 марта 1922 г. Г.Л. Ловцкому: «Сегодня пришло письмо от Гершензона. Он получил посылку. Живется ему очень, видно, плохо. Он просит, если можно, издать его переписку с Вяч. Ивановым и гонорар прислать ему и Вячеславу в виде посылки. Я написал Эфрону, но нужно узнать у Лундберга, к которому Герш. тоже обращался, не передал ли он уже кому-нибудь издания. Я постараюсь ему здесь устроить посылку и, если можно, более или менее правильные посылки. Может быть, Эфрон согласился бы издать и другие книги Гершензона — "Грибоедовскую Москву" или "Исторические записки"? Все книги маленькие и очень ходкие» (ср. *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.231-232).

¹³ *КЛЮЧ ВЕРЫ*. Пб, «Эпоха», 1922 (репринт: Париж, YMCA-Press, 1979); *ГОЛЬФСТРЕМ*. М., «Шиповник», 1922. (репринт: Tokyo Bibliography, 1985).

¹⁴ Ремизовы уехали из России 7 августа 1921 (в день смерти Блока) и приехали в Берлин 21 сентября после остановки в Нарве и Ревеле. Об аресте ремизовских рукописей сведений не обнаружено.

¹⁵ В конце своей жизни Ремизов говорил Н.В. Резниковой, что «будь он один, он никогда бы не уехал из России: "Я все равно не пропал бы, жил бы в щели... Нашелся бы кто-нибудь, ну, красноармеец, или другой... кормили бы меня... но Серафима Павловна очень мучилась от лишений, от невозможности в тех условиях заниматься своим делом /.../ Она все время болела, не могла лечиться, ей трудно было переносить — холод,

голод, бесправие“...» (См.: Н.Резникова. *ОГНЕННАЯ ПАМЯТЬ*. Berkeley, Berkeley Slavic Specialities, 1980, с.61-62).

¹⁶ Белый вернулся в Москву в октябре 1923 г.

¹⁷ Алексей Николаевич Толстой (1883-1945) с женой Н.В. Крандиевской эмигрировал летом 1919 сначала в Париж, затем в Берлин. Об этом периоде его жизни и решении вернуться в СССР см.: *РУССКИЙ БЕРЛИН*, с.31-46; 108-131; *ГОРЬКИЙ И СОВЕТСКИЕ ПИСАТЕЛИ. Неизданная переписка*. — «Литературное наследство», т.70, М., 1963, с.397-421.

¹⁸ Марк Осипович (1882-1946) и Мария Соломоновна (1882-1976) Цейтлины, осенью 1922 г. основали трехмесячник литературы «Окно», где Шестов напечатал вторую половину статьи *ДЕРЗНОВЕНИЯ И ПОКОРНОСТИ* (афоризмы 21-52). М.О. Цейтлин (псевд. Амари) фактически заведовал поэтическим отделом «Современных записок», после войны стал основателем «Нового журнала» в Нью-Йорке. См. о нем: Г.П. Струве. *РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗГНАНИИ*. Нью-Йорк, Изд. им. Чехова, 1956, с.79, 159.

¹⁹ Софья Исааковна Балаховская-Шварцман (1862-1941) — старшая сестра Шестова. Даниил Григорович Балаховский (1862-1931), ее муж, владелец сахарных заводов, был французским консульским представителем в Киеве. После революции вместе с детьми они эвакуировались с французским поездом, вероятно, в ноябре 1918, — в Одессу, а оттуда — в Париж. Шестов был очень дружен с ними.

²⁰ А.В. Луначарский утверждал в статье *ОЧЕРК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РЕВОЛЮЦИОННОГО ВРЕМЕНИ*: «В Петрограде имеется почти сотня частных издательств, в Москве — уже более трехсот. Выходит в свет очень много книг, издаются альманахи и журналы различных направлений. Запретов для художественной литературы нет» (*А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ. НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ*. — «Литературное наследство», т.82, М., 1970, с.220).

²¹ Известные московские кондитерские на Софийской и на Берсеневской наб.

3

Москва, 23 апреля 1922 г.

Милый Лев Исакович,

Это письмо повезет Лидия Алексеевна и перешлют тебе из Женевы. Она и увидит тебя, — вот чудеса! — и о нас расскажет. Ты мне много дарил за эти годы, — даже деньги, но конечно самой большой жертвою на алтарь дружбы, при твоей неохоте писать письма, было это большое письмо, которое ты мне написал. Зато и много денег, и много посылок Ара не принесли бы и отдаленно такой радости, как это письмо, — (даже в 1920 г., когда мы голо-

дали тяжко: вот до чего идет сравнение!). Не шутя: тот день, когда пришло твое письмо, был для меня праздником; из этого я понял, что очень люблю тебя (а раньше не знал, только подозревал; тут впервые нащупал в себе, как орех в мешке). Потом читал его вслух Марье Бор[исовне], и мы говорили много хороших слов о тебе. Но ты и без того упоен славой, английской и французской¹.

О делах скажу прежде всего: сердечно благодарю за посылки уже посланные, но прошу тебя, тотчас останови дальнейшую отправку их. В Нью-Йорке, в «Ара», как мне пишут из Берлина — если помнишь Нат[алию] Мих[айловну] Давыдову², — положено посылать ежемесячно посылки мне, Бердяеву, Вяч. Иванову. Если те посылки действительно будут приходить — мне одной довольно; если же они прекратятся, я тебе напишу. И теперь, при столкновении 2 посылки, я одну передам Союзу Писателей³. О других делах — потом.

Л.А. расскажет тебе о нас. Мы живем трудно; прошлой зимой дети тяжело болели крупом, эту — Сережа болел брюшным тифом, очень затянувшимся. И тут же, в начале февраля, я слег; у меня, как определили врачи, от общего истощения возобновился давнишний процесс в легких, — которого я никогда не подозревал. Два месяца держалась температура, исхудал страшно, слабость была такова, что за все это время я ни разу не мог читать, даже беллетристику. Лечили меня, и к теплу я оправился. Теперь уже выхожу понемногу, но очень слаб. М.Б. одной, без прислуги, приходилось трудно; то я носил из холодной кухни дрова и воду, и колл дрова, и печь топил, и бегал по посылкам, а тут пришлось все самой. И тесно было, мы очень уплотнены; жили только в столовой и прилегающей к ней крошечной спальне, — ты верно помнишь. М.Б. не очень постарела, только седых волос прибавилось много, а я очень одряхлел, слаб стал до крайности. Первое время — в 18-м году, до половины 1919-го, я писал много — дописывал раньше начатых Пушкина и Тургенева⁴. Обе эти книги посвящаю тебе, они давно вышли. Потом писал мало, только в теплое время; и тут я совсем ушел от русской литературы. Эти годы я много читал, впервые опять так же много, как в годы студенчества, — и, должно быть, много думал по-своему, *не думая*⁵. И на многие вещи взглянул иначе; этот тяжелый опыт жизни, которого вы, в эмиграции, не вкусили, был серьезной школой. В результате я долго корпел над Ветхим Заветом, и наконец написал статью или книгу «Ключ веры». Она печатается теперь книжкой в Петербурге. Потом (и еще в то же время) еще дольше носился с сумасбродной мыслью, и три года читал-читал по первобытной культуре, о ди-

ких народах, и надолго зарылся в сравнительное языкознание, — и наконец, написал книгу «Гольфстрем». Она печатается теперь в Москве, в возродившемся изд-ве «Шиповник». Потянуло меня к истокам, в даль времен, к корням человеческого духа. Ты меня не бей за это: я нечаянно; сам не думал, а шел, куда тянуло неодолимое чувство, и только в этих занятиях находил удовлетворение. Верно, не я один; когда впервые сам и на ближних познаешь подлинно Голод⁶, тогда сам собою пропадает интерес к «истории литературы», — и *Холод*, и когда кругом муки еще горшие, и смерть от них. Я и теперь люблю «историю литературы», но только отвел ей место, где ей следует быть, да и наполняю ее другим содержанием⁷. По твоему примеру, и я не грешил пером, — напротив, стал много строже прежнего: ничего не писал и не пишу сколько-нибудь различного, чего можно бы и не написать, пишу только обязательное для меня, и так как просьб от новых издательств, альманахов, журналов — много, а я все отклоняю, то и терплю за сие великие денежные убытки, и живем мы одними продуктами, почти без денег, а впрочем, этим не огорчаемся. Здесь теперь все можно купить, как до войны, — и апельсины, и пирожные, и икру, и сукна, — все, что угодно (мы еще до сих пор дивимся этому обилию и доступности, — ведь всего 1/2 года, как открылись первые булочные, а лавок, тех еще вовсе не было), но все стоит много нулей: пара башмаков — 30 милл., и все в этом роде. Даже официально прежние 5 коп. стоят теперь 75.000 руб.: столько стоит трамвайный билет на одну станцию. Всю зиму магазины открывались с лихорадочной торопливостью, — за два месяца улица была вся опять в лавках; и всюду полно товаров, и полно покупателей. А теперь сделался кризис: публика как-то вдруг обеднела, покупателей нет, один и другой магазины закрываются. Говорят, это оттого, что казна остановила выпуск новых денег, и стало мало денежных знаков. Теперь все надеются на Геную и возобновление заграничной торговли. Всякая прачка знает про «Генуйскую» конференцию⁸. Ты спрашиваешь о приятелях. Бердяевы живут по-прежнему, и недурно; обе дамы⁹ служат и получают много, он много пишет — написал за эти годы, кажется, 5 больших книг¹⁰; и по-прежнему у них по вторникам «церковно-приходские журфиксы»¹¹, так я их прозвал, — с докладами на темы мистические, церковные и национальные. Я с ним при встречах обмениваюсь парой слов, и только. Кроме той ссоры — наши мысли уже очень далеко разошлись, мы вероятно обо всем мыслим противоположно¹². Шпет процветает, много получает, несколько не изменился; выпустил недавно книжку «Философское мировоззрение Герцена»¹³ — и 2-й выпуск журнала «Мысль и Слово», где

и твоя статья — о Сократе и бл. Августине¹⁴; печатает 1-й том Истории философии в России¹⁵. Вяч. Иванов по-прежнему с дочерью и мальчиком живет в Баку¹⁶, читает множество лекций и пьет много вина; дочь этой зимою долго болела тифом; он изредка мне пишет, а я ему. О Березовских я больше ничего не знаю, как только то, что сын его, когда брал у нас свою часть письма, на мой вопрос отвечал, что у них все благополучно; я сказал ему тогда, что ты просишь их написать, и дал твой адрес; да Лидия Ал[ексеевна], бывающая у Игнатовых, знает, что и Бер[езовские], и Аннушка живут хорошо. Ты верно знаешь, что И.И. Игнатов умер год назад, знаешь также от Б[ориса] Ф[едоровича]¹⁷ о смерти Т.Ф. Скрябиной. Ее жизнь после Киева была сплошной кошмарный ужас. Недели две назад приехала дочка Булгакова. Он — протоиерей¹⁸ в Ялтинском соборе и живет там со всей семьей хорошо, но ему хочется в Москву, его страстные проповеди имеют там большой успех. И Е[лена] И[вановна]¹⁹, по словам дочери, «вошла в церковь», Федя очень исправился характером, служит, увлекся роялью и делает большие успехи. Сама Маруся цветущая девушка, и мы нашли, что и она стала гораздо серьезнее, проще, умнее. Она сразу получила здесь очень хорошую службу. Если удастся найти квартиру, то, видимо, летом все они переедут сюда. Приезжал месяца два назад сюда на несколько дней Д.Е. Жуковский²⁰. В Крыму полный голод, они очень бедствовали, так что тут Бердяевы, мы и др. два раза складывались и посылали им деньги. Д.Е. пристроился в Симферополе ассистентом по зоологии, и имеет еще службу физического труда; теперь А[делаида] К[азимировна]²¹ с детьми уже перебрались к нему в Симферополь, а летом они хотят переехать сюда. Больше не вспомню, о ком тебе написать.

В эту минуту меня прервал почтальон — принес письмо из Парижа прямо, заказное, от М.О. Цейтлина: и он послал намсылку! — Ну, мы этим посылкам найдем место: голодных кругом еще много. Он адреса своего не пишет, потому вложу сюда письмо к нему, и ты будь так добр, передай ему пожалуйста; вы верно встречаетесь же.

Да, насчет моих дел. Видишь, что я думаю. До сих пор жить здесь надо было, и вы вот много потеряли духовно, не быв здесь; но теперь, кажется, все, — можно и отдохнуть; а здоровье даже требует этого. Правда, решиться трудно, потому что по возвращении через 6-8 месяцев неизвестно, застанешь ли свою квартиру в целости, как ни обеспечить ее. Но и это не главное — главное, на что прожить за границей с семьей. А я хотел бы проехать прямо в какое-нибудь тихое место на юге Германии, даже не заглядывая в Берлин, и там прожить для отдыха, не думая о заработке. Это

едва ли не утопия. Может быть, если бы я сам был в Берлине, то продал бы несколько своих старых книг и собрал бы нужные деньги; а то ведь нужно это делать чрез неизвестных людей. Ты называешь М.О. Ландау²², я, кажется, совсем не знаю такого; а Лундберг — путанная голова. Кстати, Лундберг должен на днях приехать сюда; от него верно узнаю подробности о берлинских издательствах и шансы насчет моих книг. Доверенность посылаю тебе здесь; постарайся, чтобы не продешевили при продаже. И вот моя просьба: из вырученных денег, ежели можно будет, купи и пришли нам вещи по прилагаемому списку (а на свои деньги не покупай). *Остальные же деньги прошу перевести на твердую валюту — на фунты стерлингов или доллары, и храните их — либо ты у себя, либо вручи Лидии Алексеевне, — чтобы лежали, пока я попрошу их.* «Переписку из 2 углов» нельзя продавать, — ее, как пишет мне Давыдова, издает в своем издательстве Лундберг.

Из твоих новых писаний я читал обе статьи о посмертных произведениях Л.Толстого. Сделай одолжение, пришли мне по оттиску твоих статей. Анне Елеазаровне передай от нас сердечный привет. Л.А. рассказывала, что твоя Наташа очень хорошо сдала экзамен. Скажи дочерям, что если они хотят написать Марусе Булгаковой, — ее адрес — у Челпанова²³ (она пока там живет). Для меня неожиданность, что ты так легко владеешь словом; я для этого дела не гожусь; хоть и читаю лекции — я теперь «проф[ессор]», — но с трудом и нелюбовью, и очень устаю. Поэтому, и попав за границу, я ничем не мог бы зарабатывать деньги, — не писать же для денег; значит, ехать мог бы только имея там запас готовых денег. Вот, ты и разочти стоимость нашей семейной жизни в пансионах, напр. в Висбадене, в течение полугода, — сомневаюсь, чтобы продажа моих книг могла накопить столько денег. Как поговорю с Лундбергом, напишу тебе насчет этих дел. Я много, много раз скучал о тебе; у меня ведь теперь здесь никого так близкого, как ты; и при перемене моих мыслей мы были бы теперь ближе прежнего. Иногда беру с полки твою книгу и читаю час-другой. Будь здоров с твоими близкими. Непременно пришли мне твои писания, — это так же важно, как письмо. Обнимаю тебя сердечно и остаюсь твой

М.Гершензон.

Носков *большого* размера (для сына)

— меньшего (для меня)

Чулок для М.Б.

— для дочки 14 лет, поменьше.

по 1/2 дюжины.

Свитеров 3, темно-коричневых или в этом роде, — вообще темных (это *верхние* фуфайки, грубоватые), для сына очень большой, дочери — хорошего роста для 14 [лет], и для меня.

Зимние перчатки для нас всех (у сына очень большие руки).

Дюжину мужских носовых платков.

Башмаки для М.Б. — та же длина, как у Лидии Алексеевны, на два номера *шире*. Каблук лучше не высокий. Ежели можно, то и калоши к ним.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Доверяю Льву Исаковичу Шварцману (Лев Шестов по литературе) продавать за границу право на переиздание моих книг, напечатанных в России, список коих прилагаю здесь, — на таких условиях, какие он найдет правильными, и заранее обязуюсь не оспаривать его решений по этим продажам. Также доверяю ему получать в свои руки и хранить для меня деньги, которые будут мне причитаться по таковым продажам. Книги мои, которые могут быть изданы за границей, суть:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1) «П.Я. Чаадаев» | 5) «Исторические записки» | 8) «Тройственный образ совершенства» |
| 2) «История Молодой России» | 6) «Грибоедовская Москва» | 9) «Мудрость Пушкина» |
| 3) «Жизнь В.С.Печорина» | 7) «Декабрист Кривцов» | 10) «Мечта и мысль И.С. Тургенева» |
| 4) «Образы прошлого» | | |

Доверенность эта не ограничена сроком.

М.Гершензон.

¹ О научной деятельности Шестова в 1920-21 гг., о его курсах на русском факультете при Парижском ун-те и о появлении в западной печати его статей — см.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.176-264.

² Вероятно, Наталья Михайловна Давыдова, художница, чл. супрематического общ-ва «Супремус» (Малевич, Удальцов, Клюн, Попова, Меньков, Пестель, Архипенко, Розанова и др.).

³ Альтруизм Гершензона и его внимание к трудностям окружающих его людей подчеркивает Ходасевич: «те, кто прожил в Москве самые трудные годы — восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый, — никогда не забудут, каким хорошим товарищем оказался Гершензон. Именно ему первому пришла идея Союза Писателей, который так облегчил тогда нашу жизнь и без которого, думаю, многие писатели просто пропали бы. Он был самым деятельным из организаторов Союза и первым его председателем /.../ Не только в общих делах, но и в частных случаях Гершензон умел и любил быть подмогой. Многие обязаны ему многим. Он умел угадывать чужую беду — и не на словах, а на деле спешил помочь». (*НЕКРОПОЛЬ*, с.151).

⁴ См. прим.2 к письму 1.

⁵ Ту же мысль Гершензон выражает в одном из афоризмов: «Благо тому, кто не думает! У него-то и рождаются наилучшие мысли: внезапные и яркие, как молнии ночью» (*СОЛНЦЕ НАД МГЛЮЮ. Афоризмы.* — «Записки мечтателей», №5, Пб, «Алконост», 1922, с.90).

⁶ О житейских трудностях Гершензона в послереволюционные годы и о его мужестве вспоминает Ходасевич: «...знаю наверное, что Гершензон с женой, Марией Борисовной, тайком от детей, иногда целыми сутками ничего не ели, питаясь пустым чаем и оставляя для детей все, что было в доме. И вот, голодая, протаивая на морозе в очередях, коля дрова и таская их по лестнице, — не притворялся он, будто все это ему ничем, но и не разыгрывал мученика: был прост, серьезен, но — ясен. Скинет вязанку с плеч, отряхнется, отдышится, а потом вдруг — так весело поглядит — и сразу заговорит о важном, нужном, большом, что надумал, тащась куда-нибудь в Кремль хлопотать за арестованного писателя». (*НЕКРОПОЛЬ*, с.148).

⁷ С первых своих работ по истории литературы Гершензон дал определенное истолкование истории общественной мысли, как отражения личного сознания. В *ИСТОРИИ МОЛОДОЙ РОССИИ* он писал: «Общество, без сомнения живет единой жизнью, но оно живет ею в людях. /.../ Общество — абстракция; общество не ищет, не мыслит, не страдает; страдают и мыслят только отдельные люди и на известной глубине их сознание течет в одну сторону, по одному руслу; исследуем эту глубину отдельных сознаний и мы узнаем направление общественной мысли». (М.-Пг, Госиздат, 1923, с.5). См. также: Пиа Serman, *MIKHAIL GERSHENSON* — в кн. *HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE RUSSE. LE XXe SIÈCLE*. Paris, Fayard, 1987, с.281-287.

⁸ Международная Генуэзская конференция по экономическим и финансовым вопросам проходила 10 апреля — 19 мая 1922 при участии представителей 29 государств, в том числе — впервые — делегации РСФСР.

⁹ Речь идет о жене Бердяева, Лидии Юдифовне Рапп (1889-1945) и о ее сестре Евгении Юдифовне, жившей тогда с Бердяевыми в Москве. О них см. публикацию Д.Барас в сб. *ПАМЯТЬ*, вып.4, М., 1979 — Париж, 1981, с.220-245; и Е.К. Герцык. *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.117.

¹⁰ Вероятно, Гершензон имеет в виду сб. *КРИЗИС ИСКУССТВА* (М., изд. Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1918, 47 с.); *СУДЬБА РОССИИ. ОПЫТЫ ПО ПСИХОЛОГИИ ВОЙНЫ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ* (М., Г.А. Леман и С.И. Сахаров, 1918, V + 240 с.); *ФИЛОСОФИЯ ДОСТОЕВСКОГО* (П., «Эпоха», 1921, 240 с.); переизданная в Праге в 1923 под заглавием *МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ДОСТОЕВСКОГО; КОНЕЦ РЕНЕССАНСА* (П., «Эпоха», 1922) и *ФИЛОСОФИЯ НЕРАВЕНСТВА*, написанная в 1918, но изданная только в 1923 в Берлине.

¹¹ Ср.: Н.Бердяев. *САМОПОЗНАНИЕ*, с.255.

¹² Об отношении Бердяева к большевистской власти и о споре с Гершензоном ср. *САМОПОЗНАНИЕ* (с.252): «Я порвал отношения с моими

старыми друзьями В.Ивановым и М.Гершензоном, так как видел в их поведении приспособление и соглашательство. Думаю сейчас, что я был не вполне справедлив, особенно относительно М.Гершензона». Слухи о «большевизмстве» Гершензона упоминает и Белый: «В мае 1917-го — он с горячим сочувствием читал "Правду"; "друзья" — Шестов, Булгаков, Бердяев — распространили весть: Гершензон — "большевик"; он к Бердяеву, жившему рядом, не хаживал; и меня в эти дни приперли к "большевику": Мережковские, жена Бердяева и многие кадетские дамы; о Гершензоне шушукалась тогдашняя "вся Москва": — Слышали, — на старости оскандалился как? По природе робкий, боящийся, что его затолкают, держался вдали он от толп...» (*МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*, с.294).

¹³ Пг., «Колос», 1921, 101 с.

¹⁴ Л.Шестов. *СОКРАТ И БЛАВГУСТИН*. — «Мысль и слово», 1918/1920, II, №1, с.97-107. Позднее вошла в кн. *ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ*, Берлин, изд. «Скифы», 1923.

¹⁵ См.: В.В. Зеньковский. *ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ* (т. II, с.369): «В 1922 г. Шпет выпустил в свет *Очерк развития русской философии*; можно лишь пожалеть, что он ограничился только I-ой частью».

¹⁶ С 1920 по 1924 В.Иванов с дочерью и сыном жил в Баку, где получил кафедру классической филологии в местном университете; там он напечатал кн. *ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО*, и, защитив ее перед факультетом, был удостоен степени доктора классической филологии. В Баку Иванов активно занимался преподавательской деятельностью и проблемой подготовки научных кадров для молодого ун-та, как об этом свидетельствует его письмо к Гершензону от 22 декабря 1921: «Жизнь моя занята, кроме повседневных хлопот, им же числа нет, курсами (греч. литература, нем. Романтизм) и семинариями (Буколики Вергилия, Ницше как гуманист, Достоевский и Пушкин). /.../ Наш факультет часто мечтает о Вас, как профессоре в нашей среде, и побуждает меня приманить Вас, но я знаю, что бесполезны попытки. Однако, здесь жить легче чем в Москве, и тепло, и не голодно». (Римский архив Иванова). О жизни Иванова в Баку и его научной деятельности см.: О.Дешарт. Введение к Собр. соч. В.Иванова, т.1, с.170-172; Н.В. Котрелев. *ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ — ПРОФЕССОР БАКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА* — в кн. «Труды по русской и славянской филологии», XI, Литературоведение. Тарту, 1968, с.326-339; М.С. Альтман. *ИЗ БЕСЕД С ПОЭТОМ В.И. ИВАНОВЫМ* (Баку, 1921). — там же, с.304-325.

¹⁷ Борис Федорович Шлецер (1881-1969), переводчик, музыкальный и литературный критик. Сотрудник журн. «Аполлон» и «Золотое Руно». С 1921 — в Париже, где его переводы Гоголя, Достоевского, Шестова, Розанова — получили большую известность. Автор книг о Скрябине, Стравинском, Гоголе. Последняя его книга посвящена Шестову. О нем см. подробнее в *ЖИЗНИ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.2, с.312-313.

¹⁸ Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944), философ, богослов. По окончании юридического ф-та Московского ун-та преподавал политическую экономию в Моск. Техн. Училище; в 1901 — профессор Киевского Политехнического ин-та; в 1906-1911 — приват-доцент Моск. ун-та. В 1918 принимает священство, организует братство Св. Софии, попадает в Крым, где становится профессором Симферопольского ун-та. С 1 января 1923 выслан из России, едет сначала в Константинополь, затем в Прагу, где читает лекции на Русском юридическом ф-те; с 1925 — в Париже, профессор Богословского ин-та (1925-1944).

¹⁹ Елена Ивановна Булгакова (урожд. Токмакова), жена С.Н. Булгакова. Сотрудничала в «Вопросах жизни», автор книг *ЯПОНИЯ И ЯПОНЦЫ* (Ростов на Дону, 1905) и *ЦАРЕВНА СОФЬЯ* (Париж, 1933). Федя и Маруся (Муна) — дети Булгаковых.

²⁰ Дмитрий Евгеньевич Жуковский, философ, участник сб. *ПРОБЛЕМЫ ИДЕАЛИЗМА* (М., 1902); издатель журнала «Вопросы жизни». В революционные годы работал в Симферополе ассистентом по кафедре гистологии и занимался переводом на немецкий яз. научных работ (см. его письма к Шестову в кн.: Е.К. Герцык. *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.178-192).

²¹ Аделаида Казимировна Герцык-Жуковская (1874-1925), поэтесса, переводчица, литературный критик. Жена Д.Е. Жуковского. Сотрудничала в «Северных Записках» и «Весах» (под псевд. Сирий). О ее жизни см. *ВОСПОМИНАНИЯ* ее сестры Е.К. Герцык; см. также: М.А. Волошин. *ВОСПОМИНАНИЯ*. Публ. Susan Smerhoff-Lazinger. — «Slavica Hierosolimitana» V-VI, Jerusalem, 1981, с.501-521.

²² Описка, речь, видимо, идет о Марке Александровиче Ландау (псевд. Марк Алданов, 1886-1957), историческом романисте, критике и эссеисте. В 1919 эмигрировал в Париж, в 1920 был членом редакции первого «толстого» литературного журнала эмиграции «Грядущая Россия», затем — постоянным сотрудником «Современных записок». Печатался также в «Последних новостях», с 1923 — редактировал литературный отдел газ. «Дни». В 1941-47 жил в США, где вместе с М.О. Цейтлинным основал «Новый журнал». Затем вернулся во Францию.

²³ Георгий Иванович Челпанов (1862-1936), психолог и логик. Основатель Московского психологического ин-та и его директор до 1923, когда он был отстранен от преподавания из-за его «общественно-политических взглядов», «идеалистического мировоззрения и т.п. соображений» (См. Отчет В.Я. Брюсова в кн.: *ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ*. — «Литературное наследство», т.85, М., «Наука», 1976, с.253). Челпанов был учителем Бердяева, который вспоминает о нем: «...с большим успехом читал курс по критике материализма. У него собирались по субботам, я часто у него бывал и мы вели длинные специальные философские разговоры... Челпанов в философии был прежде всего педагогом» (*САМОПОЗНАНИЕ*, с.132-133).

Москва, 26 июня 1922 г.

Дорогой Лев Исакович,

Получил твое письмо от 28-го кажется, — и крайне удивлен: Лидия Ал[ексеевна] повезла от меня огромное письмо, ответ на твое большое и хорошее письмо, и должна была из Женевы переслать тебе его; как же ты еще не получил его? Это было бы, т.е. пропажа его, очень обидно. Я тебе после того еще раз писал, а теперь пишу с оказией на Берлин. Письмо Алданова, о котором ты пишешь, что вкладываешь его, ты забыл вложить. Но это неважно. Берлинские издатели теперь прямо обращаются ко мне. Наши здоровья, как я уже писал тебе, плохи, нам придется зиму провести за границей, ежели я смогу накопить денег. Я на даче под Москвой; как буду в городе, пошлю тебе мою книжку «Ключ веры», и еще 2 экз. — для Б.Ф. Шлецера, которому передай пожалуйста мой привет, и для М.О. Цейтлина. Ежели тебе это удобно, будь так добр, напиши Трегеру, чтобы он написал своей сестре, служащей в Москве в германском консульстве, чтобы она помогла мне, когда я приду, в получении германской визы.

Насчет сборника 4 философов¹, который издает Е.Я. Белицкий, хочу написать тебе. Я видел 2 статьи, которые ты прислал ему. Мне кажется, что тебе следует написать к ним предисловие ad hoc, т.е. именно для сборника, хоть в 1-2 страницы, как у тебя выйдет. Твои статьи говорят только «нет» людской мысли; ты должен пояснить, что в них напрасно стали бы искать изложение твоего положительного мировоззрения, потому что по самому существу твоего мировоззрения, оно не ищет положительной формулы, — оно может *в словах* только отрицать истинность всякой оформленной истины, говорить ей «нет», а не самой устанавливать свою оформленную истину. Дело в том, что Бердяев (я видел его статьи) сам излагает свое учение в формулах, приблизительно так же сделает вероятно и Белый: они положительно излагают свои мировоззрения. Я отказался писать о себе, обо мне пишет другой, но я дам коротенькое предисловие, или пояснение.

М.Б. и я шлем дружеский привет всем твоим, а я обнимаю тебя и остаюсь

Любящий тебя

М.Гершензон.

P.S. Насчет «Переписки» ты заметил тонко и верно: тон голоса В[ячеслава] И[ванова] определил и мой; оттого меня коробит от этой книжки: это тон кантилены, — пенье зажмурив глаза, что мне, кажется, совершенно чуждо. На днях я прочитал в «Накану-

не»² статейку Лундберга об этой книжке. Он воображает: сосновый бор, здравница с некоторым комфортом, и т.под. Нет, это была тесная, грязная, без малейшего комфорта и с плохой едой (однако много лучше домашней, которая тогда была — голод) здравница в 3-м Неопалимовском пер.³ Грязно, душно, тучи мух, ночью шаги в коридоре к уборной, на окне занавески нет, матрац — как доска, — и духота; я там переночевал только первую ночь, а после — благо близко — ходил туда только обедать и ужинать, 2 раза в день. А В.И. там жил, потому что весь день был в Театральн[ом] Отд[еле]⁴, а вечером — лекции, и спал он крепко. Начал переписку он, и стал понуждать меня ответить ему письменно. Мне было неприятно, потому что в этом есть театральность, и я был очень слаб — не было никакой охоты писать. Но он мучил меня до тех пор, пока я написал. Потом все время он отвечал тотчас, а я тянул ответ по много дней, и он пилил меня; а мне не писалось. Оттого под его письмами всегда есть дата, а под моими нет; напишу начало, оно лежит 5-6 дней, он пристает, и наконец допишу. Я это время все лежал и читал Нансена. По моему настоянию и прервали на 6-й паре; он хотел, чтобы была «книга». А тут уж у него завертелось: В[ера] Конст[антиновна] умирала⁵; нам не пришлось даже сряду перечитать наши листки разного цвета и формата (бумаги тогда нельзя было достать, писали на клочках), ему — потому что было не до того, а я не мог исправлять свои писания, раз он не исправляет и не учит моих поправок. Так и сдали издателю (чтобы получить гроши гонорара) неперечтенные черновики. Корректуру мне прислали, когда В.И. был уже в Баку, и я потому же ни йоты не мог изменить. Ежели Б[орис] Ф[едорович] пишет о Переписке, ему надо бы принять во внимание «Тройственный образ соверш[енства]», с которым мои письма теснейше связаны.

Лундберг прислал мне свой «Дневник писателя»⁶, я его теперь читаю. Очень интересно; искренняя и добрая книга.

¹ Сборник четырех философов (Шестов, Бердяев, Белый и Гершензон), который хотел издавать Е.Я. Белицкий, так и не вышел. Неизвестно, что стало со статьями, которые Шестов дал Белицкому для книги.

² Газ. «Накануне» издавалась в Берлине в 1922-24 группой сменовеховцев (Ю.Ключников, Г.Кирдецов, Б.Дюшен), содействовавших возвращению эмигрантов в советскую Россию. О деятельности сменовеховцев см.: М.Агурский. *ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИЗМА*. Париж, YMCA-Press, 1980, 322 с.; см. также публикацию того же автора переписки И.Г. Лежнева и Н.В. Устрялова в «Slavica Hierosolimitana», V-VI, с.543-589.

³ Здравницу в 3-м Неопалимовском переулке описывает и Ходасевич, который летом 1920 прожил там около трех месяцев. (см. *ЗДРАВНИЦА*. — в его кн. *БЕЛЫЙ КОРИДОР. ВОСПОМИНАНИЯ*. Нью-Йорк, «Серебряный век», 1982, с.104).

⁴ ТЕО Наркомпроса образовался в 1918, заведовала отделом О.Д. Каменева. Работа в ТЕО дала занятие многим писателям. Кроме В.Иванова, там оказались Бальмонт, Брюсов, Балтрушайтис, Ходасевич, Ремизов и др. В.Иванов заведовал историко-театральной секцией, Балтрушайтис и Ходасевич — репертуарной. См. о ТЕО и политике Наркомпроса: Sheila Fitzpatrick. *THE COMMISSARIAT OF ENLIGHTENMENT. SOVIET ORGANISATION OF EDUCATION AND THE ARTS UNDER LUNACHARSKY. October 1917-1921*. Cambridge, Cambridge University Press 1970; Vittorio Strada. *LA VEGLIE DELLA RAGIONE*, Torino, Einaudi, 1986, p.182-268.

⁵ Вера Константиновна Шварсалон, на которой Иванов женился в 1913 г., умерла 8 августа 1920. (См. О.Дешарт. *ВВЕДЕНИЕ*, с.169).

⁶ Е.Лундберг. *ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ. 1917-1920*. Берлин, «Огоньки», 1922.

5

Москва, 7 августа 1922 г.

Милый Лев Исакович,

Сегодня получил твое письмо из Висбадена от 29 июля. Хлопочу о паспорте — но если бы ты знал, что это значит! Хожу, хожу, без ног остаюсь, а до сих пор даже еще не подал прошения: столько предварительных мытарств. Хорошо, ежели успеем выехать в конце августа. Тогда увидались бы. Хлопочу, а денег пока нет; только чтобы выехать (паспорты, визы и билеты), мне нужно около 1 1/2 миллиардов. Будем продавать что возможно. Ты пишешь, привезти тебе книги; это всего труднее. Каждую книгу вывозимую и каждый лист рукописи надо нести на просмотр, — тут хлопот не оберешься. Я и для себя не возьму книг, не знаю, разрешат ли мне взять мои нужные рукописи. Трубецкого книгу о Соловьеве¹ постараюсь найти в лавках (и не уверен, что найду) и пошлю тебе по почте; тоже по почте пошлю твоей сестре Ловцкой книгу о Шмидт², которую она просит. Напиши мне еще, какие книги тебе *определенно* нужны, — я их постараюсь тебе прислать. *Оттиски твоих статей*, какие у меня были, я послал тебе, помнится, через Зайцеву³, т.е. дал их Г[уставу] Г[уставовичу] для передачи ей. Теперь попробую достать у Бердяева твои оттиски и пойду на твою квартиру искать их, и что добуду, тебе пришло. По почте просто послать, а вывезти совсем, совсем не просто.

Спасибо, что ты обнадеживаешь меня насчет денег; это, конечно, главное. Ты попал в точку: здешние врачи единогласно посылают нас именно в St. Blasein. Так что, ежели можешь, раз-узнай именно об этом месте — какой там порядочный санаторий и какие цены. Я думаю, мы в Берлине проведем несколько дней⁴, мне нужно для зубов; там повидаюсь с Ловцкими⁵ и, значит, тот-час узнаю о тебе. Твоя сестра в твоём письме радушно приписала и сообщила свой адрес и даже телефон, чему я был очень рад. Ты так и не написал, от чего ты лечишься. Что «Ключ веры» не по тебе — я знал заранее, разумеется, — но меня удивляет, в чем ты тут нашел «современную мысль»? Нет, я не мирю религию с современным мирозерцанием (меня от него тошнит), а наперекор ему говорю: религия — не особенная жизнь духа, а сама его еже-дневная жизнь, подлинная техника или *методология* ежедневной, практической, плотской жизни. Это — не современность, но это, конечно, и не твое понимание религии. За это лето, начитавшись Спинозы, я почувствовал в нем нечто очень близкое мне, — имен-но его несокрушимый *монизм*, — как ни чужд мне Спиноза *в це-лом*. Вышел уже и «Гольфстрем», которого ты скоро получишь. *В нем нет для тебя ничего неприемлемого, но он тебе может быть будет просто неинтересен*; это — научное исследование. От Вяч. Ив[анова] с месяц назад было письмо и рассказы приехав-ших оттуда. Сам он как будто доволен своей жизнью, но на вид она не хороша: весь день читает лекции, по ночам много пьет с университетскими приятелями, ничего не пишет, часто болеет. Дима, его мальчик, в июне по несчастному случаю потерял 4 паль-ца на правой руке, — пришлось ампутировать поперек ладони. Бердяевы на даче и пробудут до осени. У них живет теперь Евг[е-ния] Каз[имировна] Герцык⁶, приехавшая из Крыма; а Жуковские в Симферополе, где она получает Академический паек, а он в хле-бопекарне режет хлеб и за это получает 2 ф[унта] черного хлеба в день. Булгаковы теперь живут все вместе в свете и в достатке; он протоиерей и его проповеди собирают толпы народа. — Ты напи-ши о книгах *точно*, по заглавиям или именам, и письмо пришли чрез Берлин по воздушной почте, как и я туда пишу. М.Б. кланяет-ся тебе, а я тебя обнимаю и остаюсь

любящий тебя

М.Гершензон.

P.S. Письмо задержалось, потому что я хожу за день так мно-го, что до сих пор не попал в почтамт. Вчера я заходил на твою бывшую квартиру, *видел Ал[ександра] Елеаз[аровича]*. Я хотел поискать твоих *оттисков*, но в той комнате не было убрано.

А.Е. и дочка Игнатова обещали сами *тщательно* поискать. Там все благополучно, живут сытно; А.Е. служит по-прежнему в *Госмолоке*, Аннушка — в *конторе* жел. дор. (что очень *хлебно*). Аннушка сейчас в деревне. А.Е. говорит, что после посылки Ара он вам писал.

Хлопочу, — *очень* трудно. А я слаб, к вечеру совсем без сил. Ты о деньгах пишешь *глухо*, а ведь у меня в Берлине только 35.000 марок за проданные книги, это на месяц, а больше ничего. Немножко я все-таки беспокоюсь, — надо прожить там 8 месяцев и вернуться сюда только с теплом, в апреле.

¹ Кн. Евгений Трубецкой. *МИРОСОЗЕРЦАНИЕ ВЛ.С. СОЛОВЬЕВА*. т. I-II. М., тип. А.И. Мамонтова, 1913.

² Вероятно, речь идет о философско-мистическом трактате *ИЗ РУКОПИСЕЙ АННЫ НИКОЛАЕВНЫ ШМИДТ*, изданном в Москве в 1916. Визионерка А.Н. Шмидт (1851-1905), домашняя учительница и сотрудница нижегородских газет, стала известной своей перепиской с В.С. Соловьевым, с которым считала себя связанной особыми духовными узами. См. об этом: С.Булгаков. *ТИХИЕ ДУМЫ*. М., 1918, с.71-114; Н.А. Бердяев. *САМОПОЗНАНИЕ*, с.176; Е.К. Герцык. *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.150-151.

³ Вера Алексеевна Зайцева, жена писателя Бориса Константиновича Зайцева.

⁴ В сентябре 1922 Гершензоны готовились к отъезду, предполагая выехать в начале октября и встретиться с Шестовым в Берлине. Отъезд задержался, и они прибыли в Берлин, по-видимому, 21 октября, когда Шестов уже вернулся в Париж. Прожив в Берлине 4 дня, Гершензоны уехали в Баденвейлер. (См.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.265).

⁵ Младшая сестра Шестова Фаня Исааковна (1873-1965) и ее муж Герман Леопольдович Ловцкий (1881-1957) до войны 1914 г. уехали в Швейцарию и с 1921 переселились в Берлин, где Ф.И. изучала психоанализ у д-ра М.Е. Эйттингона, а Г.Л. занимался музыкой. (См.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.2, с.299-302).

⁶ Евгения Казимировна Герцык (1875-1944), публицистка, переводчица произведений Ф.Ницше, С.Лагерлёф, В.Джемса, А.Мюссе и др. Часто переводила в соавторстве с сестрой Аделаидой. Оставила воспоминания, где подробно описаны художественные и духовные движения начала века и даны портреты В.Иванова, Н.Бердяева, Л.Шестова, С.Булгакова, М.Волошина, М.Гершензона, о. П.Флоренского и многих др. О ее пребывании на даче Бердяевых летом 1922 см. *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.136-140.

Москва, 19 сентября 1922 г.

Милый Лев Исакович,

Сердечно благодарю тебе за твое доброе, дружеское письмо от 13-го. Не писал я тебе, потому что дети, оба, были больны паратифом; лежат третью неделю, теперь поправляются. Паспорты наши готовы, осталось получить только визы. Но главное — эта проволочка и болезни сделали то, что из накопленных мною 1 1/2 миллиардов на дорогу ушло больше половины; теперь приходится опять добывать. Это здесь трудно; те деньги я накопил из последних сил, запродав дешево переиздание книги; а теперь и этого ресурса нет. Придется продать большую часть библиотеки. Так что, когда выедем, не могу сказать: все зависит прежде всего от детей! Очень жаль, что так поздно, — надо было ехать месяцем раньше, но ничего нельзя было сделать. Большая мне будет обида, ежели не увидимся. А увидишься ты скоро с Н[иколаем] А[лександровичем] и со многими другими здешними знакомыми¹. Что будут обо мне рассказывать, не верь. Я жил эти годы замкнуто, имея свои мысли и не разуверяя охотников до сплетен. А говорили и печатали обо мне много вздора. Вот, случайно, и на сегодня пришелся такой вздор. Праздновали здесь 40-летие артиста А.И. Южина², ты понимаешь, как мне это безразлично. И вот сегодня читаю в «Известиях» отчет о торжественном спектакле в Большом театре; после «Отелло» с юбиларом — 60 депутатов, адреса, ура и пр. Первыми поздравляли от Комисс[ариата] Нар[одного] Просв[ещения] — М.Н. Покровский³ и — твой покорный слуга; я в это время, конечно, давно уже спал в своей постели, даже не зная об этом спектакле. И Покровский произнес длинную речь, — она здесь же приведена. А днем сегодня один из бывших на спектакле рассказал мне, что и Покровского там не было, а говорил от К.Нар.Пр. кто-то другой.

Меня пугают рассказы о дороговизне, наступившей в Германии. Сколько марок в месяц нам нужно в самом скромном пансионе? Напиши мне пожалуйста средние пансионные цены с человека, хотя бы в тот день, когда будешь писать; я слежу за изменением цены марки, и смогу ориентироваться. У меня в Берлине такие гроши, а у тебя ведь *наличными* для меня только 1 1/2 тыс. франков. Было бы хорошо — ежели только ты можешь, — чтобы ты собрал к себе *наличными* же остальные деньги, какие ты имел в виду. Слишком страшно в чужой стране и вдали от знакомых остаться с семьей без денег. Жаль, что ты не спросил в письме тво-

его знакомого в St. Blasein, сколько он платит в пансионе; это мне помогло бы рассчитать, с помощью движения цены марки.

От Ал[ександра] Елеаз[аровича] никто не приходил и не принес твоих оттисков. Была на прошлой неделе Ал[ександра] Ал[ександровна] Бах⁴, рассказала о Лидии Ал[ексеевне] и об английской поездке твоих дочерей. Она спросила у меня совета: звать ли Лидию Ал. сюда назад, или предоставить ей оставаться за границей. Я откровенно ответил ей: место Л.А. — здесь; только здесь она может найти разумный и приятный ей труд, но ей не следует жить в родительском доме, и объяснил, почему я так думаю. Они какие-то уверенные, положительные, и она среди них вянет, бледнеет. Ее узнать нельзя было — такая стала апатичная. Ей нужна своя отдельная жизнь, своя атмосфера.

Правда ли, что в Берлине и хлеб и мясо по карточкам, и нет ни молока, ни масла? Видаешься ли ты с Лундбергом? Он странный человек. Продал в Берлине переиздание «Переп[иски] из 2 углов» — и никакого гонорара, ни деньгами, ни в виде посылок, мы с Вяч. Ив[ановым] не видели; мне неловко перед В.И., который все спрашивает об этом. А книга Л. мне понравилась — искренно и хорошо написано. Что бы я не дал, чтобы съехаться с тобою и поговорить! да просто посидеть вместе, в одной комнате, и согреться. Ежели бы была возможность, я поехал бы с семьей не в St. Blasein, а в Швейцарию, и, устроив их там, поехал бы на 2-3 месяца к тебе в Париж.

Будь здоров, милый Л.И. Передай мой привет Ловцким. М.Б. сердечно тебе кланяется.

Твой М.Гершензон.

¹ Речь идет о Н.А. Бердяеве. 31 августа 1922 г. «Правда» сообщила о высылке из России «группы наиболее активных контр-революционных элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов». Мера касалась, главным образом, оппозиционно настроенной творческой интеллигенции. Было выслано более 160 человек, в том числе цвет русской философии: Н.Бердяев, Н.Лосский, С.Франк, Ф.Степун, И.Ильин, А.Изгоев, И.Лапшин, Б.Вышеславцев, С.Трубецкой, Л.Карсавин и др.

² Александр Иванович Сумбатов-Южин (1857-1927), известный актер и режиссер. На сцене с 1876, с 1882 в Малом театре.

³ Михаил Николаевич Покровский (1868-1932), один из основоположников советской историографии, академик АН СССР с 1929, крупный государственный деятель. С 1918 — заместитель Наркома просвещения.

⁴ Жена А.Н. Баха.

Баденвейлер, 27 октября 1922 г.

Милый Лев Исакович,

Третьего дня мы сюда приехали и поселились, кажется, в хорошем пансионе. От Москвы ехали до Берлина сушей 4 дня, по вагонам довольно удобно, но с 6 таможенными досмотрами и со многими тревогами, неизбежными теперь. В Берлине прожили 4 дня. Никто нас не принял так дружески и не помог мне так много, как Г[ерман] Леоп[ольдович]¹; обрадовала нас встреча с Анной Елеазаровной, познакомились с Мандельбергами². Твои родные были в моем чувстве как бы мои родные. С Г.Л. мы и ехали от Берлина, — он ехал в Женеву на пару дней, так что мы ехали вместе до Müllheim'a, за 1/2 часа отсюда. В Берлине я был у специалиста по легким, который одобрил Баденвейлер, сказал, что у меня в правом легком зарубцевалось, а в левом свежий катарр верхушки. Пока чувствую себя очень плохо и сильно кашляю, может быть от усталости. В Берлине не видел ни Белого, ни Ремизова, ни Лундберга, — не успел. Здесь плата по 750 марок, кормят хорошо, и предоставили нам целых 3 комнаты, потому что пансион, как и все другие, почти пуст; здесь теперь не сезон. И топят достаточно. Прикупать приходится только молоко, которое дешево. Стоит густой туман, часам к 3 яснее; кругом красота.

Условился я с Г.Л., что он каждые 2 недели будет присылать мне известное количество марок, сколько нужно будет; пока у меня есть деньги, те, что я достал в Берлине. Выезд из Москвы был очень труден; как раз в эти дни шло очередное уплотнение квартир, свирепое до чрезвычайности; мне надо было обеспечить наши комнаты, чтобы по возвращении получить их обратно. Было много тяжелых хлопот; вообще, выехать с семьею из России теперь столь трудное дело, что нужна почти нечеловеческая энергия, — неудивительно, что я потерял на этом деле и последние силы. В самые последние дни я сделал еще одно дело: у меня были приготовлены для печати 3 новых тома Пропилей, которые я берег на прожитие; тут я решил их продать, чтобы иметь деньги на обратную дорогу, и на глухие летние месяцы по возвращении, и немножко еще — на покупку белья здесь, потому что мы совсем оборваны; да еще мне нужны искусственные зубы. Так и сделал, — и теперь у меня на эти нужды есть неприкосновенный фонд. А на прожитие наше здесь вполне хватит твоих денег. В санаториях здесь дорого, да и не к чему; при таком воздухе, тишине, на таком питании можно вероятно и в пансионе поправиться. Люди здесь приветливые, жадности не видно, не суетятся, не спешат. Местечко

маленькое, есть лавочки, даже книжный магазин, но столичных газет нет, только Фрейбургские. Нам нравится и дети довольны. Пиши мне по адресу: Badenweiler (Allemagne), poste-restante, Prof. M.Gertchenson. — Prof. — это для немцев, хотя я правда имею теперь в Москве это звание. Пришли мне, если есть, твои оттиски — о Толстом и о Достоевском³, и статьи Б[ориса] Ф[едоровича] о тебе⁴ и о «Переписке». Анна Ел[еазаровна] повезет тебе Трубецкого и оттиски твоих статей. Как очухаюсь, опять напишу тебе. М.Б. кланяется тебе, а я обнимаю тебя

и остаюсь весь твой

М.Гершензон.

¹ Герман Леопольдович Ловцкий, композитор, музыковед, философ. Окончил Пб консерваторию в 1903; написал несколько опер; автор статей о музыке, литературе и философии, печатавшихся в русской и немецкой периодике. Большую часть жизни прожил в Швейцарии и Германии, в 1921-1933 жил в Берлине. После прихода Гитлера к власти Ловцкие переехали в Париж, затем в 1939 — в Палестину. (См. о них: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.2, с.299-302).

² Мандельберг — фамилия двух сестер Шестова (Марии Исааковны, 1863-1948, и Елизаветы Исааковны, 1873-1943), вышедших замуж за братьев Мандельбергов (соответственно: Владимира Евсеевича и Льва Евсеевича). Около 1922 эмигрировали из Киева, до 1925 — жили в Берлине, затем — в Тель-Авиве.

³ Статьи Л.Шестова: *ОТКРОВЕНИЯ СМЕРТИ* («Современные записки», 1920, №1-2) и *ПРЕОДОЛЕНИЕ САМООЧЕВИДНОСТЕЙ. К столетию рождения Ф.М. Достоевского* («Современные записки, 1921, №8, 9, 10). О Достоевском Шестов написал также для французского журнала: *DOSTOEVSKY ET LA LUTTE CONTRE LES EVIDENCES* («Nouvelle Revue Française», февраль 1922, пер. Б.Ф. Шлецера), которая была издана в номере, посвященном юбилею Достоевского, вместе со статьями А.Жида и Ж.Ривьера.

⁴ Статья Б.Ф. Шлецера *UN PENSEUR RUSSE: LÉON CHESTOV* — появилась в «Mercure de France» 1 октября 1922.

8

Баденвейлер, 1 ноября 1922 г.

Милый Лев Исакович,

Спасибо за письмо. На меня теперь грех сердиться, — с меня взятки гладки. Я так слаб, малейшее усилие мне так трудно, что я стараюсь делать только неизбежное в каждую минуту, а потом

сизу без движения или лежу. Вот мы здесь уже неделю, а у меня все те же головные боли, та же смертельная слабость, и тот же кашель. Физически мне 90 лет, а умственно я совершенно бодр и свеж, только писать не хочется до отвращения. Книг мне пока не нужно, да и до Фрейбурга не так близко: по электрическому трамваю до Müllheim'a около часа, да столько же оттуда до Фрейбурга. О таких поездках я пока и думать не могу. Мне одно интересно: духовная жизнь Запада, какова она теперь. Очень хочется присмотреться. У меня есть на этот счет предубеждение, не только априорное, но основанное и на чтении, еще в Москве, нынешних немецких и французских книг. Но смотрю я, и читаю добросовестно, чтобы не обмануть себя предвзятой мыслью.

Г[ерман] Л[еопольдович] в вагоне прочитал нам свою статью о тебе и Бергсоне¹. Она очень хороша по основным мыслям и по ясности изложения, но показалась мне несколько безличной. Напечатать ее теперь в Берлине трудно, а в России можно, и лучше всего — в «Мысли и слово» Шпета. Вообще, кажется, философское легче издавать теперь в России, несмотря на официальный поход против «метафизики», чем в эмиграции. В России есть идейные издатели, а берлинские русские издатели, как я заметил, просто торгошники²; даже добродушный Белицкий заразился там меркантильным духом и сам не узнает себя. Хорош бы я был, если бы пустился в путь в надеждах на берлинских русских издателей! Н.М. Давыдова летом продала Геликону переиздание двух моих книг за 70 тыс. марок, с тем чтобы половину заплатили сейчас, а другую — к 1 окт.; и вот 1-го окт. Вишняк³ заплатил именно 35.000 марок, несмотря на совершенное обесценение марки за эти месяцы. В Москве ни один издатель так не поступил бы, даже если не было договора о валюте, — а сам рассчитал бы по валюте. Г.Л. наверное писал тебе, как поступил Шрейдер⁴ с платежом за твою книгу. Даже не торговцы, а мошенники.

Л.И., напиши мне пожалуйста адрес М.О. Цейтлина. Сделаю ли ты что-нибудь для кн. Звенигородского⁵, о котором я писал тебе, — насчет Ара? Передай мой привет твоим милым дочкам. Очень хочется получить твои статьи.

Жму твою руку, милый Лев Исакович. Хорошо знать, что письмо к тебе или обратно приходит на 3-й день и не вскрывается.

Твой М.Г.

¹ Статью Ловцкого *НА ОКРАИНАХ ДУШИ. АНРИ БЕРГСОН И ЛЕВ ШЕСТОВ* — Шестов пытался пристроить в «Современные записки», но несмотря на обещание Фондаминского, журнал ее не опубликовал.

Послать ее Г.Г. Шпету в Советскую Россию Ловцкий не согласился. Статья так и осталась неопубликованной. Близость с философией Бергсона, особенно с употребляемым Бергсоном понятием «agir» шутливо отмечает и сам Шестов в письме к Гершензону от 8 июня 1923 г.: «Такое сейчас время — нужно все о делах думать. Так мы с Г.Л. острили: Бергсон учит *Nous ne pensons que pour agir* — а сам в действии не нуждается. Я же учу, что мы думаем не затем, чтобы действовать, а принужден все время *agir et agir*. И так уж, верно, до гробовой доски». (Ср.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.209-211).

² О деятельности русских книгоиздательств в Берлине см.: Robert C. Williams. *CULTURE IN EXILE. Russian emigrés in Germany. 1881-1941*. London-Ithaca, Cornell University Press, 1972, p.125-140.

³ Абрам Григорьевич Вишняк (1895-1943) — управляющий изд. «Геликон», племянник М.В. Вишняка, редактора «Современных записок». «Геликон» возник в Москве в 1918 и возобновил свою деятельность в Берлине в 1921-23 гг., опубликовав за это время книги Цветаевой, Ремизова, Пастернака, Белого, Эренбурга, журнал Белого «Эпопея». А.Г. Вишняк был депортирован немцами и погиб в лагере.

⁴ Вероятно, Александр Шрейдер (?-1930), левый с.-р. В 1917 входил в редакцию «Знамени труда». В Берлине вместе с И.Штейнбергом и Е.Лундбергом сотрудничал в «Скифах» и редактировал журнал «Знамя. Временник литературы и политики» (1921).

⁵ Кн. Андрей Владимирович Звенигородский, поэт, автор сб. *ЧУТЬ НА КРЫЛЬЯХ*, друг М.О. Гершензона, который писал о нем Шестову: «...Кончил Моск. Унив., был у себя по имени земцем и потом членом Губ. Зем. Управы, издал 2 книжки стихов, не без таланта. Теперь (ему лет 35), с сокращением штатов — (последнее время он служил по библиотечной части) буквально голодает». (Письмо от 17 июля 1922. — Архив Шестова).

9

Баденвейлер, 17 ноября 1922 г.

Милый Лев Исакович,

Все-таки очень скучно; день размерен по частям, то надо гулять 3/4 часа, то *table d'hôte*, то лежать, и опять гулять, и опять *table d'hôte*; и в голове пусто. Вероятно так и надо, но томительно. Дети учатся, М.Б. штопает, читает. Климат все-таки удивительный: не ниже -1°, часто густой туман, и потом дни безоблачно-солнечные и мягкий воздух. Вспоминаю Москву, Россию и читаю в «Руле»¹ о берлинских русских. Философы наши и там водрузили знамя, привезенное из Москвы, — ты верно читал: открывают там религиозно-философские курсы², чтобы посредством лекций и

семинаров перевести горизонтальное движение человечества в вертикальное — духовное; комики! Правда, я давно не читал ничего более комического, как манифест этих курсов³, даже грустно стало: седые дети. А все оттого, что философствуют отвлеченно, не вспоминая о самих себе, о *своей* жизни и смерти. Кажется, и вся Европа так философствует, даже теперь, после таких уроков. Это хотя и в духе, но тоже горизонтально, а не вертикально. Я очень доволен, что не живу в Берлине. Здесь, хоть мало что есть, но все существенное: горы и лес, вода, туман; в пансионе у нас пусто.

Никакие американские евреи ко мне не приходили, а за присылку их я тебя очень благодарю. Ты спрашиваешь о деньгах; по-видимому, у меня должно уходить при теперешнем курсе около 350, скажем, 400 фр. в месяц, а с 1 ноября по 1 мая — шесть месяцев; вот и весь счет. [Герман] Л[еопольдович] до сих пор прислал мне 40 т. и 55 т. марок. Мне очень неловко, что приходится его беспокоить, но другого способа нет, раз деньги лежат в банке. Здесь все очень вздорожало, и в пансионе значительно подняли цены. Топят по утрам, и к вечеру холодно. Как в Париже насчет топлива? Шварцвальдцы привыкли к свежему воздуху: мужчины здесь сплошь и рядом ходят в одном пиджаке по улице, а если в пальто, то неизменно не застегнув его. Кормят нас хорошо. Говорят, с виду я поправился, но чувствую себя не лучше прежнего. Стараюсь: добросовестно съедаю все, что на тарелке, и т.д. Повторяю, очень скучно. В Москве было «веселей» — очень трудным весельем. На днях должен получить книги из Берлина, тогда будет что читать; отродясь не жил так бездельно.

Ну, вот тебе все обо мне. Издатели пишут мне, просят статей, а я так же далек от писания статей, как от модных танцев. Говорят, около 5 час. можно видеть в Prager Diele А.Белого⁴ и жену Б.Зайцева танцующими модные танцы.

М.Б. и я шлем привет твоим, и я обнимаю тебя
и остаюсь твой

М.Гершензон.

¹ «Руль» — берлинская газета, выходила в 1921-1930, под редакцией И.В. Гессена, В.Д. Набокова и А.И. Каминки.

² Приезд в Берлин высланных из России философов оживил общественную жизнь русской колонии. Был основан Русский Научный ин-т и Религиозно-философская академия. Председателем первого стал проф. В.И. Ясинский, в организационный комитет вошли Ю. Айхенвальд, Н. Бердяев, А.Кизеветтер, И. Ильин, А. Каминка и др. Религиозно-философская ака-

демия, в отличие от Ин-та, официального статуса не имела. Создавая ее, Бердяев пытался возродить деятельность Вольфила. (См. его *САМОПОЗНАНИЕ*, с.270-271; Robert C. Williams, op. cit., p.242-252).

³ Объявление о целях и сотрудниках Русского Научного ин-та появилось в «Новой Русской Книге», 1922, №1, с.36; об официальном открытии Ин-та и программе лекций — там же, 1923, №2, с.39.

⁴ Трагическое душевное состояние Белого в Берлине и его постоянную истерику описывают В.Ф. Ходасевич (См.: *НЕКРОПОЛЬ*, с.89); М.Цветаева (*ПЛЕННЫЙ ДУХ*. — в кн. М.Цветаева. *ПРОЗА*. Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1953, с.347); Н.Берберова (*КУРСИВ МОЙ. Автобиография*. München, Wilhelm Fink Verlag, 1972, с.177-181); см. также: Daniella Rizzi. *BERLINO NEGRA*. «In forma di parole», 1986, №2, p.66-78. Неоднократно упоминает об этом периоде в своих мемуарах и сам Белый.

10

Баденвейлер, 7 декабря 1922 г.
Pension Excerlin.

Дорогой Лев Исакович,

Сперва, как ты правильно делаешь, — дела. Спасибо за извещение о деньгах. Пока — вполне достаточно, думаю, что вполне хватит (на обратную дорогу у меня есть); и даже можно будет пустить вожжи немного свободнее, потому что до сих пор я был очень бережлив и по возможности урезывал своих. Надеюсь, что больше не понадобится, а ежели бы оказалась нужда, я конечно заранее спишусь с тобою. Так что благодарю от души, и ты пока забудь о деньгах для меня. Что касается присылки их, то сам не знаю, как сделать; мне очень неловко каждые 2 недели беспокоить Германа Леоп[ольдовича], и по неопытности в необыкновенном вздорожании я сплошь и рядом сижу без пфеннига в ожидании денег; исключительно по моей вине, а не Г.Л-ча, потому что пока мое письмо доходит до него, и он даст распоряжение банку, и деньги идут сюда, — иногда с большим запозданием, — выписанная сумма оказывается недостаточной для уплаты в пансионе: хозяйка тем временем повысила цену. Так что в этот раз я выписал некоторый излишек. На всякий случай сообщаю тебе нужные сведения для денежного перевода: здесь есть отделение банка *Süddeutsche Disconto-Gesellschaft*, а меня надо писать Michel Gerschenson, как в паспорте.

Мне не лень отвечать на твои вопросы, но трудно это сделать в письме. Я читал твою брошюрку о большевиках¹ и наслаждался последними 4-5 страницами: они действительно очень хороши, —

Шестовские; но зачем ты писал предыдущие? И вот, удивительно: я писал, что здесь очень скучно, а в России было «веселье»; и веселье; я написал в кавычках, — т.е. что там была не мертвая спячка, как здесь; а ты прочитал, что мне там было весело. Это нехорошо, что ты даже мое письмо читаешь предвзято. И так же, я думаю, ты предвзято читаешь нынешние страницы русской истории, — извини за высокий стиль.

Кажется, с 1918 года я ни разу не выражал вслух своих мыслей о русских делах; было слишком трудно и мысли поневоле были слишком сложны и противоречивы, чтобы разговаривать об этом. Я тебе напишу коротко, что я думаю, потому что ты спрашиваешь и еще потому, что мне жаль, что ты, как мне кажется, заблуждаешься. Но для того, чтобы мои слова сколько-нибудь подействовали на тебя, надо тебе знать: 1) что я и моя семья испили за эти годы всю чашу бедствий и утеснения, и ни в чем не были облегчены, как напр. А.Н. Бах и его семья, жившие в довольстве и без страхов, — так что и бессознательно я ничем не мог быть подкуплен; и 2) что я все время старался честно думать и теперь говорю с тобою так искренно, как только может быть искренен человек. Я страдал лично, страдал за бесчисленные чужие страдания, которые были кругом, — и думал про себя молча. Притом ты знаешь, что я все время стоял в стороне от всей власти и от всякой публичности; сидел сплошь дома, помогая в хозяйстве, болея, писал «Ключ веры» и «Гольфстрем». Я думаю, что я очень беспристрастный свидетель. — И вот я говорю: не только прежний русский строй, но и общий европейский строй жизни кажутся мне столь безбожными, бесчеловечными, бессмысленными, полными злодеяния и лжи, что самое разрушение их я уже считаю прогрессом. Весь физический ужас нашей революции я чувствую наверное не меньше тебя, уже потому, что я его видел в большем количестве, — я разумею кровь, всяческое насилие и пр.; и все же, спроси Лидию Алексеевну, — она, я думаю, тоже скажет, что духовно в России теперь легче жить, чем в благопристойных заграничных пансионах, читая Temps или Vossische Zeitung. Здесь пока длится и повторяется старая бессмысленная жизнь, там в крови и судорогах чувствуется горячее сердце и смелая мысль. Самое трудное в России для меня было теперь, т.е. в последнее время, кроме личных трудностей и лишений, — две вещи: во-первых, *воспоминание* о предыдущих 4 годах, воспоминание о том, как ужасно я и моя семья жили, и воспоминание о многих чужих ужасающих страданиях, которое за эти годы легло на мою душу тяжелой ношей на всю жизнь; во-вторых, — что власть, всякая, делает свое дело всегда с кровью, — но раньше (и в Европе) она работала за шир-

мами, теперь она у нас вся на виду, — колоссальная разница! — Жизнь почти невыносима, когда изо дня в день *видишь*, как она стряпает свою стряпню. А нынешняя русская власть к тому еще — из властей власть: сущность власти, как закона беспощадного, отрицающего личность, — и неизменный во все века спутник — вырождение закона в произвол отдельных персонажей власти, — в ней выражены ярче, чем где-либо. И все это у тебя постоянно на глазах; вот что очень страшно. — А политика и экономика? Не знаю, только вижу что вся Европа разорена и не может излечиться после пятилетней войны. В Германии теперь делается то же, что было у нас в 1919-м г., в городах средний класс, служащие и люди свободных профессий форменно голодают. А русское крестьянство, в средней полосе по крайней мере, еще никогда не было так хорошо, как теперь, это я слышал от многих местных людей, и часто от таких, которые ненавидят большевиков. А в заключение скажу, что если бы ты пожил теперь в России, ты убедился бы, что теперешняя Россия, и большевики...

(На этом оригинал письма обрывается. — Публ.)

¹ Речь идет о брошюре Шестова *ЧТО ТАКОЕ РУССКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ?* (Берлин, 1921), тираж которой был уничтожен издателем Е.Лундбергом (см. прим.5 к письму 2). По-французски эта работа вышла в журн. «*Mercure de France*», 1er sept. 1920, №533, p.257-290.

11

Баденвейлер, 13 января 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Прежде всего, поздравляю тебя и Анну Елеазаровну и твоих милых дочерей с Новым годом; будьте все здоровы и счастливы.

Капли у меня есть — Valodijon: валерьянка с дигиталисом; прочитав твое письмо, я должен был выпить капель этих. Кому какое дело до меня? В Москве слезка — и здесь слезка. То, что ты пишешь о твоём разговоре с Вишняком, удивительно напоминает мой разговор с Каменевым¹. Я с ним познакомился в 1919 году, в бытность мою председателем Союза Писателей², я ходил к нему тогда хлопотать за членов союза, сидевших в тюрьмах, и выручил Кизеветтера³, Новик[ова?]⁴ и других. Так вот, прошлой осенью, когда приехала в Москву Маруся Булгакова, — решил я пойти к нему и начисто поговорить о возможности для С[ергея] Н[иколаевича] вернуться в Москву; это было еще до церковных дел, и у меня была надежда. Я знал из письма С.Н. и от Маруси, что он

все время держался в стороне от политики; но К[аманев] не слушал моих уверений; в конце концов он заявил: разве вы не знаете, что Б[улгаков] написал призыв к еврейским погромам, который был расклеен во всех городах Крыма? Я ответил, конечно, что это возмутительная ложь, что Б. *на это неспособен*; а он мне: сам Родичев⁵ подтвердил этот факт в заграничной газете, и Б. ведь не опроверг.

Так Вишняк говорит обо мне. У меня нет ни малейшей охоты, ни надобности оправдываться пред кем-либо. Из твоего письма я впервые узнал, что обо мне было что-то в заграничной газете, — но если бы и прочитал такое, конечно не стал бы опровергать, как никогда ничего не писал в печати о себе лично, как не даю никому биографических сведений о себе, как вообще считаю себя лично никому не подсудным. Для тебя же, только для тебя, повторяю, что уже писал тебе: к советской власти я имел столько же отношений, сколько раньше — к царской, т.е. абсолютно никаких; ходил и к Каменеву, и к Луначарскому хлопотать за других, как и ты пошел бы, как ходили Бердяев и др., сам же ни на йоту не заискивал, ничем не попользовался, ничего вслух, т.е. публично сколько-нибудь, не одобрял и не осуждал, жил замуровавшись вполне. В результате — в Москве Покровский третирует меня как белогвардейца и Фриче⁶ говорит мне: вы — враг, а в Париже Вишняк знает, что я защищал цензуру, и верит этому. Пусть меня судят по моим писаниям и моей жизни, а не по сплетням о ней. Но довольно: скучно это и надоело. Скажу с Лермонтовым: «Я хочу забвенья и покоя».

Теперь о делах. О том, чтобы остаться здесь дольше, нечего и думать. Дороговизна здесь растет чудовищно и раза в три опережает валюту. В ноябре нам хватало 350-400 франков, в январе едва ли управлюсь с 600; с тех пор все вздорожало в 3 — 3 1/2 раза. Провести здесь еще и лето, и осенью ехать в Россию — значит сразу попасть в другую погоду, и дымящие печи, и зимнее уплотнение; этого нельзя; а на зиму где взять денег? надо ехать к концу апреля. И вот я не знаю, хватит ли денег. Я просил Герм[ана] Леп[ольдовича] написать мне, сколько еще остается денег; как ответит, я напишу тебе, хватит ли. Наташа встала, бледна, и худа; проболела ровно месяц. Я третьего дня был у врача. Он не нашел улучшения за эти два месяца, но обнадеживает. У меня большие каверны в правом легком и активный катарр в левом, да сердце неважно. По-видимому, я в одну из двух последних зим перенес на ногах воспаление в легком, не обратил внимания на это, и потом запустил; правда, я все время сильно кашлял. Это было вероятно в одну из болезней детей; тогда было не до себя. Он советует год не

жить в городе, беречься, питаться и пр.; говорил о санатории — но санатории теперь доступны разве только англичанам и американцам. Это не я один; в России теперь многие пожилые люди вдруг узнали, что больные легкими.

Насчет приезда в Париж, ежели это будет к весне и я буду немного крепче, я с великой охотой приеду. Я теперь неспособен писать, а у меня в голове есть ненаписанные статьи, вот я их и излагал бы.

«Соврем[енные] Записки» я только что получил, прочитал только твои чудесные афоризмы⁷, а о Достоевском еще не прочитал, потому что мне одна знакомая прислала свою большую рукопись, которую я обязан прочитать спешно, чтобы написать ей. Мои две статейки⁸ отдал туда Белицкий; в Москве теперь верно Покровский скажет обо мне: вот, едва переехал границу, уже печатается в с.-р'овском журнале. И мне от этого не поздоровится.

М.Б. шлет вам всем дружеский привет, а я обнимаю тебя и остаюсь твоей

М.Г.

¹ Ю.Каменев (псевдоним Льва Борисовича Розенфельда, 1883-1936) в то время был членом Политбюро ЦК РКП(б) и председателем Моссовета.

² См. прим.5 к письму 3.

³ Александр Александрович Кизеветтер (1866-1933) историк, ученик В.О. Ключевского, проф. Московского ун-та (1909-1911). Член ЦК партии к.-д., депутат II Гос. Думы. Активный публицист. Выслан из России в 1922.

⁴ Возможно, речь идет об И.А. Новикове. См. прим.1 к письму 22.

⁵ Федор Измайлович Родичев (1856-1933), земский деятель, юрист, депутат от партии к.-д. в I и II Гос. Думе, в марте-мае 1917 министр Временного правительства по делам Финляндии.

⁶ Владимир Максимович Фриче (1870-1929), литературовед, искусствовед, академик АН СССР с 1929. Автор трудов по социологии искусства и эстетике.

⁷ *ДЕРЗНОВЕНИЯ И ПОКОРНОСТИ* (20 афоризмов). — «Современные записки», 1922, №13, с.151-168.

⁸ Речь идет о статьях *ПАЛЬМИРА* и *ЧЕЛОВЕК, ОДЕРЖИМЫЙ БОГОМ* («Современные записки», №12, 1922, с.125-137). Обе они входили в сб. *ПАЛЬМИРА*, который готовился к изданию в «Эпохе».

Баденвейлер, 27 февраля 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Виджу, ты имеешь успех в Европе — и по-немецки, и по-французски. Это хорошо, потому, что хоть 1-2 человека прочитают тебя в Европе как следует, а прочие читатели, есть они или нет, — не все ли равно? для одного или двух таких только и стоит писать. Ты теперь, на мой взгляд, пишешь очень сильно, лучше, чем писал в Москве. Твой «Достоевский» в общем показался мне знакомым, но в нем есть места, которые пронзили меня; а афоризмы я читал и читаю все с большим волнением. В общем твоя установка мне в высшей степени близка, но что-то не позволяет мне перейти на твой берег: меня удерживает на этом — если не ошибаюсь — конкретность моего зрения и чувства, т.е. страстное восприятие всего земного, человеческого, и сердечное участие в нем. Это земное можно улучшить только по старому способу; история не случайно выработала эти методы познания, эти идеи и идеалы; трехмерное пространство — иллюзия, но мы в нем живем и наши органы познания суть органы познания трехмерного пространства¹; значит, кто действует или хотя бы следит за действиями, должен мыслить мир трехмерным. От этого я не могу отрешиться; но твоя заслуга, как Эйнштейна, та, что ты учишь видеть условность трехмерного мировоззрения. Есть великое освобождение в том, чтобы знать, что этот берег — не вся земля, что это именно берег, наш, человеческий берег, — а за ним есть безбрежное море, и по ту сторону его — иной, твой берег — четырехмерный зыбкий мир чуда. И не только умственное освобождение: это знание многому учит и в земных делах. Этот «корректив» оттуда сюда я, кажется, твердо усвоил, отчасти из опыта последних лет, отчасти из Ветхого Завета, отчасти от тебя; меня удивило, что ты этого не заметил в моих писаниях.

Читаешь ли ты русские берлинские газеты? Какую пошлую и глупую деятельность развивают там Бердяев, Ильин, Франк и др.² Недоставало только этого, чтобы еще более запутать и без того сбитуую с толку эмигрантскую молодежь. Я с большим интересом читаю теперешних немецких мыслителей: есть много свежего и смелого — и, что меня подкупает, огромный фонд точных знаний, тогда как у нас в России метафизическая мысль (напр., у Бердяева) не «обременена» никаким запасом знаний, — тем легче воспаряет. Мне жаль, что не удалось познакомиться с нынешней французской литературой. Завидую тебе, что ты пишешь, это все-таки наше наилучшее состояние. Я здесь ни строки не написал, даже

бумаги никакой не покупал, кроме почтовой. Это от здоровья; как только поправлюсь, так тотчас хочется писать, и есть о чем.

Надо мне написать тебе о делах. Г[ерман] Леоп[ольдович] аккуратно присылает мне деньги, но ничего не пишет. Я спрашивал его, сколько осталось денег, он не отвечает. По моему соображению, у него к 1 марта почти ничего не останется, так что прошу тебя, пришли сколько-нибудь. Вышло совсем не так, как я думал. Сначала нам хватало 400 франков в месяц, теперь уходит около 850, и живем скуднее прежнего. Было бы удобнее, если бы ты переслал деньги прямо мне, чтобы не затруднять Германа Леоп.; это все время для меня мученье. Но не знаю, возможно ли это. Из заказных писем валюту часто крадут, настоящего банка здесь нет, а Фрейбург далеко. Ежели ты все-таки найдешь способ, то надо посылать либо в марках, либо в американской, швейцарской, шведской, голландской валюте мелкими купюрами, потому что в здешних меняльных конторах не меняют, т.е. не дают сдачи валютой, а сколько принес, столько меняй на марки. У меня платеж в пансион будет в марте.

Вышла твоя «Власть ключей»³; поздравляю и надеюсь получить. От Лидии Алексеевны давно нет писем; напиши о ней и передай наш привет. Сегодня получил письмо от Белого; он очень несчастен; пишет много, запоем, воздвиг трехтомную историю Блока и его времени⁴. Белицкий так и уехал в Россию, не издав «Современных русских философов». У него и моя книга лежит с лета.

Ну, будь здоров. От нас привет всем твоим. Ежели остаться еще на год, хочю в Париж.

Твой

М.Гершензон.

¹ В письме от 9 марта 1923 г. Гершензон уточняет свою мысль: «Хуже всего то, что всякий сапожник тайно чувствует "4-е измерение" — как единственную подлинную реальность, но на практике, из жадности, хватает только чувственно-воспринимаемое, как если бы именно оно было реальностью. И это делают миллионы и миллионы людей под всеми широтами, тысячелетия сплошь, — так что иногда мне кажется: нет ли тут еще и второго чутья: может быть люди в долгом опыте бессознательно установили, что наиболее правильный способ учитывать 4-е измерение — учитывать его не сознательно, не прямо, а как имманентное в материальной действительности (такова, напр., мысль Карлейля); может быть потустороннее и нельзя брать в чистом виде (оно — огонь и разрушает живую ткань, или оно испаряется в отвлеченности и теряет власть над волею), а надо его брать только в его мутных воплощениях, как душу любимой женщины любишь только через ее тело». (Архив Л.Шестова).

² Имеется в виду кампания, поднятая вокруг создания Религиозно-философской академии в Берлине, и многочисленные публичные курсы и лекции, читавшиеся высланными философами.

Иван Александрович Ильин (1882-1954), философ, публицист. Проф. юридического ф-та Московского ун-та, выслан из России в 1922, жил долгое время в Берлине, редактировал там журнал «Русский колокол» (1927-1930). После переезда в Париж преподавал в Богословском ин-те.

Семен Людвигович Франк (1877-1950), философ, публицист. В молодости увлекался марксизмом, в начале века примкнул к движению философского идеализма. Приват-доцент Петербургского ун-та (1912), занимал кафедру философии в Саратовском (1917), а затем — в Московском ун-те (1921). Выслан из России в 1922, жил в Берлине, в 1930-37 читал лекции по истории русской мысли и литературы в Берлинском ун-те.

³ *ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ. POTESTAS CLAVIUM.* Берлин, «Скифы», 1923. 282 с.

⁴ Ср. объявление в «Новой Русской Книге» (1922, №3/4, с.49): «А. Белый перерабатывает для отдельного издания *Воспоминания о Блоке*, печатавшиеся в "Эпопее". Воспоминания состоят большого труда, который выйдет в свет в 4-х томах под заглавием *Блок и его время*. О замысле Белого и его берлинской работе над книгой см.: В.Ф. Ходасевич. *НЕКРОПОЛЬ*, с.96-97).

13

Баденвейлер, 20 марта 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Оба твои толстые письма, от 11-го и 15-го, получил, сам пишу заказные, потому что отсюда нет уверенности. Твои письма меня очень радуют — родной человек говорит. Насчет отъезда у нас дело стоит так: собранные эти деньги меня угнетают; я с 20 лет сам зарабатывал все нужное до копейки, это вошло мне в кровь¹. Теперь я никогда не забываю происхождения этих денег, при каждом мелком расходе, — а вообще это мне чудно, я легко относился к деньгам. Это одно; а дети, они уже взрослые и с «принципами» (вегетарианцы! не едят мяса), тоже тяготеют этим, и кроме того очень стремятся в Москву, для учения и ради товарищей. Они говорят, что если мое здоровье безусловно требует, они охотно подчинятся; но Шверер² теперь не требует года, а говорит: май или июнь. Тут конечно много значит адская скука, полное безлюдье, в котором мы провели здесь зиму; ведь это — деревня с несколькими пансионатами, где живут немногие американцы, немцы и т.п. А мое здоровье — кто его знает! Вот вчера был, после долгого ненастья, второй солнечный и теплый день. Я пошел с Наташей гулять, ходили по чудесным местам полтора часа после обеда — и

в результате я всю ночь промучился бессонницей и кашлял, как больная овца. Но в общем я все-таки значительно поправился. Словом, ни в ту, ни в другую сторону принудительности нет, оттого и трудно решить. Пока у нас все-таки решено, что уедем в мае, может быть — к 1 июня. Поэтому ты пока больше денег не собирай, а Парижский санаторий надо оставить. А за эти два месяца можно при нужде перерешить.

Присланные тобою чеки здесь охотно принимают, так что ты можешь и остальные франки прислать такими же чеками, только — *если можно* — лучше не по 20, а по 10 долларов, или по крайней мере так, чтобы на два 20-долларовых было и два 10-долл. Но это пока неважно: курс уже больше месяца стоит неизменный. Посылка Ара не заказывай; на днях было сообщено, что остаются посылки Нансена. Посылки нужны не для удешевления, а потому, что в Москве нельзя достать теперь молока, потому что нет денег на муку и сахар, и т.д. Тут уже не приходится думать о том, где дешевле. Вот семья В.В. Розанова живет в нищете; хорошо бы им послать посылку (Сергиев Пос[ад], Моск. губ., Красюковка, Полевая улица, Варваре Дмитр[иевне] Розановой!)³. В Москве умирает с голода пасынок Достоевского, пожилой, больной, в параличе, одинокий, его адрес — Москва, Арбат, Никольский пер. 13, кв.4, Вере Степ[ановне] Нечаевой⁴ для Милия Фед[оровича] Достоевского. Если имеешь возможность, устрой.

Очень я обрадовался вчера книге Лидии Алексеевны, — обрадовался за нее. Напишу ей сегодня. Ленин умирает, в правящей кучке начнется борьба за власть, как во время Франц. революции, чего до сих пор не было. Что ВЦИК назначил триумвирами очень умеренных Каменева, Рыкова и Сталина, указывает на преобладание умеренного течения; но это не исключает возможности крайне резкой кратковременной вспышки слева, с новым террором.

По поводу твоей мысли об истории — вот что: года полтора назад в Германии вышла замечательная книга Theodor Zesting'a, Die Geschichte als Linnggebung des Sinnlosen, получившая премию Ницше. Я знаю ее только по изложению. Мысль та, что ту сеть утилитарных идей, по которой люди строят свою настоящую жизнь, они накидывают и на прошлое, вследствие чего получается утешительное представление, что вся разнородная и в сущности бессмысленная с точки зрения *ratio*, масса совершавшихся явлений есть стройная система фактов, вполне соответствующая тому утилитарному плану.

Привет всем твоим. Обнимаю тебя, твой М.Г.

Чтобы не тратить на два заказных, вкладываю сюда письмо к Лид. Ал.

¹ Пытаясь продлить пребывание Гершензона за границей для завершения курса лечения, Шестов предпринял сбор средств в пользу больного писателя.

² Geheimrat Schwöbger — известный немецкий врач, лечивший также больного туберкулезом А.П. Чехова.

³ С Варварой Дмитриевной Рудневой В.В. Розанов познакомился в 1886, после своего бурного брака с Аполлинарией Сусловой. В.Д. скончалась 15 июля 1923 г. Подробнее о ней см.: З.Гиппиус. *ЖИВЫЕ ЛИЦА*. Прага, «Пламя», 1925, с.9-92; Angelo Maria Ripellino. *SAGGI IN FORMA DI BALLATE*. Torino, Einaudi, 1979, p.21-76.

⁴ Вера Степановна Нечаева — литературовед, автор множества работ о творчестве Достоевского (*В СЕМЬЕ И УСАДЬБЕ ДОСТОЕВСКИХ*, М., 1939; *ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО*, под ред. В.С. Нечаевой. М., 1957; *ЖУРНАЛ М.М. И Ф.М. ДОСТОЕВСКИХ «ВРЕМЯ». 1861-1863*. М., «Наука», 1972; *ЖУРНАЛ М.М. И Ф.М. ДОСТОЕВСКИХ «ЭПОХА». 1864-1865*. М., «Наука», 1975; *РАННИЙ ДОСТОЕВСКИЙ. 1821-1849*. М., «Наука», 1979).

Сведений о Милии Федоровиче Достоевском в биографических материалах писателя и воспоминаниях современников обнаружить не удалось.

14

Баденвейлер, 9 апреля 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Как поживаешь? Кончил ли Паскаля?¹ Все-таки ты занятно живешь, завидую тебе: и в Париже, и людей видишь, и пишешь. Не люблю культуры городской, а она в крови сидит, — скучно без нее; «в столицах шум, гремят витии», словом — оживление, а здесь только холмы и лес, да пансионские соседи. Даже читать нечего. Я все ждал «Власть ключей», а они не приходят. Сегодня прочитал в «Днях», что вышла по-французски твоя книга о Достоевском². Это тебе должно быть приятно. А мне недавно написал одно берлинское издательство, что желает издать по-немецки мой «Ключ веры», и чтобы я назначил гонорар. Я предложил им самим назначить, — да с тех пор больше и нет новостей. Напечатана ли твоя статья о Спинозе?³ Пристроил ли Герм[ан] Леоп[ольдович] свою статью о тебе и Бергсоне? Я все предлагал ему переслать ее *Шпету*, но он почему-то не соглашался. Получил я недавно сразу два письма, как бы с двух полюсов: от П.Г. Виноградова⁴ из Оксфорда: благоустроенная жизнь, просторная, ясная, как широкая и плавная река; и от Дм. Моис. Петрушевского из Москвы, очень мажорное, об университетской жизни, об его лекциях и семинариях, но между строк говорящее о таких издерган-

ных нервах и о такой холодной, неустроенной жизни, точно человек *хочет* обмануть себя бодростью. Но и благообразие Оксфорда — мираж; по существу, мне кажется, и в Европе царит безумие, по крайней мере во Франции, Германии, Италии, Ирландии, Польше. Достаточно теперь 3 дня сряду читать внимательно какую-нибудь большую европейскую газету, чтобы от фактов и их освещения впасть на остальные 4 дня недели в тяжелую ипохондрию. Я перечитал здесь массу, теперь просматриваю только одну, почти не читая.

Будь здоров, милый Лев Исакович. От М.Б. и меня привет вам всем. Другую половину листка передай пожалуйста Лидии Алек[сеевне].

Твой

М.Гершензон.

¹ *ГЕФСИМАНСКАЯ НОЧЬ. ФИЛОСОФИЯ ПАСКАЛЯ.* — «Современные записки», 1924, №19, с.176-205, №20, с.235-264. Статья была сразу же переведена на французский и немецкий. По этому поводу Гершензон пишет еще раз Шестову из Баденвейлера 15 июля 1923: «Все эти дни читаю твои французские книги. Увидимся, поговорим. Паскаль, потому ли, что читаю по-французски, или потому, что ты писал его для иностранцев, — самая ясная твоя книга, написана *clare et distincte*. Экземплярский — великолепно перевел. Спрашивается: что хуже (или лучше): убить Бога, чтобы без помехи устраиваться на земле, — или так понять Бога, чтобы обезбожить, обездушить все земное? Я не могу принять первого (Декарт), но не могу принять второго, твоего. /../ У тебя выходит так, точно человек сам себе создал разум; но ведь разум — оттуда же; а откуда ты знаешь: разумность, логичность разума — не таинственнее ли всякой неожиданности оттуда? Я же думаю, что и разум, и "закон" тоже божественны, но напрасно претендуют на монополию божественности». (Архив Л.Шестова.)

² См. прим.3 к письму 7.

³ *СЫНОВЬЯ И ПАСЫНКИ ВРЕМЕНИ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖРЕБИЙ СПИНОЗЫ.* — «Современные записки», 1925, №25, с.316-342. (Позднее вошла в кн. *НА ВЕСАХ ИОВА*. Париж, 1929).

⁴ Павел Гаврилович Виноградов (1854-1925), историк. С 1884 проф. всеобщей истории Московского ун-та; в 1890-е гг. читал курс об истории Греции, посещавшийся Гершензоном. С 1914 — чл. Петербургской АН. В 1902-1908, затем с 1911 жил в Англии. С 1893 Гершензон был секретарем Виноградова и в дальнейшем продолжал поддерживать с ним тесные отношения.

Баденвейлер, 18 апреля 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Вчера получил твое письмо и книгу¹, очень хорошо изданную (превосходен рисунок слов на обложке). Большое спасибо. Я кажется все здесь знаю, кроме «Тысячи и одной ночи». Эта твоя книга носит особенный характер: в ней переработан очень большой материал по истории философии: Плотин, Гуссерль, Платон, Аристотель — и уже и Спиноза, и Паскаль; так что выходит, учебная книга, после которой никто не сможет упрекать тебя в научной наивности. Почему напечатано по новой орфографии? Я ее крепко не люблю, потому что она глупая.

Насчет отъезда я уже о денежной стороне не буду говорить, потому что ты сердисься. Но есть еще другая сторона, о чем я уже писал: учение детей. Сыну 17 лет, он может за этот год кончить гимназию. Ежели оставаться здесь, где он может учиться? Значит, придется жить в Берлине, где климат и все условия жизни для меня ничуть не лучше московских; и русское учение в Берлине не лучше московского, а весной, если он и окончит, в немецкий университет его не примут, и в Московский конечно тоже. Мы вообще, и с учением, и с здоровьем, опоздали приездом сюда на два года. Но это не моя вина; когда летом 1920 года я впервые почувствовал, что теряю силы, — я подал прошение о разрешении выехать за границу; прошение это было передано на рассмотрение коллегии Комиссариата Просвещения; там постановили — не отпускать, но принять меры к улучшению моего материального положения (и потом «мер» не принимали). Тогда дети были еще малы, и здоровье не так испорчено; тогда одним заграничным годом все и обошлось бы, а эмигрировать совсем я вовсе не хотел и не хочу.

Теперь ближайшим образом ясно одно: здесь стало так чудовишно дорого, что надо поскорее уезжать. Мы хотим около 1 мая ехать в Берлин². Самое обидное, что не попаду в Париж; пока я буду там, семья здесь прожила бы больше, чем я заработаю, и еще — сил у меня немного, эта поездка очень утомила бы меня, и это перед Берлином, который тоже возьмет много сил. В Берлине покажемся Клемпереру³, услышим его совет. Деньги, если успеешь, пришли сюда, а с 1-го пиши мне на имя Германа Леопольдовича. От него я третьего дня получил письма; он уехал в Женеву ликвидировать тамошнюю квартиру.

Я здесь не написал, разумеется, ни одной строки; даже не представляю себе, как люди пишут литературное. Значит, еще не

так поправился, потому что когда здоров, меня тотчас начинает тревожить какая-нибудь тема, и хочется писать. Это очень жаль: я в Москву ничего не привезу для продажи. Насчет Белого у меня нет ни малейшей охоты «поговорить с Европой»⁴, как ты пишешь; просто он мне близок, я *могу* о нем поговорить — для заработка единственно. Но это я могу сделать только сев на место, т.е. в Москве уже. А в «Еврейскую неделю» непременно постараюсь прислать тебе статейку; у меня мысль есть.

Чем болен Шлецер? Вокруг Скрябина образовалась какая-то роковая воронка, поглощающая все, что было близко к нему. Я вспомнил о нем, встретив в твоей книге слова Ницше о философах: *ein verhängnis vollen Mensch, an dem es unheimlich zugeht*. Совершенно то же где-то сказал Гете, только не о философах, а о гении, — впрочем, вопреки собственному опыту.

Не знаю, как у вас весна, а здесь все время плохая погода — дождь и холод, так что до сих пор топят.

От М.Б. и меня привет твоей семье и Лидии Алексеевне. Напиши еще сюда. Я еще напишу отсюда.

Весь твой М.Гершензон.

¹ *ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ*, куда включена статья *ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ*, уже изданная в «Современных записках» (1921, №3, с.123-141).

² Около 8 мая Гершензоны выехали в Берлин с намерением пробыть там дней десять и затем отправиться в Москву. Но в Берлине Гершензону стало хуже, и семье пришлось вернуться в Баденвейлер.

³ Георг Клемперер (1865-1946) — известный немецкий врач, лечивший также В.И. Ленина. (Подробнее о нем см.: Н.Петренко. *ЛЕНИН В ГОР-КАХ. БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ*. — «Минувшее», №2, Париж, 1986, с.143-287).

⁴ В первом номере журн. «Беседа» (май-июнь 1923) появилась статья Белого *О «РОССИИ» В РОССИИ И О «РОССИИ» В БЕРЛИНЕ*, в которой он вспоминал о первых послеоктябрьских годах, как о поре «пронизавшей энтузиазмом и жизненным пафосом» и резко критиковал русскую эмиграцию в Европе.

Берлин, 22 мая 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Мы в Берлине уже почти две недели. Не писал тебе, потому что трудно было: мучились опять вопросом, ехать или не ехать в Россию. Приехали сюда, как ты знаешь, с решением ехать; на

всякий случай решили показаться хорошему специалисту по легким, он нас троих, т.е. кроме М.Б., выслушал, а детей кроме того и рентгенизировал, — и наговорил всяких неприятностей, особенно обо мне и Наташе, — что мы не долечились, что все может возобновиться, и т.д. М.Б. пришла в ужас и опять настаивала, чтобы оставаться здесь. Мучились несколько дней, потом я, по совету Ловцких и Лундберга, решил поговорить с д[октор]ом Залле, которого ты знаешь. Рассказал ему, что сказал тот профессор, — он и сам осмотрел нас, и сказал, что по его мнению, можно ехать. Очень толковый человек: принял во внимание и психологию. Итак, опять решили ехать. А на другой день я узнал, что в России еще до лета будет *отменен* академический паек; это значит — голод, как в 1919-20 гг., до пайка. При этих условиях как ехать? Чистое мученье. В этих думах и разговорах мы потеряли добрую часть Баденвейлерской поправки. Мне трудно оставаться здесь — жить на такие деньги, и дети рвутся в Москву ради нормального ученья и друзей. Так замучились, что решили остаться здесь еще на неделю и несколько дней не разговаривать об этом предмете. Тоже не очень благоразумно, потому что мы истратим часть денег, предназначенных на первое время в Москве; но надо было дать себе отдых и время подумать. Значит, мы уедем не раньше субботы 2 июня (пароход Штеттин-Петербург идет по субботам). С Ловцкими выдаюсь почти ежедневно, мы и живем близко, и очень сблизились. Видел я и других твоих сестер, и очень мне нравится Елиз[авета] Исак[овна]. Видел Лундберга, он дважды был у меня. Живем в том же пансионе, где А.Белый²; он и устроил нас здесь. Разговоры с ним мне очень приятны; ты знаешь, как я его люблю. Ходит ко мне всякий народ, все незнакомые люди, и очень утомляют. Ни Франка, ни Бердяева не видел. Пытаюсь продать 2-ое издание своих «Исторических записок»³, но пока ничего не вышло, хотя я прошу за 15 печ. листов только 100 долларов.

На днях еще напишу тебе; а тут ниже пишу по просьбе Г.Л. расписку официальную в получении зимних денег.

Привет твоим. Обнимаю тебя и остаюсь
весь твой М.Гершензон.

Берлин, 22 мая 1923 г.

Милый Лев Исакович,

Сообщаю тебе, что деньги в сумме двух тысяч восьмисот франков (2800 фр.), переданные тобою для меня Г.Л. Ловцкому, я от последнего получил. Твой М.Гершензон.

¹ В конце июня 1923 Гершензоны вынужденно вернулись в Баден-вейлер. Отсюда 16 июля Г. вновь пишет Шестову о своих колебаниях по поводу возвращения в Россию: «Посмотрел я жизнь наших в Берлине — Ловцких, Ремизовых, Лазарева и др.: не многим легче московской (я говорю только о внешнем). И притом призрачно, пустынно, одиноко. И странно: после всех жалоб, все без исключения настойчиво советовали мне не ехать в Россию, особенно Ремизов, — и притом аргументировали все только от внешнего». (Архив Л.Шестова). Несмотря на уговоры друзей, и особенно Шестова, который устроил сбор средств для Гершензона и хлопотал возможность для него прожить за границей еще 8-9 месяцев, Гершензоны в начале августа отправились в Москву, по пути остановившись еще раз в Берлине, где, наконец, встретились с Шестовым.

² О берлинской встрече с Гершензоном Белый вспоминает в кн. *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*, с.293. В берлинском пансионе Крампе на Виктория-Луиза-Платц жили тогда Белый, Ходасевич, Н.Никитин и многие другие русские писатели. (См.: Н.Берберова. *КУРСИВ МОЙ*, с.173; А.Бахрах. *ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ*, Париж, 1980, с.52-56).

³ Гершензону удалось продать второе издание *ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАПИСОК* «Геликону»; книга вышла в 1923 г.

17

Москва, 3 сентября 1923 г.
Арбат, Никольский пер.13, кв.4.

Милый друг,

Пишу в надежде, что письмо уже застанет тебя на месте. Да раньше и трудно было сосредоточиться, чтобы написать письмо. На меня сразу обрушилось столько дел, мелких и крупных, что я бегал целые дни и изнемогал от усталости. Я и всегда был плох по этой части, а теперь долговременный отдых отбил у меня последнюю способность хлопотать. Началось с очередной неприятности по квартире, потом пошел ремонт квартиры, так как жильцы необыкновенно загрязнили ее, и т.д., не стоит рассказывать. Легче то, что стоит хорошая погода, ясно и жарко, так что можно ходить без пальто. Трудно после Берлина с трамваем. Всегда до удушения тесно, едва можно стоять. Москва чистится, впервые со времени войны: во многих местах чинят тротуары и красят дома снаружи — и сплошь красят или оклеивают внутри, во многих домах восстанавливается центральное отопление (к сожалению, не у нас). Люди все-таки плохо одеты, но сыты кажется все; все есть и по прежним ценам, не многим дороже; но беда в том, что у людей сравнительно гораздо меньше денег: если считать, например, на доллар, то фунт мяса или масла стоит не дороже довоен-

ного, но жалованья, гонорары, вообще заработки — много ниже; оттого и трудно. Основная денежная единица теперь — бумажный червонец, 10 руб., на него действительно можно купить в общем почти столько же, сколько раньше на 10 рублей, кроме платья, обуви, дров, которые стоят в 3-4 раза больше; но, напр., литературный гонорар — 4 червонца за лист (а я получал прежде 120-150 руб.), в Университете я получаю 2 червонца, и т.п. По-видимому, однако, за время нашего отсутствия в общем стало легче жить; почти все знакомые хорошо выглядят, не имеют изнуренного вида, — посмотрел бы ты на Челпанова, до чего толст, сыт и благополучен. Опять процветает дачная жизнь, множество народа и до сих пор на дачах, так что я еще мало кого видел; поэтому об общих знакомых напишу тебе в другой раз. И к Ал[ександру] Елеаз[аровичу] зайду и напишу тебе. Мне первое время было очень трудно, по многим причинам. Дети довольны, что вернулись, М.Б. опять в каторге кухонной и прочей, что на меня сильно действует. Службы у меня — прежние: в Научно-Исследовательском Институте при Университете, и заведующим Литер[атурной] Секцией в Академии Худож[ественных] Наук¹. Академический паек пока еще существует, но стал тенью самого себя. Печатать свое почти совсем невозможно, так что эту зиму я буду только редактировать, вообще — делать специальную историко-литературную работу. После Германии здесь кажется необыкновеннолюдно и шумно на улицах, всюду. Баденвейлер — как сон в Елисейских полях, встреча с тобой — как совершившееся чудо. Ты был все время очень нервен, разорван. Дня три назад были у нас Елиз[авета] Исак[овна] с мужем и обеими дочерьми, — как привет от тебя. Они должны были через день уехать в Киев, а младшая остается здесь, учиться живописи, и будет у нас бывать. Да, это был у тебя не отдых; на тебя было слишком много родственного и приятельского спроса, ты разрывался ежедневно. Разве уже около Анны Елеазаровны потом отдохнул.

Ну, пока; скоро еще напишу. И ты пиши пожалуйста. Напиши, как устроилась Таня². Я писал Герм[ану] Леоп[ольдовичу], хочу знать, как они; но он ленив писать. Написал я и Сем[ену] Влад[имировичу]³ насчет денег. В Берлине не хорошо, вернутся ли Ловцкие туда? Очень я их полюбил, и жаль, что они так неустроено живут.

От М.Б. и меня сердечный привет Анне Елеазаровне и всем твоим. Будь здоров, бодр, обнимаю тебя.

Твой
М.Гершензон

¹ Государственная Академия Художественных Наук (ГАХН) возникла в Москве в 1921 из небольшой комиссии специалистов и за несколько лет выросла в крупное научно-учебное заведение. О ее деятельности см.: П.Коган. *ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК*. — «Печать и революция», 1927, №7, с.293-299.

² Летом 1923 старшая дочь Шестова окончила университет (Licence en Lettres), осенью освоила машинопись и стенографию и устроилась на временную (с 1924 г. постоянную) секретарскую работу у Luchaire. (См.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.304, 312).

³ Семен Владимирович Лурье (1867-1927), литератор, близкий знакомый Шестова и Ремизовых, еще по России. В 1908-11 входил в редакцию «Русской мысли», где опубликовал ряд статей на философские темы. Эмигрировал в 1919, поселился с семьей в Париже. Сотрудничал в «Современных записках» и др. эмигрантских журналах.

18

Москва, 6 ноября 1923 г.

Милый друг,

Извини, что пишу на половинке, не купил почтовой бумаги. Я и то очень задержался с ответом. Оба твои письма, от 12-16-го и от 19-го октября, я получил; от 16-го же пришло письмо секретаря Silvain Lévy, M-г Bigart'a о том, что из Jewish Col. Assoc. здесь мне будет доставлено 1000 фр. Пока никто не приходил. От [семена] [Владимировича] получил письмо; пока больше ничего.

От Лундберга тоже получил письмо; он пишет, что ты поправился¹. И ты, Брут! Я думал, что Анна Елеаз[аровна], так образцово воспитывая дочек физически, и тебя надолго сохранила. Ты плохо провел лето; в Берлине метался, и не знаю, надо ли было ехать в Pontigny. Если у тебя артрит, значит тебе нельзя есть мяса; вот М.Б. за эти вегетарианские годы избавилась от тяжелого артрита. А вообще, живя в такой комфортабельной стране, как Франция, ты должен был бы принять методу, которую — я видал — практиковали бывало очень занятые люди, видные адвокаты и т.п.: раза два за сезон, по крайней мере на Рождество и Пасху, уезжать куда-нибудь для отдыха на 7-10 дней. И возвращались освеженные. Так и Вл. Соловьев убежал на 3-4 дня от московской сумятицы, от редакций Вопр[осов] фил[ософии] и псих[ологии]², — к Троице. У нас это невозможно. Совет Анны Елеазаровны (в эту минуту подали письмо от All. Isr. здесь — прийти за получением 1000 фр.; значит, это в порядке; я напишу S.Lévy благодарность на днях), — в марте мне уехать на юг, конечно, правилен, но куда ехать? В Гаспре есть санаторий Ком[ис-

ссии] по улучшению быта ученых³, где я могу месяц прожить бесплатно; но туда *двое* суток езды, а там автомобилем, который непременно ломается в дороге, от 4 до 8 часов; можешь вообразить, каким я туда приехал бы.

Для заработка я взялся редактировать две книжки мемуаров для Брокгауза-Эфрона. Неинтересно и кропотливо, но других заработков нет. Нужен рыбий жир, и не знаю, пойдет ли это; каждый вечер болит под ложечкой. Осень необыкновенная; недели две были сплошь дожди, а теперь опять тепло, сегодня с утра было чистое небо и солнце, так необычно в эту пору. Но конечно топить приходится, — эти низенькие кирпичные печки с трубами чрез всю комнату, и уже в передней и уборной холодно. А Белый приехал дней десять назад⁴, он купался в море и отлично поздоровел. Одет с иголочки, радуется на все здешнее, как ребенок. От него узнал, что Ремизовы уже уехали в Париж⁵. Здесь не так давно была у нас Варв[ара] Григ[орьевна]⁶. Ты верно знаешь, что Педагог[ический] институт, где она преподавала, закрылся; она ищет перевода — а теперь еще заболела ее мать, так что она не может наезжать сюда искать. Уже после опять была у меня по этому делу Ел[ена] Влад[имировна] Шик⁷. Я научил ее, куда идти; не знаю, выйдет ли что. Затеял я среди музыкантов устроить концерт, чтобы собрать и послать Ариадне Скрябиной⁸ денег сколько-нибудь. Сабанеева⁹ ты верно помнишь? Он взялся хлопотать. Мы рассчитали, что может очиститься около 300 долларов, т.е. тысяча пять франков — все-таки нечто. Гольденвейзер¹⁰ поможет. Я просил, чтобы формально цель не была оглашена, — а участникам придется сказать. — Да, я прервал себя. И В.Г., и Е.Вл., обе тебя очень любят, Е.В. обещала на днях написать тебе. Был недавно Г[устав] Г[уставович Шпет], сидел долго, — у него, правда, теперь досуга много. В Унив[ерситете] он кончил; чем живет теперь, не знаю, но все так же носит крахмальные воротнички и курит хорошие папиросы. Мы с ним часто встречаемся в Акад[емии] Худож[ественных] Наук; он там заведует Философской, я — Литературной секцией¹¹.

Прервал меня Столпнер¹² и только что ушел; уж поздно. Давно уже были у нас Бахи, А.Н. и А.А.; может я уже писал об этом? С тех пор мы все не можем собраться к ним. Если хочешь сделать доброе дело, пришли Варв[аре] Григ[горьев]не пару новых, только что вышедших франц. романов, особенно с социальной подкладкой. Главное для получения перевода — самому предложить подходящую книгу. Посоветуйся с Шлецером или с кем из французов. Имей она такую книгу, заказ обеспечен. Слабые ее стихи, Монастырское.

Ну, будь здоров. Пишу мелко, вели дочке читать тебе мои письма. Привет твоим, Анне Елеазаровне. Если дело с концертом удастся, я думаю, лучше послать деньги на имя С[емена] В[ладимировича], чтобы тебе не ходить в банк получать. М.Б. всем вам кланяется. Обнимаю тебя.

Твой М.Г.

7-го утром. Сегодня опять солнце, но и тучи. Умер Чешихин (Ветринский)¹³, 57 лет, умер в больнице, где лежал с июня, — от грудной жабы. Хоронили его далеко, на Даниловском кладбище, и я был, удивительно, как не простудился; был сильный холодный ветер и продолжалось долго, — речи говорили. Семья осталась без всяких средств, хлопочем о социальном обеспечении. Еще умер, тоже от грудной жабы, Н.Е. Эфрос¹⁴, театральный. Вообще много болеют сердцем. Брат М.Б., Николай Бор[исович]¹⁵, вдруг слег — оказался миокардит. А теперь болеть — самая дорогая роскошь; доктор, аптека стоят чудовищных денег. Вообще цены лондонские. Сажень дров — 2 червонца, т.е. 10 долларов, да распилить — 2 доллара; а раньше они стоили 9 руб., т.е. 4 1/2 доллара. Но и заработок (когда он есть) высок; за печатный лист платят 5 черв., т.е. 25 долларов, это за оригинальное, а за перевод 2 1/2 черв. Но литерат[урный] заработок достать трудно; книги стоят дорого, покупателей мало, частные издательства издают очень мало. Между профессорами и писателями много нуждающихся, но это нужда относительная; той острой, какая была года три назад, теперь нет, по крайней мере все сносно питаются. Я думаю, в Германии теперь хуже людям этого сорта. Академический паек с 1-го ноября упразднен. Денежное пособие пока сохранено. Все мы — ученые, писатели, артисты, художники, разделены по ценности на 5 категорий: высшая, 5-ая, — нотабли *мирового* значения, как И.П. Павлов; 4-я — люди всероссийской ценности (тут и я), и т.д. Получил я, по 4-й катег., за октябрь около 6 долларов; теперь, говорят, с упразднением пайка, пособие будет несколько увеличено.

Жму твою руку. Передай Лидии Ал[ексеевне] наш привет.

Твой М.Г.

¹ Летом 1923 по возвращении с философского семинара в Понтины Шестов почувствовал себя плохо, отправился на отдых в Виши, однако по возвращении в Париж вынужден был в конце октября лечь в больницу из-за невыносимых болей в бедре. (См.: *ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.299-301).

² Журнал, издававшийся в 1889-1918 Моск. Психологическим Об-вом.

³ ЦЕКУБУ (Центральная Комиссия по улучшению быта ученых) была создана в 1921 по инициативе М.Горького и при содействии В.И. Ленина. См. о ее деятельности: А.Халатов. *ЦЕКУБУ*. — «Печать и революция», 1927, №7, с.307-313.

⁴ В письме к Иванову-Разумнику Белый описывает свой возврат в Москву в октябре 1923 г. несколько иначе: «Я вернулся в свою "Могилу" /.../ в которую уложил меня Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними: все критики и все "Истинно Живые" писатели; даже "Фетировавшие" меня в 21-м году странно обходили меня, опустив глаза; "Крупные" заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что самое появление мое в общественных местах напоминало скандал, ибо "Трупы" не появляются, но гниют. Я был "Живой Труп"; "В.Ф.А." — закрыта; "А.О." — закрыто; журналы закрыты для меня, издательства — закрыты для меня...» (См. в кн.: К.Н. Бугаева. *ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ*, с.17).

⁵ Ремизовы окончательно переехали в Париж 5 ноября 1923 г.

⁶ Варвара Григорьевна Малахьева-Мирович, воронежская писательница, сотрудница киевских, московских и петербургских журналов. С Шестовым знакома с 1892, часто гостила у него в Швейцарии, когда Шестовы жили в Коппе.

⁷ Биографических сведений об этом лице обнаружить не удалось.

⁸ Дочь композитора. См. о ней: А.Бахрах. *ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ*, с.130-134.

⁹ Леонид Леонидович Сабанеев (1881-1968), теоретик и историк музыкального искусства; автор монографии о Скрябине и книги *МУЗЫКА РЕЧИ* (М., 1923).

¹⁰ Александр Борисович Гольденвейзер (1875-1961), брат М.Б. Гершензон, пианист и композитор. Профессор (с 1906) Московской консерватории, создатель пианистической школы.

¹¹ О совместной работе Гершензона и Шпета в ГАХНе см.: Е.Лундберг. *ЗАПИСКИ ПИСАТЕЛЯ. 1917-1920*, с.213-214.

¹² Борис Григорьевич Стоппнер (1871-1937), философ, социолог, переводчик (перевел труды Гегеля, Т.Гомперса, Р.Рихтера, Г.Геффдинга, Э.Кассирера и др.).

¹³ Василий Евграфович Чешихин (псевд. Ветринский, 1866-1923), историк литературы и общественной мысли. Автор научно-популярных книг о жизни и творчестве В.Г. Белинского, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова. Участвовал в издании *ВЕЛИКОЙ РЕФОРМЫ* (6 тт., 1911) и *ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX в.* (5 тт., 1910-11).

¹⁴ Николай Ефимович Эфрос (1867-1923), театральный критик, историк театра, автор статей и книг о Художественном театре.

¹⁵ Николай Борисович Гольденвейзер (1871-1924), брат М.Б., с которым Гершензон учился вместе в университете. Преподавал историю в средних учебных заведениях.

19

Москва, 3 января 1924 г.

Милый друг,

С Новым годом! Тебе и всем твоим быть весь год здоровыми. Пишу насчет Скрябиных. Так как музыканты рассердили меня, то я их побранил; и вот сегодня отсюда идет письмо куда-то за границу: оттуда дано знать, что есть 75 долларов для Консерваторской кассы (чье-то пожертвование), — так вот эти деньги велено переслать, как ты писал, тебе; значит, дней через 10 ты их получишь. Это для начала; а концерт все-таки будет; они говорят, что раньше 20-х чисел января невозможно устроить. Теперь, имея кое-что, можно подождать. Я сказал им, что достать надо не меньше 300 долларов, — и достанут. А ты выдавай, как хочешь, но частями.

Я чувствую себя лучше, начал выходить. Теперь морозы. Лундберга больше не видел, но слышу, что он всюду бывает, завязал множество знакомств, летает по Москве. Он очень ловкий, конечно устроится. Он живет у Збарского¹, в роскошном Биохимическом институте Баха. Я ничего не писал и не пишу; редактирую теперь неизданные материалы — Архив Огарева². В книге моей — «Пальмира» — цензура вычеркнула так много, что издать ее невозможно. Пишешь ли ты что-нибудь? — Очень плох брат М.Б., не Александр Бор[исович], а другой. Месяца 3 назад у него вдруг обнаружился миокардит; а теперь он лежит в клинике с сильнейшей водяной. Я его очень люблю; это чистейший, бескорыстнейший человек, какого можно встретить. Мы вместе прошли университет и всегда были дружны.

Привет Анне Елезаровне, и М.Б. кланяется вам. Пиши о себе пожалуйста фактичнее.

Твой М.Г.

¹ Борис Ильич Збарский (1885-1954), биохимик, академик АМН. Участвовал в балъзамировании тела В.И. Ленина.

² Архив Н.А. и Н.П. Огаревых Гершензон готовил к печати в революционные годы, когда стал разбирать семейные документы Огаревых. В 4-й том «Русских Пропилей» вошла лишь часть его — жизнь Герценов и Огаревых до 1865 г. Отдельной книгой Архив Огарева был напечатан уже после смерти Гершензона — в 1930 г.

Москва, 15 февраля 1924 г.

Милый друг,

Давно я тебе не писал. За это время тяжело умирал и умер в клинике брат М.Б., и похоронили его. Получил я твое письмо, где ты пишешь о твоей болезни; оно нас очень обрадовало, — значит, ничего серьезного нет. Из него узнал также, что печатается твой 2-й немецкий том¹, что потом видел и в объявлении издательства, неприличном, как все немецкие издательские объявления. Принимаю твое субъективное удовольствие по поводу иностранных переводов, но не могу не жалеть о том, что по условиям времени ты уходишь из России на чужбину; ты — русский писатель, твое место здесь, не только по языку.

Ты, как всегда, почти ничего не пишешь о себе. Пишешь ли что-нибудь? Практикует ли Анна Ел[еазаровна]?² Устроилась ли Таня? При необыкновенном падении франка у вас верно стала очень дорога жизнь. Как живут Ремизовы? — А от меня не требуй других писем, нежели я пишу. У нас необыкновенно суровая зима, сильные морозы, ветер. Я выхожу не каждый день, и то ненадолго; от сиденья в комнате, от маленьких кирпичных печек с длинными трубами мне стало за зиму много хуже. Сажу весь день и занимаюсь; приготовил к печати большой том — Архив Огарева. Оплачивается он плохо, но концы с концами сводим. С[емен] В[ладимирович] писал мне, что послал деньги остальные с оказией, но до меня они не дошли, а его адреса я теперь не знаю. Насчет Скрябиных дело стоит так. Из-за болезни Н.Б. Гольденвейзера мы это время были одним этим поглощены, и А[лександр] Б[орисович] ничего не мог предпринять; тем временем Неманова-Лунц получила письмо от Ариадны с благодарностью за те 75 долл. и с извещением о своем замужестве. Теперь музыканты спрашивают меня, а я — тебя: нужна ли еще помощь, напр. Марье Александровне с младшей девочкой? И еще они просят узнать у Бор[иса] Фед[оровича]: неужели семья ничего не получила от заграничных фирм, переиздавших так много партитур Скрябина за последние 4 года? Напиши, за кого вышла замуж Ариадна³. — Лундберг приходил вчера и рассказал М.Б., что на днях едет в Тифлис, к родственникам жены, и надеется получить там место заведующего тамошним отделением Госуд[арственного] Издательства. Здесь не мог устроиться, получил только два перевода. Белого давно не видел, — его и никто не видит; он прочитал очень неудачно публичную лекцию о Берлине и русской эмиграции там, — вероятно, только по нужде, чтобы получить несколько денег.

Печататься ему невозможно, значит и жить нечем. Г[устава] Г[у-ставовича]⁴ выдаю, все такой же, только худеет. Елена Вл[адими-ровна] Шик трогательно-любезна: приносит нам билеты на новые постановки в своей студии и с радостью слушает, что я ей рассказываю из твоих писем. Зачем ты сидишь в Париже? зачем тебя нет здесь? — везде трудно жить, как где-то меланхолически заметил Ремизов. Вот погоди, скоро и Франция признает Россию, тогда будет объявлена общая амнистия, и Наташа к тому времени кончит и захочет в Россию. Зачем девочкам стать иностранками?

А я, как хорошо было бы мне зайти за тобой и пойти на Девичье поле погулять! или ты бы зашел после завтрака. Бывает у меня Столпнер; ты его видал в Петербурге. Иногда говорим с ним о тебе. Он все такой же, маленький Сократ, живет в общези-тии, переводит Гегеля, Историю философии, зарабатывает несколько червонцев, потом выронит их в уборной и не найдет, но переносит потерю стоически; и читает всеядно, и рассуждает, рассуждает, так что порою доводит меня до одурения.

М.Б. и я всем вам кланяемся. Скажи от нас привет милой Лидии Ал[ексеевне]. А ее зачем нет здесь? — Все неправильно делается. Ей-то уж совсем незачем быть там.

Обнимаю тебя с любовью.

Твой М.Гершензон.

¹ В ноябре 1922 Шестов подписал договор с изд. Маркан, взявшимся выпустить второй и третий том его сочинений по-немецки. «Скифы» передали Маркану уже готовые переводы; второй том вышел в июне 1923, в пер. Нади Штрассер (*TOLSTOI UND NIETZSCHE*. Köln, Marcan Verlag, 262 с.); третий — в июле 1924 (*DOSTOJEWSKY UND NIETZSCHE. PHILOSOPHIE DER TRAGÖDIE*. Köln, Marcan Verlag, 389 с.).

² В июне 1923 А.Е. получила французский диплом и занялась практикой медицинского массажа.

³ А.В. Бахрах вспоминает, что первый брак Ариадны Скрыбиной с музыкантом-французом был неудачен, несколько лет спустя она развелась с ним и вышла за поэта Довида Кнута (1900-1965). (*ПО ПАМЯТИ, ПО ЗАПИСЯМ*, с.131-132).

⁴ Почти в каждом письме Гершензона к Шестову отзыв о Шпете, одном из немногих, с кем Гершензон продолжал поддерживать тесные отношения. 21 сентября 1923 г. он сообщает: «Г.Г. я видел несколько раз. Он как видно не нуждается, но нервами плох; лицо — как литое из металла, ни одной мягкой черты, и еще более острый взгляд, чем раньше. Много писал, между прочим написал книгу по этнологии (методологию ее); из Исслед. Института удален, а в Университете читает. Сейчас лечится от Schreibkrampf'a. Семья — на даче». (Архив Л.Шестова).

Москва, 22 февраля 1924 г.

Милый Лев Исакович,

Наши письма скрестились, ты верно мое тоже получил теперь. Мне было очень весело читать в твоём про молодое счастье Ариадны. Хоть год, хоть два, пусть поцарствует; она ведь последние годы имела горькую молодость. И удача ей, что композитор; да и для него имя Скрябина верно имело обаяние. Пусть венчаются розами. Очень хорошо также, что твоё здоровье поправилось; живи библейский век, как твои благословенные родители. У вас, я вижу, все процветает, кроме франка. Только напиши подробнее о своих; ведь нам интересно, а что каждая из них «хлопочет посвоему», это общее место. Ещё напиши пожалуйста про Лидию Ал[ексеевну] и про Ремизова. Л.А. скажи, что мы её по-прежнему любим как родную и о ней тоже жалеем, что она далеко от нас, а я кроме того жалею, что её, такую хорошую, засосет легкая и верно красивая французская пошлость (кстати сказать, так думает и её отец). Она поставлена в такие условия; я не хочу сказать, что все в Европе пошло, но, судя по Германии и по тому, что я читал о Франции, все, что там плывет в большом фарватере, действительно пошло. Впрочем, так было всегда и всюду. Денег для Варв[ары] Григ[орьевны] я не получил, иначе известил бы тебя о получении. И её давно не видал, и ничего не знаю о ней, но деньги смогу передать через Е.В. Шик. Я кончил «Архив Огарева» и теперь опять безработный. Здоровьем скриплю; вечно у меня что-нибудь болит, — теперь прострел, — ни стать, ни сесть, ни разогнуться. И морозы все стоят сильные, так что не могу выходить. Уже месяца два такие трескучие морозы, без малейшей оттепели, почти сплошь с солнцем.

От нас всем твоим и тебе привет. Обнимаю тебя
твой М.Гершензон.

Москва, 29 марта 1924 г.

Милый Лев Исакович,

Вышло так, что я раньше написал Лидии Алексеевне, так что тебе напишу уж немного, потому что и писать особенно нечего и плохо себя чувствую, а откладывать ещё совестно: я твоё письмо давно получил. Видел я на днях Елену Влад[имировну], спросил её про В[арвару] Гр[игорьевну]; у неё был перевод, теперь опять

ничего нет; а издатель есть, только она должна сама принести книгу, т.е. роман иностранный; а этого-то у нее и нет. Если можешь, пришли ей новой франц. беллетристики; лучше те 5-10 долларов, о которых ты писал, употребить на покупку этих книг для нее, чем прислать в натуре. Теперь только и издают, что переводную беллетристику; только на нее и есть спрос, а то писатель, может с голоду умереть. Даже беллетристам плохо. Один И.А. Новиков¹ ходит все такой же румянький и, улыбаясь, скалит зубы. Он теперь празднует свой 25-летний юбилей, по собственной инициативе, и говорит, что заслужил его. Мои книги пропали, и я отдал Г[уставу] Г[уставовичу] «Паскаля» с тем, чтобы он написал тебе; лентяй и комфортабелен, или может быть так холоден душой. «Potestas clavium» он получил от Е[лены] Влад[имировны]. Ты спрашиваешь о друзьях; старых друзей нет — «иных уж нет, а те далече»; из знакомых старые и больше новые, но именно знакомства, которые не греют, так сказать, «души не шевелят»; а в общем одиноко. Не скажу, чтобы молодое поколение было плохо; напротив, в старом, в наших сверстниках, обнаружилось за эти годы много непривлекательного; молодые чище, менее практичны, менее корыстны. Зато в молодых преобладают формальные интересы, не идейные или нравственные; на первом плане — т. наз. «научность», затем эрудиция; если теория литературы, то работает над изучением ассонансов, или рифмы, или ритма прозы у Тургенева, и т.п., и дела ему нет до поэзии самой. Это мне скучно; все головастики.

Привет вам всем от М.Б. и меня. Прости, что написал мало и таким гадким почерком. Обнимаю тебя заочно и остаюсь любящий тебя М.Г.

¹ Иван Алексеевич Новиков (1877-1959), писатель. В печати выступил впервые в 1904, известность получил после романа *МЕЖДУ ДВУХ ЗОРЬ* (1915), посвященного исканиям молодежи начала века. После революции выступал против подчинения литературы политике, арестовывался. В тридцатые перешел к жанру исторического романа (*ПУШКИН В МИХАЙЛОВСКОМ*, 1936; *ПУШКИН НА ЮГЕ*, 1946).

Москва, 3 мая 1924 г.

Милый Лев Исакович,

Давно не писал тебе и скучно, что от тебя письма нет. Настроение было плохое; сперва угнетала денежная забота, теперь отлегло, зато большие трудности по квартире. А все заботы — ги-

бель души. Ничего нет прекраснее и желаннее в жизни, как уметь воспарять над заботою. Оттого не пишу ничего, даже писем. — Поблагодари пожалуйста за меня С[емена] В[ладимировича]. Третьего дня видел В[арвару] Гр[игорьевну] и немного помог ей; у нее теперь есть перевод, заминка только временная, скоро начнет получать гонорар. На днях к тебе должна явиться М.И. Балтрушайтис¹, она расскажет тебе про Москву. Она везет сына для операции. Он год назад в Ковно, летая на аэроплане, был страшно исковеркан: нос вдавило внутрь, небо треснуло, левая рука сломана. Год лечат его, теперь в Париже хотят оперировать руку. Я их не видел, только раз недавно виделся с Ю[ргисом] Каз[имировичем]² — Шпет у них бывает; о нем М.И. может тебе много рассказать. Он теперь материально лучше устроен: получает приличное жалованье в Акад[емии] Худож[ественных] Наук, где взялся заведовать финансовой частью. И он, и Нат[алия] Конст[антиновна] в хорошем виде. Он прочитал «Паскаля» и говорит о нем с большими похвалами. Я думаю, он тебе написал с М.И. Между прочим, он говорит об этой книге то же, что и я сказал: это уже потому твоя лучшая книга, помимо всего прочего, что в ней нет твоей иронии или сарказма, который тебе не идет и у тебя не выходит. А это немало, когда 8-ая или 9-ая книга, под старость, оказывается едва ли не лучше прежних; итак, гордись! У меня недавно гостил брат из Одессы³, с которым мы не виделись 8 1/2 лет. Между прочим, он меня слушал и остался доволен моим состоянием; но тут же дал исследовать мокроту, и оказалось, что Коховские палочки есть. Он настоятельно советовал нам всем провести лето в Крыму, но это трудно осуществить. Весна у нас холодная, с дождями, снегом, ветрами, и предсказывают дождливое лето. Где вы будете летом? Напиши мне о Герм[ане] Леоп[ольдовиче]; на два моих письма он не отвечал, я ничего не знаю о них. Когда представляю себе их жизнь в пансионе, как видел ее, — тоже невесело, и жаль их. Так что и не знаю, что лучше. У меня голова полна мыслей, но душа не свободна, оттого не пишется. Даже странно: не могу склеить фразы, или пишется так вяло, что кладу перо. А без этого плохо. Читаю много и много думаю, и от этого устаю без пользы. Бывали у меня и раньше такие полосы, но никогда так долго: вот два года, что не пишу. Впрочем, и много пишущий А.Белый теперь ничего не пишет⁴ — всю осень и зиму, а судя по его лицу — ходит порожний, без мыслей. Съездил в Петербург, съездил в Киев, читал лекции там и там, накопил немного денег на лето, и только. Ему пришлось круто, когда 2 года назад, он уезжал за границу, его провожали в Петербурге и здесь с энтузиазмом; его последние выступления были сплошными и трога-

тельными овациями. А вернулся — его встретили с полным равнодушием, и теперь — точно его нет. Обидно за него; он это верно больно чувствует, да и в самом деле безобразно: чем провинился перед публикой?

Передай мой привет Анне Елеазаровне и детям, и Лидии Ал[ексеевне] и Ремизовым. И пиши, если можно, почаще. М.Б. кланяется вам всем сердечно. Обнимаю тебя и остаюсь

твой М.Г.

¹ Мария Ивановна Оловянишникова — жена Балтрушайтиса. Сын — Юргис (1903-1988), учился в Германии, затем жил в Париже, в 30-е годы получил известность как искусствовед, знаток средневековой живописи. Автор множества книг по средневековому искусству.

² Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873-1944), поэт, переводчик. Окончил Ковенскую гимназию, затем естественное отделение Московского ун-та. Занимался филологией, активно участвовал в символистском движении. В печати выступил в 1899 («Северные цветы», «Весы» и т.д.). Выпустил несколько сб. стихов. Вместе с С.А. Поляковым основал издательство «Скорпион». В 1921-39 — полномочный представитель Литвы в СССР; с 1939 жил в Париже.

³ Абрам Осипович Гершензон (1868-?), детский врач в Одессе.

⁴ В апреле 1924 при посредничестве Пильняка А.Белый подписал договор с С.Е. Хельминским на издание романа *МОСКВА*. По свидетельству К.Н. Бугаевой (*ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ*, с.135), в это время он усиленно работал над романом.

Москва, 4 июня 1924 г.

Милый Лев Исакович,

Г[устав] Г[уставович] рассказал мне со слов Балтруш[айтис] о тебе. Я очень рад, что ты последнее время лучше чувствуешь себя; хорошо также, что ты из живого рассказа теперь лучше представляешь себе нашу жизнь, чего в письмах не расскажешь. Ты пишешь, что летом собираешься к д-ру Эйтингону¹; удивляюсь я тому, что ты не предпочитаешь более здоровых условий — деревни, Швейцарии, юга; какой отдых в таком большом городе? По словам Балтр., Таня все-таки имеет шансы получить место в Кембридже; вот это — пока — было бы хорошо.

«Событие» у нас — приезд Вяч. Ив[анова]² — 6 июня — 125-я годовщина рождения Пушкина; по этому случаю Общ[ество] Лю-

б[ителей] Росс[ийской] Слов[есности] устраивает в Большом театре грандиозный вечер — и выписало В.И. для произнесения речи. Он согласился, и дней 5 назад приехал один. Хорош, как давно не был: молод, свеж, бодр и светло настроен — очарователен; и весь блеск прежнего великолепия знаний, памяти, чудесного произнесения иностранных фраз и цитат, и тонкость и сложность афоризмов; и так как принимают его всюду царственно, то окрылен и весело возбужден, и каждого окутывает волной ласки и доброты; словом, Крез-триумфатор, лучезарный Ра, или тому подобный. Нет, правда, в высшей степени обятелен и удивителен. Он приехал с целью выхлопотать себе командировку с содержанием, и наверно получит ее; тогда он осенью уедет с Лидией и Димой, и вы увидите. Он пробудет здесь недели 3-4, живет в Доме Ученых. Видимся каждый день, я наслаждаюсь им и опять влюбился в него; обыкновенно приходит вечером часов в 9, после дневной беготни и приглашенного обеда, усталый и светлый, и сидит до часу, рассказывая о дневных своих хлопотах и встречах и о жизни в Баку. И о тебе я должен был подробно рассказать ему. Он физически очень хорош и прекрасно выглядит; сед и брит.

Вчера приходила Е.В. Шик, уезжающая на дачу; по ее словам, Варв[ара] Гр[игорьевна] имеет заработок (как я и писал тебе). Белый на днях уехал в Крым к Макс[имилиану] Волошину. Мы насчет лета еще ничего не решили; нас опять мучают квартирные дела. Наташа в Крыму, поехала на 3 недели в экскурсию со своим классом. В городе ужасный зной, деваться некуда. Работы все не могу найти, но пока есть чем жить; а самому не пишется (за полной ненадобностью). Единственно — служба, т.е. Академия и Н.-Исслед. Институт, — и чтение. Счастлив ты, что пишешь, хоть немного; ведь только и жизни у нас, что пока пишется; а в промежутках — какое тягостное прозябание!

Об Ал[ексandre] Елеаз[аровиче] ничего не знаю, и узнать трудно; зайти к нему — покажется странно, семьи я не знаю, а самого редко можно застать. «Эстет[ические] фрагм[енты]»³ Г[устава] Г[уставовича] я не читал: написано не по-русски, а на диалекте, которого я не знаю; верно личный диалект Г.Г. для собственного употребления. На днях прочитал 1-ую часть «Паскаля» по-русски.

Передай пожалуйста мой привет Лидии Алексеевне, и прежде всего, конечно, твоим. Анна Елеаз. верно уже в Châtel-Guyon.

От М.Б. сердечный привет.

Обнимаю тебя от души

Твой М.Г.

(Внизу приписка Гершензона Г.Л. Ловцкому. — Публ.)

¹ Макс Ефимович Эйтингон (1881-1943), немецкий психоаналитик русского происхождения, руководил занятиями Фани Исааковны. Шестов познакомился с ним осенью 1922 в Париже и «с этого времени они встречались почти ежегодно в течение 15-ти лет. Отношения Эйтингона к Шестову были совершенно исключительными. Он во многом ему помогал и оказал множество услуг не только ему, но и его друзьям» (*ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т. 1, с.235). Лето 1924 Шестов провел у Эйтингона в Берлине.

² 6 июня 1924 на вечере в Большом театре Иванов выступал вместе с А.В. Луначарским. Об этом выст. см.: О.Дешарт. *ВВЕДЕНИЕ...*, с.172-173; см. также в 4-м томе Собр. соч. В.Иванова (с.744-745) воспоминания В.А. Мануйлова об этом вечере.

³ *ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ФРАГМЕНТЫ*, вып. 1-3, Пг., 1922-23.

25

Москва, 16 июня 1924 г.

Милый Лев Исакович,

Я начал было писать тебе другое письмо, но потом перерешил. Тут М.Б. была три дня больна, с высокой температурой; по-видимому, было что-то гастрическое. А главное — у нее миокардит, вот что важно. Это меня испугало. Обо мне нечего говорить: все так же палочки в мокроте, и кашель, и слабость. А заработка, кроме службы в Академии, все нет. Лето, я думаю, мы кое-как просуществоем. Если ты можешь достать для меня немного денег, побереги их; когда нужда меня прижмет, я напишу тебе, а до тех пор не посылай. Пожалуйста, именно так. Еще: стиль твоего письма был мне *очень* неприятен, и я прошу тебя больше к этому предмету не возвращаться.

Вяч[еславу] Ив[анови]чу О.Д. Каменева в одно утро устроила командировку за границу¹, с хорошим содержанием, с паспортами и визами на казенный счет, и т.д. Он едет с семьей, т.е. с Лидией и Димой, сперва в Венецию, на неопределенный срок. Думаю, что еще застанет тебя в Берлине; я дам ему твой адрес, и он конечно побывает у тебя. Вчера он читал у меня свое последнее стихотворное произведение, род трагикомедии; много таланта, главное — восхитительные стихи. Заставь его прочитать эту вещь у д-ра Эйтингона, как в прошлом году Ремизов читал своего Петьку. У меня в Академии он читал при огромном стечении публики очень хороший доклад; орденам конца не было.

От всей души благодарю тебя за дружбу. Обнимаю тебя. М.Б. шлет тебе привет.

Твой М.Гершензон.

¹ За время пребывания в Москве В.Иванову удалось выхлопотать разрешение на выезд с детьми в Италию. «Я еду умирать в Рим», — говорил он друзьям. 8 августа 1924 г. Ивановы выехали за границу; несколько дней провели в Берлине, затем через Венецию и Флоренцию отправились в Рим. (ср. В.Иванов. Собрание сочинений, т.1, с.173).

Москва, 7 июня 1924 г.

Милый Л.И.,

Получил твое письмо от 24-29-го. Ты совершенно превратно понял то мое письмо, а я не мог лучше написать. Я писал вовсе не о существе дела; напротив, я тебе разумеется доверяю, как самому себе, во всем решительно. Беда, что ты не филолог, не умеешь читать вдумчиво. Но оставим это. По существу дела, за твою трогательную заботу я тебе бесконечно благодарен, и помощью твоей воспользуюсь, — не могу не воспользоваться. Много здоровья стоят мне квартирные дела, еще и теперь не конченные. В Давос мне невозможно ехать по всем соображениям; уже одни хлопоты о паспорте и визах так сложны, что я бы не справился при моих силах. Дети вероятно поедут в Одессу к моему брату, чтобы купаться в море; тогда мы с М.Б. возьмем комнату на даче под городом. Не понимаю, почему ты не попробовал это лето прожить месяц-полтора в хорошем санатории. Одно дело — показаться врачу, другое дело — когда врач изо дня в день наблюдал бы тебя; если это умный врач, то при таком постоянном наблюдении он конечно определил бы источник твоих болей и назначил бы соответственное лечение и режим. А ты лечишься кустарно, полинтеллигентски, и тянешь болезненное состояние. Видно, все дело — у тебя, как и у меня — в психике; ослабела знать *животная воля жить*, — оттого не выздоравливаем и оттого не беремся крепко за лечение.

Вяч. Ив[анов] уже на отлете: все готово, ждет только итальянской визы. Лидия и Дима приехали из Баку. Оба прелестны, а Лидия привезла свои композиции, очень талантливые¹. Они выедут вероятно около 20-го, в Венецию, оттуда скоро переберутся в Рим. Несомненно он зимою приедет в Париж, уже для заработка, для издания своих книг. Вот в ком сильна воля жить! Он, погляди, еще женится. Весел, игрив, неутомим в хождении, в ходатайствах, в доставании денег и удобств. — Лундберг на третий день по приезде получил место в военном издательстве с баснословно большим жалованьем — 200 руб. в месяц, и выписал семью из Берлина. Это я знаю от О.Д. Форш², а он больше не являлся.

Балтруш[айтис] уехал на 1 1/2 месяца за границу, может увидиться. Шпета вижу нередко; его семья на даче. У нас дети кончили занятия к 1-му; сын превосходно сдал свои многочисленные зачеты по биологии, дочка перешла в последний класс. Теперь ученье — каторга; унив[ерситетский] курс теперь — трехлетний, это почти свыше сил; и каникулы — только 2 месяца. И в средней школе трудно по количеству предметов и строгости зачетов, — а ученье, по-моему, плохое, хуже прежнего, какое-то раздерганное, клочковатое.

Заочно обнимаю тебя и еще благодарю. Милой Анне Елеазаровне шлю сердечный привет. М.Б. вам обоим кланяется. Анна Елеазаровна, если хотите, чтобы я зашел к Вашему брату, пришлите мне в письме записочку к нему; тогда у меня будет повод зайти, а иначе мне неловко. И тогда я напишу Вам о них, что узнаю от них.

Ваш М.Гершензон.

¹ Лидия Вячеславовна Иванова (1896-1985), дочь В.И. Иванова и Лидии Дмитриевны Зиновьевой-Аннибал. С раннего детства увлекалась музыкой. В 1912 поступает в Московскую консерваторию по классу А.Б. Гольденвейзера. В 1920-24 учится в Баку у Михаила Попова (ученика Танеева). В 1924 в Риме поступает в Санта Чечилия, где кончает курс композиции и получает диплом органиста. Работала в Сиене в *Academia Chigi*, затем на кафедре гармонии и «общей музыкальной культуры» в консерватории гор.Кальяри и в Санта Чечилия. Автор симфонических и камерных произведений и обширных воспоминаний (в наст. время готовятся к изданию).

² Ольга Дмитриевна Форш (1873-1961), писательница, автор романов и повестей исторического характера.

27

Москва, 29 июля 1924 г.

Милый Лев Исакович,

Ал[ександра] Ал[ександровна] была у нас с Ал[ексеем] Ник[олаевичем], потом были мы у них. Спасибо тебе за подарок — конца нет твоей доброте. И вот я завтра поступаю в санаторий¹, здесь же недалеко: на Воробьевых горах. Помогли Бахи: доктор там оказался знакомым Ал.Ал-ны, а к начальству путь нашел Ал.Ник. Потом я сам отправился, поговорил, и мне сделали порядочную скидку. Это на месяц; а с 15 сент. я должен ехать в Крым, в Гаспру, в дом отдыха Кубу (Комиссия по улучшению быта ученых).

Я извёлся в городе. Дети поехали в Одессу к моему брату, Наташа осталась там, а Сережа уехал дальше, в Геленджик, к своему товарищу. Так что М.Б. остается одна.

Получил вчера твое письмо из Châtel-Guyon. За все благодарю сердечно. Ты все-таки не научился понимать мои письма, вот Вяч. Ив[анов] научит тебя. Твое предложение насчет посредничества Бахов мне очень удобно, более всякого другого. Ал.Ал. рассказывает о тебе, что ты очень хорошо поправился, выглядишь молодым и свежим; я был рад этому. И дочка — инженер², разве не хорошо? Все очень хорошо; вы с Анной Ел[еазаровной] кончили заданный вам урок и теперь можете дать себе больше свободы. Я сказал бы даже, что этот момент — вот день окончания курса вашей Наташей — торжественный момент: это и вы кончили курс, другой, ваш, родительский. И я вас от души поздравляю.

О Жук[овских] я не писал тебе до сих пор, потому что знал, что они писали тебе³. Этой весной я помогал им много, сколько было возможно; но дело трудное: их две семьи, одна в Симферополе, другая — в Судак⁴, а заработок Дм[итрия] Евг[еньевича] мизерный. Я говорил насчет перехода его в институт Ал. Ник.; но ты ошибся: Дм. Евг. ассистент не по бактериологии (это бы еще несколько подошло), а по гистологии; это совсем не подходит. Ума не приложу, как им помочь длительно. Пошлешь 5 червонцев — половина тотчас идет на уплату налогов по Судакскому дому (где две большие женщины и ребенок); Дм. Евг. давно спит без протынок, у Ад[елаиды] Каз[имировны] с мальчиком — одна пара ботинок, и т.д. Теперь, летом, легче: все вместе в Судак. Осенью должна приехать сюда Евг[ения] Каз[имировна], тогда поговорим, может что придумаем.

У Бахов мы были в первый раз. Ну, и живут же они хорошо; такой квартиры, таких удобств, такого достатка и покоя верно больше никто не имеет теперь в России. Ал. Ал. грустна, верно по случаю потери внука. Она нам очень симпатична, жаль, что редко видимся — впрочем, только по нашей вине: мы совершенно никуда не ходим, М.Б. — по ежедневной усталости, я — по слабости. Лундберга не вижу, но он бывает у Збарского. Вяч. Ив[анов], хотя у него все готово, так хорошо себя чувствует здесь, что сидит и сидит, поедет, говорит, дней через 10. Он тебе будет писать. А пока пишет дамам стихи в альбомы. Он тебе теперь бы понравился: стал много проще, смиреннее, чем был, сердечнее по-искреннему, хотя великолепие (парча по-моему) все сохранилось. Мы видимся почти ежедневно, а раза два в неделю — по вечерам — долго.

Я не успел уже зайти к Ал[ександру] Елеаз[аровичу]; М.Б. зайдет завтра или послезавтра, и тогда напишет вам.

От М.Б. и меня сердечный привет Анне Елеазаровне и тебе. Обнимаю тебя, будьте счастливы.

Твой

М.Гершензон.

¹ О здоровье Гершензона и условиях его жизни Шестов пишет М.Эйтингону 12 сентября 1924: «Он до сих пор жил в санатории под Москвой, теперь едет в Гаспру под Севастополем. Говорит, что за лето окреп. Я надеюсь, что в Крыму он еще больше окрепнет и что помощь пришла вовремя к нему. Живется им очень нелегко. Все уплотняют — существование постоянно отравлено борьбой за всевозможные мелочи. Вдобавок ко всему жена его руку сломала» (*ЖИЗНЬ ЛЬВА ШЕСТОВА*, т.1, с.313).

² 18 июля 1924 г. Наташа успешно сдала последний экзамен на получение инженерного диплома Высшей Электротехнической Школы в Париже.

³ Письма Аделаиды и Дмитрия Жуковских к Шестову изданы приложением к кн. Е.К. Герцык *ВОСПОМИНАНИЯ* (с.178-192).

⁴ В Симферополе жила Аделаида Герцык с детьми, а в Судакe — Евгения Герцык. (См.: *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.168).

28

Москва, 28 октября 1924 г.

Дорогой Лев Исакович,

По часам вижу, что уже больше получаса сижу перед этим листком. Я сел с намерением написать тебе не спеша и побольше, и начал с того, что вообразил тебя не таким нервным, как в прошлом году. Вспомнил, как ты раз зашел ко мне часа в 3, и мы пошли гулять, дошли до Никитских ворот и я в булочной Баррельса накупил фигурных хлебцев, какие там продавались, и ты соблазнился — купил тоже, потом мы возвращались бульварами, — была теплая пора, август или сентябрь, и на Никитском бульваре сели покурить и разговаривали. Вот таким я вспомнил тебя, спокойным и очень хорошим. Потом я начал думать, о чем хотел бы писать, думал о многом, обо всем, — и вот теперь, очнувшись, взялся за перо, чтобы написать, что ничего не напишу, потому что написать невозможно. А как мне жаль этого! — до боли. Если бы не сентиментальный тон, я мог бы вполне повторить те четыре стиха, которые Татьяна пишет Онегину: «Вообрази», и т.д.

Но на нет и суда нет, так что не взыщи за бессодержательность моих писем.

За эти дни, после Крыма, я успел перенести инфлуэнцу и еще не выхожу; погода отвратительная. Прочитал в газете, а потом от Алексея Никол[аевича] слышал подтверждение смерти Пресса¹. Бедная Софья Исаковна, с больным сыном и овдовевшей дочерью. И опять я вспоминаю — нашу прелестную поездку в Киев, и дом Софьи Ис., и ее игру на фисгармонии. Трудно и скучно. Самое трудное для меня, кажется, то, что не пишу; при работе все легче переносится. А не пишу потому, что не пишется, и потому что все равно нельзя печатать; у меня столько написанного лежит в столе, и так кругом у всех писателей. Скажи Анне Елеазаровне, что я бросил курить. Это в Гаспре, когда мне было плохо; тогда сравнительно легко было бросить. Сделал я это не столько для себя, сколько для своих; зимою, при запертых окнах, и в той тесноте, в какой мы живем, курить значило бы отравлять всех дымом. Хотя прошел уже месяц, все еще скучно. Курить теперь в России дорогое удовольствие, раза в три дороже прежнего: курение обходится в 10-11 руб. в месяц (5 долларов).

С приезда никого не видел из знакомых тебе, кроме Г[устава] Г[уставовича]. Он все такой же, одет прекрасно, тщательно брит, курит папиросы. Он теперь в Академии Худ[ожественных] Наук заведует всей административно-финансовой частью и проводит ежедневно часа по три, частью конечно ради хорошего жалованья, а частью для того, чтобы не томиться праздностью. Я, не имея такой службы, мучительно страдаю от избытка свободного времени. У меня же нет вкуса к праздному препровождению времени; и Г.Г. и другие часами сидят в пустой болтовне, чтобы не слишком рано вернуться домой. Он оказался гениальным финансистом, упорядочил хозяйство Академии так, что наше мизерное жалованье почти удвоилось. Он ничего не пишет и ни на йоту не постарел; последние два года он много занимался этнологией и писал книгу об эстетике романа (хороша тема?). Зарплата у нас теперь один — служба; печатать ничего невозможно, а заработной литературной работы, как редактирование или т.п., даже перевода, кроме беллетристики, нельзя найти. Я до половины приготовил том неизданных материалов, как «Пропилеи», но при всех стараниях не могу найти издателя; да частных издательств почти нет. Из старых писателей много получает один А.Толстой. Сологуб не бедствует потому, что один², и потому, что получает госуд[арственную] пенсию; ее не хватает на жизнь, и он исполняет заказы: по заказу Гос. Изд. перелагал Шевченко в русские стихи, ругая Ш. на чем свет стоит. У него тяжелая болезнь сердца и он очень раздра-

жителен. Хорошо то, что он кончает — и, говорят, превосходный — перевод «Мирейо» Мистралья³. Расскажи это Ирине Бал[аховской]⁴, ей будет интересно. Ее переводы из Сологуба я переслал ему с тем, чтобы он сказал свое мнение, но вот он пока ничего не дал знать. Новиков, Чулков и др. бедствуют.

Напиши и ты мне о себе, по крайней мере внешнее. Вы теперь ведь в новой квартире — хорошо ли устроились?⁵ Что ты написал и что пишешь? и что печатаешь, по-русски или иначе. Вышел ли 2-й немецкий том? Пожалуйста, не поленись, напиши. Еще напиши, где Ловцкие, чем занимаются каждый. Все собираюсь написать Лидии Алексеевне, да трудно собраться. На днях ее по имени цитировали в здешней газете, А[лексей] Н[иколаевич], говоривший со мной в тот день по телефону, кажется, был этим очень доволен. У нас в Академии получается *Mercure de France*, и я постоянно просматриваю его; удивляюсь, что не встречаю там никаких сообщений о съездах писателей в Pontigny⁶. Из твоих писем видно только, что интересно, а что именно — неизвестно.

Передай наш привет Анне Елеазаровне. Кланяюсь также С[емену] В[ладимировичу], который передаст тебе это письмо. И будь здоров и бодр и весел, как от души желает тебе любящий тебя

М.Гершензон.

¹ Иосиф Пресс (1881-1924), виолончелист, зять сестры Шестова Софьи Исааковны. Эмигрировал с женой в январе 1920; жил в Париже, а с 1922 — в США, где преподавал в консерватории в Рочестере.

² Федор Кузьмич Сологуб (наст. фам. Тетерников, 1863-1927) жил один со смерти жены, писательницы и переводчицы Анастасии Николаевны Чеботаревской (1876-1921).

³ Фредерик Мистраль (1830-1914), провансальский поэт.

⁴ Ирина Алексеевна Бах-Балаховская. См. о ней прим. 1 в письме 1.

⁵ 1 ноября 1924 Шестовы переехали в новую квартиру: 41, rue de l'Abbé Grégoire, Paris 6.

⁶ В Понтиньи, в имении, принадлежащем Дежардену, устраивались каждое лето знаменитые «декады», посвященные философским, религиозным и литературным темам. На них собирались ученые и писатели из множества европейских стран. Шестов с 1923 г. был постоянным их участником. Из русских эмигрантов часто бывал в Понтиньи также Н.А. Бердяев.

Москва, 9 января 1925 г.

Милый друг,

Не сердись на мои лаконичные письма. Иначе я теперь не могу писать. Довольно того, чтобы хоть знать друг о друге и видеть почерк. Итак, с Новым годом; будьте все здоровы и благоденствуйте. Дети под Новый год позвали своих приятелей и приятельниц и весело встретили Новый год; мы с ними, а нашего возраста кроме нас и Елиз[аветы] Ник[олаевны] никого не было; и потом все девицы, пятеро, легли спать в одной комнате, на полу и всячески. Зимы совсем нет, теплая, гнилая погода, даже с дождем; только дней пять вдруг встала и держалась зима суровая, 15 до 20 градусов, а потом опять так же сразу наступила оттепель, и держится до сих пор. Я все же занят довольно много на службе, а дома копаюсь, копаюсь, может что и выйдет. Для Варв[ары] Г[ригорьевны] я ничего не получил, а третьего дня получил от нее записку. Пишет она, что сидит давно без работы и очень нуждается, что могла бы пристроить перевод, но нужно самой принести книгу, а у нее нет, и тут просит меня написать тебе, чтобы ты прислал ей подходящих книг для перевода — она пишет: «последние вещи Мирбо», например, — а Мирбо, кажется, давно умер и следовательно не пишет¹. Я нынешней франц. беллетристики совсем не знаю, ничего не могу назвать, ты там мог бы разузнать и действительно помочь ей присылкой книг. Я уже несколько раз писал тебе об этом; чем послать ей несколько долларов, ты гораздо действительно помог бы ей, употребив эти же деньги на покупку книг для нее. Я постараюсь ей помочь теперь, но ведь это — пустяк и не выход. Получил я на днях письмо от Вяч. Ив[анова], пространное и содержательное. Живут они очень приятно, он опять, после стольких лет, начал писать, дети хорошо устроены; одно горе: деньги тают, а заработка никакого; эта забота очевидно отравляет его существование. Он хотел бы отсюда иметь работу, но это конечно пустая мечта².

У меня к вам большая просьба, собственно к молодежи: тут рядом напишу, в чем дело, а ты тот листок оторви и передай с моим приветом твоей Тане.

От М.Б. и меня дружеский привет Анне Елеазаровне.

Обнимаю тебя, будь здоров. Твой М.

¹ Октав Мирбо умер в 1917 г.

² О стесненном положении семьи Ивановых по приезде в Рим, см. воспоминания Л.В. Ивановой («Минувшее», т.3, Париж, 1987, с.45-77).

Москва, 14 февраля 1925 г.

Милый друг,

Мочи нет, как хочется написать тебе длинное письмо. Стану писать о текущем, как если бы рассказывал; а тебе верно будет любопытно и это будничное нашей жизни.

Мокро, тепловато, туман, дворники скалывают лед с мостовой. Совсем зимы не было, все такая гниль; мало дров ушло и не мерзли, хоть я кашляю, кашляю. Снега было очень мало, во многих местах будут пересевать озимые. Я сейчас вернулся, ходил на Арбат покупать белье. Знаешь Верховского, поэта?¹ Он живет этот год в Москве, для заработка, а жена с двумя детьми — в Петербурге. Живет он здесь у Майи, — верно и ее помнишь, такая маленькая, французская поэтесса². Живет он впроголодь; готовит и сдает по частям для Гос. Издат. сочинения Пушкина, но платят ему так мало и так трудно, что не каждый день и обедать можно; а семье он может посылать столько, что они там втроем живут на 40 коп. в день. Он у нас часто бывает, мы его очень любим, а я у него конечно никогда — я вообще никуда не хожу в гости. Только вот на прошлой неделе Б[орис] Н[иколаевич] предложил прочесть у меня написанное начало его нового романа «Москва»³; я захотел позвать Верх. и пошел к нему. Что я увидел там, трудно описать. Это в глухом переулке за Остоженкой; дом обветшалый, загрязненный, квартирка нищенская и до того запущенная, неметенная, непроветренная, холодная, что сердце сжимается. Майя все тоскует и весь день лежит на диване, только встанет пойти в Кубу пообедать и на урок. А у Верх. в комнате — ужас: постель, стол с наваленными книгами и бумагами, с табаком и окурками на книгах и всюду, низко грязный потолок, холодно и не проветрено, — до потолка стоит он сам, огромный, лохматый, с милой улыбкой в чаще бороды и усов. Чаю не пил, Майя сегодня не вставала, пойдет обедать. Не знаю, есть ли под этим смятым одеялом простыни, но на подушке наволочка страшная, черная от грязи; оказывается — одна, переменить нечего. Говорю: дайте в стирку, а пока покройте подушку полотенцем; оказывается — и полотенца нет. Больше я не решился расспрашивать. Так вот, я раздобыл 5 руб. и теперь купил ему 2 готовых наволочки, 2 полотенца и 2 носовых платка, — потому что он как-то упомянул, что у него 1 носовой платок. Одежда на нем оборванная, — нищий да и только. А ведь он прив[ат]-доц[ент], с большими знаниями по франц. и русской литературе, талантливый поэт — и необычайной чистоты человек.

Б.Н. читал весь вечер, ты знаешь, что я его обожаю, — мне очень понравилось; глубоко задумано и великолепно на мой взгляд вырисовано; язык прежний, как в «Пет[ербурге]». А несколько дней спустя в Акад[емии] Худ[ожественных] Н[аук] был Пушкинский вечер, годовщина смерти, — и речь говорил Б.Н., 1 1/2 часа. Были опасения, что он ляпнет что-нибудь неподходящее, как с ним бывает, но он был корректен, говорил хотя не очень вдохновенно, но интересно. А после него артисты читали и пели из Пушкина, в том числе Качалов⁴ с Тарасовой⁵ прелестно сыграли две сцены из «Кам[енного] Гостя». Тарасова очень красива и очень симпатична; я говорил с нею, она тотчас спросила про тебя и говорила о тебе много лестного и просила написать тебе ее привет.

Всю прошлую неделю я был занят посторонним делом: Совнарком отпустил 200.000 руб. на печатание научных трудов по всей России; деньги, конечно, ничтожные. Главнаука разослала запрос во все ученые учреждения и общества страны, и отовсюду стали поступать заявки. Теперь была выбрана комиссия из 10 человек — ученых по разным специальностям, в том числе и я. Мы заседали четыре дня почти сплошь, обсуждали каждое заглавие, — а их были сотни и сотни, в общем около двенадцати тысяч печ. листов, и решали, на какую книгу дать деньги, какую отложить до следующей ассигновки, и т.д. Было утомительно, но и в высшей степени интересно; специалист из членов Комиссии докладывал о заявках по его специальности, раскрывая ход своей науки, рассказывая о данном научном открытии, которому посвящена книга, — и так перед нами прошла вся огромная и удивительная научная деятельность России за шесть лет, деятельность людей, живших в холоде, голоде, уплотнениях, и т.п. Этих денег хватит на издание лишь одной тысячи печ. листов, — но и то уже хорошо.

Забыл прошлый раз написать, что книги для Варв[ары] Гр[игорьевны], т.е. романы, ты можешь посылать по моему адресу в Академию, так:

Москва, Академия Художественных наук,
ул. Кропоткина, д.32, для меня.

На днях пошлю тебе пару книг по моему выбору.
Привет Анне Елеазаровне и тебе от М.Б. и меня.

Обнимаю тебя. Твой М.Г.

¹ Юрий Никандрович Верховский (1878-1956), поэт, историк литературы, переводчик. Занимался изучением пушкинского времени, в частности, творчества Е.А. Боратынского и А.А. Дельвига.

² Вероятно, Майя Кудашева-Кювилье (1895-1985), французская поэтесса и переводчица. См. о ней; Е.К. Герцык. *ВОСПОМИНАНИЯ*, с.143-145; М.А. Волошин. *ВОСПОМИНАНИЯ*. — «Slavica Hierosolimitana», V-VI, с.501-521.

³ Белый называл романом *МОСКВА* (т. I-II) предварительные материалы, которые впоследствии вылились в романы *МОСКОВСКИЙ ЧУДАК*, *МОСКВА ПОД УДАРОМ* и *МАСКИ*. (См. об этом: А.В. Лавров. *РУКОПИСНЫЙ АРХИВ АНДРЕЯ БЕЛОГО В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ*. — в «Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 г.», с.38-41; см. также *ВОСПОМИНАНИЯ О БЕЛОМ* К.Н. Бугаевой, с.135-222). У Гершензона Белый, по-видимому, читал первые главы *МОСКОВСКОГО ЧУДАКА*, которые завершил в октябре-ноябре 1924.

⁴ Василий Иванович Качалов (наст. фам. Шверубович, 1875-1948), известный актер, в труппе МХТ с 1900.

⁵ Алла Константиновна Тарасова (1898-1973), актриса, ученица К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. С 1916 — во 2-й Студии МХТ, с 1924 — в труппе МХТ.

ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ ОНУФРИЕВИЧА ЛОССКОГО

I

Лосский Николай Онуфриевич родился 6-го декабря 1870 г. в местечке Креславке Витебской губернии (теперь Креславка входит в состав Латвии). Пройдя шесть классов классической гимназии в Витебске, Л. был исключен из гимназии осенью 1887 г. «за пропаганду атеизма и социализма» и получил «волчий билет», т.е. был лишен права поступления в другие учебные заведения и права педагогической службы. В действительности Л. никогда не принадлежал к революционным партиям; преступление его состояло лишь в том, что он высказывался в пользу социализма и атеизма, а также читал с товарищами «изъятые из библиотек» сочинения Писарева, Добролюбова, Михайловского, перевод на русский язык первого издания «Души человека и животных» Вундта и т.п. Поехав за границу, Л. поступил на философский факультет в Берне, чтобы заняться изучением естественных наук, но, по недостатку средств, принужден был в августе 1889 г. вернуться на родину. Отправившись в С.Петербург, Л. поступил на бухгалтерские курсы и в мае месяце 1890 г. получил аттестат и предложение места

Настоящие тексты Николая Онуфриевича Лосского (1870-1965) извлечены из его архива, который хранится в Institut d'Etudes Slaves в Париже. Обе работы в определенной степени дополняют друг друга, освещая как внешне-биографическую сторону жизни философа, так и его взгляды. Первый составлен, по-видимому, в 1934 г. и является ответом на предложенный Лосскому анкетный лист. Второй — письмо к Е.Г. Бер, польской корреспондентке философа.

бухгалтера в банкирской конторе в городе Вязьме. Цель его была скопить деньги, работая в качестве бухгалтера, и опять поехать за границу для поступления в университет. Страстное стремление Л. к высшему образованию обратило на себя внимание его дальнего родственника адвоката Льва Николаевича Лосского и его жены, дочери Голстунского, профессора монгольской словесности. Госпожа Лосская убедила проф. Голстунского поехать к министру народного просвещения Делянову и выхлопотать у него для Н.Лосского право окончить курс гимназии. Министр разрешил Н.Лосскому держать экзамен в VIII класс гимназии при Историко-филологическом институте. Лосские взяли молодого человека в свою семью, чтобы дать ему возможность пройти восьмой класс. Осенью 1890 г., держа экзамен, Н.Лосский получил по русскому языку задачу написать сочинение «О познании чужой душевной жизни». Молодой человек уже тогда интересовался этим вопросом и написал сочинение так удачно, что директор Института проф. Кедров пришел в класс и выразил удовольствие по поводу вступления в гимназию талантливого ученика. С этих пор образование Л. было обеспечено. Осенью 1891 г. Л., получив Императорскую стипендию, поступил в Петербурге на физико-математический факультет по естественно-научному отделению. В 1895 г. он окончил курс этого факультета с дипломом первой степени, написав зачетное сочинение (соответствует докторской диссертации германских университетов) на тему «О локализации функций в коре больших полушарий мозга». Заканчивая занятия естествознанием, Л. понял, что действительно увлекающая его наука есть философия. Так как в то время в русских университетах философия преподавалась только на Историко-филологическом факультете, то Л. уже в 1894 г. записался на первый семестр этого факультета и в 1898 г. закончил курс его, тоже с дипломом первой степени. Учителем Л. в университете был профессор философии Александр Иванович Введенский, последователь Канта. Кроме того, он подвергся сильному влиянию лейбнизианца Алексея Александровича Козлова, бывшего профессора Киевского университета, ушедшего по болезни в отставку и жившего в Петербурге. В его квартире Л., будучи студентом (вместе с сыном Козлова, тоже студентом-естественником, теперь философом, пишущим под именем Сергей Ал. Алексеев), нанимал комнату, и послеобеденные часы были в этой семье посвящены философским диалогам.

Сдав экзамены на степень магистра философии, Л. стал в 1900 г. приват-доцентом Петербургского университета и в 1901 г. был командирован на год за границу. Л. поехал в Страсбург для

занятий в семинарии проф. Виндельбанда, а потом в Лейпциг для работы в Психологическом институте проф. Вундта. Лето 1902 г. провел на берегу Женевского озера вместе с семьей Марии Николаевны Стоюниной, вдовы известного русского педагога и писателя Владимира Яковлевича Стоюнина и основательницы частной женской гимназии в Петербурге, гимназии, которая приобрела широкую известность во всей России усовершенствованными методами преподавания. Здесь в православной церкви в Vevey Л. обвенчался с дочерью Стоюниной Людмилою.

В 1903 г. Л. защитил в Петербургском университете диссертацию на степень магистра «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма», а в 1907 г. в Московском университете диссертацию на степень доктора «Обоснование интуитивизма».

В 1905 г. Лосский состоял профессором философии на Высших Женских курсах, а в 1916 г. был избран профессором философии Петроградского университета. В августе 1921 г. Л. был удален Советской властью из университета. В Государственном Ученом совете, когда при обсуждении списка профессоров, подлежащих увольнению, было произнесено имя Лосского, тотчас же раздались голоса: «такой профессор, как Лосский, не допустим в университете: он догмат Троичности защищает». В действительности, в то время Л. упомянул о догмате Троичности один лишь раз в книге «Мир как органическое целое» в двух-трех строках. Он говорил там, что Абсолютное, как предмет отрицательного богословия, есть начало сверхличное; поэтому в отношении к созданной Им твари Оно может снизойти, как бытие личное и даже трехличное, потому что не исчерпывается личным бытием. Председатель Совета М.Н. Покровский сказал: «Посмотрим, что сказано о Лосском в Энциклопедическом словаре». Взяв 2-е изд. Словаря Брокгауза и Ефрона, он прочитал там, что Лосский был удален из гимназии «за пропаганду социализма и атеизма». «Значит, у него есть заслуги, — сказал он. — Удалим его из университета, но зачислим в Научно-исследовательский институт». В этом Институте Лосскому работать не удалось, так как через пять дней после известия о своем удалении из университета он тяжело заболел желчно-каменной болезнью.

16 августа 1922 г. в больших городах России было арестовано более 120 ученых, писателей и общественных деятелей, — в том числе и Лосский; они были обвинены в том, что «не примирились с Советской властью и во время внешних затруднений усиливали свою контрреволюционную деятельность». Все эти лица были приговорены к изгнанию из России с правом взять с собою семью. Петроградская группа изгнанников выехала 16 ноября 1922 г. на

пароходе «Preussen» в Штеттин. Среди изгнанников было много философов: кроме Лосского, Лапшин, С. Франк, Бердяев, о. С. Булгаков, Ив. Ильин, Карсавин. После изгнания Н. Лосский живет в Праге, пользуясь поддержкою чехословацкого правительства. В течение этих двенадцати лет он совершал поездки для чтения лекций во многих странах Западной Европы, а в 1933 г. был приглашен на летний семестр, как *visiting professor*, в Stanford University в Калифорнии, где прочел студентам три философские курса (110 лекций): «Введение в философию», «Органический идеализм», «Славянская религиозная философия».

II

Глубокоуважаемая Екатерина Георгиевна,

прежде, чем отвечать на Ваше письмо от 30 декабря, я считаю полезным сообщить Вам, что в течение тридцати лет, от 16 до 46-летнего возраста, я находился вне Церкви. Меня оттолкнули от Церкви те искажения, которые вносят в нее фанатизм, лицемерие, суеверие и подчинение преходящим целям политики. В возрасте 16 лет я не мог отличить идеальной сущности Православной и Римско-католической церкви от земных искажений, неизбежно вносимых в нее людьми. Только в зрелом уже возрасте логический ход развития моих метафизических взглядов подвел меня к некоторым учениям (напр., о преображенном теле), которые оказались сходными с христианским миропониманием. Тогда я стал знакомиться с учением Православной церкви, с историею ее, с современным нам положением, понял свою ошибку и вернулся к православию. Вместе с тем я приобрел много знаний также о католицизме и протестантизме и поражаюсь тем, как мало знают друг о друге лица разных вероисповеданий и как почти всегда, если они не равнодушны к вере, склонны питать к чужому вероисповеданию ненависть, исключающую возможность понимания.

Буду теперь отвечать на отдельные пункты Вашего письма.

1. Вы говорите, что на соборе в Эфесе был установлен «догмат о божестве Девы Марии» и что в Православии существует «богопочитание Матери Иисуса». В действительности этого, конечно, не было: собор установил, что Дева Мария есть Мать не только человека Иисуса, но *Богочеловека* Иисуса Христа; следовательно, она есть *Богородица*. Но это вовсе не значит, что она — Богиня. Однако в *тварном* мире, даже среди членов Царства Божия, херувимов и серафимов, она занимает первое место,

что и выражается в иконе «Деисус» (деесис — моление), находящейся в каждом иконостасе: Христос — на престоле, справа от Него — Дева Мария в *молитвенном* положении в отношении к своему Сыну, слева от Него — Иоанн Креститель («Друг Жениха»), тоже в молитвенном положении в отношении к Тому, Кому он был Предтечею. В этих прекрасных символах православная церковь мыслит о Деве Марии, как главе тварного мира, потому что ей присуща высшая ступень богопослушания и богоприятия, вследствие чего она и удостоилась быть орудием Боговоплощения. Если Логос есть мужественное, творящее и оформляющее начало, то мир, приемлющий Бога и оформляемый Им, есть начало женственное, получившее в аспекте святости его высшее свое выражение в Деве Марии. Если мы с почитанием относимся ко всякому человеку, выдающемуся своими духовными дарами, то насколько высоко должно быть почитание Девы Марии, как совершенного воплощения святости и богоприятия. Сколько великих идей, сколько художественных и поэтических образов возникло в связи с православным и католическим культом Божией Матери. Однако в этом культе проведена резкая грань между Богом-Творцом и тварным существом Богородицею. В иконах «Деисус» Богоматерь стоит перед Христом в молитвенно склоненном положении. В многочисленных православных акафистах Богородице мы обращаемся к ней (как и католики) с молитвою: «Пресвятая Матерь Божия, *моли Бога о нас*».

Православная церковь отвергла даже католический догмат, принятый на Ватиканской соборе 1870 г., о непорочном зачатии Девы Марии: Она рождена так же грешно, как и все мы. Где же здесь возведение Девы Марии на степень богини? Ведь если бы такое учение было провозглашено в 431 г., это значило бы, что Церковь отвергла догмат троичности и заменила его догматом четверичности. В действительности и православие, и католицизм особенно чутки ко всяким попыткам увеличить число ипостасей и резко борются против них.

Неужели в евангелической литературе кто-нибудь серьезно говорит, будто православная и католическая церковь считают Деву Марию богинею? Люди простые, необразованные, может быть, иногда и не отдают себе ясного отчета о различии между Богом и тварными членами Царства Божия, но разве Церковь в этом виновата? Чем выше какая-либо истина, тем легче она подвергается в сознании людей грубым искажениям. Следует ли отсюда, что нужно отказаться совсем от истины, чтобы избежать риска искажения ее?

2. Вы отвергаете «догмат, что Дух Святой есть Лицо», и полагаете, что Он есть «Сила, исходящая от Бога». — Неужели евангелисты держатся такого учения? В таком случае они отвергли важнейший, центральный догмат христианства — учение о Св. Троице, и заменили его догматом двоичности Лиц: Отец и Сын. Не знаю, почему тогда уже не дойти до учения унитариев: Бог — одно Лицо. Унитарии пришли к абстрактному монотеизму иудейской и магометанской религии, к учению о Боге, как Лице, одиноко стоящем над миром и не имеющем в своей *Божественной сфере* никого, с кем можно разделять и творить полноту жизни, никого, кто бы мог быть предметом высокой любви равного к равному и к кому можно было бы вступить в отношение *полной* самоотдачи. Насколько мне известно, также и важнейшие основатели протестантизма, Лютер, Кальвин, Цвингли твердо держались за догмат Троичности. И не удивительно: Три Лица Св. Троицы в их взаимной любви дают высшее воплощение не только индивидуальной любви Лица к Лицу, но и аналог общественного интимного единства, образец, которому должен следовать тварный мир. Св. Сергей Радонежский именно это имел в виду, когда в основанном им монастыре построил прежде всего церковь во имя Живоначальной Троицы. — Думать, что Дух Святой есть Лицо, это значит не унижить идею Божественной духовной силы, а возвеличить ее: Лицо — выше безличной силы. И отрыва этой Личной силы от Бога-Отца не получается для того, кто вжил в учение о *единосущии* Трех Лиц Св. Троицы.

3. Вы пишете: «А иконы! Это ли не возвращение ко грубому язычеству» — изображение «неизобразимого, потому что Бог есть Дух». Говоря это, думаю, Вы упускаете из виду второй важнейший догмат христианства — учение об Иисусе Христе, как *Богочеловеке*, воплощении Логоса. Да и Самому Богу-Отцу не чужд человеческий образ: высшему доступно все низшее, и потому Бог может являться человеку в образе подобном человеческому, не принимая только на себя греха. Авраам удостоился общения со Св. Троицею, как с «тремя мужами» (Бытие, гл.18). Философско-богословский трактат о.С.Булгакова «Икона и иконопочитание» содержит в себе изложение всех трудностей этой проблемы и положительное решение их.

4. «Люди непременно материализуют все духовное». — На это ответу: точнее говоря, люди считают все духовное *воплощенным*. При этом необходимо различать *материальную* телесность (тело непроницаемое, грубое) и *преображенную* телесность, например ту, которая принадлежит Христу в Его славе, а не в

зраке раба, который был принят Им ради нашего искупления. Мистическое тело Христа от века содержит в себе эту преображенную телесность и сам Бог-Отец и Дух Святой вследствие неразрывной связи с Сыном как-то участвуют в ней. И не удивительно: *духоносная телесность* есть необходимое условие высшей абсолютной ценности — *красоты*. Слова «Бог есть Дух» не следует понимать в смысле «Бог есть только Дух и больше ничего»: сосредоточение на духовности, оторванной от сверхдуховного и от телесности, выражающей дух, приводит к скудному *абстрактному спиритуализму*. Православие и католицизм стремятся к действительной полноте жизни и потому в своих обрядах и таинствах воспитывают не только дух, но и тело, ведя его к преображению.

Прибавлю еще то, о чем Вы не говорите в письме, — почитание святых и молитвы за умерших. Святые, будучи членами Царства Божия, вместе с Господом Богом не покидают нас и невидимо участвуют в нашей жизни (*communio sanctorum*). Думая о них и обращаясь к ним с молитвою, как и к Деве Марии, мы чувствуем себя членами великой семьи человечества; а когда поминаем в молитвах, обращенных к Богу, и умерших, семья оказывается полною, никто в ней не забыт, все соединены хотя бы тонкими нитями в ожидании времени, когда все образуют «Единое Тело и Един Дух». Прибавьте сюда еще изображения Христа, Девы Марии и святых на иконах, которые часто бывают откровениями неземной красоты и глубочайших истин (прочитайте, например, две брошюры философа кн. Е.Н. Трубецкого «Два мира в древне-русской иконописи» и «Умозрение в красках»), и у Вас появится, может быть, хотя бы в слабой степени догадка, что в православной церкви мы находим теплоту и благость, которая дает душе величайшее удовлетворение. Когда люди, оторвавшись от этой полноты жизни, говорят, что наша церковь «одряхлевший скелет», мы, православные, не чувствуем даже раздражения и можем только сожалеть о том, что не все могут приобщиться к этому богатству.

Что касается католической церкви, проф. истории религий Heiler, бывший католиком и ставший протестантом (во время осуждения модернизма Папою Римским), написал книгу «*Der Katholizismus, Seine Idee und Ersehung*» (600 стр.); в ней он беспощадно обнаруживает земные искажения этой церкви и тут же показывает духовную глубину ее, присущую ей несмотря на все недостатки. Прочтя эту книгу, нельзя не проникнуться глубочайшим уважением к этой церкви, величайшей организованной

нравственной силе нашего времени. Кстати, Вл. Соловьев вовсе не покинул православие ради католицизма: он просто думал, что, несмотря на внешнее разделение церквей, мистическая связь их сохраняется; перед смертью он исповедался и причастился у православного священника. /.../

Что касается перевоплощения, я признаю его и полагаю, что вполне осознать идеал абсолютного совершенства и подготовиться к тому, чтобы быть принятым в Царство Божие, можно большинству существ лишь в ряде жизней. — Но возможно, что бывают и счастливые исключения, как св. Франциск Ассизский или Сергей Радонежский, Серафим Саровский, которые сразу после смерти удаиваются стать членами Царства Божия.

С.А. Волков
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
О МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

Вначале он даже пользовался популярностью у некоторых видных деятелей того времени. Рассказывали о его близости с Л.Д. Троцким, который уважал и ценил Флоренского и, пожалуй, даже соприкасался с ним в области некоторых идей. Достаточно сказать о том, что Троцкий в эти годы однажды затребовал из библиотеки Академии (ставшей тогда филиалом Румянцевского музея) книгу, уже не помню, к сожалению, какого автора, об ангелах. Это было мистическое сочинение на немецком языке, которого не оказалось в московских библиотеках. Мне об этом рассказывал библиотекарь К.М. Попов. Книга была непереpletенной. Троцкий возвратил ее уже в переплете, а Попов сделал на ней надпись, что тогда-то она была затребована таким, в то время важным лицом. Наличие такого интереса у военного наркома очень характерно и, пожалуй, отчасти объясняет его внимание к Флоренскому.

Из достоверного источника мне пришлось услышать рассказ, как состоялась их первая встреча. Троцкий приехал в ВЭИИ. Начальство института и все сотрудники вышли его встречать. Флоренский, который тогда ходил постоянно в рясе, не захотел вызвать неловкости своим видом и остался в лаборатории, где он работал. Троцкий, как только поздоровался, спросил у директора:

— Где у вас Флоренский?

За ним тотчас же побежали. И вот можно себе представить следующую картину: сотрудники образовали как бы аллею, стоя

двумя шеренгами вдоль зала, в одном конце ее стоял Троцкий, а на другом конце появился Флоренский. Оба они пошли навстречу друг другу. Директор представил Флоренского, Троцкий, после рукопожатия, взял его под руку и пошел с ним, разговаривая, в его лабораторию по этой аллее, не обращая внимания на всех остальных присутствующих.

А вот и другой эпизод, рассказанный мне в 1925 году одним из моих бывших учеников. На людной московской улице проходит комсомольский отряд. Движение экипажей приостановилось. В открытом автомобиле, тоже остановившемся, сидят Троцкий и Флоренский, последний, по своему обыкновению, в рясе и скуфье. Оба они оживленно о чем-то беседуют, не обращая внимания на окружающее. Комсомольцы угрюмо и подозрительно смотрят на человека в рясе и ворчат:

— Видно, нами скоро попы владеть будут!..

Насколько верна эта картина, не знаю. Впрочем, рассказывал мне об этом человек серьезный, который не стал бы врать. А картина очень симпатичная... В те времена бывали такие случаи. Когда я сообщил Глаголеву, что мне рассказал бывший ученик, тот рассказал мне еще одну новость.

В одной из московских военных школ был преподаватель математики. Его очень ценили за умение заинтересовывать своих слушателей, которые вследствие этого хорошо овладевали предметом. И вот как-то выяснилось, что этот преподаватель являлся архимандритом одного из московских монастырей... Жаль, что Глаголев не мог мне сказать его имени, так как позабыл его в тогдашней напряженной суете. Конечно, преподаватель-архимандрит был уволен, а Флоренский некоторое время еще оставался сотрудником ВЭИИ.

Но пришло время и для него узнать изменчивость фортуны...

В 1930 или 1931 году его высылают в Нижний Новгород. Но вскоре его восстанавливают, и он продолжает прерванную работу. Спустя некоторое время его снова высылают, уже в Сибирь, в область вечной мерзлоты, вместе с его другом, университетским профессором П.Н. Каптеревым, сыном академического профессора Н.Ф. Каптерева. Оба они там изучают эту мерзлоту. Каптерев потом получает возможность возвратиться в Москву и продолжать научную работу. О его исследованиях пишут в газетах, они обсуждаются в соответствующих институтах Академии Наук, а Флоренского переводят в СЛОН (Соловки).

Там он тоже проводит работу научного характера — изучает иодистые вещества в морских водорослях. Но условия личной жизни там для него значительно хуже.

В Сибири о нем заботился начальник концлагеря, туда на побывку к нему ездила его семья.

Здесь ему приходится жить среди «разношерстного», как говорится, народа, в общей камере, так что он, добываясь тишины и уединения, предпочитает проводить ночи в лаборатории, в которой работает, когда это бывает только возможным. Так он пишет своей семье. Вскоре и письма прекратились. О конце его жизни мне ничего не известно. Кажется, и семья его об этом почти ничего не знает. Мне было трудно расспрашивать о подробностях его жизни последних лет у его близких: эти расспросы и разговоры причиняли им лишнюю боль и скорбь.

Так грустно и трагически закончилась жизнь «всероссийского исключения».

Я не знаю, что ставилось в вину Флоренскому при всех этих высылках и заключениях. Никогда я не смогу подумать и поверить, чтобы он смог и даже захотел бы что-то сделать во вред нашему народу, государству и правительству. Он горячо любил Россию и был слишком умен, чтобы действовать совместно с ее врагами или в помощь им. Кроме того, он всегда чуждался политики, не принимал никакого участия в каких бы то ни было политических выступлениях и даже планах. Мне кажется даже, что он просто не умел ни мыслить, ни действовать так, как это свойственно политикам. Это было чуждо его натуре, его философской созерцательности. В связи с этим не могу не рассказать об одном случае.

Дня за два до вскрытия мощей Преподобного Сергия, когда стало уже известно, что мощи непременно вскроют, несмотря на протесты верующего населения (об этом я говорю в одной из следующих глав), но неизвестен был только намеченный день, одна из видных прихожанок нашего академического храма, моя добрая знакомая, будучи потрясенной этой неизбежной перспективой, не зная, как быть, что сделать, лишь бы «уберечь мощи от поругания», решила обратиться за советом и содействием к Флоренскому, рассчитывая, что в данном случае можно будет как-нибудь использовать его знакомство с Троцким, который играл тогда исключительно большую роль в политических делах.

Так как она совершенно не была знакома с Флоренским, то, отправившись к нему на дом, она просила меня сопровождать ее.

Дома мы его не застали: нам сказали, что он у Олсуфьевых. Мы отправились туда и вызвали его. Разговор происходил в больших светлых сенях дома Олсуфьевых на Валовой улице. Он был недолог. Моя спутница с тревогой, плача, умоляла, почти заклинала истерически Флоренского сделать все, что можно, чтобы по-

мешать вскрытию. Просила искать покровительства у Троцкого, внушить ему, что не следует оскорблять чувства верующего народа.

Флоренский был расстроен и растерян. Он нам говорил о мистическом и историческом значении Преподобного, говорил о том, что вскрытие мощей, если оно произойдет, «уничтожит само себя» (его точное выражение, я хорошо запомнил), бросит пятно на тех людей, которые будут его производить, что это — не оскорбление, а своеобразный новый подвиг для Преподобного, который после кончины становится таким образом мучеником... Ничего реального он посоветовать не мог. Относительно обращения к Троцкому он сказал, что оно будет бесполезным, так как вскрытия производятся везде по постановлению высшей власти, против которой и Троцкий ничего не сделает.

Чувствовалось, что ему очень тяжело, что его мучит и стеснение обстоятельств и весь этот разговор, но он и сам не знает как быть. /.../

В.А. Никитин, В.П. Купченко
К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
П.А. ФЛОРЕНСКОГО И М.А. ВОЛОШИНА
(Документы и свидетельства)

Священник Павел Александрович Флоренский мог познакомиться с выдающимся русским поэтом и художником Максимилианом Александровичем Волошиным (1877-1932)¹ еще в 1908 году: на «башне» Вячеслава Иванова². В «Дневнике» М.А. Кузмина³ от 17 февраля этого года записано: «Был Флоренский из дух[овной] академии»⁴. М.А. Волошин, как известно, бывал на «башне» постоянно.

Это, однако, только предположение. Более достоверно известно о встречах священника Павла Флоренского и М.А. Волошина в начале 1917 года, когда Волошин находился в Москве. 18 января 1917 года отец Павел надписал Волошину три своих работы — оттиски из «Богословского вестника» (редактором которого он был) за 1915 и 1916 гг.*: «Не восхищение непщева», «Приведение чисел», «Около Хомякова».

«Не восхищение непщева. (К суждению о мистике)»** надписано: «Глубокоуважаемому Максимилиану Александровичу Волошину с чувством признательности и за лики творчества и за лики земли — *Священник Павел Флоренский*. 1917. I. 18. Сергиев Посад». Судя по надписи, можно предположить, что Волошин

* Эти и названные далее брошюры П.А. Флоренского хранятся в Доме-музее М.А. Волошина в Коктебеле.

** *НЕ ВОСХИЩЕНИЕ НЕПЩЕВА. (К СУЖДЕНИЮ О МИСТИКЕ)*. — «Богословский вестник», 1915, №№7-8 (посвящ. Вяч.Иванову). Имеется отдельное издание: СПб, 1915.

подарил П.А. Флоренскому ранее книгу своих критических статей «Лики творчества» (выпущенную журналом «Аполлон» в 1914 году). Под «лика́ми земли» подразумеваются, по-видимому, акварели Волошина, — как раз в то время появившиеся на выставке общества «Мир искусства» в Москве. По сообщению Марии Павловны Флоренской, дочери Павла Александровича, М. Волошин подарил Флоренскому несколько своих акварельных пейзажей. Один из них называется «Весна». Пейзажи с автографами автора. Все они бережно сохранены семьей о. Павла Флоренского и находятся ныне в Загорске.

Вторая работа отца Павла, подаренная Волошину, — «Приведение чисел. (К математическому обоснованию числовой символики)»* — имеет надпись: «Максимилиану Александровичу Волошину с глубокою признательностью за впечатления от его мета-геологии — *Священник Павел Флоренский*. 1917. I. 18. Сергиев Посад».

Известный переводчик и стиховед Г.А. Шенгели (1894-1956) впоследствии свидетельствовал, что «мета-геологией» П.А. Флоренский называл живопись М. Волошина⁵... На книжке «Около Хомякова. (Критические заметки)»** читаем: «Глубокоуважаемому Максимилиану Александровичу Волошину, плененный его мышью — *Священник Павел Флоренский****. 1917. I. 18. Сергиев Посад». Эта надпись говорит, что отец Павел уже читал «Лики творчества» и особенно отметил статью М.А. Волошина «Аполлон и мышь». Автографы М. Волошина на подаренных ему книгах отца Павла Флоренского и его карандашные пометки в последней из упомянутых здесь работ позволяют заключить, что М. Волошин читал с глубоким вниманием работы П.А. Флоренского.

Кроме названных, в библиотеке М.А. Волошина сохранилось еще несколько работ Флоренского — уже без дарственных надписей. Это: «О типах возрастания» (из «Богословского вестника» №7 за 1906 г.), «Пределы гносеологии. Основная антиномия теории знания» (из «Богословского вестника» №1 за 1913 г.)****, «Собрание частушек Костромской губернии Нерехтского уезда»

* ПРИВЕДЕНИЕ ЧИСЕЛ. (К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ЧИСЛОВОЙ СИМВОЛИКИ). — «Богословский вестник», 1916, №6. Имеется отдельное издание: СПб, 1916.

** ОКОЛО ХОМЯКОВА. (КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ). — «Богословский вестник», 1916, №7,8; СПб, 1916.

*** В качестве подписи везде использована напечатанная на титульном листе фамилия автора.

**** ПРЕДЕЛЫ ГНОСЕОЛОГИИ — лекции из курса ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ, прочитанного священником Павлом Флоренским в Московской Духовной Академии в 1908-1909 учебном году.

(Кострома, 1910), «Служба Софии, премудрости Божией» (из «Богословского вестника», №2 за 1912 г., СПб, 1912) и «Вступительное слово перед защитой на степень магистра книги: "О духовной истине"», Москва, 1912 г., сказанное 19-го мая 1914 года» (из «Богословского вестника», №9 за 1914 г.).

М.А. Волошин, в свою очередь, преподнес П.А. Флоренскому книгу своих стихов о войне «Anno Mundi Ardentis» (М., «Зерна», 1915), написав ее: «Отцу Павлу Флоренскому с глубоким уважением и робостью посылаю эту книгу. Максимилиан Волошин. 19¹²/II 17»⁶.

Нет сомнения, что М.Волошин и священник Павел Флоренский при своих встречах помногу беседовали. Об этом, в частности, свидетельствует письмо М.Волошина от 9 января 1918 г. к Г.А. Шенгели. Одобряя намерение последнего составить «Словарь эпитетов», Максимилиан Александрович писал Шенгели: «Но еще было бы интереснее составить толковый словарь символов. Мы об этом в прошлом году говорили со свящ[енником] Пав[лом] Флоренским. Моя статья "Аполлон и мышь" представляет, в сущности, такой опыт выяснения широты символа»⁷... В статье «Symbolarium» священник Павел Флоренский так охарактеризовал назначение этого словаря: «Он имеет назначением, по аналогии со словарями словесных обозначений мысли, издания коих были осуществлены Академиями различных стран, установление значений зрительных образов, употребляемых в качестве обозначений понятий. И задача эта должна ограничиться этой регистрационной ролью, ибо творчество идеографических образов, подобно творчеству слов, принадлежит стихии народной и лишь в исключительных случаях является достижением индивидуального вдохновения... Отсюда же вытекает и стремление к возможной полноте подбора цитат, определяющих значение каждого образа: в этом смысле одинаково важно в наших глазах значение образа в непосредственных воззрениях народа, закрепленное в песне, сказании и сказке, в орнаментальном или мифологическом воспроизведении, — в лубочном соннике и иконографической композиции, — так же как значительно восприятие этого же графического образа в древних системах письменности, в представлениях "мистически" настроенных авторов или в устах современного деятеля...»⁸

В беседах отца Павла и М.Волошина наверняка затрагивались вопросы общепhilosophического плана, давалась та или иная оценка литературным событиям. Об этом, в частности, можно судить, сравнивая их отношение к символизму А.Блока (см.: М.В. Волошин. Поэзия и революция. — «Камена», 1919, Харьков, кн.2).

В последующие годы М.А. Волошин продолжал интересоваться творчеством П.А. Флоренского, о чем свидетельствует единственное из сохранившихся его писем (в авторской машинописной копии):

Отцу Павлу Флоренскому от Максимилиана Волошина.
Почт[овый] адр[ес]: Феодосия, Д[ом] Айвазовского.

19 18/IX 23.

Глубокоуважаемый и дорогой отец Павел!

Эти годы я часто и всегда с радостью соприкасался с Вашей мыслью. Последнею весною вестью о Вас были «Мнимости в геометрии»⁹. Мысли Ваши о Дантовом миростроительстве были мне особенно ценны и мне захотелось поделиться с Вами тем, чем я жил эти годы. Посылаю Вам тексты двух моих книг: «Неопалимой Купины» и «Путями Каина», которые, верно, не скоро увидят свет. Первая — о России, вторая о Западе и о материальной культуре. Вторая — еще фрагменты. Особенно хочется мне, чтобы Вы прочли главу «Космос».

Начали ли выходить выпуски «У водоразделов мысли»?¹⁰

Посылаю Вам эти стихи и строки через д[окто]ра Гранберга¹¹, который был в Коктебеле и обещал все передать Вам из рук в руки¹².

Это письмо заслуживает специального комментария. Отметим здесь, что М.Волошин не случайно обращает внимание отца Павла Флоренского на главу «Космос» — 11-ю главу стихотворного цикла «Путями Каина (Трагедия материальной культуры)». Эта глава была написана поэтом в июне 1923 года, т.е. за два месяца до вышеприведенного письма.

Судя по ней, М.Волошин находился под влиянием той интерпретации структуры вселенной в представлении Данте, которую к 600-летию со дня смерти Данте дал отец Павел Флоренский в своем труде «Мнимости в геометрии» (М., 1922, с.44-53). Вот несколько строк из главы «Космос»:

Земля была недвижным темным шаром,
Вокруг нее вращались семь небес,
Над ними небо звезд и первосилы,
И все включал пресветлый Эмпирей.
Из-под Голгофы — внутрь земли воронкой
Вел Дантов путь к сосредоточью зла.

Исходя из анализа космологических образов «Божественной комедии», отец Павел полагал, что вселенная в понимании Данте основывается на «неэвклидовой» геометрии:

Оба поэта (Данте и Вергилий) спускаются по кругам воронкообразного ада. Воронка завершается последним, наиболее узким кругом Владыки преисподней... Оба они внезапно переворачиваются, обращая ногами к поверхности Земли, откуда они вошли в подземное царство, а головою в обратную сторону. («Ад», XXII, 74-94). Миновав эту грань, т.е. окончив путь и миновав центр мира, поэты оказываются под гемисферой, противоположной той, где гора Сион; они поднимаются по жерлообразному ходу (см. стихи 133-139). После этой грани поэт восходит на гору Чистилища и возносится чрез Небесные сферы. Теперь вопрос: по какому направлению? Подземный ход, которым они поднялись, образовался падением Люцифера, низвергнутого с неба головою. Следовательно, место, с которого он низвергнут, находится не вообще где-то на небе, в пространстве, окружающем землю, а именно со стороны той гемисферы, куда попали поэты. Гора Чистилища и Сион, диаметрально противоположные между собою, возникли как последствия этого падения, и значит, путь к небу направлен по линии падения Люцифера, но имеет обратный смысл... Двигаясь все время вперед по прямой и перевернувшись раз по пути, поэт приходит на прежнее место в том же положении, в каком он уходил с него. Следовательно, если бы он по дороге не перевернулся, то прибыл по прямой на место своего отправления уже вверх ногами. Значит, поверхность, по которой движется Дант, такова, что прямая на ней, с одним перевертом направлена, дает возврат к прежней точке в прямом положении, а прямолинейное движение без переверта — возвращает тело к прежней точке перевернутым. Очевидно, это поверхность: 1°, как содержащая замкнутые прямые, есть *римановская плоскость* и 2°, как переворачивающаяся при движении по ней перпендикуляр, есть *поверхность односторонняя*. Эти два обстоятельства достаточны для геометрического охарактеризования Дантова пространства, как построенного по типу эллиптической геометрии.

Отец Павел Флоренский использовал для объяснения дантовских описаний новейшие математические и физические теории, в частности, специальные и общие принципы относительности¹³.

Следует также отметить, что на М.Волошина оказали влияние взгляды отца Павла Флоренского на искусство, его сущность и назначение. Выводя искусство как часть культуры из религиозного культа, весьма высоко оценивал отец Павел Флоренский духовную, творческую природу искусства. «Противопоставляя хаосу Божественный Логос, он считал, что искусство — это такая область деятельности человечества, где наиболее остро проявляется организующий и созидующий Логос (эктропия), который противопоставляется Хаосу — беспорядку, разрушению (энтро-

пии). Эта идея была им поставлена и разработана задолго до того, как стала одним из основных положений теории информации» (Священник Анатолий Просви́рин. «Из богословского наследия священника Павла Флоренского». — «Богословские труды», сб.9, М., 1972, с.80). Борьба хаоса и гармонии, разрушения и созидания, энтропии и эктропии — это сквозной мотив всей поэмы М.Волошина, начиная от 1-й главы «Мятеж» и кончая последней, 15-й главой «Суд». 11-я глава в этом отношении является ключевой, и в ней, пожалуй, в наибольшей мере сказывается влияние идей отца Павла Флоренского, приятие и отталкивание от них, полемика с ними:

...Был литургийно строен и прекрасен
Средневековый мир.
Но Галилей сорвал его,
Зажал в кулак и землю
Взвил кубарем по вихревой петле
Вокруг безмерно выросшего солнца.

.
Как глаз на расползающийся мир
Свободно налагает перспективу
Воздушных далей, облачных кулис,
И к горизонту сводят параллели,
Внося в картину логику и строй, —
Так разум среди хаоса явлений
Распределяет их по ступеням
Причинной связи, времени, пространства
И укрепляет логикой числа.

Мы, возводя соборы космогоний,
Не внешний в них отображаем мир,
А только грани нашего незнания.
Системы мира — слепки древних душ,
Зеркальный бред взаимоотношений
Двух противопоставленных глубин.
Нет выхода из лабиринта знания,
И человек не станет никогда
Иным, чем то, во что он страстно верит.

Последняя строфа, навеянная антропософской гносеологией, чужда пафосу христианского мировосприятия, признающего мир как объективную реальность, нуждающуюся в просветлении и преображении. Поэма М.Волошина, во многом противоречивая сама по себе, была в этом отношении внутренне неприемлема для отца Павла, но обращение поэта к гностическим образам, к символам древних мистерий, их поэтическая интерпретация представляли для него несомненный интерес.

Весной 1924 года, будучи в Москве со своей женой Марией Степановной, Волошин, вероятно, встречался с Флоренским. В его записной книжке 1 апреля помечено: «5 ч. Фаворс[кий]. Флоренс[кий]».

Отца Павла Флоренского и Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), выдающегося деятеля советского искусства, замечательного гравера, художника и скульптора¹⁴, связывали многие годы дружбы.

В 1922 году В.А. Фаворский создал для отца Павла экслибрис, «чрезвычайно изящный... единственный, пожалуй, где Фаворский прибегал к противу геральдическому»¹⁵. На экслибрисе (гравюра на дереве) с надписью «Изъ книгъ священника Павла Флоренского» представлена фигура средневекового рыцаря в латах с поднятым забралом; правой рукой рыцарь держится за эфес меча, левой — опирается на щит с изображением родословного дерева; грудь рыцаря пронзена навывлет стрелой.

В том же 1922 году В.А. Фаворский исполнил к книге отца Павла «Мнимости в геометрии» обложку, о которой отец Павел писал: «Как свойственно вообще этому художнику, так и здесь его гравюра не просто украшает книгу, но входит конституитивно в ее духовный состав».

Встреча Павла Флоренского с М.Волошиным, вероятно, состоялась в Москве на квартире В.А. Фаворского или на квартире матери Павла Александровича — Ольги Петровны Флоренской (урожденной Сапаровой) в Новоконюшенном переулке (ныне дом 16/12 по ул. Бурденко).

Зимой 1926 года об отце Павле писала Волошину искусствовед Е.А. Некрасова, сообщая о делах журнала «Маковец», где сотрудничал Флоренский: «о.Павел живет очень замкнуто»¹⁶.

На следующий год, снова будучи в Москве, Волошин, возможно, опять виделся с Флоренским; во всяком случае, в его записной книжке отмечен его адрес («Б.Спасская, 11, кв.1»).

За полтора месяца до смерти, отвечая на литературную анкету Е.Я. Архипова, Максимилиан Александрович Волошин подтвердил свою высокую оценку творчества П.А. Флоренского. Выбирая семь книг прозы, которые он бы «оставил навсегда с собой», он, после Библии, «Братьев Карамазовых» и рассказов Н.С. Лескова, назвал «Столп и утверждение истины»¹⁷...

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. о нем: *КНИГА О ПОЭТАХ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ*. Под ред. Модеста Гофмана. СПб.-М., 1908; Евгений Ланн. *ПИСАТЕЛЬСКАЯ СУДЬБА М.ВОЛОШИНА*. Изд. Всероссийского Союза Поэтов. М., 1927; В.Каменев. *АКВАРЕЛИ М.ВОЛОШИНА*. — «Искусство», 1961, №5, с.33-36; *КЛЭ*, т.1, М., 1962, с.1021.

² Дом с башней в Петербурге, в котором на квартире Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949) собирались по средам представители русской духовной культуры, писатели и художники, философы и ученые, церковные и общественные деятели. См.: O.Deschartes. *БИОГРАФИЯ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА*. — «Oxford Slavonic Papers», Oxford, 1954, vol.V; *ИВАНОВСКИЕ СРЕДЫ. — РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX В.* Под ред. З.А. Венгеровой.

³ Михаил Алексеевич Кузмин (1875-1936), известный поэт, прозаик, драматург.

⁴ ЦГАЛИ, ф.232, оп.1, ед. хр.53.

⁵ Г.Шенгели. *КИММЕРИЙСКИЕ АФИНЫ*. — «Парус», Харьков, 1918, №1, с.18.

⁶ Книга М.А. Волошина *ANNO MUNDI ARDENTIS* (М., «Зерна», 1915) с дарственной надписью автора — хранится в собрании К.П. Флоренского (старшего сына Павла Александровича, скончавшегося в 1982 г.).

⁷ ИРЛИ, ф.562.

⁸ П.А. Флоренский. *SYMBOLARIUM* (Предисловие к Словарю символов), 1923. — «Труды по знаковым системам». V. Тарту, 1971.

В этой же статье, давая общую оценку русскому символизму как литературному течению, отец Павел Флоренский писал: «...несмотря на изысканно-углубленную разработку теорий символического творчества, данную идеологами школы (В.Брюсов, К.Бальмонт, Вяч.Иванов, Эллис, А.Белый и другие), должно сказать, что работа по анализу символов как идеографических знаков, служащих для воспроизведения понятий... работа эта не была произведена вовсе».

⁹ П.А. Флоренский. *МНИМОСТИ В ГЕОМЕТРИИ. РАСШИРЕНИЕ ОБЛАСТИ ДВУХМЕРНЫХ ОБРАЗОВ ГЕОМЕТРИИ*. М., «Поморье», 1922.

¹⁰ В приложении к *МНИМОСТЯМ В ГЕОМЕТРИИ* был опубликован план работы П.А. Флоренского *У ВОДОРАЗДЕЛОВ МЫСЛИ*, законченной вчерне к 1922 году. Фрагмент из нее — *СТРОЕНИЕ СЛОВА* — издан в сб. *КОНТЕКСТ. 1972*. Литературно-теоретические исследования. М., «Наука», 1973, с.348-369.

¹¹ Гранберг, Петр Владимирович — московский врач.

¹² ИРЛИ, фонд 562. Вероятно, ранее подобным же образом М.А. Волошин передал с оказией свою поэму *СВЯТОЙ СЕРАФИМ*, посвященную преподобному Серафиму Саровскому.

¹³ Апологетический синтез науки и религии, предложенный П.А. Флоренским, вызвал грубые нападки в тогдашней печати. В.Тер-Оганесян, например, писал: «Что существуют богословы, которые не могут не писать о жизни святых, это еще понятно. Но когда эти богословы официально именуются "крупными сложившимися учеными" — это совершенно непонятно» («Под знаменем марксизма», 1922, №9/10, с.230). Ему вторил известный поэт Сергей Городецкий, который писал с возмущением: «Наряду с развитием материалистического миропонимания и широким его распространением, мы имеем зачастую проявления самого необузданного мракобесия. Кто бы мог подумать, что как раз к юбилею Коперника в Москве 1923 года выйдет книга, объявляющая его теорию ложной и возвращающая читателя к птоломеевской "тверди небесной"? А между тем именно так ставится вопрос в книге ученойшего богослова и выдающегося математика П.Флоренского... Достаточно перекувыркнуться, и вы попадаете на тот свет, "в царство идей Платона". На подобном мракобесии Главлит поставил свою визу за №1987» («Красная нива», 1923, №12, с.28).

¹⁴ В.А. Фаворский возродил искусство гравюры на дереве. Его мастерство привлекло талантливых учеников, породило целую школу советской гравюры. Он известен также как один из лучших современных художников-иллюстраторов. За иллюстрации к древнерусскому эпосу *СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ*, произведениям А.С. Пушкина *БОРИС ГОДУНОВ* и *МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ* В.А. Фаворский в 1962 г. был награжден Ленинской премией. См. о нем: Ю.Халаминский. *ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ ФАВОРСКИЙ*. (Монография). М., 1964.

¹⁵ П.Д. Эттингер. *ЭКСЛИБРИСЫ ФАВОРСКОГО. — КНИГА О ВЛАДИМИРЕ ФАВОРСКОМ*. Сб. статей. М., «Прогресс», 1967, с.37-40; цит. с.38-39.

¹⁶ Письмо Е.А. Некрасовой от 23 февраля 1926 г. — ИРЛИ, ф.562.

¹⁷ ЦГАЛИ, ф.1958, оп.1, ед. хр.46. Эта книга впоследствии исчезла из библиотеки М.А. Волошина. 31 октября 1932 г., отвечая сетовавшей на пропажу М.С. Волошиной, ее знакомая В.Д. Финкельштейн писала: «Да, Флоренский был, об этом мне говорил Макс. /.../ Поищи, но не скорби».

***ИЗ ИСТОРИИ
ДУХОВНЫХ
ТЕЧЕНИЙ
В РОССИИ***

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ*

Публикация Дж. Мальмстада

В творчестве Андрея Белого мемуарная проза занимает особое место. И не только потому, что, вероятно, половину всего литературного наследия Белого составляют мемуары, но и потому, что одно уже решение вопроса о принадлежности той или иной книги Белого к мемуарам является ключевым для определения отношения к его творчеству в целом. Разумеется, было бы неуместным здесь пытаться «решить» этот вопрос, легко могущий стать предметом целого большого тома (а может быть и нескольких). Отмечу только, что критикам, исследующим мемуары Белого, следовало бы принимать во внимание не только грандиозный мемуарный цикл 20-30-х годов, но и самые ранние его произведения (наглядный пример: его первая книга, опубликованная в 1902 г. — «Симфония. (Вторая, драматическая)», которую сам автор характеризовал так: «случайный отрывок, почти протокольная запись той подлинной, огромной симфонии, которая переживалась ряд месяцев в этом году [1901]»)¹. Пристальное изучение творчества этого, на первый взгляд, самого мятущегося и противоречивого художника в истории русской литературы покажет, что на самом деле он был одним из самых в ней последовательных писателей: на протяжении более чем тридцати лет он сохранял верность фундаментальным положениям своего мирозерцания и принципиальным началам своей поэтики.

В период, начинающийся сразу же после завершения первого «варианта» «Петербурга», т.е. после 1913 г., все художественные произведения Белого так или иначе непосредственно связаны с «мемуарным импульсом»². Главным проявлением этого «импульса» могут в первую очередь видеться воспоминания о Блоке, к работе над которыми Белый приступил

* Research for this article was supported in part by a grant from the International Research & Exchanges Board (IREX), with funds provided by the National Endowment for the Humanities and the United States Information Agency. None of these organisations is responsible for the views expressed.

¹ МАТЕРИАЛ К БИОГРАФИИ (ИНТИМНЫЙ). ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед. хр.3, запись за февраль 1901 г.

² См. статью Л.Флейшмана *BELY'S MEMOIRS* в кн.: *ANDREY BELY. SPIRIT OF SYMBOLISM*. Ed. John E. Malmstad (Cornell University Press, 1987), с.216-241.

в первые дни августа 1921, после смерти поэта³ и которые, подобно коралловому рифу, разрастались с годами в многотомную серию мемуаров-автобиографии.

Владислав Ходасевич, будучи очевидцем работы Белого над одним из вариантов этих воспоминаний, так называемой «берлинской редакцией» «Начала века», подробно изложил в рецензии на книгу «Между двух революций» сложную историю развития этих мемуаров: «В 1921 г., тотчас после смерти Блока, Белый прочел о нем в Петербурге, а потом в Москве, воспоминания, имевшие большой успех. В расширенном и дополненном виде они были напечатаны в одном альманахе [«Северные дни», сб. II, 1922, с. 133-155, также в дополненном виде в «Записках Мечтателей», 1922, №6, с. 5-122]. По приезде в Берлин Белый вновь переработал их для журнала "Эпопея" [1922-23, №1-4]. Эта третья редакция, сильно разросшаяся, навела на мысль превратить воспоминания о Блоке в трехтомные воспоминания об эпохе символизма вообще. Так возникла четвертая редакция [три тома «Начала века»] /.../ Видя, что книга грозит превратиться в полубезумный обвинительный акт против всего и всех, некоторые друзья, в том числе и я, старались направить его на путь более справедливых оценок. Для этого нужно было настаивать, чтобы он не упускал из виду, что пишет ни в коем случае не собственную биографию, а объективные воспоминания обо всей эпохе. Эти усилия наши пропали даром: если в берлинской, четвертой, не увидевшей света редакции Белый еще сдерживался, то, приехав в Москву и приступив к пятой, он окончательно соскользнул от мемуаров об эпохе к автобиографии. Автобиографичность нового труда своего он даже подчеркнул тем, что "Началу века" [М., 1933] предпослал особый, ранее не предполагавшийся том, "На рубеже двух столетий" [М.-Л., 1930] — воспоминания о детстве и раннем юношестве»⁴.

Третий том «московской редакции» воспоминаний «Между двух революций», законченный 23 марта 1933 г., появился только посмертно, в 1934 г. (Характерное для общей настроенности последней редакции мемуаров название этого тома — «Омут» — было заменено издательством на более «лояльное»: «Между двух революций».)

22 сентября 1933 г., по свидетельству его жены, К.Н. Бугаевой, Белый начал работу над четвертым томом, или, выражаясь его словами, над «второй частью третьего тома». Острый приступ головных болей в начале октября, которые все усиливались в течение ноября, мешал работе. К моменту своей смерти, 8 января 1934 г., Белый успел довести изложение своей биографии только до «инцидента с "Петербургом"», т.е. до января 1912 г., когда П.Б. Струве отказался печатать заказанным им и Брюсовым роман на страницах «Русской Мысли». В «Введении» к этой последней части воспоминаний, опубликованных с купюрами в 1937 г., Белый писал, что книга должна была охватить «восьмилетие (1910-1918), связанное с жизнью на Западе и с кругом объектов, по-новому освещающих все впе-

³ См. ДНЕВНИКОВЫЕ ЗАПИСИ Андрея Белого, предисловие и публикация С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова. — «Литературное наследство», т.92, кн.3, 1982, с.788-829.

⁴ ОТ ПОЛУПРАВДЫ К НЕПРАВДЕ. — «Возрождение», 27 мая 1938, №4133.

чатления бытия»⁵. Первое место в кругу этих «объектов» должна была, безусловно, занимать фигура Рудольфа Штейнера, встреча с которым была центральным моментом всей жизни Белого.

Трудно сказать, как Белый, в бредовых условиях советской России середины 30-х годов, переосмыслил бы эту встречу и свою жизнь до 1916 г. в окружении Штейнера, помня, что после ряда кризисов, связанных с отношением к Штейнеру и его учению, Белый все-таки оставался до конца жизни верным и антропософии, и ее основателю. В конце двадцатых годов, в «исповеди» «Почему я стал символистом», он посвящает многие страницы своему «учителю», пишет большой том воспоминаний о нем, прекрасно понимая, что опубликовать эти работы при жизни будет совершенно невозможно⁶. Хотя в этих воспоминаниях Белый уделяет много места собственным переживаниям 1912-1916 гг., все же именно личность Штейнера занимает в них центральное место. В результате эти поворотные годы в жизни Белого так и не были подробно зафиксированы в его воспоминаниях. Правда, до своего отъезда из Берлина в Москву в октябре 1923 г., Белый довел берлинскую редакцию «Начала века» до конца 1912 г. Хотя рукопись, по свидетельству Ходасевича (рецензия на книгу «Между двух революций»), была набрана к печати, целиком она никогда не была напечатана из-за закрытия издательства «Эпоха». Фрагменты из нее, однако, появились как в советской России («Арбат» в журн. «Россия», 1924, №1(10), с.34-36), так и в эмигрантской прессе («Отклики прежней Москвы» в журн. «Современные Записки», 1923, кн. XVI, с.190-209, и «Арбат» — там же, кн. XVII, с.156-182)⁷. Белый опубликовал три «главки» из последней (десятой) главы третьего тома берлинского «Начала века» во втором выпуске журн. «Беседа», который редактировался им совместно с Горьким и Ходасевичем⁸. Что эти «главки» (1. Бельгия, 2. Переходное время, 3. У Штейнера) принадлежат корпусу «Начала века», подтверждается тем, что они идентичны (за исключением незначительных стилистических изменений) с текстом единственных сохранившихся фрагментов берлинского «Начала века», находящихся в советских архивах (ЦГАЛИ, ГПБ): том III, главы 1, 9 и 10. В последних пяти «главках» десятой главы (дат. 1922-1923, декабрь — январь) — «Бельгия», «Переходное время», «Русские символисты», «У Штейнера», «Базель-Фицнау-Штутгарт-Берлин» — Белый описывает свою «окультурную» тягу к Штейнеру, первую встречу с ним весной 1912 г. и решение присоединиться к

⁵ ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДСТВА АНДРЕЯ БЕЛОГО. ВОСПОМИНАНИЯ, том III, часть II. — «Литературное наследство», т.27-28, 1937, с.413.

⁶ Книга ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ, написанная в 1928 г., появилась в печати только в 1982 (Ann Arbor, «Ardis»); в этом же году вышли в Париже («La Presse Libre») ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ, законченные в январе 1929.

⁷ Некоторые отрывки также были напечатаны в берлинских газетах «Дни» и «Голос России»; см.: *ANDREJ BELYJ IN BERLIN, 1921-1923. Addenda for a Bibliography of His Works.* J.E.Malmstad. — «The Andrej Belyj Society Newsletter», 1985, №4, с.20-29.

⁸ Андрей Белый. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ. — «Беседа», 1923, №2, с.83-127.

«делу доктора». Последняя главка, в которой описывается, как он принял это решение, никогда не печаталась.

В 1922 г., описывая свои оккультные переживания в Брюсселе, в апреле 1912 г., Белый писал в «Бельгии»: «я и так не рассказывал почти никому о случившемся в Брюсселе, — десять лет; я, признаться, молчал потому, что в эпоху фанатического моего отношения к Штейнеру пересказ этих фактов сколь многих заставил бы с сожалением покачать головой; и счесть нас [А.Б. и Асю Тургеневу] — сумасшедшими в лучшем случае и шарлатанами — в худшем; и кроме того: мне казалось, что оглашать эти факты нельзя; но в интимном кругу я рассказывал обо всем, с нами бывшем: Петровскому, Штейнеру, Эллису, К.Н. Васильевой, некоторым другим (не помню кому). А теперь, через десять лет, из другого морального тонуса, переменявшийся, трезвый и не имеющий никаких "оккультических" восприятий, я чувствую, что я должен поставить перед сознанием все эти факты»⁹.

В то же время, параллельно с работой над «Началом века» в 1923 г., Белый «поставил перед сознанием» и другие факты: он начал писать заметки, получившие название «Материал к биографии (интимный), предназначенный для чтения только после смерти автора» (они также были Белым названы «Материалом биографическим, интимным»). Сюда вошла детальная канва всей жизни автора вплоть до августа 1915 года, включая эпизоды, которые по личным причинам не могли быть опубликованы (его романы с Ниной Петровской и Любовью Дмитриевной Блок, так же как и его мучительные отношения с Асей Тургеновой и ее сестрой, Наташей; в чисто «сексуальном» плане Белый никогда не писал более интимного текста)¹⁰. В общих чертах «Материал», в отличие от «Начала века», носит более дневниковый характер: изложение фактов расположено хронологически по месяцам, иногда даже по дням. Белый очень детально описывает 1880 (дата рождения) — 1903 годы, как и 1913-1915, в то время как период, охватывающий 1904-1912 гг. (за исключением 1906) он записывает более сжато (в начале записей 1904 г. он отмечает: «Ввиду того, что с 1904 года ряд моих воспоминаний о себе занесен в III том "Начала века", я буду останавливаться здесь лишь главным образом на фактах, не отмеченных в "Начале века"»). Тем не менее, и в этой части «Материала» мы находим многое, о чем Белый должен был писать в третьем томе, и многое, о чем он, наверное, умолчал.

Основная задача «Материала» — сохранить в памяти события, не осмысливая их, как в «Начале века». В конце рукописи Белый писал:

Материал этот заносился для того, чтобы при случае дать на основании его художественное произведение (роман-автобиографию); автор брал себя, как объект анализа; центром его дол-

⁹ «Беседа», 1923, №2, с.99.

¹⁰ Существует еще один «загадочный» текст — «Ракурс дневника», ссылки на который часто встречаются в *ЛЕТОПИСИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. БЕЛОГО*, составленной К.Н. Бугаевой (ГПБ, ф.60, ед. хр. 107). Рукопись «Ракурса» хранится в ЦГАЛИ и в настоящее время не выдается исследователям.

жны были быть переживания 1912-1916 годов; автор в эпоху 1913-1914 годов был крайне переутомлен; у него был ряд болезненных переживаний, которые он хотел записать сперва так, как они предносились ему в 1915 году. Он начал протокольно записывать эти переживания в 1923 году; но записи оборвались в 1915 году. Ввиду того, что переживания эти даны здесь без *критики* автора (анализ их, трезвый, должен был их завершить), ввиду интимности их и крайней болезненности, ввиду того, что здесь вскрываются интимные стороны отношения автора к когда-то ему близким людям, —

автор сдает в архив эти
биографические записи лишь с условием, что станут достоянием работающих в Архиве после смерти автора.

Белый продолжал записи в 1924 г. и время от времени возвращался к ним до 1928 г., когда он их оставил окончательно, не доведя их до 1916 г., так и не поставив последней точки (в буквальном смысле тоже).

В самом «Материале» Белый называет период 1912-1916 гг. «удивительным парадоксом, богатейшей пищей для общества психических исследований» и продолжает: «теперь, озирая себя, я могу вопрошать: принадлежала ли эта жизнь моей жизни?». Ответить на этот вопрос мог бы только сам Белый, но, признаться, описание конца 1914 г. и особенно всего 1915 г. иногда читается как фантастический роман, этим напоминая, может быть, самую загадочную вещь, написанную Белым: «Записки чудака»¹¹. Но в «Материале» (в отличие от «Записок чудака», где автор выступает как Леонид Ледяной, Ася как Нэлли и т.д.) Белый, как и другие люди, говорит прямо от себя, события даны в чисто хронологическом порядке и он никак не отрицает автобиографичности этих событий. (В своем «Вместо предисловия» к «Запискам чудака» Белый настаивал на том, что «Леонид Ледяной — не Андрей Белый», а в тексте (т. I, с. 68) писал о «Записках»: «в виде повести этот странный дневник».) Правдивость описания атмосферы, царящей в военные годы в Дорнахе, подтверждается письмами Белого Иванову-Разумнику. В письме, посланном 20 ноября 1915 (по н. ст.) из Арлестгейма (близ Дорнаха) Белый намекал на «мучительнейшие ситуации внутри и вовне О[бщест]ва, которые приходится переживать», продолжая: «На них-то, немногих, опираешься ты и несешь многое, но не отходишь, потому что большинство наших членов, как всякое "большинство"; и даже хуже обычного "большинства", ибо антропософия — проба сил воли; и кто не становится *лучше*, тот во многом становится еще *хуже*, составляя внешнюю картину "штейнериста" или "штейнеристики", за которую по справедливости нас ругают»¹². 11 марта 1916 г. (по н. ст.) он писал:

¹¹ О ЗАПИСКАХ ЧУДАКА, 2 т. (М.-Берлин, 1922) см. содержательную статью: *A DIARY IN STORY FORM: «ZAPISKI CHUDAKA» AND SOME PROBLEMS OF BELY'S BIOGRAPHY*, John Elsworth, в кн.: *ASPECTS OF RUSSIA. 1850-1970. POETRY, PROSE AND PUBLIC OPINION*. (Letchworth, 1984).

¹² ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед. хр. 6 (письма 1915 года).

Жизнь здесь унылая: все болею то нервным переутомлением, то одышкой, то страдаю сердечными припадками; *пушки* в Эльзасе начинаю просто не переносить. И уехать-то некуда. Роман мой застопорился: очень много было у меня в личной жизни забот, огорчений и тяжелых переживаний, очень много было и неприятностей на почве здешней местной жизни. Отчаянные господа (верней госпожи или проще «*старые девы*») наши антропософы; 5% порядочных людей, 1/2% людей замечательных: прочие — никуда ненужный балласт, тормозящий все дело доктора; испортили купол наш «дряблостью, декадентскою живописью»: вместо антр[опософского] искусства получилась дотошность самого худалого модернизма; столько здесь тяжелого, нудного, что Вы и представить себе не можете: вот скоро 3 месяца д-ра нет; мы одни среди неприятностей, мелочностей, «тетинских» сплетен: работники (т.е. молодежь) едва таскают ноги от усталости: у кого болезнь сердца, кто вытянул от колотыбы по дереву сухожилые, кто просто слег: и все это — в «базельском» мертвом сне, среди кляузных и злонастроенных деревушек.

Иногда такое отчаяние охватит, что просто по-собачьему «*выть*» хочется¹³.

В «Материале» читатель найдет все подробности этих «неприятностей» и «тяжелых переживаний», определение которых самим Белым как только «странные» — едва ли можно считать адекватным.

Уже в 1907 г. в статье «Будущее искусства» Белый писал о главной задаче писателя-символиста: «Мы должны забыть настоящее: мы должны все снова пересоздать: для этого мы должны создать самих себя /.../ [художник] должен стать своей собственной художественной формой»¹⁴. Спустя более десяти лет, в период создания «Эпопеи» «я», он повторяет в «Дневнике писателя» свой основной творческий принцип: «по отношению к себе самому становлюсь натуралистом»¹⁵. «Натуралист», исследователь неведомых земель обретенной реальности, «инопланетный гостролер» становится в своем «Материале» экскурсоводом не только по внешним событиям, но и по внутренним: по собственному сознанию в поворотные «антропософские годы» своей жизни, названной им самим «более богатой, чем вся жизнь "до" и вся жизнь "после" (в событиях внутренних и странных)»¹⁶. В этом и заключается для читателя всеобъемлющий интерес этих писаний и важность (а, возможно, и опасность) их для тех, кто изучает Белого и его эпоху.

¹³ ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед. хр.7 (письма 1916 года).

¹⁴ СИМВОЛИЗМ, М., 1910, с.453.

¹⁵ ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ, дат. 9 января 1919 г. — «Записки Мечтателей», 1919, №1, с.119.

¹⁶ «Автобиографическое письмо» Иванову-Разумнику от 1-3 марта 1927 г. («Cahiers du monde russe et soviétique», 15, №1-2, 1974, с.72). Там же Белый писал: «Семилетие 1912-1918 могу назвать в целом: *Антропософия*. Но: в первом *четырёхлетии* (12-15) эта "*антропософия*" мне звучит в темах: "*мир*", (см. след. стр.)

По сей день «Материал к биографии (интимный)», рукопись которого хранится в ЦГАЛИ, ф.53, оп.2, ед. хр.3, не опубликован и известен только по ссылкам или отрывочным цитатам в работах советских и западных «беловедов». Здесь впервые публикуются целиком лл.61 об. — 163 об., записи о 1913-1915 годах. Отрывки из рукописи, касающиеся периода от 1911 до 1912 гг., предшествуют тексту, чтобы зарисовать фон происходящего с Белым до этого времени. Примечания, главным образом, имеют целью уточнить, а иногда и исправить даты описываемых событий (Белый довольно часто мешает старый и новый стили). Литература о Рудольфе Штейнере особенно помогла в этой работе, так как каждый день, каждая его лекция или подробность из его жизни зафиксированы в публикациях Verlag der Rudolf Steiner (см., например, Rudolf Steiner. Das literarische und künstlerische Werk. Eine bibliographische Übersicht, Dornach, 1961, с перечнем дат и мест всех его лекций). Чтобы не загромождать текст примечаниями, к нему добавлен именной указатель известных, малоизвестных или вовсе неизвестных лиц, упомянутых в «Материале».

В приложении читатель найдет письмо М.К. Морозовой Белому и подробный (в оригинале 44 листа) ответ ей Белого. Все материалы публикуются впервые. Автор приносит благодарность Владимиру Гитину за помощь в редактировании текста «Материалов».

“Германия”, “медитация”, “мировая война”, “Ася”, мучительное искание гармонии с доселе близким мне другом, так много значащим для меня, Эмилием Карлов[ичем] Метнером; гармония рвется — более, более, более; и в 15-ом году отношения (для меня) наши разрываются навсегда» (с.78) и «“антропософия, как эзотерический путь” (тема периода 1912-1915)» (с.75). См. также с.71-73.

1911 год

Май. /.../ Отъезд в Боголюбы¹ есть ссора с мамой, страх перед ставшей мне чуждой Москвой. Со мной из Москвы едет Наташа [Тургенева].

Июнь. Жизнь в Боголюбах. Живем [вместе с Асей Тургеневой] в отдельном домике, вне главного. Обнаруживается: переутомление нервное у Аси, ряд медиумических явлений в домике по ночам. В Асе развивается *мистицизм* и тяга к проблемам духовной культуры. /.../

Июль. Приезжает Пощо. Медиум[ические] явления продолжают-ся; я борюсь с ними; тревожное настроение /.../

Август. Грустная, предотъездная жизнь в Боголюбах. Наш отъезд с Асей в Москву /.../

Сентябрь. /.../ Переезжаем с Асей в Расторгуево [под Москвой]; мечтаем вырваться; /.../

Октябрь. Жизнь в Расторгуеве. Отъезд Эллиса за границу. Мечты сбегать. Асино: *так жить нельзя*. /.../ Денег — нет. Строчу «Петербург».

Ноябрь. Ужасные холода на даче. Жить невозможно. Ввалились в квартиру к Пощо. Там — толчая, неуютница, холод. Писать — все трудней. Выручил Блок присылкой денег. Состояние мое: хоть повеситься.

Декабрь. Не выдержали: бежали из Москвы в Бобровку; спешно работаю над «*Петербургом*». Все те же грустные мысли: жить нельзя. Возвращаемся к рождеству в Москву.

Грянул мой инцидент [о приятии «*Петербурга*»] с «*Русской Мыслью*».

1912 год

Январь. Первое января встретили на квартирке у Пощо: в 6-ом Ростовском переулке, близ Плющихи; кажется зажгли ёлочку; присутствовали: С.Н. Кампиони, Ася, Наташа, Таня, Пощо, я. Мне открылся текст, что мы пройдем под облаком, что будет: все-таки свет из грядущего. /.../

¹ Боголюбы — имение под Луцком, принадлежавшее отчиму А.А. Тургеневой В.К. Кампиони и ее матери С.Н. Кампиони.

Январь этого года — сплошное томление /.../ В таком состоянии с Асей попадаем в конце месяца в Петербург; и посещаем у В.Иванова — на «Башне».

Февраль. Весь проведен у В.Иванова; /.../

Март. Возвращаюсь в Москву. /.../ собираюсь уехать за границу; /.../ В самом конце марта выезжаем с Асей за границу; последние дни месяца связаны с Кельном.

Апрель. Приезжаем в Брюссель, заболеваем; /.../ странные приключения, описанные в III томе «Начала Века». /.../

Май. Встреча с Штейнером, приезд в Брюссель Эллиса²; /.../ Поездка в Брюгге, поездка в Шарле-Руа к д'Эстрэ. Мой отъезд в Буа-Ле-Руа, к д'Альгеймам.

Июнь. Жизнь у д'Альгеймов в Буа-Ле-Руа. /.../

Июль. Отъезд из Буа-Ле-Руа. Страсбург, впечатление от собора. Приезд в Мюнхен, встреча с Штейнером, Эллисом, Поольман-Мой, Рихтером. Занятия с Шолль. Приезд Наташи Тургеновой в Мюнхен. Наши посещения Штейнера.

Август. Работа над мистериями. Постановка мистерий [Штейнера], мюнхенский курс «О вечности мгновений»³. Отъезд Наташи. Переезд в Базель.

Сентябрь. Базельский курс: «Евангелие от Марка»⁴. Приезд В.Иванова в Базель, к нам. Разговоры с Эллисом; наш отъезд в Фицнау [Швейцария].

Октябрь. Жизнь в Фицнау. Моя работа над циклами. /.../ Медиации.

Ноябрь. Переезд в Дегерлох (под Штутгартом); разговоры и дружба с Эллисом и с Поольман-Мой; /.../ Отъезд в Мюнхен на лекции Штейнера⁵. /.../ 30 ноября приезжаем в Берлин.

² К этому времени Эллис стал пылким штейнерианцем и пропагандировал учение Штейнера среди московских символистов: см. «Литературное наследство», т.92, кн.3, с.388.

³ 20, 22 и 24 августа (н.ст.) были поставлены в Мюнхене три из четырех «Mysteriendramen» Штейнера. 25-29, 30 (2 лекции) и 31 августа (н.ст.) Штейнер читал восемь лекций «курса» «Von der Initiation. Von Ewigkeit und Augenblick. Von Geisteslicht und Lebensdunkel».

⁴ В Базеле, от 15 до 24 сентября (н.ст.), Штейнер читал десять лекций на тему «Das Markus-Evangelium».

⁵ Штейнер читал лекции в Мюнхене от 25 до 28 ноября (н.ст.), отчасти на тему «Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt».

Декабрь. Жизнь в Берлине. Денежные затруднения. Значительные внутренние переживания. Отъезд в Кельн на цикл: «Послания апостола Павла и Бхагават-Гита»⁶. Новый год встречаем в Кельне: последняя дружественная встреча с Эллисом и Поольман-Мой.

1913 год

Январь.

Новый год встретили с Асей в Кельне, в отеле St. Paul, против Кельнского собора; в этом же отеле мы жили в дни, когда произошла первая встреча наша с доктором Штейнером; помнится, мы вернулись с лекции Штейнера; и — помнится: у нас вечером сидели: Эллис и Поольман-Мой; я показывал Поольман-Мой мои схемы, в красках (Человек-Храм); мы незадолго записались все в образовавшееся А[нтропософское] О[бщество], выйдя из Т[еософского] О[бщества] вместе с Штейнером⁷; помнится, этот период отложился внутренними узданиями о Храме тела; о Куполе, как голове; три идеи Храма: Храм — подземный (тело); Храм — солнечный (построенный на сердце); Храм космический (весь человек); в моих имагинациях того времени есть многое, что выявилось впоследствии в плане Гетеанума. Помнится в эти дни особое впечатление произвела лекция Штейнера из курса, где он говорит о Человеке-змее (что значит дойти до змей).

Через несколько дней мы вернулись в Берлин.

Январь этого года (как и декабрь предыдущего) стоит мне под знаком моих все усиливающихся медитаций и узнаний (внутренних); еще в ноябре, в Штутгарте я приготовил Штейнеру нечто вроде доклада, с рядом схем о моей внутренней работе и о тех медитациях, которые он мне дал; в Мюнхене я передал Штейнеру эту тетрадь (на свидании, где мы были у него с Поольман-Мой); в декабре Штейнер вернул мне тетрадь с рядом указаний (было длительное свидание с ним); вместе с тем он переменил мне работу; новые медитации вызвали во мне ряд странных состояний сознания; переменилось отношение между сном и бодрствованием; в декабре было два случая со мной выхождения из себя (когда я, не засыпая, чувствовал, как выхожу из тела и нахожусь в астральном пространстве); весь этот период я был в состоянии

⁶ 28-31 декабря 1912 г. и 1 января 1913 г. (н.ст.) Штейнер читал пять лекций «Die Bhagavad Gita und die Paulusbriefe» в Кельне.

⁷ Антропософское Общество, во главе с Р.Штейнером (сам он никогда не был членом Общества), образовалось в начале сентября (н.ст.) 1912 г.; разговоры о формальном устройстве Общества продолжались и в декабре того года.

потрясения под впечатлением этого огромного события моей внутренней жизни; дни проходили в чтении циклов, а утром, среди дня и вечером в медитациях, концентрациях, контемплициях. Я читал кроме того внимательно «Добротолюбие» (2 тома).

В январе состоялось новое свидание со Штейнером, в котором я представил ему новые схемы (в красках) и отчеты о моих работах и передал о случаях выхождения из себя в декабре и о третьем случае выхождения в январе (вскоре по возвращению из Кельна); Штейнер сказал мне: «Ja, es ist so; es ist schwer zu ertragen, aber man muss dulden...». Но все-таки: он сказал мне, что некоторые знания мои о духовной действительности преждевременны (они позднее по-новому прояснятся); он дал мне еще ряд указаний внутреннего порядка; помнится, что мы с Асей с начала 13 года перешли на вегетарианство.

За этот период мы слушаем лекции в А.О.; каждую неделю читает Штейнер лекцию по вторникам в помещении О-ва на тему: «Жизнь человека между смертью и новым рождением»: в декабре, январе, феврале и в марте он прочел до 12 лекций на эту тему⁸; весь этот период слушаю лекции Штейнера (публичные) в Architektenhaus на Wilhelmstrasse, образующие то же sui generis курс (из 6 лекций) на тему: «Естествознание и духовная наука»⁹. Внимательно читаю выходящие «Mitteilungen» О-ва. За этот период раз М.Я. Сиверс (впоследствии жена Штейнера) приглашает нас с Асей на кофе в квартиру Штейнера; к кофе выходит доктор, и у нас происходит за столом разговор о Рожэре Бэконе и о Бэконе Веруламском. Он указывает на то, что у некоторых схоластиков удивительная тонкость логической спекуляции, утраченная в наше время.

Кроме того: слушаю лекции Курта Вальтера в А.О. о «Я» человека, а также проф. Бекка (члена О-ва) — там же. Из антропософов-русских, проживающих в Берлине, часто вижу с Т.А. Бергенгрюн (сестрой Е.А. Бальмонт), с Ганной, с племянником Бергенгрюн, с семейством Поповых (муж музыкант), с семейством Ван-дер-Паальс; вижу и с приехавшей из Петрограда к доктору Форсман, знакомлюсь с сестрой М.Я. Сиверс — О.Я. Сиверс; из немецких антропософов знакомлюсь с графом Лерхенфельд, с

⁸ 10 лекций Штейнера на тему «Das Leben zwischen dem Tode und der neuen Geburt im Verhältnis zu den Kosmischen Tatsachen» были прочитаны в Берлине 5, 20 ноября, 3, 10, 22 декабря 1922 г., 7, 14 января, 11 февраля, 4 марта и 1 апреля 1913 г. (н.ст.).

⁹ Белый имеет в виду лекции на тему «Naturwissenschaft und Geistesforschung» из цикла «Ergebnisse der Geistesforschung», прочитанные в конце 1912 — начале 1913 г. (н.ст.).

Зейлингом, с др. Гёшем, с Валлер (живущей в доме доктора), с сестрами Леман, с Мюллер, с бароном и баронессой Галлен (шведские антропософы) и с рядом других лиц.

К концу месяца открывается генеральное собрание вновь открывшегося А.О., продолжающееся более недели¹⁰; на это время снимается Architekten haus, где заседания и лекции происходят с 9 часов утра до 3-4-х: на заседаниях разрешается ряд дел, а в прочие часы происходит ряд докладов и рефератов съехавшихся членов О-ва; среди докладов мне запомнились: доклад Аренсона о 10 заповедях, доклад Деглау (из Бреславля) о законах Ньютона в антропософском освещении, доклад д-ра Пайперса, доклад д-ра Унгера. По вечерам же лекции курса Штейнера: «*Мистерии Востока и Запада*»; а также лекция «*О сущности Антропософии*» и какая-то другая¹¹.

В это время происходит переписка с Москвой и Петербургом: для московских антропософов пишу подробный конспект двух последних прослушанных курсов Штейнера, перерабатываю заново начало «*Петербурга*»; обнаруживается все большее оттолкновение от Москвы (от Морозовой, Рачинского, Метнера, Булгакова); я связуюсь в письмах с формирующимся издательством «*Сирин*». В январе ко мне заезжает в Берлин издатель «*Сирин*» М.И. Терещенко (будущий министр временного правительства) и мы условливаемся о том, что мог бы я дать для издательства «*Сирин*». В январе же в Берлине встречаюсь с товарищем детства И.В. Танеевым.

Февраль.

Этот месяц продолжаю слушать лекции Штейнера и Вальтера; начинаю чувствовать все большее и большее тяготение и любовь к М.Я. Сиверс; ее доброе, внимательное отношение к нам проявляется все больше и больше; приезжает в Берлин К.П. Христоворова, с которой происходят частые встречи; наступает весна; мои внутренние упражнения приобретают новый оттенок: я испытываю чувство растущей и разливающейся любви к М.Я. Сиверс, к доктору и к целому ряду лиц в нашем О-ве; я не мыслю себе возможности оторваться от доктора; чувствую, что не могу от него уехать хотя бы потому, что изменения в моей внутренней

¹⁰ Первое генеральное собрание (Generalversammlung) А.О. открылось 2-3 февраля (н.ст.) 1913 г.

¹¹ От 3 до 7 февраля (н.ст.) 1913 г. Штейнер читал 4 лекции из курса «*Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums*», а также лекции «*Von den Anfängen anthroposophischer Gesellschaftsentwicklung*» и «*Von den Lebensbedingungen einer anthroposophischen Gesellschaft*».

жизни и работа, им данная мне, требуют постоянных указаний от доктора; между тем: денег у меня нет; на что жить в будущем — неизвестно, приходится думать об отъезде. Я переживаю мучительное раздвоение и страшную тревогу, что придется мне уехать из Берлина. Вместе с тем А.А. Блок сватает мой роман «Петербург» для альманахов К^{ва} «Сирин» и пишет мне письма о том, что может быть удастся провести его через редакционный совет (Терещенко, его сестра, Блок, Ремизов, Иванов-Разумник, еще кто-то). Я спешно доканчиваю переработку первых 5-ти глав и отсылаю в Петербург; если роман принят, то я обеспечен: могу остаться при Штейнере и год, и больше; если же не принят, то — придется ехать в Россию; но уже мы с Асей решаем: в Москву не возвращаться ни в коем случае, а ехать к Софии Ник. Чемпиони, в Боголюбы (под Луцк); и там переждать трудные времена.

В такой неопределенности я томлюсь весь февраль; между тем — обнаруживается: в марте Штейнер читает в Гааге курс: «Влияние оккультного развития на тела»¹². Мы рвемся в Гаагу, заказываем себе билеты на курс в надежде, что «Сирин» при[ме]т «Петербург», /.../ а «Сирин» молчит. Мы идем советоваться с д-ром Штейнером, что нам делать; он как бы благословляет нас ехать в деревню в случае, если дела не устроятся.

Одновременно мы переписываемся с С.М. Соловьевым и с Таней, сестрой Аси, ставшей женой С.М. Соловьева; они — в Италии, в Риме; возвращаются в кругах католических, видятся с кардиналом Рамполле, с В.И. Ивановым, уехавшим в Италию из Петербурга и женившемся на своей падчерице (В.К. Шварсалон).

Штейнер дает мне новые медитации.

Март.

Начало месяца протекает все в той же неопределенности: деньг приходит к концу, а ответа от «Сирин» — нет; в полном отчаянии мы укладываемся, но что делать с огромным сундуком? Тащить его в Боголюбы? Тут мы решаемся поставить сундук на хранение в Берлине, как залог нашего скорого возвращения к Штейнеру: я решаю — умереть, или найти средства для жизни при Штейнере; в таком состоянии мы уже берем билеты в Луцк и идем прощаться с доктором; он ласково успокаивает нас; и говорит, чтобы мы стремились мысленно вернуться; и тогда все препятствия падут; и мы — вернемся. Штейнер мне между прочим гово-

¹² 20-29 марта 1913 г. (н.ст.) Штейнер читал в Гааге курс (десять лекций) «Welche Bedeutung hat die okkulte Entwicklung des Menschen für seine Hüllen — physischen Leib, Ätherleib, Astralleib — und sein Selbst?»

рит: «За эти месяцы вы вашей медитативной работой и вашими оккультными узнаниями заложили себе прочный фундамент для будущего развития; смотрите на опыт этих месяцев как на введение к тому, чтобы стать внутри *пути*. Когда вы снова ко мне вернетесь, то мы прочно поработаем с вами»... Мы прощаемся с доктором, с антропософами; и — вот: накануне отъезда получаем телеграмму от «*Сирин*»: «*Роман — принят*»¹³. А это значило для меня: ежемесячное получение аванса в 300 рублей т.е. 11/2-2 года безбедного существования. Мы — ликуем; но — все-таки: решаем на весну и лето уехать в Боголюбь, чтобы в мае-июне быть в Гельсингфорсе на курсе Штейнера, а в конце июля вернуться в Мюнхен на курс и мистерии, чтобы прочно зажить при Штейнере.

С такою мыслью мы уезжаем в Боголюбь.

В Луцке нас встречает распутица и метель; по дороге от Луцка к Боголюбам наша пролетка увязает в грязи; возница отпрягает одну лошадь и скачет в Боголюбь, чтобы В.К. Кампионы с работниками прислали за нами лошадей; мы с Асей остаемся в поле, заносимые снегом и пронизываемые ледяным ветром; спускается ночь, а из Боголюб нас никто не выручает; делается в ночи жутко; наконец за нами приезжает Кампионы; мы пересаживаемся и таким образом едва-едва попадаем в Боголюбь уже ночью; здесь находим С.Н. Кампионы, ее мужа, лесничего торчанской волости, его помощника, детей (Варю, Мишу), нянюшку; и к нашему великому изумлению находим Наташу Поццо с нянюшкой и маленькой дочкой, Машей; нас устраивают в маленьком домике, отстоящем от дома лесничего на расстоянии 300 шагов, где мы и живем весь этот месяц, пока достраивается большой дом, предназначенный для семейства В.К.

Скоро проездом из Италии в Москву приезжают С.М. Соловьев и его жена Таня, наполняя весь дом весельем и впечатлениями от Италии. Помнится мне наступление весны и наши прогулки с С.М. Соловьевым в боголюбских рощах, остатки снега, лужи и подснежники. Скоро Соловьевы уезжают. В конце месяца из Москвы приезжает А.М. Поццо. Мы с Асей живем в нашем домике довольно замкнуто: отношения с Поццами (Наташей и А.М.) как-то странно неладятся; чувствуется какое-то взаимное отчуждение, которого прежде не было, когда Наташа жила с нами в Мюнхене; мы с Асей полагаем, что то, что нас отделяет, есть

¹³ «Роман А.Белого окончательно взят, телеграфирую ему». — «Дневник А.А. Блока», запись от 25 февраля 1913 г. (ст.ст.). См. также ответное письмо Белого Блоку от 25 февраля/10 марта 1913 г. (*ПЕРЕПИСКА*, с.322). Белый уехал в Луцк 11 марта 1913 г. (н.ст.).

жизнь при Штейнере, мир медитаций и новых духовных узаний: о них — не расскажешь; и они-то, как видим мы, образуют вокруг нас точно круг, отделяющий нас от всех.

Этот месяц запомнился мне в одном отношении: Ася объявила мне, что в антропософии она окончательно осознала свой путь, как аскетизм, что ей трудно быть мне женой, что мы отныне будем лишь братом и сестрой. С грустью я подчиняюсь решению Аси.

Весь месяц усиленно работаю над шестой главой «*Петербурга*»; пишу ее заново; начинается у меня переписка с Р.В. Ивановым о «*Петербурге*», получаю письма и от Блока и от Эллиса; от последнего приходит много писем; в них — явно уже звучит нота отхождения от А.О.; члены его ему видятся карикатурно; звучат ноты недоумения по отношению к Штейнеру; эти письма Эллиса мне очень мучительны; особенно мучительно мне, что и Поольман-Мой разделяет недоумения Эллиса: Эллис, Поольман-Мой, я и Ася, мне казались тесной, интимной антропософской группой. Теперь вижу: эта группа обречена распаться.

Апрель.

Безвыездно сижу в Боголюбях; теперь мы с Асей переехали в большой дом; Поццо с Наташей переехали тоже; мы живем неподалеку друг от друга, но, помнится, мы очень мало вместе; Наташа очень уединяется от нас; мы с Асей держимся вдвоем; иногда бываем в Луцке; там бываем у Положенцевых; я заканчиваю 6-ю главу «*Петербурга*»; после очень напряженной и проникнутой узаньями зимы какое-то нервное утомление. Получаю письмо от Н.А. Бердяева; этот последний просит меня, чтобы я написал Штейнеру вопрос, может ли он прослушать курс лекций его в Гельсингфорсе, не будучи членом А.О.; я пишу в Берлин об этом М.Я. Сиверс; и получаю от нее разрешение от доктора Бердяеву слушать лекции в Гельсингфорсе; пишу соответственное письмо Бердяеву; с Эллисом тоже интенсивная переписка; от Эллиса получаю письмо за письмом, в котором он подвергает О-во убийственной критике; узнаю из чьего-то письма, что *Vau* в Мюнхене не будет строиться, но будет строиться в Швейцарии на земле, пожертвованной О-ву доктором Гросхайнцем. Впервые узнаю о том, что доктор со Смитс разрабатывает принципы передавать движение в слове.

Нервы мои — в убийственном состоянии; у меня происходит очень странное объяснение с Поццо; из этого объяснения мне становится ясным, насколько я переутомлен.

Май.

Первую половину месяца мы проводим в Боголюбях; я набрасываю вчерне первую половину 7-ой главы «*Петербурга*»; помнится пышная природа Боголюб; медитации мои идут интенсивней и интенсивней (новые, об ангелах, архангелах и началах); мы с Асей готовимся к поездке в Гельсингфорс; Наташа и Поццо уезжают в Москву, чтобы из Москвы уже ехать в Финляндию.

Мы с Асей трогаемся в Петербург¹⁴; останавливаемся на Пушкинской в гостинице кажется *Палэ-Рояль*, где некогда жил Перцов; я иду в «*Сирин*», где встречаюсь с Разумником Васильевичем Ивановым, который рассказывает мне о своей полемике с Мережковскими; мы с Асей делаем визит Мережковским, получаем приглашение обедать у них; у Мережковских встречаемся с Н.А. Бердяевым, приехавшим из Москвы в Петербург, чтобы ехать в Гельсингфорс на курс Штейнера; у меня происходит спор с Мережковским и объяснение с Философовым об антропософии. Вижу с Блоком. Приезжают из Москвы Поццо и в тот же день едут в Гельсингфорс с пароходом.

Отправляемся в Гельсингфорс; оказываемся в одном поезде с Бердяевым и с В.В. Бородаевским; оказывается: Бородаевский стал членом А.О.; и тоже едет на курс Штейнера; в Гельсингфорсе мы встречаемся с рядом русских из Москвы и Петербурга, приехавшим на курс: из Петербурга приехали между прочим: О.Я. Сиверс, Форсман, Леман, Е.И. Васильева (Черубина де Габриак), Н.Н. Белоцветов, Брюллова, К.Н. Васильева, П.Н. Васильев, В.Н. Васильев, сестра Ван-дер-Паальса с мужем и ряд других; из Москвы приехали: А.С. Петровский, М.И. Сизов, Наташа Поццо, А.М. Поццо, Григоровы, Христофорова, Машковцев, В.Ф. Ахрамович, Шенрок и др.

На другой день по приезде русские приехавшие встречают д-ра Штейнера и М.Я. Сиверс на вокзале и подносят им цветы; я сообщаю доктору о том, что летом приезжаю в Мюнхен: «Вот видите» — говорит он мне — «с приездом-то и устроилось...» Большинство русских остановились в отеле *Фенниа*, где остановился и доктор с М.Я.

Со следующего дня начинается курс лекций (10 лекций): «*Окультурные основы Бхагават-Гиты*»¹⁵; по вечерам я прочитываю

¹⁴ Белый с А.А. Тургеневой приехал в Петербург 11/24 мая (см. «Дневник Блока», запись от 11 мая, и *ПЕРЕПИСКА*, с.327-328).

¹⁵ Штейнер читал курс лекций (девять, не десять) «*Die okkulten Grundlagen der Bhagavad Gita*» в Гельсингфорсе 28-31 мая и 1-5 июня (н.ст.).

свой конспект лекции группе москвичей; Бердяев относится двойственно к слышимому; Бородаевский же потрясен курсом. Кроме курса д-р прочитывает специально русским лекцию для русских в номере «Фенниа» (в Григоровском); происходит первая встреча А.М. Поццо с доктором: А.М. записывается тут же в члены Общества. Мы с Асей получаем свидание (длительное) у доктора; я сдаю ему отчет в своих медитациях и получаю от него указания с дополнительными медитациями; запомнился мне чай у Григоровых с антропософами немецкими (Сиверс, Штинде, гр. Калькрейт и др.). Среди приехавших с доктором в Гельсингфорс запомнились: гр. Калькрейт, Штинде, фон-Чирская, д-р Геш, барон Галлен с женой, Райф, которая, узнавши, что я знаком с Мережковскими, просит меня передать Гиппиус привет (они когда-то встречались в Сицилии). Большим событием для меня было принятие нас с Асей в Е.С. («*Esoterische Stunde*» — собрания для учеников, применяющих методы к себе духовной науки; здесь все указания д-ра специальные, техничны; в «*E.S.*» допущены были не все члены А.О.).

Помнится день отъезда д-ра; мы провожали его на вокзале; я, Ася, Наташа и Поццо купили М.Я. белых колокольчиков в дорогу ей; она приняла очень ласково цветы.

Вернулись с Асей в Петербург, где прожили несколько дней; были у Мережковских, у А.Н. Чеботаревской, где встретились с Н.А. Бердяевым; обедали у А.А. Блока (Л.Д. была в отъезде), виделся, если память не изменяет, с А.А. Кублицкой-Пиоттух; обедали с Асей у Таты Гиппиус с Карташевым; виделся с Р.В. Ивановым.

После мы поехали с Асей к маме, в Демьяново (под Клином), где я принялся обрабатывать свой конспект курса.

Июнь.

Начало июня провели в Демьянове, держались очень уединенно; в парке встречались с Танеевыми, с К.А. Тимирязевым; мама не ужилась с Асей; и скоро мы собрались и поехали в Дедово, к Соловьевым, чтобы оттуда через Москву вернуться в Боголюбы; у меня в Дедове вышло серьезное столкновение с С.М. Соловьевым на идеологической почве; и мы, крупно поговорив, расстались; так мы совершенно разбитые после Гельсингфорса (ссорою с мамой и ссорою с С.М. Соловьевым) поехали на несколько лишь часов в Москву (с поезда на поезд), повидавшись с А.С. Петровским и М.И. Сизовым.

К середине июня мы вернулись в Боголюбы (Наташа и Поццо остались в Москве); в Боголюбах же мы встретились с Л.Н. Чер-

новой (женой брата В.М. Чернова), приехавшей гостить в Боголюбых. Весь этот остаток месяца серьезно работаю над 7-ой главой «*Петербург*».

Июль.

Этот месяц я хлопочу о получении заграничного паспорта; в Боголюбых становится жарко и душно; С.Н. Кампиони едет в Москву; боголюбовское о-во составляем: я, Л.Н. Чернова, Ася, В.К. Кампиони и его помощник; я усиленно интересуюсь проблемой истории в связи с духовной наукой; составляю таблицы, графические схемы, диаграммы; отделяю 7-ую главу «*Петербург*» и отправляю 6-ю и 7-ую главы «*Сирину*». В конце месяца мы отправляемся в Мюнхен.

Август.

Мы в Мюнхене. Приезжаем дней за десять до курса и представлений мистерии; бываем у Ильиной, Екатерины Александровны, у Киселевых; знакомимся с семейством Дубах, с Кемпером, с Киселевыми (художником и его женой); из Москвы приезжают: М.И. Сизов, М.В. Волошина, Н.Н. Белоцветов, Ю.Сидоров (позднее профессор), Григоровы, Христофорова; из Петербурга — Е.И. Васильева, приезжает Т.Г. Трапезников, который только что женился, с С.П. Ремизовой (женой писателя); приезжает жена Бородаевского, сестра Ван-дер-Паальса с мужем. Узнаем подробности о подготовке закладки «*Vau*» в Дорнахе, об эвритмии и об основании А.О. в Москве в октябре предстоящего года (от Григоровых); узнаем печальную новость: Эллис вышел из А.О.

С середины августа начинается курс Штейнера «*О мистериях*» (8 лекций); происходит постановка всех 4-х мистерий Штейнера на сцене¹⁶; среди съехавшихся антропософов — Шюрэ. Во время курса в Мюнхен приезжает М.С. Шагинян, очень дружащая с Метнером; и через нее налаживается смягчение отношений между мной и Метнером; с Метнером мы обмениваемся письмами; Метнер зовет меня в Дрезден после курса, где он живет.

Обнаруживается, что в октябре Штейнер читает курс лекций в Христиании «*Пятое Евангелие*»; мы с Асей решаем отправиться на курс, а уж попутно: провести осень где-нибудь на норвежском фьорде.

¹⁶ 24-31 августа 1913 г. (н.ст.) Штейнер читал восемь лекций курса «*Die Geheimnisse der Schwelle*». 20, 22 и 23 августа в Мюнхене были поставлены последние две из четырех «*Mysteriendramen*» Штейнера.

Мы усиленно слушаем все антропософские лекции и представления эвритмические¹⁷; вместе с тем: Рихтер нас подстрекает приехать в Дорнах на работы по постройке «*Vau*»; уже намечается, что мы к весне переедем в Дорнах.

Сентябрь.

Первые числа сентября для меня памятливы два или три собрания *E.S.*, на которых мы присутствуем; антропософы разъезжаются из Мюнхена; доктор едет в Дорнах; мы едем в Дрезден, где встречаемся с Э.К. Метнером и его хорошей знакомой Людвиг; с ними проводим несколько дней, осматриваем Дрезден, присутствуем на представлении «*Тристана и Изольды*», дружески прощаемся с Метнером и отправляемся через Берлин в Христианию; находим около Христиании (на фьорде) в Льяне виллу и усиленно отдаемся медитациям; за этот месяц делаю значительные успехи и космические узнания (о сфере старой луны, солнца, Сатурна) осеняют меня; Ася тоже целыми днями занята упражнениями и плохо себя чувствует; попутно я перевожу отрывок из первой мистерии д-ра Штейнера. Мы бываем иногда в Христианской ложе для членов, знакомимся кое с кем из норвежцев и между прочим с фрау Гельмгойден, председателем Христианской ложи; приближается время курса; в нашем пансионе останавливается приехавшая фрау фон-Чирская и рассказывает нам о закладке «*Vau*» в Швейцарии¹⁸; к концу месяца приезжает в Христианию доктор.

Последние дни месяца заняты Христианским курсом Штейнера: «Пятое Евангелие»¹⁹. Впечатление этого курса до того огромно, что мы теряем голову; и — решаем: вся наша жизнь отныне должна принадлежать Обществу, о чем мы с Асей пишем д-ру Штейнеру письмо, но не решаемся его передать в руки доктору.

Октябрь.

Заканчивается курс Штейнера; из русских на курсе кроме нас лишь Христофорова да Форсман; знакомимся за это время с Седлецкой, председателем польской фракции А.О.; обедаем с

¹⁷ 28 августа (н.ст.), в день рождения Гете, было первое представление того, что Штейнер в лекции назвал «*sichtbare Sprache*», «*sichtbaren Gesang*»: *евритмия* (*Eurythmie*). См. его лекцию, впервые прочитанную 28 августа, «*Eurythmie als Impuls für Künstlerisches Betätigen und Betrachten*».

¹⁸ 20 сентября (н.ст.) 1913 г., в 6 1/2 часов вечера, Штейнер в сопровождении близких друзей заложил краеугольный камень будущего Гетеанума в Дорнахе.

¹⁹ 1, 2, 3, 5 и 6 октября (н.ст.) Штейнер читал в Христиании (Осло) пять лекций из курса «*Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium*».

д-ром Гёшем и с молодым Митчером. Мы совершенно потрясены курсом: после последней лекции курса к нам подходит д-р Штейнер и спрашивает нас: «Ну что? Можете вы принять в душу этот курс?» Ответ на этот вопрос у меня в кармане: письмо, в котором мы отдаем Штейнеру нашу жизнь; вместо ответа я отдаю д-ру это письмо. Д-р ласково жмет руки мне и Асе.

После курса мы присутствуем на Е.С. (два собрания) и на публичных лекциях в Христиании.

Далее: мы едем за д-ром в Берген, в одном поезде; во время пути, когда поезд пересекает ледники, к нам с Асей в вагон входит М.Я. Сиверс и между нами происходит разговор, который решает нашу судьбу; мы с доктором едем в Дорнах. С этого момента до весны я переживаю невероятный взлет; события ежедневные приобретают для меня какой-то прообразовательный смысл. В таком озарении проходят дни в Бергене (лекции, публичная лекция, Е.С.)²⁰; из Бергена через Христианию мы попадаем с доктором в Копенгаген²¹, где проводим несколько дней (опять лекции, публичные лекции, Е.С., на которых теперь присутствует К.П. Христофорова); на одной из лекций ко мне подходит М.Я. Сиверс, очень ласково берет меня за руку и говорит: «Доктор читал ваше письмо; оно очень важно; столь важно, что словами на него доктор вам не ответит: берегите свое здоровье; в будущем вы можете много поработать для антропософии». М.Я. ласково смотрит мне в глаза. С той поры я чувствую совсем новое отношение к доктору и к М.Я.: чувствую нечто вроде сыновления; чувствую, что я не только ученик доктора, но что я и *сын* его; М.Я. с той поры становится в моем внутреннем мире чем-то вроде матери: она является мне в снах; в бодрственном состоянии я часто слышу ее в сердце своем; она как бы во мне живет; и наставляет меня.

В таком возбужденном состоянии я еду с Асей в Берлин (в одном поезде с доктором); за обедом, в вагоне-ресторане мы сидим рядом с доктором; М.Я. говорит со мной об Эллисе, о его отпадении, о Поольман-Мой, которая по мнению М.Я. пребывает в духе гордыни.

За норвежскую поездку мы очень сходимся с К.П. Христофоровой, которая зовет нас жить вместе, в пансионе *Begg-Klau* на *Augsburgerstrasse*, куда мы и переезжаем с вокзала и где водворяемся.

²⁰ 9 октября (н.ст.) Штейнер читал в Бергене публичную лекцию «Die Rätsel des Lebens», а 10 и 11 читал, для членов А.О., две лекции «*Schilderungen aus der geistigen Welt*».

²¹ 14-15 октября (н.ст.) Штейнер читал в Копенгагене на тему «*Der Christus-Impuls im Zeitenwesen und sein Walten im Menschen*».

Я хожу по Берлину озаренным, не будучи в состоянии притти в себя; наступает день моего рождения 27 октября: мне исполняется 33 года²²; я чувствую: возраст мой — ответственный. В эти дни мне очень много открывается во внутреннем пути; я учусь гармонизировать свои состояния сознания; вдруг: приезжающая из Москвы в Париж О.Н. Анненкова с Е.А. Бальмонт приносит известия, что в Москве, в «*Musagetes*» выходит пасквиль на д-ра, написанный Эллисом. Мы бежим к М.Я. Сиверс и спрашиваем совета: что делать? М.Я. пожимает плечами и говорит: «Оставьте». Но мы решаем ехать к Эллису и Поольман-Мой в Штутгарт, чтобы иметь объяснения с Эллисом и потребовать у него обратно циклы доктора и тетрадки его с заметками д-ра на полях. Едем в Штутгарт, отправляемся в Дегерлох; Эллис прячется от нас; мы имеем объяснение с Поольман-Мой, забираем почти насильно тетрадки у Эллиса; я передаю Поольман: «Если Эллис ко мне не выйдет сию минуту, чтоб объясниться, то пусть знает: я с ним на всю жизнь разрываю все...» Он — не вышел: с этого дня я все отношения с Эллисом прекратил. В совершенном расстройстве мы возвращаемся в Берлин; откуда я пишу в К^{во} «*Musagetes*» о своем выходе из издательства и о прекращении всех отношений с Метнером²³.

Ноябрь.

В первых числах ноября в Берлин приезжает Наташа и А.М. Поццо; они устраиваются неподалеку от нас, около Motzstrasse²⁴; мы же в первых числах ноября едем с Асей в Нюрнберг на лекции д-ра, бывшие в ложе, а также публичные²⁵; были и на E.S.; в Нюрнберге встретились с Трапезниковыми, с графом Лерхенфельд, с которыми установились очень хорошие отношения, и с рядом других членов; граф Лерхенфельд обнаруживает себя поклонником философии Владимира Соловьева; он мечтает о переводах Соловьева на немецкий язык и расспрашивает меня о

²² Белый родился 14 октября 1880 г., т.е. 26 октября по новому стилю, в Москве.

²³ Основанием для выхода Белого из издательства явилось печатание трактата Эллиса *VIGILEMUS!* (М., «Musagetes», 1914). Белый настаивал на купюрах в тексте трактата, но его требования в подавляющем большинстве случаев не были приняты. Белый известил Н.П. Киселева, секретаря издательства, о своем решении письмом из Нюрнберга от 9 ноября (н.ст.) 1913 г. См.: «Литературное наследство», т.92, кн.3, с.440-441.

²⁴ Берлинская квартира Штейнера на Motzstrasse, 17 была в это время практически центром А.О.

²⁵ Штейнер провел 8-11 ноября (н.ст.) в Нюрнберге. Название прочитанных им там лекций не указано в регистре его лекционной деятельности.

Е.Н. Трубецком, как философе; оказывается с Трубецким он встречался в прежние годы; Лерхенфельд в эти дни пребывания в Нюрнберге довольно часто бывает у нас; мы встречаемся en trois: я, Трапезников, Лерхенфельд.

По возвращению из Нюрнберга я продолжаю усиленно духовную работу; но обнаруживается ряд трудностей; мне приходится сильно бороться с чувственной природой; аскетизм меня давит; и эта борьба накладывает довольно мрачный отпечаток и на состояние моего сознания; однако, с Христианин я продолжаю жить исключительно одним: надвигается II-ое пришествие Христа; ко второму пришествию надо себя готовить; мы вступаем в полосу гигантских кризисов; Европа несетя в пропасть; все, что не будет озарено Христовым ведением будет разрушено; люди и не подозревают, какое варварство, одичание нас ждет. Эти мысли — лейт-мотив Копенгагенской лекции Штейнера; но эти же ноты и мой лейт-мотив; с Христианин зазвучала для меня нота Христова Пришествия; *Христов Импульс стал ведом*; в Бергене у меня были удивительные, необъяснимые переживания, связанные с встречей со Христом; мне объяснились теперь впервые отчетливо и мои юношеские, апокалиптические переживания 1898 года, и впечатление от разговора с Влад. Соловьевым в 1900 году; и узнания лета 1902 года о том, что 2-ое пришествие началось. Я глубоко взволнован: все мистические переживания моей жизни синтезированы теперь; я обрел мистику юношеских лет; но эта мистика во мне теперь уже не мистика, не экстаз, а — верное ведение; и вместе с тем: мне ясно, что А.О. подготавливает в человечестве импульс Христов; мы не просто антропософы; мы — *Христиане*; нас непосредственно ведет Христос к свету; роль д-ра — огромна: он есть тот, кто подготавливает в душах 2-ое пришествие; его связь с Христом — особенная связь; этот новый облик доктора ослепителен; я знаю, что не все члены А.О. видят доктора и понимают его миссию; в обществе есть посвященные во внутреннюю миссию Штейнера: подготовить путь приближающемуся Христу; я чувствую, что принят в тесное ядро посвященных; и я понимаю, что это принятие не есть принятие словом; д-р Штейнер и М.Я. Сиверс все время особенно учат меня: не словами, а жестами: оба ведут меня по снам, участвуют во всех событиях моей внутренней жизни; я понимаю, что мне нечего искать свидания у доктора, когда я внутренне как бы принят в дом доктора; я живу в странном знании, что мы с Асей *дети* доктора и М.Я., живем в одном духовном доме; и доступ к доктору всегда открыт; стоит мне внутренне о чем-либо спросить д-ра, как я получаю от него непосредственный ответ; мне открываются теперь слова

членов о том, что есть ученики, которые непосредственно связаны с д-ром; им нечего видаться даже с ним, ибо он в Духе посещает их, а они его; таким внутренне принятым в *святое-святых* нашего движения я себя ощущаю в этот период; мне открывается значение слов об умении читать оккультные письма; этими письмами являются мои поступки и жесты меня обстающих и посвященных в Христову тайну членов А.О.: мы — братство в братстве; мы — подлинные эзотерики.

М.Я. Сиверс в духовном плане открывается мне во всей ее огромности; она все дни и все часы со мною; она учит меня, посещает меня в снах; и когда я встречаюсь с ней и с доктором на собраниях А.О., то меня охватывает любовь, страх и неловкость, что физический план не соответствует форме наших встреч на плане духовном; я начинаю понимать, что какая-то *тайна* существует между мной, д-ром и М.Я.; и доктор без слов, одним иногда вскользь брошенным взглядом на меня укрепляет меня в этой мысли; мне кажется, что я сам не знаю тайну своего бытия, а доктор прочел ее; и знает: в будущем, в близком со мной произойдет нечто огромное; будет надо мною сошествие Св. Духа, после которого я невероятно вырасту; и голос Божий зазвучит из меня; я этого не знаю, а д-р это знает; и оттого-то: в духовной действительности я, как Иоанн, — его любимейший ученик: возлежу на его плече; оттого-то так нежно любит меня М.Я. ... Все эти мысли и ощущения невероятно волнуют меня, — тем более, что на физическом плане ничто не соответствует этому; на физическом плане я лишь Herr Bugaeff, «*unser Mitglied*», не более. Вся прошлая жизнь, ставшая мне вполне прозрачной, лишь приготовление к какой-то чрезвычайной миссии: весь опыт медитаций и оккультных упражнений — преддверие, очищение перед невероятным прояснением сознания и меня ожидающим ясновидением. Д-р и М.Я. от меня ждут совершенного пути ученичества, ибо на нем ждут меня величайшие озарения; бессознательно укореняется во мне мысль, что меня сознательно ведут к посвящению, что я специально для посвящения готовимый ученик; отсюда ужас и боязнь перед огромным страданием, почти распятием, к которому ведут меня; я, как Иоанн (Лазарь) должен сперва умереть, чтобы на третий день воскреснуть; мне начинает казаться, что ко мне подкрадывается какая-то посвятельная болезнь (падучая ли, летаргический сон ли), что скоро я паду на свой одр, буду умирать; и д-р произведет надо мною опасную операцию. Я пытаюсь порой в разговорах с Асей намеками касаться этой темы, мне не ясной; и вижу, что Ася что-то знает обо мне, о миссии, мне назначенной; но об этом словами нельзя говорить; и Ася объявляет мне, чтобы

мы не говорили друг с другом на темы наших путей; я ощущаю, что в точке священнойшей Ася покидает меня, отъединяется, ускользает; до сих пор наши окк[ультные] узнания совпадали; с Бергена мы идем порознь: Ася бросает меня; не говорит ничего о себе; и меня просит молчать: я чувствую первую грань, разделяющую наши пути; с этого времени грань росла; и в годах выросла в непереступаемую бездну между нами.

Ноябрь этого года — роковой, жуткий, головокружительный для меня месяц; и вместе мучительный; физическая моя оболочка притянута к земле, а дух мой, как бы выйдя из нее все время парит в сфере, где его обступают огромные, космические, апокалиптические образы (в этот период во мне подымается тема большого «Я», о котором я впоследствии говорю в «Записках Чудака»). В этот месяц я пишу 8-ую главу «*Петербург*» и эпилог; и отсылаю рукопись в «*Сирин*». Чрезвычайно мне говорит книжечка Коллин «*Krone der Liebe*»²⁶.

В конце месяца мы едем с Асей в Мюнхен на лекции д-ра в А.О.²⁷; здесь на одной из лекций на тему 5-го Евангелия д-р Штейнер ставит вдруг вопрос членам: «Неужели ни у кого из вас нет ко мне вопроса?» Собрание растеряно; не знают, что спросить; а мне кажется, что я знаю, о каком вопросе говорит д-р; и знаю, что этот вопрос к нему есть вопрос, поставленный мною в моем Христианийском письме; ответ на этот мой вопрос — отеческая любовь д-ра ко мне, как бы предызбравшая меня на какой-то мне самому еще неизвестный подвиг; помолчав, д-р строго говорит: «Хорошо, — так я и запомню, что сегодня здесь никто меня ни о чем не спросил...» Члены О-ва — недоумевают; и вместе — удручены: о каком вопросе говорил д-р? И — почему он гневается? Мне жутко: мне кажется, что я все знаю; знаю и то, какой должен бы подняться вопрос; и знаю, что вопрос этот был поднят мною в Христиании, полтора месяца назад. Гнев д-ра роковым образом для меня сближает с д-ром. И я внутренне восклицаю: «Какая же связь соединяет нас?»

²⁶ Collins, Mabel (1851-1927; псевдоним Mrs. Mabel Cook) — английская теософка, ред. вместе с М-ме Блаватской ж. «Lucifer», автор многочисленных работ на теософские и оккультные темы. Самая знаменитая ее книга *LIGHT IN THE PATH* (1885) переведилась на все европейские языки, в т.ч. и на русский (пер. В.Писаревой). О ней см.: *ВОСПОМИНАНИЯ О ШТЕЙНЕРЕ* Белого, с.188-189, 307-310. *DIE KRONE DER LIEBE (LOVE'S CHAPLET)*. Vom Verf. v. «Licht auf den Weg». 66 s. (1909).

²⁷ В конце ноября (22-24 н.ст.) Штейнер читал лекции (одну из курса «Das fünfte Evangelium») не в Мюнхене, а в Штутгарте. 7 декабря (н.ст.) он читал в Мюнхене публичную лекцию, а 8 и 10 декабря читал для членов А.О. две лекции из цикла «Das fünfte Evangelium».

В Мюнхене присутствую на публичных лекциях д-ра; и на *E.S.* Лерхенфельд особенно близок с нами; он приглашает меня и Асю отобедать с ним; почему-то мне кажется, что д-ру не нравится наше общение с Лерхенфельдом; в Мюнхене часто бываю у Трапезниковых: здесь встречаюсь с Белоцветовым, живущим в Мюнхене, с Сидоровым, с Юлз, с Лерхенфельдом и с Бауэром; с Бауэром мы знакомимся; он производит на меня огромнейшее впечатление.

К началу декабря мы возвращаемся в Берлин и здесь продолжаем слушать д-ра по вторникам, на *Geisbergstrasse* и по четвергам (раз в две недели) в *Architekten haus*, где по примеру прошлого года доктор читает *sui generis* цикл лекций²⁸.

Часто с Асей мы говорим, что нам очень трудно с Наташей и Поццо, что будто связь с ними порвалась.

Декабрь.

Продолжается все то же; в начале декабря мы едем в Штутгарт на лекции д-ра (в ложе, публичные и *E.S.*); в Штутгарте проводим дней 5 или 6²⁹. Всюду нас сопровождает К.П. Христофорова и Форсман.

Этот месяц проходит в той же тональности; одновременно: мучительные переживания борьбы с своими недостатками и как бы *idée fixe*, что надо лезть на какие-то кручи, ибо мне предстоит какая-то миссия; я усиленно подготавливаю д-ру отчет о медитациях, развертывающийся в дневник эскизов, живописующих жизнь ангельских иерархий на луне, солнце, Сатурне в связи с человеком; этот человек — я, а иерархии — мне звучащие образы (именно «звучащие»); я прибегаю к Асе, как художнице; и прошу ее мне помочь; целыми днями раскрашиваю я образы, мной зарисованные (символы моих духовных знаний); два-три рисунка я показываю Наташе однажды: увидев их, она воскликнула: «Аа!.. Боря, — не показывай: спрячь это!» Я увидел, что она чем-то потрясена во мне, точно она меня впервые увидела; я понял, что она поняла, что рисунки архангелов не рисунки, а копии с духовно узренного; и я тотчас понял, что она поняла, что я понял... С этого времени странные отношения устанавливаются между мной и Наташей; мне начинает казаться, что она как бы духовно следит за мной, подглядывает; и начинает понимать во мне то,

²⁸ По регистру прочитанных Штейнером лекций, он читал всего одну лекцию в начале декабря 1913 г. в Берлине: 4 декабря (н.ст.) он прочел в *Architektenhaus* лекцию на тему «*Geisteswissenschaft als Lebensgut*».

²⁹ Как указано выше, Белый перепутал Штутгарт с Мюнхеном: в начале декабря (7-10 н.ст.) Штейнер выступил с лекциями в Мюнхене.

чего Ася не видит: мне кажется, что она понимает тайну, связующую меня с д-ром и с М.Я. Я без слов перекликаюсь с Наташей; порой встречаю ее недоумевающий взгляд; то она нежно подходит ко мне с оттенком удивления и восторга перед миром Духа, мне открывающимся; то она как бы начинает бороться со мною.

К.П. Христофорова как будто тоже что-то начинает понимать; и иные из членов О-ва странно покашиваются на меня; мне начинает казаться, что обо мне, о моих отношениях к д-ру и к М.Я. в А.О. начинают циркулировать какие-то слухи, и что во взгляде на меня мнения раскалываются; одни как бы особенно начинают любить нас с Асей и намекать о каких-то нам предназначенных судьбах; другие с завистью и негодованием на нас смотрят, как бы говоря: «Высочка, карьерист...» Мне даже начинает казаться, что кто-то ропшет и негодует на д-ра и М.Я. за слабость ко мне. Однажды после лекции д-ра в Ложе около меня раздается презрительно-саркастическое: «A! Die heilige Familie». И — ясно: «*святое семейство*». — Доктор, М.Я., Я. Наоборот, близкие к д-ру в берлинской ложе — Валлер, Зейлинг и две Леман — относятся к нам с особенной нежностью.

Приближается Рождество; в обществе готовят старо-германские рождественские мистерии; М.Я. и д-р уезжают на несколько дней в Дорнах, где уже идут работы по возведению фундамента и скелета «*Vau*»; в Берлин приезжает О.Н. Анненкова и как-то странно со мной говорит, как-то странно поглядывает на меня; я думаю: «Знает она или не знает обо мне?» И сам не могу себе ответить, что она должна знать обо мне; это «что» — тайна моей судьбы, связанной с судьбой «*Vau*». И Т.А. Бергенгрюн на меня косится (отношения наши — превосходные).

Перед самым Рождеством переживаю тяжелые минуты недоумения, сомнения; опять низменная чувственность мучит меня и я чувствую, что после событий, со мной бывших, чувственность эта должна бы отпасть от меня; М.Я. Сиверс начинает на меня сердиться: мне кажется, что она отворачивается от меня; мне душно и тяжело; Ася мне говорит: «Боря, — ты и меня измучил: успокойся, смирись...» Только Наташа продолжает глядеть на меня огромными удивленными глазами и точно хочет намекнуть, что что-то мне предстоит.

Мы готовимся к поездке в Лейпциг на курс д-ра «*Христос и духовные миры*», который должен начаться 28 декабря³⁰; приез-

³⁰ «Christus und die geistige Welt — Von der Suche nach dem heiligen Gral». Шесть лекций, прочитанные Штейнером в Лейпциге 28-31 декабря 1913 г. (н.ст.) и 1-2 января 1914 г. (н.ст.)

жает из Москвы А.С. Петровский, из Петербурга Е.И. Васильева с мужем; Петровский привозит из Москвы с собой А.Н. Киселеву.

Мы встречаем Рождество в Берлинской Ложе: (лекция д-ра, рождественские мистерии) и 27-го уезжаем в Лейпциг.

В Лейпциге оказывается много русских; все почти останавливаются в одной гостинице и собираются в общем салоне, который становится чем-то вроде русского клуба; помню тут: нас, Наташу, А.М. Поццо, К.П. Христофорову, Н.Н. Белоцветова, Т.Г. Трапезникова, Л.И. Трапезникову, Форсман, Фридкину, Петровского, А.Н. Киселеву, О.Н. Анненкову, Е.И. Васильеву, В.Н. Васильева, М.В. Волошину, может быть Б.П. Григорова с женой и др[угих]. С трепетом готовлюсь к Лейпцигскому циклу; почему-то мне кажется, что этот цикл имеет какое-то особое касание меня; все дни провожу в посте, медитациях и молитве; у меня слагается какой-то особый чин; так в известный час я ощущаю потребность разуться и замереть; мне почему-то кажется, что надо, чтобы на лбу у меня кто-то провел ножом крест; во мне оживает тысяча прихотей; я себя ощущаю точно беременной женщиной, которой надлежит родить младенца; я ощущаю, что этот, рождаемый мною младенец — «Я» большое. К нам начинает захаживать Т.Г. Трапезников и вести какие-то странные разговоры, точно приготавливающие меня к чему-то.

С 28-го начинается Лейпцигский курс; я не могу описать его действие на меня; каждая фраза курса имеет для меня двойное и тройное значение; буквально: я переживаю каждую лекцию не лекцией, а посвящением в тайны; со мной все время что-то делается; все кажется прообразом; так например: на одной лекции ко мне подходит баронесса Галлен; и говорит мне: «Вы понимаете меня: надо уметь произносить вам известные слова, не двигая ни губами, ни языком, ни гортанью; тогда слова опускаются в сердце; и приобретают огромную силу!» Сказав это, бар. Галлен отошла от меня; мне сказалося: Да, да — то смертное действие, которого я жаждал, оно мне открыто; «слова» же относятся к словам о Христе в моей медитации; и все это имеет отношение ко 2-му пришествию; с той поры я знал: когда мне надо было вооружиться Христовой силой, надо было поступать так, как сказала бар. Галлен; я стал непрерывно вооружаться; и *вооружения* эти приводили меня в такое состояние, что я в бодрственном состоянии научился выходить из себя духовно, а не физиологически; с той поры я понял, что такое выходить из себя 2-м, более тонким способом (выходить — не выходя, не впадая в каталепсию); выход из себя первым, более грубым, физиологическим образом стал

ведом мне еще в 1912 году (в декабре); теперь, через год: я научился выходу из себя 2-м способом.

30 декабря доктор читал ту лекцию курса, где говорится об Аполлоновом свете; во время слов д-ра о свете со мной произошло странное явление; вдруг в зале перед моими глазами, вернее из моих глаз вспыхнул свет, в свете которого вся зала померкла, исчезла из глаз; мне показалось, что сорвался не то мой череп, не то потолок зала и открылось непосредственно царство Духа: это было, как если бы произошло Сошествие Св. Духа; все было — свет, только свет; и этот свет — трепетал; скоро проступили из света: свет люстр, мне показавшийся темным, контуры сидящих, доктор, стены; д-р кончил; когда я двинулся с места, я почувствовал как бы продолжение моей головы над своей головою метра на 1 1/2; и я чуть не упал в эпилепсию: я схватился рукою за Асю; и на несколько секунд замер; когда я вторично двинулся, то явление исчезло; это явление даже не удивило меня; оно было лишь отражение моего приподнятого состояния; я ходил в Духе: был в Духе; и мне казалось: иные из членов О-ва тоже были в Духе. Духовные миры как бы опустились на нас; и из лекционного зала сопровождали нас в наши комнаты; весь день и всю ночь длились для меня духовные озарения, действие лекций на членов было так сильно, что каждая лекция кончалась обмороками; то и дело кого-нибудь выносили из зала: кто-нибудь падал в обморок; однажды вынесли и Т.Г. Трапезникова.

В один из этих дней 29 или 30-го я видел — не знаю что: сон или продолжение вечерней медитации; я медитировал: и вдруг: внутренне передо мной открылся ряд комнат (не во сне); появился д-р в странном, розово-красном одеянии; и сам он был — розово-крест; он схватил меня и повлек через ряд комнат (это было как бы не во сне); тут наступил перерыв сознания, от которого я очнулся тотчас же; и застал себя как бы перед круглым столом (не то аналое); на столе-аналое стояла чаша; и я понял, что это — Грааль; справа от меня сидел д-р, слева М.Я. Доктор отчетливо спросил меня: «Так вы согласны итти на это?» И я застал себя отвечающим: «Да, согласен!» И тут мелькнуло мне, что я отвечаю на какой-то вопрос, связанный с роковою тайною миссии, мне предназначенной: мне показалось, что я отдал свою жизнь делу доктора и что это дело требовало от меня огромной, мучительной жертвы: несосвященного страдания (может быть, реального распятия на кресте); я понял, что я, или мое бодрственное «Я» вопрос д-ра проспало, но высшее «Я» дало положительный ответ. Тогда д-р и М.Я. взяли чашу, Грааль и как бы подставили мне под голову; кто-то (кажется д-р) не то ножичком сделал крестообразный

какой-то сладкий разрез на моем лбу, не то помазал меня благодатным елеем, отчего не то капля крови со лба, не то капля елея, не то мое «я» капнуло в чашу, в Грааль; но эта чаша была уже не чашей, а моим сердцем, а капля была моим сознанием, канувшим в сердце: в меня сквозь меня; и когда капля коснулась Чаши, то Христос соединился со мной: и из меня, во мне, сквозь меня брызнули струи любви несказанной и Христова Импульса; тут я проснулся: вернее очнулся; и спросил себя: «Что это было? Был ли это сон?» Мне стало ясно: нет, не сон, а подлинное посвящение.

С той поры мне стало казаться: совершилось мое посвящение в какое-то светлое рыцарство, никем не установленное на физическом плане; и вместе с тем: сколько раз потом меня тревожило: «Твое высшее "Я" дало высшему "Я" доктора клятвенный обет: послужить какому-то делу; и перенести вытекающие из этого дела страшные, нечеловеческие страдания, а ты — проспал твою клятву; и не знаешь, чему ты поклялся...»

31 декабря перед новым годом лекция д-ра была огромна по содержанию; и опять-таки: она во мне разыгрывалась невероятною силою; я сгорал от невыразимой любви ко Христу, к д-ру, к М.Я. и ко всем братьям и сестрам во Христе в нашем обществе; некоторые из слов д-ра мне прозвучали так: «Ну вот: ты, дикая маслина, привита к Божественному Древу Жизни: помни, что силы света, струящиеся ныне сквозь тебя не тебе принадлежат, а Духу; и да не греши!» Я понял, что посвящение мое в рыцари — духовный факт, и что в сердце моем родился младенец; мне, как роженице, надлежит его выносить во чреве ветхого сознания моего; через 9 месяцев «младенец» родится в жизнь. Разумеется, я эти странные, невероятные переживания скрыл от всех; но я вернулся с лекции с сознанием, что Св. Дух зачат в моем ветхом «я»; теперь это ветхое «я» будет распадаться, и меня постигнет какая-то странная, священная болезнь.

Забыв сказать: после лекции М.Я. прочла стихотворения Моргенштерна, которые меня поразили; Моргенштерн, уже больной, сидел в задних рядах; д-р сошел с кафедры, через весь зал прошел к Моргенштерну и расцеловал его. Мне почему-то показалось, что Моргенштерн и я в чем-то связаны друг с другом и с судьбами духовного движения, ведущего к тайнам II-го Пришествия. Через день или два нас представили друг другу: Моргенштерн посмотрел на меня своими невыразимыми глазами, улыбнулся и сказал: «Я так рад». Говорить ему уже было трудно: он — задышался.

Новый год встретили мы, колония русских в Лейпциге, светло и дружно.

Январь.

1-го января, кажется, была лекция Штейнера, в которой он говорит изумительные вещи о Парсифале; опять-таки, как и все лекции этого курса, она пала в сознание мое совершенно особенно; мне показалось, что я, один я, понял самую подоплеку лекции; вообще: я стал замечать в себе странную способность впадать в состояния, во время которых все, что ни происходит вокруг разгрывалось во мне как шифр; я вычитывал из каждой, случайно слышимой фразы, за ней стоящий духовный смысл; неудивительно, что в лекциях д-ра мне вычитывались смыслы, которые прямо не вынимались из текста. Состояние это сопровождалось особым состоянием физиологическим: в минуту, когда для меня прояснялось все, тело чувствовало напор как бы жаркого, сжигающего света; и — отказывалось служить: мне казалось — вот оборвется сердце; и я — упаду; для того, чтобы притти в себя, я должен был останавливать совершавшийся во мне духовный процесс и не доводить до конца своих духовных узнаний; если бы я его довел до конца, то я упал бы в припадке падучей.

В этот день, если память не изменяет мне, к нам в гостиницу заходил Трапезников; и говорил как-то странно: он говорил о том, что в мир идет новый учитель, который узнается по тому, что он будет внятно говорить о 2-ом пришествии, что он как бы уже с нами; но еще не вышел на проповедническую арену; это тот, кто в одном из прошлых воплощений был *Jesus*'ом *ben Pandira*, начальником иессейского ордена³¹; обращая ко мне, Трапезников как-то странно говорил о том, что надо держаться скромнее и тише; а то — возгордиться можно; говорил он еще о возможностях каких-то болезней; и о том, что человечество вступает в громовую полосу жизни; кроме того: он вспоминал, что Гете здесь, в Лейпциге, во время своей болезни получил посвящение. Слова странно сплетались с моим состояньем сознания; мне отдавалось: ну — да; и я, вот, — здесь тоже получил свое духовное посвящение; в том же городе, где и Гете. Трапезников кроме того говорил: «Здесь, под Лейпцигом родина Ницше; и здесь же — могила его; вам надо бы поклониться его могиле». Слова эти опять-таки

³¹ В Лейпциге, 4-5 ноября (н.ст.) 1911 г., Штейнер читал лекцию (из курса «Das rosenkreuzerische Christentum») «Jeshu ben Pandira, der Vorbereiter für ein Verständnis des Christus-Impulses» (опубликована в Дорнахе, 1937 г.). Jeshu ben Pandira упомянут также в лекциях из курса «Das Matthäus-Evangelium» (1910). О его значении в учении Штейнера см. кн.: *DIE CHRISTOSOPHIE RUDOLF STEINERS*, Klaus von Steigltz (Witten-Ruhr, 1955), с.163-165.

странно отозвались во мне; мне представилось: паломничество на могилу Ницше есть прощание мое с моим прошлым, прощание со своею историей, в которой Ницше был для меня последним крупным звеном; и — кроме того: весь ноябрь и декабрь ежедневно по вечерам я прочитывал для Ницше (т.е. мысленно подавая Ницше читаемое в духовный мир) «*Christentum als mystische Tatsache*»³² Штейнера (эту же книгу я читал для отца: приблизительно в это же время). Мы с Асей и Трапезниковым тотчас же решили: на днях отправимся к могиле Ницше...

2-го января вечером д-р Штейнер читал одну из своих лекций (уже не курсовую); я был преисполнен такой силой любви к доктору и ко Христу, что опять преисполнил момент, когда я чувствовал, что этой силы переживания не выдержит мое тело; и мне хотелось упасть на землю; тут д-р оборвал лекцию (сделал перерыв); вдруг мой сосед — толстый, плотный мужчина камнем грохнулся на меня в эпилепсическом припадке; мы его подхватили с одним мужчиной (длиннобородым, с длинными волосами, напоминающим традиционное изображение Времени с косой; этого мужчину я называл «Время» — он впоследствии играл роль в моей жизни); припадочного мы вынесли в соседнюю комнату: у него изо рта шла пена и он шептал: «Neil, Heil!» Я уложил его на пол, расстегнул воротник, подложил что-то мягкое под голову и стал смачивать виски принесенной водою; «Время» село рядом и сидело молча; а я, стоя на коленях, все возился с припадочным; тут отворилась дверь; и вошел д-р, стал над нами и посмотрев на припадочного, сказал: «Macht nichts!» Он посмотрел на меня как-то особенно пристально; и вышел, — продолжать чтение лекции; и тут мне опять странно отозвался в душе взгляд д-ра: и прояснился смысл моего поступка; передо мной лежал не припадочный, а я сам — мой двойник, мое низшее «я», которое приняло Дух, и которое должно теперь, ломимое духом, так же вот пасть и болеть, как этот передо мной лежащий припадочный.

С этой мыслью о предстоящей мне очень тяжелой болезни, связанной с посвящением, ходил я; и порой мне делалось жутко; казалось: «Вот ты вернешься в Берлин; и — возляжешь на одр».

На следующий день, 3-го, мы отправились (я, Ася, Наташа, Пощо, Петровский, Трапезников) в ту деревушку под Лейпцигом, где родился Ницше, где он провел свое детство (тут был приход его отца, пастора Ницше)³³; с жадностью вглядывался я в ма-

³² «Das Christentum als mysterische Tatsache» (Берлин, 1902); «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums» (Лейпциг, 1910).

³³ Ницше (1844-1900) похоронен рядом с отцом, лютеранским пастором, в деревушке Röcken под Лейпцигом, где он и родился.

ленькие желтые домишки деревушки; мы приблизились к церкви с кладбищем, нашли могилу Ницше и возложили на нее цветы; когда я склонил колени перед могилой его, со мной случилось нечто странное: мне показалось, что конус истории от меня отвалился; я — вышел из истории в надисторическое: время само стало кругом; над этим кругом — купол Духовного Храма; и одновременно: этот Храм — моя голова, «я» мое стало «Я» («я» большим); из человека я стал Челом Века; и вместе с тем: я почувствовал, что со мною вместе из истории вышла история; история — кончилась; кончились ее понятные времена; мы проросли в непонятное; и стоим у грани колоссальнейших, политических³⁴ и космических переворотов, должствующих в 30-х годах завершить Вторым Пришествием, которое уже началось в индивидуальных сознаниях отдельных людей (и в моем сознании); в ту минуту, когда я стоял перед гробницею Ницше, молниеносно пронесся во мне ряд мыслей, позднее легших в мои четыре кризиса («Кризис Жизни», «Кризис Мысли», «Кризис Культуры» и «Кризис Сознания»)³⁵; я сам в эту минуту был своим собственным кризисом, ибо кончена, разрушена моя былая жизнь, ее прежние интересы; и вот — я не знаю: чем буду завтра. Мне казалось — Трапезников, Ася, Поццо и Наташа понимают, что посещение гробницы Ницше есть *sui generis* обряд в днях моего посвящения: они были как-то неслучайно чутки и осторожны со мной. Не понимал ничего лишь А.С. Петровский.

Так мне казалось в ту минуту, когда я сорвал веточку плюща от могилы Ницше (эта веточка и до сих пор где-то хранится в моих вещах, в Дорнахе). Тут подошел к нам пастор церкви, повел показывать церковь и много рассказывал о пасторе Ницше, который тоже был замечательной личностью. Помнится мне на возвратном пути от могилы огромное, красное, закатывающееся солнце; и опять прозвучало: «Конус истории от тебя отвалился: история кончилась!» В этот вечер была последняя лекция д-ра, который мягко, любовно говорил о Ницше; и меня удивило: «Почему он говорит о Ницше? Точно он знает, что я сегодня был на могиле Ницше...» Перед лекцией, у входа в зал меня вдруг останавливает седой старичок, пастор и член нашего О-ва, которого недавно перед тем мне представили в Берлине, как школьного

³⁴ Слово «политических» было вставлено позднее.

³⁵ *НА ПЕРЕВАЛЕ. I. КРИЗИС ЖИЗНИ* (Пб., «Алконост», 1918); *НА ПЕРЕВАЛЕ. II. КРИЗИС МЫСЛИ* (Пб., «Алконост», 1918); *НА ПЕРЕВАЛЕ. III. КРИЗИС КУЛЬТУРЫ* (Пб., «Алконост», 1920). *КРИЗИС СОЗНАНИЯ* остается непубликованным. Первые три части цикла были перепечатаны изд. З.И. Гржебина в 1923 г.

товарища Ницше (он сидел с Ницше и Дейссоном на одной школьной парте)³⁶, — останавливает и говорит: «Ich habe jetzt die "Silberne Taube" gelesen; die ostliche mystik ist schrecklich»... (в эти годы уже был переведен на немецкий язык «Серебряный голубь»³⁷).

В эти же дни, днем были и собрания *E.S.*

Я подробно так останавливаюсь на днях Лейпцига: они стоят в моих воспоминаниях, как что-то огромное.

Когда мы вернулись в Берлин (числа 5-го), то мне казалось: мы вернулись не из Лейпцига, а из некоего духовного мира, ниспали в берлинские комнаты; мне казалось, что пережитое напряжение теперь отразится болезнью; несколько дней я жил в ожидании: «Когда же я слягу».

Если память не изменяет, — 6-го января д-р читал в ложе лекцию «О Парсифале»³⁸. В ней указывалось, что в настоящее время возможны новые мистерии: соединение мистерий Озириса и Изиды с мистерией Грааля. Мне казалось, что Петровский должен особенно внятно слышать голос д-ра; и вот — не слышал. На этой лекции я попрощался с Петровским, уезжавшим в Москву.

Подготавливалось «*Generalversammlung*», второе по отделению от Теософического О-ва; оно должно было начаться приблизительно января около 20-го (может быть, и несколько ранее)³⁹. Время между лейпцигским курсом и генеральным собранием было время столь же для меня исключительное, как и лейпцигский курс. Каждый день этого периода был преисполнен для меня все новыми и новыми узнаниями: о духовном мире, о своей исключительной связи с д-ром и с М.Я., о событиях огромной важности, подготавливавшихся во всем мире; и как-то выходило, что моя связь с д-ром, с обществом оказывалась в цепи мировых событий ибо providенциальность фигуры д-ра в этот период была особенно ярка. Я не стану касаться наиболее интимных событий в моей духовной жизни: их гораздо более трудно обложить словами, чем переживания лейпцигского цикла; скажу только: если события лейпцигского курса развернулись для меня как мистерия посвя-

³⁶ Дейссон — Paul Deussen (1845-1919), друг Ницше со времени их знакомства в гимназии, автор воспоминаний о Ницше (*ERINNERUNGEN AN FREIDRICH NIETZSCHE*, Лейпциг, 1910).

³⁷ *DIE SILBERNE TAUBE*. Roman. Übersetzung aus dem russischen von Lully Wiebeck (Frankfurt, 1912).

³⁸ 6 января (н.ст.) Штейнер читал в Берлине лекцию из цикла «Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium», где фигурирует толкование стихотворного романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парсифаль».

³⁹ Второй *Generalversammlung der Anthroposophischen Gesellschaft und des Johannesbau-Vereins* проходило в Берлине от 18 до 20 января 1914 г. (н.ст.)

щения меня в тайны духа, то весь период от 6-го января до генерального собрания стоит в памяти, как бы *sui generis* мистерия моего посвящения в судьбы нашего духовного движения; в этот период также мне казалось, что д-р и окружающие д-ра эсотерики приоткрывают мне тайну моего предыдущего воплощения; и это воплощение, столь головокружительное, становится передо мною, как соблазн; принять его, значит: о себе возомнить; я себя вспоминаю, как бы борющимся с самим д-ром: д-р навязывает мне — поверить в свое воплощение; я же — не принимаю его*. В свою очередь: генеральное собрание, опять-таки, — новая мистерия: мистерия посвящения в страдание, мистерия жертвы, без которой не может быть никакого бескорыстного служения Духу; и эти три мистерии относятся друг к другу, как 3 акта одной мистерии; вот все, что я могу сказать об этом времени; для того, чтобы конкретно вскрыть суть «*мистерий*», надо бы мне написать толстый том, описать день за днем, встречу за встречей, ибо все, даже мелкие события этого времени, — опрозрачены: и слагаются в единую цепь событий. Поэтому я отмечу лишь совершенно внешние по отношению к ядру моей жизни факты нашего бытия.

Мне помнится ряд лекций д-ра, между прочим: две публичных (одна из них была посвящена «*Микель Анджело*»⁴⁰). Помнится музыкально поэтический вечер, на котором читались немецкие переводы Росетти и исполнялся ряд музыкальных номеров; на этот вечер М.Я. подозвала нас и развернула нам с Асей план будущего Гетеанума и участков земли, которые члены О-ва могут приобрести (из земли, пожертвованной Гросхайнцем). М.Я. показала нам маленький участок, около будущего «*Vau*» и проектируемого домика д-ра и сказала, что этот участок принадлежит к части земли, которую она приобрела в собственность; она сказала: «Этот участок я уступаю вам...» Так в принципе мы еще до появления в Дорнахе оказались в потенции уже дорнахцами; мы разошлись с Асей, что участок этот мы вполне можем приобрести.

В это время разразился инцидент Больта в О-ве (о нем долго рассказывать);⁴¹ и под знаком этого инцидента мы вступили в

* «Воплощение Микель-Анджело (?!?)» — Прим. А.Белого (вставл. позднее).

⁴⁰ 8 января 1914 г. (н.ст.) Штейнер читал публичную лекцию в берлинском Architekten haus: «*Michelangelo und seine Zeit vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft*».

⁴¹ Белый пишет более подробно об «инциденте Больта» в своих *ВОСПОМИНАНИЯХ О ШТЕЙНЕРЕ* (Париж, 1982), с.33-34. В брошюре «*Sexualprobleme im Lichte der Natur- und Geisteswissenschaft*» (1911) Болт (Boldt, Ernst) мешал взгляды Штейнера и Фрейда на проблему пола. Впоследствии, в 20-е годы, Болт опубликовал несколько книг об учении Штейнера.

генеральное собрание; опять, как и в прошлом году, генеральное собрание длилось более недели; оно было полно докладами, музыкальными вечерами, деловыми инцидентами, заседаниями ферейна, образованного вокруг «*Vau*» (*Johannesbau-Verein*); мы стали членами этого ферейна⁴². Общее настроение этого времени — какая-то тревога, точно где-то, в глубине общества, стала возникать оппозиция некоторым начинаниям д-ра; и я переживал эту оппозицию необычайно мучительно; мне она казалась выражением другой борьбы: темных оккультных сил вооружившихся против великого Света из грядущего; чувствовались вихри какой-то грандиозной катастрофы, сгущавшейся над целым миром; и в частности: над строимым «*Vau*». Я переживал какие-то нападения на то светлое, что живо во мне: «*младенцу*», которого я в себе вынашивал с Лейпцига, стала угрожать опасность. Два сна запомнились мне в это время; один сон: я вижу себя в подвале здания, как бы «*Vau*»: я должен себя заживо похоронить в этом подвале, как «*грудштейн*» самого *Johannesbau*. Мне жутко живому ложиться в могилу; но надо мной стоит д-р; и пальцем указывает на яму: «Ложись!» И я покорно укладываюсь. Другой сон: какое-то шумное собрание, на котором меня заушают, пинают ногами, оплевывают⁴³; я — подхожу к окну; в окне — восходящее солнце, которое я увидел первый из всех; но это не солнце, а — Христос Грядущий; луч солнца падает мне на лоб, проникает голову и опускается в сердце; это — Христов Импульс.

Среди ряда лекций мне почему-то особенно запомнились: лекция одного венского антропософа (забыл фамилию), лекция об Альбрехте Дюрере венского художника Вагнера, лекция директора Зеллинга, лекция д-ра Нолля, автобиография д-ра, им рассказанная; и лекция Михаила Бауэра, который был со мной очень ласков на этом собрании; лекция Бауэра касалась Христов[ой] Любви; во время лекции со мной произошло нечто подобное происшествию во время лекции об Аполлоновом Свете; будто исчез потолок, раскрылся мой череп; сердце — стало чашей; и луч Христового Сошествия пронизал меня.

По вечерам д-р читал свой курс лекций «*О макрокосмическом и микрокосмическом мышлении*»⁴⁴; этот курс потряс меня тем,

⁴² *Johannesbau-Verein*, посвятивший свою деятельность постройке антропософского «храма» (будущего Гетеанума), образовался 5 февр. 1913 г. (н.ст.) в Берлине.

⁴³ Ср. Евангелие от Матфея 26.67: «Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам».

⁴⁴ В Берлине 20-23 января 1914 г. (н.ст.) Штейнер читал четыре лекции «*Der menschliche und der Kosmische Gedanke*». Статья ЭМБЛЕМАТИКА СМЫСЛА (1909) была опубликована в кн. Белого СИМВОЛИЗМ (М., 1910), с.49-143.

что явился как бы для меня транскрипцией моей «Эмблематики Смысла» на антропософский лад.

Все события этого времени мне кажутся невероятными; и самое наше переселение с Асей в Базель, чтобы работать при «*Vau*» казалось нам важной эпохой жизни. Тотчас же после «*Generalversammlung*» д-р уехал с М.Я. в Дорнах, а мы поехали туда же через несколько дней; Наташа и Поццо должны были за нами следовать. Помнится: мы двинулись из Берлина 31-го января. И утром 1-го февраля были в Базеле.

Февраль.

В первый же день приезда в Базель Ася была в Дорнахе, осмотрела строящийся «*Vau*» и вернулась ко мне из Дорнаха с Рихтером, звавшим нас усиленно работать при «*Vau*». Остановились мы в «*Hôtel [zum] Bären*» на Aeschenvorstadt; так как в Дорнахе и в Арлесгейме еще не было для нас подходящих комнат (мы условились, что получим комнаты у Е.А. Ильиной, которая нам комнаты сдаст, но комнат она еще не получала). 3 февраля я первый раз увидел «*Vau*», поехавши в Дорнах; была возведена лишь часть бетонного фундамента, скелет стен (деревянных); начинали еще возводить остов будущего купола; все работы сосредоточились в столярнях, в трех громадных, деревянных сараях, где пилили дерево, спрессовывали его, заготавливая будущие толщи для деревянного ваяния; в те дни столярня «*Vau*» считалась первой столярней в Швейцарии и работало здесь до 300 столяров; художественные работы должны были начаться еще только через 1 1/2 месяца; из антропософов, съехавшихся для работы, была еще только небольшая группа, человек 20; большинство молодежи пока чертили планы для «*Vau*», разрабатывали планы будущих архитравов, или работали при столярне; чертежная помещалась пока в одном из зданий Дорнаха, а контора столярни при «*Vau*»; в первый же день Рихтер устроил меня при столярне; моя должность заключалась в том, что записывал в книги нанимавшихся на работу столяров, а также высчитывал заработную плату, а Ася пока пристроилась при чертежной; в 12 часов работающие-антропософы сходились у Дубах, Клавдии Александровны, где их кормили обедом (в Арлесгейме); работали от 9 до 4 (с перерывом для обеда); вот кого из антропософов я помню в этой основной группе: Доктор Штейнер, М.Я. Сиверс; архитектор «*Vau*» Шмидт, инженер Энглерт (потом сменивший Шмидта); заведующий столярами Лихтфогель; наезжающий еженедельно из Штутгарта д-р Унгер, ведавший финансовыми расчетами; Лиссау, заведовавший контрою, Зейфельт, мой непосредственный, так сказать, начальник;

далее — чертежники: фон-Гейдебрандт, Кемпер, Дубах, Ася, Фридкина, Лилль; далее распорядившийся Рихтер; далее Томас; кроме того: находились в Дорнахе в этой первичной семье антропософов: голландец Ледебур, Ильина, К.А. Дубах, Н.Н. Богоявленская⁴⁵, работающая над моделями (гипсовыми) англичанка Мэрион и художник Н.Н. Киселев; вот та группа, которую я застал при приезде в Дорнахе; через 2-3 дня к этой группе присоединилась Наташа и А.М. Поццо, попавшие в чертежную.

Первое время каждый день мы с Асей в 8 часов отправлялись из Базеля с трамом в Дорнах и уже в начале десятого были на работах; в 12 часов — обедали; в 4 возвращались в Базель: в 5 или в 6 были дома; дни текли монотонно; после праздничных, бурных январских дней наступили будни.

Ася и Наташа прочно устроились в чертежной, как художницы, а у меня скоро начались недоразумения с Зейфельтом (помоему он был не вполне чист по счетной части) и я перестал ездить в Дорнах. Проработал я с Зейфельтом около двух недель.

Весь этот месяц чувствую себя утомленным и как бы несколько разочарованным; все те переживания, которые так бурно налетели на меня в Христиании и росли непрерывно до февраля, не осадились никакими ощутительными последствиями для меня: ни реализации «*посвящения*», ни «*болезни*», которую я в себе вообразил; встречаясь в Дорнахе с д-ром и с М.Я., я чувствовал у них ноты некоторой сдержанной отдаленности по отношению ко мне; приходилось часто видеться с д-ром Гросхайнцем и с его женой, жившими в своей вилле около «*Bau*»; в этой же вилле жил и д-р с М.Я. (уже позднее д-р приобрел себе villa *Hansi* — под холмом, на котором строился «*Bau*»); особенно тоскливы были мне дни моего сидения в Базеле; Ася с утра уезжала в Дорнах, а я оставался дома; я тоскливо бродил по улицам, заходил в зоологический сад и обедал в убогом вегетарианском ресторанчике. В эти дни я написал стихотворение «*Самосознание*»; в нем отразилась грусть этих дней⁴⁶.

В этот месяц мы с Асей два раза ездили в Берн по делу о гражданском браке (Ася решила вступить со мной в гражданский брак ввиду того, что нам предстояло долго жить в швейцар-

⁴⁵ Белый приводит отчество Нины Богоявленской и как «Н.» и как «А.» (чаще всего как «Н.»). Мне не удалось его уточнить.

⁴⁶ САМОСОЗНАНИЕ («Мне снились: и море, и горы...») впервые было опубликовано в журнале «Заветы» (ред. Иванова-Разумника), 1914, №5, без названия; затем в сб. ЗВЕЗДА и в СТИХОТВОРЕНИЯХ (Берлин, 1923), с датой: «1914. февраль. Базель». Автограф стихотворения находится среди писем 1914 г. Белого Иванову-Разумнику (ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.5).

ской деревне; если бы у нас не оказалось бумаг, доказывающих, что мы муж и жена, то крестьяне стали бы на нас коситься: уже обнаружилось подозрительное отношение к антропософам со стороны швейцарцев; в газетах ругали их);⁴⁷ раз из Берна мы заехали в Тун; более чем с другими антропософами дружили мы с Рихтером. В конце месяца, после масленицы мы поехали с д-ром на его лекции в Штутгарте, где обнаружилось, что у О-ва нет почти денег на продолжение постройки «*Vau*»; все очень волновались; наконец кто-то пожертвовал деньги; в Штутгарте было *E.S.* Из Штутгарта мы поехали в Пфорцгейм (с д-ром же); но в Пфорцгейме Ася простудилась и мы дня на три застряли там; в эти дни скончался поэт Моргенштерн; похороны были под Базелем; здесь сожгли его прах⁴⁸.

Март.

Вернулись мы уже не в Базель, а в Дорнах, где сняли комнату в небольшой таверне (временную); в день возвращения попали на первые пробные художественные работы по обработке капителей будущих колонн; 3 дня работал д-р Штейнер сам, вооружившись стамескою, а мы толпой окружали его; он подавал нам советы, как работать; потом разобрали капители колонн и начали их обрабатывать; нам с Асей досталась капитель сатурновой колонны, а Наташе, кажется, досталась Луна; к этому времени начался усиленный съезд антропософов; появились: Митчер, его сестра, Классен, бар. фон-Эккартштейн, Штраус, Вольфюгель, Людвиг Бай, фрейлейн Май; появились Перальтэ, Линде, химик Шмидель; стали съезжать[ся] художники и резчики из Мюнхена, Скандинавии и Голландии; была уже группа до 70-80 человек. Приехала Катчер, Кучерова, Гюнтер, Хольцлейтер, приехала Форсман, граф. Гамильтон и др. будущие работницы и работники; мы в это время спивались с мамой, которая собиралась приехать к нам из Москвы.

⁴⁷ В письме (почт. шт. Basel 25.II.14) к матери Белый писал: «Сейчас мы живем в Базеле (Schweiz. Basel. Aeschenvorstadt. "Hôtel zum Bären №25) в двух смежных комнатках, хотя Ася с утра уезжает работать в Дорнах; живем мы здесь по сложным причинам. Швейцарцы очень косятся на тех, кто не женаты, но живут в одном помещении; так как нам придется жить в Дорнахе долго (в будущем), то у нас потребуют документы и узнав, что мы не венчаны, нас вышлют из пределов Швейцарии (по ихним законам); ввиду этого мы венчаемся гражданским браком (которого нет в России и который единственно законен вполне здесь); но для этого надо бумаги, оглашения и прочее. Пока идет дело о нашем венчании, мы не можем съехать в Дорнахе общее помещение и живем в отеле (в Базеле). Повенчаемся мы марта 15-го нов. стиля». (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед. хр.359).

⁴⁸ 4-7 марта 1914 г. (н.ст.) читал лекции в Штутгарте, а 7 (вечером) — 8 марта в городе Pforzheim. Христиан Моргенштерн умер 31 марта 1914 г. в Меране. Его прах похоронен в Гетеануме.

В эти дни, помнится, в Дорнахе оказался В.В. Бородаевский, которому здесь не понравилось; он все жаждал умственных разговоров, дебатов и споров об антропософии, а мы были заняты главным образом вопросами техническими: как держать стамеску, как резать по дереву; помню, что лили дожди, дороги превратились в грязь; в эти дни появился в Дорнахе приват-доцент Самсонов, знакомый Е.А. Ильиной, — часто бывал у нас; держал он себя странно: много пил; и наконец мы просили Ильину, чтобы он к нам [не] появлялся. В эти дни мы съездили с Асей в Берн в тот же день, в который были там Наташа и Поццо; и там, в Берне, обвенчались гражданским браком⁴⁹.

Чувствовал я себя все время очень странно: физическая работа, утомительная и непривычная, шла вразрез с моими медитациями; полоса внутренней сосредоточенности кончилась; в душе осталась — боль. Я стал замечать, что Ася все более и более замыкалась в себя, все более и более уходила в работу, и между нами стало образовываться нечто вроде средостения, пока еще почти незаметного; в годах это средостение углубилось; считаю, что причины этого средостения в нежелании Аси войти в чрезвычайно бурные и интенсивные переживания, которые развились во мне с Бергена. Наоборот: с Наташей у меня стали нащупываться очень странные отношения; они начались с декабря 1913 года, прозвучали в Лейпциге; и теперь, в Дорнахе, вновь обнаружилось, но как-то нелепо для меня; мне казалось, что между нами вспыхивать стала искорка эротизма, и что Наташа, в себе осознав эту искорку, стала видимо от меня сторониться; порой в ней мелькало даже что-то враждебное по отношению ко мне. В этот период Наташа и Поццо держались изолированно; мы их сравнительно мало видали; более всего мы общались с Рихтером; он приходил к нам в наш отельчик «*Zum Ochsen*», водил вечером на прогулку, говорил с нами о том, чтобы мы навсегда поселились в Дорнахе при будущем «*Bau*», купив землю и построив на ней домик. Штейнер ему поручил все работы по стеклам; стекла надо было изготовить особенным образом и потом вырезать на них те рисунки, которые Рихтер должен был приготовить по эскизам д-ра; он иногда приносил к нам эскизы, только что данные ему доктором, и предлагал Асе их разработать; вообще он мечтал меня, Асю, Наташу и Поццо взять для работы на стеклах; мастерскую для стекол, целый оборудованный домик, весьма странной формы, предполагали спешно выстроить при «*Bau*»; Рихтер водил нас к возводимому домику; мы часто с ним сидели на стройке; и разгова-

⁴⁹ Венчание состоялось 23 марта (н.ст.) 1914 г. в Берне.

ривали о «*Vau*», о стеклах, о пути; еще мы дружили с голландцем Ледебуром, который тоже должен был сосредоточиться на стеклах. Кажется, — в эти дни Рихтер на несколько дней уезжал в Париж, иметь переговоры с фабрикою, долженствующей заготовить стекла; между тем: в здании возводились купола.

Скоро выяснилось, что комната наша неудобна; мы получили письмо от мамы, извещающей нас, что она едет в Базель; по расчету она должна была приехать через 4 дня; мы стали подыскивать помещения для нее; и остановились на отеле «*Zum Löwe*» в Арлесгейме (на площади перед церковью); да и кстати: мы решили временно перебраться [в] «*Zum Löwe*» до нашего постоянного водворения на «*Mattweg*» в Арлесгейме (у Ильиной); помню, что я ездил в Базель встречать маму; но она не приехала; на другой день мы отправились в Базель в отель «*Zum Bären*», чтобы узнать, приехала ли мама; и нашли ее там: произошла путаница; мы переселили маму в Арлесгейм; и тут же обнаружилось ее очень враждебное отношение к Асе; мама приехала меня спасать от моего, якобы, безумия; ей хотелось отвезти меня в Москву; и, как кажется, развести с Асей; разумеется: она наткнулась на сильнейшее сопротивление — мое и Асино; тогда она всю вину моего, якобы, отдаления от нее и от России взвалила на Асю; выяснилось в первые же дни ее приезда в Дорнах, что ей здесь просто нечего делать; кроме того: Дорнахом она тяготилась; с антропософами (с немцами) ей было не о чем говорить; и мы уговорились, что все вместе поедем в Мюнхен на лекции д-ра; оттуда же, к Пасхе, в Вену на курс д-ра.

В дни пребывания мамы в Дорнахе значительно потеплело; зазеленели деревья; проливались теплые ливни; мы водили маму на работу; и она даже взяла стамеску; стала пробовать работать на той капители, на которой работали мы (на Марсе: Сатурн мы уже кончили); ей очень хотелось увидеть д-ра; и желание ее осуществилось; во время работы пришел доктор, стал обходить работающих и подавать советы; подошел к нашей капители; Ася представила доктору маму; он очень внимательно на ее посмотрел и был очень ласков с ней; помнится, что он взял стамеску, и стал работать на смежной капители. Валлер и баронесса фон-Эккартштейн были тоже очень любезны с мамой.

В эти дни впервые открылась вновь отстроенная *кантина*, т.е. столовая для антропософов; она была наскоро построена под «*Vau*», на зеленом лугу среди вишневых деревьев; мы впервые собрались обедать в кантине с мамой; пришли сюда и отобедали с работающими доктор и Мария Яковлевна; доктор был какой-то лучезарный, веселый; он много смеялся за обедом.

Мама стала высказывать желание вступить в члены А.О., ставя нас в затруднительное положение; мы считали ее неготовой; и кроме того: мы считали, что отношение ее к Обществу неотчетливое. И мы старались отговорить ее от этого шага; между тем: и доктор, и М.Я. были согласны принять ее в члены хоть сию же минуту. Тут мы с Асей получили письмо от Асиной матери, С.Н. Кампиони; она тоже собиралась приехать в Дорнах; мы должны были ее встретить в Вене.

Надвигались лекции в Мюнхене: мы поехали в Мюнхен впятером (я, Ася, мама, Наташа, Поццо); в Мюнхене д-р прочел 4 лекции; кроме того: были Е.С.⁵⁰. Мюнхенское пребывание не отпечатлелось ничем особенным; помнятся наши прогулки по английскому парку да разговор с Трапезниковым, проводившим жену в Россию и теперь собирающимся переселиться в Дорнах; главное впечатление от Мюнхена: ужасная ссора Аси с мамой, в которой Ася была ни в чем не виновата, а мама была вопиюще несправедлива к Асе; в мое отсутствие она ей наговорила таких вещей, что Ася была вынуждена ей указать на дверь; я, конечно, принял сторону Аси и решил в Вене поселить маму отдельно от нас, чтобы из Вены отправить ее в Москву. Ссора эта произошла как раз в день отъезда в Вену.

В таком, крайне удрученном состоянии мы приехали в Вену, завезли маму в гостиницу и остановились в другой гостинице с мыслью, что будем ее видеть как можно реже.

Оставалось несколько дней до начала курса; в Вене все цело; была весна; мы общались часто с Форсман; появился В.В. Бородаевский, приехавший на курс. Мы раз с ним отправились в окрестности Вены. Приехали Нейшеллеры (муж и жена), с которыми мы часто виделись; мы с Асей много бродили по Вене; в самом конце марта открылся курс доктора (6 лекций), построенный так, что первые две лекции брали /.../ «*Ex Deo nascimur*», вторые две — «*In Christo morimur*», две последние — «*Per Spiritum Sanctum reviviscimus*»; к 3-ей лекции приехала С.Н. Кампиони и остановилась в той же гостинице, где и мы⁵¹.

Апрель.

Пасха пала на последнюю лекцию д-ра. Пасху мы встретили в Вене; и потом проводили маму в Москву (она примирилась с

⁵⁰ 29-31 марта (н.ст.) Штейнер читал лекции в Мюнхене, отчасти на тему «*Der Christus-Impuls im Zeitenwesen und sein Walten im Menschen*».

⁵¹ 6, 8-14 апреля (н.ст.) Штейнер читал в Вене две публичные лекции и шесть лекций для членов А.О. из курса «*Inneres Wesen des Menschen und Leben zwischen Tod und neuer Geburt*». 14 апреля он выступил также с речью.

Асей); перед отъездом мама имела свидание с М.Я. Сиверс; доктор произвел на маму сильнейшее впечатление.

После отъезда мамы мы через день уехали в Прагу (я, Ася, С.Н. Кампиони); по дороге в Прагу мы сошлись ближе с Седлецкой, приехавшей с мужем на венский курс и отсюда ехавшей в Дорнах, чтобы там поселиться; в Праге мы прожили всего два дня и все время держались вместе с Форсман и Седлецкой; в Праге были 2 лекции доктора; и *E.S.*⁵² Из Праги мы отправились обратно в Дорнах, заехавши предварительно в Нюрнберг. Если память не изменяет, доктор поехал опять в Мюнхен, оттуда в Париж; и из Парижа вернулся в Дорнах.

Вернулись мы в нашу новую квартиру в две комнаты; комнаты сдавала нам Е.А. Ильина; поселились мы в Арлесгейме на *Mattweg*, отстоящей от «*Vau*» довольно далеко ([в] 20 минутах ходьбы)⁵³; все в Дорнахе и Арлесгейме цвело; цвели яблони; и купол «*Vau*» возвышался среди белеющего цвета; через несколько домиков от нас поселился Трапезников, у которого я стал часто бывать, а еще через несколько домиков поселились Поццо, у которых остановилась С.Н. Кампиони; Рихтер некоторое время жил под нами, пока кончали ему стекольную мастерскую, где было и художественное его ателье и где были также комнаты, в которых впоследствии он стал жить; к этому времени съехалось очень много антропософской молодежи; съехались и другие антропософы; среди них к этому времени мне запомнились: фон Мутах, братья фон-Май, Седлецкая, Дюбанек, баронесса Фитингоф, фон-Чирская, Мме Райф, появились в Дорнахе Калькрейт и Штинде.

Через несколько дней после нашего возвращения из Праги приехал и д-р. На всех капителях работали, а два огромных сарая уже наполнились огромными архитектурными формами; на этих формах еще не работали; руководство над архитеврами поручили чешке, *fräulein Katscher*; однажды д-р пришел в капительную и сказал: «Кто хочет работать на архитеврах, того прошу следовать за мной». Все работали на капителях; и потому-то за доктором пошла только Ася; он подвел ее к громадной, необработанной глыбе, будущему архитевра между колоннами Марса; и — указал на него; так Ася, можно сказать, завладела Марсом, взяв меня подсоблять ей в работе; скоро к нам присоединились Наташа и Поццо; появилась на несколько дней М.В. Волошина; помогала и С.Н. Кампиони; наша группа была первой группой, работающей на архитеврах; в скором времени в архитектурном сарае появилось

⁵² 16-17 апреля Штейнер читал две лекции в Праге (их названия не указаны в регистре прочитанных им лекций).

⁵³ Адрес Белого в это время: Arlesheim (bei Basel). *Mattweg* 318.

много работающих; первое время мы были поставлены в тупик; как справиться с огромною архитравною формой? Катчер давала туманные указания: «Снесите эту вот плоскость на сколько-то сантиметров...» Мы и сносили: смысла, признаться, не видели мы в нашей работе; но цель работы казалась нам далека; и — потом: ответственность ведь не лежала на нас, а на Катчер; в таком неопределенном состоянии мы работали 2 недели; доктор не появлялся на архитравах; он больше появлялся в мастерской, где отработывали капители; там, в капитальной появились уже, так сказать, квалифицированные резчики: Дубах, Митчер, Штраус, Кемпер, Людвиг; мы работали с 9 до 12; в двенадцать шли обедать в кантину, обедали под открытым небом за столиками; группа основных резчиков не спускалась с «*Vau*», а, так сказать, маршировала; это были все крепкие, мускулистые молодые люди; они много шумели за едой, веселились, дурачились; к ним присоединялись антропософские барышни (Хольцлейтер, Гюнтер, Дюбанек, Кучерова); после обеда лежали вытянувшись в траве; в 2 поднимались к работе; опять работали с 2-х до 4-х; в 4 шли пить кофе; около пяти: опять поднимались на работу, в 7 в 8-ом шли с работы домой.

Скоро д-р Штейнер по воскресеньям стал читать лекции в 2-ом сарае для архитравов; мы слушали его, сидя на досках, на деревянных обрубках; появились к концу апреля в Дорнахе: Шолль с двумя подругами, американками (одна — мистрис Гаррис), появился норвежец Фадум, приехала Т.А. Бергенгрюн с племянником Гаэром, приехал из Парижа инженер Бразоль, приехал норвежец, старик Херр Лёв с двумя дочерьми, приехала мисс Чильс, приехала Киселева, жена художника, посвятившая себя изучению эвритмии; под ее руководством мы стали заниматься по вечерам эвритмией (в нашей группе оказались: д-р Гросхайнц, его жена, фон Мутах); в кantine вместо кухарок работали: графиня Гамильтон, Форсман, фрейляйн Митчер; бар. фон Эккартштейн производила опыты с красками, а также работала на архитравах; Рихтер разрабатывал рисунки для стекол; нам выдали инструменты: огромные стамески и тяжелые колотушки (пятифунтовые); стамески нам оттачивала Эльрам, бывшая начальница какого-то петербургского Института; в ту пору в Дорнах приехала О.Н. Анненкова.

Этот период был очень труден для меня: все продолжающееся отхождение от меня Аси и..., как мне стало казаться, моя влюбленность в Наташу, с которой я все время страшно боролся; нам трудно было с Наташей встречаться; влюбленность в Наташу была для меня настоящим ударом после декабря и января: «Как?» — думал я — «вместо пути посвящения, вместо ду-

ховных откровений, — просто самая элементарная влюбленность?» Мне стало казаться, что я пал: пал бесповоротно в глазах доктора. С доктором мне стало трудно встречаться; я стал избегать его; кроме того: в эти именно числа впервые в душе моей стало закрадываться сомнение в благости тех путей, которыми ведет доктор; я мысленно окидывал два года, проведенные с ним, и подводил итоги моей духовной работы; и — видел: в первые месяцы моего вхождения в антропософию (май — декабрь 1912 года и январь — октябрь 1913 года) я проделал нечто очень трудное для себя: усумнился во всех прежних путях, смирился до... подчас самоуничужения, разорвал из-за доктора с рядом друзей (с Метнером, с Эллисом, с С.М. Соловьевым, с Рачинским, с Морозовой и рядом других лиц), бросил Россию, в которой я мог все время действовать в своей сфере, ушел из издательства («*Мусажета*»), бытие которого считал очень важным культурным делом, вышел фактически из литературы; кроме того: под влиянием работы у доктора Ася перестала быть моей женой, что при моей исключительной жизненности и потребности иметь физические отношения с женщиной — означало: или иметь «*роман*» с другой (это при моей любви к Асе было для меня невозможно), или — прибегать к проституткам, что при моих антропософских воззрениях и при интенсивной духовной работе было тоже невозможным; итак: кроме потери родины, родной среды, литературной деятельности, друзей я должен был лишиться и жизни, т.е. должен был вопреки моему убеждению стать на путь аскетизма; я и стал на этот путь; но этот путь стал мне «*терновым*»; я не ощущал чувственности, пока я был мужем Аси; но когда я стал «*аскетом*» вопреки убеждению, то со всех сторон стали вставать «*искушения Св. Антония*»; образ женщины, как таковой стал преследовать мое воображение (так: прислуга Наташи, Катя, стала мне внушать нечистые помыслы летом 1913 года; в Мюнхене те же помыслы мне внушала горничная; теперь же — Наташа стала меня преследовать в снах); чтобы не «*пасть*» и победить чувственность я должен был ее убивать усиленными упражнениями; но они производили лишь временную анестезию чувственности; плоть я бичевал: она — корчилась под бичом, но не смирялась; я усиливал дозы медитаций; я медитировал ежедневно часами в ряде месяцев; и эти медитации меня довели до экстазов, восторгов и таких странных состояний сознания, что внутри их мне открывались пути посвящения, а когда я выходил из них, то эти состояния стояли передо мной, как состояния болезненные; и я был обречен на все ту же чувственность; кроме того: именно эти экстазы «*посвящения*» отдалили от меня Асю (она испугалась



Рудольф Штейнер



**Андрей Белый (у окна справа) и Ася Тургенева (рядом)
на лекции Р.Штейнера в «сараяе» возле строящегося
первого Гетеанума (Дорнах).**



Ася Тургенева за работой над окнами для Гетеанума (Дорнах).



Архитрав над четвертой и пятой колоннами большого купола в первом Гетеануме. Направо: капитель с мотивом «Марс»; налево: капитель с мотивом «Меркурий».



Андрей Белый. Рисунок Аси Тургеневой (1909).

их); а между тем, они были порождением ее поступка со мною (отказа быть моей женой); и стало быть: в антропософии я стал терять Асю, самое дорогое мне в мире существо; а вместо Аси стала на всех путях мне подвергаться Наташа; мои чувства к Наташе я переживал злым наваждением; но почему-то закралась мысль, что это «*наваждение*» подстроено доктором; что Наташа — «*Кундри*»⁵⁴. И вот в душе отлагалось: «Нет, это — слишком: я весь ограблен антропософией: у меня отнята родина, поэзия, друзья, жизнь, слава, жена, отнято положение в жизни». Вместо всего я болтаюсь здесь, в Дорнахе, на побегушках у Аси, никем не знаемый, большинством считаемый каким-то «*naive Herr Bugaeff*»; мне стало казаться, что при моем литературном имени, при моем возрасте, при всех моих работах могли бы больше мной интересоваться...

Что получил я взамен отданного? Те внутренние достижения, которые привели меня к странному состоянию посвящения: за плечами были — незабываемые дни Христиании, Бергена, Берлина, Лейпцига, имагинация «*любимого ученика*» доктора; но это была лишь «*имагинация*»; внешне доктор не высказывал мне того отношения ко мне («*исключительного*»), на которое намекали лишь так мной прочитанные его жесты («*отцовские*»); внешне доктор был далек, иногда — суров, холоден; и потом: я страшно конфузился его. Но и эта единственная имагинация «*пути посвящения в рыцари*» была сорвана «*наваждением*» с Наташей; делу доктора я отдал всю свою жизнь, отдал самого себя, отдал Асю, и — вот: взамен я получил «*путь посвящения*»; но теперь срывается и этот «*путь*»; оказывается: я мог итти этим путем лишь в условиях непрерывной «*медитации*», вгонявшей меня в экзальтацию; лишь внутри моей «*экзальтации*» мне открывалась картина моего посвящения; но «*экзальтация*» и утрировка «*упражнений*» приводили меня к болезненному расстройству сердечной деятельности, дыхания и подступу падучей; явно — тело отказывалось служить Духу; но — стоило мне ослабить темп духовной работы — нападала «*чувственность*», долго сдерживаемая, — нападала с удесятиренной силой. Здесь же, на воздухе, когда с утра до вечера мы стучали пятифунтовым молотком по стамеске и скалывали с твердейшего дуба или бука деревянные слои, когда росли мускулы, то — рвалась сеть утонченных духовных переживаний; и «*тело*» проступало сквозь разорванные упражнения; и — требовало настойчиво себе пищи.

⁵⁴ Кундри — волшебница в *ПАРСИФАЛЕ*, которая пробует соблазнить молодого рыцаря-героя на его «пути» в поисках св. Грааля.

Так я стоял перед собой и говорил себе: «Куда ни кинь, везде — клин!» Почему же я не обратился к доктору и [не] попросил у него духовного совета? И тут путь внутренне был для меня отрезан. Когда мы приехали в Мюнхен в июле 1912 года, то доктор нас принимал каждую неделю; он сам поставил меня в положение думать, что усиленно желает заняться мной, как учитель; и — далее: каждый месяц с ноября до марта в период 1912-1913 годов он просматривал мои отчеты, подробно расспрашивал меня о моих достижениях; далее: звал в Гельсингфорсе меня работать духовно около него; я имел все основания думать, что когда в июле 13 года возвращался к нему, что он усиленно займется мной, как учитель; но с тех пор я не был у доктора, как ученик; окружающие доктора стали мне внушать, что доктор занят «духовными исследованиями» огромной важности, что ему не надо мешать просьбой отдельных свиданий; что «эзотерические уроки» (E.S.), на которых мы были приняты в Гельсингфорсе заменяют свидания, что когда имеешь внутреннюю встречу с доктором, то он учит уже иначе: не внешней беседою, а — духовно; и — да: все жесты доктора по отношению ко мне от Христиании до Дорнаха были именно этой «учебой», где я должен был читать оккультные знаки, которые он чертил передо мной в ряде мной пережитых «мистерий», где открывалось, что я — «сын возлюбленный» его; именно в эти месяцы мне звучало: «Боже тебя сохрани внешне спрашивать доктора о том, что он рисует перед тобою»; и я знал: пока доктор сам меня не призовет на внешний урок, нельзя добиваться его внешним образом; если станешь добиваться свидания и разговора с доктором, то «обет молчания» будет нарушен; и ты не выдержишь испытания. Так я сам себе закупорил путь к объяснению с доктором; и — кроме того: в атмосфере дорнахской жизни явно переместился центр жизни; вместо медитаций, свиданий с доктором выступила всевозможная работа при «*Vau*». Все дни д-р чертил планы, совещался с архитекторами, художниками, обходил резчиков и т.д. Вся атмосфера жизни не способствовала свиданию с доктором; доктора мы видели каждый день, привыкли к нему; но эти разговоры, встречи не затрагивали личных интимных бесед, а затрагивали интересы постройки «*Vau*»: «*Vau*» должен был по первоначальному плану быть окончен к октябрю 1914 года; доктор работы гнал; между тем работы в процессе работы разрастались; задания — сложились; и уже сомневались, чтобы «*Vau*» был готов до 1915 года.

Мне было не легче от всего этого: физическая работа вывела меня из духовной; образы духовные, меня посещавшие, разбились; разбилась имажинация «лейпцигского посвящения»; вместо него

выступила Наташа: она стала являться мне в снах, преследовать мои мысли; мне казалось, что она отчаянно кокетничает со мной, распаяя во мне чувственность; и я увидел, что я беззащитен от нее.

Тут-то я усумнился в пути: мне привиделся страшный сон, будто доктор в образе какого-то отвратительного существа разрезал мне грудь и смазал разрез каким-то ядом, отчего загорелось мое сердце; когда я проснулся, то мне этот сон отдался так: доктор сознательно мне привил Люцифера, чтобы искусственно ввести меня в люциферические переживания (с Наташей); и я протестовал: «Я не кролик для оккультических экспериментов». Разумеется с этими переживаниями я старался бороться; но — тщетно.

Тут-то и началась во мне одна странная имажинация: всюду передо мной вырастает баронесса фон Эккартштейн (художница, любимица доктора, про которую говорили, что она — ясновидящая); я ее встречаю на прогулках, в кантине; она работает недалеко от моего архитрава; оборачиваясь на нее, я вижу ослепительный взгляд ее зелено-синих глаз; и мне звучит: «Она играет роль Люцифера в мистерии моей жизни; и этот Люцифер мне показывает на Наташу, как на Прекрасную Елену, которую я должен похитить...» Дело в том, что Эккартштейн играла Люцифера в 4-х мистериях Штейнера; ее костюм был — ярко-красный; и — странно: в ярко-красном костюме разгуливала она по Дорнаху, ярко выделяясь на зеленой траве; в нем же работала; и рукоятка ее рабочей стамески была выкрашена в ярко-красный цвет; в описываемое время всюду выросла ее ярко-красный силуэт передо мною; и отовсюду наблюдали меня ее зелено-синие глаза; я безвластно влекся к ней; мы почти не были знакомы, но мне казалось, что она пронизывает меня насквозь. И по мере того, как вырастал ее образ во мне, гас и умалялся солнечный образ Марии Яковлевны Сиверс; а на физическом плане М.Я. стала со мной холодна.

Во второй половине апреля (в 20-х числах) д-р Штейнер читал лекцию в Базеле (в базельской ложе)⁵⁵; лекция была какая-то грозная: казалось, что д-р предостерегает нас от каких-то внутренних опасностей и тяжестей, на нас навалившихся; порою его голос гремел; и что-то в нас он пытался испепелить с корнем (тогда открылась некрасивая история с одним норвежцем, которого наши дамы объявили ясновидящим и которого пришлось удалить из

⁵⁵ 4 апреля (н.ст.) Штейнер читал лекцию в Базеле, а 5 мая читал на тему «Das Hereinragen der geistigen Welt in die physische». В конце апреля Штейнер был в Берлине.

Общества за некрасивые эротические поступки). Во время лекции в Базеле над Дорнахом пронесся ураган; и сарай над архитравами, где мы работали, был сломан; когда мы вернулись в Дорнах, мы узнали, что сарай с неделю надо чинить; работы над архитравами колонн для большого купола пришлось на неделю прекратить; нас переместили в другой сарай, где д-р читал нам лекции; и мы стали работать над архитравами малого купола; Наташа все время, как мне казалось, возбуждала нарочно во мне грешные мысли.

Эккартштейн работала в этом сарае над архитравом колонны Марса (малого купола); Катчер не вмешивалась в ее работу, считая Эккартштейн опытной художницей; Эккартштейн однажды подошла ко мне и взяв меня за руку увела на свой архитрав, дала мне в руку стамеску свою (с красною рукояткою); и — сказала: «Работайте со мною!» Три дня мы с ней целыми днями работали; ее красный силуэт вырастал за моей спиной; она выдумала странный метод работы; мы с ней работали одним молотком и одной стамеской; то она держала стамеску, а меня заставляла бить по ней; то наоборот, я держал стамеску, а она была по ней; это похищение меня с Асиного архитрава Эккартштейн отобразилось в моих имагинациях, как факт моего пленения Люцифером, внушавшим мне грешное чувство к Наташе; все поведение Эккартштейн в это время по отношению ко мне мне казалось странным; через три дня Эккартштейн поручила мне ваять огромную форму на ее архитраве, а сама исчезла в свою мастерскую; Катчер не вмешивалась в работу Эккартштейн, а сама Эккартштейн не вмешивалась в мою работу; она лишь изредка приходила любоваться ею; так в эти дни я вообразил себя скульптором; с беззастенчивой отвагой и с лютой какой-то энергией я высекал огромную форму; приезжавшие из Берлина антропософы собирались в кучки и любовались моею работою; так в несколько дней я высек всю форму.

Но моим художническим иллюзиям пришел конец, когда воскресеньем была назначена лекция д-ра Штейнера как раз на тему: «Архитравы, деревянная скульптура». Кафедра доктора была поставлена как раз у формы, мной высеченной; и я вообразил, что это — неспроста, что д-р покажет всем: «Вот так надо работать». Каково же было мое разочарование, когда вся лекция д-ра свелась к тому, как не надо работать; ежеминутно он поворачивался к высеченной мной форме и с каким-то гневом указывал на нее: «Вот так *не надо* работать». Тут же выяснилось нам впервые, что формы должны быть сложены из пересечения плоскостей под углами (система гранников), что формы, иссекаемые нами, боятся округлостей; моя же форма была сплошь округлой. Мне казалось:

неспроста громит д-р мою работу; он громит весь мой внутренний мир, плененный Люцифером; я сердился на себя, на д-ра, на Эккартштейн, насильственно затащившую меня на этот архитевра и провоцировавшую меня на работу, которую так громил д-р.

В эти дни уехала из Дорнаха С.Н. Кампиони. М.В. Волошина стала сильно дружить с инженером Энглертом, познакомила меня с ним; и с той поры начинаются наши частые встречи и разговоры с Энглертом; он оказался замечательно умным, весьма начитанным человеком: прекрасный математик, талантливый инженер, астроном, астролог и глубокий знаток исторической мистики; он быстро выдвинулся в ряду строителей, отгеснил первоначального архитектора Шмидта и в сущности говоря один руководил всеми инженерными и строительными работами; он разрешил весьма остроумно проблему соединения куполов «*Vau*»; доктор ежедневно являлся в его комнату при «*Vau*» и просиживал с ним часами; беседы с Энглертом мне очень многое дали.

Май.

Антропософская публика продолжает все прибывать в «*Vau*»; появляются англичане Смитс, муж и жена; появляется русский египтолог Колпакчи из Лондона и проходится бурей по всем архитеврам; его заставляют сшибать лишнее дерево; он сшибает все, что может; впоследствии, годами считались с работою Колпакчи; всюду, где он ни работал, он напортил, срезав излишнее; появляются художники Полляк (муж и жена) из Праги; появляется английский художник (фамилию забыл), расписывавший впоследствии купол; появляется из Парижа писатель Леви, антропософ, впоследствии вышедший из общества; появляется mlle Зауэрвейн, приезжает 70 летняя старуха Киттель; наконец: приезжает из Москвы сперва А.С. Петровский с годовым отпуском, чтобы работать при «*Vau*»; приезжает М.И. Сизов (тоже — надолго); приезжают очень многие иные антропософы; в Дорнахе собирается не менее 200 антропософов; всем теперь есть место для художественной работы; менее опытные поступают под руководство к «спецам»; Сизов и Петровский пристроиваются при архитеврах; Трапезников, перевязанный фартуком, бегаёт по постройке; он все что-то мажет; горячка работы охватывает нас всех настолько, что внутренние переживания отступают перед заботами дня; умолкает мой бунт против д-ра Штейнера (я теперь сознаю, что апрельские переживания, в сущности говоря, были бунтом моим против пути).

Я не помню, почему случилось так, что мы по восстановлению сарая очутились на другом архитевре; но Катчер почему-то

решила, что надо пока оставить нам архитрав Марса; она предложила нам громадный архитрав Сатурна, на котором мы вчетвером и стали работать; архитрав этот был из белого бука, т.е. твердешего дерева; работать на нем было чрезвычайно мучительно; у меня все ладони превратились в незаживающие раны; стамеска ломалась; сколько раз мне казалось, что это не дерево, а кость (дуб казался просто воском по сравнению с белым буком); несколько дней мы упорно работали, отстучали руки (по утрам я не мог разогнуть себе пальцы от боли), а работа — не подвигалась.

Эти дни отметились тяжелым инцидентом с Катчер; уже давно среди резчиков стало складываться убеждение, что Катчер, которой доктор поручил архитравы, не сумеет справиться с ответственным поручением; она все более и более растеривалась, не будучи в состоянии измерить все 24 архитравных формы, ни тем более конкретно следить, как проводится работа на архитравах; она давала нам противоречивые указания; вместе с тем не позволяла резчикам взять работу на свою ответственность; кроме того: ее неуравновешенный характер оказался источником многих недоразумений; постоянно выходили ссоры между ней и группами работающих; и наконец: она, как скульпторша, оказалась менее опытной, чем можно было думать. Уже с апреля обнаружилась сильнейшая оппозиция антропософской молодежи; указывали, что подлинными резчиками-художниками, на деле показавшие себя (отработавшие капители) суть Митчер, Дубах, Штраус, Кемпер, фон Гейдебрандт, Вольфюгель, Людвиг, Хольцлейтер и другие; им и следует де поручить организацию резной работы на архитравах; работающая молодежь выбрала комиссию; комиссия произвела самочинный инспекторский смотр, обнаруживший непродуктивность и бессистемность работ, руководимых Катчер; состоялось собрание, на котором работающие вынесли резолюцию такого характера: д-р Штейнер поручил в сущности не Катчер, а всем нам архитравы; и следовательно: мы должны быть ответственны за работы; перелagать ответственность на одну Катчер несправедливо; это была формула подготавливаемой перемены власти; и — формула удаления Катчер; предварительно молодежь снеслась с высшим управлением по постройке «*Bau*» и с «*Johannesbauverein*», во главе которого стояли Гросхайнц, Энглерт, архитектор Шмидт, д-р Унгер и прочие; управление ответило, что признает вполне контроль коллегии резчиков над Катчер; и — высказалось, что на бунт против Катчер оно посмотрит нейтрально, предоставляя нам разрешение вопроса о Катчер; тогда молодежь организовала группы работающих на архитравах;

каждая группа должна была взять себе по архитектору; в каждой группе должен быть «*Gruppenführer*», т.е. лицо, ответственное за архитектора; оно должно измерить архитектора, изучить модель, вымерить по основной модели «*Bau*», стоящей в Доме Гросхайнцев, вычислить размеры и понять, где сколько надо снять сантиметров дерева; и потом составив план работы, распределить работу между участниками группы; таким образом каждый руководитель группы был вполне ответственен за свой архитектора; общий руководитель в сущности лишь координировал работу групп, но не входил в детали работы; таким руководителем был избран Митчер, брат Митчер, заведующей кантиной. Катчер страшно обиделась, узнавши, что переворот совершился, и что ей следует уйти с архитекторов (ей предложили другую работу); за Катчер никто не заступился, кроме Аси и меня; мы почему-то страшно ратовали за нее; по существу, мы соглашались, что новая организация работы рациональнее прежней, что в этой организации — выход из тупика, в который мы попали; но нас возмущала грубость, с которой свергали Катчер Митчер, Дубах и прочие; помнится, по этому поводу я имел очень резкое объяснение с Митчером, после которого я сказал в кантине фрелайн Митчер: «Ваш брат ведет себя не как антропософ, а как прусский капитан...» Тем не менее — факт совершился: появились группы и их руководители; Ася оказалась в числе руководителей; с той поры начинаются ее почти ежедневные путешествия на виллу Гросхайнц — вымеривать модель; помню Асю в эти периоды, вечно вычисляющей, с карандашом в руке и с записною книжечкою; наш архитектор покрылся масштабами, отметками углем: 20, 30, 7, 5, т.е. 20 сантиметров снять, 30 сантиметров снять и т.д. Думаю, что в отместку за мое нападение Митчер выбрал меня руководителем на архитекторе «*Венера*», дав мне помощниками двух опытных художниц и резчиц — Кучерову (чешка) и Гюнтер (немка); мне же сказали, что у меня есть вкус, а это — главное (надо было по малой гипсовой модели, где форма была в округлостях, представить себе эту форму, сложенную гранником т.е. из пересекающихся плоскостей: количество плоскостей и способ их пересечения зависел от моей фантазии); я представил себе форму, изложил свои представления Кучеровой и Гюнтер, а когда дело дошло до измерения архитектора и точного расчисления в сантиметрах, то я запутался; Кучерова и Гюнтер быстро отобрали у меня карандаш и книжечку и стали производить вычисление без меня; мне особенно бросилась карикатурность моего положения: быть руководителем ответственной работы, не будучи ни художником профессионалом, ни резчиком; и я понял тогда, что выбор меня ру-

ководителем есть насмешка надо мной Митчера; тогда я обиделся, отказался от архитрава «Венеры» и засел у себя дома дней на 10.

Эти десять дней я употребил на подготовку собрания стихотворений для «*Сирина*», а также: в эти дни я написал несколько стихотворений, между прочим: «*Открылось: весть весенняя*», «*В волнах золотистого хлеба*», «*Я засыпал...*» и др.⁵⁶ В эти дни я не показывался ни в «*Ваи*», ни в кантине; с последней я чувствовал себя в ссоре; Ася уходила на работы одна; обедал я главным образом у Трапезникова; или же в «*Zum Löwe*». В эти дни д-р уезжал в Берлин. Во время отъезда М.Я. Сиверс пригласила нас с Асей к себе на чай в новую виллу (villa Hansi), в которой поселились она, доктор и фреляйн Валлер; я читал М.Я. отрывок из перевода «Мистерии» доктора; и новые, мной написанные стихотворения; она мне сказала: «В ваших стихах — отражение антропософии». Я был этим очень польщен.

Приблизительно к середине мая домик Рихтера уже был отстроен; днем открытия домика и как бы его освящением я считаю лекцию вернувшегося из Берлина д-ра Штейнера в этом домике⁵⁷; лекция была на тему о живописи; всех лекция сильно задела; во время нее разразилась гроза.

Во второй половине мая я снова появляюсь на архитраве; и застаю Асю, работающей с Наташей и с Поццо вновь на Марсе: сказалось рациональное распределение работы; переложение ответственности с одного руководителя на многих привело к быстрому темпу работы; в сущности ответственны были все работающие; Ася берет меня себе помощником; и задает порции работы; сперва я лишь подсобляю ей; потом веду самостоятельную работу уже вполне сознательно; целыми днями проводим мы на Марсе; работаем на мостках, громоздя на мостки груды ящиков и вскарабкиваясь на них; особенно трудна была порученная мне Асей работа внизу, под архитравом; чтобы работать, я должен был лечь на досчатом полу, накрыться бумагой и сшибать дерево в лежащем положении; помнится, — в эти дни доктор Штейнер лично совершал обход работы раз, а то и два раза в день (обычно, часов около двенадцати, а если второй раз, то около 4 1/2); он останавливался перед формой, обмеривал ее глазами и отмечал лично

⁵⁶ О собрании стихотворений, подготовленном Белым для изд. «Сирин», см. мое вступление в I томе *СТИХОТВОРЕНИЙ* А.Белого (München, 1984, «Centrifuga», 49/1, с.28-29). Все три стихотворения, под названиями «Чаша времен», «Инспирация» и «Дух», появились в сб. *ЗВЕЗДА*. В берлинском сб. *СТИХОТВОРЕНИЯ* они датированы: май и июнь 1914 г. Арлесгейм.

⁵⁷ Открытие «Glasatelier», отмеченное лекцией Штейнера, состоялось 17 июня 1914 г. (н.ст.)

углем, как надо вести плоскости; иногда он взлезал на мостки, карабкался на ящики, брал в руку стамеску и делал отметки, зарубки и т.д. Более всего он вступал в разговоры с руководителем группы; Асе пришлось много иметь дело с доктором; она привыкла к нему; и иногда, увидевши его в сарае для работающих, подходила и тащила его к нашему архитектору, советуясь с ним о работе. Из Аси вышла отличная руководительница; она прекрасно понимала плоскости, линии, их координацию и прекрасно вычисляла, где сколько надо снять дерева; кроме того: она умело и нас втягивала в работу; эти дни работы на Марсе — прекрасное время; в наш архитектор мы почти влюбились; Наташа оказалась тоже прекрасной работницей; она взяла себе определенный угол архитектора и отработывала его с большой художественностью; я — работал недурно; менее успешно работал Поццо; но все же: мы оказались хорошим, спевшимся в работе коллективом; работа нас так увлекала, что мои отношения с Наташей исправились; мы относились вновь с доверием друг к другу.

Дома мы почти не жили; приходили к 10 часам на работу, в 12 часов обедали, обыкновенно на воздухе; за наш столик, поставленный среди травы, садились русские (Волошина, Анненкова, Сизов, Петровский); с последними двумя мы почти не видались; оба дружили с участниками своих рабочих коллективов; после обеда лежали в траве, а иногда поднимались на «*Vau*»: обходили его; при нас на огромных цепях поднимали огромные части колонн; уже отстраивались порталы; выходили из бетонных форм все новые и новые бетонные части первого этажа; «*Vau*», бывший, так сказать, скелетом во дни нашего приезда — обрастал формами; внутри его появились бетонные комнаты, переходы, коридоры; купола были выведены; поражала нас линия соединения куполов; но купола не были еще покрыты черепицею; камень для черепицы еще не был привезен из Норвегии: он оказался тем самым камнем, оттенок которого нас с Асей когда-то поразил между Христианией и Бергеном; к 2 часам «*Vau*» наполнялся множеством рабочих, стукотней молотков, гомоном голосов; работало здесь несколько сот рабочих; рабочие делились на 3 группы; одну группу составляли гамбургские рабочие; другую группу итальянцы; третьей группой, самой немногочисленной, были местные швейцарцы. Одно время рабочие, не договорившись с конторою, т.е. с Лиссау, с Лихтфогелем и др., устроили забастовку, предъявив администрации «*Vau*» ряд требований; в администрации голоса разделились: Энглерт повел линию рабочих, настаивая на удовлетворении требований; д-р Гросхайнц настаивал на том, что на требования рабочих согласиться нельзя; с той поры Гросхайнц и Энглерт по-

стоянно вели борьбу друг с другом; была партия Гросхайнца (более буржуазные элементы среди антропософов) и была партия Энглерта (более радикальные элементы; антропософская молодежь); мне кажется, что доктор был в то время более с Энглертом.

В два часа мы поднимались на работы; в 4 шли пить кофе; в 4 1/2 становились опять на работы, а в 7 спускались к кantine в ожидании ужина: ужинали в 7 1/2. Это вечернее время мне особенно памятно: «*Vau*» был особенно красив в вечернем освещении; в эти часы по лесам мы часто карабкались под купол; существовало в то время отверстие купола; из этого отверстия мы вылезали наружу и стояли на самой вершине купола, смотря на расстилавшиеся под ногами дальние окрестности; были даже смельчаки, которые взлезали на купол снаружи по веревочным лестницам; скоро управление «*Vau*» строго запретило эти гимнастические упражнения. Часу в девятом лишь мы возвращались с Асей домой; проходя по Арлестейму, мы закупали к вечернему чаю сладостей и придя домой кипятили на спиртовке чай; обыкновенно к этому времени нас так страшно тянуло спать, что мы едва дожидались чаю (сколько раз Ася засыпала, прикурнув на диванчике и я ее не мог никак уже поднять к чаю); укладываясь в постель и раздеваясь, я обнаруживал всюду щепки: щепки оказывались в кармане, за воротом рубашки; дерево было — пахучее, свежее; в 11 часов мы уже погружались в сон, чтобы на другой день вовремя поспеть на работу (вечерние и утренние медитации в эти дни трудно давались).

По праздникам работ не было, но в теле чувствовалась большая разбитость и как бы развинченность (все тело болело); обыкновенно к нам тогда приходили в гости: Рихтер, Ледебур, Поццо, Трапезников или Петровский; иногда мы устраивали прогулки в окрестности Дорнаха, поднимаясь к старым развалинам рыцарских замков (над «*Vau*» вокруг Дорнаха, в амфитеатре гор сидело 3 замка; и нам казалось, что они враждебно покачиваются на «*Vau*»).

В это время я переписывался с некоей «*Надей Штрассер*», живущей в Мюнхене; «*Надя Штрассер*» предлагала мне перевести «*Петербург*» на немецкий язык; впоследствии я узнал, что на мысль о переводе ее натолкнула фрау Моргенштерн (вдова поэта)⁵⁸.

⁵⁸ *PETERSBURG*. Autorisierte Übersetzung aus dem russischen von Nadja Strasser (München, Georg Müller, 1919).

Июнь.

Все усиливающийся темп работы выдвигает вопрос о сдаче архитравов; оказывается, что инженерные работы по сооружению «*Johannesbau*» требуют, чтобы к известному сроку все архитравы, над которыми мы работали в сараях, были бы подняты под купол и своевременно укреплены между колоннами; поэтому Энглерт и Шмидт объявляют коллегии резчиков, что последний срок сдачи архитравов — такое-то число; выясняется, что впоследствии возведутся леса и окончательная отделка архитравов нами уже будет производиться на лесах, под большим куполом; и все же: нужна минимальная отработка архитравов в сарае; нужно прежде поднятия придать им законченный вид (все это касается архитравов большого купола); среди резчиков поднимается переполох; у большинства групп архитравы оказываются в таком положении, что они не будут готовы к моменту инспекторского осмотра (к такому-то числу); многие руководители групп заранее отказываются привести свои архитравы к полной готовности; мы находимся в таком же положении: работы уйма, а срок — короткий; тем не менее мы даем совершенно безумное обещание: к назначенному сроку привести наш архитрав к полной законченности; я не помню числа, в которое мы должны были сдать архитрав, но помню, что в субботу архитрав должен был быть сдан администрации; обещание сдать его мы даем в среду; следовательно: нам остается лишь два дня; наши соседи по архитраву (тоже по Марсу; все архитравы, кроме Сатурнова архитрава — парные) решительно отказываются закончить архитрав свой к субботе; и — стало быть: он будет поднят к куполу в незаконченном виде; они смеются над нами, утверждая, что мы дали совершенно неосмысленное обещание: все равно его не выполнить, потому что работы еще много на нашем архитраве; в группе наших соседей сильные работники (рубка требует физической силы); нам указывается, что мы все сравнительно слабосильны; не говоря уже о художественной законченности, у нас просто не хватит силы, чтобы физически вынести работу; мы и сами это понимаем, но не отступаем от плана; мы берем себе в подмогу художника Розенберга и с четверга уже с семи часов утра мы на работе; никогда не забуду бешеного темпа работы этих последних двух дней; наш архитрав с семи часов утра до восьми часов вечера буквально трещал под ударами пяти молотков, ударяющих по пяти стамескам; здесь приходилось вырубать непочатые деревянные массы, там приводить к окончательной отработке плоскости; здесь — домеривать; там — выравнивать фон; там — заострять грани; помню, что мне с Розенбергом приходилось выбивать дерево из углов: дерево здесь

оказывалось ссохшимся, перетвердевшим, напоминающим кость; вдобавок в дерево здесь были рабочими всажены гвозди (вопреки запрещению); стамеска налетала на гвоздь, кончик ее ломался; и она поступала в точильню к Эльрам; мы запаслись целым асортиментом стамесок от огромных до малюсеньких, которые мы прозвали «*козьими ножками*», в одном месте приходилось работать полукруглой стамеской, в другом — плоской (в зависимости от характера работы и внешнего вида, который надо было придать плоскости); к обеду мы сбежали лишь к часу и уже в 1 1/2 стояли опять за работой; к кофе вовсе не сходили, а работу кончили не к семи, а к восьми, проработав до 12 часов в сутки (а труд был тяжел); порою я впадал просто в какое-то одеревенение; рука отказывалась вовсе служить; то со мной, то с Асей, то с Поццо делались какие-то особые припадки злобной раздражительности совершенно иррациональной (мы потом назвали этот род мускульно-нервной усталости «*архитравною лихорадкой*»: многие болели ей периодически); несколько раз я бросал работу и усаживался на деревянный обрубок в совершенной оцепенелости; и потом, минут через 5, вновь принимался за работу; к концу первого дня выяснилось, что в один день работы все же не окончить; унылые и измученные мы вернулись домой. На другой день, в пятницу, с шести часов утра мы уже были все на местах; и с тем же бешенством стучали стамесками, хотя руки были так натерты, что при ударах колотушки по стамеске приходилось чуть ли не вскрикивать от боли. Пятницу провели мы в том же бешеном темпе; и к шести часам вечера выяснилось, что мы можем закончить работу при условии, что нам администрация в виде исключения разрешит работать и ночью при свечах (с наступлением сумерек запрещалось внутри места, отведенного постройке, зажигать свет ввиду громадного скопления дерева, стружек, щепок и ввиду сухой погоды: курить мы сбегали за оградой, к кантине); с трудом мы добились разрешения; к нам подошли группы антропософов и обсуждали, успеем мы или не успеем окончить, чуть ли не держали пари на нас; точильщица Эльрам, дама почтенных лет, заявила, что она остается при нас до окончания работы, чтобы точить нам стамески; мы раздобыли себе свечей; и с наступлением сумерек при тусклом свете фонариков в мраке огромного сарая продолжали работу; последние часы мы уже были в полном изнеможении; уже не работали, а с какой-то истерикой стамесками и молотками кидались на огромную архитравную форму; Розенберг оказался хорошим товарищем; он помогал нам, как мог. Наконец в первом часу ночи мы кончили работу: обещание мы сдержали; архитрав был приведен в полную законченность.

На другой день мы проспали часов до трех дня и появились в «*Vau*» уже к вечеру; мы видели, что архитравы рабочие перевезли в «*Vau*» и некоторые на цепях были уже приподняты на огромную высоту под купол: нам сказали, что утром в сарае появился доктор Штейнер и прямо направился к нашему архитраву; он долго его разглядывал, отошел от него, сел на деревянный обрубок перед ним; и задумчиво, долго продолжал разглядывать нашу работу (уже впоследствии, характеризуя работу, он выразился о нашем архитраве так: «Это наиболее изящно сработанный архитрав среди всех других»). И еще он сказал, что в этом архитраве вполне отразился творческий замысел его).

Так закончился первый крупный этап в резной работе: архитравы большого купола, числом 13 были вырублены; и вчерне готовы; теперь нам предстояла такая же работа относительно архитравов малого купола, числом 10; одиннадцатой была огромная форма синтезирующая все мотивы архитравных форм; она сбегалась к гигантской пентаграмме, которую надлежало вырезать; некоторое время для отдыха мы работали в смежном сарае на так называемых фонах, т.е. на формах, которые соединяли потолок от колонн к округлой стене; работа для нас, уже опытных резчиков после работы на архитравах, была пустяшная; надо было снимать лишь внешний слой дерева; тут важна была не форма, а особая штриховка стамесочных срезов; характер штриховки дал доктор; мы прозвали эту штриховку штриховкой «в *ёлочку*»; к этому времени кроме основных работников съехалось множество временных гостей антропософов; они приехали на летние месяцы: появились берлинцы, мюнхенцы, штутгартцы, венцы, голландцы, скандинавы, чехи, англичане, швейцарцы; в Дорнахе оказывалось уже до 400 антропософов; доктор Штейнер читал теперь по субботам лекции в сарае; на эти лекции приезжали на день ряд швейцарских антропософов из Берна, Люцерна, Цюриха и из французской Швейцарии; на субботних лекциях присутствовало в сарае до 500 человек. Из России на побывку приехала Т.А. Полиевктова и Григоровы (муж и жена); многие из приехавших рвались к работе; но подпускать их к ответственной архитравной работе было нельзя; вот их и пускали на «*фоны*»; эта работа на «*фонах*» считалась нами одним баловством, почти не нужным строителям «*Vau*» (все равно эта работа впоследствии была заново переработана): а работающим гостям казалось, что они действительно приносят пользу; мы же считали, что работа эта поставлена для утешения «*гостей*»; было смешно смотреть, с какой важной миной снимали легкие слои дерева старушка Калькрейт, Григорова и другие приезжие.

В этот период д-р Штейнер разительно переменял стиль своих лекций: вместо тем мистических, философских, христологических он брал темы исключительно художественные, имеющие отношение к текущим работам; к этому периоду относится его замечательная лекция об орнаменте⁵⁹. Уже отстроилась около «*Vau*» деревянная контора, где помещалась администрация «*Vau*», инженерная, чертежная комната и комната моделей; сбоку в пристройке работала мисс Мэрион, лепя модели различных форм, долженствующих украсить «*Vau*»; внизу, в подвальном бетонном помещении расположилась художественная мастерская, где разрабатывались эскизы доктора для расписания купола; здесь были мастерская Эккартштейн, Волошиной, Перальтэ, Линде, супругов Полляк, Валлер и Классен; баронесса фон Эккартштейн должна была приготовить эскиз огромной головы Человека, ведомого к посвящению; она несколько раз приводила меня в свою мастерскую и копировала мои глаза; «*глаза*» для Посвящаемого она хотела взять у меня; эти сеансы у Эккартштейн скоро превратились для меня в живые и занимательные беседы с ней; мы много говорили о поэзии; она читала мне вслух Уланда; скоро она задружилась с М.И. Сизовым; у нее также была своя лабораторийка, где она делала опыты над красками, добываемыми из цветов; краски получались интересные, но нужно было уметь их закреплять; для этого требовался химик-специалист; его она искала; лейб-химик «*Vau*» был д-р Шмидель; вся лабораторная работа сосредоточилась у него; но Эккартштейн враждовала со Шмиделем; ей непременно нужна была своя лаборатория; поэтому она схватилась за талантливого молодого русского студента, приехавшего из Германии на побывку к сестре, за Н.А. Маликова; он был химик по специальности; на нас, антропософов, он косился; но Эккартштейн почему-то ему импонировала; она забрала его в свою лабораторию и целые дни они возились над изготовлением каких-то веществ, нужных для закрепления красок; через нее Маликов принял антропософию и стал членом О-ва (это было уже месяца три спустя).

В эти дни д-р Штейнер дал нам *E.S.* На *E.S.* впервые были допущены Наташа и А.М. Поццо.

Со второй половины июня была распределены работы над архитравами малого купола; Ася была назначена руководителем на архитраве Юпитера (клен); опять начался период вымеривания и разметок; потом мы принялись за работу; клен оказался

⁵⁹ Возможно, Белый имеет в виду цикл пяти лекций «*Wege zu einem neuen Baustil*», прочитанный в Дорнахе 7, 17 и 28 июня и 5, 26 июля 1914 г. (н.ст.).

очень твердым и непокладистым деревом; мы привыкли к дубу, и чтобы привыкнуть к клену надо было потратить несколько дней на ознакомление с техникой работы; я деятельно помогал Асе; Наташа и Поццо не работали с нами: Наташа была назначена руководительницей на другом архитраве (кажется, — на Марсе же); кто с нами работал в ту пору на клене — не помню: не то Луна Дрекслер, не то О.Н. Анненкова. Мы начали сверху: работали на лесах, очень высоко над землей; надо было к нам взбираться по шаткой лесенке; ритм дня был все тот же; так же около 12 часов, перед обедом появлялся доктор и осматривал наши работы, давал указания, делал отметки углем; иногда М.Я. Сиверс сопровождала его; однажды они появились втроем, с писателем Леви: М.Я. подозвала меня и представила Леви; Леви рассыпался в любезностях и сказал, что он много слышал обо мне. Другой раз произошла забавная картина; увидав доктора и М.Я. с своих лесов, я так стремительно высунулся вперед (мне нужно было позвать доктора, чтобы спросить его о какой-то детали работы), что потерял равновесие и со стамеской в руке и с огромною колотушкой в другой руке рухнул с высоких лесов прямо под ноги М.Я. и чуть не сшиб ее с ног; она страшно перепугалась; д-р же не обратил никакого внимания на мое падение.

В это время чаще и чаще стал появляться около нас Рихтер; он стал доказывать, что нам следует работать в его мастерской над стеклами и бросить работу на архитравах; уже заказанные стекла пришли из Парижа; они были вылиты из разноцветного, цельного стекла (одно окно — красное; два — синих; два — розовых; два — зеленых; два — желтых и т.д.); толщиной они были не менее дюйма; каждое окно состояло из трех крупнейших стекол; их надо было вырезать особыми сверлильными аппаратами, соединенными электрическим проводом с бор-машинною; работа должна была производиться на площадках, перемещающихся на рельсах, чтобы стекла не трескались от нагревания во время сверления, они поливались все время холодной струей воды; работать надо было в каучуковых балахонах и в каучуковых перчатках, чтобы не промокнуть. Сперва надо было на пробных кусках стекла учиться технике ведения линий по стеклу, углублению их, срезанию стекольных слоев; надо было учиться держать аппарат; когда он начинал действовать под влиянием электричества, то все тело сотрясало и резец ежеминутно выскакивал из руки и ударял по стеклу: стекло — разбивалось; надо было сперва научиться твердо держать в руке сверлильный аппарат; разбить цельное стекло — значило: уничтожить 20,000 франков (каждое стекло стоило до 20,000 франков). Мы в этот период иногда за-

ходили к Рихтеру и упражнялись на пробных осколках стекол. Я сразу решил, что эта работа — не для меня, что я никогда не буду умело держать сверлильный прибор; и стало быть: непременно разобью стекло; Рихтер убеждал меня в противном; проба стекол у Аси шла удачней, но и ей не очень хотелось переходить в мастерскую к Рихтеру; работа на архитравах у нее шла блистательно; там она была полезна, а здесь — надо было еще всему заново учиться. Так вопрос о стеклах еще все висел в воздухе; мы решили отложить до осени вопрос о нашей специализации по стекльному делу.

Вместе с тем Рихтер нам стал говорить, что кроме *E.S.* есть еще интимнейшие собрания у доктора для избранных членов, посвятивших себя духовной работе, и что нам следует проситься у М.Я. на эти собрания; мы с Асей отвечали не раз Рихтеру, что проситься мы не хотим, ибо не считаем себя достойными попасть на такие собрания; но Рихтер сказал, что мы проситься обязаны: такова форма; что оттого он нам и говорит об этих собраниях, что мы созрели для того, чтобы быть допущенными на них; тогда Ася отправилась к М.Я. и поставила ей прямо вопрос о допущении нас на собрания; М.Я. сказала, что передаст наши слова доктору; через некоторое время она подходит к нам и говорит: доктор согласен нас допустить на собрания; но они бывают очень редко; в Дорнахе, например, они не предвидятся, но вот в начале июля доктор едет в Швецию и в городе Норчёпине читает шведам курс лекций; там будут и *E.S.* и эти более интимные собрания; если мы хотим попасть на них поскорее, то мы можем поехать в Швецию; мы с Асей решаем, что после усиленной работы трех месяцев нам не мешало бы отдохнуть и освежиться поездкой; мы решаем в начале июля двинуться в Норчёпин; туда же собираются ехать: Форсман, Петровский, Сизов и Григоровы.

В последних числах июня все зацветает розами: Дорнах и Арлесгейм превращаются в какие-то «розовники»; в воздухе стоит пряное благоухание роз; и странно: с расцветанием этим с огромной интенсивною силой пробуждается вновь моя влюбленность в Наташу, с которой я уже не борюсь.

Июль.

В этой влюбленности много теперь переживаю я чистого и непосредственного; но много накручивается вокруг нее и больного; я думаю о том, что судьба точно нарочно отстранила от меня Асю с Бергена; все мои усилия протянуться к Асе и повести ей мой внутренний мир разбиваются о какую-то кору ледяной холодности, равнодушия; при попытках разбить на ней эту види-

мость отдаления от меня, доходящего до безучастия, я наталкиваюсь на почти испуг; Ася съеживается; и не то, чтобы у нас не было умных интересных разговоров, и не то, чтобы Ася не заботилась обо мне; она мне оказывает много внимания, — но не там именно, где я таю свои наиболее огненные вопросы, связанные с путем, с ощущением себя в антропософии, ощущением в тайне моего пути с доктором; тут обнаруживается удивительная, я бы сказал, холодность, переходящая в жестокость; и потом: я невольно замечаю, что я во всем завишу от Аси; я не мыслю себе недели, проведенной без нее, а она — как будто вовсе не нуждается во мне; это создает в наших отношениях мою полную зависимость от нее; все наши передвижения, весь стиль нашей жизни, обусловлен ею; не было случая, чтобы она мне уступила в чем-нибудь; это чувство привязанности к ней тем более апеллирует к большой общительности между нами в *последнем*, в *центровом*; но именно тут она молчит, как могила. И в этой-то точке вынужденной отдаленности от нее появляется опять Наташа, и я, не желая, все поворачиваюсь на нее; весной этот поворот на Наташу переживаю я, как падение и как грех: я все жду, что доктор разгромит меня за эти грешные чувства; но доктор вовсе не обращает внимания на мои сношения с Наташей, а к самой Наташе относится с все большей внимательностью, подчас даже с нежностью; мне начинает казаться, что доктор очень интересуется внутренним миром Наташи; так Рихтер, в мастерскую которого иногда заходит доктор и с ним сидит, однажды прибегает к нам, и выпуская клубы дыма из трубки, говорит: «А у *Наташи* — *четыре крыла...*» Я — недоумеваю. Рихтер — поясняет: «Сегодня ко мне приходит доктор и — говорит: «Знаете ли, Рихтер, у Frau Pozzo-то: не два крыла — четыре крыла...» (доктор иногда любит выпаливать гротески, парадоксальные вещи; иногда он ни с того ни с сего скажет такую «дикость», от которой способен на землю грянуться бык); этот разговор Рихтера с доктором о Наташе и другие мелочи отношения доктора к ней повышают мой интерес к Наташе; однажды, когда мы с Наташей шли по лугу и встретили на повороте дорог доктора, он очень пристально, и как мне показалось, с любопытством оглядел меня и потом глазами остановился на Наташе; мне показалось, что он *все* знает о моих чувствах к Наташе; и зная, — странно не осуждает меня. Это постепенно укореняющееся убеждение в том, что таинственное отдаление от меня Аси именно с момента моего духовного взлета и столь же таинственное появление Наташи в моем внутреннем мире в момент появления меня на земле после духовного странствия — не случаен: в нем — судьба, рок; а тут — расцветают розы; а тут — Наташа

странно, невероятно хорошеет и, как мне кажется, в свою очередь влюбляется в меня, борется с своим чувством; но непреодолимая сила начинающейся страсти между нами, вспыхнувшая из внутренней переключки нас, — бросает нас друг к другу; никогда не забуду: розовый вечер; мы сидим на балкончике кафе (я, Ася, Григоровы и Наташа) в Арлесгейме; кругом — сплошные розы; розы — на домах, розы — на лугах, розы — вокруг нас; Наташа вся в белом, с букетом роз в руке; она — невыразимо хороша; и нас — тянет друг к другу; так во мне разыгралось это сидение в кафе; с этого момента — я перестал бороться с своим чувством, но я переживал себя совершенно несчастным и разбитым.

В эти дни обнаружилось, что на Mattweg жить нам всем неудобно: и Е.А. Ильиной, и нам с Асей; Е.А. сняла для нас всех общую квартиру, в Арлесгейме же, но у самой окраины, выходящей на луг, ведущий к «*Vau*»; в расстоянии 10 минут ходьбы от стройки находился домик, изолированный, весь в зелени, у остановки трамвая, ведущего в Базель; в будущей нашей квартире (о пяти комнатах, с кухней) — 2 комнаты брали мы, а 3 — Е.А. с братом, Н.А. Маликовым, остающимся в Дорнахе) — в будущей нашей квартире была дверь, ведущая на плоскую крышу; мы спешно перебрались с Mattweg: Е.А., кажется, временно перебралась к сестре, к К.А. Дубах, а мы перебрались пока в единственную чердачную комнатку, в каком-то домике, пока нам отделявали квартиру; квартира должна была быть готова к первому августу; ввиду нашего скорого отъезда в Норчепин мы не слишком тяготились нашей единственной чердачной комнаткой; Ася целыми днями пропадала на «*Vau*», а я с июля принялся за сокращение «*Петербургга*» для немецкого издания; через мою переводчицу мы договорились с издателем, Георгом Мюллером.

Никогда не забуду эти предотъездные дни, когда мы собирались в Норчепин; я сидел дома, или заходил в Арлесгеймское кафе и усиленно правил текст «*Петербургга*», иногда бросая работу и отдаваясь мыслям о Наташе; на наш отъезд я смотрел с надеждою, как на последнюю попытку забыть Наташу (о, как был бы я счастлив, если бы она не жила здесь, при «*Vau*»!). Дни стояли бессолнечные, душные, грозные; на «*Vau*» обнаружилась тяжелая история: архитектор Шмидт произвел какие-то неверные вычисления, в результате которых огромные формы, заготовленные для ваяния, надо было сызнова сделать; и кроме того: обнаружилось какие-то злоупотребления с поставкой дерева; в счета ставилось дерево первого сорта, а оказалось, что для многих, изготавливаемых деревянных форм для ваяния ставилось дерево второго сорта; при работе наталкивались на гнилые участки дерева, ко-

торые надо было вырезать из уже приготовленных форм и заменять новыми, соответственными частями, что отнимало много времени; во всем винили архитектора Шмидта, оказавшегося кроме того малодеятельным, ненаходчивым; наоборот: Энглерт своим талантом, умением, вкусом и математическими способностями все более и более выдвигался в среде дорнахских антропософов. Таким образом, все складывалось к тому, что надо было по возможности мягко отстранить Шмидта от руководства постройками и отдать это руководство Энглерту; этот процесс смены правления мучительно переживался участниками работы.

Уже отстраивались три громадных портала; и стены «*Vau*» обкладывались гигантскими, заготовленными формами из сплошного американского дуба (разрезанного на тонкие пласты, спрессованные друг с другом, вследствие чего достигалась деревянная толща каких угодно размеров); вокруг полукруга, образованного будущим зрительным залом, увенчанным большим куполом, уже была отстроена бетонная веранда, с которой открывался дивный вид на окрестности: в ясную погоду оттуда ясно был виден Эльзас: торчали гребни Вогез; а несколько правее всегда виделись холмы Бадена; и казалось, что их — рукой подать; «*Vau*», обложенный еще не отработанными глыбами, казался чудовищным животным, бронированным порталами и оконными формами; резную работу на внешних стенах и порталах мы как-то упустили из виду; и вот теперь обнаружилось: нам же придется изваивать эти деревянные горы глыб.

К началу июля начали обкладывать купола норвежским камнем, пришедшим к концу июня; и теперь уже целый участок одного из куполов лазурел в пространство.

В эти дни из Италии приехал к Е.А. Ильиной ее хороший знакомый и друг, социалист-революционер, некогда посланный на каторгу, оттуда бежавший и живший эти последние годы в Италии репетитором у детей Амфитеатрова — хороший знакомый Виктора Чернова, Савинкова и прочих революционеров; ему надоела успокоенная жизнь в Италии; он слышал о Дорнахе; и приехал посмотреть, как живут и работают антропософы; этот приезжий был Константин Андреевич Лигский; он всем нам очень понравился; понравился его приезд сюда, неизвестно зачем, на велосипеде, без гроша денег, без легальных документов; надо было его как-нибудь устроить; Энглерт стал хлопотать за него перед швейцарскими властями, поручился за него; и — даже: внес залог; но Лигскому надо было достать работу; он стал проситься работать на «*Vau*»; но было положено твердое правило: художественные работы могли вести только антропософы; Лигский стал просить

себе черной работы; и даже: согласился гнуть железо (были такие работы, где надо было согнуть множество железных полос); с той поры Лигский стал простым работником при «*Vau*». Кроме того: к Н.А. Богоявленской (тоже нелегальной революционерке, ставшей антропософкой) приехал ее гражданский муж, Мордовин; и тоже помышлял вступить в Общество и работать по дереву; к этому времени русских в Дорнахе набралась целая группа; вот кого помню из русских: мы с Асей, Наташа, Поццо, Н.А. Богоявленская, Эльрам (русская немка), Пясковская (не то Лутковская, — фамилию не помню), Е.А. Ильина, К.А. Дубах, ее муж Дубах (полурусский, полушвейцарец — швейцарский подданный), Кемпер, баронесса Фитингоф, Мордовин, Лигский, Н.А. Маликов, Б.П. Григоров, Н.А. Григорова, Т.А. Бергенгрюн, Т.В. Киселева, М.В. Волошина, О.Н. Анненкова, Т.А. Полиевктова, Бразоль, А.С. Петровский, М.И. Сизов, Форсман, О.П. Костычева, Фридкина, Т.Г. Трапезников; к Ильиной иногда приезжал в гости социалист-революционер Руднев.

Наконец мы с Асей отправились в Нордчёпин; вместе с нами поехали: Григоровы, Форсман, Петровский, Сизов и Волошина.

Я не помню деталей пути; помню лишь, что проездом через Берлин нас поразила ужасная атмосфера города; стояла страшная жара; на лицах у людей была какая-то гримаса томления и бреда; едва вынесли мы берлинский день; и вздохнули свободно лишь тогда, когда оказались на Stettiner Bahnhof с билетом в кармане; помню прекрасный переезд по морю от Штральзунда до Мальмё; потом мы помчались берегом Швеции; Григоровы, кажется, попутно заехали в Стокгольм; в дороге выяснилось, что в сентябре доктор читает курс в 12 лекций в Мюнхене; и мы, разумеется, мечтали на этот курс. В Норчёпине мы остановились с Григоровыми в одном отеле; помнится, дружили с ними очень в эти дни; мы обратили внимание на то, что шведская полиция всюду вырастает перед нами; оказывается: шведы боялись русских шпионов; и появление нас, русских, в маленьком, весьма не посещаемом городке, встревожило шведских городских; но мы, признаться, не обращали никакого внимания на это; мы обратили внимание лишь на сообщения газет о покушении на Распутина.

Более всего были охвачены мы переживаниями Норчёпинского курса, устроенного при участии графини Гамильтон, тетки нашей дорнахской Гамильтон; я не помню точного заглавия этого курса⁶⁰; но его основная идея: закон кармы в христианском

⁶⁰ 12-16 июля (н.ст.) Штейнер читал в Norrköping курс «Christus und die menschliche Seele» и лекцию «Anthroposophie und Christentum».

взятии в связи с идеей искупления Христом; доктор удивительно показал, что идеи кармы, перевоплощения и ответственности не только не противоречат идее искупления, но прямо вытекают из нее, если эту идею углубить и выпрямить из неправильных исторических и житейских искривлений ее; опять в волнах курса переживал я как бы омытие от всего грешного и земного, чем я оброс в Дорнахе; Наташа не стояла на моем горизонте в эти дни; с Асей чувствовал я примирение; и мы гармонически переживали курс; никогда я не любил доктора такой сыновней и благодарной любовью, как в эти дни; никогда не было у меня такой благодарности к Обществу, включившему нас в свою жизнь; вообще курс связался для меня с переживанием тепла благодарности, подлинного смирения и любви; эта любовь как бы заливала все мое существо, переполняла меня; и я заставлял себя — счастливо рыдающим, неизвестно почему.

Наше повышенное настроение, вероятно, объяснялось тем, что мы были приняты на интимнейшие собрания доктором, происходившие за городом, в доме старого шведского помещика, окруженного парком (в его имении); помнится, что Форсман, которая тоже добивалась принятия на эти собрания, — принята, однако, не была; мы с Асей чувствовали неловкость перед Сизовым и Петровским, которых мы видели каждый день и которые еще приняты не были. Были в Норчёпине еще и *E.S.* И, кажется, была публичная лекция. На курс из Москвы приехала и *К.П. Христофорова*, чтобы тотчас же после курса уехать обратно в Россию; мы говорили с ней о том, что вероятно увидимся скоро в Дорнахе (она собиралась надолго туда приехать); увы, мы не подозревали, что события мира, скоро ворвавшиеся в жизнь каждого из нас, нас разделят; больше я *К.П. Христофоровой* не видел (прошло уже десять лет). После курса мы двинулись с *М.В.* обратно с мыслью провести день-два в Сасснице, на берегу моря, и разобраться в уединении в впечатлениях курса и интимных собраний; с нами до Мальмё ехали Григоровы, хотевшие провести несколько дней под Копенгагеном, чтобы потом вернуться в Москву; помнится мне длинный разговор с Григоровым в поезде, весьма меня утомивший; я думал: «Чего это он силится меня вразумлять: у меня иные учителя, иные руководители; непрощенного вмешательства в мой внутренний мир я не потерплю ни от кого...» Мы простились с Григоровыми несколько суше, чем следовало.

Не забуду ночного переезда из Мальмё в Штральзунд; море было великолепно; взошла луна: мы сидели втроем (с Волошиной) на корме и тихо говорили о тайнах мистерий; не понравилось

лишь одно: какой-то человек с неприятным иезуитским лицом все подсаживался рядом; и старался расслышать наши слова.

Весь следующий день мы провели в Сасснице; окна наших комнат выходили на море; море было невыразимого, фиалкового цвета; в небе — ни единого облачка; мы сидели на балкончике и тихо говорили о тайнах жизни; стояла невыразимая, какая-то неестественная тишина, нарушаемая только глухим рокотом орудий; это вдали происходили маневры германского флота; рокот орудий нам не понравился; что-то угрожающее слышалось в нем... Знали ли мы?..

На следующий день мы поехали на маленьком пароходике на Рюген; и посетили Аркону, место древнего славянского поселка; по словам д-ра здесь был некогда центр славянских мистерий, — а ныне — здесь стоят огромные столбы для радио-депеш; Аркона висит на громадных, белых гололобых скалах; под ней отвесно почва обрывается; это место образует мыс; кругом — зелень; граница древнего поселка отмечена зеленым, явственным валом; за ним — засеянные поля; мы забрались на самый высокий выступ над морем, сели в траву; и — как-то странно замолчали; точно далекое прошлое обступило нас; и тут передо мною отчетливо развернулся ряд ярких и совершенно невероятных образов, неизвестно откуда появившихся; мне казалось, что образы встали из земли; вот что мне привиделось: мне показалось, что странные, могучие силы вырываются из недр земли; и эти силы принадлежат когда-то здесь жившим арконцам, истребленным норманнами; они, арконцы, — ушли под землю; и ныне, там, под землей, заваленные наслоениями позднейшей германской культуры, они продолжают развивать свои страшные подземные, вулканические силы, рвущиеся наружу, чтобы опрокинуть все, смести работу веков, отмстить за свою гибель и лавой разлиться по Европе; я подслушал как бы голоса: «Мы еще — придем; мы — вернемся; мы — уже возвращаемся: отмстить за нашу гибель!» И тут какая-то дикая сила, исходящая из недр земли, охватила меня, вошла в меня; и — я как бы внутренне сказал то, что по существу не принадлежало к миру моего сознания; я — сказал себе: *«Карта Европы изменится: все перевернется вверх дном»*. И тут мне мелькнуло место будущих страшных боев, где на одной стороне сражались выходцы из недр земли, вновь воплощенные в жизнь, а на другой — представители древней, норманнской и тевтонской культуры, как бы перевоплощенные рыцари; местом боя представилась — Польша, Литва (знал ли я, что бои тут закипят уже через месяц?); и эти слова: *«Все перевернется вверх дном»* — соединились для меня с Польшей, Литвой, и с образами выпира-

ющих из-под земли древних, некогда загубленных арконцев; тогда я попытался сознанием понять обуявшие меня предчувствия; и я сказал себе: «Это будет вероятно в далеком будущем: через сто, двести лет». Далее: я увидел, что подземные силы вырвавшихся теней прошлого из будущего грозят Европе мощным нашествием, в котором погибнет теперешний европейский мир; и тут встал передо мной совершенно отчетливо странный, как бы калмыцкий образ; это был старик, с острыми, прищуренными глазами, с большими скулами, с седенькою бородкою, сутулый, с несколько приподнятыми плечами; он был в какой-то восточной шляпе и кутался в пестрый бухарский халат; он вперял в меня свои пронзительные глаза и как бы говорил: «Я — из прошлого: но я еще приду». И я тут понял, что образ этого мстителя за прошлое скоро воплотится, что он, этот образ, в новом своем воплощении поведет на Европу подземные силы, ныне затиснутые под землю европейским миром; он будет виновником того, что «карта Европы изменится»; я приник головой к траве; мне послышался как бы гул подземного города, я увидел как бы площадь; и множество народу кричащего и бьющего в барабаны; на ложе лежал зарезанный некогда славянский, чернобородый витязь; теперь он очнулся, чтобы повести из-под земли на бой эти толпы диких теней и отмстить за свое прошлое поругание; и раздался крик: «Приведите белого коня...» И — привели коня; и зарезанный витязь сел на коня и повел полки против всего запада с востока России; тут я ощутил, что утес, на котором мы сидим, как бы весь разлетается под напором сил, пронизывающих его; невольно я поднял из травы голову, едва понимая где я и что со мною; мы все так же сидели на выступе; под нами был отвесный, крутой обрыв; с трех сторон бежало фиалковое море; Ася и М.В. Волошина сидели рядом со мной в полном оцепенении; и, казалось, переживали что-то. — «Как странно, как невероятно» — вырвалось у М.В. Волошиной. — «Да» — подтвердила Ася. Тогда я попытался передать им мне непонятные образы: древнего города, калмыка, витязя, белого коня; и слов: «Все перевернется вверх дном...» — «Не спроста: это — место древних славянских посвящений» — сказала М.В. — «Хорошо бы здесь, на утесе, провести ночь» — предложил я. — «Хорошо» — согласилась М.В.; но потом мы решили, что, пожалуй, лучше всего уехать, потому что невесть что может привидеться здесь⁶¹.

⁶¹ В своих воспоминаниях М.В. Сабашникова-Волошина подтверждает рассказ Белого (см.: *DIE GRÜNE SCHLANGE*. Margarita Woloschin, изд. 1985 г., с.291-292).

Мы — уехали обратно в Сассниц; и в тот же вечер выехали в Берлин; стояла невероятная духота; Берлин казался еще чудовищней; все лица были точно оскалены, а когда мы приехали на следующий день в Базель и вернулись в Дорнах, то нашли кантину в страшном волнении; все кричали, спорили, выхватывали из рук друг у друга вечерние выпуски газет; мы узнали об ультиматуме Австрии, предъявленном Сербии.

Так неожиданно в нашей дорнахской жизни встал призрак мировой войны; он казался столь невероятным, что мы ему отказывались верить: войны, конечно, не будет; Европа не допустит войны; так мы утешали друг друга: русские — немцев, немцы — русских.

Эти последние дни июля мне запомнились двумя событиями: переездом нас на новую квартиру к Ильиной; хозяин Шмидт (однофамилец архитектора) казался и приличен, и вежлив; к Ильиной переселился и К.А. Лигский, снискавший средства к жизни в это время своим тяжелым трудом: он гнул железо; второе событие: все резчики стали работать над оконными формами; работа была сложна и трудна; эти формы были по размеру раза в полтора больше архитравных форм; они кончались соединением с куполом; мы составили новую группу, которой руководителем оказался баварец Штраус, весьма милый, сердечный и умный человек; кроме Штрауса на нашей форме мне помнится белокурая шведка (забыл фамилию), Кемпер и еще кто-то; мы с Асей получили левую сторону надоконной формы; работали мы на боковой стороне, на втором от начала окне; были построены высокие леса над боковой верандою; на лесах уже начинались подмости; с лесов открывался вид на кантину, на леса и горы; сбоку виделись пространства полей; в иные дни, когда воздух был ясен, оттуда проступали лиловые гребни Вогез; дни стояли жаркие и безоблачные; мы оказывались на работе уже с 9 часов утра и работали до восьмого часа; перерывом служил лишь обед, кофе, ужин.

Август.

Первые числа этого месяца протекали в бешеной работе; с такой интенсивностью еще никогда не работали, точно понимали, что скоро лучшие рабочие силы от нас отберутся; в рабочее настроение стали врывать отовсюду тревожные разговоры; на лесах появлялись листки газет; все бросались к ним: «Что нового?» Международное положение омрачалось со дня на день; за обедом работающие собирались группами; поднимались бесконечные споры о том, будет или не будет война; доктор ходил какой-то растерянный, сумрачный; иногда он подходил и мне казалось как-то

беспомощно спрашивал: «Ну что вы думаете? Что ответит ваше правительство?» Раз он спросил нас: «Как вы думаете, — в случае объявления войны, будет или не будет в России революция?» Чтобы спастись от этого многоголосого антропософского гула о войне мы с Асей с какой-то удвоенной энергией рубили нашу форму. Но положение становилось все более угрожающим; была объявлена в Базеле лекция д-ра (в Базельской ложе) и вскоре после нее интимное собрание того типа, на которое мы попали в Швеции; лекции доктора не забуду; она прозвучала нам, как удар грома, потому что в ней проскользнули такие мысли⁶²: по-видимому, война — неотвратна; нашему движению следует запастись всеми силами и всем мужеством, чтобы с достоинством выйти из тяжелейших испытаний, в которые нас ставит судьба; через день было интимное собрание (кажется, — последнее этого типа в жизни Общества).

Мы все еще не верили, что война будет: с бешенством продолжали нашу работу; не прошло и десяти дней с начала нашей работы над оконной формой, а уже форма была сильно продвинута; с особенной яростью рубились Штраус и Кемпер; шведка тоже не отставала. И вот: помню золотеющий вечер, склоняющееся к горизонту солнце; мы после кофе с особым самозабвением работали; вдруг на лесах произошло волнение; кто-то к нам подбежал с газетным листком; Штраус протянулся за ним; прочел и, обернувшись, сказал нам: «Все — кончено: война объявлена!» Мы опустили молотки и молча поглядели друг на друга; потом Штраус с грустной улыбкою на меня посмотрел и сказал: «Ну, *Herr Bugaeff*, вот мы с вами и стали врагами...» Я вместо ответа протянул ему руку, которую он крепко пожал; к ужину мы спустились в кантину; там царил лихорадочное возбуждение, но ни одной фальшивой ноты империализма и шовинизма я не мог подметить (шовинизм вспыхнул позже); первое известие о войне, наоборот, вызвало в нас всех желание схватиться еще крепче за «*Bau*», за доктора, друг за друга. В таком состоянии мы разошлись домой; вставал вопрос, что нам делать: оставаться ли в Дорнахе, или уезжать в Россию; этот вопрос мы в тот же вечер обсуждали с Наташей и Поццо; но — куда уедешь: Германия — отрезана; остается обходный путь: либо через Англию, либо через Грецию; думалось: удачно Полиевктова за несколько дней до объявления войны успела проскочить в Россию через Германию; вместе с тем нас все

⁶² Штейнер читал свою последнюю лекцию до объявления войны 26 июля в Дорнахе, не в Базеле (после 2 июня 1914 г. в Базеле вообще не было лекций). В 4 часа дня 19 июля/1 августа 1914 г. Германия объявила войну России.

уверяли: война не может продлиться более шести недель; Европа не выдержит напряжения; через шесть недель все будет кончено; стало быть: лучше это время переждать в Дорнахе.

В день объявления войны, до него, или днем позднее (не помню) какою-то бурей появился в Дорнахе Макс Волошин, заявивший, что он едва успел проскочить в Швейцарию через Австрию и теперь является последним нечистым животным, которое в дни европейского потопа должно быть принято в ковчег «*Vau*»; так он зажил в нашей дорнахской группе; скоро его можно было видеть вооруженным молотком и идущим на работу: он стал членом О-ва.

В первые же дни после объявления войны мы заметили во всем перемену; хозяин наш, Шмидт, оказавшийся немцем, стал возмутительно относиться к нам; в Арлесгейме и в Дорнахе, находящихся на границе Эльзаса и Бадена началась паника; границы швейцарские не укреплены; войско — не мобилизовано; нарушение бельгийского нейтралитета поразило, как громом, швейцарцев; говорилось, что неминуемо: либо французы, либо немцы перейдут границу Швейцарии, чтобы обходным движением прорваться: первые — в Баден; вторые — к Бельфору; дорога тех и других проходит прямо через нас; если сюда ворвутся французы, то вся местность эта будет обстреляна из Бадена тяжелыми орудиями, при этом показывали на цепь Баденских высот, отстоящих от нас в нескольких километрах; и — говорили: вся эта гряда — в пушках; от Дорнаха и Арлесгейма не останется и следов; все будет смятено орудиями; мы нисколько не думали о том, насколько наш дом находится под обстрелом баденских пушек; но мы думали о «*Vau*»: уцелеет ли «*Vau*»? Жители деревушек распространяли невероятную панику; они спешно закупили припасы, утверждая, что скоро будет голод, что Швейцария отрезана от продуктов и что на все время войны надо запастись провиантом; тяжелую картину представляла собой мобилизация; четверть населения Базеля и окрестностей Базеля — немецкие подданные; мужья множества семейств шли в первую очередь на войну; они ехали мобилизоваться в прибазельский поселок Лоррах, стоявший на границе Швейцарии (в Бадене), возвращались оттуда грустные: они шли на войну; еще более грустную картину представляла собой стройка, оттуда все немецкие рабочие шли немедленно на войну; и наши лучшие силы, наши резчики — Вольфюгель, Гайер, Митчер, Штраус забирались тоже; многие старались бодриться, с веселыми шутками прощались они с нами; но под этими шутками чувствовалась грусть; брали и Шмиделя; Штрауса брали братом милосердия и он спешно записывал у нас русские слова на случай, если

бы его отправили на восточный фронт и ему пришлось иметь дело с русскими ранеными; из русских пока никто не был взят; под угрозой был один Бразоль, через 2 месяца забранный и отправившийся отбывать военную службу во Францию.

У всех отправляющихся на войну я подметил одну черту: глубокую грусть, повторяю: о шовинизме не было и помину в эти дни.

Несмотря на суету первых дней войны мы удвоили с Асей нашу работу на оконных формах; и это чувство повышенной работы охватило всех присутствующих; мы сознавали: лучшие рабочие силы уходили от нас; и в будущем предстоял отлив мужчин и барышень; поэтому мы, немногие мужчины, особенно старались рубиться на оконных формах; Петровский и Сизов работали с невероятной интенсивностью; появился со стамескою в руке на лесах и Трапезников; с того времени он стал заправским рубакой до своего отъезда в Россию (в 1917 году); Наташа в эти дни специализировалась у Рихтера на цветном стекле; кажется, она работала на красном стекле; его разбила и ходила совершенно подавленная и удрученная (а, может быть, это случилось и позднее). В те дни в Дорнахе вырастает как-то фигура покойной Штинде; всюду она оказывается распорядительницей, всех поддерживает и умно вмешивается во все внутренние дела «*Vau*».

Через несколько дней после объявления войны, — помню, мы окончили работу ранее срока (часа в 4); и спустились со стройки, прислушиваясь к странному явлению: к грому (короткому и глухому) без туч; звуки исходили со стороны Эльзаса, там даль казалась в легкой темной дымке; под собою мы увидели стоящего на дороге доктора; он — тоже прислушивался к грому; что-то осенило нас, мы поглядели друг на друга и ничего не сказали друг другу; доктор нас остановил: «*Hörem sie?*» — спросил он нас. — «*Ja, Herr Doctor*». — «*Das ist Kanonendonner*» — сказал он; и мы втроем стояли и смотрели в даль, по направлению к Эльзасу; теперь оказывалось, что, может быть, легкая, темная дымка у горизонта — орудийный дым. Это вторжение звуков войны в нашу мирную долину показалось мне безумием; до этого момента мне думалось: «Война — где-то там». А она — придвинулась к нам; казалось, — мы охвачены ею. Всю дорогу до дому мы прислушивались к усиливающейся канонаде; Арлесгейм был охвачен паникою; на улицах стояли кучки и возбужденно обсуждали положение вещей; дома мы узнали, что французы ворвались в Эльзас и взяли Мюльгаузен; бой теперь происходил у Дюнкирха, отстоящего от нас весьма недалеко.

На следующий день Арлесгейм, Дорнах и даже стройка были охвачены настоящей паникою; выяснилось военное положение; французский корпус, занявший Дюнкирх, был выбит из него, отрезан от армии и приперт к самому Базелю; он окружен со всех сторон немецкими войсками; французов видели в прибазельском поселке S.Louis; и — явствовало, что этому отрезанному корпусу остается или сложить оружие, или перейти швейцарскую границу, совершенно неукрепленную и без войск, занять Базель и итти нашей дорогою (Базель-Арлесгейм-Дорнах), чтобы западнее пройти к Бельфору; в газетах стояли заголовки: «*Бой под Базелем*»; канонада гремела; власти известили население, что в случае нарушения нейтралитета все трамвайное и железнодорожное сообщение прекращается; железные дороги и трамваи должны были эвакуировать казенное имущество; жителям же предлагалось спастись в горы, обступавшие Дорнах и Арлесгейм, через высоты Гемпена, нависавшие над «*Vau*»; говорили, что на Гемпене появилась тяжелая артиллерия швейцарцев; отсюда начнется швейцарское сопротивление; вся же территория до Гемпена (Дорнах, Арлесгейм, Эш) должна быть эвакуирована при первых звуках набата; мы узнали, что Энглерт, как инженер, был спешно вызван минировать швейцарскую границу; Дубах, как швейцарский подданный, был спешно мобилизован; Швейцария объявила мобилизацию.

Весь этот день казался нам просто бредом; на улицах голосили швейцарки и немки; из сараев выкатывались тележки, на них складывалось имущество, чтобы все это тащить в горы в случае необходимости; помню, что я был по какому-то делу в этот день в Обер-Дорнахе; и помню, что какая-то костлявая женщина совершенно бессмысленно вопила: «Французы — травят колодцы с водой» (очевидно эти слухи распускались немцами); в кantine господствовала та же сутолока; туда сбежались все старые антропософские тетки, растревоженные своими хозяевами; стоял гвалт; передавался миф об отравленных колодцах; наконец, среди этой возбужденной толпы появился Гросхайнц; и почти прикрикнул на теток словами: «Вы находитесь на швейцарской территории и находитесь под законами этой территории: читали ли вы о том, что кто сеет панику, тот подвергается суровой ответственности?» Окрик Гросхайнца несколько смирил теток; скоро среди нас появился доктор; он расхаживал среди столиков и успокаивал теток, но был грустен; а канонада гремела; положение оставалось невыясненным; никто в этот день не работал на стройке; к вечеру нам объявили, чтобы мы на ночь приготовили дорожные сумочки, приготовили документы, деньги и самое необходимое в дорогу;

если ночью будет набат, то мы должны были все собраться в кантину и оттуда вместе с доктором двинуться в горы; вечером мы стояли на нашей крыше и прислушивались к все усиливающейся канонаде; стекла дребезжали в окнах; одна сторона неба была подернута отчетливой дымкою: говорилось, что это — пушечный дым; мы пили чай на плоской крыше; кажется, в гостях у нас была Анненкова.

Спали же не раздеваясь в ту ночь.

На следующий день население несколько успокоилось; появились в окрестности первые отряды швейцарских войск; они расположились в полях; в Арлесгейме солдаты заняли здание детской школы; появились всюду лошади; солдаты их чистили скребницами; забил барабан; со всех сторон Швейцарии гнали в наш угол войска; канонада к вечеру стихла.

А на другое утро узнали мы, что непосредственная опасность прошла; французский корпус, прижатый немцами к Базелю, прорвался и соединился с французскими войсками; пушечный гром глухо гудел уже в глубине горизонта; появился с границы Энглерт и сказал, что граница минирована и что опасность нарушения нейтралитета прошла. Мы уже знали, что от нас непосредственно граница Эльзаса находится в 15-ти километрах.

В ближайшие дни мы опять появились на лесах и с прежней энергией принялись за работу; мне досталось выравнить слегка выгнутую плоскость, соединяющую оконную форму с куполом, а потом перейти к низу оконной формы и производить то же равнение; на соседней форме работала О.Н. Анненкова; и к вечеру мы, сидя на досках и озирая окрестности, мирно разговаривали о событиях нашей жизни; погода стояла прекрасная; вечера были прозрачны; иногда лишь глухую угрозой врывалась в тишину отдаленная канонада; взойдя выше «*Vau*» на высоты, ведущие к Гемпену, говорят, по вечерам можно было видеть шрапнельные огоньки; и базельская публика приезжала вечером на них смотреть; со всех сторон нагнали войска; войска стояли на постое и в Арлесгейме, и в Дорнахе; порою по улицам Арлесгейма и по дороге мимо «*Vau*» проходили нескончаемые вереницы швейцарской пехоты; на лугах за Дорнахом по направлению к Эльзасской границе были расставлены пушки; всюду можно было видеть отряды швейцарских кавалеристов с высокими, белыми султанами; в долине между «*Vau*» и Арлесгеймом несколько месяцев были расставлены повозки и фуры военно-телеграфного парка; всюду летали солдаты велосипедисты, развозя приказы; а над «*Vau*», на гребнистых высотах Гемпена, в расстоянии получасового подъема в горы, была расставлена тяжелая артиллерия; и оттуда, с

гор, опускаясь к Дорнаху по вечерам, валили толпы солдат-артиллеристов, — мимо кантины, где мы собирались к ужину; вечерами на улицах Арлесгейма разгуливали толпы солдат, задевая прохожих девушек; словом, — мы оказались в самом центре военной полосы; в эти дни в присутствии доктора наши докторши (Фридкина, Костычева и другие) учили всех желающих делать перевязки; мы сперва косились на солдат с удивлением озирающих «*Vau*» и толпящихся у загородок пространства, отведенного постройкам; здесь были груды щепок и легкого, воспламеняющегося материала; солдаты же всюду разбрасывали окурки; от одной искры при такой суши мог вспыхнуть пожар; поэтому, — мужчины-резчики, мы собрались на специальное собрание в кантину и обсуждали меры к охранению «*Vau*» на случай пожара, и для предотвращения всех возможных хулиганских выходов; помнится, что очень много ораторствовал и кипятился старик Вегелин; на собрании было решено: не удовлетворяться сторожем, охраняющим «*Vau*», но разделять все мужское население антропософское на соответствующие смены, человек по 10 для охраны «*Vau*» по ночам, а также выставить дневную антропософскую охрану к двум входам на постройке (около виллы Гросхайнца), а также со стороны кантины. Был выбран комендант (я забыл, кто именно); «*Vau*» был осмотрен со стратегической точки зрения, в случае нападения на него ночью хулиганов; установились вахты; каждую ночь известное количество мужчин ночевали в «*Vau*» (ежедневно список «*вахтеров*» был вывешен в кантине); в 8 часов партия вахтеров являлась на «*Vau*» и дежурила там до 6 часов утра, — час, в который появлялись рабочие; в партии вахтеров имелось несколько револьверов; начальник партии пребывал в конторе, около телефона; партия же разбивалась на две смены; пока одна смена спала, другая смена рассыпалась по разным сторонам пространства, занимаемого строениями; один сторож ходил по веранде «*Vau*», озирая окрестности; другой, с фонарем обходил бесконечно большие пространства «*Vau*» внутри т.е. лабиринт комнат подвального этажа, где помещались художественные мастерские; переходы, коридоры и комнаты первого этажа, будущие кулисы, где стояли декорации к 4-м мистериям доктора, шкафы с костюмами, бутафорией и инструментами, обходил второй этаж, т.е. сцену и зрительный зал, комнаты боковых порталов, поднимался на леса к большому и малому куполу; третий вахтер обходил пространства сараев, мастерских, где хранился ряд машин и деревянных форм; четвертый вахтер сторожил ту часть отгороженного пространства, которое начиналось от дома Гросхайнца, шло мимо домика Рихтера и приводило к правому, север-

ному portalу; пятый вахтер пребывал на большом отгороженном пространстве за сараями, где были свалены громадные пирамиды деревянных щепок, которыми впоследствии мы отапливали всю зиму наши печурки; у вахтеров были свистки; каждый день выбирали свой пароль и лозунг; антропософская молодежь вносила в эти вахты нечто вроде игры в солдаты; не забуду первой вахты: в ней было так много фантастического; я сидел на громадной горе щепок в пространстве за сараями; передо мной луной лазурели и фосфорели два громадных купола (я забыл сказать, что купола уже к тому времени были обложены камнем, отражающим цвет атмосферы: солнечным днем они были лазурно-зелеными, в туманные дни — темно-свинцовыми; на луне — фосфорическими); была чудная летняя ночь; спать было невозможно; и когда наша партия отдежурила, то, разумеется, мы не пошли спать, а всю ночь, собравшись кучкой, проговорили, не давая покоя ни Гросхайнцам, ни Рихтеру; ночи были мирны; вахтеры производили шум на всю окрестность; поэтому количество их стали быстро сокращать: с десяти до пяти; с пяти до двух; двух вахтеров из антропософов при третьем, т.е. при постоянном стороже, оказалось вполне достаточно для охраны «*Bau*»; дневные вахты, особенно по праздникам, казались более целесообразными, потому что наплыв солдат и их праздная циркуляция была непрерывна около «*Bau*»; постоянно подходили кучи солдат и просили, чтобы им показали стройку; раз чуть было не произошел инцидент на этой почве, который мне пришлось случайно предотвратить; я только что был в кантине, где после работ роилась антропософская публика; сюда пришел доктор (со времени объявления войны он часто стал появляться в кантине) и с кем-то разговаривал; зачем-то я пошел на стройку и у входа застал следуюшую картину: толпа солдат, человек до ста, настойчиво просила показать «*Bau*», а Гейдебрандт, стоявший на вахте у входа, категорически отказывал и как мне казалось в резкой форме; солдаты же требовали впуска и уже начали напирать на загородку; количество их все прибывало, и я подумал, что если не принять тотчас же меры к ликвидации инцидента, вызванного бестактностью Гейдебрандта, то толпа насильно ворвется; поэтому я весьма решительно отстранил Гейдебрандта и распахнув калитку перед солдатами, сказал им: «Пожалуйста, — только подождите минутку: я позову человека, который вас проведет по стройке». Я увидел, что Гейдебрандт возмутился моим самочинством и стал перечить, но — поздно: толпа уже врвалась в пространство стройки; я еще раз крикнул ей: «*Ein Moment*», а сам со всех ног бросился вниз, — по дороге в кантину, к доктору; доктор,

завидев меня, бегущего со всех ног, быстро пошел ко мне навстречу со словами: «Was ist geschehen?» Я, запыхавшись, объяснил ему быстро, что надо немедленно послать кого-нибудь сопровождать солдат, кто бы был с ними любезнее, а то может произойти инцидент, могущий в будущем привести к печальным последствиям; д-р сразу понял, в чем дело, и, поблагодарив меня за «самоуправство», быстро пошел сам к толпе солдат, ласково заговорил с ними и повел их показывать все детали постройки; он долго водил их, водил по лесам, объяснял формы; мы с Гейдебрандтом сопровождали его; солдаты, которые сперва были возбуждены упорством Гейдебрандта, скоро просияли, вели себя подчеркнуто осторожно, не курили, восхищались «*Vau*»; было что-то детское в этой толпе, с разинутыми ртами смотрящей на гигантские колонны и отовсюду протягивающей головы к доктору; они ушли довольные; тогда решили, что 2 раза в неделю в определенные часы все желающие могут осматривать «*Vau*» под руководством антропософов; в эти часы собирались кучи солдат и их водили; неоднократно водил я; «*Vau*» производил сильнейшее впечатление на солдатскую публику; и эта публика держала себя с большим тактом. Так с квартирующими в окрестностях войсками установились прекраснейшие отношения. Антропософы хвалили меня за мое «самоуправство», в первую минуту столь раздразнившее Гейдебрандта.

Когда первое возбуждение, вызванное войной, улеглось в нашем дорнахском быте и стали доходить известия с фронта о действиях немцев в Бельгии, о разрушении жилищ, обстреле соборов, то начали разгораться страсти в нашей дорнахской группе; русские возмущались поступками немцев, а немцы, опьяненные своей прессой, находили этим поступкам оправдание; на этой почве происходили непрерывные все крепнущие споры, начавшие уже переходить в ссоры; немцы точно сбесились; особенно — женщины; нам, русским, они начали доказывать, что для нас, русских, выгоднее, чтобы победила Германия, что корень войны — Англия; нас, как русских, конечно такие речи глубоко возмущали и мы выдвигали против немцев тот аргумент, что они, представители «*Ich-Bewusstsein*», должны бы восстать против ужасов войны, а они их оправдывают; на это следовали ответы, что «*Not hatt keine gebot*»; это особенно возмущало меня, и я начинал указывать, что не антропософам оправдывать насильственный захват Бельгии; присутствующие при спорах этих поляки, Седлецкая, ее муж, художник, приехавший недавно в Дорнах, поддерживали меня; тогда немцы стали меня уверять, что во мне действует самый элементарный биологический шовинизм, что вся Россия

отравлена славянофильством и учением Данилевского; я доходил до белого каления и кричал, что это неверно, что это — досужий вымысел; но немцы были убеждены, что Herr Bugaeff поддался грубому шовинизму; меня же более всего бесило то обстоятельство, что немцы видя «сучок» шовинизма во мне, не видят «бревна» своего собственного атавизма. Маликов, Волошин, Анненкова, Поццо принимали участие в этих спорах; Ася же с поразительной для меня холодностью относилась к словам немцев, меня столь возмущавшим; уже в кантине явственно отметились национальные столики; немцы держались вместе, поляки — вместе, русские — вместе, англичане — вместе; прежде не было этого разделения на нации в кантине; теперь оно началось; и оно — углублялось.

Три инцидента, свидетельствующие о немецкой бестактности, совершенно взбесили меня; один заключался в том, что почтенная кроткая в обычное время старушка-немка, которую я любил всей душой и которая прежде отличалась антропософской выдержкой, однажды пробегая мимо меня, с радостной доверчивостью мне бросила, забыв, что я русский: «Наши цеппелины летали над Парижем», на что я, свирепо нахмурившись, ей отрезал: «Жалею, что в варварстве войны погибнет Notre-Dame!» Она покраснела и сказала мне: «Ах, простите Herr Bugaeff; я забыла, что вы — русский». Я ей ничего не ответил, подумав: « В данном случае я говорю не как русский, а как, хотя бы, немецкий пассивист». В другой раз я пришел в совершенное бешенство, узнавши, что при Волошиной один из наших, тупой и грубый малый, бросил такую фразу: «*Пойду на войну убивать этих русских свиней*». Я огласил этот факт в кантине и кричал публично: «Покажите-ка мне эту грубую свинью: я покажу ему, как оскорблять русских дам». «Свинья» действительно испугалась меня; и обходила при встречах; третий инцидент заключался в следующем: в кантине стали продавать в пользу красного креста какую-то немецкую шовинистическую брошюру; меня возмутило, что в нейтральном месте, где встречались русские, французы, англичане, поляки, австрийцы и немцы, продаются брошюры, пропагандирующие немецкую военщину; я подошел к столику, взял брошюру, прочел ее заглавие и швырнул ее обратно австрийскому антропософу с словами: «Удивляюсь, что здесь, в нейтральном месте, в А.О., ведется немецкая агитация». Австриец злобно покосился на меня; но брошюра была немедленно убрана.

Я действовал так сознательно, ибо я хотел добиться одного: чтобы о войне или вовсе не говорилось, или говорилось в духе подлинного пассивизма; мой пассивизм был налицо — в факте

моей ежедневной работы вместе с немцами-резчиками; я продолжал отрабатывать нашу оконную форму, поступившую в безответственное распоряжение Аси после отъезда Штрауса на войну; с немцами я охранял «*Vau*», с немцами принимал участие в выработке деталей жизни при «*Vau*»; я мог требовать от них братской деликатности по отношению к нам, русским, во имя доктора, «*Vau*» и антропософии; мы, русские, были оторваны в этот миг от России, а они находились на границе Германии; и могли каждую минуту по желанию вернуться на родину; меня удивляло, что этого Ася не понимает: мое поведение — просто элементарное поддержание чувства собственного достоинства, не позволяющего, чтобы тебе наступали на ноги; Ася упрекала меня в шовинизме, не уважала во мне русского и, как мне казалось, унижалась до согласия с немецкими бреднями; в эти дни я сильно страдал от сознания, что Ася душевно и духовно предала Россию прусскому милитаризму; это было не так, конечно; но выходило, что — так, раз она откровенно желала России поражения.

Доктор в эти дни уехал в Германию⁶³; М.Я. Сиверс нас приглашала на чай; и за чаем высказывалась за Германию; мне это свидание оставило горький след; я увидел, что и она заразилась прусским милитаризмом (доктор держался по отношению к всем нациям с безукоризненной корректностью, но я подозревал, что и он в глубине души задет общим угаром). Мое положение в Дорнахе становилось нестерпимо-мучительным: я тосковал по России, ненавидел не самих немцев, а отвратительный налет шовинизма на них; я страдал, что меня так не понимают, считают шовинистом; страдал за Асю и от Аси; к этому мучительному состоянию присоединялись странные поступки Наташи (до сих пор не знаю, прав ли я, или это все пригрезилось: Наташа впоследствии уверяла, что пригрезилось; но я сильно сомневаюсь, чтобы это было так); Наташа буквально нападала на меня в те дни со своим очень низменным кокетством, умело, рассчитанно растрavляющим мою чувственность, которая под влиянием этого нападения вдруг снова вспыхнула во мне; я боролся с нею, как мог, а она точно нарочно: появлялась у нас каждый вечер и отчаянно кокетничала со мной; я спрашивал себя: «Неужели Ася не видит происходящего? Не может быть: видит, но — равнодушна. Ей нет дела до моих переживаний; она — бросила меня на произвол судьбы». И я впадал в мрачную угрюмость и в замкнутость.

⁶³ Штейнер провел конец августа и первые две недели сентября (н.ст.) в Германии и в Австрии. С 26 сентября до 1 октября он опять читал лекции в Германии.

Вечерами, вернувшись после работы, я чувствовал холод и одиночество; Ася замыкалась в себя, а я выходил в общую кухню (нашу и Ильиной) и присутствовал при сборище русских; за ужином у Ильиной собирались: Н.А. Маликов, К.А. Лигский (живший с нами), К.А. Дубах; часто забегали: Фридкина, Мордовин, Фитингоф, Богоявленская и Костычева, и поднимались нескончаемые разговоры; я громил шовинизм антропософов; во время этих разговоров я близко сошелся с К.А. Лигским.

Иногда на нашу половину с Асей заходили: Петровский, Сизов иль Трапезников; стали заходить Седлецкие; часто бывали: О.Н. Анненкова и Волошин, приносивший свои эскизы; чаще всего бывали Поццо. И это было источником моих мучений; я не выносил Асю и Наташу вместе; мне казалось, что обе они, завладев каждая половиной моей души, измучивали душу.

Так мрачно окончился август.

(Продолжение следует)

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЕРЕПИСКА С М.К. МОРОЗОВОЙ

Хотя Белый лично познакомился с Маргаритой Кирилловной (1873-1958), женой известного фабриканта и коллекционера М.А. Морозова, лишь весной 1905 г., увлечение его Морозовой относится к 1901 г., когда он видел ее на московских улицах и затем «встречался с ней глазами» на симфонических концертах. С этого времени она становится адресатом лирико-романтических писем Белого. Она — и героиня «Второй Симфонии» Белого, и под именем «Надежда Львовна Зарина» она фигурирует в поэме «Первое свидание» (1921). С 1905 г. Белый постоянно бывал у нее в гостях и часто присутствовал и участвовал на заседаниях Московского религиозно-философского общества, которые происходили в ее московском доме. В трудные моменты своей жизни Белый получал от нее известную моральную поддержку, а в начале десятых годов и финансовую помощь от ее издательства «Путь». Она, как и другие московские друзья Белого, подобно С.Н. Булгакову, боялась, что «наступает настоящая бездна — Штейнер» (А.А. Блок и Андрей Белый. *ПЕРЕПИСКА*, с.295). В конце 1912 г. Белый «тщетно бросался... с объяснительными письмами, что ничего не изменилось: к Метнеру, Киселеву, Рачинскому, Морозовой, Крахту» (*ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ*, с.84). Он написал Морозовой пять длинных писем в этот период, объясняя свое решение и излагая содержание лекций Штейнера. В начале 1913 г. он ей отправил публикуемое ниже письмо, которое датируется берлинским (12.1.13) и московским (3.1.13) штемпелями и отвечает на письмо М.К. Морозовой (без даты), приводимое тут же (ЦГАЛИ, ф.25, карт.20, ед. хр.12):

Дорогой и милый друг Борис Николаевич!

Получила сию минуту Ваше письмо и пишу! Я Вам писала дважды за это время и как видно Вы моих писем не получили. Это и неудивительно, т.к. не успеешь опомниться, как Вы улетаете в другое место, потому сейчас пишу не откладывая, а то Вы того и гляди куда-нибудь упорхнете! Дорогой мой и милый друг, благодарю бесконечно за Ваши письма, я их храню (как вообще все Ваши письма) и часто перечитываю. Спасибо за них! Очень очень прошу Вас, продолжайте мне писать, мне так нужно знать что Вы и как! Прежде всего умоляю Вас не думать что со мной *нужна* полемика, потому Ваши письма я и не понимаю как полемику, а всей душой слушаю Вашу горячую речь обращенную через меня ко всем! Слушаю и всеми силами души хочу прислушаться не к словам, не к теоретическому смыслу, не даже к религиозным утверждениям, а к тому «о чем все это» и «к чему оно ведет»! Поверьте, что я глубоко заинтересована Штейнером, для этого мне достаточно того, что *Вы* пошли к нему, поверили ему и отдались ему! Как и что, каковы его теории, каков он как ученый, как философ — я не знаю, не могу судить, но это для моей души и не так важно! Хотелось бы, слушая Вас, следить и видеть плод «дела Штейнера»! Самой глубиной души я задаю себе *вопросы*, это *вопросы* только. Да разве в сущности все мы можем в самой глубине жизни задавать что-нибудь кроме вопросов! Главный мой вопрос — это оккультизм? Не то что я не принимаю смысла оккультизма и значения его. Наоборот, я уверена, что мы слишком мало знаем все чудесное, что пока для нас тайна и что мы должны идти к тому чтобы раскрывать эту тайну в нас и кругом нас. Все дело не в цели, а в средствах. Так вот мой вопрос, который я не критически холодно себе задаю, не осуждаю чего-то, как Вы подозреваете, а просто спрашиваю и со страхом и, каюсь, недоверием! Привыкла верить яркому солнцу, а ночь хотя и манит, но Бог знает какая там нечисть живет! А тут не все на солнце, иначе почему тайное? Я знаю, что сама жизнь тайна и пути ее таинственны, но это тайна мировая и хранительница ее церковь и что бы там ни было, плохо ли, хорошо ли, но средства и цели ясны, т.к. опираются на всечеловеческий, объективный опыт! Я знаю там, что вручаю себя, свою волю не личной, отдельной, произвольной воле, а чему-то общему, основанному на долгом историческом опыте. Видите какая я трусиха! Я вот и озираюсь со страхом, что Вы вручаете свою волю и силы *отдельной субъективной* воле, хотя и гениальной может быть. Потом очень волнует меня вопрос о том как возмож-

ны оставаясь в мире, в браке, в борьбе, в культуре все эти оккультические упражнения? Хватит ли сил человеческих? Мне ясно, что отказавшись от жизни, уйдя в монастырь я подчиняюсь старцу и под его руководством начинаю развивать в себе внутренние силы! Но оставаясь в жизни, не достаточна ли сама жизненная борьба, сама жизнь, труд, постоянное лишение, необходимость давать другим, любить других! Дай Бог, чтобы хватало сил и на это, а тут надо отдавать силы на подчинение отдельной личности и тратить их на трудные упражнения, не путем жизненного труда на своем посту, а путем отдачи себя (хотя и временной) в пассивное состояние. Дорогой, ради Христа не сердитесь, поймите, что не дама с султаном говорит с Вами, а душа моя обращается со своим сомнением. Я от всей души счастлива, что есть на свете такая *сила* как Штейнер, но я глубоко грущу и боюсь, что эта сила вместо того чтобы подымать в душах силы и поддерживать их на жизненном пути и не отрывать от их жизненного дела, вместо того сосредоточивает их около себя и углубляет в свое неизвестное! Что же это, монастырь? Если да, то это *мне* понятно, хотя и не по силам было бы. А если нет, то я боюсь этого неведомого, ночного! Что там в этой темноте сокрыто? Выражаю Вам *свой* страх! Я Вам верю, что Вы светлый, верю и что Штейнер светлый и говорит и думает о светлом, но *пути* его? Знает ли он сам куда они ведут? Дорогой пишите что Вы? Что Ася? Долго ли Вы еще будете там? Я знаю, что Вы вернетесь сюда на Ваш жизненный путь, знаю, что Вы *для него* всем сейчас жертвуете! Христос с Вами.

Ваша М.Морозова.

[январь 1913 г., Берлин]

С Новым Годом!

Милая, родная,
Маргарита Кирилловна,

Простите ли Вы мне это странное, непричесанное письмо, начало которого я вынул, ибо оно о событиях, уже минувших, о Москве, о ворчанье, и т.д. Я сперва начал Вам обыкновенное письмо на обыкновенной бумаге, но её не хватило. Я продолжил просто на листах. Вышло оно несуразно и обрывочно (в промежутке его — дела и поездка в Кёльн). И вот заканчивая письмо, пишу новое к нему начало.

Громадное спасибо за ласковое и хорошее Ваше письмо: оно меня глубоко затронуло и прежде всего захотелось Вам безмерно много сказать.

Я хотел сразу, в одном письме ответить Вам на все Ваши вопросы, но один вопрос, вопрос об «*окультизме*» разросся в целую систему ответа.

Итак, милая, хорошая Маргарита Кирилловна: пока я лишь показываю Вам паспорт отношения моего к пресловутому «*окультизму*». И лишь в следующем письме коснусь других Вами затронутых вопросов (о *свете*, о *христианстве*, о *старцах* и т.д.). Но, чтобы писать не в пустоту, я продолжу *это свое письмо* лишь после получения от Вас ответа.

Милая, не пугайтесь размеров письма и прочтите его внимательно. Начало его (о передрягах с Москвой) я вынул.

Пишу, родная, так подробно, ибо всё это больной пункт мой. Так трезво, тихо, нормально сидишь у *себя* в углу и никому не мешаешь, а к Тебе насильно врываются нездоровые струи болтовни и суеты.

Вот почему я стал осторожен и, каюсь, подчас подозрителен: ряд инцидентов вокруг меня и друзей — инцидентов вздорных, раздуваемых в «*события*» — измучил меня за эти 8 месяцев.

Отсюда и мое письмо к Вам*.

Ну, не стану о *треволнениях*: буду подробно Вам отвечать на хорошее, ласковое, светлое письмо.

Милая, хорошая: такой теплый луч идет от Вашего письма; и так мне легко и светло отвечать на Ваши сомнения о Докторе (верней о его деле): только тут ведь могут быть сомнения; дело не в личностях, а в устремлении пути; есть ли *окультизм* Путь? Не знаю: я ведь очень холодно отношусь к терминам. Когда говорят «*окультизм*» то разумеют прежде всего оккультическую литературу XIX столетия (второй половины) т.е. сочинения талантливых и неталантливых синкретистов, смешавших воедино все исторические памятники «*Geheimwissenschaft*»; обыкновенно такие книги все шарлатанского духа: пишущие или рассчитывают на легкоеверье, или сами ни аза не смыслят в том, о чем пишут, или думают, что смыслят, опираясь на рудиментарные, неразработанные способности своей души, открывающие им *кое-что* из написанного (в терминологии Штейнера лучшие из них обладают имажинацией т.е. астральным ясновидением: но эта имажинация

* В оригинале эта часть письма (от «Пишу родная...» до «к Вам») зачеркнута крест-накрест. Большинство всего текста письма написано зелеными или красными чернилами.

есть ясновидение сквозь густой туман субъективизма, смещающего контуры подлинной правды). Поэтому даже лучшие представители совр. оккультизма бессознательные шарлатаны (смешивая индивидуально узнанное в астральном плане с историческими свидетельствами мистики и т.д.). Таких честных шарлатанов «мало» (St[anislas] Guaita, d'Alveydre); далее идут уже явно шарлатаны вроде Eliph[as], Lévi, Папюса. И они доминируют. Оккультизм такого рода к «*Geheimwissenschaft*» относится так, как наименование *профессора* черной и белой магии (смотри представление в цирках) не имеет ничего общего с высоко-почетным университетским званием «профессор»...

Люди, мало знакомые с сутью *проблемы* (с принципами тайной науки) смешивают *достоверность* тайной науки с шарлатанизмом. Вы понимаете, конечно, что «*das ist nicht der Fall*» относительно меня. Это во-первых.

Во-вторых: под «*оккультизмом*» понимают то особое течение 15-го, 16-го и 17-го столетия, которое породило с одной стороны новую философию, новую науку, новую мистику. «*Оккультисты*» это те, кто стоял на рубеже между нашей эрой и средневековой схоластикой. Это те, кто подняли во имя *мистики* и *науки* знамя бунта против «догматизма» в кавычках Римской Церкви, противопоставляя интимное понимание религии (эзотеризм, оккультизм) средневековью и инквизиции, но которые верили в *магию науки* и в *научность магии*. Так их определяют поверхностно культурные люди «*века сего*». Имена их фигурируют во всяком учебнике истории *новой философии* в качестве предшественников *прогресса* и *цивилизации* века застоя. Я назову только следующие имена: Аббат Тритгейм, Агриппа Нетесгеймский (автор «*Occulta Philosophia*», убежденнейший оккультист), его ученик Иоган Вейер (ученый врач, первый настаивавший на том, что *ведьмовство* есть психопатологическая болезнь), Теофраст Бомбаст Парацельс, Генрих Кунрат, Николай Фламмель, Кирхер, Флюдд и т.д. (Флюдд, Кунрат, Кирхер, Парацельс — розенкрейцеры)*. Непош-

* См. «Комментарии» к СИМВОЛИЗМУ (М., 1910), с.460: «...как интересуют нас и мистики более позднего времени, относящиеся к эпохе Возрождения и после нее: Рейхлин, Пико-де-Мирандола, аббат Тритгейм, учениками которого явились два таких имени, как Агриппа с его последователем Иоанном Вейером и Теофраст Бомбаст Парацельс, ставший в скором времени знаменем глубоко интересного и доселе не отчетливо понятого, но во всяком случае глубокого движения, отпрыски которого развиваются и в наши дни; в то время как линия Агриппы пресекается вскоре, линия Парацельса ветвится; во-первых, упомянем фон-Боденштейна (1528-1577) ("Onomasticum Paracelsicum", "De lapide Philosophorum"); далее появляются сочинения ван-Гельмонта (1577-1644); появляется сочинение Генриха Кунрата из Лейпцига "верного жениха теософии"; (см. след. стр.)

лое понимание Джордано Бруно заставляет его без сомнения отнести к этому же ряду имен. Фаланга этих оккультистов произвольно переходит к отцам естествознания. Например Ньютон: его «сила» есть конечно «*qualitas occulta*». Говорю широко — и Ньютон оккультист: все ньютонианские теории в физике произвольно мистичны.

Отношение к историческому оккультизму двойко: его считают (большинство) предтечей новой эры одни, и его реставрируют другие: сочинения Кунрата, Парацельса переиздают в наши дни, видят здесь смыкуемые «глубины». Образно говоря, отношение к оккультизму этого рода либо «либеральное», либо «декадентское»; у Виндельбанда «либеральное», у нео-мистиков наших дней часто декадентское (Стриндберг, Гюисманс и т.д.).

Ни то, ни другое неправильно.

Если есть что-либо ценное в туманных эмблемах Кунрата или Агриппы, так это вовсе не то, что в них видны зачатки философских концепций, впоследствии развернувшихся в Лейбнице, Спинозе, Декарте; еще менее эти писатели — объект стилизации мысли наших дней (они ни сырая говядина для позднейшего блюда философии, ни декадентская корочка черного хлеба* после «Ананаса»). Лучшие имена их (Парацельс, Кунрат, Флюдд, Кирхер) — розенкрейцеры, т.е. люди, принадлежавшие к тайному братству, в котором культивировалось знание, недоступное иным: знание подлинного строения человека, его связи с космосом (связи не только моральной, но и анатомическо-физиологической); книги этой группы людей были лишь внешним выражением того, что в интимном смысле слова невыразимо словами, как нечто реально-опытное, достоверное; ведь физический, химический опыт в науке выразим в описании и суммирован в формуле. Опыт предполагает осязаемый объект. Объект химии — вещество, биологии — животный

ученый, каббалист и алхимик, Кунрат издает том своего "Amphitheatrum'a"; это произведение группирует вокруг себя видную группу мистиков: Швейгхардта, Ирениа (Irenaeus Agnostus), Михаила Майера, Роберта Флудда ("Macro et Microcosmus", "Tractatus Theologo-Philosophicus in libros tres distributus"); эта группа преемственно продолжается в виде ордена до второй половины XVIII века, когда в упомянутом течении происходит раскол /.../ в конце же XIX и в начале XX-го течения, основателем которого явились Тритгейм, Агриппа и Парацельс, вспыхивает здесь и там: и в сочинениях по истории мистики, отчасти даже в течении, именуемом "символизмом". См. также: «Среди выдающихся алхимиков прошлого мы должны отметить Раймонда Люллия (XIII века), Николая Фламелья (XIV века), Бергарда из Пизы, Гельвешия, ван-Гельмонта (XVII века), Генриха Кунрата, Иосифа Кирхвегера и других» (там же, с.490). О многих из них см. кн. АЛХИМИЯ КАК ФЕНОМЕН СРЕДНЕВЕКОВОЙ КУЛЬТУРЫ, В.Л. Рабиновича (М., 1979).

* Определение Сезанна С.И. Щукиным. (Прим. Белого).

организм. Объект оккультизма тоже реально виденный и осязаемый *объект*, но *объект* иного порядка: факт, взятый *не только* на физическом плане. Как же подойти к этому факту?

Но что есть обычный факт? Естествознание прежде считалось с фактами в грубейшем и примитивнейшем смысле: факт есть то, что я осязаю, например, обычным зрением; но если бы естествознание остановилось на этой стадии, то его и не было бы в нашем смысле слова. Вы знаете, что биология базируется на микроскопических исследованиях: *факты* из жизни *клеточек* лежат в основе современной биологии, а сама клеточка *не видна простым зрением*; и так для факта биологии, для объекта ее нужен *микроскоп*, а для астрономии *телескоп*, т.е. *прибор, инструмент*; инструмент становится между объектом и человеком. И если бы кто-нибудь стал сомневаться в существовании клеточки, того по заслугам бы осмеяли.

Заметьте: популярное понимание мира, основанное на фактах принимается нами на веру, ибо изучение *объекта* естествознания ведется столь тончайшими специалистами, что заговори они с нами на их техническом языке, мы услышали бы *абракадабру*: вывод науки словесный есть всегда популяризация чего-то непопулярного; в науке есть своего рода деление на *кларизм* (экзотеризм) и оккультизм (эсотеризм). *Кларистично* популярное изложение того, что есть сущность звука, и *оккультна* в этом смысле «Теория слуховых ощущений» Гельмгольца. Почитайте Гельмгольца, и Вы ничего не поймете, а Вы все-таки Гельмгольцу *верите*, ибо знаете, что Гельмголец *проверяем*, но... таким же специалистом, как он. Видел ли кто-либо, как две частицы водорода соединяются с частицей кислорода? Нет. Но возьмите соответственные порции и проведите опыт: Вы получите воду (то есть 2 водорода + 1 кислород). И Вы скажете: доказательство *невидимому* есть произведенный мною опыт с такими-то результатами.

Но для произведения опыта нужен прибор.

То же и в *Geheimwissenschaft* (тайной науке). Кто докажет мне что эфирное тело есть? Никто не докажет, ибо не доказуемо в химии существование атома, но признание его необходимо, раз имеют место такие-то опыты. Произведите морально мысль в таких-то условиях, сосредоточьтесь так-то и такой-то цикл явлений Вам будет открыт; и по сумме явлений Вы признаете, что существование эфирно-атомического строения мозга, которого грубым уплотнением является мозг физический, есть столь же необходимая гипотеза, возведенная в догму, каковой является *догма* о существовании эфирного тела. Вы скажете, почему именно такие-то в принципе случающиеся феномены суть вызывают к эфирному

телу, а не к чему бы ни было другому. Но это вопрос, на который *специалист* «тайной науки» ответит: «Чтобы судить о правильности гипотезы, возведенной в *догму*, надо увидеть, как гипотеза эта естественно вырастает в Вас, как объединение опытных данных, а опытных данных для суждения у Вас нет. Для изучения химии нужен ряд *приборов*». Вы спросите: «Где же фабрика приборов для *этого** рода опытов?» Вам ответят: «Фабрику для изготовления приборов нужно построить Вам самим по имеющимся планам при содействии архитектора, и когда фабрика будет построена, тогда будут приборы и приборы точнейшие». Вы скажете: «Да, но если *прибор* для изучения есть так сказать морально-физиологическое очищение и сосредоточивание себя так-то и так-то, то это во-первых — индивидуальный самогипноз, во-вторых путь, который закрыт для всех». И Вам ответят: «Но оставаясь на строго-научной почве Вы не можете строить, не имея *данных*; чтобы так сказать, надо что-либо *знать фактически*: объясните-ка крестьянину, что на солнце открыт был сперва металл гелий, и крестьянин Вас засмеет». Даже тончайшие мистики, не испробовавшие реально-окультурной учебы, суть такие крестьяне, оспаривающие и самую возможность открытия *гелия* на солнце, когда открытие это фактически *уже совершилось давно**. Во-вторых, специалист Вам скажет: «В принципе *да*, но в реальности нет: далеко не всякий способен окончив 8 классов гимназии, 4 курса математического факультета, сдавши магистерский экзамен убедиться осязательно в правильности скульптурной лепки фигур 4 измерений в трехмерном пространстве (такова в высшей математике скульптура фигур по Вейерштрассе — своего рода математический оккультизм); то, что мы верим, что это возможно, основано не на нашем знании, а на доверии к *специалисту*». Если механическое усвоение вершин знания требует далеко не механической усидчивости, то во сколько раз *сложнее, деликатнее, тоньше* приборы оккультизма, рост органов эфирного и астрального зрения, находящихся у нас в зачаточном состоянии (анатомия и физиология этих органов разработана в теории и проверяема на практике: органы эти — цветки лотоса — в места лба, гортани, сердца, солнечного сплетения и т.д. *связаны* с определенными достижениями оккультизма). Ко всей сложности *технического* достижения должно присоединить самообладание, мужество, дерзновение, режим, особые медитации и что главное: постепенное очищение моральное и душ. покой [и] даже (что важнее многого) контроль и этика мыслей и чувств, ибо мысль реальнейшее из реального; и дисгармония мыслей, сходя-

* Подчеркнуто красными чернилами.

шая с рук профану, становится воистину *серной кислотой* для неопита в его первых, робких шагах. Что это все *не теория*, а винты и отдельные части оккультических *микроскопов* и *телескопов*, это мы знаем уже по себе. 5 месяцев *преддверия* *приготовительного класса* учебы мне показали реально, что *объекты* оккультизма столь же осязательны, как объекты научного исследования; в 5 проведенных при Докторе месяцах мы узнали *достоверно* то, что во всю жизнь не знавали; узнали и то, что *трезвость*, *контроль* и *проверка* отграничивают строго эти области от субъективного (ну, что скажешь Вам, если Вы скажете, что *ауры* нет, когда *я вижу** ауру, и когда она золотая, то это не мне кажется, а кажется *всем одинаково* кто ауры видит; а когда она синяя, то она *синяя* для А, В, С, D и т.д.).

Все это пишу Вам я так пространно, чтобы наметить следующие положения: начало естественного разграничения между *оккультным* и *неоккультным* уже лежит в естественном порядке вещей, *в нашей науке*, в процессе нарастания сложностей по мере углубления в природу вещей: там где поэты, мистики, бессознательные провидцы восклицают «мысль изреченная есть ложь», там где измеряющие обычным способом океаническую глубину подсознательного и надсознательного говорят «*здесь кончается лот измерения*», там оккультизм не отчаиваясь перед хаосом подсознательного и не ослепляясь от солнечного блеска надсознательного *трезво* изыскивает способы изучения и фиксации в формуле *неизреченного*. И фиксированная формула, красноречивая для того, кто *методично* и *четко*, *без головокружения*, сходит в глубину или восходит в высоту, для мистика только, поэта или обычного философа будет *абракадаброю*, как была бы *абракадаброю* для греческого философа-физика столь ясная для *современного физика* формула: $pv = p_0v_0 (1 + \alpha t)$. «Что это за p , v , α , t ?» воскликнул бы греческий философ. — «Нравится Вам или не нравится, но это — так: это — символическое выражение закона Шарля и Бойля, проверяемое опытом»... Так ответил бы физик-ученый.

Поймите: деление на *скрытое* и *явное* — деление, которое Вас шокирует, есть деление основанное не на желании спрятать, а на невозможности доказать толпе, отрицающей то или другое без проверки. Но дело не в том, что оккультисты прячут проверку; дело в том, что условия проверяемости требуют здесь от желающего проверить полного изменения своих привычек и обычных схоластических предвзятостей, т.е. полной объективности спокойного неполемического зрения и изготовления *прибора*. Пред-

* Подчеркнуто красными чернилами.

ставьте себе человека, абсолютно не верящего в то, что при критической температуре *вещество* прямо, мгновенно из жидкого состояния переходит в газообразное (обычный опыт, показываемый студентам естественникам первого курса); профессор физики говорит такому неверующему: «Я вам могу это доказать не на словах, а на опыте». Неверующий: «Хорошо, покажите: пойдете в кухню, я дам вам воды, вскипятите ее так, чтобы пара не шло и чтобы вода мгновенно исчезла из кастрюли». Профессор физики: «Я вам не могу это здесь показать: мне нужен прибор». Неверующий: «Какой такой прибор: слова о приборе, ссылка на отсутствие условий опыта увёртка». Профессор физики: «Я с вами спорить бессилён, приходите ко мне завтра в лабораторию». На другой день в лаборатории профессор объясняет: «Видите этот крошечный сосудик: здесь запаяна жидкость в пространстве, где разрежен воздух; сосудик находится в условиях необычайного давления; теперь я нагрею до соответственной температуры и сразу жидкость превратится в газ». Неверующий: «Да, но сосудик мал и не видишь, что произойдет там; далее, сосудик ваш находится в системе стеклянных сосудов и его нельзя взять и поднести к глазам». Профессор: «Не беспокойтесь: сядьте сюда — я направлю луч из волшебного фонаря на сосуд и отражу его на экране в увеличенном виде: видите? Вот сосуд: вот эта черта на экране есть граница жидкости... Я нагрел — видите, граница мгновенно исчезла...» Неверующий: «Это всё какие-нибудь фокусы. Я требовал осязаемости: вместо этого вы сосудик от меня спрятали под стеклянный колпак; я глазами не видел, как жидкость мгновенно перешла в газ: я видел лишь, как на экране мгновенно исчезла черта; почему я знаю, что там произошло в сосудике...» Профессор: «Я вам показал реальный опыт, научно обставленный; но вы опыт находите не реальным: простите — я полагал, что вы прошли гимназический курс физики; оказывается, вы не знаете, что есть опыт. Подите, почитесь, а пока я на все ваши возражения буду отвечать вам молчанием». Неверующий: «Это не ответ: вы просто прячете доказательство; явное делаете тайным, чтоб морочить людей. Да оно и понятно: где видано на земле, чтобы жидкое мгновенно переходило бы в газообразное: будь это так Атлантический океан мог бы мгновенно исчезнуть...» Профессор: «Будь возможность сам океан заключить в систему подобных сосудов, с ним произошло бы то же, что с этой капелькой жидкости. В принципе океан может мгновенно исчезнуть». Неверующий: «Шарлатан вы: вы говорите ерунду; (к окружающим) господа — профессора морочат народ: бить их» (далее происходит университетский погром). Сопоставьте предшествующие мои слова о

тайной науке с этою сценою и Вам станет ясна моя мысль. Делаю транскрипцию этого разговора: Адепт *тайной науки*: «Эфирное тело есть». Профан: «Оно недоказуемо». Адепт: «Извините, оно доказуемо». Профан: «Доказуемость в опыте». Адепт: «Эфирное тело доказуемо *на опыте*». Профан: «Покажите мне его на опыте». Адепт: «Для этого нужно, чтобы *лепестки лотоса там-то* в вас задрожали, а для этого нужно, чтобы вы вели такой-то образ жизни, нужно очищение вашего тела и не только физического, но и эфирного, но и астрального: нужно моральное стремление, сочетаемое с тем-то и тем: это и есть та лаборатория, в которой убеждаетесь вы в существовании эф[ирного] тела...» Профан: «Я хочу тотчас же». Адепт: «Т.е. вы хотите грубыми средствами, разрушающими здоровье и этику, удовлетворить свое любопытство; извините, я не могу вас удовлетворить: это было бы колдовством, а с колдовством, гипнозом и порабощением воли оккультизм не имеет общего...» Профан: «Хорошо, я согласен учиться...»

Проходит год.

Адепт: «Вы видите *то-то и то-то*, вы испытываете при этом *то-то и то-то*. У вас были такие-то и такие-то моральные переживания. Болело здесь, здесь и здесь: после чего вы стали физическими глазами видеть *такое-то* истечение». Профан: «Совершенно верно, откуда вы это знаете?» Адепт: «Странный вопрос: я знаю, ибо это всё есть просто знание физиологии, знание физиологической зависимости физического тела от эфирного. Наука предсказывает затмения, оккультист ученику рассказывает то, что этому последнему кажется субъективнейшим субъективнейшего в себе... Истечения такого-то цвета?» Ученик: «Не совсем такого-то». Адепт: «Стало быть вы сделали такую-то ошибку, вы не так делали медитацию в этом-то месте». Профан: «Я делал *то-то*». Адепт: «Не совсем то. Надо делать то-то и то-то. Приходите ко мне через месяц: тогда мы двинемся далее». Профан: «Я позволю напомнить вам, что год назад вы сказали, что я увижу эфирное тело, а я увидел и узнал бесконечно многое, но совсем другое: *то-то и то-то*». Адепт: «Позвольте: *то-то* есть слабое видение вашего эфирного мозга». Профан: «Я себе не так представлял». Адепт: «Вы себе представляли неверно». Профан: «А чем вы докажете, что эти *течения* эфирные?» Адепт: «Я докажу это только тогда, когда у вас будет *то-то и то-то*, когда *объект* ваших опытов обрисуетя точно». Профан: «Я не хочу больше ждать». Адепт: «Вы хотите воочию убедиться в достоверности опытного принципа, не имея еще опытных данных; согласитесь: трудно в физике доказать кинетическую теорию газов тому, кто только

всего и знает, что тела, погруженные в воду, теряют вес, равный объему вытесненной жидкости: у вас нет терпения продолжать учение». Ученик: «Я вам не верю: вы шарлатан». Адепт: «Я с вами заговорю лишь тогда, когда вы окончите среднюю школу оккультизма...»

Проходит 2 месяца и... профан печатает: «Разоблачение тайной науки», в которой доказывает, как он постиг методы оккультизма и пришел к выводу, что *оккультизм* — самогип[ноз]*.

И люди века сего восклицают: «Видите, видите: мы всегда говорили...»

Вот почему создалась естественно та стена, которая отделяет *тайную науку* от *просто науки*. Джордано Бруно был сожжен на костре физическом за то, что был впереди века. Тайная наука остается *всегда впереди*: и потому-то ее удел — костер смеха вокруг нее. Но граница между ней и просто наукой постоянно передвигается; граница эта изменяется в зависимости от эпохи, нации, периода времени. Последняя глубина *Geheimwissenschaft* головокружительно опасна *для слабых* (*динамит*, полезный только в руках *моральноразвитого* мастера, и гибельный, когда попадает в руки *товарища*: *динамит* средство взрывать граниты загораживающие путь; в руках у *товарищей* динамит средство взрывать людей... Достанься *тайное знание* в руки морально нетвердого общества — оно разорвало бы и человечество, и земной шар); а окраины *Geheimwissenschaft*, пограничные с жизнью, постоянно меняют свои контуры; так основы современной науки, теория вращения планет, объединяющая воедино и птолемею систему, и систему Коперника, были достоянием *Geheimwissenschaft*, которая сознательно сперва пустила в оборот систему Птолемея, а потом систему Коперника; бывшее *тайным стало явным*; обратное излечение морально эфирным током было вовсе не тайным: были медицинские институты *явные*, [учившие]** излечивать наложением рук. Одно время (не теперь) эти примитивно-явные знания отошли в область тайного (граница передвинулась здесь в обратную сторону). Эти передвижения границ между явным знанием (Земля — шар), так сказать явным (скульптурная формула Вейерштрассе), так сказать тайным (проблемы изучения действия мыслей на расстоянии) и просто тайным 1) обусловлены моральной недисциплинированностью среднего человека 2) созданы, как ограда для блага среднего человека 3) эти передвижения границ совершаются во имя спасения человечества ради тактических це-

* У Белого: «самогиптом».

** У Белого: «лечившие».

лей. И даже: первые этапы *тайного*, намечаемые в культуре мистерий, также меняются во имя среднему человеку недоступных благих целей; так: мистерии Индии суть культура эфирного тела, Египта — культура астрального тела; мистерии христианства — культура человеческого «Я» и т.д.

Повторяю: границы отделяющие *явное* от *тайного* естественны, а не насильственны и обусловлены *знанием, мудростью и светом*, а не хаосом, тьмой неизвестности и экстазом.

Вы пишете: «Главный мой вопрос — это оккультизм? Все дело в цели, а в средствах... Так вот мой вопрос, который я не критически холодно себе задаю, не осуждаю чего-то, а просто спрашиваю и со страхом и, каюсь, недоверием! Привычка верить яркому солнцу, а ночь хотя и манит, но Бог знает, какая там нечисть живет! А тут не все на солнце, иначе почему таятся?»

Я надеюсь, что вышенаписанное мной есть ответ на слова, почему не *все на солнце*.

Итак, что есть солнце? Глаз наш, ошупывающий солнце, или животворное действие тепла солнечных лучей — тепла Христова. Прежде всего проблема о *тепле* и *свете*. Свет Свету рознь: свет ледяной снежной равнины, когда солнце за облаками есть *свет* без тепла но солнечный. Тепло молитвы Иисусовой, произносимой в темной комнате и физически даже осязаемой, как тепло в груди и в сердце есть *тепло* без физического света.

Итак, что есть свет? Что есть *тепло*? Что есть свет без тепла? Что есть *тепло* без *света*? Что есть *свет* и *тепло*?

Постараюсь подробно ответить по крайнему разумению, но сперва отвечу, как я отношусь к слову «*оккультизм*».

Милая, после недельного перерыва возвращаюсь к письму (в середине лежит Кельнский курс Доктора «*Бхагават-Гита и послания апостола Павла*»): итак слово «*оккультизм*» не волнует меня, не связывает: это не «*оккультизм*» заставил меня, бросив все, сесть у ног Доктора покорным учеником; но и оккультизм не то, что Вы себе представляете: это не какое-нибудь волхование, упрятывание тайны, а известный познавательно-практический путь обставленный опытами и обучением, как *всякая наука*; разница между точной наукой и оккультизмом та, что благодаря особым условиям праксиса *объект* тайной науки (оккультизма) безгранично деликатнее и сложнее нежели всякий другой объект естественной науки; потому и профессора этой науки очень, очень редки; и методы естествознания с их микроскопами и телескопами составляют нечто *носорожье* по сравнению с деликатными и чув-

ствительными «приборами» окк[ультной] науки (приборы эти, так назыв[аемые] *цветы лотоса*, суть органы нашего более тонкого тела и их мы должны организовать предварительно особыми приемами, даваемыми учителем). «Тайная» наука — название историческое, традиционное; «тайными» науками прежде считались и математика, и физика, и знание электричества. Вы знаете, что суть науки не в термине: *физикою* прежде называли и науки, составляющие ныне предмет зоологии, физиологии; а современная физика скорее не физика, а *динамика*; современная *биология* скорее *гистология* и *эмбриология*; но мы говорим *физика*, *зоология*, сохраняя за наукой сместившийся уже исторический ее термин; таким же историческим термином является *оккультизм*, ибо *оккультисты* вроде Кунрата, Гельмонта, Парацельса были не только историческими предтечами новой науки и новой философии, но и владели многими знаниями чисто практического, действенного познания: т.е. был момент, когда передовые гении человечества в смысле теоретического мышления были еще кроме того соединены в *тайное братство* (розенкрейцерство); оккультистами были те, кто соединяли знание о природе внешней со знанием о природе души; последующий разрыв между *этими знаниями* в силу ряда сложных, необходимых исторических условий и создал искусственное деление на *тайное* знание и *явное* знание; противополжение между тем и иным смешно.

Противополжение это усиленно раздувается *носорогами* от науки и шарлатанами от оккультизма. *Оккультизм есть наука*: и он не прячется; на циклах Доктора сообщаются *почти на площади* (при 500 аудитории) вещи оккультнейшего порядка; не забудьте: эти 500 человек (почти площадь) состоит частью из людей, которые сами состоят в ученичестве у Доктора, частью принципиально не предубеждены против «*Geheimwissenschaft*»; частью это просто не болтливые люди; *тайна* тут только в том, что лекции Доктора изъяты из публичного обихода и изданы на правах рукописей; но это на том же основании, на каком *рел[игиозно]-фил[ософское] О-во* не собирается в Моск. Художественном Кружке. Совр[еменное] О-во настолько погрязло в предрассудках, что сообщать ему нечто, требующее для восприятия и еще моральной работы над собой и проверяемое лишь на личном опыте, — сообщать это, значит воистину кощунствовать. Доктор от толпы не прячется: каждые две недели в Берлине он не только читает публичную лекцию, но и пространно отвечает с кафедры на все предложенные вопросы. Доступ к *оккультизму* открыт: нужна только добрая воля и личная инициатива; и далее: *терпение в работе* и доверие, что терпеливо и безуспешно веденная работа в один день

даст свои плоды. И так нетерпеливость, недоверие, отсутствие доброй воли и личной активной инициативы со стороны критиков *Geheimwissenschaft* может породить впечатление, что тайная наука для чего-то *упрятывается* под спуд. «Оккультизм» в смысле Вашего письма не существует.

Нельзя же ведь в самом деле опытно работать в лаборатории со студентом, предлагающим профессору вопрос: «Почему атомный вес серы 32, а не 33?» Профессор на это ответит: «Оттого, что 32: это факт, а не размышление: я несколько не виноват, что Ваше желание, чтобы вес атома серы был = 34 по сравнению с водородом, не осуществимо, ибо вес серы = 32; и это так; вам это может нравиться и не нравиться; мне тоже может это не нравиться, но *факт остается фактом*».

Вспоминаю, как некогда Гр[игорий] Ал[ексеевич] Рачинский кому-то говорил: «Почему 16 лепестков у такого-то цветка Лотоса, а может быть 18?» Вопрос Гр. Ал. Рачинского есть тот же вопрос студента. Доктор на этот вопрос лишь ответит: «Я не виноват, что такой-то орган астрального тела так-то построен: спросите об этом у Господа Бога: я не Господь Бог, но я изучал анатомию астр. тела; и не я один, а все изучавшие считались с такою-то анатомической формой, а не эдакой». Поймите: возражения, подобные приведенному, отскакивают от *тайной науки*, как досужее схоластическое измышление отскакивает от *факта*, или как горох от стены...

Теперь, когда и мы с Асей стоим у преддверия опытной части *Geheimwissenschaft*, невыразимо смешны иные теоретические опровержения положений Доктора; например: в известном месте он говорит: «Таков факт, проверяемый (путь проверки остается открытым)». А на факт возражают: «Совместимо ли это умозрение с каноном ортодоксальной церкви?» Здесь опровержение Доктора *умозрением* для меня уже сейчас просто смехотворно и напоминает возражение современников Николаю Копернику: «Совместимо ли с достоинством Славы Божией, избравшей Землю центром вселенной, что Земля, центр вселенной, бегаёт вокруг солнца?» Вы понимаете, что исследования Коперника ни умаляют Славу Божию, ни явно доказывают ее, ибо исследования эти и исследования *Славы Божией* несоизмеримы: методы несоизмеримы. Мы это знаем теперь хорошо о Копернике; но то же надо сказать и об оккультизме.

Оккультизм *позитивен*, а не *спекулятивен* и он ни задевает религию, ни строит ее; просто оккультизм несоизмерим с *телеологией*; связь *что* оккультизма с *для чего* — это уже метафизика Доктора Штейнера; в *метафизике* своей он философ, как всякий

другой; правда, он строит мост: от оккультизма, как науки, к метафизике и философии истории, от этих последних к мистике, и от этой последней к религии и обратно. Но мост строил и Вл. Соловьев.

Поймите: назвать Штейнера оккультистом можно: С[ергея] Н[иколаевича] Булгакова можно назвать *политико-экономом*, меня — *естествоиспытателем*, Достоевского — *инженером*, Ницше — профессором филологии; но смысл деятельности С.Н. Булгакова — религиозно-философская деятельность, лишь косвенно отражающаяся на специальности С.Н. (политическая экономия); смысл деятельности Достоевского — религиозно*-художественный; я — кто я? Я могу писать статьи, стихи, романы, критику; но могу быть и естественником (когда-то писал рефераты по физике и зоологии). Я и сейчас могу взять и написать статью: «О период[ической] системе элементов». Кто я? Географ? Химик? Поэт? Критик? Беллетрист? Доктор Штейнер: ученик Геккеля и прекрасно осведомлен о последних научных открытиях; кроме того: два года он писал в газетах рецензии на книги поэтов и на театр; специальность его — *Geheimwissenschaft*, но он имеет пламенные религиозные-философские убеждения.

Ныне я учусь у Доктора Штейнера предмету его специальности: я ученик его в *Geheimwissenschaft*, как был я учеником проф. Анучина и писал последнему сочинение об «*Оврагах*»**. И поскольку «*физическая география*» не изменила ни капли мои религиозные, эстетические убеждения, постольку *Geheimwissenschaft*, как бы я ни отдавался ей, оставляет мои симпатии и антипатии в других сферах знания и мысли; но те приобретения в чисто опытном пути, какие могут для меня встретиться, конечно могут влиться и в мои философско-эстетические взгляды, подобно тому, как любовь к естествознанию отразилась (надеюсь ко благу) в творчестве Гёте («*Избирательное сродство*», «*Теория цветов*», «*Позвоночная теория черепа*» и т.д.). Можно ли сказать: естествознание поработило волю Гёте? Не сказать ли наоборот: оказало воспитательное значение.

Поймите: оккультизм для меня средство, как и для Доктора средство. Доктор — оккультист; но и — религиозный проповедник, и мистик, подобно тому как С.Н. Булгаков политико-эконом; но религиозность С.Н. ретроспективно преломила его политиче-

* В конце листа рукой Белого написано: «(продолжение в другом конверте)». На следующем за ним листе написано: «(Продолжение)».

** Белый писал свое кандидатское сочинение «Об оврагах» проф. Дмитрию Николаевичу Анучину. См. *НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ* (М.-Л., 1931), с.452-460.

ские взгляды, как прежде *политическая экономия* влияла на путь, на тонус подхода к религиозной проблеме вообще; так *окультизм* Доктора оказывал влияние на *тонус* его касания проблемы религиозной; и обратно: христианская проповедь Доктора отражается ныне на взглядах его о задачах и целях *Geheimwissenschaft*. Окультизм и религия в той же мере соприкасаемы, как соприкасаема религия с вопросами политической экономии: *соприкасаемы, но не смешиваемы*. И мое доверие к Доктору в сфере *Geheimwissenschaft* соприкасаемо с моим восторгом по отношению его мистической и религиозной миссии: соприкасаемы, но не смешиваемы: в области *Geheimwissenschaft* я учусь у Доктора; в областях мистики, религии, я восторгаюсь, соглашаюсь, спорю, сравниваю свою точку зрения с его, беру что мне надо, и т.д. *Учение* и любовное доверие, *Geheimwissenschaft* и индивидуальная мистика Доктора не смешиваются в душах его *учеников*; *свобода* личного почина, свобода мысли, отношения к Доктору безграничны; инициатива личная, творчество личное лишь окрыляются у Доктора: кто этого не понимает, тот ничего не понимает ни в Докторе, ни в *ученичестве* у Доктора.

Те или иные методы окк. работы *мне нужны*: и Доктор, давая мне указания уподобляется профессору, дающему указания ученику, ведущему самостоятельную работу по химии: профессор может дать, как опытнейший, совет, так-то загибать стеклянную трубочку, так-то выпаривать жидкости: но эти указания технические, не влияющие на выбор и род работы. Ни о каком монастыре, ни о какой отдаче воли не может быть речи; если я — земля, на которой растут цветы, то я — земля — могу просить химического удобрения; те или иные советы Доктора касаются о характере удобрения земли: а что на этой земле растет: цветы или чертополохи, это уже от меня лично зависит.

Ваши слова об отдаче воли вполне понятны, ибо они естественно возникают в тумане московского, предвзятого, химерического, *умственного* и *только умственного* представления о Докторе и его пути. Следует лишь раз лично увидеть Доктора или раз поговорить с ним, чтобы понять *беспочвенность* и *схоластичность* мнения, будто дело Доктора — монастырь, а не строительство новой, *религиозной* культуры, а путь к Доктору — отдача воли, вместо увеличения творческой независимости.

Да вот Вам: «Ни один учитель эсотеризма, давая эти правила (т.е. медитации, концентрации, контемплации), не имеет в виду посредством них господствовать над людьми. Никто не ценит и не охраняет человеческую самостоятельность, как учителя оккультизма... Орден, обнимающий всех посвященных, окружен стеной...

Если же посвященный выступит из замкнутого пространства наружу и войдет в общение с людьми, тогда для него входит в силу третий строгий закон: «*Наблюдай за каждым твоим действием и... словом, так, чтобы через тебя ни один человек не испытывал давление на свободное решение своей воли*»... («Путь к Посвящению» русс. пер. стр.64) и далее: «Кто убедится, что учитель эсотеризма проникнут именно таким настроением, тот не будет опасаться за свою самостоятельность, когда последует практическим правилам, которые ему предлагаются» (там же, стр.64). Убедился ли я, что это так? Слишком убедился, ибо слишком видел людей вокруг, трагедия которых не в том, что Доктор связывает волю, а в том, что не берет настойчиво предлагаемой воли и уклоняется влиять на то или иное решение.

А что Доктор Штейнер — посвященный, то это так же мне ясно, как напр. то, что Ницше *не бездарность*. Это уж — позвольте мне *знать*: живя в *быту* окружения Доктора мы привыкли просто смотреть на *такие факты* доказательства этого, что придется усиленно *заграждать свои уста* молчанием дабы не прослыть даже перед ближайшими друзьями лгуном. Ведь *мы*, ученики Доктора, находимся под непрерывным дождем *явлений*, из которых каждое *в мире сем* сочли бы за чудо: *и вот то, что мы молчим об этом*, дабы нас не назвали лгунами и дабы тень шарлатанизма от наших сообщений не пала на Доктора Штейнера (ибо даже Вы мне не поверили бы, если бы я Вам рассказал все реально-чудесное, бывшее с нами за эти 8 месяцев) — это вот *вынужденное молчание*, тягостное (ибо тут нельзя говорить, а надо вместе *видеть* и *осязать*, т.е. прийти к Доктору) и является тем *удивляющим фактом*, что ученика Доктора Штейнера можно обливать градом доказательнейших рассуждений о том, что штейнерьянство схоластика, что оно отвергает благодать, что оно — без творчества, схематично: ученик Доктора Штейнера, если он *реальный* ученик, а не только член его О-ва, — ученик Доктора Штейнера будет сидеть и молча улыбаться: слыша *умствования* он будет вспоминать *пережитые факты*; и вместо всякого возражения скажет: «Поехали бы Вы сами к Доктору, а потом и поговорим».

Несоответствие книжной критики и досужего разглагольствования по поводу напечатанных его книг с реально пережитым и благодатно чудесным — вот глубокий непереступаемый ров между учеником Доктора и неучеником.

Вопрос о том, знает ли Доктор, куда ведет он (Ваш вопрос) есть в сущности вопрос о том: посвященный ли Доктор?




Я тут не могу убеждать или разубеждать, а Вы не можете ни верить, ни не верить. Я могу лишь свидетельствовать: «*Да, — он посвященный*». И как всякое реальное свидетельство, свидетельство мое будет текстом из послания Ев. Иоанна: «*О том, что видели, что осязали руками своими*».

Противники Доктора все только говорят, а ученики его молчат, но: «*видят и осязают*». Оттого-то вечное недоумение спорщиков: им кажется, что они в лоск уложили штейнерьянство, а ученик Доктора (видят они) глазом не моргнет. Тогда спорщики говорят: «*Штейнерьянство губительно отражается на самостоятельности, порабощает волю и мысль*». Они не подозревают, что не в штейнерьян-«стве» дело, а в личности *Посвященного*. Доктор Штейнер так же далек от нарисованного образа его, встающего со слов очевидцев, случайно соприкоснувшихся с ним, книг или рассуждений, как *Монреальский Собор*, около которого, для которого прожили мы 10 дней в холодной комнате, от открыток, изображающих собор, которые мы посылали в Москву. Мне не нравится открытка, скажет Г.А. Рачинский; мне не нравится сам собор, скажет Э[мили] К[арлович] Метнер; возражение Гр. Алексеевичу: на открытке ложно расположены краски; возражение Э.К. Метнеру: вы увидели внешность собора, а внешность — арабская; и вы прошли мимо; внутренность же собора — ослепительная византийская мозаика.

Монреальский собор — Доктор; открытки собора — напечатанные книги и даже... циклы (допустим); внешность собора — Доктор Штейнер на публичных лекциях и при мимолетном общении.

Теперь возьмите историю искусств и Вы увидите: монреальский собор знаменит своей внутренностью: внутри его — *лучшая византийская мозаика мира*. Внутренность штейнерьянства, его священная мозаика есть глубокохристианский, катастрофический смысл самой личности Доктора; *теософия Доктора* — арабская внешность христианского собора (кстати: Доктор все порвал с *теософией*: восточную мудрость он назвал засохшей смоковницей); а *Geheimwissenschaft* — искаженные открытки собора.

Вот видите сколько, родная; и все по поводу одного слова: «*окультизм*». И это все для того, чтобы Вам стало ясно, как день, что я не хочу ни преувеличивать значения этой области знания, ни смешивать окультизма с религией; ни, тем более, преумалить объективного значения для культуры будущего истинных форм этой науки. Действительно: если окультизм есть наука,

т.е. если он опирается на *опыт*, как научная систематика этого опыта, его значение громадно. Для профанов и теоретически судящих об оккультизме его вовсе не существует; для нас, учеников Доктора, он — есть (и на отрицание факта его существования мы, ученики Доктора, заявляем: приходите к Доктору, поживите с нами, в нашей рабочей атмосфере — так сказать в лаборатории — и вопрос для Вас сам собою решится); а раз он есть, — есть, как наука, то громадное значение его для анатомии, физиологии человеческого тела (хотя бы) громадно: теперь *микробиология* и *бактериология* говорят нам о деятельности микроорганизмов и о роли их в жизни физического организма; борьба болезней переносится к борьбе с источниками болезни: путем регулирования деятельности микроорганизмов в теле Мечников создает мечту о возможности удлинения человеческого возраста. Теперь перенесем расширенный в бактериологии диапазон медицины на почву оккультизма; сопоставим учение оккультизма, основанное на *опыте*, что самый физический организм есть уплотненное элементное тело, что физическому сердцу соответствует эфирное, и что связь между тем и другим такая же, как между водой и плавающим в ней из нее выкристаллизованным куском льда, что работая над эфирным телом, сознательно управляя и организуя последнее мы чрез организацию последнего приближаемся по иному и к физическому — поймите связь тел, поймите, что анатомия и физиология подлинного телесно-многосоставного человека значительно отличается от тех обрывков физиологии и анатомии, которые установимы, при анализе видимого тела физического, и Вы на этом лишь положении согласитесь; и скажете: «При условии существования эфирного тела, это значение оккультизма, как *знания лишь**, *безмерно*». Но для ученика оккультной школы существование эф[ирного] тела (даже для меня) есть не только доказанный, но и *лично проверенный* факт: следовательно *условность* существования превращается для меня в научную истину; следовательно — роль оккультизма, как науки будущего — в будущем превосходит для меня все смелые сны, какими бы явились для человека XV столетия достижения естествознания XIX столетия. Изображаю графически соотношения тел; объективно, в пространственном отношении каждое тело более ниже лежащего: если «а»  физический человек, то «b» эфирный:  «с» — астральный:  и т.д.

* Область веры и религиозный момент я пока для простоты исключаю из оккультизма. (Примечания Белого).

Эти высшие тела, так сказать торчащие из физического, пронизывая *тело* физическое и *проницая* друг друга, относятся друг к другу, как *лед к воде*, *вода к водян. пару*, пар к *газу* и т.д. и составляют окружение человека, т.е. его *ауру* (видную при известных упражнениях); но взяв например сердце, мы можем, принимая во внимание принцип пронизывания одного тела другим вместо существующей анатомической схемы:



физическое сердце

дать следующую схему:



Видите: вся схема меняется: методы медицины будущего (ныне еще зародыши ок[культной] медицины) деликатнее и тоньше. Если же принять во внимание, что чем выше восходим мы от тела к телу, тем более кровна связь между *природно-законным* и *морально-настроенным*, вопрос о связи усложнится. Оккультизм рассматривает подлинное «Я», как монаду, лежащую на границе между *тонкой телесностью* и чистым духом; все, что ниже я, душевно, и далее: душевно-телесно; и наконец телесно; выше — наиндивидуальная стихия духа в человеке и мир ангельских иерархий в его окружении. Но дуализм между телесным и духовным в «Я» пропадает: «Я» — не раздвоено.

Такова схема:



сфера наиндивидуального

сфера «Я»

сфера душевного

сфера тонкой телесности
или телесной душевности

тело

Мною расставлены буквы:

«а» физическое тело

«b» эфирное тело, тело воспоминаний (эфирный мозг *подлинный орган мышления*, а *физический мозг* грубейший инструмент)

«с» астральное тело — тело *чувства* (ибо самые элементарные чувства есть все еще телесная материальность)

«d» *тело мысли* (ибо и обычная мысль есть *sui generis* материализация)

«e» подлинное я и т.д.

Видите: «Я» приподнято над телом, мыслью, чувством; даже мысль лишь телесность; и приняв во внимание проницаемость тел друг другом, мы для нормальной оккультной работы должны для телесного *воочию* наблюдения над объектами оккультизма работать уже в области морального очищения себя; такая мораль — мораль оккультизма — есть даже еще не мораль, а просто гигиена; и ей грош цена, но если такой морали *грош цена*, это не значит еще, что за пределами оккультизма, как науки, нет морали, что оккультизм аморален: наука ни моральна, ни аморальна в смысле высокой человеческой морали; оккультизм Доктора *личную этику* низводит с высокого пьедестала *морали* до понятия *гигиены* и мер предосторожности (не кури над бочкой с порохом, не уплывай мысли жизненными мыслями и т.д.) для того, чтобы в метафизике и *религии* принять как мораль безграничную *божественную любовь*.

Воспитание же в себе монастырской, лично-эгоистической морали, как цели, Доктор осуждает: вот что Доктор говорит про *такую мораль*, мораль взятую, как *йога*: «Люди, идущие исключительно путем *йоги*, быть может и находят в себе душевное тепло, но они уже не умеют передать своего тепла другим; блеск и великолепие мира для них гаснет; мир отваливается от них; они остаются в самих себе: такова участь многих современных *йогистов*; гордые собой, эгоистически замкнутые в своих восторгах, они скитаются среди нас какими-то бледными тенями, непонятые никем, не понимающие никого». (Из Кельнского курса).

Нечего говорить, что сам Доктор — полное воплощение противоположного: с утра до вечера с людьми, десять лет разрываемый на части, едущий с лекции на курс, с курса на лекцию, спящий в поезде, десять лет объезжающий Европу: до вот хотя бы последний кусок внешней деятельности Доктора. *Август*: пишет новую мистерию, ставит все три мистерии (каждый день две репетиции, в промежутке этого времени: ряд интимных свиданий; ночью пишет и /это между нами/ является в снах ученикам); с 17 августа мистерии. С 20 августа курс лекций «О посвящении». *Сентябрь*. После мюнхенского цикла 10 дней работает в Мюнхене, за это время принимает 260 человек, из которых каждый ему несет *последнее*. С середины сентября курс в Базеле; в Базеле 150 свиданий; после две недели отдыха; и далее: читает публичные и интимные лекции в Лугано, в Милане. *Октябрь*. Разражается история с Безант, секретарские обязанности; едет на лекции в промежутке в Лейпциг и Гамбург. Читает через две недели лекции в ложе и через две недели публичные в Берлине, правит корректуру нового издания *Geheimwissenschaft*, проглатывает ряд книг (ибо за всем следит

лично), организует «*Антропософическое Общество*». *Ноябрь*: Лекции в Берлине, маленький курс в *Мюнхене* (на свидании у Доктора вечно толпа ждущих приема: по 20-30 человек ждут часами). И опять: лекции в Берлине. *Декабрь*: ряд лекций в Берлине. Ряд лекций в Швейцарии: Цюрих, Берн, Невшатель и еще в каких-то швейцарских городах; летит к Рождеству в Берлин, где опять-таки ждут: публичная лекция, интимная лекция в ложе, рождественская лекция в ложе, наконец праздничная лекция в ложе для одиноко себя за границей чувствующих иностранцев-теософов (для нас в том числе). И тотчас же Кельнский курс (5 лекций и 2 публичных). Вчера ночью мы приехали потрясенные курсом (мы разбиты лишь слушая Доктора), а уж завтра — лекция в ложе, через 3 дня публичная лекция «*Миссия Рафаэля*»; а уже недели через две-три новая поездка Доктора: в Лейпциг, в Вену, в ряд австрийских городков и оттуда в Штутгарт; на немецкой Пасхе, кажется, новый большой курс в Амстердаме, потом в Риме, и т.д.

Вот отрывок (за несколько месяцев) общественной деятельности Доктора; а ведь так Доктор — 10 лет. За это время прочтены сотни публичных лекций, десятки тысяч прошли интимных свиданий и десятки интимнейших, головокружительных курсов. Во время писания мистерии в Мюнхене Доктор *полтора месяца фактически не имел времени спать*. При этом: быстрый, гибкий, моложавый, общительный, веселый; на лекциях голос гремит; в глазах *такой любви* к человеку я ни у кого, никогда не видал: на Рождестве он так говорил о любви, что нам с Асей, *видавшим виды* просто, по-мужицки-по-дурацки, хотелось *реветь* от хорошего, хорошего чувства. Принимая сотни людей, каждого отпускает потрясенного, радостного: вокруг этого человека постоянно водоворот изменяющейся человеческой судьбы: блудники, грешники рыдают и каются; умные уমাляются и говорят «*что мудрость века сего*», небольшой, обиженный судьбой человек *около* Доктора начинает расти.

А Вы, милая, о какой-то там катакомбе, и гиератизме: Доктор не потому для меня *гиерофант*, что в его книгах можно вычитать жест мудрого величия, а потому он для меня *учитель*, что всю жизнь своей он только и делает, что омывает больные и усталые ноги учеников.

А у нас в Москве, покуривая, за чаем занимаются тем, что не понимая, не видя, не зная этого человека, рождают умственную канитель, не имеющую ничего общего с Доктором. Не удивительно: ученики Доктора Штейнера, слушая многие «*умные*» рассуждения о якобы гиерофантической деятельности Доктора, только молчат: если бы поняли источник того равнодушия, с ка-

ким Петровский например слушает речи о «штейнеризме» и спокойно себе молчит, потягивая чай, то ей-Богу, смутились бы.

Ведь у меня редкая способность: писать письмо в 40 страниц объясняющее о Докторе то, что для учеников Доктора есть само собой разумеющееся.

Ибо само собой разумеется: «окультизм» Доктора его «посвященность» и «мудрость», освещены и согреты для нас его мирской деятельностью, самоотвержением и безмерной, христианской любовью к человеку.

Многообразнее этого человека я не знаю: в промежутках между всем важным он — возится с детьми, выкапывает и ставит крестьянское прославление Рождественской Звезды по образу крестьянских мистерий Венгрии, занимается лично смешением красок, читает египетские иероглифы, изобретает какие-то новые краски, прекрасно знает историю живописи; по его методу где-то построена мельница с новой системой вращения колес. Доктор Штейнер: математик, естествоиспытатель, знаток Гёте, любитель Новалиса, лично знакомый с немецкими поэтами-модернистами, бывший знаток театра, бывший воспитатель (воспитал *идиота*: теперь «идиот» кажется разумный человек); кроме того, он дает указания Доктору Пайперсу (ученику), как пользоваться методами оккультной медицины, лично знает целебные свойства растений. А вот из области анекдотического: для одной из поставленных мистерий нужна была картина: краска не удавалась художнику; представьте: в 2 часа написал картину — сам: и со сцены, издали, она выглядела преинтересно; на репетициях — сам завертывал складки костюмов. Подумайте: я тащу Доктору толстые тетради своих схем, и Ася — тоже, Эллис — тоже: каждый несет ему свое.

Да поймите же родная: оставляя в стороне все вопросы *окультизма, посвящения, мудрости*, мы все-таки остаемся с чудом: с *Доктором Штейнером*. Ничего прекраснее, солнечнее, горячее, энергичнее, радостнее Доктора Штейнера я не знаю.

Ей-Богу, не преувеличивая: он — сам радостный, всевдохновляющий Свет.

Родная, хорошая: ведь мое письмо сущее безобразие; и при том заметьте: все оно отвечает лишь на один Ваш вопрос: «Что такое окультизм». Ответ: «окультизм — не путь», но Доктор Штейнер путь, ибо его учение о значении *Geheimwissenschaft* лишь первое периферическое его окружение.

В чем его *Путь*, это будет предмет следующего моего письма. А теперь ответьте: удовлетворены ли Вы моими словами о нашем отношении к оккультизму. Я хочу, чтобы наши письма друг другу были деятельны в смысле взаимного понимания друг друга.

- Итак; мои тезисы: 1) Оккультизм — не путь.
2) Оккультизм — наука.
3) Д. Штейнер не только оккультист.

Оспаривайте!

О том, что он и кто он, я буду писать впоследствии, как и о том, что есть *свет, тьма, солнце, тепло* (т.е. о другом поставленном Вами вопросе).

Пока же я ответил на первый.

Теперь деловая часть.

Вижу Вас, родная: и вижу — Вы говорите: «Б.Н. увлекается. Доктор Штейнер для него какое-то чудо». Но ведь вот: не трудно поверить, что такое многообразие и солнечность, как Доктор, описанный мной, пленяет; но трудно поверить, что Доктор, описанный мной в многообразии своих проявлений, есть бледная схема подлинного Доктора. Если Вы поверите, что это так, то Вам будет понятно несколько *ироническое* молчание учеников Доктора меланхолического темперамента при критике книг или деяний Доктора; и Вы поймете мой холерический восторг при описании Доктора и всю мою досаду, что радость моей веры в *чудо*, называемое Доктором, не разделяют любимые лишь по *неведению*, т.е. случайно...

Милая, родная Маргарита Кирилловна: я хотел писать об одном деле: о том, почему так долго я не представляю «*Пути*» работой*. Сказать внешне об этом не хочу; хочу Вам описать подробно, как мы живем изо дня в день, как устаем, как много работаем, чтобы *реально* почувствовали Вы, что мои оправдания и извинения в столь долгой медлительности не увертка, а совершенно реальны. Но... опять оторвался от письма (на несколько дней: я

* Белый обещал написать монографию об А.А. Фете для серии «Русские мыслители», предпринятой издательством «Путь», и получил аванс за нее. Затем он намеривался написать книгу о Н.Ф. Федорове. Ни та, ни другая идеи не были реализованы.

пишу это письмо отрывочно, две недели); милая, о себе и еще о Докторе, о радости моей, о работе «Пути» позвольте до другого раза.

А то рискую расписаться, и письмо — еще застрянет на неделю.

Вы позвольте ведь писать Вам и впредь так неровно, много, отрывочно... Ведь да?

Поздравляем Вас с Асей с русским Новым Годом. Желаем Света, радости и счастья. И много бодрости.

Ну Христос с Вами
Остаюсь глубоколюбящий Вас
Борис Бугаев

РЕГИСТР ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ТЕКСТЕ ИМЕН*

Д'АЛЬГЕЙМЫ — д'Альгейм Пьер, барон (D'Alheim, Pierre, 1862-1922), французский журналист и романист, организатор (совместно с женой и с певицей А.В. Тарасевич) «Дома песни» в Москве в 1908 г. Его жена, Мария Алексеевна Оленина-д'Альгейм (1869-1970), выдающаяся камерная певица, была теткой Аси Тургеневой. Белый очень высоко ценил ее выступления: см. его статьи *ПЕВИЦА*. — «Мир искусства», 1902, №11, и *ОКНО В БУДУЩЕЕ (ОЛЕНИНА-Д'АЛЬГЕЙМ)*. — «Весы», 1904, №12. О нем см. *НАЧАЛО ВЕКА*.

АМФИТЕАТРОВ, Александр Валентинович (1862-1938), прозаик, драматург. Умер в Италии.

АННЕНКОВА, Ольга Николаевна — см. прим. на с.17 этого тома.

АРЕНСОН (Arenson, Adolf, 1855-1936), музыкант, написал музыку к постановке мистерий Штейнера. См. *RSL*, III, 81-82 и *VIII*.

* В регистр вошли только имена лиц, о которых удалось найти какие-то сведения (в том числе упоминания в *ВОСПОМИНАНИЯХ О ШТЕЙНЕРЕ* Белого — далее сокр. *VIII*). В тех случаях, когда есть примечание в самом тексте, фамилии здесь не повторяются. При упоминании видных антропософов я чаще всего отсылаю к другим источникам, главным образом к двум томам (II и III): *VIER BILDBÄNDE ZU RUDOLF STEINERS LEBENSGANG*. Band II. Das Wirken Rudolf Steiners von 1890-1907. Weimar und Berlin (1975); Band III. Das Wirken Rudolf Steiners 1907 bis 1917, (Novalis Verlag, 1980), — где есть содержательные биографические очерки и библиографии (далее сокраш. *RSL*).

АХРАМОВИЧ (псевд.: Ашмарин), Витольд Францевич (ум. ок. 1930), литератор, корректор изд. «Мусагет», выполнявший там и секретарские обязанности; впоследствии деятель советской кинематографии. О нем см. *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*, с.374 и 411.

БАЛЬМОНТ, Екатерина Алексеевна — см. прим. на с.31 этого тома.

БАУЭР (Bauer, Michael, 1871-1929), один из первых учеников Штейнера, активный деятель антропософского движения, автор религиозно-философских и педагогических сочинений. Ему посвящено стих. Белого «Речь твоя — пророческие взрывы» («Королева и рыцари»). См. *ВШ*, *RSL*, 93-94, и кн. *MICHAEL BAUER — EIN BÜRGER BEIDER WELTEN*, Margareta Morgenstern (2-е изд. Stuttgart, 1965).

БЕЗАНТ (Besant, Annie, 1847-1933) — англ. писательница и общественный деятель (Fabian Society, Secular Society), одна из лидеров Теософского О-ва (Adyar), с 1907 — его председатель.

БЕКК (Beckh, Hermann, 1875-1937), проф. берлинского ун-та, специалист по санскриту и тибетскому яз., по религиям Индии. См.: *RSL*, III, 96.

БЕРГЕНГРЮН (Bergengrün, Татьяна Алексеевна) — сестра Е.А. Бальмонт. См. *ВШ*.

БЕРДЯЕВ, Николай Александрович (1874-1948), см. *ВШ*. Резко осуждал антропософию в статье *ТИПЫ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ В РОССИИ*. — «Русская Мысль», 1916, №11, и в кн. *СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА* (1916). См. также: «Н.А. Бердяев об Антропософии. Два письма [1912 г.] Андрею Белому». — «Новый Журнал», 1979, №137.

БЛОК, Александр Александрович (1880-1921). Взаимоотношения Белого и Блока в период 1911-1915 гг. лучше всего отражены в их *ПЕРЕПИСКЕ*.

БОЛЬТ (Boldt, Ernst) — о полемике в А.О. вокруг его кн. *SEXUALPROBLEME IM LICHT DER NATUR UND GEISTESWISSENSCHAFT* (Leipzig, 1911). См.: *ВШ*, с.33-34. Он также автор: *RUDOLF STEINER, EIN KÄMPFER SEINER ZEIT* (München, 1921) и *VON LUTHER BIS STEINER; EIN DEUTSCHER KULTURPROBLEM* (München, 1921).

БОРОДАЕВСКИЙ, Валериан Валерианович (1876/9?/-1923), горный инженер, поэт, принадлежавший к окружению В.Иванова, тяготевший к антропософии и сблизившийся в Белым на этой почве в 1910-е гг. Восторженный почитатель Н.Ф. Федорова (см.: *ПАМЯТИ Н.Ф. ФЕДОРОВА* в его сб. *УЕДИНЕННЫЙ ДОЛ*. Вторая книга стихов. М., «Мусагет», 1914, с.10-11). Его жена: Маргарита Андреевна (урожд. Князева).

БРАЗОЛЬ, Александр — русский инженер; упомянут в *ВШ*.

БУГАЕВА, Александра Дмитриевна (1858-1922, урожд. Егорова) — см. «Из писем Андрея Белого к матери», публ. С.Д. Воронина. — *ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ. НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ*. Ежегодник, 1986 (Л., 1987), с.64-76.

БУЛГАКОВ, Сергей Николаевич (1871-1944) — экономист, философ, религиозный деятель, участник сб. *ВЕХИ*. В 1918 рукоположен в храм Ильи Обывденного. Выслан из Советской России после ареста в Крыму 1 января 1923. Профессор догматики в Св.-Сергиевской академии в Париже.

- ВАГНЕР** (венский художник) — упомянут в *ВШ*. Среди других «антропософов-Вагнеров»: Günther Wagner (1842-1930), крупный фабрикант (*RSL*, III, 95 и *ВШ*) и Otto Wagner, секретарь Эмиля Мольта.
- ВАЛЛЕР** (Waller, Mieta [Maria Elisabeth], 1883-1954) — участница постановок мистерий Штейнера, близкий друг фон Сиверс и Штейнера, у которых она жила до брака с американским художником William Scott-Pyle. См. *RSL*, III, 82 и *ВШ*. Ее сестра — Ода (Oda).
- ВАЛЬТЕР** (Walther, Kurt, 1874-1940), чиновник гл. почтамта, активный пропагандист антропософии в Берлине, с 1904 — ученик Штейнера. См. *ВШ*, с.197-200 и *RSL*, III, 95. Его жена: Клара (Clara, урожд. Selling, 1875-1961).
- ВАН-ДЕР-ПААЛЬС** (Van der Paals, Leopold, 1884-1966) — музыкант. См. *ВШ*, и *RSL*, III, 89. Его дочь: Lea.
- ВАСИЛЬЕВЫ** — см. прим. на с.17 и 22 этого тома.
- ВАСИЛЬЕВА**, Елизавета Ивановна (урожд. Дмитриева, 1887-1928) — о ней см. *ВОСПОМИНАНИЯ О ЧЕРУБИНЕ ДЕ ГАБРИАК* М.Волошина. — «Новый журнал», №151, 1983.
- ВЕГЕЛИН** (Wegelin, Hermann) — упомянут в *ВШ*.
- ВОЛОШИН**, Максимилиан Александрович (1877-1932), поэт и художник, примыкавший к символистам. О нем см.: «Дом-музей М.А. Волошина. Неизданный очерк Андрея Белого о М.Волошине», публ. С.Гречишкина и А.Лаврова. — «Звезда», 1977, №5.
- ВОЛОШИНА**: см. Сабашникова.
- ВОЛЬФЮГЕЛЬ** (Wolffhügel, Max, 1880-1963), художник, скульптор, преподавал в Вальдорфской школе. См. *ВШ*.
- ГАЙЕР** (Газр) (Geier, Heinz) — племянник Т.А.Бергенгрюн, упомянут в *ВШ*.
- ГАМИЛЬТОН** (Hamilton, Lilian) — упомянута в *ВШ*.
- ГАННА** (умерла в 1923 г.) — библиотекарша при Гетеануме, упомянута в *ВШ*.
- ГАРРИС** (Harris, Lilla) — жила в Дорнахе вместе с Шолль и певицей Garcia Ricardo. Упомянута в *ВШ*.
- ГЕЙДЕБРАНДТ**, фон (von Heydebrand, W.S.) — художник, упомянут в *ВШ*, как и его сестра, Caroline von Heydebrand (1886-1938), педагог.
- ГЕЛЬМГОЙДЕН** (Helm-Hoyden) упомянута в *ВШ*.
- ГЁШ** (или Гош) (Gösch, Heinrich) — ушел из А.О. после женитьбы Штейнера на фон Сиверс. Упомянут в *ВШ*.
- ГИППИУС**, («Тата»), Татьяна Николаевна (1877-1957) — художница, сестра З.Н. Гиппиус. О ней см. предисловие к публ. С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова «А.А. Блок. Письма к Т.Н. Гиппиус». — «Ежегодник рукописного отдела ПД на 1978 год» (Л., 1980).
- ГРИГОРОВЫ**, Борис Павлович и Надежда Афанасьевна — см. прим. на с.14 и 15 этого тома.

ГРОСХАЙНЦ, д-р. (Grosheintz, Dr. Emil; 1867, Paris - 1946, Dornach), зубной врач. См. *ВШ* и *RSL*, III, 98. Его жена: Нэлли ((Nelly, урожд. Laval, 1875-1955).

ДРЕКСЛЕР (Drexler, Luna) — упомянута в *ВШ*.

ДУБАХ, семейство — Dubach, Oswald (1884-1950), скульптор; его жена — Клавдия Александровна (1876-1961), сестра Е.А. Ильиной и Н.А. Маликова. Упомянуты в *ВШ*. Другие Дубахи: Annemarie Donath-Dubach (1895-1972); Helene Dubach.

ДЮБАНЕК (Djubanek, Ella; ум. 1944) — эвритмистка, упомянута в *ВШ*.

ЗЕЙЛИНГ (или Зеллинг) (Selling, Wilhelm, 1869-1960) — о нем см. *ВШ*, с.192-197; его жена: шведка Karin, урожд. Flack (1880-1958). Его сестра Клара вышла замуж за Курта Вальтера. О них см. *RSL*, III, 95-96.

ЗЕЙФЕЛЬТ (Seefeld, Wilhelm, 1883-1954) — упомянут в *ВШ*.

ИВАНОВ, Вячеслав Иванович (1866-1949) — поэт, филолог, теоретик символизма. Белый характеризовал их отношения как «сложные, запутанные... в которых момент яркой ярости чередовался с моментом сердечнейшей нежности» (*НАЧАЛО ВЕКА*, с.474).

ИВАНОВ, Разумник Васильевич (1878-1946) — критик, публицист, историк литературы. Один из организаторов изд. «Сирин». О нем и А.Белом см. публ. А.В. Лаврова «Рукописный архив А.Белого в Пушкинском Доме». — «Ежегодник Р.О. П.Д. на 1978 г.» (Л., 1980).

ИЛЬИНА, Екатерина Александровна — см. прим. на с.36 этого тома.

КАЛЬКРЕЙТ, гр. (von Kalckreuth, Pauline, Gräfin, 1856-1929) — подробно о ней см. *RSL*, II, 158-159 и *ВШ*, с.164-166.

КАМПИОНИ, Владимир Константинович — отчим А.А. Тургеневой. Его жена: София Николаевна — мать А.А. Тургеневой. См. «Lettres d'Andrej Belyj à la famille d'Asja», публ. Georges Nivat, «Cahiers du monde russe et soviétique», 18, 1-2, 1977.

КАРТАШЕВ, Антон Владимирович (1875-1960) — историк церкви, проф. петербургской Духовной академии, активный член РФО. После фев. революции — министр вероисповеданий Временного правительства. Эмигрировал в 1919. Биографические материалы о нем см. в «Вестнике Р.С.Х.Д.», 1960, №58-59.

КАТЧЕР, (Kacer, Manja), — см. *ВШ*.

КЕМПЕР (Kemper, Karl; 1881, Харьков — 1957, Базель), художник, занимался архитектурой в Берлине. Автор кн. *DER BAU. Studien zur Architektur und Plastik des ersten Goetheanum* Stuttgart, 1966. Там же биографический очерк о нем. См. *ВШ* и *RSL*, III, 100-101.

КИСЕЛЕВЫ — Николай, художник. Его жена: Татьяна (1881, Варшава — 1970, Арлесгейм), видная эвритмистка (см. ее кн.: Tatiana Kisseleff. *AUS DER EURYTHMIE-ARBEIT*, Basel, 1965). О ней см. *RSL*, III, 88-89. Оба они упомянуты в *ВШ*. Не путать с Николаем Петровичем Киселевым (1884-1965), «аргонавтом», секретарем редакции изд. «Мусагет».

КИТТЕЛЬ (Kittel, Elisabeth), упомянута в *ВШ*.

КЛАССЕН (Clason, Louise, 1873-1954, Дорнах) — см. *RSL*, III, 102 и *ВШ*.

КОЛПАКЧИ (Kolpaktchy, Grégoire, р.1886) — египтолог, перевел *КНИГУ МЕРТВЫХ* на немецкий и французский языки. Упомянут в *ВШ*.

КУБЛИЦКАЯ-ПИОТТУХ, Александра Андреевна (1860-1923, урожд. Бекетова; по первому браку Блок) — мать А.А. Блока, детская писательница и переводчица. Белый состоял с ней в длительной переписке.

КУЧЕРОВА (Kucerova, Ivana) — упомянута в *ВШ*.

ЛЕВИ (Lévy, Eugène) — переводчик Штейнера на французский язык, автор *QUELQUES REFLEXIONS SUR "L'INITIATION" DE RUDOLF STEINER* (Paris, 1910); *MME BESANT ET LA CRISE DE LA SOCIETE THEOSOPHIQUE* (Paris, 1913).

ЛЕДЕБУР (Ledeboer, François, 1884-1932) — художник, упомянут в *ВШ*.

ЛЕМАН, сестры: Berta Lehman (1884-1967; по мужу Reebstein), секретарша фон Сиверс; Helene (1886-1953). Обе упомянуты в завещании Штейнера и в *ВШ*.

ЛЕРХЕНФЕЛЬД, граф (von und zu Lerhenfeld-Köfering, Otto, Graf, 1868-1938), баварский деятель А.О., с 1914 работал вместе со Штейнером над составлением *DREI LIEDERUNG DES SOZIALEN ORGANISMUS*. Финансировал издание Вл. Соловьёва на немецком яз. в переводе фон Вакано (5 томов). О нем см. *ВШ*, с.167-170 и *RSL*, III, 83-84.

ЛИГСКИЙ, Константин Андреевич — в заявлении Катаняну от 27 августа 1931 г. Белый писал о нем: «...с момента революции [он] бросает работу [в Дорнахе], является в Россию, становится членом Коммунистической партии с 1918 года, ведет видную работу в Ленинградском Отделе Управления; и до смерти остается верным советским работником (консул в Варшаве, Токио, Афинах). — «Новый журнал», 1976, №124, с.157). Он умер в конце двадцатых годов. В *ВШ* упомянут как «Л.».

ЛИЛЛЬ (Lille, Harald, ум. 1920) — упомянут в *ВШ*.

ЛИНДЕ (Linde, Hermann, 1863-1923, Дорнах) — художник, работал над росписью Большого Купола первого Гетеанума. Один из директоров «Johannesbau-Verein». Его жена: Marie Hagens. О нем см. *ВШ*, *RSL*, III, 84-85.

ЛИССАУ (Lissau, Robert) — упомянут в *ВШ*.

ЛИХТФОГЕЛЬ (Liedvogel, Heinrich, 1881-1974) — инженер и архитектор, упомянут в *ВШ*. В А.О. был также Carl Liedvogel. Белый не дает имени, приводя только фамилию.

ЛЮДВИГ (Ludwig) — «хорошая знакомая Метнера из Дрездена». В *ВШ* не упоминается, зато там упоминается немецкий поэт Carl Ludwig, убит на войне в 1916 г.

ФОН-МАЙ (von May, Walo, 1879-1928).

МАЛИКОВ, Н.А. — брат Е.А. Ильиной, «М» в *ВШ*, с.280-281.

МАШКОВЦЕВ, Николай Георгиевич (1887-1962) — искусствовед, автор статей по искусству, печатавшихся в «Русской Мысли», «Аполлоне», хранитель в Третьяковской галерее.

МЕРЕЖКОВСКИЕ: Дмитрий Сергеевич (1865-1941), Зинаида Николаевна Гиппиус (1869-1945) — об их встрече со Штейнером см. *ВШ*, с.72.

МЕТНЕР, Эмилий Карлович (1872-1936) — музыковед (писал под псевд. «Вольфинг»), старший брат композитора Николая Карловича Метнера (1879-1951), многолетний друг Белого. Один из учредителей и руководитель изд. «Мусагет», редактор журн. «Труды и дни» (1912-1914, 1916). Об охлаждении отношений Метнера и Белого, начавшемся с момента их сотрудничества в «Мусагете», см. *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ, ПЕРЕПИСКА* Блока и Белого и статью А.А. *БЛОК МЕЖДУ «МУСАГЕТОМ» И «СИРИНОМ»*. (Письма к Э.К. Метнеру). Публ. Н.А. Фрумкиной и Л.С. Флейшмана. — «Блоковский сборник», II (Тарту, 1972).

МИТЧЕР (Mitscher): Käthe (1892-1940, Дорнах) и ее братья — Fritz (1886-1915) и Heinrich (ум. 1917). О них см. *RSL*, III, 89-90 и *ВШ*.

МОРГЕНШТЕРН (Morgenstern, Christian, 1871-1914), немецкий поэт, которому посвящены первое и последнее стихотворения сб. *ЗВЕЗДА*. О нем и его жене (Margareta) см. *ВШ* и *RSL*, III, 96-98. См. также *АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН*. — А.В. Лавров. *СПРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУР* (Л., 1976).

МОРОЗОВА, Маргарита Кирилловна — см. прим. на с.415 этого тома.

МЭРИОН (Maryon, Louise Edith, 1872-1924, Дорнах) — см. о ней *ВШ*, и *RSL*, III, 102.

НЕЙШЕЛЛЕРЫ (Neuscheller) — Leopold (1885-1976) и Lucia (1888-1962), оба упомянуты в *ВШ*.

НОЛЛЬ, д-р. (Noll, Dr. Ludwig, 1872-1930), личный врач Штейнера, работал в клинике в Арлесгейме.

ПАЙПЕРС, д-р. (Peipers, Dr. Felix, 1873-1944, Арлесгейм) — врач, один из директоров «Johannesbau-Verein». О нем см. *ВШ* и *RSL*, III, 82-83. Его сестра: Cecile (1882-1951), скульптор.

ПЕРАЛЬТЭ (Péralté, Lotus) — упомянута в *ВШ*.

ПЕРЦОВ, Петр Петрович (1868-1947) — поэт, критик, публицист. О нем см. «Архив П.П. Перцова» А.В. Лаврова в «Ежегоднике Р.О. П.Д. на 1973 г.» (Л., 1976).

ПЕТРОВСКИЙ, Алексей Сергеевич — см. прим. на с.30 этого тома.

ПОЛЛЯК (Pollak-Karlin, Richard, р.1867) — упомянут в *ВШ*. Его жена: Hilda Kotanyi-Pollak.

ПООЛЬМАН-МОЙ (Polman-Mooy, J.), голландка, член берлинской ложи Т.О. и А.О. См. *ВШ*, с.143-144.

ПОЦЦО, Александр Михайлович (1882-1941), юрист, редактор журн. символистского уклона «Северное Сияние». Муж Н.А. Тургеневой. Ему посвящено несколько стих. в сб. *ЗВЕЗДА*. Умер в эмиграции. См. *ВШ*, с.286-288.

РАЙФ (Reif, Martha, урожд. Busse), упомянута в *ВШ*.

РАЧИНСКИЙ, Григорий Алексеевич (1853/9?/-1939) — член редакции «Вопросов философии и психологии», председатель Московского фило-

софского общества им. Вл. Соловьева, редактор изд. «Путь». См. *НАЧАЛО ВЕКА И МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ*. Его жена: Татьяна Анатольевна (урожд. Мамонтова, 1863-1920).

РЕМИЗОВ, Алексей Михайлович (1877-1957) и его жена Серафима Павловна (урожд. Довгелло, 1876-1943).

РИХТЕР (Rychter, Tadeusz, род. 1873) — о нем см. *ВШ*. Его жена: Bronisława (урожд. Janowska, род. 1868), художница.

РОЗЕНБЕРГ (Rosenberg, Kurt Hermann, род. 1884) — см. *ВШ*, с.287-288.

РУДНЕВ, Вадим Викторович (1879-1940) — с.-р., городской голова Москвы в 1917. Член редколлегии «Современных записок» (Париж). О нем см. письмо М.Цветаевой к А.Тесковой от 11 декабря 1933: «...непонимание меня, поэта, — читателем, на самом же деле: редактором, а именно /.../ в Совр. Зап. — Рудневым, по профессии — врачом, по призванию политиком, по недоразумению — редактором (NB! литературного отдела)». — *ПИСЬМА К А.ТЕСКОВОЙ*. Прага, 1969, с.106.

САБАШНИКОВА-ВОЛОШИНА — см. прим. на с.24 этого тома.

СЕДЛЕЦКИЕ: Franciszek Wincenty Siedlecki (1867-1934), польский художник и график символистского направления. В 1914-1919 работал над окнами для первого Гетеанума. Его жена: Wiga S. О них см. *ВШ*.

СИВЕРС, фон (von Sivers), Мария Яковлевна — см. прим. на с.26 этого тома. Письма Белого к ней см. в: «The Andrej Belyj Society Newsletter», 1987, №6 и в «Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Andrej Belyj und Rudolf Steiner. Briefe und Dokumente», №89/90 (Dornach, Michaeli, 1985).

СИВЕРС, фон, Ольга Яковлевна (ум. 1917) — сестра М.Я. фон Сиверс. Ее братья: Владимир, James, Friedrich Wilhelm.

СИЗОВ, Михаил Иванович — см. прим. на с.27 этого тома.

СМИТС (Maier-Smits, Lory Eleonore) и ее муж: Alfred Maier. О них см. *РСЛ*, III, 87.

СОЛОВЬЕВ, Владимир Сергеевич (1853-1900), философ, оказавший громадное влияние на молодого Белого. Как писал Белый в стих. «Христиану Моргенштерну» (1918): «От Ницше — ты, от Соловьева — я / Мы в Штейнере перекрестились оба /.../ Антропософия, Владимир Соловьев / И Фридрих Ницше — связаны: отныне...» (сб. *ЗВЕЗДА*).

СОЛОВЬЕВ, Сергей Михайлович (1885-1942) — племянник философа, поэт, критик и переводчик, муж Татьяны Алексеевны Тургеневой, сестры Аси. Один из самых близких Белому людей. С 1913 (?) — священник. См. о нем: «Материалы к биографии С.М. Соловьева» и «Из воспоминаний сестры Марии» в кн. С.М. Соловьева *ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА* (Брюссель, 1977).

ТЕРЕЩЕНКО, Михаил Иванович (1886-1956) — чиновник при директоре императорских театров, владелец (совместно с сестрами) изд-ва «Сирин». Министр финансов и министр иностранных дел Временного правительства.

ТИМИРЯЗЕВ, Климентий Аркадьевич (1843-1920) — ботаник-физиолог, горячий пропагандист учения Дарвина. Проф. Московского ун-та, учитель Белого в начале 1900-х годов. См. воспоминания Белого (*НА РУБЕЖЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ* и *НАЧАЛО ВЕКА*) и *ВШ*, с.98-99.

ТРАПЕЗНИКОВ, Трифон Георгиевич — см. прим. на с.27 этого тома. Его жена: Любовь Исааковна.

ТРУБЕЦКОЙ, Евгений Николаевич (1863-1920) — младший брат кн. С.Н. Трубецкого, проф. философии права, автор кн. *МИРОСОЗЕРЦАНИЕ В.С. СОЛОВЬЕВА*, 2 тт. (М., изд. «Путь», 1913).

ТУРГЕНЕВА, Анна Алексеевна («Ася») (1890-1966, Арлесгейм) — художница, первая жена Белого. См. ее статью *АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР*. — «Мосты», 1968, №13-14, и кн. *ERINNERUNGEN AN RUDOLF STEINER UND DIE ARBEIT AM ERSTEN GOETHEANUM* (Stuttgart, 1972). См. *ВШ* и *RSL*, III, 99-100.

ТУРГЕНЕВА, Наталья Алексеевна (1886-1942) — сестра Аси, жена А.М. Пощо. См. ее *ОТВЕТ Н.А. БЕРДЯЕВУ ПО ПОВОДУ АНТРОПОСОФИИ*. — «Путь», 1930, №25 (декабрь) и Н.А. Turgenieff-Pozzo *ZWÖLF JAHRE DER ARBEIT AM GOETHEANUM* (Dornach, 1942).

ТУРГЕНЕВА, Татьяна Алексеевна (1896-1966) — сестра Аси, жена Сергея Соловьева, работала в Литературном музее.

УНГЕР, д-р (Unger, Dr. Carl, 1878-1929) — фабрикант, философ, один из основателей штутгартской ложи А.О., член совета Johannesbau-Verein. О нем см. *ВШ* и *RSL*, III, 93.

ФАДУМ (Fadum, Francke) — упомянут в *ВШ*.

ФИЛОСОФОВ, Дмитрий Владимирович (1872-1940) — литературный критик и публицист, близкий друг З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковского.

ФРИДКИНА (Fridkin, Henriette, 1879-1943) — упомянута в *ВШ*.

ХОЛЬЦЛЕЙТЕР (Holzleitner) — упомянута в *ВШ*.

ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, Александра Николаевна (1869-1925) — переводчица, критик, сестра жена Ф.Сологуба, близкий друг В.Иванова и его семьи.

ЧЕРНОВ, Виктор Михайлович (1873-1952) — один из основателей партии с.-р., ее теоретик, министр земледелия во Временном правительстве.

ЧИЛЬС, мисс — упомянута в *ВШ*.

ЧИРСКАЯ, фон (von Tschirschky, Gertrud) — упомянута в *ВШ* (фон-«Ч»).

ШАГИНЯН, Маризтта Сергеевна (1888-1982) — см. 10 писем Белого к ней, опубл. в ее мемуарах *ЧЕЛОВЕК И ВРЕМЯ*. — «Новый мир», 1973, №6.

ШВАРСАЛОН, Вера Константиновна (1890-1920), третья жена Вяч. Иванова.

ШЕНРОК — вероятно, Сергей Владимирович (1893-1918), студент-филолог, сын Владимира Ивановича Шенрока (1853-1910), историка литературы, специалиста по изучению Гоголя («Приходит Нос — по воле рока / Он, вы представьте, — без Шенрока!» — *ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ*). Он упомянут в кн. *МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ* как член ритмического кружка при изд. «Мусaget». (с.353, 393).

- ШМИДЕЛЬ** (Schmiedel, Oskar, 1887-1959) — упомянут в *ВШ*.
- ШМИДТ** (Schmid-Curtius, Dr. Carl, 1884-1931) — см. *ВШ* и *RSL*, III, 92.
- ШОЛЛЬ** (Scholl, Mathilde, 1869-1941, Дорнах) — см. *ВШ* и *RSL*, III, 95.
- ШТЕЙНЕР**, Рудольф — см. прим. на с.10 этого тома. Письма Белого к нему опубликованы в «Beiträge zu Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Andrej Belyj und Rudolf Steiner. Briefe und Dokumente», №89/90 (Dornach, Michaeli, 1985).
- ШТИНДЕ** (Stinde, Sophie, 1853-1915) — директор немецкой секции А.О., «пастырь добрый» движения, по словам Белого. Много о ней в *ВШ*. См. также *RSL*, II, 159. В письме к Иванову-Разумнику от 20 ноября 1915 г. (по новому стилю) Белый писал: «...пришло известие, что скончалась одна из руководительниц нашего общества: Штинде [умерла 17 ноября]. И вот, после кончины ее, я могу сказать, что у меня было отношение к ней, ну как ... к Льву Толстому, как ... к старцу; она вся была типом *святой христианской угодницы*» (ЦГАЛИ, ф.1782, оп.1, ед.хр.6).
- ШТРАУС** (Strauss, Hans, 1883-1946) — художник, упомянутый в *ВШ*.
- ШЮРЭ** (Шюре) (Schuré, Edouard, 1841-1929) — французский оккультист, член парижского «Теософического Общества Востока и Запада», затем приверженец антропософии и ранний сотрудник Штейнера, которого переводил и о котором много писал. Автор серии пьес-мистерий под названием *LE THÉÂTRE DE L'ÂME* (1900-1905).
- ЭККАРТШТЕЙН**, баронесса (von Eckhardtstein, Imme, 1871-1930, Дорнах) — художница, работала над костюмами и декорацией к мюнхенской постановке мистерий Штейнера. См. о ней *ВШ* и *RSL*, III, 84.
- ЭЛЛИС** (наст. фамилия: Кобылинский, Лев Львович, 1879-1947) — поэт и теоретик символизма, переводчик и критик. См. *НАЧАЛО ВЕКА, МЕЖДУ ДВУХ РЕВОЛЮЦИЙ, ВШ*. См. также статью С.С. Гречишкина и А.В. Лаврова *ЭЛЛИС — ПОЭТ-СИМВОЛИСТ, ТЕОРЕТИК И КРИТИК*. — «XXV Герценовские чтения. Литературоведение. Краткое содержание докладов». Л., 1972.
- ЭЛЬРАМ** (Ellram, Berta) — упомянута в *ВШ*.
- ЭНГЛЕРТ** (Englert, Josef) — см. *ВШ* и *RSL*, III, 101.
- ЮЛИ** (Юлэ) (Uehli, Ernst, 1875-1959) — активный участник вальдорфской школы, где преподавал историю искусства. О нем см. *ВШ*.

***РЕЦЕНЗИИ
ДОПОЛНЕНИЯ
ПИСЬМА***

Л. Черняк

**ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД
КАК ОСНОВА НЕ-ПОНИМАНИЯ**

Каждая культура, коль скоро она порождает философию, доводит свое самосознание до предельного теоретического чекана. Разумеется, понимание какой-либо культуры предполагает непосредственно-жизненное личное знакомство с ее характерными образами, с ее стилем и ритмом. Действительное понимание предполагает интуитивно-ясное узнавание физиономии культуры, предшествующее любому теоретическому обсуждению и логическому конструированию. Но для того, чтобы тайну своих истоков и определенность своих границ какая-либо культура могла довести до статуса теоретической проблемы, она нуждается в философии. Больше того, и формирование этой нужды, и осознание ее есть дело философии.

И индивидуальному сознанию человека, и целым культурам свойственно переносить свои принципы и основоположения на других: «судить о других по себе». В этом стремлении нет еще ничего плохого. Здесь выражает себя инстинктивный порыв к утверждению универсальной ценности и общезначимости своего существования, к его осмысленности и метафизической укорененности. Беда и грех подкарауливают (и отдельного человека, и целые культуры) тогда, когда это стремление (увидеть других своими глазами) не дополняется противоположным — увидеть себя глазами других. Последнее же предполагает способность понять радикальную суверенность и уникальность чужой жизни, глубинное

James P. Scanlan. *MARXISM IN THE U.S.S.R.: A CRITICAL SURVEY OF CURRENT SOVIET THOUGHT*. Ithaca, Cornell UP, 1985. 362 pp.

различие духовных основ своей и чужой культур. А без такого уяснения невозможно понять уникальность *своей* жизни и духа *своей* культуры.

И культурный, и политический лексикон современного человечества пестрит такими выражениями, как «взаимопонимание», «диалог», «объективный подход», «равные права и суверенность партнеров». Но что означает «понимание» для разных культур, как *понимают* они «диалог», как понимают «объективность», какое значение вкладывают в слова «суверенность» и «равенство»?

Самый распространенный ответ на эти вопросы заключается в том, что никакого специального ответа не требуется, так как понятия эти интуитивно ясны и достаточно универсальны.

В таком ответе в скрытой форме (вся беда в скрытости этой формы) как раз и осуществляется реализация принципа «судить о других по себе». Естественны для нас те понятия, на которые мы не можем взглянуть со стороны. Пока мы не можем выйти за рамки своих стереотипов, пока основы нашей собственной мысли мы не превратили в проблему, до тех пор мы не можем надеяться понять ни себя, ни других.

Но вот вы встречаетесь с книгой, автор которой делает попытку исследовать инокультурную философию и в то же время не только считает излишним в рамках такого рода философского исследования обсуждать проблему понимания, но и не видит в *понимании* проблемы. Он уверен, что располагает достаточно универсальными, интуитивно ясными основами, избавляющими его от необходимости определять философский состав своего подхода. Если только эта книга относится к разряду типичной философской продукции, то мы имеем дело с тенденцией, ведущей к самоликвидации философии, с признанием ее никчемности в рамках данной культуры. Но судьба философии — теоретический эквивалент судьбы культуры. Капитуляция философии — это параллель общей атрофии способности понимания, замена столь характерной для западного духа экзистенциальной заинтересованности в других культурах вялым и снисходительным любопытством.

Передо мной книга американского философа Дж.П.Сканлана «Марксизм в СССР». Книга в некотором роде совершенно замечательная, так как, несмотря на очевидную научную добросовестность автора, проработавшего огромный материал, касающийся современной философской ситуации в СССР, книга эта, как мне представляется, может служить образцом метафизических основ американского *непонимания* России.

Что Джеймс П. Сканлан называет марксистско-ленинской философией в СССР? Этот вопрос, возникший в тот момент, когда я увидел название книги, остался для меня совершенно без ответа и после ее прочтения. Правда, в заключении д-р Сканлан делает следующее утверждение:

Данное исследование с очевидностью наводит на мысль, что в Советском Союзе сегодня «марксизм-ленинизм» означает не единую философскую теорию, но собрание различных и иногда противоречащих доктрин, распределенных среди неясно связанных дисциплин и утверждаемых мыслителями, чье членство в партии не препятствует им придерживаться фундаментально противоположных позиций по многим спорным вопросам. За своим фасадом догматического единообразия советский марксизм-ленинизм скрывает многообразие интеллектуальных интересов и убеждений. (с.326)

Пусть так, но автор не говорит, считает ли он, что все это многообразие доктрин, скрытых за официальным выражением «марксизм-ленинизм», заслуживает своего названия по существу. В каком смысле, кроме пропагандистского, все эти доктрины можно обозначить общим названием «марксизм-ленинизм»? Если предполагается, что название отвечает определенному содержанию, то, какова бы ни была степень разнообразия доктрин, они должны составлять некоторое, не только формально-пропагандистское, единство. У них должно быть что-то (традиция, стиль мышления, сакрализация каких-то постулатов или что-либо в этом роде), делающее их вариациями одного духовного течения. Быть в едином духовном потоке не значит придерживаться одних и тех же точек зрения по большинству вопросов, не означает такое единство и отсутствия споров друг с другом. Разве мало споров во все века было среди перипатетиков, в XIX веке среди наследников Гегеля, а в XX — среди представителей экзистенциальной философии? Если же никакого внутреннего единства в советской философской литературе нет, то бессмысленно следовать за пропагандой и представлять *всю* советскую философию как марксистско-ленинскую. Можно, правда, предположить, что Джеймс П. Сканлан говорит не обо всей публикуемой в СССР философской продукции, а о той ее части (может быть, в отношении количества имен и размеров тиражей наиболее массовидной), которая является «настоящим» марксизмом-ленинизмом, которая содержательно соответствует своему формально-официальному обозначению. Но такое предположение влечет за собой другое: либо автору уже известны, либо он собирается выяснить в ходе исследования содержательные характеристики «марксизма-

ленинизма», которые отличают его от других форм философского творчества в СССР. В исследовании такого рода совершенно невозможно уклоняться именно от содержательного ответа на вопрос. Нельзя жестом обозначить то, *что* мы собираемся исследовать, а затем приступить к ответу на вопрос — *как* это устроено. Сложность такого рода не связана специфически с советской философией. Любая философская работа включает в себя экспликацию «ЧТО» — проявление смысла как предмета исследования. Такой круг (определение предмета исследования как основная проблема исследования) — не методологическая промашка, а отражение существа философии, ее постоянных усилий осмыслить предпосылки мысли. (Этот круг — одна из основных тем хайдеггеровско-гадамеровской герменевтики.) Возможно, для биолога простительно утешаться иллюзией, что обозначение объекта не требует (в отличие от самого процесса исследования) интеллектуальных усилий, что ему вполне достаточно простого жеста — вот живая клетка, а вот живая собака. Философу такая иллюзия непростительна, он не может не знать, что указание на духовный организм некоторой культуры (указание на мысль как духовный организм) есть жест интеллектуальный. Этому, кажется, научил нас еще Платон. Античный Космос как совершенный образ античной культуры изваян усилиями греческой философии. В этом смысле вся история греческой философии — это один, длящийся века интеллектуальный жест, обрисовывающий этот образ — эйдос. *Философия как осмысление культуры* есть прежде всего вопрос для себя самой: *что* есть философия? *что* есть мысль? *что* есть культура? Это вопросы, с которых она и начинает и к которым приходит в результате. Жизнь духа, получив философское выражение, тем самым получает статус проблемы.

Итак, что есть «марксизм-ленинизм»? Надежду на содержательную характеристику этого (предположительно литературного) явления дают следующие слова:

Поскольку доминирующая философия есть индикатор, раскрывающий характер и уровень культуры, исследование современного марксизма-ленинизма во всем его объеме, — от метафизики до морали, — должно многому научить нас относительно жизни духа в Советском Союзе на исходе двадцатого века. (с.9)

Казалось бы, такое утверждение должно естественным образом сопровождаться разъяснением: как автор понимает, что такое философия; какой смысл он вкладывает в понятие «культура», что означает выражение «доминирующая философия»; и, наконец,

уверен ли он, что тот сорт литературной продукции, который соответствует своему названию «марксизм-ленинизм» (если только этот сорт литературы действительно существует), может быть назван философией (ну, хотя бы в том смысле, что способен выполнять функцию проявителя по отношению к жизни культуры в сегодняшнем Советском Союзе)? Ни один из этих вопросов не обсуждается в книге, что, впрочем, не мешает автору утверждать:

...моя работа имеет характер имманентной критики... Я не задаюсь вопросом, верен ли советский марксизм-ленинизм — по отношению к Марксу, но — верен ли он в отношении к себе самому, т.е. формирует ли он последовательную, аргументированную, проясняющую философскую позицию. (с.10-11)

Это сказано так, как будто нет ничего проще для философа или исследователя культуры, как двигаться «по логике объекта», не навязывая этому объекту (этому духовному организму) чуждых ему определений. Ведь вся сложность философского исследования инокультурной философии как раз и состоит в поиске позиции, которая позволит услышать подлинный голос, а не навяжет свои собственные клише. И в этом смысле отношение к чужой культуре вполне аналогично отношению к сокровенным основам существования другого человека. Бессмысленно надеяться получить искренний ответ, если вопрос о том, чем жив человек, задан тоном праздного любопытства. На такой вопрос я не имею права, если загодя знаю, что ответ ничего не изменит по существу в моей собственной жизни. Только тогда я могу предполагать, что не совершаю бестактности, когда ожидаю ответа, который несет для меня самого значение «экзистенциальное». Бестактность в личных отношениях вполне аналогична философской наивности теоретического исследования. Вопрос, адресованный инокультурной мысли, только тогда действительно сформулирован содержательно, когда он превращает в проблему мою собственную культурную традицию, с которой связана моя собственная мысль. Верно и обратное: только опираясь на свою культурную традицию, поняту как традиционная преемственность проблем, я могу обратиться к иной культуре с содержательным вопросом.

На что же опирается в своем исследовании Дж.П. Сканлан?

В мои намерения не входит судить советскую философию по специальным стандартам какой-либо другой философской системы. Я обращаюсь, скорее, к широко принятым критериям интеллектуальной ясности, когерентности, объема, обоснованности. Поскольку советские философы одобряют эти же критерии, моя работа имеет характер имманентной критики. (с.10)

Я не знаю, что это за «широко принятые критерии интеллектуальной ясности, когерентности, объема, обоснованности», да еще одобряемые советскими философами. Если имеются в виду какие-то представления повседневной жизни, то их безусловно нельзя использовать как *критерии*. Хотя бы потому, что мысль, принимая форму повседневных представлений, ампутирует свою память и не ведает своей генеалогии. Если имеются в виду какие-нибудь философские дефиниции, то вряд ли они имеют какой-либо смысл вне определенной философской традиции. В том-то и дело, что скромное намерение не навязывать своей философской позиции скрывает много гордой уверенности (почти всегда неосознанной), что занимаешь некоторое привилегированное абсолютное положение, инвариантное по отношению к любой философской традиции. И тогда скрывается от глаз работа духа, а плоды этой работы достаются в готовом виде, как в магазине. Не творческие истоки связывают их в единство, а расположение на полках и рекламные ярлычки.

В данном случае реклама заверяет: «Мы даем основным реалиям современной цивилизации единое марксистско-ленинское обоснование. Мы творчески развиваем марксизм-ленинизм — вечно молодое и единственно верное учение». Исследователь без особого труда обнаруживает, что реклама лжет. Но это именно тот случай, когда уличение рекламы во лжи не компрометирует товар, а делает ему честь. И слава Богу, что за мертвенно-единообразным фасадом обнаруживаются признаки некоторой (пусть полупридушенной) жизни — плюрализм, разноголосица мнений. Но обнаружив эти признаки жизни, узнал ли исследователь хоть что-нибудь о том, чем эта жизнь живет, в чем ее душа и в чем судьба? Мне представляется, что позиция Джеймса П. Скэнлана просто исключает сколько-нибудь содержательное понимание философской жизни в СССР. Более того, эта позиция навязывает автору заведомо искаженную картину. В соответствии с этой картиной получается так, как будто основным содержанием каждой философской темы в СССР является ответ на вопрос об отношении к марксистско-ленинской догматике. Тем самым философия в СССР сводится до уровня экзегезы сакрализованных текстов «классиков» марксизма-ленинизма. Реклама утверждает: «Источник нашей жизненности — в преданности идеям марксизма-ленинизма». «Нет, — говорит искушенный исследователь, — я понял, что источник вашей жизни в отходе от монолитной однозначности догмы, в полемике или даже в преодолении марксистско-ленинских идей». И он не замечает, что этим возражением делает слишком много чести убогой, вырожденной до полного

идиотизма догматике. Он принял ее всерьез, но не заметил реальных проблем российской философии, а она, как и всякая живая философия, занимается делом, а не обсуждением бюрократических процедур самоидентификации. Это, разумеется, не исключает того, что в СССР каждый официально работающий в философии не может уклониться от демонстрации своей личной лояльности. Такая демонстрация всегда осуществляется как ритуал самоосквернения. Варианты этого ритуала многообразны: от имеющего серьезного отношения к делу цитирования «классиков» марксизма-ленинизма или директивных документов партии до вступления в члены партии. Но это не значит, что каждый серьезный философ отождествляет содержание своей работы с лояльностью по отношению к марксистско-ленинской схоластике. Нельзя сказать даже, что это справедливо для всех, кто искренне считает себя марксистом-ленинцем. Посмотрите хотя бы статьи Э.В. Ильенкова в «Философской энциклопедии». Это работы умного и образованного марксиста (такие тоже есть в России). Посмотрите, что он говорит о «законе» перехода количества в качество. Ничего похожего на ту схоластику, которой Дж.П. Скэнлан уделяет страницы 112-121 своей книги. Для такого марксиста в данном случае речь идет не о невежественных рассуждениях о кипении воды и о «революционных скачках», а об онтологических основах соотношения математического и философского конструирования, о соотношении таких понятий, как «бытие» и «число», о различии между Платоном и Аристотелем, Кантом и Гегелем в интерпретации природы математического знания, о включении, в конечном итоге, в эту великую традицию, исходя из позиций, которые, как он верит, являются марксистскими.

Убежденных и культурных марксистов в России совсем не много. Их и всегда-то можно было пересчитать на пальцах одной руки, а в последние годы этот вид философской фауны, пожалуй, и совсем переводится. Заметить их иностранному исследователю тоже было не трудно — их всегда били и часто делали это довольно шумно. И если перед вами книга американского автора, называемая «Марксизм в СССР», то вы предполагаете найти здесь рассказ о метафизических возможностях живого продолжения марксистских идей в СССР или об отсутствии таких возможностей, о логике вырождения этих идей. Вы предполагаете найти повествование об их *теоретической* судьбе. Вместо этого вы знакомитесь с болтовней массы философских чиновников, карьеристов и недоучек, с бесцветными упражнениями несостоявшихся физиков, компенсирующих свои комплексы на партийно-чиновничьем поприще. Позиция автора такова, что она исключает

сколько-нибудь содержательный анализ философских проблем. Что, например, мы узнаем из этой книги о том же Э.В. Ильенкове? Это —

...покойный неогегельянец, имевший один из острейших умов и языков в советской философии последнего времени. (с.120)

После такой, вполне справедливой квалификации, скажут ли нам что-либо по существу о составе ильенковских работ, о том, что он сделал и чем стал для русской философии? Нет, ничего не сказали, вот только что он был участником возродившегося в 50-е годы старого сражения (начавшегося в 20-е) диалектиков против представителей механистического материализма. С моей точки зрения, совсем не в этом, не в борьбе диалектиков с механицистами, заключался тогда конфликт, а в попытках философов и партийных чиновников затоптать только начавшие оживать в 50-е годы культурные философские традиции. Борьба шла между еще совсем слабенькими после сталинского лихолетья ростками философской культуры и массовым графоманским бескультурьем. Засунув эту драматическую страницу советской философии в клише — «традиционалисты-неогегельянцы против либеральных неомеханицистов», — автор запутал и сам себя. Так, на том основании, что А.С. Арсеньев — на самом деле, в те годы один из ближайших единомышленников Ильенкова, — отказывается от самой идеи *системы* категорий, Дж.П.Сканлан принимает его за антигегельянца наряду с таким позитивистом, как И.С. Нарский. Если, не дай Бог, Анатолий Сергеевич Арсеньев прочитает эти страницы книги, надо думать, он очень расстроится: место рядом с Нарским ему не польстит.

Но предположим, что д-р Сканлан правильно понял суть тогдашнего спора и место, которое в этой «дискуссии» занял Э.В. Ильенков. Не странно ли все-таки, что вместо содержательной характеристики того, что философ сделал, нам говорят (это уже прямо по-советски!) о команде, к которой он принадлежал, и о другой, с которой он сражался. Представьте себе, что из обзорной книги по немецкой философии XX века мы узнаем о Мартине Хайдеггере только следующее: представитель экзистенциальной философии, полемизировавший, исходя из романтическо-традиционалистских позиций, с сайентистскими тенденциями в современной философии. Что это говорит о сделанном Хайдеггером, о существовании его творчества? (Я взял Хайдеггера не для определения масштаба Ильенкова, а потому, что всем ясно — Хайдеггер не только был кем-то, но как философ сделал что-то).

И вот в результате серьезному философу уделяется в работе ничуть не больше (на самом деле — меньше) места, чем людям, чья ментальность мало отличается от ментальности среднего советского чиновника — это Штракс, Руткевич, Шептулин, Мелюхин, Модржинская и другие, числом около двухсот. Одному из самых образованных философов России уделяется меньше внимания, чем академику Ф.В. Константинову, про которого говорят, что его орфографические ошибки видны даже тогда, когда он молчит.

Вполне допускаю, что мои недоумения в определенной мере объясняются отсутствием правовой выучки, что я не сроднился с демократическими принципами, которые требуют с равной серьезностью выслушивать всех участников любого социально значимого многоголосья. Но я уверен, что никакая правовая процедура не может заменить того, что Кант называл способностью суждения. Пусть демократия в том, что все обладают равным правом высказаться, но неужели и в том, что все высказанное обладает для меня равной ценностью? И дело не только в Ильенкове. В конце концов, это хоть и замечательный, но вполне реликтовый марксистский персонаж. Появляющиеся изредка на страницах этой книги такие глубокие мыслители, как А.Ф. Лосев, В.С. Библер, М.К. Мамардашвили проходят почти безмолвными тенями. Многие серьезные и самостоятельные философы не появились здесь совсем. Зато мощный поток официального философского маразма катится со страницы на страницу. Почему? Думаю, только потому, что авторская позиция исключает сколько-нибудь осмысленную культурную селекцию. Говоря о доминирующей философии, автор, как мне представляется, прикрепляет это определение — «доминирующая» — не к работам наиболее значимым для культурной судьбы России, а к работам в рыночном смысле наиболее массовидным и в казенной литературе наиболее цитируемым. Например, учебники Константинова и Афанасьева являются наиболее распространенными, наиболее рекомендуемыми начальством (ведь все учебники философии утверждаются ЦК КПСС), а работы В.С. Библиера печатаются мало и быстро раскупаются, да и философская чернь не любит их поминать. И вот Константинова Дж. П. Сканлан цитирует обильно, кажется, дважды уважительно ссылается на учебник Афанасьева (который студенты называют учебником для домохозяек и пенсионеров), а В.С. Библиера поминает вскользь, как участника дискуссии тридцатилетней давности. Но ни слова не говорит ни о вышедшей 20 лет спустя замечательной книге Библиера «Мышление как творчество», ни о позднейших его публикациях.

Книгами авторов, подобных Шептулину, Штраксу, Мелюхи-ну, Руткевичу, переполнены советские книжные магазины. Но таковы принципы советской торговли: в магазинах лежит не то, на что есть спрос, а то, что никому не нужно. Это не гипербола, а тривиальный повседневный факт. Поэтому массовидность книжной продукции такого рода говорит единственно лишь о том, что высшее идеологическое начальство считает благонамеренным и полезным чтением, но ни в коем случае не отражает господствующих философских вкусов советской интеллигенции. Найти в магазине книги такого замечательного философа и филолога, как А.Ф. Лосев*, довольно трудно. И каждый любитель философии в

* В 1983 и 1984 появились две статьи Дж.П. Сканлана, посвященные А.Ф. Лосеву. Первая из них написана по-русски и посвящена 90-летию ученого. (*А.Ф. ЛОСЕВ. К 90-ЛЕТИЮ*. — «Новый журнал», №150, Нью-Йорк, март 1983, с.282-292). И здесь д-р Сканлан остается верен своему принципу — обсуждать не истоки, построение и развертывание логики данной философской системы, а определять команду, которой принадлежит ее создатель. Поэтому в статье постоянно подчеркивается (вполне справедливо), что Лосев *православный* мыслитель, хотя не делается ни малейшей попытки показать, как лосевское православие влияет на его философское истолкование платонизма, нет в статье даже намек на то, что же собственно Лосев как православный мыслитель сделал существенного и нового, в чем его, Лосева, вклад в православную мысль, и как в его учении отразилась судьба русской культуры. Зато утверждается, что Лосев — приверженец гегелевской диалектики. Это справедливо, но никак не является уникальной чертой Лосева. Утверждается, что он идеалист. Это тоже не уникальная характеристика, но она еще и не вполне справедлива. Почему же идеалист? Я думаю, только потому, что материализм — это плохо. И хорошего Лосева нужно записать в хорошую (противоположную плохой) команду. А любой советский студент (может быть, и американский?) знает, что все философы делились на материалистов и идеалистов. Сам Лосев, правда, утверждает: «Я — не метафизик, но диалектик, не идеалист, но мифолог» (*ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ*. М., 1927, с.36). Но чтобы осмыслить и оценить эти слова Лосева, нужно как раз разобраться в составе его учения, а это куда сложнее, чем просто приписывать принадлежность к команде. Типичная манера историко-философского «анализа» стандартных советских «исследований» и курсов: Фейербах — материалист. Это хорошо! Он и атеист — еще лучше! А Фома Аквинский — идеалист. Очень плохо! Но он еще и монах. Совсем обскурант! — У д-ра Сканлана тот же подход, лишь знаки изменены на противоположные: Лосев идеалист — это очень приятно узнать, особенно о философе, живущем в Советской России; он православный — значит, совсем свой, совсем хороший человек!

Там, где идентификация определяется принадлежностью к «своим», там компетентность и осведомленность исследователя необходимо принимает характер сплетни. И вот нам доверительно сообщают: «Есть основания думать, что Лосев отождествляет гегелевский мировой дух с Софией». Господи, Боже мой! Да что же это за основания, известные лишь посвященным и приобщенным? Разве сам Лосев не сравнивает постоянно и с полной определенностью свое понимание софийной природы бытия с гегелевским учением об абсолютной идее? (см., напр., *ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ*. М., 1927, с.154, или *ИСТОРИЯ АНТИЧНОЙ ЭСТЕТИКИ*, т.6, М., 1980, с.613-619). (См. след. стр.)

России, а не только профессионал, знает, что именно пользуется спросом на черном рынке — прежде всего философская классика от Платона до Гегеля, русская философия «серебряного века», Ницше и Киркегор, Виндельбанд и Кассирер, Гуссерль и Хайдеггер, и т.д. Цены на эти книги фантастичны. Стоимость томика Вл. Соловьева или Ницше в полтора-два раза превышает месячную зарплату среднего интеллигента. «Мир как воля и представление» Шопенгауэра на рынке или в букинистическом магазине, в зависимости от состояния книги, стоит 200-300 рублей, а ме-

А если Лосев говорит об этом сам, то зачем этот интригующий тон («Есть основания думать...»)? А затем, по-видимому, что иначе пришлось бы серьезно разбирать, чем у Гегеля и у Лосева различаются понятия «бытие», «иное», «вплотнение», «действие», т.е. пришлось бы серьезно выяснять, что же, собственно, сделал Лосев как философ. А так можно просто подмигнуть, просто намекнуть на свою осведомленность и приобщенность — есть, мол, основания думать; есть, мол, тонкости, в которые и мы посвящены.

При такой позиции исследователя лучшим доказательством компетентности может быть лишь подтверждение своей принадлежности к тем кругам, где социальная судьба лосевского учения ревниво и с личной заинтересованностью обсуждается на уровне личных же отношений. И вот д-ру Сканлану понадобилось блеснуть именно таким доказательством своей компетентности, излагая отношение Лосева к гегелевской диалектике. Такова неумолимая логика его позиции. Иначе никак не понять, зачем ему, американскому профессору, потребовались безобразные выпады против одного из самых замечательных русских историков культуры С.С. Аверинцева («многоядный», «исподтишка плагиатствующий на учителя фамулу С.Аверинцев», «смастерил» статью о А.Ф. Лосеве). Эти характеристики Аверинцева никак не связаны с тем, что сделал Аверинцев как ученый, или какие мысли Лосева он искажил и в чем концептуально согрешил. Нет, читателю лишь сообщают, что люди компетентные не относят Аверинцева к «нашей», «хорошей» команде. Станным формальным поводом для таких выпадов явилась статья Аверинцева о Лосеве в Большой Советской Энциклопедии (т.15, с.29), где автор утверждает (по мнению д-ра Сканлана, неверно), что Лосев перешел с позиций идеалистической диалектики на марксистские позиции. Я согласен с д-ром Сканланом, что это утверждение неверно по существу. Мне представляется, что никакой эволюции в основаниях и принципах с конца 20-х Лосев не прodelывал, но осуществил грандиозный труд тщательной разработки и углубления исходного учения.

Странно то, что в другой своей статье (*A.F. LOSEV AND THE REBIRTH OF SOVIET AESTHETICS AFTER STALIN*. — в кн.: James J. Rourke et al. (eds.). *CONTEMPORARY MARXISM*, 1984. D.Reidel Publishing Company, p.221-235) д-р Сканлан говорит о Лосеве нечто гораздо более оскорбительное, чем замечание Аверинцева о переходе на марксистские позиции. Формулировка Аверинцева позволяет допустить, что Лосев (искренне или нет, органично или нет — это другой вопрос) включил в своей учение какие-то марксистские положения. Что же касается д-ра Сканлана, то в своей статье он утверждает, что в состав своих новых марксистских принципов Лосев смог внедрить сохранившиеся с 20-х годов существенные элементы своих взглядов (с.228). В одной статье изничтожает Аверинцев за то, что он говорит об эволюции взглядов Лосева, в другой — сам автор утверждает, что православный мыслитель сменил принципы, да еще умудрился успешно утилизировать разложившийся 25 лет назад труп своего учения. (См. след. стр.)

сячный заработок начинающего врача равен примерно ста рублям. Объяснить это явление просто тем, что мало издают, невозможно. Шопенгауэра, насколько я знаю, после революции 1917 не издавали, но Платона, Канта и Гегеля издавали сравнительно много. Цены на них продолжают расти. Но вот что абсолютно невозможно представить, так это то, что профессионал или образованный любитель философии готов по своей доброй воле отдать полтора-два рубля на приобретение книги какого-нибудь Розенталя или Шептулина. Разумеется, средний советский человек, для которого философия есть синоним пустой и претенциозной болтовни за чаем или водкой, философских книг не покупает вообще, а если и потратится по случаю, то на Платона или Канта (хотя с большим удовольствием на Майн-Рида или Лондона), но исключительно для вложения денег. Не по его желанию растут цены на подлинную философию. Но вкладывать деньги в Розенталя и Шептулина, или там Мелюхина и Штракса, — дураков нет. Такую покупку могут совершить по долгу службы, но не по коммерческим соображениям, и уж конечно, не по интеллектуальной потребности и научной добросовестности. Вряд ли вы найдете книги всех этих авторов в домашней библиотеке хотя бы одного культурного москвича.

Несмотря на это различие между обеими статьями д-ра Сканлана, принцип их построения один и тот же. Во второй — автор прямо с обезоруживающим простодушием заявляет, что даже не сделает попытки изложить философские взгляды Лосева как таковые, но он коротко отметит приложение этих взглядов к эстетике (с.222). Его ничуть не смущает, что сам Лосев понимает свою философию как эстетику, что эстетика для Лосева не просто учение об изящных искусствах, но прежде всего — максимальная конкретизация учения о бытии. В эстетике, по Лосеву, онтология и диалектика находят свою дальнейшую конкретизацию. Как специалист может не обратить внимания на то, что центральное понятие лосевской эстетики — *художественная форма* — есть и центральное понятие лосевской онтологии и учения о мифе: «...она есть личность как символ, или символ как личность» (**ДИАЛЕКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЫ**, с.37)? И вместо действительно философского разговора об эстетике Лосева, в этой статье опять псевдоисторические справки о борьбе двух команд (формалистов и марксистов) и безнадежная попытка приписать Лосева к формалистам. И вместо того, чтобы копаться в хитросплетениях лосевской философии и выяснять, почему эта философия есть непосредственно эстетика, д-ру Сканлану легче и понятнее считать, что термин «эстетика», поскольку он входит, например, в заглавие 6-томной «Истории античной эстетики», есть «уклончивое определение всего объема античной философской мысли, употребленное, скорее всего, по издательским соображениям, но и — страха ради иудейска» («Новый журнал», №150, с.284).

В этих двух статьях о Лосеве д-р Сканлан безусловно полностью осуществил свой имманентно-объективный подход. Если тем, кого он считает марксистами-ленинцами, автор не хотел навязывать своих философских оценок, то Лосева он постарался освободить уже от его (Лосева) собственных философских взглядов.

Я не сторонник рыночных способов определения метафизической ситуации, но для меня очевидно, что расхождение между философским спросом на черном рынке и философским предложением в официальной торговле является лишним свидетельством в пользу осторожного отношения к титулу «доминирующая философия». Если основная масса той продукции, которая привлекла внимание Дж.П. Сканлана, и может быть названа доминирующей философией, то ни в коем случае не в качестве выражения внутренних исканий и определяющих потенций российской культуры в последней четверти XX века. Если что она и выражает, да и то неосознанно и косвенно, так это, по-моему, «доминирующую» болезнь России. Разумеется, и эта книжная продукция может быть определена как явление литературного ряда (а не только идеологического), и потому она вполне заслуживает серьезного исследования. Умные книги пишут не только по нормальной физиологии, но и по патологии. Однако исследование болезни культуры также требует рассмотрения культурного контекста, традиции (в данном случае — разрушаемой традиции) и сосредоточенности на диагностической процедуре — *что* представляет собой изучаемое явление? Только в отношении к общекультурной ситуации, а не в отношении к пропагандистско-рекламному самообозначению «марксизм-ленинизм», — может быть осмыслено это явление.

Не только в России торжествует пошлость, не в одной России несчастное, вывихнутое сознание, лишенное ощущения своего исторического места, пляшет ликующий танец потерянности — танец свободы от традиции, от исторической памяти. Но в России власть пошлости и беспамятства конституировалась как власть политическая. Это и есть тоталитаризм, или демократия, если последняя понимается как власть большинства (а не суверенность меньшинства перед лицом власти). Если так, то нет общества более демократического, чем в СССР. Такая демократия действительно тождественна диктатуре духовного пролетариата — «нищих духом». И дело не в том, что население в большинстве своем одобряет решения руководства. Конечно же, чаще совсем не одобряет. Дело в том, что руководство разделяет с населением общие принципы (общую беспринципность) мышления и оценок. В структуре власти и стиле руководства воплотились историческая потерянность и одичание национального сознания. (Я говорю не о причинах и следствиях, не о вине и наказании, о а корреляции явлений, и меньше всего хочу свалить вину за нынешнее положение на народ или затравленное правительство.) Мне представляется очевидным, что та философия, которую Дж. П.Сканлан рассматривает как доминирующую (и в этом секрет

ее доминирования), есть выражение смятенного сознания люмпен-пролетариата. Сознание люмпенов не знает опоры в живых традициях, поэтому оно ищет для себя опору в сильной власти, в бюрократических структурах. Соответственно, такое сознание вводит свои квази-традиции и квази-ритуалы. Европейская философия вырастает из традиционной преемственности проблем. Приобщение к этой традиции в каждом из ее исторических горизонтов неумолимо оборачивается вопросом — «Что есть ты?» Перед потерянным сознанием люмпена стоит другой вопрос — «С кем ты?» Если в философском сознании процедуры самоидентификации в конечном счете есть процедуры углубления в тайну бытия, постижения бытия как тайны, и этой тайны как корня личного существования, то самоидентификация люмпена осуществляется как выбор «своей» команды.

В связи с этим интересна одна черта, свойственная абсолютному большинству работ, которыми занят в своей книге Дж.П. Сканлан. Эта черта забавляет автора, но почему-то он не делает никакой попытки понять ее. А между тем, именно здесь, как мне представляется, и выражена собственно «марксистско-ленинская» сущность данного сорта литературы. Эта черта становится вполне понятной, если предположить, что в ней отразилась «философская» (в смысле — выраженная во всеобщем виде) попытка ответить на вопрос «С кем ты?». Дж.П. Сканлан приводит слова советского философа Г.И. Наана:

Мы знаем, что материальный мир бесконечен, но мы никогда не знаем точно, — в каком смысле? (с.85. Привожу в обратном переводе с английского. — Л.Ч.)

Эти слова, звучащие как пародирование принципов кантовой философии, не являются выражением, случайным для Г.И. Наана, и не относятся только к вопросу «о бесконечности материального мира». Это типичная для «марксиста-ленинца» фигура мысли, когда речь идет о тех или иных «законах материалистической диалектики». «Он знает, что законы верны, — говорит Дж.П. Сканлан, — но он не знает, что они значат» (с.112). Ясно, — мы сталкиваемся здесь с каким-то очень своеобразным отношением к традиции. Мне это явление напоминает хорошо известное из этнографии отношение к ритуалу. Не раз было отмечено, что строгое единообразие некоторого ритуала у родственных мифологических групп не предполагает единообразного мифологического истолкования. Не то, чтобы члены этих групп не могли заметить экзегетических противоречий, а просто противоречия эти для них несущественны. И это понятно. Если иметь в виду традиционное

философское различие «сущности» и «существования», «эссенции» и «экзистенции», то можно сказать, что участие в ритуале задает параметры «эссенциальные» — принадлежность данному коллективу. Миф же эксплицирует параметры «экзистенциальные» — распределение ролей между представителями данных коллективов или между коллективами. Ритуал вводит основание жизни, миф артикулирует жизненные реалии. Мифологический пласт бытия может допускать разнообразные вариации, ритуальный же допускает только два состояния: принадлежность группе — жизнь, выпадение из группы — смерть. Именно так устроено и сознание люмпена, с той лишь разницей, что их коллектив не есть близкородственная группа, связанная легко обозримыми кровными связями, но это — безличная бюрократическая структура, скрепленная (вместо крови) циркуляцией официальных бумаг. Но так же, как и мифологическое сознание, сознание люмпенов не видит большой беды в расхождениях между «эссенциальным» и «экзистенциальным» пластами бытия. Такое сознание не смущается противоречием между двумя утверждениями:

- 1) «мир бесконечен», — это абсолютная истина;
- 2) для нас, марксистов-ленинцев, не вполне ясен смысл утверждения «мир бесконечен».

Первое утверждение носит характер «эссенциальный», оно вводит в круг своих, являясь магическим условием «у-себя-бытия». Это ритуальный рубец на физиономии или, точнее, ритуальный плевок (поскольку невозможно без чувства самоунижения принести свою живую душу в жертву абстракции). Заявив, что исходит из «идеи» бесконечности мира, или истинности «закона» перехода количественных изменений в качественные, или еще какую-нибудь подобную абракадабру, такой философ говорит не о проблеме исследования, не о составе работы, не о том, что составляет содержание его мысли. Нет, он говорит только о том, с кем он, он говорит о своем притязании принадлежать к тем избранным, кому *позволено* говорить. А уж что он скажет, если ему позволят, — это совсем другое дело. Вообще говоря, можно нести все, что угодно, любую околесицу. Лишь бы такая продукция не бросала тени сомнения на правила вхождения в группу, лишь бы не компрометировала фундаментальность принципа деления на «своих» и «чужих». Нельзя рубить сук, на котором сидишь. Это абсолютное табу.

Если философская позиция не сформулирована как проблема, то, соответственно, содержание работы нужно искать где-то за

пределами философии, например, в физико-математическом естествознании. Но что там искать философу, если не ясна философская проблема, если он не знает, что ищет? Поэтому, если первое утверждение выражает философско-идеологическую спесь, то второе представляет собой невольно выболтанное чувство неполноценности (оборотная сторона спеси).

Значит ли это все, что такой «марксист-ленинец» — циничный лицемер и лгун? И да и нет. Конечно же, он лицемер и лгун, поскольку видит (тех, кто не видит, если таковые имеются, мы исключаем из рассмотрения), что данная догматическая посылка не несет в его рассуждении никакой смыслообразующей функции, что до смысла еще нужно докапываться и копать нужно в другом месте. Но он вполне искренне считает такое положение вещей истинным. Его «эссенциальная» философская ложь подлинней «экзистенциальной» естественно-научной правды. Наука, считает он, всего лишь модель, отображение бытия. В ней нет проявленной связи с бытием, нет в ней укорененности (я бы сказал — религиозной подлинности, если бы эпитет «религиозный» не нес в этой литературе абсолютно отрицательной коннотации). Но, как и в мифе, бытие отождествляется здесь с группой, а подлинность раскрывается через соучастие — партиципацию. Обряд подлиннее истолкования, потому что без обряда нет той реальности, которая нуждается в истолковании.

Я думаю, что серьезная работа, посвященная советскому марксизму-ленинизму, должна учитывать по крайней мере русскую философскую традицию разработки темы религии и мифа, драматическую историю противопоставления и смешения этих понятий в истории русской культуры. Конечно, это *мое* истолкование марксизма-ленинизма, а д-р Сканлан не брал на себя обязанности истолковывать. Он хотел судить по критериям, принятым самим марксизмом-ленинизмом. Последний же страдает полной исторической амнезией. Значит ли это, что «имманентная критика» его должна также опираться на беспамятство? Мне кажется, что автор действительно пошел на такую жертву. В результате выбранного им абсолютно имманентного подхода получилось то, что только и могло получиться — абсолютно внешнее истолкование. Вот пример. Дж.П. Сканлан в заключении своей книги снимает с советской философии грех описанного Орвеллом «двоемыслия», которое сам Сканлан понимает как

...распространение прямо и обдуманно противоречивых утверждений, таких как «свобода есть рабство» и «война есть мир» (с.331).

Хотя никто не может отрицать наличие противоречий в советском марксизме-ленинизме, в целом советские философы пытаются скорее минимизировать или замаскировать эти противоречия, нежели превозносить их... Что бы мы ни думали о достоинствах советской марксистско-ленинской философии, в общем, на распространение двоемыслия ради своей эффективности она не полагается. (с.331).

Никакая философия, даже марксистско-ленинская, не занимается и не может заниматься распространением лозунгов. Это не ее функция, поскольку даже самая убогая философия претендует на рефлексию, претендует на самообращение мысли. Но никакой рефлексии в лозунге быть не может. Лозунг «Слава КПСС» не предполагает, что прочитавший его человек скажет сам себе: «Действительно, слава! Как это я раньше об этом не подумал?», потому что следующий ход мысли обязательно будет: «А действительно ли слава?» и «Почему? О чем это, собственно?» Лозунг апеллирует не к сознанию. Его цель — растворить Я в МЫ. Снять с какого-нибудь советского лозунга грех двоемыслия — задача мудреная. Обращенный к человеку, он *рассчитан* на то, что над ним *не* задумаются. Поэтому вы встречаете лозунги на каждом шагу, бессмысленные и стереотипные. Они не претендуют на ваше внимание, как не претендует на него тротуар, по которому вы идете.

Но двоемыслие выражается не только в лозунгах, и двоемыслие не творится искусственно авторами лозунгов, которые якобы преднамеренно сталкивают противоречивые положения. У Орвелла двоемыслие толкуется как *стиль мышления*, и стиль совершенно *естественный* для описанной исторической ситуации. О'Брайен в своих откровениях прямо указывает на действительный исток двоемыслия: воля партии есть предельная метафизическая реальность. И он, один из авторов официальной идеологии, свято верит в подлинность этой метафизики. Так что же, циник ли он или жертва собственного идеализма? В том-то и дело, что и то и другое.

Двоемыслие и есть сознание люмпенов, самоидентификация которых основана на соучастии (партиципации) в безличной группе. Верно, что марксистско-ленинская философия не создает сознательно двоемыслия и не пропагандирует его. Но так же верно, что двоемыслие создает и пропагандирует марксистско-ленинскую философию. Двоемыслие есть квазирелигиозная ментальность, обладающая своими парадоксами, которые никакой лицемер никогда нарочно не придумывал, хотя миллионы лицемеров не перестают искренне провозглашать.

Можно обожать все иностранное: платье, технику, свободу передвижения, оружие, поп-музыку и даже политическую структуру, но искренне считать при этом, что *в целом* «мы» все равно лучше. «У них лучше все в отдельности, но душа у них поганая. У нас в отдельности все хуже, но душа у нас православная». Это очевидно лицемерное и противоречивое утверждение можно исповедовать искренне. (Оно старинное, большевики не придумывали двоемыслия. Они его только открыли и помогли ему развиваться до уровня тиранически господствующего стереотипа.) И точно так же можно надеяться импортировать *все* содержание «закона» перехода количественных изменений в качественные (или любого другого положения) из физико-математического естествознания, будучи до всякого исследования, до начала такого рода операций по импорту полностью убежденным в абсолютной истинности этого «закона». Комплекс неполноценности по отношению ко всему иностранному и комплекс неполноценности по отношению к науке — два варианта одного и того же комплекса неполноценности по отношению к культуре. Все это симптомы отсутствия связи с исторической памятью.

Отказавшись от сознательной опоры на определенную философскую традицию, Дж.П. Скэнлан оказался в гораздо более слабом положении, чем изучаемый им марксизм-ленинизм. Исследователь остался без какого бы то ни было ориентира, позволяющего ему отличить интересующий его философский феномен от других форм философского творчества в СССР. В то же время, сам советский марксизм-ленинизм очень четко выделяет «своих» и «чужих». На то у него «классовое чутье» — интуиция, опознающая степень искренней преданности по отношению к «эссенциальной» лжи. Не каждый, кто согласился испачкать свою статью или лекцию ритуальной формулой или цитатой, может быть признан «своим». Произвел ли он эту процедуру в сердце своем? «Свой» — это определяется по запаху. Возможность чистки, — массовой или индивидуальной, — всегда предполагается.

Но не воспитывать же в себе «классовое чувство» американскому исследователю. Да и как его воспитаешь? Что же ему тогда делать, если вся публикуемая философская литература официально считается марксизмом-ленинизмом, и ссылки на Маркса, Энгельса, Ленина можно найти почти в каждой философской публикации? Правда, все больше людей теперь раздражено этим, все больше спорят (разумеется, по частным квартирам), следует или нет отказаться от участия в официальной культуре: кормится ли она, как всякий паразит, этим участием или, подобно заты-

нувшейся, но предположительно излечимой болезни, отступает, когда организм набирает живые соки? Предположим, что американский исследователь может мысленно исходить из возможности такого размежевания, что он в курсе этих споров и знает не только публикуемое в официальной печати, но и рукописи, которыми обмениваются, которые обсуждают в домашних семинарах и частных разговорах. В этом случае получит ли он некоторую дополнительную информацию, которая будет достаточной для четкого различения марксизма-ленинизма от других, независимых форм философской мысли? Конечно, нет. Точно так, как в официальных публикациях можно найти живую, подлинную мысль, точно так же и в неофициальных докладах и рукописях сколько угодно безграмотности, беспомощности, метафизического одичания и марксистско-ленинского двоемыслия. Сейчас в Советском Союзе можно обидеть человека, публично заявив, что в данной работе он исходит из такого-то марксистского положения (если, конечно, он считает, что вы сказали это в прямом смысле, а не для ритуального прикрытия). В неофициальной аудитории вы скорее всего нарветесь на насмешку, если начнете излагать свою мысль с оборота: «Еще Маркс говорил...». Слова «Еще Ленин говорил...» будут восприняты как начало анекдота. Но такое положение совершенно не означает действительной свободы от двоемыслия. Неприятие марксизма-ленинизма может играть ту же самую политическую, клановую, двоемысленную роль. В таком неприятии очень много не от мысли, а от раздражения и кокетства, — «мы вот какие, мы не какие-нибудь марксисты». Но и этим не исчерпывается сложность и запутанность ситуации. Большая часть убежденных «марксистов-ленинцев», в том числе и самые дремучие, самые темные из них, будут ругать всех (скорее всего, всех!) своих единомышленников. И это вполне по логике двоемыслия — наличная литература безнадежно не соответствует величию сакральных основ.



Разобраться в этом столпотворении изнутри, если не сформулирована собственная философская позиция, если нет проблемы соотнесения традиций, ничуть не легче, чем снаружи. При такой беспечности даже самые высокие порождения культуры останутся для исследователя незамеченными. Он не откликнется на них. Вот Дж.П. Скэнлан говорит:

Монументальные исследования А.Ф. Лосева в истории мысли, — и особенно эстетической мысли, — не имеют равных себе в мировой литературе. (с.330).

Казалось бы, о ком и говорить в этой книге, чьи труды разбирать, если не Лосева? Но нет, и Лосев затерялся среди «марксистско-ленинской» муры. Непонятно, что имел в виду автор, говоря о беспрецедентности лосевского предприятия. Может быть, масштабы, внешний размах — вся античность (от ранней классики до позднего эллинизма, да еще так много томов)? А ведь речь идет о человеке, в творчестве которого подводится грандиозный итог почти полуторавековым метафизическим и мистическим исканиям русского платонизма. Речь идет о традиции, представленной такими именами, как Вл. Соловьев, С. и Е. Трубецкие, П. Флоренский, С. Булгаков. Речь идет о человеке, создавшем одну из наиболее мощных современных теорий мифа и сделавшем античный Космос фактом русской культуры. Но чтобы заметить это, как раз и нужно обратиться к русской философской традиции, а не бесстрашно братья непосредственно за наличное многообразие философской продукции. Без апелляции к истокам современной культуры нельзя понять ни ее болезни, ни самых замечательных ее порождений.

Чтобы услышать ответ, нужно задать вопрос. «Не вокруг творцов нового шума, вокруг творцов новых ценностей вращается Земля. Она вращается неслышно». Так говорит Ф. Ницше. Чтобы услышать тихую работу культуры, нужно создать духовное ухо — превращенную в проблему свою собственную философскую позицию.

**ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ
ПИСЕМ В.Ф. ХОДАСЕВИЧА К Н.Н. БЕРБЕРОВОЙ
(«Минувшее», №5, 1988, с.237-327)**

I

В собрании писем В.Ф. Ходасевича к Н.Н. Берберовой, опубликованных в Вашем последнем (пятом) альманахе (Париж, 1988), пропущено одно письмо, которое я прилагаю здесь и прошу Вас поместить в ближайшем номере «Минувшего» под номером 8-а (1929 г.):

*Милый Ниничек,
спасибо за угощение. Все было очень вкусно, особенно картофель.*

Я без тебя работаю, но не особенно удачно: скучное и трудное место. Однако, 1 1/2 стр. машинистке сделал. Завтра надеюсь сделать остальное.

Пишу же я тебе потому, что в минуту разлуки все влюбленные всех времен и народов чувствовали и чувствуют такую потребность (со временем просто будут наговаривать все любезности в граммофон и посылать пластинки).

Ну, так вот, я ужасно тебя люблю, ценю и уважаю. Но сидеть дома совсем не хочу. Признаться, даже очень хотел бы за недорогую цену получить какие-нибудь волнующие впечатления. Поэтому не удивляйся, если я закачусь даже на Монмартр и вернусь утром. Любовь моя к тебе никакого урона не понесет. А затем целую тебя ужасно.

Писатель.

Кстати, позвольте приложить поправки к нескольким опискам и опечаткам, которые вкрались в текст примечаний профессора Давида Бетеа:

№№ письма	Дата	Поправка
1	14.9.1926	Соломон Владимирович Познер
2	11.4.1927	Роза Георгиевна Винавер
13	21.2.1930	Возможно, что так называлась газета, но так называлась и группа (или партия) французской фашистской молодежи.
21	29.10.1930	Наль умер после войны, в глубокой старости, в доме Нидермиллеров.

23	2.11.1930	Не статья о Суворове и Державине, а глава о них в книге.
24	4.11.1930	«Сановник» — не статья, а рассказ.
32	19.7.1932	Ашкенази.
32	19.7.1932	Не однажды. Мы держали за собой эту комнату, вернее, чулан с окном все время, пока жили в Саарове. Ночевали, когда застревали поздно в Берлине, и уже не было пересадки на маленький поезд в Фюрстенвальде. На наши деньги теперь она стоила бы около трех долларов.
32	19.7.1932	Аврех был выпускающий в «Возрождении». Он работал ночами в типографии.
36	26.8.1932	Жену Б.К. Зайцева звали Вера Алексеевна.
54	Март 1936	Не Спиридонович, а Спиридович — вторая жена жандармского генерала Спиридовича, исполнительница цыганских романсов, которая очень нравилась Б.К. Зайцеву.
56	1936	Настоящая фамилия Д.Кнута была Фиксман.

Н. Берберова.

II

По поводу комментария М. Bethea к письму Вл. Ходасевича от 13-го июня 1930 г. («Минувшее», №5, 1988, с.272).

1) Вл. Ходасевич и Мих. Осоргин никогда не были друзьями ни в Москве, ни в Берлине. Но разошлись окончательно не из-за политических разногласий в 30-х гг., а после того, как Вл. Ходасевич пытался (в 1925 г.) очернить Мих. Осоргина, сказавши в редакции газеты «Последние Новости», что он «не высланный, а подосланный».

2) Возобновление советского паспорта в то время не было явлением единичным и одиозным; меньшевики, высланные в 1921 г., продолжали возобновлять свои паспорта до того момента, когда были их лишены. Для Мих. Осоргина это возобновление оборвалось в тот день, когда консул поставил ему на вид, что он не «в линии» советской политики.

На мое письмо, обращенное к М. Bethea, в котором я предложила ему отказаться от своих слов или объяснить, на основании чего было сказано, что Мих. Осоргин поддерживает Советскую Россию, он не ответил. Причина его молчания для меня ясна: он ничего не знает об авторе и его печатных произведениях.

Т. Осоргина.

ANNEX

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Авдиев В.И. 127
 Аверинцев С.С. 461
 Аврех, выпускающий газеты 472
 Августин, бл. 256, 260
 Агриппа Нетесгеймский 419, 420
 Агурский М.С. 263
 Айхенвальд Ю.И. 273
 *Алданов М. (Ландау М.А.) 257, 261, 262
 Александров Г.Ф. 100
 Алексеев С.А. (*Аскольдов) 314
 Алексеев, биолог, з/к 112, 123, 127, 136, 137, 144, 159
 Аллой В. 237-312
 Алпатов М.В. 98, 103
 д'Альгейм (d'Alheim) Р. 440
 д'Альгейм, семья 345
 Альтман М.С. 260
 Амфитеатров А.В. 399, 440
 Анисимов Ю.П. 17, 21
 Анисимова (ур. Станевич) В.О. 17-21, 23, 28, 35, 40, 47
 Анненкова О.Н. 17, 26, 357, 362, 363, 379, 389, 395, 400, 409, 413, 415, 440
 Анненский И.Ф. 81, 82
 Ансельм Кентерберрийский 69, 90, 220
 Анучин Д.Н. 430
 Аренсон (Arenson) А. 348, 440
 Аристотель 19, 214, 285, 457
 Аристофан 68
 Арсеньев А.С. 458
 Архипенко А.П. 258
 Архипов Е.Я. 331
 Афанасьев В.Г. 459
 *Ахматова (Горенко) А.А. 64, 81
 Ахрамович (*Ашмарин) В.Ф. 352, 441
 Ашкенази (*Азов) В.А. 472
 Бай Л., антропософ 374
 Балаховская-Шварцман С.И. 246, 250, 253, 307, 308
 Балаховский Д.Г. 247, 250, 253
 Балаховский С.Д. 246
 Балтрушайтис (ур. Оловянишникова) М.И. 299, 300
 Балтрушайтис Ю.К. 264, 299, 300, 304
 Балтрушайтис Ю.Ю. 300
 Бальмонт (ур. Андреева) Е.А. 31, 32, 347, 357, 441
 Бальмонт К.Д. 8, 27, 31, 264, 332
 Баранова-Шестова Н.Л. 14, 244, 246, 248, 257, 296, 305, 306
 *Барас Д. 259
 Бауэр (Baue) М. 27, 361, 371, 441
 Бах А.А. 268, 291, 304, 305
 Бах А.Н. 245, 246, 268, 274, 291, 294, 304, 307, 308
 Бах-Балаховская И.А. 246, 308
 Бах Л.А. 246, 253, 256-258, 262, 268, 274, 280, 282, 284, 286, 292, 296, 297, 300, 301, 308
 Бах Н.А. 246
 Бах, сестры 245, 305
 Бахрах А.В. 288, 293, 296

Курсивом выделены номера страниц, где соответствующее лицо выступает как автор или публикатор. Звездочкой (*) отмечены псевдонимы или криптонимы.

- Бахтин М.М. 229
 Безант А. 436, 441, 444
 Бекк (Beckh Н.) 347, 441
 Белинков А.В. 238
 Белинский В.Г. 293
 Белицкий Е.Я. 249, 251, 252, 262, 263, 271, 278, 280
 Белох К.Ю. 237
 Белоцветов Н.Н. 352, 354, 361, 363
 *Белый А. (Бугаев Б.Н.) 8-10, 13-17, 19, 20, 22, 23, 26-28, 30, 33, 36, 39, 40, 42, 46, 47, 49-51, 53, 245, 247-253, 260-263, 269, 272-274, 280, 281, 286-288, 291, 293, 295, 299-301, 310-312, 332, 337-343, 344-440, 441-448
 Бер Е.Г. 313
 Берберова Н.Н. 274, 288, 471-472
 Бергенгрюн Т.А. 347, 362, 379, 400, 441
 Бергсон А. 271, 272, 283
 Бердяев Н.А. 7-9, 53, 236, 247, 249, 254, 259-264, 266-268, 273, 274, 277, 279, 287, 308, 316, 351, 353, 441, 447
 Бердяевы, семья 245, 247, 255, 256, 265, 266
 Березовская-Шестова А.Е. 246, 248, 250, 257, 269, 270, 276, 289, 290, 292, 295, 296, 300, 301, 304-309, 311
 Березовская-Шестова Т.Л. 14, 248, 249, 251, 289, 295, 300, 309
 Березовские, семья 246, 250, 256
 Березовский А.Е. 245, 246, 265, 266, 268, 289, 301, 306
 Березовский Е.А. 248
 Беригард, алхимик 420
 Бетеа (Bethea) Д. 471, 472
 Библер В.С. 459
 Бизе, философ 219
 Блаватская Е.П. 14, 360
 Блок А.А. 19, 33, 40, 49, 112, 252, 280, 281, 327, 337, 338, 344, 349-351, 353, 415, 441, 442, 444, 445
 Блок Л.Д. 340, 353
 Богоявленская Н.Н.(А.?) 373, 400, 415
 Боденштейн фон, мистик 419
 Бойль Р. 423
 Болът (Boldt) Э. 370, 441
 Бондарь, начальник лагеря 56, 61, 76
 Боратынский Е.А. 311
 Бородаевская (ур. Князева) М.А. 441
 Бородаевский В.В. 352, 354, 375, 377, 441
 Бразоль А., антропософ 379, 400, 407, 441
 Бруно Дж. 420, 426
 Брюллова, антропософка 352
 Брюсов В.Я. 261, 264, 332, 338
 Бугаева А.Д. 374, 376-378, 441
 Бугаева (ур. Алексеева) К.Н. 9, 15, 17, 20-23, 30, 31, 38, 47, 51, 52, 293, 300, 338, 340, 352
 Булгаков В.Ф. 40, 45
 Булгаков С.Н. 249, 251, 256, 260, 261, 265, 266, 276, 277, 316, 318, 348, 415, 430, 441, 470
 Булгаков Ф.С. 256, 261
 Булгакова (ур. Токмакова) Е.И. 256, 261, 265
 Булгакова М.С. 256, 257, 261, 276
 Бурышкин П.А. 14
 Бухарин Н.И. 237
 Бэкон Р. 347
 Бэкон Веруламский, Ф. 347
 Вагнер, антропософ 371, 442
 Вакано (von Vasano Н.) 444
 Валлер (Waller) М. 348, 362, 376, 388, 394, 442
 Вальтер (Walther) К. 347, 348, 442, 443
 Ван-дер-Паальс Л. 347, 442
 Ван-дер-Паальс, антропософка, сестра предыдущего 352, 354
 Ванеев А.А. 54-203
 Ванеев А.А., дед предыдущего 54
 Василенко В.М. 96, 103, 104, 123, 137-139, 166, 167
 Василий бл. 212
 Васильев В.Н. 352, 363
 Васильев П.Н. 22, 352

- Васильева (ур. Дмитриева) Е.И.
 (*Черубина де Габриак) 352, 354,
 363, 442
 Васильева К.Н. — см. Бугаева
 Васильевы, семья 21, 22, 442
 Введенский А.И. 314
 Вегелин (Wegelin H.) 410, 442
 Вегман И. (Wegman I.) 46
 Вейер И. 419
 Вейерштрас К.Т.В. 426
 Венгерова З.А. 332
 Вергилий М.П. 260, 329
 Верховский Ю.Н. 310, 311
 Викентьев В.В. 34
 Винавер Р.Г. 471
 Виндельбанд В. 315, 420, 461
 Виноградов П.Г. 283, 284
 Вишняк А.Г. 271, 272
 Вишняк М.В. 272, 276, 277
 Владимир Мономах 138
 Войков П.Л. 8
 Волков С.А. 321-324
 Волошин М.А. 8, 24, 27, 261, 266,
 301, 312, 325-333, 406, 413, 415,
 442
 Волошина М.В. — см. Сабашни-
 кова-Волошина М.В.
 Волошина М.С. 331, 333
 Вольпин Н.Д. 13, 14
 Вольфюгель (Wolffhügel M.) 374,
 386, 406, 442
 Воронин С.Д. 441
 Вундт В. 313
 Вышеславцев Б.П. 268

 Гавронский, философ, з/к 112,
 114, 120, 121
 Гайер (Гаэр, Geier H.) 347, 379,
 406, 442
 Галкин С.З. 77, 78, 81, 98-101, 104,
 124, 149, 152, 188
 Галлен, бар., антропософка 363
 Галлен, семья 348
 Гамильтон (Hamilton L.) 374, 379,
 442
 Гамильтон, тетка предыдущ. 400
 Ганна (Hünther Hanna) 347, 442
 Гаррис (Harris L.) 379, 442

 Гегель Г.В.Ф. 19, 36, 247, 293,
 296, 453, 457, 461, 462
 Гейдебрандт (Heydebrand) В., фон
 373, 386, 411, 412, 442
 Геккель Э. 430
 Гельвещий К.А. 420
 Гельмгойден (Helm-Hoyden), ант-
 ропософка 355
 Гельмгольц Г.Л.Ф. 421
 Гельмонт, ван, мистик 419, 420,
 428
 Гераклит 216, 223, 224
 Герцены, семья 294
 Герцык Е.К. 36, 247, 251, 259, 261,
 265, 266, 305, 312
 Герцык-Жуковская (*Сирин) А.К.
 256, 261, 265, 266, 305, 306
 Гершензон А.О. 300
 Гершензон М.О. 237-244, 245-312
 Гершензон (ур. Гольденвейзер)
 М.Б. 249-251, 253, 257-259, 265,
 270, 272, 273, 278, 284, 286, 287,
 289, 290, 292-296, 298, 300-306,
 309, 311
 Гершензон С.М. 249, 250, 254,
 285, 305
 Гершензон-Чегодаева Н.М. 250,
 277, 281, 287, 301, 305
 Герье В.И. 41
 Герье С.В. 41
 Гессен И.В. 273
 Гете И.В. 101, 286, 366, 430, 438
 Геффдинг Г. 293
 Гёш (Gösch) Г. 348, 353, 356, 442
 Гиппиус З.Н. 283, 353, 442, 445,
 447
 Гиппиус Т.Н. 353, 442
 Гитин В. 343
 *Гитлер (Шикльгрубен) А. 270
 Глаголев, знакомый С.А. Волко-
 ва 322
 Гоголь Н.В. 260, 293, 447
 Гольденвейзер А.Б. 291, 293-295,
 304
 Гольденвейзер Б.С. 250
 Гольденвейзер Н.Б. 292, 294, 295
 Гомперс Т. 293
 Гориневский Г.В. 42, 43

- Горнфельд А.Г. 237
 Городецкий С.М. 333
 *Горький М. (Пешков А.М.) 253, 293, 339
 Гофман М.Л. 332
 Гранберг П.В. 333
 Гречишкин С.С. 338, 442, 448
 Гржебин З.И. 252, 368
 Григорий Нисский 68
 Григоров Б.П. 13-18, 21, 24, 26, 27, 47, 52, 352-354, 363, 393, 396, 398, 400, 401, 442
 Григорова Н.А. 14, 352-354, 363, 393, 396, 398, 400, 401, 442
 Гросхайнц (Grosheintz) Э. 351, 370, 373, 379, 386, 387, 389, 390, 408, 410, 411, 443
 Гумилев Н.С. 64
 Гуссерль Э. 285, 461
 Гюнсманс Ш.М.Ж. 420
 Гюнтер, антропософ 374, 379, 387

 Давыдова Н. М. 253, 257, 258, 271
 Д'Амелиа А. 237-312
 Данилевский Н.Я. 412
 Данте Алигьери 328, 329
 Дарвин Ч.Р. 447
 Деглау, антропософ 348
 Дежарден П. 308
 Декарт Р. 284, 320
 Дельвиг А.А. 311
 Делянов И.Д. 314
 Державин Г.Р. 472
 Дешарт (Шор) О.А. 247, 250, 251, 260, 264, 302, 332
 Джемс В. 266
 *Дикс Б. (Леман Б.А.) 17
 Добролюбов Н.А. 313
 Достоевский М.М. 283
 Достоевский М.Ф. 282, 283
 Достоевский Ф.М. 251, 259, 260, 270, 278, 279, 282, 283, 296, 430
 Дрекслер (Drexler) Л. 395, 443
 Дубах (Dubach) О. 373, 379, 386, 387, 408, 443
 Дубах К.А. 372, 373, 398, 400, 415, 443

 Дудкин В.Г. 251
 Дюбанек (Djubanek) Э. 378, 379, 443
 Дюрер А. 98, 371
 Дюшен Б. 263

 Евлогий, митр. 87
 Есенин-Вольпин А.С. 13

 Жвиронас, физик, з/к 58, 62, 66, 67, 71, 86, 87, 101, 109, 148
 Жегалкин И.И. 14
 Жемчужникова М.Н. 9, 10-53
 Жемчужникова Н.П. 23
 Жид А. 270
 Жуковский Д.Е. 256, 261, 265, 305, 306

 Завадский Ю.А. 39
 Зайцев Б.К. 53, 266, 472
 Зайцева В.А. 264, 266, 273, 472
 Залле, врач 287
 Зауэрвейн, антропософка 385
 Збарский Б.И. 294, 305
 Звенигородский А.В. 271, 272
 Зейлинг (Зеллинг, Selling) В. 348, 362, 371, 443
 Зейфельт (Seefeld) В. 372, 373, 443
 Зеньковский В.В. 247, 260
 Зиновьева-Аннибал Л.Д. 304
 Зубов В.П. 27

 Иван IV (Грозный), царь 212
 о.Иван, заключенный священник 77, 146, 147, 152, 153, 175, 179, 182, 183
 Иванов В.И. 8, 27, 39, 42, 53, 238, 245, 247, 249-252, 254, 256, 260, 262-266, 268, 300-305, 309, 325, 332, 345, 349, 441, 443, 447
 Иванов Д.В. 244, 265, 301-303
 *Иванов-Разумник (Иванов Р.В.) 15, 22, 27, 40, 51, 293, 341, 342, 349, 351-353, 373, 443, 448
 Иванова Л.В. 301-304, 309
 Игнатов И.И. 246, 256
 Игнатова С.Я. 245
 Игнатовы, семья 245, 256

- *Изгоев (Ланде А.С.) 268
 Ильенков Э.В. 457-459
 Ильин И.А. 36, 37, 268, 273, 279, 281, 316
 Ильина Е.А. 36, 354, 372, 373, 375, 376, 378, 398-400, 404, 415, 443
 Иоанн, евангелист 25, 84, 93, 433
 Ирений, мистик 420
- Каган М.И. 229-236
 Калинин Л.В. 23
 Кальвин Ж. 318
 Калькрейт (Kalkreuth) Р. 353, 378, 393, 443
 Каменев В., литературовед 332
 *Каменев Ю. (Розенфельд Л.Б.) 276-278, 282
 Каменева О.Д. 264, 302
 Каминка А.И. 273
 Кампиони В.К. 344, 350, 354, 443
 Кампиони С.Н. 344, 349, 350, 354, 377, 378, 385, 443
 Кандинский В.В. 8
 Кант И. 19, 113, 114, 314, 457, 459, 462
 Кантемир Д.К. 210
 Каптерев Н.Ф. 322
 Каптерев П.Н. 322
 Карамзин Н.М. 250
 Карелин А.А. 42
 Карлейль Т. 280
 Карсавин Л.П. 54, 55, 57-60, 62, 63, 65-67, 69-76, 80, 82-95, 98-103, 105-111, 113-122, 124-144, 148-150, 152, 154-176, 178-203, 268, 316
 Карташев А.В. 353, 443
 Кассирер Э. 293, 461
 Катаня Р.П. 27, 444
 Катчер (Kaser) М. 374, 378, 379, 384-387, 443
 Кафка Л.В. — см. Сизова Л.В.
- *Качалов (Шверубович) В.В. 311, 312
 Кедров Б.М. 314
 Кезельман (ур. Алексеева) Е.Н. 22
 Кезельман С.М. 22, 35, 37, 38
 Кемпер (Kemper) К. 373, 379, 386, 400, 404, 405, 443
- Кизеветтер А.А. 273, 276, 278
 Кирдецов Г.Л. 263
 Киреевский И.В. 237
 Киркегор С. 461
 Кирхвегер И. 420
 Кирхер, розенкрейцер 419, 420
 Киселев Н.Н. 354, 373, 443
 Киселев Н.П. 357, 443
 Киселева А.Н. 363
 Киселева Т.В. 354, 379, 400, 443
 Кистяковский Б.А. 245, 248
 Киттель (Kittel) Е. 385, 443,
 Классен (Clason) Л. 374, 394, 444
 Клемансо Ж. 55
 Клемперер Г. 285, 286
 *Клюн (Клюнок) И.В. 258
 Ключевский В.О. 278
 Ключников Ю.В. 263
 *Кнут Д. (Фихман/Фиксман Д.М.) 296
 Коган П.С. 290
 Коген (Когэн) Г. 18, 19, 112, 231
 Козлов А.А. 314
 Колпакчи (Kolpakchy) Г. 385, 444
 Константинов Ф.В. 459
 Коперник Н. 333, 426, 429
 Костычева О.П. 400, 410, 415
 Котрелев Н.В. 260
 Крандиевская Н.В. 253
 Крахт, антропософ 415
 Кристеллер П. 30
 Кублицкая-Пиоттух (ур. Бекетова) А.А. 353, 443
 Кудашева-Кювиле М.П. 310, 312
 Кузмин М.А. 325, 332
 Кунрат Г. 419, 420, 428
 Купченко В.П. 325-333
 Кучерова (Kucerova) И. 374, 379, 444
- Лависс Э. 237
 Лавров А.В. 27, 248, 252, 312, 338, 442, 443, 445, 448
 Лагерлеф С. 266
 Лазарев А.М. 288
 Ланг Р.Н. 55, 57, 71, 76
 Ланн Е. 332
 Лансон, историк 237

- Лапшин И.И. 268, 316
 Лёв, норвежский антропософ 379
 Лев III, папа 131
 Леви (Lévy) Э. 385, 395, 444
 Ледебур (Ledeboer) Ф. 373, 376, 390, 444
 * Лежнев И. (Альтшулер И.Г.) 263
 Лейбниц Г.В. 420
 Леман Г.А. 259
 Леман (Lehmann) Б. 348, 352, 362, 444
 Леман (Lehmann) Э. 348, 352, 362, 444
 * Ленин (Ульянов) В.И. 30, 53, 251, 282, 286, 293, 468, 469
 Леонардо да Винчи 101
 Лермонтов М.Ю. 277
 Лерхенфельд (Lerchenfeld) О. 347, 357, 358, 361, 444
 Лесков Н.С. 331
 Лигский К.А. 399, 400, 404, 415, 444
 Лилль (Lille) Х. 373, 444
 Линде (Linde) Г. 374, 394, 444
 Лиссау (Lissau) Р. 372, 389, 444
 Лихтфогель (Liedvogel) Г. 372, 389, 444
 Ловцкая (ур. Шварцман) Ф.И. 264-266, 302
 Ловцкие, семья 268, 270, 287-289, 308
 Ловцкий Г.Л. 244, 252, 265, 266, 269-274, 277, 280, 283, 285, 289, 299, 301
 Ломоносов М.В. 27, 46, 47, 210
 Лондон Дж. 462
 Лосев А.Ф. 459-462, 469, 470
 Лосская (ур. Голстунская), родственница Н.О. Лосского 314
 Лосский Л.Н. 314
 Лосский Н.О. 220, 268, 313-320
 Луи В. 145, 158, 166, 167, 176-178, 190, 195-197, 200, 202
 Лука, евангелист 24, 92, 138
 Луначарский А.В. 253, 277, 302
 Лундберг Е.Г. 249, 251, 252, 257, 263, 264, 268, 269, 272, 276, 287, 290, 293-295, 303, 305
 Лурье С.В. 289, 290, 292, 295, 299, 308
 Людвиг, знакомая Э.К. Метнера 355, 379, 386, 444
 Лютер М. 318
 Май, нем. антропософка 374, 444
 Май, фон, братья 378, 444
 Майер М. 420
 Майн-Рид Т. 462
 Малахиева-Мирович В.Г. 290, 293, 297, 299, 301, 309, 311
 Малевич К.С. 116, 258
 Маликов Н.А. 394, 398, 400, 413, 415, 443, 444
 Мальмстад Дж. 7-53, 337-448
 Мамардашвили М.К. 459
 Мамонтов А.И. 266
 Мандельберг В.Е. 270
 Мандельберг Е.И. 270, 287, 289
 Мандельберг Л.Е. 270
 Мандельберг М.И. 270
 Мандельберги, семья 269
 Мануйлов В.А. 302
 Марк, евангелист 92
 Маркиш П.Д. 13
 Маркс К. 455, 468, 469
 Матфей, евангелист 92, 102, 371
 Машковцев Н.Г. 352, 444
 Мейер А.А. 40, 213-228
 Мелюхин С.Т. 459, 460, 462
 Ментова Т.Н. 42
 Меньков, художник 258
 Мережковские, семья 260, 352, 353
 Мережковский Д.С. 352, 445, 447
 Метерлинк М. 11
 Метнер Н.К. 445
 Метнер Э.К. 343, 348, 354, 355, 357, 380, 415, 433, 444, 445
 Мечников И.И. 434
 Микеланджело 370
 Мирбо О. 309
 Мистраль Ф. 308
 Митчер (Mitscher) К. 374, 379, 387, 445
 Митчер (Mitscher) Ф. и Х. 356, 374, 379, 386-388, 406, 445
 Михайловский Н.К. 313

- Модржинская Е.Д. 459
 Мольт Э. (Molt E.) 46
 Моргенштерн К. 27, 365, 374, 445, 446
 Моргенштерн М. 390, 441, 445
 Мордовин, муж Н.Богоявленской 400, 415
 Морозов М.А. 415
 Морозова М.К. 343, 348, 380, 415, 416-417, 418-440, 445
 Морозова Ф.П. 208
 Муратов П.П. 53
 Мутах, фон, антропософ 378, 379
 Мэрион (Maryon) Л.Э. 373, 394, 445
 Мюллер Г. 390, 398
 Мюллер К.О. 215
 Мюллер, антропософка 348
 Мюссе А. де 266
- Наан Г.И. 464
 Набоков В.Д. 273
 Нансен Ф. 263, 282
 Наполеон III, имп. 104
 Нарский И.С. 458
 *Невельская К. 229
 Нейшеллеры (Neuscheller Leopold и Lucia) 377, 445
 Некрасов Н.А. 293
 Некрасова Е.А. 331, 333
 Неманова-Лунц, знакомая М.О. Гершензона 295
 Немирович-Данченко В.И. 312
 Нестеров М.В. 207-212
 Нечаева В.С. 282, 283
 Нидермиллеры, семья 471
 Никитин В.А. 325-333
 Никитин И.С. 237
 Никитин Н.Н. 288
 Николай Кузанский 69
 Николай Петрович, хирург, з/к 57, 80, 85, 87, 88, 92-94, 106, 109, 110, 137, 150
 Ницше, пастор, отец Ф.Ницше 367, 368
 Ницше Ф. 260, 266, 282, 286, 296, 366-369, 430, 432, 446, 461, 470
 *Новалис (Харденберг Ф., фон) 438
- Новиков И.А. 276, 298, 308
 Нолль (Noll) Л. 371, 445
 Нотгафт Н.Н. 10, 11, 13, 14, 31
 Ньютон И. 348, 420
- Овсяннико-Куликовский Д.Н. 226, 227
 Огарев Н.П. 294, 295, 297
 Огарева Н.А. 294
 Оленина-д'Альгейм М.А. 440
 Олсуфьевы, семья 323
 Орвелл Дж. 466, 467
 Ориген 68
 Ортман Е.Г. 35, 37
 *Осоргин (Ильин) М.А. 472
 Осоргина Т.А. 472
- Павел, апостол 43, 92, 346, 427
 Павлов И.П. 292
 Павлович Н.А. 39
 Пайперс (Peipers) Ф. 348, 438, 445
 *Папюс (Encausse G.A.V.) 419
 *Парацельс (Теофраст Б., фон Гогенхейм) 419, 420, 428
 Паскаль Б. 283-285, 298, 299, 301
 Пастернак Б.Л. 20, 39, 272
 Паульсен Ф. 237
 Перальтэ (Péralté) Л. 374, 394, 445
 Перцов П.П. 352, 445
 Пестель В.Е. 258
 Петр, апостол 102, 184, 185
 о.Петр, заключенный священник 153, 173-176, 181-184
 Петр I, имп. 208-210
 Петрарка Ф. 237
 *Петренко Н. 286
 Петровская Н.И. 340
 Петровский А.С. 15, 30, 31, 49, 251, 340, 352, 353, 363, 367-369, 385, 389, 390, 396, 400, 401, 407, 415, 438, 445
 Петрушевская (ур. Щелкина) Е.С. 248
 Петрушевский Д.М. 245, 248, 283
 Печорин В.С. 258
 Пико делла Мирандола, Дж. 419
 Пиксанов Н.К. 237
 *Пильняк (Воган) Б.А. 300
 Пинес Д.М. 30

- Писарев Д.И. 313
 Писарева В., переводчица 360
 Платон 68, 69, 216, 219, 220, 226,
 285, 333, 454, 457, 461, 462
 Плотин 63, 68, 285
 По Э. 104
 Познер С.В. 471
 Покровский М.Н. 237, 267, 268,
 277, 278, 315
 Полиевктова Т.А. 393, 400, 405
 Поляк (Pollak-Karlin) Р. и Х. 385,
 394, 445
 Положенцевы, луцкие знакомые
 А.Белого 351
 Поольман-Мой (Polman-Mooy) Д.
 345, 346, 351, 356, 357, 445
 Поляков С.А. 300
 Попов К.М. 321
 Попов М., музыкант 304
 Попова Л.С. 258
 Поповы, семья антропософов 347
 Потапов Н., инженер, з/к 54, 55,
 76, 81
 Поццо А.М. 350-353, 357, 361,
 363, 367, 368, 372-375, 377, 388,
 389, 392, 394, 395, 400, 405, 445,
 446
 Поццо Н.А. — см. Тургенева Н.А.
 Поццо, семья 344, 352, 378, 390,
 413, 415
 Пресс И., зять С.И. Балаховской
 307, 308
 Просвирин А., свящ. 330
 Птолемей К. 426
 Пунин Н.Н. 64, 67, 69, 70-74, 77-
 80, 82, 84, 85, 96-98, 101, 103, 104,
 107, 112-116, 119-121, 123, 125,
 130, 135-142, 144, 145, 150-152,
 161, 164, 165, 202, 203
 Пушкин А.С. 210, 254, 258, 260,
 298, 300, 310, 333
 Пятковская (Лутковская?), антро-
 пософка 400

 Рабинович В.Л. 420
 Раевская-Хьюз О. 251
 Ражо — см. Березовская Т.Л.
 Райф (Reif) М. 353, 378, 445

 Рамбо А. 237
 Рапп Е.Ю. 259
 Рапп Л.Ю. 259, 260
 Распутин Г.Е. 400
 Рафазль 437
 Рачинская (ур. Мамонтова) Т.А.
 446
 Рачинский Г.А. 348, 380, 415, 429,
 433, 445
 Ревилль, философ 218
 Резникова Н.В. 252, 253
 Рейхлин И., мистик 419
 Рембрандт Х. ван Рейн 88
 Ремизов А.М. 249, 252, 264, 269,
 272, 288, 290, 291, 293, 295-297,
 300, 302, 349, 446
 Ремизова (ур. Довгелло) С.П. 252,
 288, 290, 291, 293, 295, 300, 354,
 446
 Рерих Н.К. 139
 Риббентроп И. 97
 Ривьер Ж. 270
 Рихтер Р. 293
 Рихтер (Rychter) Т. 345, 354, 372-
 375, 378, 379, 388, 390, 395-397,
 407, 410, 411, 446
 Родичев Ф.И. 277, 278
 Розанов В.В. 207-212, 260, 282, 283
 Розанова (ур. Руднева) В.Д. 282,
 283
 Розанова О.В. 258
 Розенберг (Rosenberg) К.Г. 391,
 392, 446
 Розенталь М.М. 462
 Романовский Н.С. 57, 60, 85-87,
 106, 107, 143, 144, 146, 159, 170,
 171
 Росетти 370
 Ростовцев М.И. 139
 Руднев В.В. 400, 446
 Руткевич М.Н. 459, 460
 Рыков А.И. 282

 Сабанеев Л.Л. 291, 293
 Сабашников А.В. 15, 24
 Сабашников В. — отец Сабашни-
 ковой-Волошиной М.В. 24
 Сабашников М.В. 24, 246, 247

- Сабашников С.В. 24, 246, 247
 Сабашникова-Волошина М.В. 9, 15, 17, 24-27, 29-32, 46, 51, 52, 354, 363, 378, 385, 389, 394, 400, 401, 403, 413, 442, 446
 Савинков Б.В. (*Ропшин В.) 399
 Самсонов, знакомый Е.А. Ильиной 375
 Сахаров С.И. 259
 Свентонис, з/к 168-171, 178, 179, 182, 185
 Святополк-Мирский Д.П. 145, 146
 Седлецкая (Siedlecki) В. 355, 378, 412, 415, 446
 Седлецкий (Siedlecki) Ф.В. 412, 415, 446
 Сезанн П. 420
 Серафим Саровский 24, 144, 320, 333
 Сергей (Страгородский И.Н.), митр. 146
 Сергей Радонежский 318, 320
 Сиверс В.Я., фон 446
 Сиверс М.Я., фон 26, 347, 348, 351, 352, 356-359, 362, 364, 365, 369, 370, 372, 373, 376-378, 383, 388, 395, 396, 414, 442, 446
 Сиверс О.Я. 347, 352, 446
 Сидоров Ю., антропософ 354, 361
 Сизов М.И. (*Горский Мих., Седлов М.) 15, 27, 28, 33, 352-354, 385, 389, 394, 396, 400, 401, 407, 415, 446
 Сизова (ур. Кафка) Л.В. 27, 32, 33, 34
 Сизова М.И. 34
 Сизова О.П. 27
 Сканлан Дж.П. 451-453, 455-464, 466, 468-470
 Скрыбин А.Н. 8, 247, 260, 286, 293, 295, 297
 Скрыбин Ю.А. 247
 Скрыбина А.А. 247, 291, 295-297
 Скрыбина М.А. 247, 295
 Скрыбина (ур. Шлецер) Т.Ф. 245, 247, 256
 Скрыбины, семья 294, 295
 Слонимский Н.Л. 247
 Смитс (Maier-Smits) Л.Э. 26, 351, 385, 446
 Сократ 256, 260, 296
 Соловьев В.С. 11, 39, 46, 47, 264, 266, 290, 320, 357, 358, 444-447, 461, 470
 Соловьев С.М. 349, 350, 353, 380, 446, 447
 Соловьева (ур. Тургенева) Т.А. 344, 349, 350, 353, 446, 447
 *Сологуб (Тетерников) Ф.К. 307, 308, 447
 Солоневич А.А. 42-45
 Солоневич А.А., жена предыдущего 44
 Спасский С.Д. 39
 Спиноза Б. 265, 283-285, 420
 Спиридович А.И. 472
 Спиридович М., жена А.И. Спиридовича 472
 Спиридонова Н., подруга М.Н. Жемчужниковой 10, 11
 *Сталин (Джугашвили) И.В. 282
 Станевич В. — см. Анисимова В.
 Станевич О., отец Анисимовой 18
 *Станиславский (Алексеев) К.С. 312
 Старкова Т., подруга М.Н. Жемчужниковой 12
 Степун Ф.А. 29, 268
 Столпнер Б.Г. 291, 293, 296
 Столяров М.П. 15, 23, 38, 39, 44, 47
 Стоюнин В.А. 315
 Стоюнина Л.В. 315
 Стоюнина М.Н. 315
 Стравинский И.Ф. 260
 Стриндберг А.Ю. 420
 Струве В.В. 127
 Струве Г.П. 253
 Струве П.Б. 338
 Суворов А.В. 210, 472
 Сулова А.П. 283
 Танеев И.В. 348
 Танеев С.И. 304
 Танеевы, семья 353
 Тарасевич А.В. 440

- Тарасова А.К. 311, 312
 Татлин В.Е. 116
 Тацит 65
 Тейлор Э. 74
 Терещенко М.И. 348, 349, 446
 Терещенко, сестра М.И. Терещенко 349, 446
 Тер-Оганесян В. 333
 Тескова А. 446
 Тимирязев К.А. 353, 447
 Толстой А.Н. 250, 253, 307
 Толстой Л.Н. 40, 41, 45, 115, 210, 248, 249, 251, 257, 270, 296, 448
 Томас, антропософ 373
 Трапезников Т.Г. 15, 27-30, 51, 354, 357, 361, 363, 364, 366-368, 377, 378, 385, 388, 390, 400, 407, 415, 447
 Трапезникова (ур. Красильщик) Л.И. 30, 363, 447
 Трегер, знакомый Л.И. Шестова 262
 Тритгейм, аббат 419, 420
 *Троцкий Л. (Бронштейн Л.Д.) 247, 293, 321, 324
 Трубецкой Е.Н. 264, 266, 270, 319, 358, 447, 470
 Трубецкой С.Н. 268, 447, 470
 Тураев Б.А. 127
 Тургенев И.С. 243, 245, 254, 258, 293, 298
 Тургенева А.А. 9, 15, 27, 340, 341, 343-347, 349-364, 367, 368, 370, 372-381, 387-390, 394-398, 400, 401, 403-405, 407, 413-415, 429, 437, 439, 440, 443, 446, 447
 Тургенева-Поццо Н.А. 340, 344, 345, 350-353, 357, 361-363, 367, 368, 372-375, 377, 379-381, 383, 384, 388, 389, 394-398, 400, 401, 405, 407, 414, 445-447
 Удальцов, художник 258
 Уйттенховен А.В. 35, 37, 39, 42
 Уланд Л. 394
 Унгер (Unger) К. 348, 372, 386, 447
 Устрялов Н.В. 263
 Фаворский В.А. 331, 333
 Фадум (Fadum) Ф. 379, 447
 Федоров Н.Ф. 439, 441
 Фейербах Л. 460
 о.Феодот, заключенный священник 106, 146, 147, 152, 175
 Фет А.А. 439
 о.Филарет, заключенный священник 146, 147
 Философов Д.В. 352, 447
 Философова А.П. 8
 Финкельбаум, з/к 132, 133
 Финкельштейн В.Д. 333
 Фитингоф, антропософка 378, 400, 415
 Флавий И. 65
 Фламмель Н. 419, 420
 Флейшман Л.С. 251, 337, 445
 Флоренская М.П. 326
 Флоренская (ур. Сапарова) О.П. 331
 Флоренский К.П. 332
 Флоренский П.А. 251, 266, 321-333, 470
 Флюдд, розенкрейцер 419, 420
 Фома, апостол 101
 Фома Аквинский 460
 Фома Кемпийский 170, 171
 Форсман, антропософка 347, 352, 355, 361, 363, 374, 377-379, 396, 400, 401
 Форш О.Д. 303, 304
 Фохт Б.А. 18
 Франк С.Л. 268, 279, 281, 287, 316
 Франциск Асизский 320
 Фрейд З. 370
 Фридкина (Fridkin) Г. 363, 373, 400, 410, 415, 446
 Фриче В.М. 277, 278
 Фрумкина Н.А. 445
 Фрэзер Дж.Д. 74
 Хайдеггер М. 458, 461
 Халаминский Ю.Я. 333
 Халатов А.Б. 293
 Хвостова Н.А. 14
 Хельминский С.Е. 300
 Хлебников В.В. 119

- Ходасевич В.Ф. 51, 244, 248, 258, 259, 264, 274, 288, 338, 339, 471
 Хольцлейтер, антропософка 374, 379, 386, 447
 Хомяков А.С. 326
 Христофорова К.П. 14, 348, 352, 354-356, 361-363, 401, 446
 Хьюз Р. 251
- Цветаева М.И. 272, 274, 446
 Цвингли У. 318
 Цейтлин (*Амари) М.О. 250, 253, 256, 261, 262, 271
 Цейтлина М.С. 250, 253
 Цявловский М.А. 238, 244
- Чаадаев П.Я. 237, 258
 Чеботаревская Ал.Н. 353, 447
 Чеботаревская Ан.Н. 308
 Челпанов Г.И. 247, 257, 261
 Чернов В.М. 354, 399, 447
 Чернова Л.Н. 353, 354
 Чернявский Н.П. 23
 Черняк Л. 451-470
 Чертков В.Г. 41
 Чехов М.А. 14, 49, 50, 53
 Чехихин (*Ветринский) В.Е. 292, 293
 Чильс, антропософка 379, 447
 Чирская (Tschirschky) Г., фон 353, 355, 378, 447
 Чистяков П.П. 141
 Чулков Г.И. 42, 308
- Шавгенин, инженер, з/к 62-66, 73, 79
 Шагинян М.С. 354, 447
 Шарль Ж. 423
 Шварсалон В.К. 245, 247, 263, 264, 349, 447
 Швейгхардт, мистик 420
 Шверер (Schwörer) Г. 281, 283
 Шевченко Т.Г. 307
 Шенгели Г.А. 326, 327, 332
 Шенрок В.И. 447
 Шенрок С.В. 352, 447
 Шептулин А.П. 459, 460, 462
 *Шестов Л. (Шварцман Л.И.) 14, 237, 238, 241, 242, 244, 245-312
- Шик Е.В. 291, 296-298, 301
 Шимкунас В., врач, з/к 57, 58, 67, 80, 87, 97, 100, 104, 105, 108-110, 137, 155, 158, 159, 161, 168, 171-174, 178, 181-184, 189-191, 195-202
 Шлецер Б.Ф. 247, 256, 260, 262, 263, 270, 286, 291, 295
 Шмерлинг М.В. 35-38, 40-42, 47
 Шмидель (Schmiedel) О. 374, 394, 406, 448
 Шмидт А.Н. 264, 266
 Шмидт (Schmid-Curtius) К. 372, 385, 386, 391, 398, 399, 448
 Шмидт, хозяин квартиры А.Белого 404, 406
 Шолль (Scholl) М. 345, 379, 442, 447
 Шопенгауэр А. 461, 462
 Шорох-Троцкий К.С. 41
 Шпет Г.Г. 245, 246, 255, 260, 264, 271, 272, 283, 291, 293, 296, 297, 299-301, 304
 Шпет Н.К. 299, 307
 Шрейдер А.А. 271, 272
 Штейнберг И.З. 40, 272
 Штейнер Р. 9-11, 13, 14, 16, 17, 20, 23-28, 31, 34, 36, 43, 45-48, 50-52, 338-340, 343-442, 444-448
 Штинде (Stinde) С. 353, 378, 448
 Шторм Г.П. 39
 Штракс Г.М. 459, 460, 462
 Штрассер (Strasser) Н. 296, 390
 Штраус (Strauss) Г. 374, 379, 386, 404-406, 414, 448
 Шюрэ Э. 354, 448
- Шекотихина В.П. 250
 Шукин С.И. 420
- Эйнштейн А. 279
 Эйтингон М.Е. 266, 300, 301, 306
 Экземплярский, переводчик 284
 Эккартштейн, фон (Eckhardtstein) И. 374, 376, 379, 383-385, 394, 448
 Экхарт И. 69
 *Эллис (Кобылинский Л.Л.) 332, 340, 344-346, 351, 354, 356, 357, 380, 438, 448

- Эльрам (Ellram) В. 379, 392, 400, 448
 Эммануил Б., знакомый М. Н. Жемчужниковой 29
 Энгельс Ф. 468
 Энглерт (Englert) И. 372, 385, 386, 389-391, 399, 408, 409, 448
 *Эрберг (Сюннерберг) К.А. 40
 Эренбург И.Г. 272
 Эртель А.И. 237
 Эттингер П.Д. 333
 Эфрон А.С. 252
 Эфрос Н.Е. 292, 293
 Эшенбах В., фон 369
- Южин (Сумбатов-Южин) А.И. 267, 268
 Юлэ (Uehli) Э. 361, 448
 Юсуповы, семья 247
- Яворка, незуит 97, 104, 105
 Якубич В., з/к 57, 113, 126, 149, 150, 202
 Ямвлих 216
 Ясинский В.И. 273
- d'Alveydre, оккультист 419
 Avrich P. 42
 Bigart, секретарь S. Lévy 290
 Cohen H. — см. Коген Г.
 Collins M. 360
 Deschartes O. — см. Дешарт О.
 Deussen P. 369
 Donath-Dubach A. 443
 Dubach H. 443
 Eliphaz, оккультист 419
 Elsworth J. 341
 Fielding-Hall H. 12
 Fitzpatrick S. 264
- Garcia Ricardo 442
 Grosheintz (Laval) N. 443
 Guaita S. 419
 Hagens M. 444
 Heiler, историк 319
 Heydebrand C., von 442
 Lévi, оккультист 419
 Lévy S. 290
 Liedvogel C. 444
 Ludwig C. 444
 Maier A. 446
 Nivat G. 443
 Peipers C. 445
 Reebstein B. — см. Леман Б.
 Ripellino A.M. 283
 Rizzi D. 274
 Rourke J.J. 461
 Rychter (Janowska) B. 446
 Scott-Pyle, W. 442
 Selling C. 442
 Selling (Flack) K. 443
 Serman I. 259
 Sivers J., von 446
 Sivers F.W., von 446
 Smernoff-Lazinger S. 261
 Spengler 300
 Steiner R. — см. Штейнер Р.
 Steiner-von Sivers M. — см. Сиверс М.Я.
 Strada V. 264
 Terras V. 247
 Van der Paals L. 442
 Wagner G. 442
 Wagner O. 442
 Waller O. 442
 Williams R.C. 272, 274
 Woloschin M. — см. Сабашникова-Волошина М.В.
 Worringer 300
 Zesting T. 282

АННОТАЦИИ

В о с п о м и н а н и я

М.Н. Жемчужникова. ВОСПОМИНАНИЯ О МОСКОВСКОМ АНТРОПОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ (1917-1923). Публикация Дж. Мальмстада

Возникнув в начале 1910-х годов, движение антропософов легально продолжалось в России до 1923, а затем, после закрытия Антропософского общества, вело подпольное существование до начала 30-х, когда большинство его участников было арестовано и отправлено в ссылки и лагеря. Источники по истории движения крайне редки. Жемчужникова принадлежит к «молодому поколению» антропософов, пришедших в движение в годы революции. Она подробно описывает работу общества после января 1917, дает портреты его лидеров и активистов, рассказывает о попытках сближения антропософов с другими духовными течениями, не имевшими официального статуса (толстовцы, сектанты). Подробные примечания дают биографические данные об упомянутых лицах. 3 + 42 с.

А. Вансеев. ДВА ГОДА В АБЕЗИ.

Автор описывает инвалидный лагерь в Абези (Коми АССР), где он отбывал заключение в конце 40-х — начале 50-х годов и где встретился с искусствоведом Н.Н. Пуниным, поэтом С.З. Галкиным, и главное — с религиозным философом Л.П. Карсавиным, учеником и другом которого он стал. Подробно излагаются беседы с Карсавиным и основы его философских воззрений. 150 с.

И з н а с л е д и я о т е ч е с т в е н н о й ф и л о с о ф и и

НЕИЗДАННЫЕ РАБОТЫ В.В. Розанова, А.А. Мейера, М.И. Кагана (6 + 16 + 8 с.).

ПИСЬМА М.О. ГЕРШЕНЗОНА К ЛЬВУ ШЕСТОВУ. Публикация А.д'Амелиа и В.Аллой.

30 писем за период 1920-25 гг. глубже раскрывают личность Гершензона, взаимоотношения двух мыслителей, их подход к событиям в России и эмиграции. В предисловии и примечаниях анализируются философские воззрения Гершензона и приводятся сведения об упоминаемых лицах и событиях. 8 + 68 с.

ИЗ АРХИВА Н.О. ЛОССКОГО. 8 с.

С.А. Волков. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. (Фрагмент, посвященный о. П. Флоренскому). 4 с.

В.А. Никитин и В.П. Купченко. К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ П.А. ФЛОРЕНСКОГО И М.А. ВОЛОШИНА (Документы и свидетельства). 9 с.

Из истории духовных течений в России

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ. Публикация Дж. Мальмстада.

Первая часть подробной «интимной» автобиографии А.Белого, охватывает 1911-1914 гг., отражая его увлечение антропософией, посещение лекций Р.Штейнера, жизнь в Дорнахе, участие в строительстве первого Гетанума. Здесь же приводится переписка с М.К. Морозовой, в которой Белый объясняет смысл своих исканий. Примечания и подробный индекс имен дают сведения о большинстве активных антропософов того времени. 7 + 72 + 25 + 9 с.

Рецензии, дополнения, письма

Л.Черняк. ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА НЕПОНИМАНИЯ.

Автор исследует западное восприятие современной советской философии, пытается выявить его методологические изъяны. 20 с.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ по поводу публикации Д.Бетеа в пятом выпуске альманаха. 2 с.

ABSTRACTS

Memoirs

M.N.Zemchuznikova. MEMOIRS OF THE MOSCOW ANTHROPO-SOPHIC SOCIETY (1917-1923). Publication by J. Malmstad.

Having emerged in the early 1910s, the anthroposophic movement in Russia had been legal until 1923, and then, after the banning of the Anthroposophic Society, led an underground existence until the early 1930s when the majority of its members were arrested, exiled or imprisoned. The sources on the movement's history are extremely scarce. The author belongs to the «young generation», that had joined the movement during the revolution. She gives a detailed account of the Society's activities after January 1917, portrays of its leaders and activists, describes their attempts to establish close relations with other unofficial spiritual movements such as tolstovians, various sects etc. The memoirs are supplied by the biographic data on its protagonists. 3 + 42 p.

A.Vaneev. TWO YEARS IN ABEZY.

The author describes a camp for invalides in Abesy (Autonomous Republic of the Komy), where he served his term from the late 1940s to the early 1950s, and his relationship with N.N. Punin (art historian), S.Z. Galkin (poet) and, above all, L.P. Karsavin (religious philosopher) who became his close friend and spiritual teacher. The memoirist retells his conversations with Karsavin and the fundamentals of the latter's philosophical outlook. 150 p.

From the heritage of the Russian Philosophy

UNPUBLISHED WORKS BY V.V. Rozanov, A.A. Meyer, M.I. Kagan. 6 + 16 + 8 p.

THE LETTERS OF M.O. GERSHENSON TO LEON SHESTOV.
Publication by A.d'Amelia and V.Alloy.

30 letters of M.O.Gershenson spanning the period from 1920 to 1925 reveal more profoundly his personality, the two thinkers' friendship as well as their understanding of the events in Russia and in the emigration community. The analysis of Gershenson's philosophical views and data on people and events mentioned in the letters are given in the preface and comments. 8 + 68 p.

FROM THE ARCHIVES OF N.O. LOSSKY. 8 p.

S.A. Volkov. FROM THE MEMOIRS OF THE MOSCOW THEOLOGICAL ACADEMY. (A piece about P.A. Florensky). 4 p.

V.A. Nikitin, V.P. Kuptchenko. ON THE RELATIONS BETWEEN P.A. FLORENSKY AND M.A. VOLOSHIN. (Documents and testimony). 9 p.

**From the history of spiritual movements in
Russia**

**ANDREY BELYI AND THE ANTHROPOSOLOGY. Publication by
J.Malmstad.**

The first part of a detailed «intimate» autobiography of A.Belyi covering the years 1911-1914, reflects his fascination with anthroposophy, his frequenting of R.Steiner's courses, his life in Dornach and participation in the construction of the first Goetheanum. The text is followed by Belyi's correspondence with M.K. Morozova, where he explains the meaning of his spiritual quest. Comments and an index of names give the information on the majority of active members of the anthroposophic movement of the time. 7 + 72 + 25 + 9 p.

Reviews, letters

L.Tcherniak. THE OBJECTIVE APPROACH AS A BASIS OF NON-COMPREHENSION.

The author studies the Western perception of the contemporary Soviet philosophy and makes an attempt to find out its methodological shortcomings. 20 p.

LETTERS to the editor on the publication by D.Bethea in the fifth issue of the Almanach. 2 p.

СОДЕРЖАНИЕ

Воспоминания

М.Н. Жемчужникова. ВОСПОМИНАНИЯ О МОСКОВСКОМ АНТРОПОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ (1917-1923). Публика- ция Дж. Мальмстада	7
А. Вансеев. ДВА ГОДА В АБЕЗИ	54

Из наследия отечественной философии

В.В. Розанов. ВЕЧНОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ	207
А.А. Мейер. СЛОВО — СИМВОЛ	213
М.И. Каган. ЕВРЕЙСТВО В КРИЗИСЕ КУЛЬТУРЫ	229
М.О. Гершензон. ПИСЬМА К ЛЬВУ ШЕСТОВУ (1920-1925) Публикация А. д'Амелиа и В. Аллоя	237
ИЗ АРХИВА НИКОЛАЯ ОНУФРИЕВИЧА ЛОССКОГО	313
С.А. Волков. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ	321
В.А. Никитин, В.П. Купченко. К ИСТОРИИ ВЗАИМООТНО- ШЕНИЙ П.А. ФЛОРЕНСКОГО И М.А. ВОЛОШИНА (До- кументы и свидетельства)	325

Из истории духовных течений в России

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И АНТРОПОСОФИЯ. — МАТЕРИАЛ К БИОГРАФИИ (ИНТИМНЫЙ). ПЕРЕПИСКА С М.К. МО- РОЗОВОЙ. Публикация Дж. Мальмстада	337
---	-----

Рецензии, дополнения, письма

Л. Черняк. ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА НЕ-ПОНИМАНИЯ	451
ПО ПОВОДУ ПУБЛИКАЦИИ ПИСЕМ В.Ф. ХОДАСЕВИЧА К Н.Н. БЕРБЕРОВОЙ	471
Аппенх	475

**ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 16 SEPTEMBRE 1988
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 322-88**

ISBN 2-906141-10-11